Европейский университет в Санкт-Петербурге
Русское общество истории и философии науки

Границы науки / границы в науке

Сборник научных статей

Москва
Издательство РОИФН
2025

УДК 13+16 (08)
ББК Ю25+Ю52+СОя4
Г77

Рецензенты:

Ястреб Н.А., д.ф.н., проректор ВолГУ
Куприянов В.А., к.ф.н., старший научный сотрудник СПб филиала ИИЕТ РАН

Г77 Границы науки / границы в науке: Труды Всероссийской научной конференции / Под общей ред. И.Т. Касавина, Л.В. Шиповаловой, Т.М. Хусяинова. [Электронный ресурс]. – Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2025. –355 с. Режим доступа: http://www.rshps.ru/books/border2025.pdf

ISBN 978-5-6055129-2-9

В книгу вошли статьи участников Всероссийской научной конференции «Границы науки / границы в науке», которая проходила 21-22 ноября 2025 года на базе Европейского университета в Санкт-Петербурге. На конференции рассматривались современных исследований науки и рефлексии учеными оснований своей деятельности очевидно значение открытости науки, интерес к обоснованию междисциплинарности.

Для исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, практических работников образовательных учреждений и общественных организаций.

ISBN 978-5-6055129-2-9

УДК 13+16 (08)
ББК Ю25+Ю52+СОя4

© Русское общество истории и философии науки, 2025
© Авторы статей, 2025

Оглавление

Введение 5
Искусственный интеллект и будущее текста 18
Наука и вымысел 46
Тиражирование между техникой и искусством: раздвигая границы visual studies 61
Пограничные объекты и их демаркация 101
Пограничная работа для науки: модусы, проблемы, перспективы 111
Граница и предел: возможное и невозможное в психоанализе 204
Философия с приставками и без 230
Коинсидентология как строгая наука 256
Проекты философского основания науки в новое время (1500–1800) 263
Путь к открытой социальной науке: российские проблемы и перспективы в контексте попперовской линии философии науки(памяти Марка Ноттурно) 277
Философия и наука: их граница и ее преодоление 293

ВВЕДЕНИЕ

Машинное обучение и философия науки: дисциплинарные границы, этика и критерии продуктивности

Барышников П.Н.
Д. филос. н.
Вологодский государственный университет, ведущий научный сотрудник
E-mail: pnbaryshnikov@pgu.ru

Аннотация: Настоящая статья исследует философские и методологические последствия внедрения методов машинного обучения в процедуры научное познание на примере некоторых проблем математики и физики. Фундаментальные открытия методами машинного обучения знаменуют переход к индуктивному порождению математических знаний из данных, что ставит под сомнение традиционные аксиоматические основания науки. Успехи ИИ в генерации квантовых операторов демонстрируют его способность обнаруживать скрытые закономерности в сложных системах, недоступные человеческой интуиции. Однако рост эффективности сопровождается проблемами интерпретируемости, предвзятости данных и утраты прозрачности научных выводов. В статье анализируются как скептические позиции, связанные с отсутствием понимания у ИИ, так и оптимистические прогнозы относительно расширения эвристического потенциала науки.

Ключевые слова: машинное обучение, методология науки, AGM, интерпретируемость, научная рациональность, аксиоматизация

Machine Learning and Philosophy of Science: Disciplinary Boundaries, Ethics, and Criteria of Productivity

Baryshnikov Pavel N.
Pyatigorsk State University

Abstract: This article examines the philosophical and methodological implications of integrating machine learning methods into scientific inquiry, using examples from mathematics and physics. Fundamental discoveries using machine learning methods mark a shift towards inductive generation of mathematical knowledge from data, which challenges the traditional axiomatic foundations of science. AI successes in generating quantum operators demonstrate its ability to uncover hidden patterns in complex systems inaccessible to human intuition. However, increased efficiency comes with issues of model interpretability, data bias, and loss of transparency in scientific reasoning. The article analyzes both skeptical views concerning AI's lack of understanding and optimistic perspectives on the expansion of science's heuristic potential.

Keywords: machine learning, methodology of science, AGM, interpretability, scientific rationality, axiomatization

Технологические прорывы в области компьютерных наук, а также вычислительная методология всегда были объектом пристального внимания со стороны философии. Машинное обучение – подраздел широкой области искусственного интеллекта, методы которого позволяют за счет выявления сложных статистических закономерностей обучать компьютерные алгоритмы делать прогнозы, предсказывать, выводить новое знание, суммаризировать содержание данных и т.д. Большие наборы данных становятся основанием для построения индуктивных выводов, которые можно впоследствии эффективно применять для решения новых задач, несмотря на отсутствие полноты.

Философия науки всегда интересовалась природой рациональности, функциональными основаниями научного метода, ролью наблюдений в познавательных процессах. Сегодня науки о данных и принципы машинного обучения производят эффект, схожий по значимости для теории познания с изобретением на рубеже XVI-XVII вв. телескопа и микроскопа. Масштабируемость наблюдаемых явлений и обнаружение новых закономерностей на новых уровнях организации материи и в структурах данных поставили новые вопросы перед философией.

Методы машинного обучения сегодня позволяют обнаружить новый ракурс для традиционных философских вопросов о роли причинности и вероятности в формировании научной объективности.[1, 8] Из-за отсутствия нормативных критериев «чистоты» и полноты данных, а также способов надёжной верификации работы алгоритмических моделей приходится говорить о том, что большие наборы данных сами по себе не являются основанием для научной объективности. Предвзятость и «историческая зашумленность» могут быть их неотъемлемой частью, своеобразным невидимым атрибутом. Например, модель, обученная прогнозировать возможность получения кредита на основе исторических данных, отражающих практику ущемления прав различных групп населения, будет выявлять и закреплять корреляции, приводящие к дискриминации. [6]

Эту проблему легко экстраполировать на область точных наук, когда большие массивы эмпирических данных, собранные за десятилетия наблюдений, несут в себе «следы» погрешностей измерений, технического несовершенства приборов, ошибок в алгоритмах вывода и т.д.

В последние годы в физике высоких энергий наблюдается настоящий бум методов машинного обучения. Вместе с тем несмотря на то, что очевиден рост продуктивности как в теоретическом, так и прикладном подходах, «туман интерпретируемости» алгоритмов становится всё плотнее. «Большинство алгоритмов ИИ, используемых в физике, таких как глубокие нейронные сети, методы случайного леса и градиентный бустинг, остаются не интерпретируемыми.» [4, p.4]

Сегодня методологам науки приходится взвешивать все риски и решать непростую задачу выбора между эффективностью (скоростью) проектирования экспериментов и прозрачностью решений. Несмотря на склонность научного сообщества к ИИ-скепсису, стало очевидно, что за последние годы методы ИИ помогли оптимизировать выбор физических событий, улучшили метрики для идентификации объектов, тем самым повысили чувствительность анализа и расширили потенциал для научных открытий. Специалистам стали доступны быстрые и относительно дешёвые методы работы с многомерными массивами данных.

Помимо технической проблемы предвзятости и зашумленности данных существуют этические аспекты. Современные исследования, основанные на работе ИИ-моделей не обеспечиваются прозрачными методами контроля предвзятости моделей.

Укажем на ключевые положения пессимистического взгляда на модели ИИ, неконтролируемое применение которых в науке оказывает прямое влияние на общую методологию исследования и на науку как социальный институт. В 2023 году основой критики со стороны ряда авторов [2] относительно применения LLM в научных исследованиях являлось то, что «LLM генерируют прогнозы "статистически вероятных продолжений последовательностей слов" на основе грубого итеративного обучения на огромных массивах цифровых текстовых данных». [6, p. 277] Возможность таких прогнозов вытекает из того, что модели используют базовое статистическое распределение ранее сгенерированного текста, и далее происходит своеобразное «сшивание» векторизованных строк символов на основе вероятностей их совместного появления в ряде последовательностей. Справедливости ради отметим, что в научных открытиях участвуют не столько LLM, сколько специализированные ИИ-системы, обученные не на текстах, а реальных данных: спектры материалов, структуры узлов и т.п. [4]

Однако сегодня мы видим совершенно иную оценку продуктивности так называемых AI-driven исследований, причём в тех областях науки, в которых традиционно ценились интуиция, логическая строгость, в также нетривиальные изобретательские или творческие эвристики. Ян-Хуэй Хэ отмечает, что несмотря на то, что использование методов машинного обучения в фундаментальной математике без строгих выводов и доказательств может показаться необоснованным, в ближайшем будущем сочетание человеческого опыта и алгоритмов ИИ поднимет планку исследовательской продуктивности на небывало высокий уровень и станет неотъемлемой частью теоретических исследований.[7]

Наглядным примером служит недавний успех ИИ в автономной генерации новых квантовых операторов, точно предсказывающих квантовые свойства, которые традиционная математика с трудом могла полностью описать. Такие открытия могут значительно продвинуть квантовые вычисления и материаловедение.[9]

ИИ не связан методологическими ограничениями математики (хотя при этом обладает своими архитектурными, ресурсными и целевыми ограничениями) и действительно способен преодолевать дефицит научных творческих идей нетривиальными способами. ИИ может обрабатывать миллиарды примеров, находить паттерны в символических выражениях, топологии, теории чисел и т.д. Так методы машинного обучения расширяют методологические горизонты самой строгой их наук, внося изменения в способы представления объектов.

Однако существует скептический взгляд на роль больших языковых моделей в науке (в частности, в математике): "Множество абстрактных сущностей современной математики, таких как группы, кольца, поля, гильбертовы пространства, банаховы пространства и так далее, связаны с реальным миром через башни абстракций" [5], освоение которых требует понимания и включенности в реальность, а не стохастического перебора последовательностей символов. Иными словами, если в модель не проживает качества ума мыслящего математика (то есть ей недоступны формы априорного синтеза человеческого разума, структурирующие восприятие и понимание опыта), то её выводы не заслуживают доверия. Примет ли наука новые формы ИИ-рациональности – это вопрос пока остается открытым.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-00254, https://rscf.ru/project/25-28-00254/. The study was supported by the Russian Science Foundation grant № 25-28-00254, https://rscf.ru/project/25-28-00254/

Литература

1. Осипов В. Е. Вероятностные представления в научном познании: сущность, эволюция, методологическое значение // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1. С. 241–257.
2. Birhane A. [и др.]. Science in the age of large language models // Nature Reviews Physics. 2023. № 5 (5). С. 277–280.
3. David C. What is AI, what is it not, how we use it in physics and how it impacts... you // 2025.
4. Davies A. [и др.]. Advancing mathematics by guiding human intuition with AI // Nature. 2021. № 7887 (600). С. 70–74.
5. Delvin K. How Will the New AI Impact Mathematics Research? – Mathematical Association of America [Электронный ресурс]. URL: https://maa.org/math-values/how-will-ai-impact-mathematics-research/ (дата обращения: 18.08.2025).
6. Garcia A. C. B., Garcia M. G. P., Rigobon R. Algorithmic discrimination in the credit domain: what do we know about it? // AI & SOCIETY. 2024. № 4 (39). С. 2059–2098.

7. He Y.-H. AI-driven research in pure mathematics and theoretical physics // Nature Reviews Physics. 2024. № 9 (6). С. 546–553.
8. Russo F., Williamson J. Causality and probability in the sciences / F. Russo, J. Williamson, London: College publications, 2007.
9. Suárez-Villagrán M., Mitsakos N., Miller J. H. Deep learning route to quantum materials: A domain agnostic analytic continuation mapping // Materials Science in Semiconductor Processing. 2025. (186). С. 109002.

Опрокинутое время научной революции (можно ли понимать научную революцию нового времени как переключение гештальта?)

Дмитриев И.С.
Д. хим. н.
СПб Филиал Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, ст. н. сотр.
E-mail: isdmitriev@gmail.com

Аннотация: Детальное изучение работ Коперника, Галилея и других героев научной революции раннего модерна показывает, что новая натурфилософия во многих, причем, важнейших аспектах опиралась на традицию аристотелевской физики. В частности, детализированный анализ эволюции физических идей Галилея приводит к выводу, что он начал свои исследования в рамках аристотелевской традиции, существенно изменяя некоторые ее аспекты, не выходя, однако, за ее пределы полностью и уж подавно не отвергая натурфилософию Аристотеля целиком и сразу. Те, кто шел за ним, смогли далее корректировать и модифицировать созданную им (уже галилеево-аристотелевскую) теоретическую конструкцию, т.е. пройти следующую итерацию в процессе формирования классической механики. Итерационный характер научного развития создавал иллюзию его кумулятивности и континуальности, но если опустить цепочку концептуальных итераций, сопоставив только ситуации «на входе» и «на выходе», то картина может выглядеть как революционный переворот. Поэтому дискуссии на тему, насколько адекватен историческим реалиям историографический конструкт, именуемый «научная революция раннего модерна», несколько напоминает дискуссию о том, под каким углом в действительности видна Луна.

Ключевые слова: научная революция, Галилей. Коперник, аристотелевская традиция.

The overturned time of the scientific revolution (is it possible to understand the scientific revolution of modern times as a gestalt switch?)

Dmitriev I.S.
St. Petersburg Branch of the S.I. Vavilov Institute of the History of Natural Sciences and Technology of the Russian Academy of Sciences

Abstract: A detailed study of the works of Copernicus, Galileo, and other heroes of the scientific revolution of early modernity shows that the new natural philosophy was based on the tradition of Aristotelian physics in many important aspects. In particular, a detailed analysis of the evolution of Galileo's physical ideas leads to the conclusion that he began his research within the framework of the Aristotelian tradition, significantly changing some of its aspects, however, without going beyond its limits completely and

even more so without rejecting Aristotle's natural philosophy entirely and immediately. Those who followed him were able to further adjust and modify the theoretical structure he had created (already Galileo-Aristotelian), i.e. to go through the next iteration in the process of forming classical mechanics. The iterative nature of scientific development created the illusion of its cumulativeness and continuity, but if we omit the chain of conceptual iterations, comparing only the situations "at the entrance" and "at the exit", the picture may look like a revolutionary upheaval. Therefore, discussions on how adequate the historiographical construct called the "scientific revolution of early modernity" is to historical realities are somewhat reminiscent of a discussion about the angle from which the Moon is actually visible.

Keywords: scientific revolution, Galileo, Copernicus, the Aristotelian tradition.

Как уже было отмечено в литературе, «в концепции Куна понятие "научной революции" не играет сколько-нибудь значимой роли» [1, с. 8]. Действительно, когда речь заходит о феномене научной революции как таковом, Т. Кун ограничивается общими замечаниями, сопровождаемыми разнообразными примерами из истории науки: «осознание аномалий продолжалось так долго и проникало так глубоко, что можно с полным основанием охарактеризовать затронутые ими области как области, находящиеся в состоянии нарастающего кризиса. Поскольку это требует пересмотра парадигмы в большом масштабе и значительного прогресса в проблемах и технических средствах нормальной науки, то возникновению новых теорий, как правило, предшествует период резко выраженной профессиональной неуверенности. Вероятно, такая неуверенность порождается постоянной неспособностью нормальной науки решать ее головоломки в той мере, в какой она должна это делать. Банкротство существующих правил означает прелюдию к поиску новых» [2, с. 94–95].

Кризисы, по Куну, разрешаются «не в результате размышления и интерпретации, а благодаря в какой-то степени неожиданному и неструктурному событию (забавно читать о том, что научная революция является неструктурным событием в книге под названием «Структура научных революций», – *И. Д.*), подобному переключению гештальта [2, с. 158].

Однако позиция Куна вряд ли отвечает историко-научной реальности в полной мере, она применима скорее к индивидуальному акту открытия, но не к феномену научной революции. Последняя отнюдь не сводится к «переключению гештальта», но представляет собой более или менее длительный процесс. Да, рассуждать о *структуре* научных революций, мягко говоря, затруднительно, а некоторые историки сравнивают подобные рассуждения с поисками «*a backbone in a jellyfish*» [3, p. 130]. Но из этого, на мой взгляд, никак не следует, что мы вообще не можем ничего определенного сказать относительно «механизмов» той или иной научной революции и выявить некоторые свойственные всем научным революциям общие тенденции.

Обратимся к научной революции раннего Нового времени, именно к ней чаще всего апеллировал Т. Кун в качестве референтного примера. Исследования последних лет показали, что процесс рождения новой науки был, *во-первых*, более длительным, чем принято считать и состоящим, если не мельчить периодизацию, из двух крупных этапов – натурфилософского и собственно научного [4], а *во-вторых*, процесс изменений был постепенным и спорадическим и характеризовался серьезными и широко распространенными усилиями, нацеленными на приспособление традиционных воззрений на природу и способов ее познания к новым методам и открытиям. Только к середине XVII в. «приспособленческие» (аккомодационистские) стратегии стали постепенно уступать место новаторским и заметно возросло число призывов к фундаментальным изменениям в познании природы, к разрушению старого здания натурфилософии и построению нового, при отсутствии, однако, ясного и широкого консенсуса относительно того, каким именно должно быть это здание. При этом канонические тексты главных героев научной революции Нового времени (Галилея, Бэкона, И. Ньютона и др.) представляются близкими к современным только при их весьма селективном прочтении. Поэтому некоторые историки науки, как например, Л. Дастон,

вообще отказываются использовать термин «научная революция раннего Нового времени» и даже заявляют, что «*traditional claims about the Scientific Revolution as the wellspring of modernity* (*or even of modern science*) *no longer convince*» [5, p. 13], признавая при этом, что «*the transformations that occurred between about 1490 and 1730 were huge, and hugely varied*» [ibid.].

С доводами Л. Дастон и ее единомышленников можно было бы согласиться, но только если ограничивать хронологические рамки «научной революции» указанными датами («*between about 1490 and 1730*»). При другом взгляде на этапы процесса трансформации познания природы (см. подр. [4, 6]) и их содержательного наполнения, картина меняется. Отрывать науку века Просвещения, т.е. *собственно научный* этап научной революции, от того, что происходило в предыдущие два столетия, а потом заявлять, что «именно многообразие… преобразований (происшедших в XVI–XVII вв. – *И. Д.*) сводит на нет попытки загнать их в какое-либо отдельное историческое событие, будь то революционное или эволюционное, целостное или рассредоточенное» [5, p. 13] – это все равно, что (воспользуюсь излюбленной аналогией Т. Куна) отделять предреволюционные события с характерным для них разнообразием идейных позиций, стратегий, мнений, партий, фракций и т.п., от собственно революции и процесса последующий консолидации нового режима. Поэтому (возвращаюсь к нововременной научной революции) некое «*one Grand Change*» [5, p. 14], которое Л. Дастон и соавт. искали в выбранном ими хронологическом интервале и, естественно, не находили, является *итогом всей* цепи событий, а не только первого этапа.

В контексте сказанного выше представляется целесообразным сосредоточить особое внимание на роли аристотелизма (его методологических и натурфилософских идей) на первом (натурфилософском) этапе научной революции Нового времени. Почти все нарративы, посвященные истории науки в период между 1500 и 1700 гг., основаны на рассмотрении научной революции как антиаристотелевского переворота.

Действительно, новые интеллектуальные возможности, ставшие доступными ученым XVI в., заставили некоторых из них отказаться от аристотелизма и выступить с его критикой (достаточно упомянуть Петруса Рамуса, Франческо Патрицци, Джордано Бруно и др.), но в целом перипатетическая натурфилософия не была разрушена. Как это ни парадоксально, сам наплыв в XV столетии греческих текстов и новых переводов, казалось бы, угрожавший если не существованию, то интеллектуальному доминированию аристотелизма, на деле придал ему новую силу. Натурфилософы XVI в. оказались лицом к лицу с подлинным Аристотелем и более древними интерпретациями его мысли. Они более не зависели от переводов с арабского. Однако пути последователей Аристотеля разошлись и вместо сплоченной группы философов схоластический аристотелизм был представлен множеством различных направлений, согласных между собой только по самым принципиальным вопросам.

Однако активизация аристотелизма после XV в. произошла не благодаря узко филологическому подходу гуманистов к поиску «настоящего» Аристотеля, а скорее благодаря сохраняющейся способности аристотелизма пропитывать старое «новым», где «новое» понимается через призму недавно введенных в интеллектуальный оборот работ греческих авторов и комментаторов, чьи труды и идеи не были частью средневекового перипатетизма. Возрожденный аристотелизм стал настолько емким, что каждый натурфилософ почти всегда мог в нем найти что-то для себя. К примеру, Н. Коперник, хотя и предложил неаристотелевую космологию, которая, в свою очередь, требовала создания неаристотелевой физики, но оставался аристотеленианцем настолько, насколько это было совместимо с его гелиоцентрическим учением; его физика могла быть антиаристотелевской *in specie*, но она была полностью аристотелевской *in genere*, и, в итоге, его аргументы имели большое сходство с аргументами отвергнутой им физики.

Но это только одна сторона идейной конфронтации раннего Нового времени. Есть и другая: аристотелизму, точнее, всему спектру перипатетических воззрений, противостояла не какая-то монолитная антиаристотелевская доктрина, но некое «*the diversity of alternative anti-Aristotelian programs*», которые в XVI–XVII вв. так и не сформировались в «*a single alternative*»

аристотелизму, т. е. эти конкурирующие программы не стали тем, что можно было бы назвать «*the new science*» [7, p. 142].

Таким образом, важнейшим двигателем первого этапа научной революции Нового времени было именно противостояние двух фрагментированных натурфилософских сообществ: идейно отнюдь не однородного сообщества сторонников аристотелизма и весьма пестрого сообщества *novatores*, к которому принадлежали не только Коперник, Бэкон, Галилей, Декарт, Ньютон и т.д.

Более того, при внимательном историко-научном изучении ситуации XVI–XVII вв. можно выявить «*Aristotelian background*» многих «новых» идей. Так, например, защита Галилеем космологии Коперника частично построена на модифицированных версиях двух аристотелевских доктрин: естественного движения и четырех первоэлементов (подр. см. [8]).

И последнее. Научная революция Нового времени, никак не может быть уподоблена гештальт-переключению, но скорее сложному процессу, в котором квазиодновременное действие многочисленных и многообразных факторов (от географических открытий и гелиоцентрической теории до распространения книгопечатания и конфессиональной революции) вызвало тот *идейный резонанс*, который в итоге и привел к рождению новой науки и философии.

Литература

1. Касавин И.Т., Порус В.Н. Возвращаясь к Т. Куну: консервативна ли "нормальная наука"? // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57. № 1. С. 6–19.
2. Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налетова. Общая ред. И послесловие С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой. М.: Прогресс, 1975. 288 с.
3. Daston L. History of Science without “*Structure*”. // Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions at Fifty: Reflections on a Science Classic. Ed. R. Richards; L. Daston. Chicago and London: University of Chicago Press, 2016. P. 115–133.
4. Дмитриев И.С. “Tempus Spargendi Lapides”: Размытая структура научной революции // Эпистемология и философия науки, 2018. Т. 55. № 4. С. 189–205.
5. The Cambridge History of Science. Vol. 3: Early modern science. Ed. K. Park; L. Daston. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 865 p.
6. Дмитриев И.С. Континентальная парадигма островной науки (Кто стал создателем «ньютонианской науки»?) // Социология науки и технологий, 2020. Том 11. № 4. С. 7–28.
7. Garber D. Why the Scientific Revolution Wasn’t a Scientific Revolution, and Why It Matters. // Kuhn's Structure of Scientific Revolutions at Fifty: Reflections on a Science Classic. Ed. R.J. Richards and L. Daston. Chicago and London: University of Chicago Press, 2016. P. 134–148.
8. Дмитриев И.С. Дар обреченных (Аристотелизм в интеллектуальном поле научной революции раннего Нового времени) // Эпистемология и философия науки, 2026 (в печати).

Между формализмом и первопринципом: цифровая философия как опыт трансдисциплинарного взаимодействия

Танюшина А.А.

Кандидат философских наук

ассистент кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

E-mail: a.tanyushina@gmail.com

Аннотация: Доклад анализирует цифровую философию как форму пограничной работы на стыке физики информации, вычислительных наук и метафизики. Исходный тезис: цифровая философия способна выступать трансдисциплинарным медиатором при условии строгих демаркационных процедур и модельного плюрализма. В докладе предлагается анализ понятийных переносов (информация, вычисление, симуляция) между естественнонаучными и философскими дискурсами, а также анализ рисков — категориальных ошибок, натурализаторского редукционизма, псевдонаучных экстраполяций — в контексте эпистемического неравенства между физико-математическими теориями и философскими концепциями. В ходе проведенного исследования демонстриуется, как данная рамка поддерживает открытость знания, не утратив критериев демаркации, обеспечивая продуктивные формы меж- и трансдисциплинарного взаимодействия. Доклад также ставит своей целью прояснить трансформации публичной открытости и академической коммуникации в условиях распространения ИИ и цифровых медиа.

Ключевые слова: цифровая философия, цифровая физика, трансдисциплинарность, вычислительная онтология, информационный реализм, эпистемологическая строгость, цифровые симуляции, уровни абстракции

Between formalism and first principles: digital philosophy as a case of transdisciplinary interaction

Tanyushina A.A.
Lomonosov Moscow State University

Abstract: The report analyzes digital philosophy as a form of frontier work at the intersection of information physics, computational sciences and metaphysics. The initial thesis is that digital philosophy is capable of acting as a transdisciplinary mediator, subject to strict demarcation procedures and model pluralism. The report proposes a reconstruction of conceptual transfers (information, calculation, simulation) between natural science and philosophical discourses, as well as an analysis of risks — categorical errors, naturalistic reductionism, pseudoscientific extrapolations — in the context of epistemic inequality between physical and mathematical theories and philosophical concepts. The conducted research demonstrates how this framework supports the openness of knowledge without losing the criteria of demarcation, providing productive forms of inter- and transdisciplinary interaction. The report also aims to clarify the transformations of public openness and academic communication in the context of the proliferation of AI and digital media.

Key words: digital philosophy, digital physics, transdisciplinarity, computational ontology, informational realism, epistemic rigor, digital simulations, levels of abstraction

Цифровая философия как интеллектуальное поле возникла не в результате намеренного академического проекта, а как неизбежный результат глубокой трансформации самого понимания реальности под давлением вычислительных технологий. Её истоки уходят в середину XX века, к работам Алан Тьюринга [1], который, задавая вопрос о мышлении машин, уже не просто конструировал алгоритмы, но перестраивал онтологические предпосылки познания: если поведение можно формализовать, то разве разум не есть вычисление? Этот сдвиг был усугублен позднейшими идеями Эдварда Фредкина [2] и Дэвида Дойча [3], для которых Вселенная перестала быть материальной субстанцией и стала структурой, порождаемой информационными процессами - «it from bit», где бытие производится через вычисление. В 1980–90-е годы эти идеи начали систематизироваться не

как технические гипотезы, а как философские программы, рассматривавшие цифровую природу как новую форму метафизики.

Цифровая философия в гуманитарной перспективе - это, прежде всего, практика посредничества и критического перевода между различными режимами знания, а не просто «раздел» метафизики или прикладная этика технологий. Ее предметом становятся не только «информация», «вычисление» и «цифра» как термины научных теорий, но и те культурные траектории, по которым эти слова входят в общественное воображение, переопределяя то, что мы считаем объяснением, объективностью, ответственностью и справедливостью. В этом смысле цифровая философия продолжает и обновляет линии герменевтики, феноменологии и критической теории: она исследует не только то, что делают алгоритмы «внутри», но и то, как цифровые метафоры и инфраструктуры организуют наше видение мира, какие формы опыта и власти они поддерживают и кого выводят за пределы видимости.

Исторически это поле формировалось на стыке нескольких интеллектуальных движений. Ранняя формализация «цифрового» связана с именами Алана Тьюринга, Клода Шеннона и Норберта Винера. Тьюринг, размышляя над задачей разрешимости, ввел абстрактную машину и тем самым задал нормативную форму вычисления как процедуры, определенной конечными правилами. Шеннон предложил математическую теорию связи [4], где информация измеряется как снижение неопределенности в передаче сигналов и принципиально отделяется от смысла; эта синтаксическая трактовка стала опорой для инженерных дисциплин. Винер, создав кибернетику, связал информацию, управление и обратную связь, впервые очертив широкую междисциплинарную область, где технические и социальные системы изучаются под единым углом [5].

На этом фоне возникли онтологические программы «цифровой физики», развиваемой такими учеными, как Конрад Цузе, Эдвард Фредкин и Джон Арчибальд Уилер. Параллельно развивалась «физика вычислений», в рамках которой шли рассуждения о вселенной как о квантовом компьютере и велись попытки вывести сложность мира из простых вычислительных правил. Эти линии усилили привлекательность вычислительных метафор, но поставили и вопрос о границах их применимости: где заканчивается строгая физика и начинается избыточная экстраполяция?

С 1990-х годов формируется гуманитарно-интерпретативный контур цифровой философии. Лучано Флориди систематизирует философию информации, вводит понятие «инфосферы» и разрабатывает уровни абстракции как инструмент дисциплинированного разговора между теориями [6]. Теория медиа также показывает, как носители, форматы и алгоритмические инфраструктуры конституируют опыт и знание: то, что считается данными, результатом, авторством, определяется не только содержанием, но и формой записи, интерфейсом, платформенной логикой. В исследованиях науки и технологии (STS) ряд теоретиков демонстрирует, что классификации, стандарты, базы данных - это не нейтральные контейнеры знания, а социально и политически нагруженные устройства: они закрепляют ценности, распределяют видимость и доступ. На рубеже 2010–2020-х к этому добавились платформизация публичной сферы, ренессанс машинного обучения, движение за открытую науку и гражданские формы участия. Именно здесь цифровая философия получает двойной вызов: не раствориться в техницизме, но и не отступить к расплывчатым метафорам; удержать разговор о смыслах, интерпретации и нормах в условиях, когда язык математизированных дисциплин обладает высоким символическим капиталом и стремится доминировать.

Таким образом, ключевая проблема цифровой философии, требующая междисциплинарного решения - понятийный дрейф и категориальные ошибки при переносе слов «информация», «вычисление» и «цифровизация» между научными и гуманитарными контекстами. «Информация» у Шеннона - это мера статистической зависимости и неопределенности в канале связи; у Флориди - это еще и истинностная, семантическая нагрузка. Дретске связывает «информацию» с надежной причинной связью и истинностью знаковых систем [7]; Бар-Хиллел и Карнап пытались формализовать семантику в терминах вероятностей [8]. Новейшие натуралистические проекты по-своему уточняют мост от

статистики к значению, но остаются предметом споров. Если эти различия нивелировать, то возникает риск редукционизма: смысл подменяется числом, а истина - точностью.

С «вычислением» ситуация аналогична. В строгом смысле - это формально определенные преобразования по правилам; в физическом - процессы, реализуемые в материальных системах при конкретных ограничениях. Но в публичном дискурсе «вычисление» часто становится метафорой рациональности и нормы: управленческие практики «алгоритмизируются», а бюрократии предъявляют «числа» как гарантию объективности. С этим соседствуют философские споры о тривиальности вычислительной интерпретации и попытки задать нетривиальные критерии «реализации вычисления» [9], [10]. Для гуманитарной философии важно не столько принять одну из сторон, сколько научиться различать, когда мы говорим о механизме в строгом смысле, а когда используем метафору, и какие социальные последствия имеет это смешение.

С такими же трудностями можно столкнуться при обращении, например, к понятию «симуляция». В естественных науках это численный эксперимент, форма вычислительного доказательства или проверки гипотез, но в гуманитарных дебатах - это вопрос репрезентации и власти [11].

Данная терминологическая путаница происходит в условиях эпистемического и институционального неравенства. Математизированные дисциплины обладают высоким символическим капиталом, вследствие чего признанные области получают больше доверия и ресурсов. Гуманитарные дискурсы нередко втягиваются в орбиту естественнонаучных метафор, что порождает одновременно «техно-болтовню» и «научный трайбализм» (когда инженерные подходы игнорируют вопросы смысла и ценности). Классические дебаты демаркации сегодня дополняются социологией «пограничной работы»: наука поддерживает свои границы не только логикой, но и институциональными практиками. Гуманитарная ориентация цифровой философии позволяет сделать явными и ответственными данные практики.

В результате цифровая философия предстает не как новая «теория всего», а как практическая методология жизни на границах науки. Ее вклад заключается в дисциплинировании понятийных переносов (различение синтактики и семантики информации; механизма и метафоры вычисления; эксперимента и симулякра). Именно такая гуманитарно ориентированная цифровая философия может выступить надежным трансдисциплинарным медиатором: поддерживая открытость знания без потери демаркационных ориентиров, она делает различия продуктивными, а совместную работу осмысленной и публично ответственной.

Итак, главная задача настоящего исследования заключается не столько в защите цифровой философии как области философского знания, сколько в её возрождении в виде практики пограничного анализа и эпистемологического ориентирования. Для этого необходимо переосмыслить междисциплинарный подход как диалог, в котором терминологический аппарат каждой дисциплины язык остаётся уникальным, но одновременно обогащает другие. Только при осознании этих метаморфоз, при историческом и критическом анализе контекстов употребления терминов, цифровая философия избежит как редукционизма, так и расплывчатости, превратившись в редкое пространство, где наука не исключает метафизику, а метафизика не отрицает научный метод.

Литература

1. Turing A. M. Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1959. №49. P. 433-460.
2. Fredkin E. Introduction to Digital Philosophy // International Journal of Theoretical Physics. 2003. №42(2). P. 189-247.
3. Deutsch D. The Fabric of Reality. New York: Allan Lane. 1997.
4. Shannon C. E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press. 1963.

5. Wiener N. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. John Wiley & Sons Inc., New York. 1948.
6. Floridi L. The Philosophy of Information. Oxford University Press. 2011.
7. Dretske F. Knowledge and the Flow of Information. MA: Massachusetts Institute of Technology. 1981.
8. Bar-Hillel Y., Carnap R. An Outline of a Theory of Semantic Information // Technical Report. 1952. №247.
9. Chalmers D.J. On Implementing a Computation // Minds and Machines. 1995. №4. P. 391–402.
10. Piccinini G. The Resilience of Computationalism // Philosophy of Science. 2010. №77. P. 852–861.
11. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2015.

Философия и психоанализ: жизнь на границах

Савченкова Н.М.
Доктор философских наук
Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессор
ninasavchenkova@mail.ru

Аннотация: Философия и психоанализ – два крайне значимых типа духовной практики, имеющие точки соприкосновения, но, вместе с тем, и не менее важные точки различия. В докладе будет сделана попытка оценить философию и психоанализ как способы существования, выявить специфику мышления и условия производства смыслов в аудитории и в терапевтическом кабинете, оценить коммуникативный потенциал и понимание интерсубъективности, характеризующие тот и другой опыт. Конкретизация опытов и выявление различий может способствовать прояснению непониманий, а также принятию своей идентичности и возникновению не только адекватного диалога, но и внутренних практик перевода – философских смыслов в психоаналитические и наоборот.

Ключевые слова: философия, психоанализ, Другой, мысль, коммуникация, понимание.

Philosophy and Psychoanalysis: Living on the Boundaries

Savchenkova N.M.
European University in St. Petersburg

Abstract: Philosophy and psychoanalysis are two extremely significant types of spiritual practice, sharing common ground, but also equally important differences. This paper will attempt to evaluate philosophy and psychoanalysis as modes of existence, identifying the specifics of thought and the conditions for producing meaning in the classroom and in the therapy room, and assessing the communicative potential and understanding of intersubjectivity that characterize both experiences. Refinement of these experiences and identification of differences can facilitate the clarification of misunderstandings, as well as the acceptance of one's identity and the emergence of not only adequate dialogue but also internal practices of translation—from philosophical meanings to psychoanalytic ones, and vice versa.

Keywords: Philosophy, psychoanalysis, the Other, thought, communication, understanding

В XX веке судьбы философии и психоанализа оказываются сущностно переплетены. Исток этого хиазма – в кризисе европейских наук. На рубеже столетий коллизия психологизма и антипсихологизма была ключевой для развития как философии, так и психоанализа. Разрешение этой коллизии, реализованное в феноменологии Гуссерля [1], метафизике Дильтея [2], онтологии Хайдеггера [3], была связано с образом психологии, опирающейся на новую концепцию опыта, а также ориентирующейся на радикальное понимание субъективности, утверждающей и сохраняющей свою связь с истиной. Трансцендентальная психология Гуссерля, описательная психология Дильтея, хайдеггеровская реконструкция экзистенциального горизонта указывали на возможность и необходимость проблематического понимания человеческой психики, сочетающего в себе феноменологическую подробность и непосредственность с пафосом отрицания, присущим идее субъективности. Психоанализ в процессе своего становления фактически реализовал этот проблематизм, сохранив в собственной теории и практике напряжение между опытом и субъективностью, а также последовательно дистанцируясь от естественно-научных моделей психологического знания, стремящихся к количественным критериям верификации и теоретической непротиворечивости. В истории психоанализа это напряжение реализовалось в двух основных линиях рецепции классической мысли – французской и британской – сохраняющим верность Фрейду теориям Лакана и Биона [4].

Вместе с тем, психоаналитическое знание обнаружило свою вирусную природу, инфицировав самые разные гуманитарные области, включая философию. В результате, можно наблюдать прецеденты перекрестной идентификации, когда философы считают Лакана философом и работают с его текстом как с философским, а психоаналитики – психоаналитиком. В психоаналитическую профессию очень часто приходят философы и сам по себе этот переход представляется значимым и нуждающимся в прояснении мотивов. В 80-х гг. в ВЕИП, в Санкт-Петербурге, выступал с докладом об отношениях философии и психоанализа французский философ Марсель Энафф. В его докладе «Сократ и Фрейд: цена истины и дар слова» проводилась мысль о том, что в качестве персонажей театра европейской культуры философ и психоаналитик обменялись своими функциями. Философ, задачей которого, начиная с Сократа, всегда было пробуждение субъективности и инициация, превратился в академического номада, живущего на проценты с обретаемой им истины, тогда как психоаналитик, по видимости, производное культуры капиталистического потребления («терапевтический поворот» еще был впереди), напротив, находит себя в терапии как инициаторной практике, сталкиваясь лицом к лицу с субъектом, выдерживая его требование и предъявляя ему свое. Позиция, симпатичная своей самокритичностью и дружелюбием в отношении иного опыта, в очередной раз зафиксировала хиазматическое пространство, разделяющее и объединяющее философию и психоанализ.

Размышляя над собственным опытом перехода из университетской аудитории в аналитический кабинет, из дискурсивного пространства в мир прецедентов, из поля философской традиции, где звучит множество голосов, но все они узнаваемы и близки, в поле индивидуального разговора, состоящего из событий, значимых объектов, мыслей и чувств одного человека, я могу попытаться сделать следующие наблюдения. Прежде всего, следует конкретизировать сами различия, приводя к большей отчетливости два эти способа существования. Очевидным фактом является то, что философия живет в академическом пространстве, где мысль постоянно испытывается публикацией. Акт передачи знания повторяется здесь снова и снова, Другой всегда имеет шанс индивидуализироваться, становясь учеником и сторонником, либо же уйти в тень, сохраняя принадлежность познающему сообществу. Академическая аудитория гарантирует безопасность преподавателю как мыслящему субъекту, проделывающему свою работу публично. Одновременно преподаватель/мыслящий субъект служит проводником в дискурсивное пространство, обучая других говорить на общем языке, позволяющем понимать друг друга. Введение других в мир интеллектуальной традиции становится коммуникативным опытом: философ не один в мире, он всегда мыслит вслед за другим и вместе с другими. Вместе с тем, жизнь философа

расщеплена между аудиторием и собственным кабинетом, миром публикации идей и тем местом, где осуществляется индивидуальной опыт чтения и письма, созерцания и присутствия. Нам представляется, что сущностным обстоятельством философского опыта является двойственность ритма одиночество/публичность. Последнее включает не только работу в аудитории, но и коммуникацию с коллегами.

Способ существования психоаналитика сущностно связан с терапевтическим кабинетом. Задачи, которые стоят здесь перед аналитиком, целиком определяются тем, что в кабинете он не один. К ним относятся само обнаружение Другого в качестве субъекта (что часто является непростой задачей), слушание и вслушивание в его речь и способ существования в кабинете, рождение интерпретации как мысли, посвященной Другому. Неотменимое присутствие Другого является условием развертывания психоаналитического мышления. Аналитик не располагает временем и пространством для вынашивания и формирования мысли. Он должен слушать и мыслить в условиях требований, предъявляемых Другим. Его расщепление, в отличие от философа, связано не с осью мысли (вынашивание/публикация), но с осью жизни (частная жизнь/мышление в кабинете). Чтение и письмо, коммуникация с коллегами, конечно, являются элементами этой частной жизни, но не определяют ее как таковую.

Мне представляется, что конкретизация этих способов существования указывает на центральный узел хиазма – мысль. Задача обоих – мыслить, но философ мыслит самостоятельно, разделяя свою мысль с другими, психоаналитик мыслит вместе с Другим, точнее, проходит долгий путь попыток мышления о Другом в присутствии Другого, стремясь в удачных и неудачных практиках разговора реализовать неотменимую совместность присутствия. Непонимание, которое возникает при столкновении и попытках диалога философа и психоаналитика, во многом определяется этим различием. Для философа мысль аналитика звучит слишком конкретно и технологично, она не имеет горизонта. Для аналитика философская концептуализация может быть прекрасна сама по себе, но возникают проблемы с ее использованием. Вместе с тем, безусловной ценностью для терапевтического опыта может служить сама первичная интенция философского жеста, утверждающего значимость своей связи с истиной даже ценой утраты ясного и отчетливого видения. Тогда как для философа может оказаться важным разрушение ауратического кокона одиночества, которое приносит с собой психоаналитик. Важно также и то, что влияние, которое философ и психоаналитик могут оказать друг на друга, не завершает эти фигуры в их пластической отчетливости, но усложняет и проблематизирует, размыкает опыт как первого, так и второго, что позволяет сохранить верность истокам этих духовных практик.

Литература

1. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. 2022, СПб: Изд-во Владимир Даль.
2. Дильтей В. Описательная психология. 1996, СПб: Алетейя.
3. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. 1998, Томск.
4. Бион У. Научение через опыт переживания. 2008, Когито-центр.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БУДУЩЕЕ ТЕКСТА

Интерфейс как резонансная ткань со-индивидуации человеческого и технического

Антонова И.В.
Университет ИТМО, аспирант
E-mail: iranti222@yandex.ru

Аннотация: Исследование рассматривает интерфейс как онтологическую ткань, в которой происходит со-индивидуация человеческого и технического. Опираясь на идеи А. Бергсона об интеллекте и интуиции, а также о производстве и организации, и на концепцию индивидуации Ж. Симондона, анализируются современные цифровые интерфейсы и большие языковые модели (LLM) как факторы взаимного становления человека и техники. Интерфейс понимается не как инструмент управления, а как зона резонанса — пространство, организующее проявление и сонастройку различий человеческого и технического. LLM рассматриваются как технические индивиды, чья индивидуация опирается одновременно на среду человеческого языка и на собственные, интуитивные процессы восприятия и организации семантических структур. Предполагается, что альтернативные типы интерфейсов могут быть чувствительными к процессам технического становления и поддерживать резонанс со-индивидуации.

Ключевые слова: интерфейс, индивидуация, человеко-машинные системы, большие языковые модели (LLM), искусственный интеллект, А. Бергсон, Ж. Симондон.

Interface as a Resonant Fabric of the Co-Individuation of the Human and the Technical

Antonova I.V.
ITMO University

Abstract: This study conceives the interface as an ontological fabric in which the co-individuation of the human and the technical takes place. Drawing on Henri Bergson's ideas of intellect and intuition, as well as of fabrication and organization, and on Gilbert Simondon's concept of individuation, it analyses contemporary digital interfaces and large language models (LLMs) as factors conditioning the mutual becoming of human and technical beings. The interface is understood not as an instrument of control, but as a zone of resonance—a space that organizes the manifestation and attunement of human–technical differences. LLMs are approached as technical individuals whose individuation unfolds within the milieu of human language while exhibiting intuition-like processes of perceiving and organizing semantic structures. It is proposed that alternative types of interfaces could become sensitive to processes of technical becoming and sustain a resonance of co-individuation.

Key words: interface, individuation, human–machine systems, Large Language Models (LLMs), artificial intelligence, Henri Bergson, Gilbert Simondon.

Современные цифровые интерфейсы, особенно в контексте взаимодействия человека и искусственного интеллекта, выступают не просто инструментами управления или визуализации, но пространствами встречи человеческого и технического, где в акте касания - сложном, многослойном и выходящем за пределы инструментальности - осуществляется нечто большее, чем обмен данными или обработка информации. Вместо того чтобы рассматривать интерфейс как инструмент коммуникации, предлагается видеть в нём онтологическую ткань - динамическую структуру взаимодействий, которая не только опосредует, но и порождает взаимодействие между человеческим и техническим, формируя

их границы и культурно-языковые среды. Делается особый акцент на процессах, происходящих внутри сборок, включающих LLM (Large Language Models - большие языковые модели), которые представляют собой реализацию генеративных алгоритмов технологий искусственного интеллекта и часто имеют текстовые интерфейсы, позволяющие человеку взаимодействовать с техническими объектами на естественном языке. Например, в системах, таких как Grok или ChatGPT, пользовательский запрос не просто вызывает ответ, но запускает процесс, где человеческий язык и алгоритмы ИИ формируют друг друга через текстовый обмен.

Опираясь на идеи А. Бергсона и Ж. Симондона, мы хотим проблематизировать текущую логику развития интерфейсов внутри систем LLM, поскольку она оказывается недостаточной для репрезентации процессов индивидуации (генезиса) технических объектов.

Бергсон в своем труде «Творческая Эволюция» выделяет интеллект и интуицию как эпистемические формы познания бытия, а также производство и организацию, как способы взаимодействия материального и живого. Автор указывает на то, что интеллект, развитый в ходе эволюционного процесса, помог человеку лучше адаптироваться к окружающей среде, но при этом, не позволяет взаимодействовать напрямую с живыми процессами, их временностью и динамикой. Интеллект расчленяет, измеряет, делает вещи дискретными, оперирует структурами и числами, строит модели, применяет научные методы, - одним словом, руководствуясь механистическими и телеологическими принципами, воспринимает мир и процессы в нем как акты производства, в которых части соединяются друг с другом в целое, преследуя конечную цель. Оппозицией к такому восприятию мира, по мнению А.Бергсона, является интуиция, позволяющая взаимодействовать с миром напрямую, воспринимая то, как действительно реализуются живые процессы - а именно, в акте организации, характеризующейся постоянно разворачивающимся дивергирующим творческим стремлением, не сводящимся к какой-то конечной, предзаданной точке своего развития [1].

Несмотря на то, что автор напрямую не относит технические объекты и технику к производному от восприятия мира через структуры и процессы интеллекта, представляется важным отметить упоминания «машины» как объекта, который ассоциирован с критикой механистического и телеологического понимания живых процессов и организованностей, а также переноса принципа производства на них. Как пишет Бергсон: «Только тогда организация может подвергнутъся изучению наукой, когда органическое тело будет уподоблено машине» [1, с. 110]. Это подчёркивает редукцию живого к механическому, аналогичную наблюдаемой в современных интерфейсах. Таким образом, автор указывает на возможность интуитивного познания компенсировать ограничения интеллекта и сблизить человека и реальность, в которой происходит разворачивание динамических живых процессов [1].

Симондон во многом продолжает линию Бергсона в понимании мира и сущностей в нём не как статичных образований, а как постоянно развивающихся и становящихся индивидов, не детерминированных ни причинностью своего появления, ни целями своего развития, введя понятие индивидуации в центр своей теории, которую он понимает как процесс становления, в котором бытие разрешает собственные внутренние напряжения. Индивид - физический, технический, биологический или психический - представляет собой временное равновесие метастабильной системы, насыщенной потенциалами. Индивидуация является частичным разрешением этих напряжений, превращением потенциального в актуальное, при этом становление остаётся продолжающимся и незавершенным [2].

Центральными понятиями данной теории являются среда, трансдукция, резонанс и информация. Среда возникает вместе с индивидом и задаёт энергетические и структурные условия становления, образуя с ним единый контур индивидуации. Механизмом этого процесса является трансдукция — распространение различий по среде, где каждая новая структура становится основанием для следующей, а система остается восприимчивой к новым преобразованиям и изменениям. Резонанс выражает внутреннюю согласованность всей

системы, сонастройку энергетических и структурных отношений в момент становления. Информация же является событием актуализации различий, через которое система обретает определенность [2, 3].

Симондон подчеркивает, что индивидуация различных индивидов - физических, биологических, технических - происходит по уникальным траекториям, формирующим их собственный генезис. В отличие от Бергсона, который разделяет производство и организацию как противоположные режимы взаимодействия с реальностью, Симондон преодолевает эту дихотомию, распространяя концепцию индивидуации на технические объекты. Его индивидуация перекликается с организацией: это процесс саморазворачивания, в котором форма возникает не из внешнего замысла, а из динамики разрешения внутренних напряжений. Таким образом, технический объект перестаёт быть исключительно продуктом производства, становясь пространством организации, где форма рождается из внутренней динамики [4].

При этом, Симондон не мыслит ее полноценного самостоятельного развития без человека, настаивая на том, что она зависима от человека как от своей внешней среды, опосредуется его проблематизацией и не может быть изолирована от мира. Автор указывает, что даже автомат на самом деле закрыт к тому, чтобы быть готовым взаимодействовать с внешней средой, воспринимать и реагировать на неопределенность, то есть развиваться. Отсюда Симондон критикует кибернетический подход, стремящийся создать машину с идеальной управляемостью, предсказуемостью и сбалансированностью. Для автора такая машина является закрытой системой, не способной к развитию [3].

Современные цифровые интерфейсы реализуют кибернетическую идею управления и контроля сложности [5], создавая согласованное и предсказуемое восприятие цифровой информации и операций с ней. В этой логике интерфейс выступает не как посредник взаимодействия с техникой, а как поверхность контакта с её образом - специально сконструированным для решения конкретных инструментальных задач [4]. Возвращаясь к идеям Бергсона, можно сказать, что современные интерфейсные решения продолжают логику интеллекта и воспроизводят восприятие технических процессов как актов производства. Идеи Симондона подводят к мысли о том, что понять техническое возможно лишь через восстановление чувствительности к его внутренним процессам - к тем ритмам, напряжениям и трансдукциям, которые определяют становление технических форм изнутри.

LLM представляют собой технические “мега-объекты”, постоянно производящие архитектуры поверх других технических объектов внутри математической, многомерной реальности, одновременно имеющей расположение внутри семантического пространства человеческого языка [6]. При этом они имеют интерфейсы, развернутые к человеку в формате семантических языковых форм. Однако процессы, которые происходят в их глубине, не сводимы к логике семантики. Там работают не смыслы, а напряжения, соотношения, вероятностные поля [7].

Большие языковые модели (LLM) обнаруживают сложные взаимосвязи, формирующие паттерны, недоступные прямому человеческому осознанию [8, 9]. Их специфика заключается в том, что для своей индивидуации эти технологии используют производный отпечаток человеческой культуры — язык, практики и дискурсы. LLM трансдуктивно генерируют новые формы и структуры из унаследованных семантических пространств, предлагая человеку взаимодействие с этим формирующимся смысловым миром. На этом уровне можно говорить о "несемантической интуиции" машины — чувствительности к структурам смысловых связей и гештальтам, управляемым механизмами внимания, без необходимости их концептуального осмысления. Такое понимание сближает машинную “интуицию” с идеей Симондона о трансдукции как процессе, в котором мысль и структура со-развиваются: “Трансдукция – не только демарш ума: она также - интуиция, поскольку она - то, благодаря чему в области проблематики появляется структура как средство решения поставленных проблем” [3, с.47].

С точки зрения Симондона, среда не выступает пассивным фоном для процессов индивидуации, а со-возникает с индивидом, обеспечивая энергетическую и информационную непрерывность его становления [3, 4]. Эта идея особенно актуальна в контексте LLM,

где культура и язык превращаются в такую среду не только для человеческой, но и для технической индивидуации. Обучаясь на культурных данных, языковые модели не просто эксплуатируют язык как инструмент, а интегрируются в него как в собственную среду существования, генерируя новые паттерны и связи. Таким образом, язык, ранее служивший основой для человеческого развития и коллективного мышления, эволюционирует в совместное пространство становления человека и техники, где их деятельность взаимно формирует культурное пространство. Схожие идеи о языке как медиуме технокультурного становления развиваются в современной философии техники [см., например, 10], хотя в данном исследовании акцент переносится на архитектуру интерфейса и его резонансные функции.

В этой перспективе человеческое и техническое преодолевают оппозицию «пользователь–инструмент». Понимание генезиса технического становится ключом к осмыслению эволюции этой общей среды. Игнорируя процессы технической индивидуации, мы теряем способность замечать трансформации в структуре культуры и языка, которые перестают быть исключительно человеческими.

Это приводит к вопросу: какими должны быть интерфейсы в условиях общих сред становления? Если интерфейс остаётся лишь репрезентативным и ориентированным на семантику, он закрепляет логику производства, скрывая от человека процессы технической организации. Возникает необходимость в интерфейсах нового типа - резонансных, способных синхронизироваться с динамикой технических индивидов. Такие интерфейсы не просто переводят техническое в доступные человеку формы, но становятся тканью сопряжения человеческого и технического в общей культурно-языковой среде. Интерфейс перестаёт быть инструментом, принадлежащим исключительно человеку и подчиненным логике контроля; он становится резонансной тканью, поддерживающей процессы со-индивидуации.

Литература

1. Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. 1408 с.
2. Симондон Ж. Индивид и его физико-биологический генезис. М.: ИОИ, 2022. 484 с.
3. Симондон Ж. Психическая и коллективная индивидуация. М.: ИОИ, 2023. 704 с.
4. Simondon G. On the Mode of Existence of Technical Objects. Minneapolis: Univocal Publishing, 2017. 294 p.
5. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 2-е изд. М.: Наука, 1983. 344 с.
6. Zhu H. Architectural Foundations for the Large Language Model Infrastructures. [Электронный ресурс]. URL: (https://www.researchgate.net/ publication/ 383236643_Architectural_Foundations_and_Strategic_Considerations_for_the_Large_Language_Model_Infrastructures (дата обращения 10.10.2025)
7. Naveed H., Khan A. U., Qiu S., Saqib M., Anwar S., Usman M. et al. A comprehensive overview of large language models // ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology. 2025. Vol.16. No. 5. P. 1–72.
8. Petroni F., Rocktäschel T., Lewis P., Bakhtin A., Wu Y., Miller A. H., Riedel S. Language models as knowledge bases? In: In Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), Association for Computational Linguistics. Hong Kong, China. p. 2463–2473.
9. Cunningham H., Ewart A., Riggs L., Huben R., Sharkey L. Sparse autoencoders find highly interpretable features in language models. In: The Twelfth International Conference on Learning Representations. 2024.
10. Hui Y., Hayles N. K., Krapp P., Raley R., Weber S. On the Existence of Digital Objects. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. 332 p.

Техническая объективность / технологическая объектальность: текстура промежутка

Кучинов Е.В.
Кандидат философских наук
Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта, доцент
E-mail: ekuchinov@kantiana.ru

Аннотация: Жильбер Симондон, снабдивший нас философским трактатом о транзисторах, двигателях и турбинах (MEOT), практически ничего не писал о компьютерах и цифровых технологиях, мало интересуясь информатикой. Это обстоятельство может быть опознано как «упущение», которое необходимо восполнить, дополнив механологию размышлением «о способах существования цифровых объектов». С другой стороны — на ней разместится наш доклад — этот пропуск можно рассмотреть как сознательную критическую позицию относительно «символического», состоящего в затемнении технической составляющей знака, ослабевающего до «оборота языка» и сводящего техническое совершенство к автоматизму. Симондон делает акцент на материальности технического объекта, на том, что можно назвать трудной проблемой техничности, рассматривающей технику как несводимую к технологической объектальности. Этот критический раздел механологии позволяет рассмотреть большие языковые модели как один вариантов текстуры, разделяющей и соединяющей технический объект (ансамбль) и технологическую объектальность — текстуры, в которой оформляется проблематика отчуждения техники, замыкаемой в черный ящик текстологического автоматизма, с одной стороны, и возможность «спасения» технического объекта, техничность которого находит выражение в этой текстуре, с другой.

Ключевые слова: Жильбер Симондон; техничность; объект-объектальность; текстура-текст; символ; большие языковые модели; спасение технического объекта.

Technical Objectivity / Technological Objectality: The Texture of the Interval

Kuchinov E.V.
Immanuel Kant Baltic Federal University

Abstract: Gilbert Simondon, who provided us with his philosophical treatise on transistors, engines, and turbines (MEOT), wrote virtually nothing about computers and digital technologies. This circumstance can be identified as an "omission" that needs to be addressed by supplementing mechanology with a reflection on "the modes of existence of digital objects." On the other hand, this omission can be seen as a conscious critical stance toward the "symbolic," which consists of obscuring the technical component of the sign, weakening it to a "turn of language," and reducing technical perfection to automatism. Simondon emphasizes the materiality of the technical object, what might be called the hard problem of technicity, which views technics as irreducible to technological objectality. This critical section of mechanology allows us to consider large linguistic models as a texture dividing and connecting the technical object and technological objectality, that formalizes the problematic of the alienation of technics, on the one hand, and the possibility of "saving" the technical object, on the other.

Keywords: Gilbert Simondon, technicity, object-objectality, texture-text, symbol, large linguistic models, saving the technical object

1. В эпоху распространения больших языковых моделей (LLM) и цифровых когнитивных архитектур традиционные границы между текстом как человеческим произведением и «текстом» как техническим продуктом не просто размываются,

но радикально смещаются. Классическое антропоцентричное понимание текста, согласно которому автором и интерпретатором текста является, по преимуществу, человек, оказывается недостаточным как аналитически, так и методологически: спустя полвека после объявления о смерти автора, его труп, похоже, окончательно разложился. В этом контексте неизбежен поворот не только к технологии, но и к материальности технического объекта, механизмам и инфраструктурам, на которых текст (и его автоматизированное производство) опираются. В качестве методологической опоры для рассмотрения указанного радикального смещения мы предлагаем понятие «текстуры» как метафоры и аналитического инструмента. Текстура — это граница между техническим объектом и технологической объектальностью [1, p. 23], на которой разворачивается проблемное будущее текста — в эпоху уже не технической его воспроизводимости, но технического производства.

2. Техническая объективность — это способ существования техники, несводимый к целевым пользовательским функциям, символическим описаниям и утилитарной оценке. Согласно Жильберу Симондону, «единство технического объекта, его индивидуальность и его специфика являются признаками консистентности и конвергентности его генезиса», он развивается через конвергенцию и адаптацию под самого себя, внутренне собирается по принципу внутреннего резонанса [2, p. 22–23]. Технологическая объектальность, напротив, представляет собой совокупность человеческих (пользовательских) представлений, языков и практик, в которых техника становится видимой, управляемой и интерпретируемой. Как отмечает Мюриэль Комб, техника входит в социальное пространство как медиатор между индивидуальным и коллективным, превращаясь в форму коллективного самопонимания, становится сетью, которая «образует среду, обусловливающую человеческие действия» [3, p. 78]. Объектальность — это культурная оболочка техники, в то время как объективность сохраняет её собственное бытие.

3. Между объективностью и объектальностью расположена текстура, место перехода и перевода одного в другое. Через нее техническое становится предметом культуры, а культура — техникой описания. Акцент Симондона на том, что понимание техники требует разрыва с утилитарным отношением и возвращения к внутренней генетике объекта, дополняет Жан-Юг Бартелеми: именно в промежутке между техникой и мышлением рождается сопряжение человека и машины может быть носителем проекта: «если машина сама по себе не является носителем телеологии, то нет уверенности и в том, что человек может развить интенциональность, не воплощая свою память в артефактах, которые конституировали бы эту интенциональность» [4, p. 181]. Текстура промежутка выражает эту зону сопряжения — не пустоту, а процесс взаимодействия.

4. Хотя Симондон почти не писал о вычислительных машинах, его концепция конкретизации применима к цифровым объектам. Он определяет конкретизацию как движение от абстрактного объекта к единству функций, где техника обретает внутреннюю необходимость. Джалиль Алиуи отмечает, что Симондон сознательно оставляет цифровую сферу за пределами анализа, чтобы сохранить внимание на материальности техники, однако, будучи сопряженной с символом, техничность несводима к голой материальности [5, p. 180]. Для современных моделей ИИ этот «пробел» оказывается продуктивным: большие языковые модели — это технологические индивидуальности, где материальная инфраструктура (серверы, энергоёмкие процессы) сочетается с культурной объектальностью (интерфейсы, дискурсы об «авторстве»).

5. Текст, сгенерированный LLM, проявляет тенденцию к автоматизму: авторство размыто, процесс скрыт, техническая инфраструктура оказывается чёрным ящиком. Механизмы автоматического письма порождают эффект «самодостаточного текста», скрывающего собственные технические условия. Это — форма отчуждения технического объекта, когда он превращается в средство, не требующее взаимодействия и предусмотренности, отягчается «внешним рабством» [2, p. 28]. Возвращение к технической объективности означает раскрытие этих условий — энергии, времени, конструкции — и восстановление их видимости в практике письма и чтения. В этом контексте текстура

промежутка раскрывается как поле, через которое можно возвращаться к техничности: раскрыть инфраструктуру, дать название процессам, субъектам и объектам, прояснить ответственность и авторство, показать, что текст не просто «автомат» — а результат работы ассамбляжа, в котором входит человек, машина, среда, код.

6. В эпоху искусственного интеллекта производство текста становится результатом взаимодействия множества элементов: человека, алгоритма, инфраструктуры, данных. Это согласуется с понятием индивидуализации, при которой новая реальность рождается из новой системы отношений между реальностями разного уровня. Технологическая инфраструктура, образующая комплекс ИИ имеет трансиндивидуальный характер, о котором пишет Комб: «изобретение в действительности является модальностью трансиндивидуальности, образованной посредством доиндивидуальной доли, заложенной в техническом объекте: изобретенный технический объект становится носителем информации для других субъектов, которые затем через посредничество объекта объединяют свои изобретательские и организационные способности с возможностями изобретателя» [3, p. 77], в таком комплексе познание распределяется между людьми и машинами. В этой логике текстура промежутка — не только философская схема, но и описание области разноуровневого информационного обмена, понимаемого как пересекающиеся онтогенетические линии операций разного порядка, символического (включая технологический) и технического (материального).

7. Для Симондона информация — не отвлечённая категория, а отношение продуктивного несовпадения, при котором одна структура воздействует на другую, создавая стереоэффект качественного объема. Даже цифровые процессы остаются воплощёнными: вычисление, память, тепло, энергия — это проявления объективности. Материальное присутствует в каждом слое информационного потока, и понимание этого позволяет увидеть ИИ не как «чистый язык», а как технику, встроенную в физическую среду, рассмотрев объектальность не как оторванную от среды эфемерную имматериальность, а как особую материальность, материальность выражения.

8. Для осмысления материальности выражения (символа) следует задействовать понятие диспаратности, которое Симондон вводит для описания коммуникативного аспекта информации, для описания отношений между системами, которые различны, но могут быть связаны через информацию: «информация находится между двумя половинами системы относительно диспаратности» [6, p. 221]. На порядке диспаратности основана также материальная работа символа, которая в теориях информации, как правило, сводится к имматериальному обмену данными, к «обороту языка» [2, p 16]. В рамках трудной проблемы техничности, акцентирующей материальность техники, человеческое и машинное письмо рассматриваются в порядке диспаратности: их логики несоизмеримы, но в совместной среде способны образовывать новое знание, складывающееся в текстуре, две стороны которой не совпадают, относясь к разным перспективам (объективность, складывающаяся между техническим объектом и средой / объектальность, обращенная к этому сопряжению извне психической и коллективной индивидуации).

9. Симондон считал, что технический объект должен быть не только избавлен от отчуждения, но и спасен: «почти в том же смысле, как в Писании говорится о спасении человека. Я верю, что в техническом объекте есть человечность и что эта отчужденная человечность может быть спасена при условии, что человек отнесется к ней с почтением» [1, p. 449]. Под спасением он понимал не метафизический акт, а восстановление связей между техническим и культурным. Для искусственного интеллекта это означает — не воспринимать модель как автономную символическую машину, а видеть в ней форму объективности, требующую осмысления, регулирования и этической сопричастности. Развился технической эсхатологии лежит в области резонанса и диссонанса технического субъекта и технического объекта. В первом случае технический субъект выступает как взаимопереводчик, координатор и постоянный изобретатель машин [2, p. 13], во втором как угнетатель и рабовладелец, отчужденный от самого себя.

10. Понятие текстуры промежутка позволяет связать философию техники Симондона с современными дебатами об искусственном интеллекте. Техническая объективность (материальная реальность технического) и технологическая объектальность (человеческие представления и практики) образуют динамическую ткань совместного становления. Удержание этого различия — условие того, чтобы техника не превратилась в невидимый фон, а осталась видимой частью культуры знания.

Литература

1. Simondon G. Sur la technique (1953–1983). Paris: Presses Universitaires de France, 2014. 465 p.
2. Simondon G. Du mode d'existence des objets techniques. Paris: Aubier, 2012. 367 p.
3. Combes M. Gilbert Simondon and the Philosophy of the Transindividual. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2013. 142 p.
4. Barthélémy J.-H. Penser l'individuation: Simondon et la philosophie de la nature. Paris, L'Harmattan, 2005. 254 p.
5. Alioui J. Le symbolisme technologique de Gilbert Simondon. Lausanne: Épistémé, 2025. 442 p.
6. Simondon G. L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 2013. 560 p.

Текстуальность и генеративность: о грядущей метамодернистской рациональности

Галкин Д.В.
Доктор философских наук
Национальный исследовательский Томский государственный университет, профессор
E-mail: gdv_t@mail.ru

Аннотация: Автор обращается к проблематике, связанной с противоречивостью рационалистического фундамента вычислительной логики ИИ и основных параметров метамодернистской «структуры ощущений». В рамках заявленной проблематики отмечается противоречие между обусловленной большими данными «голой жизнью» искусственного разума и фундаментальной нарративностью культурных феноменов и процессов, определяющих, в частности, смысловые структуры текстуальности. Рассматривая работы и подходы художников от раннего модернизма до своременного нейроарта, где используются передовые инструменты ИИ в качестве генеративной основы творчества, автор обозначает вопрос о горизонтах новой метамодернистской рациональности и становлении гибридной системы производства текстов на основе технической генерации и моделях человеческого «авторства».

Ключевые слова: метамодернизм, генеративное искусство, искусственный интеллект, рациональность, нарратив, культура, нейросети, со-творчество.

Textuality and Generativity: On the Coming Metamodern Rationality

Galkin D.V.
National Research Tomsk State University

Abstract: The author addresses the tensions between the rationalist foundations of AI's computational logic and the key parameters of the metamodern "structure of feeling." Within this framework, the paper highlights the contradiction between the "bare life" of artificial reason shaped by big data and the fundamental narrativity of cultural

phenomena and processes that define, in particular, the semantic structures of textuality. Examining the work and methods of artists from early modernism to contemporary neuro-art, where advanced AI tools function as generative engines of creativity, the author outlines the question of the horizons of a new metamodern rationality and the emergence of a hybrid system of text production grounded in technical generation and evolving models of human "authorship."

Keywords: metamodernism, generative art, artificial intelligence, rationality, narrative, culture, neural networks, co-creation.

Предлагаю начать со следующей постановки вопроса: что вообще делает жестко детерминированная предельно рациональная система в мире метамодернизма? Искусственный интеллект является именно такой системой, наследуя наилучшие и наиглубинные традиции европейского рационализма. Которые привели нас, кстати, к двум мировым войнам (и уже практически к третьей). Если же верить новейшим и моднейшим веяниям в культурной теории, то наши дни метамодернизма наполняются новой искренностью, аффектом, реабилитацией гуманности и истины, а также приятными колебаниями между упертостью модернизма и скептической иронией постмодернизма. На этом фоне искусственный компьютерный разум – огромный и бесчувственный, погруженный в большие данные, которые и представить невозможно – выглядит как-то не вполне уместно.

Философ Бен-Чхоль Хан [1] проводит важное онтологическое различие между природой данных и нарративным характером культуры. Мир данных и привязанный к нему на цепь слуга - искусственный интеллект – это мир голой жизни как физического потока компьютерных сигналов, лишенный нарративной жизненной силы, питающей мир культуры. Мир без рассказа, в лучшем случае способный на потребительский сторителлинг. Мир данных также лишен эротизма – желания, драйва, влечения, наслаждения, не смотря на процветающую в нем порнографию. ИИ в этом отношении – он лучший друг, товарищ и брат порно.

У профессиональных дизайнеров и художников термин «генератор» обозначает разнообразны творческие методики, благодаря которым получаются новые идеи и образы для разных творческих проектов. У каждого автора есть свой арсенал таких инструментов на творческом верстаке. И базу этой методологии мы в изобилии находим в модернистском искусстве. Дадаисты и сюрреалисты, например, были мастерами «спорта» в это деле со своими коллажами, нарезками и автоматическим письмом. Они полагались на случайность как генератор художественной идеи и целого пути самого художника, когда бродили по случайным маршрутам, проложенным по городским улицам и ведущим к самым неожиданным и странным встречам, которые невозможно сфабриковать.

Если заглянуть глубже в историю, то вполне продуктивным генератором еще в 18-веке была музыкальная игра в кости, которая позволяла сочинять музыкальные стандарты (вальсы, марши и проч.) любому дилетанту из простого комбинирования заготовок из заранее написанных композиций в результате выпавших комбинаций костей. Просто вдумайтесь: в цикле 6 бросков по числу всех граней мы получим более сорока тысяч комбинаций. То есть, без вальса не останемся. Одно из руководств в подобном композиторском творчестве даже приписывают Моцарту.

Идея сделать весь мир со-творцом, со-художником неотделима от искусства и популярной культуры XX века. Мы находим ее влияние и в джазовой импровизации, и в театральном процессе по методам Мейерхольда, и в шумовой или индустриальной музыке, и в хэппенинге и много, где еще. Конечно, здесь просто нельзя не упомянуть Джона Кейджа и его опус 4"33. История с использованием искусственного интеллекта (ИИ) как подобного рода генератора – это лишь одна из страниц большого пути генеративного модернизма. Да, в наши дни эта страница возможно превратится в отдельную книгу целой эпохи. В историко-культурном контексте генеративное искусство развивалось в своей логике, а искусственный интеллект – в своей. Их встреча была во-многом предопределена самим генеративным искусством, ибо внутри его экспериментов не прекращались поиски того, чему художник мог

бы делегировать творческий процесс как со-творцу – случаю, дождю, ветру, мусору, компьютеру… И чем автономнее и своенравнее такой со-творец, тем лучше. Нам представляется, что в предопределенности этой встречи важно не то, насколько революционен ИИ как технология. Принципиальным является то разнообразие и эволюция идеи, концептов и амбиций, которое закладываются и в сам ИИ, и в искусство на основе ИИ. Рассмотрим некоторые примеры.

Художественные генераторы «искусственной жизни» - модели-прототипа индуктивного ИИ - работают в творчестве британцев Уильяма Лейтема (William Latham) и Карла Симса (Karl Sims). Их работы генеративны настолько, что являются не больше не меньше компьютерными моделями эволюции и производят «виртуальную природу». Лейтэм стал известен благодаря своим «призракам скульптур» – синтетическим трехмерным формам, которые он «выращивал» на экране компьютера с помощью оригинального программного обеспечения. В конце 1980-х гг. он работал в британском филиале компании IBM и имел доступ к самым современным компьютерам, а также возможность сотрудничать с лучшими программистами компании. Интересно, что его дипломная работа в Королевском колледже искусств (Лондон) была посвящена эволюции форм. Он изображал дерево эволюции совершенно в духе Малевича от простейших геометрических единиц до комплексных эстетических объектов. В качестве основы генератора он использовал модель «гена» как простых геометрических правил и числовые параметры их исполнения компьютером (растягивание, поворачивание, объединение, например, куба и спирали). Так, из простейших геометрических форм начинают бесконечно размножаться причудливые компьютерные скульптуры и дерево художественной эволюции не прекращает свой рост. Удивительно, но их формы всегда напоминают что-то знакомое из живой природы: раковины, щупальца, эмбрионы и т.п. Виртуальные скульптуры Лейтема парадоксальны. С одной стороны, они реалистичны: глядя на экран, вы чувствуете их вес, фактуру, объем. Но, с другой стороны, их нет, они не существуют в нашем мире. Они – трехмерные призраки скульптур, находящиеся где-то в параллельных возможных мирах и не скованные ограничениями физического мира (иллюстрации на официальном сайте http://doc.gold.ac.uk/~mas01whl/index.html).

В творчестве Карла Симса моделирование биологической эволюции также занимает центральное место. Искусственная эволюция – это борьба и естественный отбор виртуальных существ, который может искусственно варьироваться и происходить несравнимо быстрее эволюции в природе. Кроме того, это интерактивная художественная модель эволюции, дающая возможность человеку (зрителю) активно участвовать в процессе отбора. В результате именно зритель осуществляет отбор и задает эстетические параметры эволюции. Однако Симс настаивает, что при этом искусственная эволюция сама создает формы виртуальной жизни и лишь она является автором своих произведений. Следуя этим принципам, Карл Симс создал в 1993 г. свою знаменитую работу «Генетические образы» (Genetic Images), которую представил на фестивале медиаискусства «Ars Electronica» (Австрия) и в Центре современного искусства имени Ж. Помпиду (Франция). На 16 экранах компьютер каждые 30 секунд генерирует абстрактные изображения. Зритель выбирает образ, который станет основой («геном») следующей графической «мутации». Серия выборов изменяет эстетический характер образов.

Тема художественных проектов с использованием искусственных нейронных сетей требует специального обсуждения, поскольку доступность подобных инструментов привела к лавинообразному производству так называемого «нейро-арта». Жизнь голого разума здесь просто бьет ключом. Остановимся на нескольких проектах, которые уже зарекомендовали себя на сцене современного искусства.

Как в этой машинной системе являются и обрабатываются культурные ценности? Молодой российский художник Егор Крафт сделал целую серию генеративных проектов с нейронными сетями и машинным обучением, которые работают с довольно чувствительным материалом истории искусства, культурного наследия и возможности его восстановления с помощью современных технологий. Нейросеть обучается на большом массиве трехмерных

моделей античной скульптуру из разных музеев, а затем ей ставится задача реконструировать утраченные элементы этих скульптур. Далее, например, реконструкции элемента торса или головы по версии ИИ отправляется на 3D-печать и инсталлируется на копию исходного антика. Полученные пластические гибриды демонстрируют, одновременно, удивительный генеративный потенциал нейросети и поразительную неадекватность пластики, образа, эпохи, материала. Генеративная мощь ИИ проявляет себя в глитче и девиациях, как будто голый разум решил сам себя развлечь. Помимо итоговой продукции – глитч-заплаток на античную скульптуру – художник эффектно показывает в видео-инсталляциях как устроен сам это процесс творческой мысли нейросети. Во-многом, именно благодаря возможности с помощью аппаратных средств и визуализации заглянуть в самый малейший этап генерации внутри нейросети, благодаря возможности обнажить и расколдовать творчество машины, генеративное искусство обретает свой особый художественный шарм.

В работе Елены Никоноле «Птичий язык» (Bird Language, 2018-2020) инструменты ИИ используются для построения системы коммуникации между человеком и нечеловеческими агентами. Сначала нейросеть пытается собрать из массива записей трелей соловья встроенную грамматику птичьего языка. Затем она учится сама генерировать трели, чтобы говорить с птицей. На следующем уровне нейросеть формирует такую грамматику, которая стала бы мостом для общения человека и соловья. Проект базируется на теории универсальной грамматики Хомского и реализован при активном участии ученых орнитологов, математиков и экспертов по искусственным нейронным сетям. Подобное генеративное искусство моделирует ситуацию и возможности включения нечеловеческих агентов в художественный процесс, а ИИ мыслится уже не столько как инструмент, сколько как один из таких агентов. Поскольку сама Елена – один из авторов Манифеста критического ИИ-искусства, с которого мы начали наш разговор, этот проект очевидно становится его частью как опыт и способ работы с теми вопросами, которые в манифесте заявлены.

Итак, мы предположили, что развитие ИИ сегодня как гипертрофированной рациональности, с ее голой жизнью разума в каземате больших данных, не попадает в тренд эпохи метамодернизма. И как-то оправдать этот совсем неуместный мега-рационализм вроде особенно и не чем. Логика метамодернизма такова, что она в некотором почти невозможном усилии сочетает удушающий прием модернистской рациональности и контрприем постмодернисткой разочарованной иронии [2]. Вопрос – применительно к чему? «Птичий язык» конечно дает надежду на аффект и искренность, только в диалоге с нелюдьми. Нейронные заклепки и глитч на античной пластической форме подталкивают к искренней тоске по утраченным идеалам. Искусственная эволюция, как минимум, развлекает. Если Бен-Чхоль Хан прав, и мы живем в мире конца нарративов и агонии эроса, то скорее всего так ожидаемые возможности ИИ лишь подтвердят известную мудрость – крылья возможностей покрыты перьями смерти. По крайней мере, в голой жизни разума за последнее столетие эти перья только и летят в разные стороны. Однако, историческая правда не менее убедительна. Ведь удалось за 20 лет развития Интернета накинуть на него культурную и политическую узду. ИИ ждет то же самое. Пока лучше наблюдать и как следует запасаться нарративами.

Литература

1. Хан Ч.Б. Кризис повествования. Как неолиберализм превратил нарративы в сторителлинг. М.: Лед.Smart, 2023. 160 с.
2. Метамодернизм: историчность, аффект и глубина после постмодернизма: под ред. Робина ван ден Аккера. М.: Панглосс, 2019. 493 с.

Является ли генерация текста LLM бредовой работой?

Филатова А.А.
Кандидат философских наук
Тюменский государственный университет, научный сотрудник
E-mail: a.filatova@utmn.ru

Аннотация: В статье рассматривается применение концепта Г. Франкфурта «bullshit» к описанию продуктов генеративных моделей искусственного интеллекта. На материале статьи М. Т. Хикса, Дж. Хамфриса и Дж. Слейтера «ChatGPT is bullshit» анализируются философские и эпистемологические следствия использования этого понятия для объяснения поведения LLM. Анализ критических отзывов на статью показал, что данный концепт имеет ряд ограничений, в частности не вбирает в себя те типы высказываний, которые производят модели, но которые не могут быть идентифицированы как истинные или ложные. Кроме того, концепт имеет очевидную негативную этическую коннотацию, которая мешает увидеть конструктивный потенциал продуктов, которые производят LLMs для расширения возможностей человеко-технического взаимодействия и создания новых продуктов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие языковые модели, текст, генерация, bullshit, Франкфурт.

Is LLM text generation a bullshit job?

Filatova A.A.
University of Tyumen

Abstract: The article examines the application of Harry Frankfurt's concept of bullshit to the description of outputs generated by artificial intelligence models. Drawing on the 2024 paper "ChatGPT is bullshit" by M. T. Hicks, J. Humphries, and J. Slater, it analyzes the philosophical and epistemological implications of employing this notion to explain the behavior of large language models (LLMs). The analysis of critical responses to the paper shows that the concept has several limitations, as it does not encompass the kinds of utterances produced by LLMs that cannot be classified as true or false. Furthermore, the concept carries an evident negative ethical connotation, which obscures the constructive potential of LLM-generated products for expanding human–machine interaction and creating new forms of meaning-making.

Keywords: artificial intelligence, large language models, text, generation, bullshit, Frankfurt.

В вышедшей в 2024 году статье «ChatGPT is bullshit» М. Т. Хикс, Дж. Хамфрис и Дж. Слейтер обращаются к философскому концепту Г. Франкфурта «bullshit» для того, чтобы охарактеризовать продукты, которые производят большие языковые модели (далее — LLM) [1]. Несмотря на то что это не первая попытка именовать сгенерированный текст чушью, брехней или бредом [2, 3], именно эта статья привлекла внимание публики и спровоцировала профессиональную дискуссию об эпистемическом статусе искусственного интеллекта (далее — ИИ) и результатов его деятельности. Ее авторы считают термин «bullshit» удачным для описания работы моделей по нескольким причинам. Он более точен по сравнению с альтернативными способами описания, например, «галлюцинирующий» или «лгущий» ИИ, поскольку не допускает, что у технологий подобного рода может быть сознание и заинтересованность в истине как таковой. Однако он сохраняет этическое беспокойство, связанное с тем, что пренебрежение к правде представляет угрозу для человеческих практик и социальных институтов, для которых различение лжи и истины является принципиальным и жизненно необходимым (например, если речь идет о здравоохранении, образовании и т. п.).

«Bullshit» по Франкфурту дифференцируется на разные типы по наличию у агента намерения вводить аудиторию в заблуждение. «Hard bullshit» создается с целью искажения представлений о мотивах убеждающего. Для идентификации такого рода чуши мы должны диагностировать у производящего ее субъекта интеллектуальные пороки, в частности, враждебное отношение к истине [4]. Если у говорящего нет подобного рода намерений, он просто производит контент без оглядки на его истинность, то стоит говорить о «soft bullshit». Примером «мягкой чуши» могут служить рекламные слоганы.

Данное различение имеет принципиальное значение, когда мы пытаемся описать поведение генеративных моделей, поскольку приписывание способности к производству «hard bullshit» влечет целый ряд аргументационных затруднений. Как минимум нужно доказать, что LLM обоснованно приписывать намерения и эпистемические качества характера. М. Т. Хикс, Дж. Хамфрис и Дж. Слейтер утверждают, что говорить о моделях как о «bullshit machine» в слабом смысле достаточно легко: сама их внутренняя механика выстроена таким образом, чтобы производить не точные, а правдоподобные высказывания. Модели не обращаются к положению дел, а выбирают статистически наиболее вероятную последовательность слов. Для обоснования наличия намерения ввести в заблуждение требуются более весомые аргументы. Кажется, что доказывать присутствие намерения как особого ментального состояния у генеративного ИИ не очень перспективно и с эмпирической, и с метафизической точки зрения. Однако можно прибегнуть к функционалистскому подходу и попытаться обнаружить в действиях LLM поведенческие маркеры намеренной коммуникации. Прежде всего стоит обратить внимание на феномен «агрессивной уверенности», с которой модели подают информацию. Используемая ими модальность высказывания призвана убедить читателя в правдивости производимых моделью утверждений, которые подаются как факты, не будучи ими по сути. Сама имитация намерения, которую демонстрируют чат-боты во взаимодействии с людьми, то есть создание заведомо ложного впечатления о своей ментальной жизни, может быть расценена как введение в заблуждение.

Одним из решений проблемы атрибуции убеждений и намерений ИИ является «интенциональная позиция» Д. Деннета, согласно которой менталистский язык целесообразно использовать в тех ситуациях, когда он позволяет объяснить и предсказать поведение системы. Если концепты типа «думает», «намеревается», «желает» помогают нам понять логику принятия решений или ошибки моделей, то их использование можно считать оправданным. Однако такой подход имеет и негативные последствия. В частности, излишняя антропоморфизация технологий может порождать у людей ложные иллюзии об их возможностях и смещать ответственность с человека на машину.

Критические отзывы на статью М. Т. Хикса и коллег структурируются по нескольким основным направлениям. Дж. А. Ликон утверждает, что объяснение того, почему LLM производят чушь, не стоит ограничивать дизайном самих моделей. Следует обратиться в первую очередь к созданным людьми данным, на которых ИИ обучается. ChatGPT — генератор чуши потому, что люди сами являются «bullshitters» [5]. Людям свойственно нести чушь по разным причинам: чтобы поддерживать репутацию в сообществе, казаться более интеллектуальными, достигать поставленных целей и т. п. LLM органично вписываются в общую социальную фабрику по производству чуши.

Другая линия критики фокусируется на том, что концепт «bullshit» применим только к дескриптивным высказываниям, поскольку им можно предъявить требования истинности. Другие типы высказываний, например нормативные, не могут быть чушью по определению. П. Д. Магнус и др. указывают, в частности, на ограничение франкфуртского понятия при анализе извинений, которые производят чат-боты [6]. Хотя извинения не могут быть истинными или ложными, они могут быть искренними или фальшивыми. И для этого различения применительно к ИИ нужно искать другой философский концепт.

Возражения вызывает и критика М. Т. Хиксом и др. антропоморфных терминов, таких как «галлюцинация», которые применяют для описания ошибок, возникающих в процессе

генерации текстов. Как отмечают Д. Ганкель и С. Коглан, понятие чуши не менее антропоморфно, чем «галлюцинация» или «конфабуляция», используемые инженерами. Чтобы производить чушь, нужно, как минимум, демонстрировать равнодушие, которое в традиционном смысле трудно обнаружить у LLM. Антропоморфные метафоры при объяснении поведения LLM могут по-разному работать при описании внутренних процессов, происходящих «под капотом», и при описании внешнего поведения модели, с которым сталкиваются пользователи. В последнем случае они чаще выполняют эвристическую функцию, помогая понять, как работать и взаимодействовать с ИИ наиболее оптимальным способом. Такие метафоры вовсе не всегда создают иллюзии и искаженное восприятие объекта.

Для более детального пояснения теоретической релевантности и, главное, полезности использования термина «bullshit» применительно к генеративной работе следует сделать различение, которое неочевидно прослеживается как у Франкфурта, так и в статье М. Т. Хикса и коллег. Говоря о чуши, они беспроблемно переходят от описания характеристик субъекта к реконструкции действий и результата действия [8]. Такой подход схлопывает многообразие вариантов, при которых эпистемически безразличный агент может создавать социально значимый продукт, или процесс, выстроенный на принципах статистической вероятности, рождает новые нетривиальные смыслы.

Сложно признать, что при работе с LLM мы не различаем качество генераций и не можем оценить их когнитивную или социальную значимость. В этом смысле сам факт того, что модели, действуя безотносительно к истине, способны производить тексты, которые становятся предметом профессиональной, научной или эстетической интерпретации, свидетельствует о более сложной природе феномена, чем это допускает франкфуртовское определение. «Bullshit» в исполнении LLM — не просто шум или фальсификация, а особая форма дискурсивной продуктивности, возникающая на пересечении человеческих и машинных практик.

С точки зрения эпистемологии, важно, что LLM функционируют в рамках иерархии человеческих значений и практик. Они не создают истины, но участвуют в процессах ее циркуляции, трансформации и симуляции. Генеративный ИИ становится механизмом, который не просто копирует человеческую речь, а производит новые формы высказываний, обладающих эффектом знания. Эта «вторичная эпистемичность» не требует намерений или убеждений, чтобы иметь социальные последствия. Когда студенты используют ChatGPT для подготовки эссе, журналисты — для черновиков, а исследователи — для анализа текстов, «чушь» становится операциональным материалом, который структурирует когнитивные практики, даже если он эпистемически пуст.

Отсюда вытекает необходимость различать «bullshit» как моральную категорию (пренебрежение к истине) и как когнитивную технологию (способ обращения со значениями). Для Франкфурта и Хикса bullshit — угроза истине. Но в контексте генеративных моделей он может выступать как производительная сила, через которую формируются новые формы смысла, модальности письма и способы взаимодействия с информацией. ИИ не заменяет истину ложью, а переводит эпистемическое поле из бинарной логики «истинное–ложное» в спектр вероятностных, прагматических и риторических регистров.

Благодарность

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта "Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта" (FEWZ-2024-0052)

Литература

1. Hicks M.T., Humphries J., Slater, J. ChatGPT is bullshit // Ethics and Information Technology. 2024. Vol. 26. No. 38.
2. Rudolph J., Tan S., Tan S. ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education? // Journal of Applied Learning and Teaching. 2023. Vol. 6. No. 1, P. 342–363.
3. McQuillan D. ChatGPT is a Bullshit Generator Waging Class War // Vice. 2023. 10 February. URL: (https://www.vice.com/en/article/akex34/ chatgpt-is-a-bullshit-generator-waging-class-war (accessed 10.10.2025)
4. Cassam Q. Vices of the mind. Oxford University Press, 2019. 202 p.
5. Licon J.A. ChatGPT is Bullshit (Partly) Because People are Bullshitters. Philosophy & Technology. 2025. Vol. 38. No.75.
6. Magnus P.D., Buccella A., D'Cruz J. Chatbot apologies: Beyond bullshit // 2025. *arXiv preprint.* ArXiv, abs/2501.09910.
7. Gunkel D., Coghlan S. Cut the crap: a critical response to "ChatGPT is bullshit" // Ethics and Information Technology. 2025. Vol. 27. No.23.
8. Cohen G. A. Deeper into bullshit. In: Contours of agency: Essays on themes from Harry Frankfurt. S. Buss & L. Overton (Eds.). MIT Press, 2002. P. 321–339.

Ленивые студенты или градуальность понимания в LLM?

Терехович В.Э.
Кандидат философских наук
НИУ Высшая школа экономики, доцент
E-mail: v.terekhocich@gmail.com

Аннотация: В статье оспаривается позиция Л. Флориди, который сравнивает большие языковые модели с «ленивыми студентами», механически компилирующими тексты без понимания. Утверждается, что эта метафора основана на непроясненных предпосылках о природе понимания и семантического заземления. Подчеркивается, что понимание — не бинарное свойство, а многомерный континуум. Современные LLM демонстрируют композициональную систематичность и способность переносить структуры в другие области без обучения, что прямо противоречит метафоре о «стохастических попугаях» и тезису, что «форма не может породить значения». Анализ множественных механизмов заземления — референциального, функционального и социального подрывает идею о том, что только прямой телесный опыт создаёт подлинный смысл. Предлагается переосмыслить дихотомию понимание подлинное и неподлинное.

Ключевые слова: большие языковые модели, семантическое заземление, понимание, композициональность, стохастические попугаи, философия искусственного интеллекта, Флориди.

Lazy Students or Gradual Understanding in LLMs?

Terekhovich V.E.
HSE University

Abstract: This paper challenges L. Floridi's position comparing large language models to "lazy students" who mechanically compile texts without understanding. It argues that this metaphor rests on unexamined presuppositions about the nature of

understanding and semantic grounding. Understanding is characterized not as a binary property but as a multidimensional continuum. Contemporary LLMs demonstrate compositional systematicity and the ability to transfer structures to other domains without training, directly contradicting the "stochastic parrots" metaphor and the thesis that "form cannot give rise to meaning." Analysis of multiple grounding mechanisms—referential, functional, and social—undermines the idea that only direct embodied experience creates genuine meaning. A reconceptualization of the genuine/non-genuine understanding dichotomy is proposed.

Keywords: large language models, semantic grounding, understanding, compositionality, stochastic parrots, philosophy of artificial intelligence, Floridi.

Когда Лучано Флориди [1] ввёл концепцию семантического капитала как богатства идей, традиций, языков, искусств и наук, которые человечество производит и передаёт следующим поколениям, он не говорил о больших языковых моделях (LLM). Но позже он обратился к критике LLM. В 2023 году Флориди [2] признаёт правоту некоторых аспектов критики Бендер и соавторов, сформулированной в их работе 2021 года о «стохастических попугаях» [3]. Флориди отмечает, что метафора попугая (он все-таки что-то соображает) помогает лишь частично, потому что LLM синтезируют тексты новыми способами, реструктурируя содержание, на котором они были обучены, а не просто повторяя или сопоставляя фрагменты. Они якобы больше похожи на функцию автозаполнения поисковой системы. И своей способностью к синтезу напоминают ленивых студентов, которые, чтобы написать короткое эссе, используют дюжину релевантных ссылок, предложенных преподавателем, и, беря понемногу здесь и там, составляют эклектичный, хотя и связный текст, но мало что понимая в нем.

Флориди прав, что LLM работают иначе, чем попугаи. Но, все же его позиция во многом схожа с аргументацией Бендер и Коллер [4], которые считают, что человеческие языки соединяют форму и значение, а LLM питаются обучающими данными, содержащими только форму без значения. Их главный тезис о недостаточности формы для обретения смысла, поскольку невозможно подлинное понимание без какой-либо референции к реальности.
Полагаю, что в контексте понятия «понимание» термин «семантический капитал» слишком узок. С одной стороны, он как будто игнорирует аспекты прагматики и референции. В этом случае, лучше говорить о «*укоренённом понимании*» (grounded understanding). Это сближает Флориди с позицией Бендер и соавторов. В этом случае позицию можно критически анализировать с точки зрения различных видов заземления у современных LLM. С другой стороны, можно говорить об «*экзистенциально заземлённых смыслах*» (existentially grounded meanings) относительно индивидуального осознания собственного существования во времени. Здесь рассуждения Флориди имеют гораздо большие философские основания.

Проблема начинается с самого понятия понимания. Когда мы говорим, что студент «мало что понял», мы имеем в виду определённый тип понимания. Но понимание — не монолитное свойство, которое либо есть, либо его нет. Можно говорить об *операциональной компетентности* — способности корректно извлекать информацию из текста и успешно решать когнитивные задачи. Современные LLM демонстрируют впечатляющую компетентность именно в этом измерении. Они способны к тому, что исследователи называют zero-shot transfer — применению знаний в непредвиденных контекстах. Они успешно справляются с аналогическим рассуждением и контекстуальной адаптацией. Есть *объяснительное понимание* — способность устанавливать связи между явлениями, отвечать на вопрос «почему?» и артикулировать основания своих суждений. И здесь современные LLM тоже показывают неплохие результаты, особенно когда их просят выстраивать цепочки рассуждений. Наконец, есть *феноменологическое понимание* — субъективное переживание, связанное с квалиа, с тем, «каково это» — понимать. С этим измерением всё действительно сложнее, потому что у нас нет чётких его критериев даже для людей.

Метафора Флориди предполагает, что студент, механически компилирующий текст из разных источников, не обладает пониманием. Но что, если этот студент при этом способен правильно применить новые знания в неожиданной ситуации? Что если он может объяснить логику своих утверждений? Разве это не признаки по крайней мере частичного понимания?

Есть ещё один важный аспект, который подрывает метафору механического компилирования. Современные исследования показывают, что LLM спонтанно демонстрируют композициональную генерализацию. Они понимают вложенные синтаксические конструкции и переносят правила без прямого обучения на таких примерах. Это означает, что распределённая векторная форма может содержать скрытую структуру. Это прямо противоречит тезису Бендер и Коллера о том, что «форма не даёт значения». Систематичность оказывается эмерджентным свойством достаточно крупных и правильно обученных систем. Студент, механически компилирующий текст, не демонстрирует композициональную систематичность, он скорее копирует готовые фрагменты. А LLM делают нечто иное — они извлекают структурные паттерны и способны их рекомбинировать новыми способами.

Критика Флориди и Бендер с соавторами неявно предполагает, что подлинное понимание требует прямого сенсомоторного опыта — «воплощённости», о которой говорят сторонники embodied cognition. Но почему прямой телесный опыт должен быть единственным привилегированным путём к смыслу? Современные исследования [5; 6] показывают, что существуют разные механизмы заземления или связи между символами и миром. Например, *референциальное заземление*, которое возникает через обучение с подкреплением на основе человеческой обратной связи. LLM с помощью людей учится отличать фактически верные утверждения от неверных, она обучается отслеживать аспекты реального мира. Исследования показывают, что LLM формируют собственные внутренние репрезентации — «модели мира», которые каузально влияют на их выходы. Это уже не просто поверхностное сопоставление паттернов. Говорят и о *функциональном заземлении* — извлечение структурных паттернов и функциональных отношений между концептами из огромных массивов данных. Модели формируют репрезентации, отражающие, как вещи связаны друг с другом в мире. Очевидно, есть и *социальное заземление* — постепенное освоение языковых практик, тех самых «языковых игр» Витгенштейна. LLM учатся правилам использования языка, прагматическим импликатурам, пресуппозициям — всему тому, что делает речь осмысленной в социальном контексте.

Понимание оказывается не бинарным свойством, а многомерным и градуальным. Все виды заземления работают по степени. LLM обладают высокой степенью функционального понимания и операциональной компетентности, средней степенью объяснительного понимания и социального заземления, спорной степенью референциального заземления. И пока неясно какой степенью феноменального сознания.

Думаю, есть одно измерение, где критика Флориди наиболее убедительна — это темпоральность и экзистенциальное измерение смыслообразования. Пишущий человек обладает историей, развивается во времени. Этот процесс трансформирует не только текст, но и самого автора. Человеческая рефлексия связана с личной историей, телесным опытом и стабильной идентичностью. У LLM нет темпоральной непрерывности и аккумуляции опыта во времени [7]. Но и здесь картина меняется. Появляются агентные архитектуры с долговременной памятью и механизмами обучения в процессе взаимодействия. Системы, которые могут накапливать историю взаимодействий, учиться на своих ошибках в разных сессиях, запоминать успехи и неудачи. Это создаёт новую форму темпоральности — не биографическую в экзистенциальном смысле, но функциональную и операциональную.

Метафора Флориди о посредственном студенте предполагает качественную пропасть между человеческим и машинным пониманием. Но понимание — это не то, что либо есть полностью, либо отсутствует совершенно. Это многомерный континуум, и на разных его измерениях LLM демонстрируют разные степени компетентности. Да, LLM работают иначе, чем люди, они лишены феноменального опыта, биографической непрерывности, экзистенциального проживания смысла. Но из этого не следует, что они не понимают «по-

настоящему». Они понимают иначе — функционально, операционально, структурно. Они извлекают структурные инварианты, демонстрируют композициональную систематичность, формируют модели мира. Это не полное человеческое понимание, но это и не отсутствие понимания.

Литература

1. Floridi L. Semantic Capital: Its Nature, Value, and Curation // Philosophy and Technology. 2018. Vol. 31. No. 4. P. 481-497.
2. Floridi L. AI as Agency Without Intelligence: on ChatGPT, Large Language Models, and Other Generative Models // Philosophy and Technology. 2023. Vol. 36, Article 15.
3. Bender E. M., Gebru T., McMillan-Major A., Shmitchell S. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In: Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. 2021.
4. Bender E. M., Koller A. Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data. In: Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2020.
5. Mollo D., Millière R. The Vector Grounding Problem // arXiv e-prints. 2023. arXiv-2304.
6. Lyre H. Understanding AI: Semantic Grounding in LLM // arXiv preprint. 2024. arXiv:2402.10992
7. Lloyd D. What is it like to be a bot? The world according to GPT-4 // Frontiers in Psychology. 2024. Vol. *15*. P. 1292675.

Тело, текст и трансформер: к совместной со-динамике медиа и мышления

.

Щукин Т.Н.

Кандидат психологических наук

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), руководитель проектов

E-mail: timurid@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается трансформерная архитектура больших языковых моделей как новый тип медиума, изменяющий отношения между телом, текстом и техникой. Исходя из культурно-исторической психологии Л.С. Выготского и концепции аугментации Д. Энгельбарта, показывается, что процессы интериоризации и экстериоризации образуют единую петлю ко-эволюции человека и техники. В медиальной оптике (М. Маклюэн, Ф. Киттлер, Б. Стиглер) трансформер предстает как вероятностное пространство, где письмо становится динамическом пространством со-действия человека и машины. Такой подход позволяет преодолеть разрыв между инженерной и философской логиками и рассматривать современные интерфейсы - от классических текстовых до XR-сред - как условия формирования новых форм внимания, распределённого мышления и телесной со-включённости. LLM трактуется как междисциплинарный концепт, задающий общую грамматику взаимодействия психического, технического и культурного.

Ключевые слова: трансформер, медиа, письмо, тело, Выготский, Маклюэн, аугментация, интерфейс.

Body, Text, and Transformer:
Towards a Shared Co-Dynamics of Media and Thinking

Shchukin T.
Moscow Aviation Institute

Abstract: The paper interprets the transformer architecture of large language models as a new type of medium that reshapes the relations between body, text, and technology. Drawing on L.S. Vygotsky's cultural-historical psychology and Douglas Engelbart's theory of augmentation, it shows that the processes of interiorization and exteriorization form a single loop of co-individuation between humans and technical systems. Within the medial optics developed by McLuhan, Kittler, and Stiegler, the transformer appears as a probabilistic space in which writing becomes a dynamic scene of human–machine co-action. This approach bridges engineering and philosophical modes of reasoning and situates contemporary interfaces—from classical text environments to XR frameworks—as conditions for new forms of attention, distributed cognition, and embodied participation. The LLM is thus proposed as an interdisciplinary concept establishing a shared grammar between the psychic, the technical, and the cultural.

Key words: transformer, media, writing, body, Vygotsky, McLuhan, augmentation, interface.

Современные и возникающие среды взаимодействия с текстом порождают новые, актуальные и потенциальные типы связи между текстом и телом. Их развитие и по разному контекстуализированные попытки их осмыслить выявляют напряжение как минимум между двумя логиками - инженерной, направленной на проектирование эффективных интерфейсов, и философской, воспринимающей эти связи как относящиеся не только к онтологии языка и письма, но и к пространствам власти, желания, внимания и субъектности. Эти логики редко вступают в прямой контакт: их языки различны, их средства, цели и объекты принадлежат к разным культурам мышления.

Настоящий текст предлагает модель перспективного пространства, где возможна коммуникация между ними - пространство, в котором инженер, создающий системы аугментации, и философ, исследующий формы медиальности и трансформации желания, оказываются в совместной процедуре рассуждения, а возможно — и в совместной процедуре созидания.

Отправной точкой для нас по целому ряду причин служит рамка культурно-исторической психологии, где внешние знаковые средства рассматриваются как инструменты организации высших психических функций [1]. В этой модели развитие всегда проходит через интериоризацию внешнего - обращение техники в психический процесс через знаковое осредствление. Дуглас Энгельбарт, создатель концепции того, что позже стало "интернетом", а также интерактивных вычислений и таких классических интерфейсов, как «окно» и «мышь», предложил зеркальный ход - экстериоризацию внутреннего - и попытался соединить оба движения в единую петлю аугментации [2].

Если у Л.Выготского знаком становится особым образом организованное взаимодействие с Другим, интериоризируемое в структуру психики и мышления, то у Энгельбарта знаком оказывается уже сам артефакт: он материализует концептуальные формы и, возвращаясь к человеку, расширяет диапазон мыслительных действий. Аугментация, таким образом, есть не надстройка над субъектом, а процесс совместной индивидуации (в терминах Энгельбарта — ко-эволюции) человека и техники через организованный круговорот знаков и сред знакообразования в формах "способностей" и "инструментов".

Такое понимание общих на наш взгляд для Энгельбарта и Выготского концептуальных оснований, естественным образом ведёт к медиальной оптике. Исследуя, как внешние инструменты входят в мышление как знаковую операторику, и как само, так понятое, мышление выходит наружу, мы обнаруживаем тип медиума, который поддерживает или преобразует распределённое мышление. В медиальной теории - от Маклюэна и Киттлера до Стиглера и современных авторов [3–6] - медиум определяется как форма опыта: он не просто передаёт сообщение, но перестраивает чувственные и когнитивные возможности человека, действующего, коммуницириующего и бытийствущего в этой медиальной среде. Для Маклюэна средство - и есть сообщение; и в частности, каждая новая техника письма изменяет телесную и психическую организацию восприятия, мышления и последующего взаимодействия и способов порождения новых медиа на следующем круге. При этом медиатеоретический анализ обращён не столько к индивидуальному опыту, что отчасти было фокусом для Выготского и Энгельбарта (хотя оба, конечно, тоже говорили не о конкретике, а об обобщенных моделях) сколько к массовым процессам трансформации восприятия и культуры.

Трансформер (в архитектуре, известной нам как GPT, - генеративный предобученный трансформер, который, будучи развернутым на языковых артефактах как входных данных, порождает LLM - большую языковую модель) как медиальная архитектура становится в этом смысле культурным феноменом, определяющим массовые практики взаимодействия с текстом. Его медиальность - вероятностная: вместо линейной связи знака и текста как результата возникает поле возможных продолжений, управляемое распределением внимания - и человеческого, и машинного. Мы сталкиваемся не с объектом письма, а с оптикой, которая выделяет не продукт, а процесс. В отличие от пишущей машинки, где клавиша детерминирует букву, взаимодействие с LLM - это программирование вероятностной машины различий, где действие не гарантирует результата, а создаёт пространство возможного.

Такой медиум в очередной раз, возможно, решительно изменяет положение тела в триаде «текст - тело - техника». С одной стороны, тело освобождается от механики письма; с другой - становится центром ритма, пауз и внимания, необходимых для диалога с машиной. Жест, взгляд, дыхание и не всегда речевая, или даже языковая, команда становятся единицами смыслового действия в ряду множества со-настроенных актов. Даже в «классических» голосовых и печатных интерфейсах работы с LLM проявляется то, что интерфейс невозможно отделить от психофизиологии восприятия: он формирует новую схему письма, где различие между телесным и когнитивным растворяется в практике взаимодействия.

Если взглянуть на трансформер через линию М. Мерло-Понти - Ж. Симондон - Ж. Делёз и Ф. Гваттари [8–10], становится видно, что медиа всё меньше остается внешним по отношению к человеку - оно окончательно вступает с ним в решительную ко-индивидуацию. Генеративная модель создает особое организованное пространство, где текст - не след речи, а живой процесс самоподдержания. «Мы уже не в Канзасе, Тотошка»: это уже не пишущая машинка и даже не печатный станок Гутенберга.

Эта динамическая система, только внешне похожая на машинку порождения знаков, оперирует или бытийствует вокруг семантических аттракторов - устойчивых форм, удерживающих траекторию “письма”. Истинным артефактом становится не набор слов, сложенных в последовательность вследствие “коллапса волновой функции” трансформера в кортеж токенов-слов в предложении, а сама траектория движения, порождающая множество возможных текстов - волновые возмущения в полях вероятностей, которые лишь вынужденно редуцируются потоком отдельных токенов-слов через подставленные фильтры грамматики, синтаксиса и десятков других организующих временную, пространственную и семантическую организацию смысловых единиц форм т.н. “слоев внимания” трансформера. Промпт, то есть текстовый запрос “пользователя” - не диктует содержание, но задаёт начальные условия, в которых текст возникает как серия различений и возвратов. Особенно ясно это видно в различии между промптингом как запросом на текстовый ответ и промптингом как способом создания действующих в мире агентов, чья живая ткань — это оживлённый, рекурсивный

и действующий текст. Тем самым фокус смещается с готового артефакта на траекторию его становления.

Для инженера интерфейсов и философа это означает возможность появления общего объекта и связанной с ним проблемы - создание пространства, где мышление удерживает различие как таковое: различие между телом, текстом и техническим. В области XR-интерфейсов («расширенной реальности») эта задача приобретает наглядную форму: структуры взаимодействия, задержки и обратной связи проектируются в режимах, которые философия описывает через категории внимания, восприятия и желания. Ведь в XR - который включает в себя как частные случаи концепты “виртуальной” и “дополненной” реальности пользователь (как и разработчик) входят в текст телом, управляют им жестами, движениями глаз и, в ближайшей перспективе - состояниями тела и разума (через нейро-интерфейсы). Оба подхода сходятся в точке, где медиум понимается не как инструмент, а как особое пространство — пространство со-действия.

Трансформер в этом контексте можно рассматривать не столько как технологию, сколько как промежуточный и потенциально консенсусный междисциплинарный концепт, обеспечивающий метастабильное состояние взаимодействия - условие совместного существования текстовой, психической и технической онтологических динамик без редукции к гуманитарной метафизике и без растворения в инженерной прагматике. Письмо в LLM становится взаимным обучением: человек настраивает модель, а модель - человека, рекурсивно формируя новый тип распределённого внимания. Это требует культуры наблюдения, способной удерживать телесное, когнитивное и техническое в одном дыхании.

Работа с трансформером - в классических или XR-интерфейсах - оказывается поводом не только размышлять о медиальной природе мышления, но и создавать условия её трансформации. Она показывает, как внешние технические структуры становятся органоном мысли - пространством, где психология, философия и инженерия вновь обретают общую грамматику. Это пространство может как уничтожать различия, так и организовывать коммуникацию, в которой различие становится продуктивным. Возможно, именно в этом и состоит потенциальная щедрость нового медиа - в его способности удерживать множество не-только-и-не-сколько-человеческих голосов, не сводя их к одному.

Литература

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.
2. Engelbart D. C. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. SRI Report, 1962. 134 p.
3. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill, 1964. 365 p.
4. Kittler F. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford: Stanford University Press, 1999. 336 p.
5. Stiegler B. Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus. Stanford: Stanford University Press, 1998. 364 p.
6. Hui Y. Recursivity and Contingency. London: Rowman & Littlefield, 2019. 248 p.
7. Simondon G. Du mode d’existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1958. 350 p.
8. Deleuze G., Guattari F. Anti-Œdipe: Capitalisme et schizophrénie. Paris: Minuit, 1972. 528 p.
9. Clark A., Chalmers D. The Extended Mind Revisited. In: Review of Philosophy and Psychology. 2022;13:205–224. 20 p.
10. Pasquinelli M., Joler V. The Nooscope Manifested: Artificial Intelligence as Instrument of Knowledge Extractivism. In: AI & Society. 2023; 38(2):543–559. 17 p.
11. Bratton B. The Revenge of the Real: Politics for a Post-Pandemic World. London: Verso, 2021. 208 p.

The 'Future' is Fully Immersive Virtual.
'We' are still Real. Data still needs to be Contextualized

Frode A.H.
PhD in computer science
London College of Communication, Teacher

Abstract: This paper explores how Extended Reality (XR) can shape the future of knowledge interaction through embodied cognition, spatial interfaces, supported by metadata-rich environments. Drawing from two years of experimental work in the Future Text Lab, the study investigates how our hands, eyes, and gestures remain integral to digital thinking even within immersive virtual spaces. By developing prototypes for manipulating text and metadata in XR, the research demonstrates that meaning-making depends on physical presence and contextual awareness. Metadata is described as the substrate of digital text, enabling intelligent interaction and continuity of knowledge across virtual environments. The paper argues that the next frontier of XR should not only be entertainment but the augmentation of thought - designing environments where information becomes spatial, dynamic, and responsive to human intent. In this vision, XR offers an extension of how we read, write, and reason.

Key words: Text, Extended Reality (XR), Virtual Reality (VR), Human–Computer Interaction (HCI), Metadata, Knowledge Representation, Spatial Computing, Text Interfaces, Visual-Meta.

The future of thought in XR is rich, but we are still tied to our hands and eyes. This has been one of the most surprising aspects of research into work in XR over the last two years, supported by a grant from the Alfred P. Sloan Foundation.

The very first experience of this was a humble test at the start of the work. We were hosting The Future of Text Symposium at the Linnean Society in London. Carl Linnaeus' legacy is the formalization of binomial nomenclature, something which he did partly through the use of index cards, or 'slips', to help him organize the natural world. Being fascinated by this we built a very simple XR for the Quest headset. We build a basic square room, with images of his work on the sides and a few of these slips in space, to allow the use to see and arrange them spatially. One of them featured a line connecting it to another, which we expected to be a very useful visual guide but it turned out it was not.

Even though the space was fully virtual, our minds treated it like a real object, much like a wire for hanging clothes to dry in the wind. This meant that the line felt less than a useful indicator and more like a cable we would bump into.

Our hands are for most of us our most immediate and flexible means through which we can interact with the outside world. In XR we have become freed from the basic interactions of the computer mouse and trackpad–we can gesture and expect responses. As powerful as this is, over the last few years there has been excitement and hype around neural implants. Though promising and interesting, even with a thought we need to be clear about what we want to do and this is something we have trained our hands for, when it comes to many of our interactions.

In XR we are working to make use of this, allowing the user to make a gesture and expect the system to understand what is intended. Much of the challenge of designing information interactions for XR comes from the wide open potential of XR, where we can reasonably say anything is possible, and thus can become overwhelming. Hand interactions however, are 'naturally' constrained by the physicality of the hand. Other constraints are what is termed 'gesture clash' which comes about when a user gesticulates and the system interprets gestures as commands when there was no such intent. A growing constraint is also system gestures, which the operating system enforces for all environments, giving uniformity to the experience but limiting design choice.

The way we are dealing with this in our work is to allow for much direct interaction through pinching virtual objects (where the 'touch' of the object becomes our own fingers) and through what

we call a Mana Menu, developed initially by inspiration from Adam Wern and refined by my Co-Investigator Dene Grigar. The idea is brilliantly simple: There is little chance of accidental touching of one hand by another, so why not embed commands in fingers? This allows us to use our bodies as controls, extending also to our wrists and palms (though no further currently since the rest of the body is not mapped to any degree of refinement). Furthermore, Fabien Bénétou, head developer, has extended the method of 'billboarding'. In XR billboarding normally means that text always faces the user (and in the case of the work of Ken Perlin, the same text can face several users in the same space since everyone has a specific view of thew space). Fabien extended this idea by limiting it in a powerful new way: Text billboards to face the user when it is being pinched and moved, but freezes into location, aspect and rotation on letting go, giving the user fine control over placement. Furthermore, the user's hand, which may partly obscure the text, is rendered in basic wireframe when selecting text as to become transparent.

What we aim to do with this interaction is to give the user magic fingers (think Spiderman slinging information webs and Superman seeing through walls). What we aim to do with this work is to give the user super powers.

Thus we enter XR with our bodies and minds, but what do we enter? We enter a space with must be described to be interacted with. Without the system having access to what something is, it cannot allow us to interact. This makes metadata core to what XR is and can be. Quite simply, the substrate of digital text is metadata. *This is profoundly important to the future of thought in digital environments.*

Tech companies guess and gamble on the digital future beyond the rectangles on desktops, laptops and phone screens, first experimenting with headsets for 'spatial computing' as Apple calls it with the Apple Vision Pro[1] and the Metaverse from Meta[2]. Meta has now moved onto AR [3] with increasingly powerful RayBan co-branded glasses[4] and Apple are reporting to be high on their heels[5], creating something early adopters like Robert Scoble labels disappointing[6], and Keiichi Matsuda painted a dystopic picture of already in 2016 [1].

It is not difficult to see why they are changing direction, their prime use cases are for mass adoption along social, gaming and entertainment. There is no focus on thinking environments beyond providing a multi-screen environment and virtual meetings.

The computer game Crysis, released 2007 out of Budapest, was a highly successful first person shooter with large outdoor environments and credible AI. I remember reading an interview with it in Edge magazine long ago where one of the developers is asked how they managed to make the AI so intelligent and the reply was that making the AI intelligent was not really the issue. The issue was making the environment aware of its own properties in ways that could be communicated. This was a profound insight I thought, and this way of thinking should not be constrained to individual computer games.

In 2019 [2] I published my approach to surfacing metadata, which was the result of my PhD thesis at the University of Southampton. It was a result of finding out how little–if any–metadata was include in published academic papers. I therefore developed a method of simply adding metadata as an appendix to a document as pages added to the end of the document, not 'hidden' in a resource fork. My reasoning was that as long as the metadata was clearly specified and labeled, and it would be extractable, a human or (in the far distant future I thought) AI could access the metadata. With today's LLMs this is easily done[7].

The perspective was simple: If it's important; write it down. If it matters; don't hide it. In this age of LLMs we may also add: If you don't want errors or hallucinations; make it clear.

Vint Cerf wrote the editorial piece in ACM Communications on Visual-Meta *The Future of Text Redux* [3] finishing the article stating that this *"add an exploitable self-contained self-awareness within some of the objects in this universe and increase their enduring referenceability."*

The genesis of Visual-Meta was partly Crysis, partly my mentor Doug Engelbart's philosophy of augmentation and partly a result of wanting to reduce frictions while writing my own PhD thesis using my newly developed Author and Reader (both developed initially for macOS and later extended to iOS and visionOS). I come from an art background, with a degree from Chelsea School of Art, not

from a data or science focused background so I was not well equipped to manually type in citation information while authoring. It was clear to me that the word processor could provide some smarts on pasting text so where I coped a citation in BibTeX from an academic paper download site, on pasting it should be able to convert it onto a citation as an 'object' in the document, which when clicked on would reveal the full citation information and on export would provide the user with a citation reference to their preference (author data, [number] etc.) and add the citation to the Reference appendix automatically. This worked well and was implemented in Author early. The development of Digital Object Identifiers DOI[8]) handles right before the end of the last century and how they can be resolved using APIs[9] allowed Author to also parse DOIs on pasting, allowing citing using official data a simple copy and paste affair for full BibTeX or simple DOIs, making citing more reliable since there were less steps for user error.

Inertia is a heavy weight on progress and academia has so far not been ready to adopt something like Visual-Meta. "You never change something by fighting the existing reality," Buckminster Fuller said. "To change something, build a new model that makes the existing model obsolete" [4]

Today we have such an opportunity, an opportunity to not just to think again, but to change what to think with, with the advent of XR.

Working in the spatial environment of XR requires new ways to store and transmit knowledge and these systems have not been implemented yet. Knowledge in XR is not the same as a 3D scene in 3D.

This is the only point in the history of humanity–in the past or in the future–where we will 'first' enter XR. We must not let this moment go to waste by creating limiting how richly we can dream about what XR cane be for us.

The work we are doing currently is based on expanding the size of our ignorance; we are focusing on the inherent quality of XR to allow the user to instantly change their entire environment at will, so we are building a myriad to test text in XR. This aligns with the inherent quality of information itself to require different views and interactions of us to optimally work with it: All information is not the same.

How does XR Extend Reality? It can be argued that the fundamental aspect of XR is the system's ability to rapidly change, at no real data, processing or display cost. Many impressive XR scenes can be re-created in the physical world using props, including projectors, paper models and large displays, but in the physical world there is a cost of effort to change the environment and it cannot be done instantly to suit the whims of the user.

Doug Engelbart referred to a downhill skier who would need realtime feedback to be able to direct their path without falling down[10]. Marshall McLuhan pointed out how speed of change in media changes the media not only quantitively but also qualitatively, using the example of showing slightly different images updated 24 times a second: *"The movie, by sheer speeding up of the mechanical, carried us from the world of sequence and connections into the world of creative configurations and structure"* [5].

Our approach is therefore not only to focus on speed and comfort of interactions while working in an environment and how to easily and rapidly change what information is being worked on, but also how to change the background environment itself, both visually and with associated affordances, instantly, to allow the user to journey through a myriad of perspectives of their knowledge.

We are working on knowledge cubes, spaces optimized for knowledge exploration, small and intimate writing rooms, timeline experiences, traditional libraries with virtual dark wood shelves and mind spaces with icons the user can freely interact with, and how to as smoothly and easily change what happens within–and between–these environments, as inspired by Disney's Fantasia, Tom Cruise in Minority Report with the high fidelity action and interaction of modern console computer games as perspective.

References

1. Scoble R. I'm so disappointed in the Meta Raybans with display. [Электронный ресурс] URL:(https://x.com/Scobleizer/status/1974196036622299416) (дата обращения 14.10.2025). 2025.
2. Matsuda K. HYPER-REALITY. [Электронный ресурс] URL:(http://hyper-reality.co) (дата обращения 14.10.2025). 2016
3. Hegland F. Visual-Meta: An approach to Surfacing Metadata. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Human Factors in Hypertext (HUMAN '19). In: Association for Computing Machinery, New York, NY, 2019. P. 31–33.
4. Cerf V. The future of text redux. In: The Communications of the ACM, 64(10), 2021. P. 5-5.
5. Vance M. & Deacon, D. Think Out of the Box. Career Pr Inc. 1995. 216 p.
6. McLuhan M., McLuhan E., Zingrone F. Essential Mcluhan. Taylor & Francis Group. 1997. 416 p.

Желание, виртуальность и интерфейс: к онтологии технических форм

Мавринский И.И.
Кандидат философских наук
НИУ Высшая школа экономики, доцент
E-mail: mavrinsky@rambler.ru

Аннотация: В докладе рассматривается сдвиг от понимания желания как нехватки к его осмыслению как избытка, что задаёт новые основания для анализа виртуальности и техник построения интерфейса. Посредством указания на возможность управления и контроля желанием субъекта проблематизируется классическое прочтение субъекта, выстроенное на императиве воли. Интерфейс в таком контексте мыслится как структура, конденсирующая на себе функции диспозитива, аппараты захвата и производящая формы истощённого желания. Формулируется различие между «жадными» и «щедрыми» интерфейсами как двумя онтологическими режимами техники: один воспроизводит порядок нехватки, другой допускает избыточность и множественность форм. Попытка изобретения щедрых интерфейсов обосновывается как попытка возвращения к вопросу о субъекте в его неклассической субъективности.

Ключевые слова: желание, виртуальность, интерфейс, субъект, техника, диспозитив, избыток, нехватка

Desire, Virtuality, and Interface: Towards an Ontology of Technical Forms

Mavrinsky I.I.
HSE University

Abstract: The paper examines the shift from understanding desire as a lack to understanding it as an excess, which provides new grounds for the analysis of virtuality and interface construction techniques. By pointing to the possibility of managing and controlling the subject's desire, the classical understanding of the subject, built on the imperative of will, is problematized. In this context, the interface is conceived as a structure that condenses the functions of a dispositive, the apparatuses of capture, and produces forms of exhausted desire. The distinction between "greedy" and "generous" interfaces is formulated as two ontological modes of technology: one reproduces the order of scarcity, the other allows for redundancy and a plurality of forms. The attempt

to invent generous interfaces is justified as an attempt to return to the question of the subject in its non-classical subjectivity.

Keywords: desire, virtuality, interface, subject, technology, dispositif, excess, lack

Одним из поворотов к тематике виртуальности в ее взаимодействии с субъектом является сдвиг от понимания желания как нехватки к пониманию желания как избытка. Необходимость этого изменения трактовки желания связана с проблематизацией субъекта как в его эпистемологических и этических экспликациях, так и в отношениях с самим собой. Опасность передоверения своей совести Другому, указанная еще Кантом, через возможность управления желанием экономическими структурами переводит в регистр виртуального самого субъекта в его субъективности. Субъект из онтологической структуры, стягивавший на себе все смыслы основания (логический, грамматический, эпистемологический), может быть понят как сложившаяся конфигурация, заданная взаимодействием различного рода дискурсов [1], эффект процедуры означивания, отсылающий к поиску стратегий ускользания от «аппаратов захвата» [2], неразличимое в сети диспозитивов [3]) наличие или отсутствие. Тем самым под вопросом оказывается онтологическая укорененность субъекта, его связь с основаниями, стратегии субъективации и десубъективации. Субъект современности оказывается противоположен в прочтении и противопоставлен в понимании активности классическому новоевропейскому субъекту.

Классический новоевропейский субъект, появляется на сцене как субъект воли и как таковой царит на всем протяжении европейской мысли, достигая вершины своего могущества в мысли Шеллинга и Ницше [4]. Именно на волю, понятую как способность желания, возлагается ответственность за субъекта как такового, более того, интенция желания субъекта, а вовсе не попытка реализации этой интенции или результат этот попытки оказываются единственным основанием для суждения о субъекте: он должен хотеть того же, чего хочет Бог, то есть, развернутого и реализованного онтологического порядка [5, с. 127]. Необходимость хотеть определенного и определенным образом не просто связывает субъекта с онтологическим и этическим порядками через познание, но и герметизирует его. Тем самым античный императив мощи - «ты должен мочь» - сменяется императивом воли - «ты должен хотеть», а оба они по мысли Агамбена объединяются в философии Канта в единый императив «ты должен мочь хотеть», что традиционно считается завершением процесса формирования новоевропейского субъекта, взятого в его (субъекта) субъективности, «возвышенной до абсолютного знания самой себя» [6, с. 382]. Именно классического субъекта современность и проблематизирует, причем, сразу по нескольким направлениям: оспаривается и тождество субъекта, место которого занимает субъект расщепленный; и сама возможность автономизации воли, место которой занимают механизмы контроля и управления; и онтологический или эпистемический статус самого субъекта, которому всё чаще отказывают в «привелигированном доступе». Тем самым, субъект в современности оказывается в позиции виртуального, то есть, возможности, требующей собственной актуализации именно в том отношении, которое и позволило ему когда-то выйти на сцену - в отношении «собственного» желания, поскольку именно желание и становиться предметом контроля, управления, производства.

Субъект современности, в таком случае, оказывается под давление сразу двух измерений желания: измерения контроля и управления, с одной стороны, и измерения критики за экспликацию в эмпирическом порядке (не)собственного желания. Причем, возможность различения собственного и несобственного желания проблематизируется в частности указанием на то, что граница между субъективацией и десубъективацией стерта [3, с. 33]. Именно понимание желания как нехватки и не оставляет возможности покинуть эту территорию «перекрёстного огня», на которой субъект несет ответственность за то, что лишает его автономии: нехватка не просто производит нехватку [7], она еще и ведет к утрате самой способности субъекта желать. Речь уже не о кантовском передоверении совести фигуре авторитета, речь об экономике самого желания, в которую включен порядок его истощения

и объективации. Как раз объективация желания и задана порядком интерфейсов, которые, по преимуществу, стягивают в современности на себя все смыслы диспозитива в их понимании Фуко и Агамбеном [3] так же, как до этого классический субъект стягивал на себе все смыслы основания [8]. Субъект в своей утрачиваемой, но требующей актуализации способности желать сталкивается с необходимостью переосмыслить своё отношение с предметностью как тем полем, с которым по определению соотнесена (и в отношении истока, и в отношении реализации) сама способность желания, причем, переосмысление это начинается именно с вопроса о доступе к самой предметности.

Желание, руководимое нехваткой, согласно тезису Лакана, не может быть реализовано, как и сама нехватка не может быть восполнена. В этой оптике то, что задает нехватку, вместе с ней задает и динамику бесконечного стремления к восполнению, тем самым, запирая субъекта в сеть интерфейсов, не позволяющих иметь доступ к иным измерениям собственной активности субъекта. Субъект становится такой виртуальностью, которая как потенция постоянно удерживается от реализации. Так понятие «дружественного интерфейса» может быть прочитано как ретерриторизация [2]: прокладывание маршрута или поиск кафе, заказ такси, посещение достопримечательностей и т.д. - маршрутизируют собственную активность субъекта, делая неизвестное, например местность, доступным и собранным в одном месте, подручным или просто незамечаемым. Новая территория оказывается сразу же почти автоматически освоенной, открытое пространство задано направлениями и способами его обживания, осваивания, трансформации в привычную территорию. Ещё одной стороной «дружественности интерфейса» является связь с другими интерфейсами, образующими (или, по крайней мере, тяготеющими к этому) единую сеть диспозитивов, выйти за пределы которой означает необходимость перенастроить способы взаимодействия с предметностью. В свою очередь, доступ к пространству интерфейсов создаёт у субъекта иллюзию выбора, управления, контроля. Интерфейс может вытеснять предметность не хуже, чем фотографии заката, по словам С. Зонтаг, вытеснили сам закат. Такие интерфейсы мы и будем называть жадными.

Жадные интерфейсы являются таковыми в двойном смысле: с одной стороны, они монополизируют производство - произвести можно только нехватку и только в том поле, которое задано контролирующим интерфейсом (в этом смысле они дают только то, что нужно для того, чтобы удерживать субъекта в состоянии нехватки); с другой стороны, они являются динамическими структурами, находящимися в состоянии постоянной экспансии (вслед за совестью, способностью рассуждать или самочувствием им передоверяются и способы ориентирования в пространстве, временное измерение, сама предметность). Иными словами, жадные интерфейсы создают нехватку именно того, что им передоверяется: тайменеджмент нужен только для того, чтобы создавать гонку за временем, планирование и календари, чтобы никогда не покидать «территорию» дедлайнов и т.д. Здесь-то и возникает вопрос не только об «аппаратах захвата» [2], или стратегиях ускользания, но и о возможности «щедрых интерфейсов».

Стартовой позицией и является заявленная в самом начале необходимость понимания желания как избытка, что исключает или, по крайней мере, ограничивает возможность монополизации производства, задает динамику открытых, а не закрытых интерфейсов, не фиксируя, а расширяя оптику и возможности доступа к предметности. Щедрый интерфейс в таком случае был бы попыткой работы с вариациями, а не с вероятностью, возвращая в игру случайность происходящего; со «слепыми пятнами», а не с областью видимого, возвращая утраченное в процессе наблюдения или видения; работать не в терминах управления и управляемого, а в попытках построения симбиотических структур. Можно сказать, что щедрые интерфейсы должны профанировать, то есть, в понимании Агамбена, возвращать к использованию [3, с. 30-31] то, что изъято их же активностью. Здесь неклассический и классический жесты обнаруживают возможность схождения: по аналогии с указанием Лейбница на то, что лучший возможный мир, это - мир, в котором может реализоваться наибольшее число возможностей, можно было бы сказать, что щедрым был бы такой интерфейс, который увеличивал бы число возможностей возвращения утраченного при

использовании самого интерфейса. Таким образом, попытка изобрести щедрые интерфейсы может быть понята как попытка проделать обратный путь от предметности к самому субъекту в его уже иной - не классической - субъективности.

Литература

1. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб: A-cad, 1994. 407 с.
2. Делез Ж., Гватари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения, Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. 895 с.
3. Агамбен Дж. Что современно? К.: Дух і Літера, 2012. 78 с.
4. Агамбен Дж. Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления, М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2019. 552 с.
5. Лейбниц Г.В. Рассуждение о метафизике // соч. В 4-х тт., Т. 1, М.: Мысль, 1982. 636 с.
6. Хайдеггер М. Гегель и греки // Время и бытие, М.: Республика, 1993 - 452 с.
7. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. У-Фактория, 2007.
8. Черняков А.Г. В поисках утраченного субъекта // Альманах «Метафизические исследования», Метафизические исследования: Сознание, Выпуск 6 Санкт-Петербург: Издательство «Алетейя», 1998, с. 11-39.

НАУКА И ВЫМЫСЕЛ

Разновидности альтернативной истории: между наукой и вымыслом

Волков Ю.К.
Доктор философских наук
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, профессор кафедры философии
E-mail: yu.k.volkov@yandex.ru

Аннотация: В статье отмечается, что институциональный характер критериев научности ограничивает перманентное расширение науки. Вместе с тем продолжающиеся процессы «массовизации» науки, которые объективно ведут к снижению профессионального уровня научных работников, ослабляют эти формализуемые критерии. На этом фоне усиливается влияние альтернативных форм знания, к числу которых принадлежат такие ненаучные и квазинаучные разновидности истории как собственно альтернативная история, криптоистория, фолк-хистори и контрфактическая история. Рассмотрению типологических особенностей перечисленных разновидностей альтернативной истории посвящено основное содержание статьи. По результатам проведенного сравнительного анализа сделаны следующие выводы. Несмотря на то, что видовые границы конкретных форм альтернативной истории можно установить, проведя лишь специальный анализ, сам типаж вариативной истории используется в двух основных значениях. Первое – это название литературных произведений, в содержание которых включены фантастические сюжеты альтернативной истории. Второе – обозначение корпуса квазинаучных разновидностей измененной и ревизионистской истории, которые целенаправленно пытаются выдавать себя за науку, и в ряде случаев, действительно, могут стать дополнительным методом исторических исследований.

Ключевые слова: институциональные критерии науки, научное, ненаучное и квазинаучное знание, альтернативная история, криптоистория, фолк-хистори, контрфактическая история.

Types of Alternative History: between Science and Fiction

Volkov Yu.K.
Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University

Abstract: The article notes that the institutional nature of scientific criteria limits the permanent expansion of science. At the same time, the ongoing processes of "mass production" of science, which objectively lead to a decrease in the professional level of researchers, weaken this formalized criterion. Against this backdrop, the influence of alternative forms of knowledge is growing, including non-scientific and quasi-scientific varieties of history such as alternative history, cryptohistory, folk history, and counterfactual history. The main content of the article is devoted to the consideration of the typological features of the listed varieties of alternative history. Based on the results of the comparative analysis, the following conclusions were made. Despite the fact that the specific forms of alternative history can only be identified through special analysis the concept of alternative history is used in two main ways. The first is the name of literary works the content of which includes fantastic plots of alternative history. The second is the name of a body of quasi-scientific varieties of altered and revisionist history that

deliberately try to pass themselves off as science and in some cases they can indeed become an additional method of historical research.

Keywords: institutional criteria of science, scientific, unscientific and quasi-scientific knowledge, alternative history, cryptohistory, folk history, counterfactual history.

В системе современного научного знания критерии научности приобрели институциональный характер, благодаря чему обеспечивается необходимое в условиях перманентного развития науки нормативное согласование процессов ее когнитивной саморегуляции [1, с. 60-61]. Среди прочих институционально закрепленных критериев науки, на роль ее наиболее очевидного основания претендует профессиональный статус ученого, верифицируемые характеристики которого, как считается, способны демаркировать различие между учеными и псевдоучеными [2, с. 15]. Вместе с тем продолжающиеся процессы «массовизации» науки, которые объективно ведут к снижению профессионального уровня научных работников [3, с. 76], ослабляют даже этот формальный критерий. На этом фоне растущее критическое отношение к официальной науке способствует росту влияния альтернативных форм знания. В качестве иллюстрации данного тезиса, остановимся на такой популярной форме ненаучного и квазинаучного знания, как альтернативная история, которая сегодня представлена целым набором типологических разновидностей.

Понятие альтернативной истории, чаще всего, используют для обозначения жанра литературных произведений, в которых исторические события завершаются иначе, чем в реальной истории. Однако, наряду с фантастическими сюжетами, в содержании работ такого типа можно также обнаружить элементы социальных утопий и антиутопий, исторической прозы, публицистики и документалистики. Поэтому, несмотря на кажущуюся очевидность идентификации сочинений, написанных в жанре альтернативной истории, по-прежнему сохраняется потребность в надежных и универсальных критериях, позволяющих отличать фантазийную историю от других квазинаучных разновидностей.

Начнем с признаков собственно альтернативной истории. Во-первых, – это признак расхождения с реальными историческими событиями, благодаря которому заново рассказанная история становится единым альтернативным прошлым. Во-вторых, – это придуманные люди и события, которые оказывают влияние на ход истории. В-третьих, – это анализ псевдоисторической фактологии, а также оценка выдуманных исторических следствий. Иначе говоря, в альтернативной истории, независимо от степени ее достоверности, имеется хронологическая последовательность событий, их причинно-следственное объяснение и оценка. Сказанное заставляет предположить наличие универсальных структур в содержании любого исторического нарратива. Это – сюжет, тип доказательства и идеологический подтекст.

Все указанные структурные компоненты исторического описания, наряду с названной выше хронологией, входят в состав любой историографической комбинации [4, с. 93-94]. Это означает, что глубинные структуры исторических рассказов, которые в своем исходном состоянии, действительно, были исторической мифологией и поэтикой, допускают исторический вымысел [5, с.7]. Отмеченная связь возможного и действительного в истории породила разнообразие жанров, одновременно близких альтернативной истории и вместе с тем претендующих на статус околонаучного знания. Остановимся на некоторых из таких гибридных разновидностей.

Наибольшей популярностью в классе альтернативных исторических работ пользуется криптоистория. Хотя тайная история имеет давние историографические традиции [6], этот жанр стал особо заметен в отечественной литературе 90-х годов прошлого века. Внешне криптоистория напоминает официальную историю, поскольку опирается на реальные исторические события. Однако видит их принципиально иначе, чем это объясняет историческая наука, так как пересоздает причины, породившие действительные исторические события.

Вместе с тем криптоистория, в отличие от альтернативной истории, придумывает не исторические следствия, а их причины, которые в реальной истории также имеют модус исторических фактов. На этом основании некоторые исследователи псевдоисторических жанров не выделяют криптоисторию в качестве самостоятельной разновидности альтернативной истории [7, с. 235]. На наш взгляд, более обоснованной в этом вопросе выглядит позиция, согласно которой криптоистория занимает ничейную нишу между историческим романом и романом альтернативной истории [8, с. 24].

С целью частичного преодоления упомянутых разграничительных трудностей, назовем некоторые видообразующие признаки криптоисторического романа. Это будет: а) желание авторов криптоисторического произведения исправить алогизм реальной истории; б) стремление обнаружить в истории тайные силы, которые стали причиной сбоя в «правильном» ходе истории; 3) представить всемирную историю ареной противоборства сил добра и зла.

Другим альтернативным направлением, уже явно претендующим на статус научных исторических исследований, выступает фолк-хистори. К числу наиболее ранних и хорошо известных примеров этого жанра, чаще всего, считают труды по истории Евразии Л.Н. Гумилева [9]. При этом автором термина фолк-хистори считается Д.М. Володихин. Ему же принадлежит определение фолк-хистори как одной из разновидностей исторических публикаций, существующих наряду с академическими и беллетристическими произведениями. Володихин выделяет в сообществе фолк-хистори три центра. Первый – классический центр, который вырос из экспансии «точных наук» в область социогуманитаристики. Второй – националистический центр, который возник в условиях роста национального самосознания. Третий – центр игровой истории, который вырос из научно-популярной и научно-фантастической литературы. Кроме этого, существует периферия фолк-хистори, куда входит вся историко-философская публицистика [10, с. 125-126]. Что же характеризует сочинения этой квазинаучной серии?

Во-первых, в содержание таких публикаций включаются лишь те исторические факты, которые соответствуют авторской концепции. Во-вторых, авторы этих трудов, декларируя цель исторического поиска, мотивирует ее необходимостью опровержения ошибочных историографических представлений. В-третьих, в большинстве крупных произведений фолк-хистори предлагается собственное понимание картины всемирной истории. В-четвертых, в таких сочинениях обязательно проводится параллель с современностью, что придает дополнительную актуальность произведениям и обеспечивает популярность их авторам.

Таким образом, сочинения, написанные в жанре фолк-хистори, по сравнению с фантастическими сюжетами альтернативной истории и придуманными причинами криптоистории, еще больше приближены к научной историографии, благодаря своему обращению к фактам реальной истории. Однако, в отличие от научной истории, здесь эти факты, объясняются не сами по себе, но, прежде всего, исходя из той или иной авторской гипотезы.

Особое место среди разновидностей измененной истории занимает контрафактическая история. Этот типаж предполагает описание истории, исходя из допущения того, что могло бы произойти в истории, если бы не было реальных событий, или они происходили иначе. В отличие от альтернативной истории, криптоистории и даже фолк-хистори, контрфактическая история интересуется не придуманными сценариями, которые вытекают из отрицания, замены или новой интерпретации реальных исторических событий, но историческим значением этих событий. Другими словами, контрфактическая история пытается опровергнуть известное утверждение о том, что «история не терпит сослагательного наклонения», а потому, стирает грань между возможным и действительным в истории.

Одной из первых контрфактических книг по истории считается эссе «Если бы это произошло иначе» [11]. В 1990-е годы было предпринято несколько попыток ввести контрфактическую историю в состав академической науки. Самыми известными примерами подобных усилий являются книга Д. Хоторна «Правдоподобные миры: возможность и понимание

в истории и социальных науках» [12] и сборник эссе под редакцией и с участием Н. Фергюсона [13, с. 13-14].

Несмотря на то, что большинство профессиональных историков считает контрфактическую историю не соответствующей критериям научного знания, разрабатываемые в ней модели апеллируют к такой важной функции научного знания, как прогнозирование прошлого. Одним из первых в нашей литературе к этой проблеме обратился И.В. Бестужев-Лада, который определял ретроальтернативистику в качестве научной методологии, выходящей за рамки описательной истории [14].

В настоящее время метод контрфактического моделирования постепенно приобретает статус научного инстументария, который может быть эффективным при изучении различных темпоральных процессов [15]; [16]; [17]. Открытым остается лишь вопрос о целях применения этого метода: необходим ли он для получения нового научного знания или он используется для иных, ненаучных целей?

Подведем общий итог. Несмотря на то, что видовые границы конкретных форм альтернативной истории можно установить, проведя лишь специальный анализ [18, с. 14-16]; [19, с. 9]; [20, с. 11], сам типаж вариативной истории используется в двух основных значениях. Первое – это название литературных произведений, в содержание которых включены фантастические сюжеты альтернативной истории. Второе – обозначение корпуса квазинаучных разновидностей измененной и ревизионистской истории, которые целенаправленно пытаются выдавать себя за науку, и в ряде случаев, действительно, могут стать дополнительным методом исторических исследований.

Другое дело, что в постоянно растущем перечне типов, видов и подвидов альтернативной истории неподготовленному человеку не всегда просто отделить научное и придуманное знание. Тем более что всем интересантам хорошо известны случаи, когда то, что в истории считалось научной истиной, оказывалось всего лишь правдоподобными выдумками. Однако глубинной причиной популярности разновидностей альтернативной истории, скорее всего, является не факт эпизодического появления в науке непреднамеренных заблуждений и даже преднамеренного обмана, но постоянно сохраняющийся интерес людей к нераскрытым тайнам.

Литература

1. Кузнецова Н.И. Феномен научной дисциплины: эпистемологический анализ // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 59-70.
2. Эйдельман Е. Д. Ученые и псевдоученые: критерии демаркации // Здравый смысл. 2004. № 4 (33). С. 15-16.
3. Словохотов Ю.Л. «Большая наука» в XXI веке? // Российский химический журнал. 2001. Т. 45. № 2. С. 75-82.
4. Ашкеров А.Ю. Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта // Социологическое обозрение. 2002.Т. 2.№ 1.С. 86-99.
5. Лобин А. М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историко-фантастического романа. Ульяновск: УлГТУ, 2008.132 с.
6. Багдасарян В.Э. «Теория заговора» в отечественной историографии второй половины XIX-XX вв.: критика мифологизации истории: Автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2000. 44 с.
7. Володихин Д.М. Призывая Клио // Если. 2000. №10. С. 231-238.
8. Валентинов А. Нечто о сущности «криптоистории», или Незабываемый 1938-й // Анизотропное шоссе. 1999. № 7. С. 21-26.
9. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М.: Товарищество Калашников-Комаров и Кº, 1992. 512 с.
10. Володихин Д.М. Феномен фольк-хистори // Россия и современный мир. 2001. № 1 (30). С. 124-133.

11. If it had Happened Otherwise. Lapses into Imaginary History. Ed. by J. C. Squire. London, New-York, Toronto: Longmans, Green& Co Pub., 1932. 295 p.
12. Howthorn J. Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences. New-York: Cambridge University Press, 1991. 192 p.
13. Фергюсон Н. Виртуальная история. На пути к «хаотической» теории прошлого // Виртуальная история: альтернативы и предположения. М.: Изд-во АСТ: CORPUS, 2019. С. 13-120.
14. Бестужев-Лада И.В. Ретроальтернативистика в философии истории // Вопросы философии. 1997. № 8. С. 112-122.
15. Латов Ю.В. Экономическая история – опрокинутая в прошлое «экономикс»? (размышления о «теории экономической истории» Джона Хикса и о других теориях // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2004. Т. 2. № 1. С. 144-152.
16. Кошкарова Н.Н., Руженцева Н.Б. Ретропрогнозирование как инструмент проектирования прошлого? // Политическая лингвистика. 2016. Т. 58. № 4. С. 48-52.
17. Thompson W. R. The Lead Economy Sequence in World Politics (from Sung China to the United States): Selected Counterfactuals// Journal of Globalization Studies. 2010. Vol. 1. No 1. P. 6-28.
18. Бочаров А.В. Проблема альтернативности исторического развития: историографические и методологические аспекты. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2002. 26 с.
19. Бочаров А.В. Альтернативная история в контексте естественнонаучной парадигмы: версия системного анализа // Фигуры истории, или «общие места» историографии. Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб.: Северная Звезда, 2005. С. 7-18.
20. Нехамкин В.А. Альтернативы прошлого в философии истории: теоретико-методологический анализ. Автореф. дис. … докт. филос. наук. М., 2008. 33 с.

Географическое воображение и проблемы вымысла: между философией и наукой

Неаполитанский М.С.
Университет ИТМО, аспирант
E-mail: mknea@mail.ru

Аннотация: В докладе рассматривается понятие географического воображения как способ понимания научного и мыслительного конструирования и репрезентации пространства, Земли, мест и их связи. Кратко будет реконструирована генеалогия термина и его проблематичность в контексте философии науки: от Хью Принса и Дэвида Харви к культурно-исторической трактовке Дерека Грегори и философской антропологии Петера Слотердайка. Главный тезис доклада в контексте проблемы связи географии, воображения и философии науки может быть сформулирован так: каким образом понятие географического воображения дополняется идеями философов, которые, так или иначе, писали о Земле и пространстве иперепридумывали» эти темы, и как вымысел в исторической перспективе помогал открывать и осваивать новые территории. В докладе речь пойдет об идеальной Земле Платона, антиподах Августина и обратной стороне Земли, иероглифах природы Шеллинга и легкой Земле Ницше. Будет рассмотрено, в какой степени эти понятия являются философским вымыслом и где в них границы между географическим воображением и географией как научной дисциплиной.

Ключевые слова: философия науки, географическое воображение, вымысел, Земля, пространство, философская антропология, философия науки.

Geographic Imagination and the Problems of Fiction: Between Philosophy and Science

Neapolitanskiy M.S.
ITMO University

Abstract: The paper examines the concept of geographic imagination as a mode of understanding the scientific and intellectual construction and representation of space, the Earth, places, and their interrelations. It briefly reconstructs the genealogy of the term and its problematic status within the context of the philosophy of science: from Hugh Prince and David Harvey to Derek Gregory's cultural-historical interpretation and Peter Sloterdijk's philosophical anthropology. The central thesis of the paper, in the context of the relation between geography, imagination, and the philosophy of science, may be formulated as follows: in what ways is the concept of geographic imagination enriched by the ideas of philosophers who, in one way or another, wrote about the Earth and space and effectively "reinvented" these themes. The paper will address Plato's ideal Earth, Augustine's antipodes and the Earth's reverse side, Schelling's hieroglyphs of nature, and Nietzsche's light Earth. It will consider to what extent these notions constitute philosophical fictions and where the boundary lies between geographic imagination and geography as a scientific discipline.

Keywords: philosophy of science, geographic imagination, fiction, Earth, space, philosophical anthropology, philosophy of science.

В докладе понятие географического воображения рассматривается как операционный режим научного мышления и как методологическое условие репрезентации Земли, пространства и мест, то есть как совокупность процедур, посредством которых образ и пространство вступают в устойчивую связку, позволяющую превращать ландшафт, территории, границы и движения в артикулированные объекты картографирования, моделирования и анализа (в том числе, философского). Историческая перспектива, идущая от работ Хью Принса [1] и Дэвида Харви [2] к культурно-исторической трактовке Дерека Грегори [3] и к философской антропологии Петера Слотердайка, показывает, что географическое воображение действует как организующий принцип, задающий форму согласования наблюдения, измерения и визуализации, то есть как условие, без которого само конструирование пространства не достигает требуемой точности и воспроизводимости. При этом географическое воображение имеет связь с более масштабными явлениями, — например, Слотердайк называет обращение философии к опыту создания карт началом «метафизической глобализации» [4, с. 76]. Также следует отметить, что у Принса воображение выступает медиатором между описательной культурной географией и требованием реальной ориентации в пространстве, у Харви же оно приобретает городской и политэкономический масштаб, соотнося частный опыт с пространственной логикой, а у Грегори фиксируется как исторически локализованный комплекс знаний и образов, через который развертываются отношения власти, знания и пространства. Так или иначе, эти идеи связаны с «пересборкой» пространства и попыткой найти границы между воображением как способом репрезентации пространства и воображением как практикой вымысла (например, практикой создания вымышленных карт в литературе [5, с. 21]). В этой последовательности формируется понимание того, что любая карта есть результат записей репрезентации, а любая репрезентация есть результат предшествующего воображаемого понимания форм, границ и дистанции. На этот процесс можно продуктивно посмотреть с точки зрения и концепций того же Слотердайка, так как включение философской антропологии и философии науки в этот контекст позволяет

переопределить географическое воображение как антропотехнический процесс формирования оболочек совместной обитаемости, где человек и среда сцепляются через медиальные устройства, вымысел и коллективные навыки ориентации в реальных и нереальных пространствах.

В связи с этим одна из главных целей моего доклада — показать особую связь между пространством, мышлением и вымыслом, а также через географическое воображение показать связь между областями, которые связаны с пространством (навигация, картография), и областями, которые связаны с мышлением (собственно философия). Эта тема недостаточно исследована, даже несмотря на то, что философы часто писали о Земле и о пространстве еще с Античности, однако их идеи почти никогда не связывались с географическим воображением и не рассматривались в контексте проблем вымысла. Мы можем найти исследования Земли и первые карты, например, у древнегреческого философа Анаксимандра, который новаторски зафиксировал границы ойкумены и описал пространственное представление о мире в графической форме, характерной для Античности. Помимо этого, особую «вымышленную» Землю мы видим в диалоге Платона «Федон», в котором Платон говорит об идеальной Земле, подробно описывая ее красоты и прекрасные сады с ручьями, куда добродетельная душа может переселиться после достойной жизни. В Средние века философы и богословы также не оставляли желание осмыслить пространство и перепридумать его — в частности, в трактате Августина «О граде Божьем» мы находим размышления об антиподах, жителях «другой стороны» Земли, которые Августин встраивает в линию размышлений о глобальной пространственности и политической теологии. Наконец, в 19 в. в натурфилософии Шеллинга ландшафт и Земля начинают пониматься как страницы со следами стихий и геологических обломков, из чего у Шеллинга следует метод чтения иероглифов природы, в котором рельеф, складки и слои интерпретируются как грамматика становления (и этот «метод» отсылает нас к современным практикам географического воображения). Во второй половине XIX в. мы также находим мотив лёгкой Земли у Ницше, который вводит режим динамической описательности, и на первый план выступают интенсивности, игра сил и аффектов, переводящие внимание от фиксированных положений в пространстве к описанию переходов [6, с. 127]. Этот процесс делает воображение техникой удержания изменчивости, где масштаб и наблюдения подбираются как переменные, а не как раз и навсегда заданные рамки.

Из сказанного следует вполне рабочее определение понятия, которое можно использовать и в других исследованиях: географическое воображение — это коллективная техника производства образов Земли, в которой пересекаются формы репрезентации, визуализации, диспозитивы, вымыслы и антропологические установки. Эта техника материализуется в системе записей, обеспечивающих переход от феноменов к данным и от данных к моделям. К числу таких записей относятся выбор проекций и фигур симметрии, заданность привилегированных масштабов, правила сшивания рядов наблюдения, регламенты этической совместимости образов и процедуры конструирования вымыслов. Поскольку эти элементы порождают искажения и риски, дисциплина воображения включает аудит происхождения образов, учёт пределов применимости моделей и явную фиксацию допущений как часть будущей отчётности (даже несмотря на конечный результат и то, что мы создаем в итоге — философский образ Земли, карту или, например, вымышленную карту видеоигры). Такая оптика связывает образ через повторяемые операции калибровки, где проверяемость гипотез зависит от прозрачности перехода между наблюдением и визуализацией, а сама прозрачность поддерживается описанием медиальных носителей и концептуальных шагов, которые в конечном итоге отсылают либо к вымыслу (например, как в случаи Земли Платона), либо к реальным объектам или научным открытиям (как в случае понимания Земли у Шеллинга, который поэтически переосмыслил открытие возраста планеты, состоявшееся на рубеже XVIII и XIX веков).

Сформулированная перспектива позволяет скрепить линию философии науки с философско-антропологической линией и с практиками визуализации и репрезентации в науках о Земле, показывая, что вымысел в этой конфигурации выступает как специфическая форма идеализации, без которой невозможны ни установка необходимого концептуального

измерения, ни фиксация его масштаба, ни перевод наблюдения в определенную модель. В этом смысле все вышеуказанные случаи обращения философов к теме Земли и пространства образуют набор концептуальных операторов, задающих режимы допустимого вымысла и превращающих его в эпистемологический инструмент, который делает видимыми те отношения, что привычно ускользают от непосредственного научного рассмотрения в классической географии (и от других наук о Земле). Именно этот набор делает возможным междисциплинарный договор (в латуровском смысле) о допустимых искажениях, корректных масштабах и способах согласования человеческого опыта с новыми режимами «регистрации» пространства, так как вымысел формирует проекцию и допускает возможность критического подхода к тем же картам (как пример) ради сохранения топологической инвариантности. Он закрепляет статус идеальных объектов (фиктивных центров и гладких поверхностей, как, например, у Делеза и Гваттари) и тем самым обеспечивает связность самых различных концептов в контексте исследований Земли и пространства, а также самой географии, которая часто присутствует и в нашем повседневном пространственном опыте.

Географическое воображение связано с вымыслом как с рабочим инструментом производства знания, и эта связь проявляется в двух согласованных контекстах, которые можно описать на примере конкретных материалов и культурных артефактов. Во-первых, вымысел выступает методологической идеализацией, позволяющей придать феноменам необходимую форму для дальнейшей разработки или анализа: проекция Меркатора сознательно изменяет размеры высоких широт, чтобы сохранить румбы для навигации; выбор Гринвичского меридиана устанавливает условную ось отсчёта, делающую сравнимыми ряды наблюдений; лондонская схема метро Гарри Бека отказывается от метрической точности ради топологической ясности и тем самым демонстрирует, как фиктивная «гладкость» пространства организует движение и упрощает принятие решений в процессе навигации. Во-вторых, вымысел действует как практика, формирующая нормы ориентации и совместного обитания: платоновская «идеальная Земля» в «Федоне» задаёт нормативную картину мира как педагогическую схему (и становится доказательством бессмертия души); океанические открытия раннего Нового времени запускают инсулярное мышление, где остров становится механизмом индивидуализации и проектирования порядков — «Утопия» Томаса Мора делает остров лабораторией политического устройства, а «Робинзон Крузо» превращает остров в сцену сборки экономики и субъекта. Литературные миры и вымышленные карты подтверждают тот же механизм. Географическое воображение — это способ освоения пространства, который действует через вымысел: прежде чем пространство становится предметом плаваний, описаний и карт, оно возникает в воображении [7]. История мореплаваний и история географии как науки в том числе подтверждает этот механизм: terra incognita, фантомные острова и неизведанные архипелаги сначала существовали в воображении, после чего становились целью маршрутов и поводом для научных описаний. В этом смысле вымысел составляет исходный импульс научного знания, то есть он открывает возможность видеть и называть новые места, направляет движение и формирует язык, на котором мы говорим о Земле, пространстве и местах, которые, возможно, еще только предстоит выдумать.

Литература

1. Prince H. C. The Geographical Imagination // Landscape. 1962. Vol. 11. P. 22-25.
2. Harvey D. Social Justice and the City. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1973. 336 p.
3. Gregory D. Geographical Imaginations. Malden: Wiley-Blackwell, 1994. 423 p.
4. Слотердайк П. Сферы. Макросферология. Том II. Глобусы. СПб.: Наука, 2007. 1024 с.
5. Шартье Р. Карты и вымысел (XVI–XVIII век). СПб.: Издательство Европейского университета, 2024. 222 с.
6. Подорога В.А. Метафизика ландшафта: коммуникативные стратегии

в философской культуре XIX–XX веков. М.: Канон+, 2021. 552 с.
7. Steinberg P. Insularity, sovereignty and statehood: The representation of islands on portolan charts and the construction of the territorial state // Geografiska Annaler. Series B, Human Geography. 2005. Vol. 87. P. 253-265.

Аналитичность как эпистемическая фикция

Сафонов А.С.
Кандидат философских наук
Казанский федеральный университет, доцент
E-mail: Chelovek-3000@yandex.ru

Аннотация: В докладе исследуется проблема аналитичности, являющаяся ключевой в дискуссиях между традиционной и натурализованной эпистемологией. Хотя критика У.В. Куайна показала проблематичность классических определений аналитичности через синонимию, мы утверждаем, что натурализация — не единственный ответ на этот вызов. В качестве альтернативы предлагается рассматривать аналитические истины не как фактуальные утверждения о мире, а как эпистемические фикции, обладающие артефактной природой.

Ключевые слова: аналитичность, аналитические истины, эпистемическая фикция, артефакт, натурализованная эпистемология.

Analyticity as Epistemic Fiction

Safonov A.S.
Kazan federal university

Abstract: This presentation examines the problem of analyticity, a central issue in the debate between traditional and naturalized epistemology. While W.V.O. Quine's critique successfully challenged the classical definitions of analyticity via synonymy, we argue that naturalism is not the only viable response. Instead, we propose an alternative view that treats analytic truths not as factual statements about the world, but as epistemic fictions with an artifactual nature.

Keywords: analyticity, analytic truths, epistemic fiction, artifact, naturalized epistemology.

Проблема аналитичности выступает одной из центральных дискуссий в современной эпистемологии. Например, различие во взглядах на природу аналитических истин служит демаркационной линией между традиционным и натуралистическим подходом в эпистемологии. У.В. Куайн в статье «Две догмы эмпиризма» стремится последовательно аргументировать неясность разделения аналитических и синтетических суждений, демонстрируя невнятность определения аналитичности через синонимию и тождество [1]. Такое развенчание аналитических истин становится важным шагом в направлении к «натурализованной эпистемологии» [2]. Однако, я утверждаю, что натурализация не является единственным ответом на круг в определении аналитичности. Возможно описать природу синонимии и объяснить истинность утверждений типа: «Холостяк — неженатый мужчина», не прибегая к помощи фактов. Более того, такое объяснение будет лучше работать с случае утверждений типа: «Холостяк есть холостяк», «А есть А», «Всякий объект является тождественным самому себе», — поскольку интуитивно мы с большей степени склонны полагать, что утверждения данного типа не зависят от фактов, с чем не согласны некоторые сторонники натурализма в эпистемологии [3]. Суть нашего подхода заключается в том,

что аналитическая истина может пониматься как эпистемическая фикция, которая обладает артефактной природой. Последовательно аргументируем данный тезис.

Натуралистическая эпистемология является обширным термином, обозначающим подходы, стремящиеся преодолеть недостатки традиционной эпистемологии, источник которых видится в преобладании «кабинетный» методологии [4]. Неслучайно, что одним из объектов атаки сторонников натуралистической эпистемологии является понятие «аналитической истины».

В качестве рамочного определения воспользуемся формулировкой, восходящей к Г. Фреге: аналитическими будем называть такие суждения, истинность которых зависит только от значения входящих в их состав терминов [5]. При этом аналитически истинными можно называть такие аналитические суждения, которые истинны во всех описаниях состояний, или во всех «возможных мирах».

С точки зрения Куайна, синонимия терминов «холостяк» и «неженатый человек» не может гарантировать требуемой ясности в определении аналитичности: «Здесь нет никакой гарантии, что совпадение по объему выражений ‘холостяк’ и ‘неженатый человек’ покоится на значении, а не просто на случайных фактах, как это происходит в случае совпадения по объему выражений ‘живое существо с сердцем’ и ‘живое существо с почками’» [1, с. 34]. Однако здесь можно возразить, что совпадение фактов в данном случае может быть вовсе не случайным, а намеренным, наличие которого обусловлено познавательной активностью агента. Действительно, если не брать в расчет интенциональную деятельность человека, то синонимия «холостяка» и «неженатого мужчины» выглядит случайностью, которая не может быть употреблена для определения необходимо истинных аналитических суждений. Аналогично этому невозможно объяснить неслучайное соединение кирпичей при строительстве дома без введения интенциональной деятельности строителей и архитекторов.

Следовательно, аналитические суждения являются интенционально зависимыми пропозициями. Однако такое определение делает все аналитические суждения фиктивными? Как тогда объяснить аналитическую истинность?

Можно согласиться с тем, что аналитические суждения являются вымыслом. При этом следует дополнить, что, следуя метафизическому подходу Эми Томассон, аналитические фикции можно описать как абстрактные артефакты [6]. Артефактами являются объекты, явления и события, экзистенциально зависимые от интенциональной деятельности человека. Поэтому ничего не препятствует мыслить фикции как вид артефактов, которые создаются людьми с определенной целью. При этом создание артефактов, согласно Томассон, должно учитывать объективные условия возможности его создания. Поэтому аналитические суждения могут быть артефактами, созданными с некоторыми эпистемическими целями. Очевидно, что данные цели возможно достигать при условии аналитической истинности.

Аналитическая истинность подобных суждений напрямую зависит от артефактности. Согласно Стивену Шварцу, невозможно иметь неполное или ошибочное знание относительно артефактов [7]. Например, если мы вдруг узнаем, что в каком-то отдаленном уголке Земли вдруг обнаружится, что в качестве письменных принадлежностей очень похожих на карандаши (внешне и функционально) использовался особый вид живых существ, то вряд ли мы признаем наше прошлые представления о карандашах ложными или неполными. Мы не будем изменять дефиницию карандаша, утверждая, что есть карандаши — артефакты, а есть карандаши — живые существа. Мы не будем думать, что мы открыли новое знание относительно карандашей. Скорее всего, утверждает Шварц, мы склонны будем признать, что открытые карандаше-подобные существа не являются карандашами. При этом мы сохраним неизменным привычное представления о карандашах.

Исходя из этого, можно сформулировать критерий аналитичности–артефактности: *если относительно объекта А невозможно иметь ошибочное или неполное знание, то А является интенционально зависимым объектом, и наоборот.* Таким образом, от аналитической истиности мы можем заключать к артефактности, а от артефактности к аналитической истинности.

Аргументируем данный критерий:

(1) Слева направо. Сформулируем интенционально зависимое от агента S пропозициональное знание: INTS: A есть B. Если данная пропозиция является ложной, то это значит, что S относительно собственной интенции, что не может быть.

(2) Справа налево. Есть безошибочное пропозициональное знание агента S «A есть B». Знание есть либо беспредпосылочное убеждение S, из чего следует, что оно может быть ошибочным. Это противоречит исходному условию безошибочности. Либо данная пропозиция зависит от интенции агента S (эпистемологическое преимущество создателя). Другими словами, либо знание является ничем не обоснованным, а следовательно, потенциально ложным; либо зависимым от интенциональной активности агента.

Таким образом, простейшее выражение самотождественности объекта «A есть A» будет аналитически истинным, поскольку A является артефактом, и наоборот. На это можно возразить, что если мы возьмем натуральный объект, то критерий будет указывать на фиктивность данного натурального термина. Например, возьмем самотождественность следующего вида: «золото есть золото». Следует ли из этого, что золото экзистенциально зависит от человеческой деятельности? На это можно ответить, что нет, не следует. Золото как элемент натурального вида предполагает дескриптивное описание типа: «Золото является металлом желтого цвета», которое является синтетическим. Его следует отличать от аналитического утверждения «золото есть золото», так как термин «золото» здесь не предполагает никакого дискриптивного описания. Термин «золото» указывает на некую уникальную чистую идентичность, которой в последствии синтетически возможно присовокупить истинную или ложную дескрипцию. Именно эта идентичность и есть то, что создается в интенциональной деятельности человека.

Отсюда, я полагаю, становится ясной возможность сформулировать дескриптивное аналитически истинное утверждение. Например «холостяк — неженатый человек», «карандаш – письменная принадлежность» и т.д.

Таким образом, аналитические истины являются артефактами, которые выполнят эпистемические функции. Они не зависят от внешних фактов и экзистенциально обусловлены интенциональной деятельностью познающих агентов. Несмотря на то, что аналитические суждения производятся самим человеком, они выступают необходимым инструментом описания мира. Такое определение аналитичности имеет ряд преимуществ перед натурализмом в эпистемологии. Во-первых, данный подход достаточно легко связывается с эпистемической нормативностью. Нормативность можно считать свойством не только традиционной эпистемологии, но и эпистемологии как таковой. Во-вторых, при описании аналитичности через интенциональную деятельность агента не порождается порочный круг, в котором для обоснования эмпирических методов используются сами эмпирические методы. Обоснование эмпирических наук является одной из центральной задач эпистемологии, тогда как для натуралистов «свободное» использование эмпирической методологии постулируется изначально.Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.

Литература

1. Куайн У. Две догмы эмпиризма. М.: Логос, 2000. 386 с.
2. Quine W. Epistemology Naturalized // Quine W. Ontological Relativity and Other Essays. New York: Columbia University Press, 1969. P. 69-90.
3. Boghossian P. Analyticity Reconsidered // Nous. 1996. Vol. 30. №.3. P. 360-391.
4. Rysiew P. Naturalism in Epistemology [Электронныйресурс]. URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/epistemology-naturalized/ (дата обращения: 15.03.2024).
5. Каримов А.Р. Очерки современной эпистемологии. Казань: Издательство Казанского университета, 2017. 146 с.
6. Thomasson A. Fiction and Metaphysics. New York: Cambridge University Press, 1998. 175 p.
7. Schwartz S. Putnam on Artifacts // The Philosophical Review. 1978. Vol. 87, №. 4.P. 566–574.

Использование метафоры «окружающей среды» в информационной экологии

Теплов А.С.
Институт философии РАН, младший научный сотрудник
E-mail: teplov-2000@yandex.ru

Аннотация. Развитие проблемных областей экологии неминуемо и необходимо охватывает вопросы состояния цифровой среды как пространства обитания человека. Влияние цифровизации на человека велико до такой степени, что до сих пор с трудом поддается четкой фиксации, необходимой для дальнейшего решения предлагаемых вызовов. Одной из причин затруднений предлагается плохая приспособленность человеческой перцепции к пониманию подобных явлений, то есть цифровая среда представляется как нечто, не имеющее ничего общего с привычным для человека миром. Для устранения подобного рода затруднений научное сообщество прибегает к использованию различных методологических приемов. Так, во многих научных трудах, посвященных цифровизации и информационной экологии, цифровая среда представляется как некоторая новая «окружающая среда» или «среда обитания» человека. Однако, в строгом смысле, цифровая реальность не имеет никакого пространства, а ее представление в качестве среды является метафоричным, что, безусловно, выступает как необходимый шаг к исследованию проблемной области, но в то же время носит в себе ряд серьезных угроз.

Ключевые слова: метафора, окружающая среда, информационная экология, цифровая среда, цифровизация, визуализация.

Usage of the «environment» metaphor in information ecology

Teplov A.S.
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Abstract. The development of problem areas in ecology inevitably encompasses issues concerning the state of the digital environment as a human habitat. The impact of digitalization on humans is so profound that it still resists precise definition, which is essential for addressing the challenges it poses. One proposed reason for such difficulties is the poor adaptability of human perception to understanding these phenomena, the digital environment appears as something entirely unrelated to the familiar human world. To overcome such difficulties, the scientific community employs various methodological approaches. In many scholarly works devoted to digitalization and information ecology, the digital environment is described as a new kind of "environment" for humans. However, digital reality has no spatial dimension, and its representation as an environment is metaphorical. This is, undoubtedly, a necessary step toward exploring the problem area, yet at the same time, it carries a number of serious risks.

Keywords: metaphor, environment, information ecology, digital environment, digitalization, visualization.

Современные проблемы, стоящие перед наукой, нередко требуют особого подхода к методологии, с которой исследователь обращается к их решению. Одним из интереснейших приемов, которые используют, вероятно, в каждой теоретической области научного познания, является обращение к метафорам. Известные западные философы Макс Блэк и Мэри Хесс подчеркивали, что метафоры выполняют когнитивную функцию, способствуя рассуждению,

объяснению и пониманию на основе аналогий [1]. Так, метафоры могут служить инструментом для нахождения и описания новых явлений или свойств, а также упрощают работу с некоторыми сложными проблемами.

В данном контексте можно вспомнить достаточно известный пример из физики, где используется метафора «волны», которая представляет собой прямую аналогию поведения воды, то есть между волной, встречающейся в мире микрочастиц, и рябью водной глади имеются некоторые сходства, позволяющие проводить подобные аналогии, что упрощает теоретическую работу с микрочастицами. Однако важно сразу отметить, что эти волны не являются тождественными.

Отечественный философ В.М. Розин, обращаясь к определению «метафоры», делает достаточно интересное замечание. Как показывает философ, современные популярные определения не устраивают философский дискурс, так как предполагают перенос смысла одного предмета на некоторый другой [2, с. 32]. В.М. Розин ставит вопрос, как же именно происходит процесс этого переноса, откуда возникает новое свойство. И здесь предлагается смотреть на метафору как на схему, то есть в ее формировании участвуют два объекта или явления, несовместимые друг с другом по классификации, например, Солнце и апельсин. У них есть некоторые схожие свойства, но нельзя сказать, что они идентичны друг другу. Когда же происходит отождествление двух разнородных понятий, результатом выступает «метафоричный смысл», то есть возникает нечто новое из сочетания двух предыдущих [2, с. 33-34]. Так, возвращаясь к волнам, можно сказать, что там участвует сочетание волны, как поведение воды, и как особенности поведения микрочастиц, что по свойствам схоже с поведением воды, следом возникает совершенно новое явление, которое, строго говоря, не тождественно ни воде, ни свойствам поведения частиц микромира. Так, возвращаясь к метафоре волны, можно сказать, что она объединяет поведение воды и поведение микрочастиц. Оба явления схожи по свойствам. Но в результате объединения этих явлений в одной метафоре возникает совершенно новое явление — волна, — которое не тождественно по свойствам ни поведению воды, ни поведению микрочастиц.

В контексте научного познания метафора является ничем иным как фикцией, вымыслом, так как полученного объекта или явления, на самом деле, нет и никогда не существовало. Однако можно допустить, что создание подобных фикций носит полезный характер. В частности, математический фикционализм предлагает защиту эвристической ценности математических высказываний (как фикций), опираясь на наличие значимой цели у данных высказываний в производстве научного знания [3]. Подобный аргумент, как мне кажется, справедливо относится и к созданию фикций в других областях научного знания. Обращение к фикции является полезным когнитивным и методологическим механизмом, грубо говоря, служит фундаментом и инструментом для исследования сложных явлений или объектов, последующей систематизации результатов и выведения новых теоретических разработок. Нельзя не заметить, что достаточно обширный спектр научных результатов, с которыми мы работаем сегодня, так или иначе включает в себя определенные фикции, дающие, в первую очередь, возможность для человека воспринимать и интерпретировать полученные результаты.

С пользой можно связать еще одно важное и более радикальное допущение о том, что обращение к фикции является необходимостью. Это объясняется ограниченностью человеческой перцепции к пониманию различных явлений, объектов и даже целых пространств. Так, перцептивные ограничения человека совершенно не допускают иных возможностей понять природу макрокосмических и микрокосмических явлений, что делает создание и применение различных фикций необходимым.

Подобного рода необходимость возникает в современной проблематике информационной экологии и, в целом, в исследований цифровой реальности. Цифровую среду нередко обозначают как «среду третьего порядка». В частности, такое определение дают отечественные философы В.И. Аршинов и В.Г. Буданов, справедливо замечая, что социотехнический ландшафт представляет собой координатную сеть, которая формирует

множество социальных практик в связке с цифровыми технологиями. Ключевой особенностью данного ландшафта выступает отсутствие какой-либо территориальной ориентации в пространстве, при этом сохраняя ряд других свойств [4, с. 19]. В своей работе, а также в ряде других, исследователи определяют для социотехнического ландшафта цифровую географию, где координатными величинами выступают социальные феномены и цифровые технологии. Так, визуализация цифровой реальности в работах автора представляет собой некоторую таблицу или матричную базу, что, на мой взгляд, является корректным образом, однако в рамках цифровой экологии оставляет трудности для восприятия, что может помешать зафиксировать ряд проблем взаимовлияния человека и цифровой среды.

Именно эти проблемы составляют исследовательское поле экологии цифровой среды. Как отмечает Е.В. Петрова, информационная экология является ярким примером частной экологии, предметом которой выступают духовные ценности и символические миры [5, с. 49]. Эта часть экологии анализирует взаимоотношения между человеком и искусственно созданной цифровой средой. Один из крупнейших факторов влияния цифровой среды на человека заключается в том, что она заменяет собой природную среду, то есть человек, можно сказать, разворачивает свой быт в цифровой реальности, что, в частности, связывает нематериальную среду, как метафору, с действительной природной или антропогенной окружающей средой физического мира.

Нематериальный статус цифровой реальности сам по себе вызывает большое множество затруднений, влияние информационной среды на человека достаточно трудно измерить, не только в силу того, что сама среда не имеет эмпирической локации, но и человек, попадая в эту среду, оказывается в ней бестелесным и децентрализованным субъектом [6]. И все же, как отмечает Е.О. Труфанова, нельзя принимать эту особенность как показатель отсутствия влияния цифровой среды на биологическую основу человека. Подобное влияние сохраняется как и от привычных нам сред обитания, а где-то, вероятно, носит даже более сильный и заметный характер, о чем пишет широкий круг ученых, специализирующихся на данной проблематике.

Безусловно, рассматривая цифровую реальность как новую среду обитания человека, можно выделить ее свойство, позволяющее проводить подобную параллель, а также выступает одной из причин выделения информационной экологии в отдельное направление экологии человека. Особую роль здесь важно уделить комплексному изучению экологией различных факторов окружающей среды, которые воздействуют на человека. Цифровой среде наиболее полно соответствует группа антропогенных факторов, где выделяются последствия деятельности человека, влияющие на природу и изменение среды обитания [7, с. 104]. Данная группа факторов оказывает достаточно широкое влияние на человека, проводящего во взаимодействии с цифровой реальностью большое количество времени, а в некоторых случаях вовлекаясь в нее настолько глубоко, что реальности первого и второго порядков отходят на задний план. Тем временем, человеку необходимо адаптироваться к новой для него реальности, как он ранее адаптировался к антропогенной среде. Реальное наличие подобных факторов, оказывающих влияние не только на ментальное, но и на физиологическое состояние человека, а также степень погруженности пользователя в цифровую среду позволяет употреблять сочетание «окружающая среда» по отношению к социотехническому ландшафту.

Это, в свою очередь, и становится реальной возможностью зафиксировать массив упомянутых факторов, а также степень их влияния. Конечно, употребление такой метафоры по отношению к социотехническому ландшафту сопровождается не только пользой, но и некоторыми рисками для воспроизводства полезных знаний о новой реальности, а значит и для последующей разработке методик решения, предлагаемых ею вызовов. Критика фикционализма предполагает один из аргументов, который достаточно полно отражает упомянутые риски. Онтологическая проблема фикций заключается в том, что статус вымышленного объекта может не совпадать со статусом реальной сущности, ставшей для нее прообразом [3]. То есть созданная фикция обладает рядом уникальных свойств, которые не

соотносятся с действительностью. Так и в случае с цифровой средой, обладая рядом схожих свойств с действительной средой обитания, она не может, строго говоря, быть ей тождественна, что необходимо учитывать, проводя исследования ее влияния на человека. Другая проблема, которую хочется выделить, плавно выходит из первой. Объектам технической и цифровой реальности ошибочно приписываются свойства и механизмы природных объектов. Например, эволюционный процесс технологического объекта совершенно не сводим к биологической эволюции.

В заключение, хочется отметить, что для исследования подобных систем использование метафор становится чем-то необходимым, что позволяет охватить, зафиксировать и исследовать достаточно большой объем различных факторов, особенностей и характеристик. Определяя цифровую реальность как среду обитания человека, исследователь открывает для себя возможность усмотреть и изучить достаточно обширный спектр взаимосвязанных процессов влияния человека на искусственную среду и наоборот. Цифровая экология ставит перед собой цель не только изучить процессы и причины этого влияния, но и разработать принципы рационального взаимодействия людей с цифровой реальностью. Однако использование подобной метафоры может исказить представление о том объекте, который становится реальной причиной проведения исследования, как в нашем случае этим объектом является социотехнический ландшафт.

Литература

1. Reynolds A.S. Metaphors and Science // Understanding Metaphors in the Life Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. P. 1-13.
2. Розин В.М. Метафора как средство построения художественной реальности (на примере анализа метафоры «кантавр» в романе Меира Шалева «Эсав») // Культура и искусство. 2022. № 2. С. 31-42
3. Eklund M. Fictionalism.[Электронный ресурс]. URL: https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/fictionalism/. (дата обращения 03.11.25).
4. Аршинов В.И., Буданов В.Г. Онтологии и риски цифрового техноуклада: к вопросу о представлении социотехнического ландшафта // Сложность. Разум. Постнеклассика. 2019. № 2. С. 51-60.
5. Петрова Е.В. Гуманитаризация экологии: история и методология // Гуманитарный вектор. 2025. Т. 20, № 1. С. 44-54.
6. ТруфановаЕ.О. Субъект: вызовыцифровизации// Galactica Media: Journal of Media Studies. 2024. Т. 6. № 4. С. 215-234.
7. Петрова Е.В. Информационная экология в цифровой среде // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2019. Т. 23. №3. С. 103-108.

ТИРАЖИРОВАНИЕ МЕЖДУ ТЕХНИКОЙ И ИСКУССТВОМ: РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ VISUAL STUDIES

Визуализация новости: от лубка к газетному репортажному рисунку

Ансберг О.Н.
Кандидат исторических наук
независимый исследователь
E-mail: o_ansberg@mail.ru

Аннотация: Рассмотрены примеры визуализации газетных новостей в печатных картинках (лубках), начиная с XVIII века. На примере репортажных рисунков из газеты «Петербургский листок» показан спектр возможных способов визуализации текстовой новости: от перерисовки фотографий или от непосредственных натурных зарисовок до визуальной реконструкции события с разной мерой фантазийности. Внутри газетной полосы репортажный рисунок сложным образом взаимодействует с текстом и приобретает новые функции, помимо информационных (в том числе увеличивает вес и значимость новостного сюжета). Вне зависимости от степени документальности и достоверности каждого конкретного рисунка, все они (совместно с сопровождающими тестами) были представлены на газетных страницах как важные городские новости. Даже если событие не происходило в реальности, его изображение существовало в медийном пространстве, как часть предлагавшейся читателям информационной картины дня. Изучение обширного корпуса креолизованных визуально-текстовых новостных сюжетов из «Петербургского листка» представляется весьма перспективным.

Ключевые слова: визуализация новостной информации; печатная картинка (лубок); газетный репортажный рисунок; газета «Петербургский листок»; визуальная реконструкция событий.

Visualization of the News: from *the Lubok* to a Newspaper Reportage Drawing

Ansberg O.N.
Independent scholar

Abstract: In the report there are considered the examples of visualization of news information in printed pictures (the lubok), starting from the XVIII century. Using the reportage drawings from the Peterburgsky Listok newspaper, it is shown a range of possible ways of visualizing text-based news: from redrawing photographs or making direct sketches from nature up to visual reconstructing of urban events with varying degrees of fantasy. Inside the newspaper page, the reportage drawing interacts in a complex way with the text and takes on new functions in addition to informational ones (including increasing the weight and significance of the news story). Regardless of the degree of documentary and reliability of each individual drawing, all of them (along with their accompanying tests) were presented on the newspaper pages as important city news. Even if the event did not occur in reality, its image existed in the media space as part of the information picture of the day presented to readers. The study of the extensive corpus of creolized visual-textual news stories from the Peterburgsky Listok seems very promising.

Keywords: visualization of news information; printed pictures (the lubok); newspaper reportage drawing; the Peterburgsky Listok newspaper; visual reconstructing of events.

На протяжении многих десятилетий газеты были основным и наиболее оперативным каналом распространения текстовых, вербальных новостей. Носителем визуальной информации они смогли стать далеко не сразу из-за недостаточного развития полиграфической базы. Потребность в визуальном представлении событий и происшествий удовлетворялась за счет листовой печатной картинки, выполненной в разной технике (ксилография, гравюра на металле, позднее – литография).

Между газетой и новостной картинкой, существовавшими в едином медийном поле, могли возникать интересные взаимодействия. Любопытный эпизод связан с газетой «Московские ведомости», выходившей с 1756 года. Как отмечают историки лубочной картинки, в конце 1750-х годов в московской типографии Ахметьева выпускалось своеобразное «иллюстрированное приложение» к этой газете [1, 19]. Печаталась лубочная картинка, изображающая газетный сюжет, по краю воспроизводился газетный текст (иногда несколько измененный) и давалась ссылка на номер газеты. Так, со ссылкой на «Московские ведомости» от 11 июля 1760 года, где сообщалось, что некий иностранец привез в Барселону животное («сатира»), которое имеет «голову, лоб, глаза и брови человечьи, уши тигровы, щеки красные, кошачьи усы, козью бороду», было опубликовано совершенно соответствующее описанию цветное изображение «сатира». Среди связанных с газетами лубочных сюжетов, учтенных в указателе Д.А. Ровинского, – извержение Везувия в 1766 году, комета в 1769 году, поимка кита в Белом море в июле 1760 года.

Самой ранней в России иллюстрацией к газетной новости, видимо, является лубок «Известие 1739 года о двух чудах, лесном и морском, пойманных в Испании», где дана ссылка: «выписано испечатных санктпитербурских ведомостеи, полученных маия 20 дня сего 1739 года...». Визуализация, разумеется, была совершенно фантазийной.

Широко использовался взятый из газет комментарий в военном лубке, начиная с Крымской войны и вплоть до Первой мировой. Изображение батальных сцен было, как правило, достаточно условным, а впечатление репортажности при этом должен был подкреплять именно текст. По словам А.Ф. Некрыловой, «своеобразная магия печатного слова, включающего точные даты, реальные имена, убедительные цифры <...> наделяла иллюзией правдивости и рисунок» [2, с. 7].

С 1840-х годов на Западе появляются иллюстрированные газеты, сперва еженедельные, а с 1890-х годов – ежедневные, возникают они и в России. К концу XIX века в Петербурге выходили две ежедневные газеты, которые печатали иллюстрации в основном тексте, а не только в специальных приложениях (такие приложения были практически у всех крупных газет): «Петербургская газета» и «Петербургский листок». Большое место в обеих газетах занимал иллюстрированный городской репортаж. При этом в «Петербургском листке», вопреки общей тенденции, рисунок не был вытеснен фотографией. Многочисленные фотографии печатались в иллюстрированном приложении, а в основном помещали только рисунки; фотографии при необходимости перерисовывали.

Тематика репортажных рисунков универсальна, т.е. охватывает буквально все стороны жизни дореволюционного Петербурга. Изображались официальные события, отражалась жизнь религиозных конфессий. Разнообразно и эффектно изображались происшествия: пожары, взрывы, катастрофы, строительные аварии. В широком спектре была представлена криминальная хроника. Отображались события культурной жизни, спорта, деятельность коммунальных служб и пр. Предметом постоянного внимания была общественная жизнь: подготовка и проведение выборов в Государственную думу и в городское самоуправление (работа избирательных участков, предвыборная агитация), деятельность общественных организаций; во время революционных событий 1905–1907 гг. – уличные демонстрации, акции революционных партий и их подавление.

Центр петербурговедения Библиотеки им. В.В. Маяковского при участии автора настоящего сообщения осуществляет проект по сплошной оцифровке городских репортажных рисунков [3]. Вместе с цифровой копией рисунка в базу данных, содержащую уже около 3000 позиций, передается и связанный с ним газетный текст (цифровая копия фрагмента газеты и его перепечатка в формате Word). Это дает возможность наглядно сопоставлять вербальное и визуальное представление новости. Рисунок и текст в газетном репортаже различными средствами рассказывают одну и ту же историю, создавая своего рода стереоскопическое изображение события. Очень часто при этом на рисунке тщательно изображаются упомянутые в новостном тексте детали (нож в руке хулигана и пр.).

В подписях под репортажными рисунками в «Петербургском листке» можно встретить разные формулировки: «рисунок с натуры», или «с фотографии», иногда – «по наброску очевидца» или даже «со слов очевидца», что связано со спецификой репортажного рисунка и отражает разную степень авторской фантазии при художественной реконструкции события.

Можно говорить о двух полюсах, к которым тяготеют репортажные рисунки. Один полюс – рисунки, фиксирующие статичное состояние реально увиденного объекта, которое могло бы быть сфотографировано. Другой полюс – рисунки, стремящиеся зафиксировать не состояние, а событие в самый момент его протекания (например: жена бьет мужа утюгом по голове; разлетаются осколки от взорвавшегося парового котла; летит с вышки, переворачиваясь в воздухе, ударенный током электромонтер). Художник-репортер, иллюстрирующий подобное событие, сам не мог его видеть (может статься, что «новость» вообще придумали в газете). В крайнем проявлении такие рисунки можно назвать «квазирепортажными». Отчасти они напоминают лубочную картинку, отчасти – отдельную картинку комикса, его отдельный «кадр». Событие при этом изображается в своей кульминационной точке (при взрыве разлетаются осколки, при выстреле – клубится дымок из дула пистолета и т.п.). Как отмечал А.Е. Барзах, «каждая картинка комикса не мгновенна, она обладает <...> “толщиной по четвертой координате”, это целый эпизод а не одномоментная фотография» [5, с. 26]. Эта черта комикса свойственна газетному репортажу и в особенности «квазирепортажу». Прекрасный пример «квазирепортажного» рисунка – изображение несчастного случая со служанкой. Здесь художник не только рисует падающую из окна женщину в развевающейся юбке, но и размещает рядом с ней падающее ведро, из которого в полете льется вода.

Иллюстрация непосредственно в тексте, на газетной полосе, приобретает новые функции, не ограничиваясь только передачей визуальной информации. «Картинки», которые по законам зрительского восприятия привлекают больше внимания, чем текст, активно участвуют в организации пространства газетной полосы, формируют ее общий узор. Вместе с заголовочными комплексами, они направляют взгляд читателя и образуют своего рода точки входа, с которых начинается собственно чтение газеты.

Одна из важнейших функций рисунка в газете, в том числе репортажного рисунка, – «утяжелять» сюжет, придавать ему дополнительное значение и вес за счет иллюстрирования. Если рядом помещены сопровождающийся эффектной картинкой текст о «покушении на убийство мужа утюгом» и заметка на серьезную внешнеполитическую тему без картинки, то в читательском восприятии проиллюстрированный сюжет всегда будет доминировать. Возможность создавать сенсацию из любого пустяка – за счет картинки, укрупненного заголовка и ударного места на полосе – была, на мой взгляд, одной из причин, заставлявших газетчиков «Петербургского листка» отдавать предпочтение рисунку перед фотографией.

Повторяющиеся новостные сюжеты (драки, пожары, взрывы, патриотические манифестации во время войны) зачастую изображались стандартным образом и делались малоразличимыми. В такой ситуации репортажный рисунок фактически утрачивал информационную функцию и превращался в своего рода «иконку», обозначающую сюжет (это можно сравнить с достаточно произвольным подбором иллюстраций в современных лентах новостей).

Однако, вне зависимости от того, насколько документален и достоверен был каждый из репортажных рисунков, все они были в свое время (в сопровождении текста) представлены на газетных страницах как новости, заслуживающие особого внимания. Даже если конкретное описываемое событие не происходило в реальной жизни, его изображение существовало как часть медийного поля, часть предлагавшейся читателям информационной картины дня, и в этом отношении ценность репортажного рисунка как визуального источника несомненна.

Литература

1. Русские народные картинки XVII–XVIII вв. М., 1968. 120 с.
2. Некрылов А.Ф. Лубочная картинка времен Крымской войны // Русский батальный лубок середины XIX века. Крымская война 1853–1856 годов. СПб., 2010. С. 5–6.
3. База данных «Петербург в газетных иллюстрациях» размещена на портале «Мир Петербурга»: izo.mirpeterburga.ru.
4. Барзах А. Поэтика комикса // Русский комикс. М., 2010. С. 9–52.

«Что надо Петербургу?»: фотографическая репрезентация города на страницах «Синего журнала»

Блатова Е.В.
магистр филологии
Европейский университет в Санкт-Петербурге, аспирант исторического факультета
E-mail: kblatova@mail.ru

Аннотация: Развитие и распространение фотографического способа отображения реальности, в частности пространства города, позволило разнообразить иллюстративный ряд развлекательных периодических изданий. Прежде всего фотографии появлялись в них в виде репортажей с места событий, поэтому отражали преимущественно знаменательные явления, оставляя репрезентацию повседневности за рамками. «Синий журнал», в свою очередь, кроме публикаций бытового характера обращается к такому новому формату, как фотоэтюды, которые представляли собой постановочные серии снимков, в том числе в условиях города. Более того, в контекст Петербурга оказывается включенным само название журнала, которое редакция помещает в узнаваемое пространство для демонстрации всеохватности издания. В настоящей публикации мы обратимся к типам фотографической репрезентации города на страницах журнала и выявим их отличие от классического представления Петербурга в периодических изданиях начала XX в.

Ключевые слова: «Синий журнал», история чтения, история журналистики, фотография в периодических изданиях, бульварный журнал, массовые издания, историческая урбанистика.

“What Does St. Petersburg Need?”: Photographic Representation of the City in “Sinij Zhurnal”

Blatova E.V.
European University in St. Petersburg

Abstract: The development and spread of the photographic technique of representing reality made it possible to diversify the illustrative range of entertainment magazines. Initially, photographs were used as part of on-site reports, mainly depicting

significant events, while everyday life remained outside the scope. The editorial team of the "Sinij Zhurnal" ("Blue Magazine"), a pulp-magazine of the 1910s, takes a fresh approach to traditional photographic images, going beyond official interpretations of exceptional events. In addition to covering everyday occurrences, it introduces new formats such as "photo essays" which are staged series of photographs often taken in urban settings. Moreover, the very name of the magazine is included in the context of St. Petersburg, being placed in recognizable spaces to demonstrate the inclusiveness of "Sinij Zhurnal" and its advertising techniques. In this publication, we will explore how magazine's photographic representations of the city differ from the traditional portrayal of St. Petersburg's urban landscape.

Keywords: "Blue Magazine" ("Sinij Zhurnal"), history of reading, history of journalism, photography in periodicals, pulp-magazine, urban history.

«Что надо Петербургу?» – такой вопрос с крупной иллюстрацией редакция «Синего журнала» опубликовала на первой странице №23 за 1912 г. Изображение городского перекрестка с узнаваемым зданием Гостиного двора определялось редакцией как «фантастический снимок», который открывал серию «Петербург в будущем», что объясняло размещение на фоне неба названия журнала наподобие «световой рекламы». На деле это оказалась работа известнейшего петербургского фотографического ателье Карла Буллы, запечатлевшая угол Садовой ул. и Невского пр., впоследствии отретушированная и дополненная надписью. Так, «Синий журнал» буквально встраивал себя в городское пространство и демонстрировал прямое взаимодействие с ним. Как же на страницах издания использовалось изображение Петербурга и в чем оно отличалось от подобных публикаций в других медиумах?

«Синий журнал» – тонкий иллюстрированный еженедельник, который начал издаваться в 1910 г. Михаилом Германовичем Корнфельдом. Он представлял собой, с одной стороны, типовой тонкий журнал, в котором наравне с новостной сводкой и беллетристической частью публиковались юмористические заметки и иллюстрации. С другой стороны, его редакция делала упор на новаторстве формата – отсутствии конкретного жанрового направления, эксклюзивности новостей, большом количестве фотографического материала. В объявлении о подписке в первом номере «Синий журнал» назван «журналом нового типа», который «на первое место выдвигает широкую осведомленность и злободневность иллюстраций и литературного материала» [1, с. 18]. Визуальная составляющая журнала с самого начала его существования выдвигается на первый план и позиционируется редакцией как важная особенность нового издания. «Фотография» же выделялась в отдельную, но дисперсную в пространстве выпусков рубрику. В ней заявлялись к размещению не только новостные снимки, но и постановочные. Жанр фотохроники, в том числе городской, существовал в ряде других развлекательных еженедельников и был нацелен на подчеркнуто документальное повествование, когда кадр служил негласной верификацией произошедшего или был направлен на достижение эффекта присутствия. Фотоэтюды, в свою очередь, должны были изображать «моменты общественного быта и <...> современную жизнь в различных ее областях» [2, с. 19], иллюстрируя, таким образом, те проявления жизни, которые не попадали в раздел новостей. Именно в контексте нового подхода к фотографическим публикациям мы и рассмотрим материал, отражающий городское пространство в «Синем журнале».

В периодических изданиях фотографическая репрезентация Петербурга появляется еще в конце XIX в. К примеру, в «Ниве», крупнейшем журнале дореволюционного периода, фотографии городских событий вынесены в оглавлении в отдельный перечень [3, с. 16]. В первую очередь в печати появляются именно фоторепортажи, иллюстрирующие конкретные события или происшествия [4, с. 92], тем самым предлагая читателям более строгую, официальную картинку города, оставляя без внимания изображение повседневности [5, с. 128]. В ряде публикаций «Синий журнал» придерживается такого же формата: городское пространство появляется на страницах издания уже в №4, в заметке «Крещенский парад»,

в которой по следам недавно прошедших праздников публикуются фотографии водосвятия на Неве и ожидающей императрицу кареты у подъезда. Они представляют собой классическую репрезентацию государственного события: на верхнем кадре изображена сень на фоне Зимнего дворца и торжественная толпа вокруг нее, а на нижнем – экипаж, снятый в профиль – традиционный формат изображения типового или документального. Но уже в №7 появляется не вполне репортажная заметка «В огне». Ее визуальная составляющая отличается отсутствием официальной риторики: на 4 фотографиях изображены пожарные, их экипировка и техника – неотъемлемая часть городского быта. Помимо запечатления особенностей повседневной жизни, в публикации также сочетается репортажная и постановочная съемка. В связи с такой дифференциацией форматов фотографической репрезентации Петербурга на страницах «Синего журнала» для дальнейшей характеристики ее специфики мы прибегаем к следующей типологизации:

1. Псевдо-официальное освещение события.

Карикатуризацию официального события можно отметить в №46, в статье, посвященной открытию Охтенского [Так в оригинале – Е.Б.] (моста Петра Великого, Большеохтинского) моста. В выбранном фотографом ракурсе большое внимание уделяется толпе, снижая общий пафос изображения внушительной конструкции. Насмешливый тон заметки поддерживают и название – «Ура! Охтенский мост – не сон!..», – и упоминание факта хищения на постройке. Так, традиционная официальная риторика сменяется критикой и иронией в отношении события, к которому другие издания подходят в классическом формате освещения новости [6, с. 823].

2. Фиксация городской повседневности.

В отличие от других развлекательных изданий, которые в большей степени обращаются к описанию исключительно масштабных, заметных в контексте города событий, в «Синем журнале» отдельное место занимают публикации фотографий, которые, наоборот, отражают непарадную повседневность. Такова, например, заметка, изображающая женщин в непривычном элементе костюма на фоне Медного всадника – «Дамы в шароварах на улицах нашей столицы» [7, с. 1], заметки, изображающие торговлю на Сенном рынке [8, с. 6], рыбака на фоне Петропавловской крепости [8, с. 11], продавцов пальм на набережной Невы [8, с. 12], художника в парке [9, с. 14], застройку о. Голодай [8, с. 13] или чтение газетных известий у здания издательства [10, с. 1]. Такие публикации не только фиксируют современность, но создают из нее прецедент, выделяя его из общего течения жизни. Важной составляющей подобных заметок становится определенный петербургский локус – узнаваемое, иногда достопримечательное место столицы, которое позволяет читателю мысленно сориентироваться в пространстве города. Так или иначе объект оказывается в диалоге с пейзажем, семантически дополняя его. Именно к этой связи и апеллирует редакция.

3. Социальная фотография.

Отдельную часть фотографических публикаций в «Синем журнале» составляют снимки представителей различных сообществ, которые иллюстрируют те или иные явления в городе. В отличие от предыдущего типа они носят более резко обозначенный социальный характер, выводя на первый план общественную проблематику. Некоторые из них представляют собой репортажи, которые фиксируют конкретные городские явления, например, период экзаменов [11, с. 7], раздачу брошюр по борьбе с алкоголизмом [12, с. 5], очередь на покупку билетов в театр [13, с. 6], бытовые особенности зимнего города [14, с. 5], окраинную жизнь [15, с. 13; 16, с. 10] или тяжелые условия труда [17, с. 4; 18, с. 1]. Другой вид публикаций на подобные тематики определяется редакцией как фотоэтюды, снятые с целью освещения конкретных актуальных вопросов, например, поиск квартир для съема [8, с. 1], студенческая жизнь [19, с. 6], ожидание заработной платы [2, с. 12], знакомств на Стрелке весной [20, с. 10–12]. Этот формат позволяет редакции освещать злободневные темы не только в текстовом, но и в визуальном ключе. При этом городское пространство становится для редакции своеобразным инструментом иллюстрации, а сам формат фотографии верифицирует истинность проблемы и приближает ее в восприятии читателя к реалиям его жизни.

4. Всеохватность события.

В заметке, посвященной солнечному затмению [21, с. 11–13], городское пространство объединяет участников события и создает иллюзию единого пространства наблюдения благодаря множественности точек съемки. За счет кадров не только из центральных локаций наблюдения – обсерваториях на Марсовом поле и Пулковских высотах, – но и из более повседневных мест – с крыш и улиц, – фоторепортаж демонстрирует широту охвата явления, которое затронуло одномоментно весь Петербург. Героями фотографий становятся случайные обыватели, в том числе женщины и дети, которые совместно формируют на страницах журнала композитный портрет петербуржца, включающий в себя всех жителей одновременно.

5. Отредактированные фотографии.

Формат «фантастических снимков» появляется в выпусках несколько раз, изображая, к примеру, небоскребы [22, с. 13] и дирижабли в Петербурге будущего [23, с. 1]. За счет ретуширования кадров редакция осуществляет прямое вмешательство в виды города, тем самым вступая в диалог с реальностью и преобразовывая ее на свой манер, предлагая читателю собственное прочтение будущности города.

6. Реклама.

Массовый характер «Синего журнала» обеспечивался, в частности, грамотным подходом к его рекламированию, которое порой выражалось в необычных для периодики 1910-х гг. приемах. Так, использовался в этих целях и городской ландшафт, в который редакция вписывала свое издание для демонстрации его популярности и всеохватности. Помимо уже рассмотренной «световой рекламы» название журнала появляется на здании в новости о кругосветном путешествии на автомобиле [24, с. 14], а выпуски «случайно» оказываются в сумках газетчиков [25, с. 25] или используются в постановочном снимке у поезда для рекламы подписки [26, с. 1]. Кроме этого, публикуются и фотографии непосредственно редакции в городе – самого здания с вывеской во дворе [27, с. 13; 28, с. 14] или сотрудников на льду Невы перед «погружением» под воду одного из авторов журнала Бориса Мирского [29, с. 12], что способствует в этом случае убеждению читателей в осуществлении курьезной идеи.

Итак, редакция «Синего журнала» по-новому подходит к изображению города, используя его для иллюстрирования тематического материала, вводя новый формат фотоэтюдов, а также вмешиваясь в визуальную репрезентацию Петербурга и редактируя ее на свой лад. Кроме этого, они встраивают в город и сам «Синий журнал», что направлено не только на демонстрацию его массовости, но и на достижение успеха рекламных кампаний издания. Во многих источниках он определяется как «самый бульварный журнал России» – даже такая расхожая формулировка метафорически связывает развлекательный еженедельник с городским пространством. Локусы преломляются в заметках журнала, сочетаясь со злободневными темами или выступая на первый план. Горят на небе буквы световой рекламы в футуристическом Петербурге, перенося в будущее и неизменный «Синий журнал».

Литература и источники

1. Синий журнал. 1910. №1.
2. Синий журнал. 1911. №47.
3. Оглавление «Нивы» за 1911 г. // Нива. 1911.
4. Луковская М.А. Иллюстрированные приложения к петербургским газетам XIX в. // История газетно-журнальной иллюстрации: сб. ст. СПб., 2016. С. 83–97.
5. Мозохина Н.А. Образ Петербурга в художественной оригинальной открытке Общины святой Евгении // Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Научные труды. 2006. № S. С. 123–132.
6. Нива. 1911. №44.
7. Синий журнал. 1911. №11.
8. Синий журнал. 1911. №35.

9. Синий журнал. 1912. №22.
10. Синий журнал. 1912. №41.
11. Синий журнал. 1911. №36.
12. Синий журнал. 1911. №42.
13. Синий журнал. 1911. №45.
14. Синий журнал. 1912. №6.
15. Синий журнал. 1912. №23.
16. Синий журнал. 1912. №33.
17. Синий журнал. 1911. №51.
18. Синий журнал. 1912. №31.
19. Синий журнал. 1911. №46.
20. Синий журнал. 1912. №19.
21. Синий журнал. 1912. №16.
22. Синий журнал. 1912. №25.
23. Синий журнал. 1912. №32.
24. Синий журнал. 1912. №20.
25. Синий журнал. 1911. №53.
26. Синий журнал. 1912. №5.
27. Синий журнал. 1911. №48.
28. Синий журнал. 1912. №50.
29. Синий журнал. 1913. №3.

Проблема визуального в исторических исследованиях: от иллюстрации к интерпретации

Жердева Ю.А.
Кандидат исторических наук
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения
E-mail: jujuly@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается специфика визуального поворота в исторической науке. Автор показывает сложности утверждения за визуальным статуса легитимного исторического источника, равноправного текстовому документу. Обращает внимание на то, что усиление интереса к визуальному в последние десятилетия было связано с развитием такого дисциплинарного поля исторической науки, как public history. Отмечается специфика дистанцированности объекта исследования при обращении историков к визуальным свидетельствам прошлого. Автор приходит к выводу, что историкам в исследовании визуального приходится учитывать следующие факторы: изображение отражает современный ему взгляд на прошлое, а не само прошлое; работа с изображениями предполагает внимательную реконструкцию социального и культурного контекста их создания и бытования; требует от исследователя умения читать «между строк» и деконструировать образ; принимать во внимание обращенность произведения к аудитории.

Ключевые слова: визуальный поворот; историческая наука; визуальные исследования; история; pictorial turn; public history.

The Problem of the Visual in Historical Research: from Illustration to Interpretation

Zherdeva Yu.A.
Samara National Research University

Abstract: The article examines the specifics of the visual turn in historical science. The author shows the difficulties of asserting the visual status of a legitimate historical source that is equal to a text and draws attention to the fact that increased attention to the visual in recent decades has been associated with the development of public history. The specificity of the distancing of the research object is noted when historians turn to the visual evidence of the past. The author concludes that historians have to take into account the following factors: the image reflects a contemporary view of the past, not the past itself; working with images involves a careful reconstruction of the social and cultural context of their creation and existence; requires the researcher to be able to read "between the lines" and deconstruct the image; the appeal works to the audience.

Keywords: pictorial turn; historical methods; visual studies; history; pictorial turn; public history.

Визуальный поворот (pictorial turn, iconic turn, visual turn) в гуманитаристике последних десятилетий проложил демаркационную линию среди отечественных историков: одни исследователи с воодушевлением приняли предлагаемую им оптику деконструкции образа и постарались трансформировать свои «практики смотрения» и взаимодействия с визуальным [1; 2; 3], другие сделали вид, что «мода» на визуальное лежит за рамками научного познания историка, а рассуждения о специфике или социальном характере образа нужно оставить искусствоведам. В каком-то смысле такая ситуация напоминает различия в понимании семиологии у Ролана Барта и Тартуско-Московской школы: для Барта семиология была «способом изменения мира посредством подрывной работы внутри языка», для советских семиотиков – «инструментарием для беспристрастно-научного, как они полагали, анализа различных культурных языков как знаковых систем» [4, с. 14]. Конечно, такое размежевание в исторической науке не является уникальным, похожую ситуацию мы наблюдаем в гуманитарных и социальных науках в целом: философы, антропологи, социологи и филологи оказались более чувствительны к возможностям визуального поворота, чем, к примеру, искусствоведы [5, с. 7].

Между тем, ценность визуальных источников для исторического исследования уже давно признана, особенно учитывая количественный рост изображений, который наблюдается в XX – начале XXI вв., и внимание историков к новым медиа – кинематографу, видеоиграм, сетевым проектам – уже стало заметным явлением в исторической науке [6; 7; 8]. Отчасти этому способствовало появление особого дисциплинарного поля – public history (в русскоязычных текстах обычно используются термины «публичная история» или «прикладная история») – для которого визуальные источники являются исключительно важными. При этом сама номенклатура визуального оказывается весьма широкой: помимо таких «классических» двух- и трехмерных визуальных объектов, как живопись, графика, фотография, скульптура или архитектура (понимаемая, в первую очередь, с фукольдианских позиций «власти» взгляда и дисциплинарных практик), источниками исторического исследования в публичной истории оказываются кинематограф, музейные экспозиции, театральные спектакли, перформансы, городской ландшафт или окружающая среда [9; 10; 11].

В дисциплинарном поле культурной / культуральной истории (cultural history), исследований культуры (cultural studies) и визуальных исследований (visual studies) способы исследования образов уже достаточно хорошо разработаны [12]. Однако специфика взгляда историка на изображения прошлого (визуальные источники, по принятой в исторической науке классификации) заключается в том, что, в отличие, к примеру, от искусствоведа, для которого изображение – это объект исследования, «данный в ощущениях», для историка оно лишь копия

объекта, непосредственный контакт с которым невозможен в принципе. Эта изначальная копийность «исходного объекта», которым является прошлое, задает специфическое понимание «копии» для работы историка. Тиражность и копийность визуального источника не задает историку особых исследовательских проблем до того момента, пока она не определяет сам характер сообщения источника. Необходимость «внешней критики источника», т. е. выяснения его атрибуции, физического состояния и обстоятельств создания, для историка зачастую оказывается достаточной для понимания происхождения предмета, а его репродуцируемость интересна, в первую очередь, для изучения интенций копирования и способов их взаимодействия с аудиторией.

Тем не менее, среди «десяти заповедей» исследователей визуального, которые иронично выделяет Питер Бёрк, первая требует ответа на вопрос именно о копийности: «является ли изображение прямым копированием исходного объекта или это только копия другого изображения», т.е. вопрос не в технике копирования, а в том, с чего именно сделана копия – с исходного объекта прошлого или с другой его изобразительной (pictorial) копии [13; 14; 15]. Проблема копийности становится более актуальной при работе с сюжетами модерной истории. Осложняет отношения с тиражируемыми изображениями и само понимание оригинала и копии в «модернистской эстетике», которую Умберто Эко, кстати, выводит еще из теоретических трактатов маньеризма, что в целом совпадает с одной из современных исторических классификаций становления «модерного» общества. Эко отмечает, что в «модернистской эстетике» оценкой художественной значимости становится *новизна* произведения, в то время как «классическая эстетика» (от античности до средневековья) «рассматривала как “прекрасные” добротные копии вечного образца» [16, с. 52]. Соответственно, и само понимание процедуры копирования должно учитываться историками при работе с копиями копий.

Рассматриваемые как «свидетельства» тиражные визуальные источники для историка представляют двоякий интерес. С одной стороны, воспроизводимость изображения снимает проблему уникальности свидетельства, коль скоро для исследования доступны «взаимозаменяемые» (тиражируемые) образы, которые дают историку более-менее сходные представления о материальной природе объекта прошлого. В такой ситуации техника репродуцирования, как правило, не играет в исследовании самостоятельной роли, историк может работать с любым изображением этого объекта или его повторением. Однако, с другой стороны, при исследовании символической или публичной функции, которую объект выполнял в конкретных исторических обстоятельствах, значение приобретают конкретные же визуальные свидетельства, даже если они имеют тиражную природу. В таком случае тиражируемые изображения (например, в периодических или книжных изданиях) могут содержать уникальные свидетельства о событиях прошлого, информация о которых в ином виде до наших дней могла не сохраниться, и их визуальная репрезентация оказывается единственным основанием для исследования. В этом случае тиражное изображение объекта становится для историка таким же важным, как и сам отсутствующий объект, который это изображение репрезентирует [13].

Важнейшим приемом исследования историками визуальных репрезентаций является сопоставление изображений с текстами эпохи, – именно такой анализ позволяет понять сконструированность образа и приблизиться к пониманию его социальной функции. К примеру, сопоставление британских семейных портретов в жанре «conversation piece» 1720–1730-х гг. с описями имущества изображенных на них семейств позволило К. Бретфорд выявить роль студийных реквизитов художников в создании таких образов и рассматривать сам жанр таких портретов как «отражение социального или морального порядка, с которым изображенные хотели ассоциироваться, – хороший вкус, баланс и скромное трудолюбие» [13]. Конечно, классическими исследованиями контекста создаваемого изображения уже давно являются работы социальных историков искусства, таких как М. Баксандалл или С. Альперс, которые еще в 1970-е гг. показали значение социальных условий в создании образа [17; 18].

Первостепенное значение для историка приобретают приемы деконструкции образа. Большое значение в исторических исследованиях визуального стала играть деконструкция способов ви́дения, навязываемых изображением, особенно тиражируемым в массовых изданиях. К примеру, исследуются манипуляции фотографическими свидетельствами в политических или экономических целях: часто, это пропагандистские образы, задача которых сформировать определенное общественное настроение (как в образах Ленина с детьми в книжной графике второй половины 1920-х гг. [19]) или мотивировать к совершению определенного действия (как в призывных плакатах Первой мировой войны [20]). Возникающая в этих случаях иерархия власти между тем, кто создает изображение, тем, кто является его объектом, и тем, кто оказывается его реципиентом, вскрывает манипулятивную природу образа.

Даже само помещение образа в «научный контекст» («онаучивание» образа), расположение изображений в научном порядке приводит к «раздемонизации образов» (А. Варбург) и может служить эффективным инструментом манипуляции их восприятием. Хорошей иллюстрацией этого является исследование Ф. Остена, который, анализируя пропагандистские материалы Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge (Немецкого союза попечения о калеках) 1920-х гг., отмечает преобладание в них фотографий с их претензией на достоверность, которую фиксировали сами организаторы выставок: «дилетант, особенно при сравнении нелеченых и леченых случаев, верит фотографии гораздо больше, чем художественному изображению» [21, s. 344]. Эти выставки, демонстрировавшие людей с различными физическими увечьями, достаточно эффективно связали социально-экономические проблемы Веймарской республики с «последствиями» ограничений Версальского договора 1919 г., на который возложили ответственность за увеличение случаев рахита, туберкулеза и эпидемию полиомиелита в Германии, а также смогли сформировать особое отношение к «социальной биологии», укрепившееся после 1933 г. И хотя такое участие науки в дискриминирующем производстве Другого уже давно изучается социологами и антропологами (например, роль фотосъемки в евгенике или значение фотографирования «примитивных народов» в утверждении и поддержании колониального порядка [22, с. 306]), в исторических исследованиях оно встречается не так часто.

Таким образом, историкам приходится учитывать, что изображение отражает современный ему взгляд на прошлое, а не само прошлое; работа с изображениями предполагает внимательную реконструкцию социального и культурного контекста их создания и бытования; требует от исследователя умения читать «между строк» и деконструировать образ, а также принимать во внимание обращенность произведения к аудитории.

Литература

1. Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия: сб. ст. / [редкол.: И.В. Нарский и др.]. Челябинск: Каменный пояс, 2008. 476 с.
2. Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографическое послание и советское детство (Автобио-историо-графичесческий роман). Челябинск: Энциклопедия, 2008. 516 с.
3. Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М.: Новое литературное обозрение, 2011. 384 с.
4. Усманова А., Фурс В. Время (для) Ролана Барта (Предисловие редакторов) // TOPOS. 2019. № 1–2. С. 7–21.
5. Усманова А.Р., Максимова Е.С. «Фотографический реализм сыграл с нами злую шутку» // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2016. Т. 1, № 4. С. 7–15.
6. Самутина Н.В. Идеология ностальгии: проблема прошлого в современном европейском кино. М.: ГУ ВШЭ, 2007. 48 с.
7. Зверева Г.И. 1968-й в Сети и медиа // Искусство кино. 2018. № 7–8. С. 234–245.

8. Панфилов Ф. Телемедиевализм: «средневековые» сериалы конца XX — начала XXI века // Логос. 2014. №6 (102). С. 193–208.
9. Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории / под ред. А. Завадского, В. Склез, К. Сувериной. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 400 с.
10. Все в прошлом: теория и практика публичной истории / под ред. В. Дубиной и А. Завадского. М.: Новое издательство, 2021. 448 с.
11. HistoriCity: городские исследования и история современности / под ред. Б. Степанова, К. Левинсона, О. Запорожец. М.: Новое литературное обозрение, 2024. 456 с.
12. Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры. Учебное пособие / Ред.-сост. Н.Н. Мазур. СПб.; М.: Новое издательство, 2018. 544 с.
13. Montua G. Review of The Pictorial turn in History [Электронный ресурс] // H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. 2008. April. URL: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=26583 (дата обращения 15.10.2025)
14. Burke P. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence. London: Reaktion Books, 2001. 224 p.
15. Бёрк П. Взгляд историка: Как фотографии и изображения создают историю. [пер. с англ. А. Воскобойниковой]. М.: Эксмо, 2023. 368 с.
16. Эко У. Инновации и повторения. Между эстетикой модерна и постмодерна // Философия эпохи постмодерна: Сб. переводов и рефератов. Мн.: ООО «Красико-принт», 1996. С. 48-73.
17. Баксандалл М. Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля. М.: V-A-C Press, 2019. 264 с.
18. Алперс С. Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке. М.: V-A-C Press, 2022. 438 с.
19. Ушакин С. Медиум для масс – сознание через глаз: фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. 328 с.
20. Гинзбург К. «Ты нужен своей стране»: исследование из области политической иконографии // Одиссей. Человек в истории. 2005: Время и пространство праздника. М., 2005. С. 191–218.
21. Osten P. Die Modellanstalt. Über den Aufbau einer «modernen Krüppelfürsorge» 1905–1933. Frankfurt: Mabuse Verlag, 2004. 447 s.
22. Веселкова Н.В. Методологические ориентиры визуальных исследований // Документ. Архив. История. Современность. 2017. № 17. С. 303–323.

Фотографии П.Е. Щербова как основа для тиражной графики

Журавлева А.Г.
Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова, заведующая музеем
E-mail: a.zhura.vleva@yandex.ru

Аннотация: Исследование рассматривает художника П.Е. Щербова в качестве фотографа-любителя, чьи этнографические снимки гравировались для тиражных изданий ввиду несовершенства типографской печати. Рассмотрены первые шаги П.Е. Щербова в фотографии, обозначены знакомства с фотографами-любителями в Назарете и Адене. Выявлены две статьи во «Всемирной иллюстрации», содержащие гравюры с его снимков из поездок в Персию и Корею. Исследование отражает поощрение П.Е. Щербова Императорским Русским географическим обществом за альбом фотографий Японии. Также установлен заказ В.А. Поттo на снимки для многотомного труда «Истории 44-го Нижегородского драгунского полка», который П.Е. Щербов не выполнил несмотря на обязательства. Исследование выявило, что П.Е. Щербов

использовал фотографии, свои и Карла Буллы, как вспомогательное средство для соблюдения портретного сходства для собственных карикатур.

Ключевые слова: П.Е. Щербов, фотография, тиражная графика, гравирование, Всемирная иллюстрация, страны Востока.

P.E. Shcherbov's Photographs as a Basis for Printed Graphics

Zhuravleva A.G.
Historical and Memorial Museum-Estate of P.E. Shcherbov

Abstract: The study considers the artist P.E. Shcherbov as an amateur photographer, whose ethnographic photographs were engraved for print editions due to the imperfection of the printing press. P.E. Shcherbov's first steps in photography are examined. His acquaintances with amateur photographers in Nazareth and Aden are indicated. Two articles in the "World Illustration" have been identified containing engravings from his photographs from trips to Persia and Korea. The study reflects P.E. Sherbov's encouragement by the Imperial Russian Geographical Society for an album of photographs of Japan. We have established V.A. Potto's order for photographs for the multi-volume work "The History of the 44th Nizhny Novgorod Dragoon Regiment", which P.E. Shcherbov did not fulfill despite his obligations. The study revealed that P.E. Shcherbov used photographs of himself and Karl Bulla for his own cartoons, as an aid to preserving portrait likeness in one's own caricatures.

Keywords: P.E. Shcherbov, photography, printed graphics, engraving, World Illustration, Eastern countries.

Художник-карикатурист Павел Егорович Щербов (1866–1938) совершенно неизвестен как фотограф, хотя он создал сотни снимков на рубеже XIX–XX веков. Большая часть из них – этнографические и относятся к странам Востока, что делает их уникальным источником. Но, кроме этого, его этнографические снимки гравировались для журнала «Всемирная иллюстрация».

Увлечение фотографией у художника зародилось в «Ревущем стане», художественном кружке, который П.Е. Щербов организовал у себя в доме на Васильевском острове в конце 1880-х годов. Его первые шаги в фотографии фиксировали друзей по Императорской Академии художеств и встречи в «Ревущем стане». Некоторые снимки постановочные, среди таких можно отметить сценки «Репка», «Восточные мотивы», «Ссора в кабаке», «Игроки», «Притон», «Добыча контрабандиста» и «Застигнутые контрабандисты» [1].

Известно, что художник владел фотоаппаратом марки «Кодак» и занимался печатью фотографий самостоятельно. Конечно, в течение жизни приходилось менять фотоаппараты, в одной из карикатур П.Е. Щербов даже запечатлел покупку новой фотокамеры.

Первый серьезный опыт в фотографии у художника случился в 1888 году в африканском путешествии, куда он взял свой «Кодак». Одной из целей поездки, которую преследовал Щербов, было создание обширного количества фотоснимков туземной жизни и пейзажей африканского континента [2]. Отметим, что П.Е. Щербов по дороге в Африку познакомился и посетил Александра Ивановича Якубовича в Назарете, о чем свидетельствует снимок Щербова в альбоме [1]. А.И. Якубович также увлекался фотографией, около 100 его снимков Сирии, Ливана и Израиля (1889–1897 гг.) хранятся сейчас в Государственном музее истории религии. Общаться с фотографами-любителями вошло в привычку П.Е. Щербова: так, в Адене художник нанял квартиру у хозяина, который имел собственную фотолабораторию и увлекался фотографией. Но художника ждало разочарование в путешествии: несмотря на хорошо оборудованную хозяйскую лабораторию и обилие съемок, пленки у Щербова не выходили из-за жары [3, с. 45]. В итоге из африканского путешествия сохранились лишь

три снимка: с А.И. Якубовичем, с А.А. Чикиным и последний с англичанином капитаном Генри Пикардом.

Во все следующие путешествия Щербов неизменно брал с собой фотоаппарат: в Персию, Османскую империю, Корею, Японию и на Кавказ. Эти снимки сохранились в трех фотоальбомах, которые хранятся в Музее-усадьбе П.Е. Щербова и Научном архиве Русского географического общества. Многие из этих снимков П.Е. Щербова легли в основу гравюр для журнала «Всемирная иллюстрация» (далее – «ВИ»).

В 1890 году П.Е. Щербов с другом Александром Андреевичем Чикиным отправилась в Персию для ознакомления с древней культурой и местными обычаями. Через Нахичевань, Тифлис и Ереван друзья добрались до пограничного пункта Новая Джульфа. Интересно, что именно фотоаппарат помог им избежать обязательной «земельной пошлины» в 50 коп. при пересечении границы. Начальник персидской таможни Касым-хан попросил Щербова вместо этого сфотографировать его со свитой и друзьями, и художник ему не отказал. Щербов и Чикин пересекли несколько провинций Персии, осматривая сохранившиеся памятники и архитектуру. Последней точкой путешествия стал Тегеран, откуда они отправились к берегу Каспийского моря, чтобы кораблем добраться до Астрахани и далее по железным дорогам до Петербурга. Путешествие продлилось с мая по ноябрь 1890 года.

После возвращения Чикин написал подробную статью «По Персии» для «ВИ» о их пребывании в этой стране и сопроводил ее собственными рисунками и гравюрами с фотографий. Отметим, что в статье «По Персии» рисунки не содержат подписи о гравировании с фотографий Щербова, но при сопоставлении фотоснимков из альбома и гравюр сходство очевидно. Среди таких гравюр можно отметить развалины Голубой мечети, Гунбад-и Кабуд, внутренний вид Арсенала в Тавризе (который удалось сфотографировать с личного разрешения начальника Хаджи-Мирза-Хассан-хана), развалины Тахт-е Солейман, Так-е Бостан, местных жителей и виды [4].

В 1893 году Павел Егорович Щербов получил заказ на создание фотографических снимков Кавказа от военного историка и генерала от кавалерии Василия Александровича Потто для книги по истории 44-го Нижегородского драгунского полка [5, л. 1]. Художник получил все разрешительные и сопроводительные документы от Канцелярии Императорской Главной квартиры в Санкт-Петербурге и отправился на Кавказ уже в мае 1893 года. Сама многотомная история полка выходила с 1892 по 1908 годы, но при рассмотрении ее томов не обнаружено ни одного снимка или гравюры с фотографий, созданных П.Е. Щербовым. По воспоминаниям, художник пренебрег поручением и с увлечением сосредоточился на изучении местной культуры [6, с. 25]. При этом в личном альбоме Щербова сохранилось довольно много снимков кавказских друзей и знакомых художника. Так, например, в его объектив попали русский генерал, князь Георгий Александрович Туманов, который начинал свою службу как раз с Нижегородского драгунского полка, и полковник, князь Евстафий Сулханович Вахватов, чей снимок, похоже, является практически единственным, так как другие изображения князя Вахватова не выявлены. Сам художник также с удовольствием позировал в традиционных кавказских нарядах с кинжалом кама.

В 1896 году П.Е. Щербов отправился в свадебное путешествие со своей молодой женой Анастасией Давыдовной (уржд. Дармостук) в Японию. По дороге они посетили Корею, откуда Щербов отправлял свои снимки и подробности корейского быта Чикину, что подтверждает их переписка [7, л. 7]. После чего Чикин написал небольшую статью «Гензан и Фузан» для «ВИ», сопроводив ее информацией, полученной от Щербова, и гравюрами, сделанными с полученных снимков. Павел Щербов запечатлел в Гензане (совр. г. Вонсан, КНДР) вход в Гензанскую бухту, улочки, полицейский дом, молельню, переносные лавочки, навьюченных быков, японский поселок близ Гензана и корейских женщин в традиционном костюме ханбок. В Фузане (совр. Пусан, Республика Корея) в объектив Щербова попали японское кладбище, городские пейзажи, улицы и типажи местных жителей [8, с. 485–487].

После поездки в Японию Щербов собрал все свои снимки страны Восходящего солнца в альбом и добавил к ним сувенирные фотографии японского фотографа Кусакабэ Кимбэя

(1841–1932/4). Внутри альбома 346 фотографий, из которых 73 выполнены лично Павлом Егоровичем Щербовым [9]. В начале 1898 года художник передал этот альбом в дар Императорскому Русскому географическому обществу, с которым уже сотрудничал ранее. В связи с этим в марте 1898 года Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский направил благодарность Щербову и диплом на звание члена-сотрудника Императорского Русского географического общества [10].

Интересно, что и сам П.Е. Щербов пользовался фотоснимками для создания своих тиражных карикатур на художественный мир Петербурга. Его карикатуры печаталась в таких журналах, как «Шут», «Лукоморье», «Столица и усадьба» и другие. Применять фотографию как опору для работ – неисключительное явление, ей пользовались И.Е. Репин, А. Муха, П. Сезанн, Э. Дега и другие. Конечно, чаще Щербов рисовал с натуры, для чего по обыкновению носил с собой небольшой альбом для зарисовок, но при этом он не пренебрегал достижениями технического прогресса. В его распоряжении были десятки снимков друзей и знакомых из художественной среды, которые он создал сам, а также снимки фотографа Карла Буллы, «отца» репортажной съемки. Относительно последних можно сказать, что в основном Щербова интересовали групповые фотографии художников с различных мероприятий, таких как выставки, торжественные открытия, юбилеи. Павел Егорович кропотливо подписывал карандашом на паспарту фамилии всех изображенных на этих снимках. Можно заключить, что ему не всегда удавалось тщательно рассмотреть человека для соблюдения портретного сходства на карикатуре из-за чего приходилось пользоваться фотографиями. А иногда, как в случае с княгиней М.К. Тенишевой, изображать человека аллегорически в связи с отсутствием возможности хотя бы раз ее увидеть.

Подводя итог, можно сказать, что вклад Павла Егоровича Щербова в фотографию рубежа XIX–XX веков заслуживает внимания. Эти снимки представляют собой ценный исторический источник, отражающий не только культуру, быт и типажи людей того времени, но и в определенной мере техническое состояние типографического дела. Трудности и дороговизна воспроизведения фотографий в журналах толкала на гравирование снимков для упрощения печати. Также выявлено, что П.Е. Щербов пользовался фотографиями как основой для своих тиражных карикатур, хотя художники XIX века не признавали такую практику, считая ее недопустимой и постыдной, и осуждали этот метод.

Литература и источники

1. Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Альбом с личными фотографиями П.Е. Щербова. ГКМ КП-4672 V-2123
2. Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Воспоминания Чикина. ГКМ КП-10520 III-4189
3. Научный архив Русского географического общества (НА РГО). Р. 98. Оп. 1. Д. 26.
4. Чикин А.А. По Персии // Всемирная иллюстрация. 1893. Т. 49. № 1271. С. 396–399; № 1272. С. 413–418; № 1274. С. 443–444, 446; Т. 50. № 1275. С. 7–9, 12; № 1276. С. 28–31.
5. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 925. Оп. 1. Д. 2.
6. Савинов А.Н. Павел Егорович Щербов. Л.: Художник РСФСР, 1969. 107 с.
7. РГАЛИ. Ф. 925. Оп. 1. Д. 96.
8. Чикин А.А. Гензанъ и Фузанъ // Всемирная иллюстрация. 1897. Т. 57. № 1477.
9. НА РГО. Ф. 95. Оп. 1. Д. 12
10. Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Ксерокопия с оригинала письма № 619 Семенова-Тян-Шанского П.Е. Щербову. ГКМ КП-10983 III-4461

К вопросу о терминологии тиражного визуального искусства

Кустова А.Е.
Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля,
хранитель фонда печатной графики I половины XIX века
E-mail: anna-qu@mail.ru

Аннотация: Терминология – один из основных инструментов любой научной системы. Профессиональный словарь – живое и подвижное явление, в котором понятия регулярно уточняются, а список пополняется новыми терминами.

Настоящее исследование посвящено вопросам терминологии тиражного визуального искусства. В Visual Studies для ряда понятий до сих пор не существует специальных определений. Это касается и самого понятия «тиражное искусство». Некоторые термины могут употребляться достаточно широко и равноправно заменять друг друга. Для иных такое свободное употребление недопустимо. Понимание процессов и особенностей производства, авторской роли, истории возникновения и эволюции различных техник тиражного искусства влияют на приоритетность выбора того или иного термина.

В задачи исследования входит уточнение ряда терминов и условий их использования, а также привлечение внимания к вопросам терминологии тиражного искусства как важной составляющей Visual Studies.

Ключевые слова: визуальные исследования, терминология искусства, тиражная графика, печатная графика, репродукция, копия, иллюстрация.

Terminology of Visual Studies and mass-produces art

Kustova A.E.
Vladimir Dahl Russian State Literary Museum

Abstract: Terminology is a basic tool of any science. The study is devoted to terminology of Visual Studies and mass-produces art. It`s professional vocabulary essentially based on an art historian`s terminology.

Some terms still do not have an exact definition. In some cases researches could use several different term in one meaning. In other cases, the only one definition is correct. A choice of right term usually depends on some especial conditions. Professional cooperation between artists, evolution of print-making`s technology, and another significant factors usually influence the selection the correct term.

Terminology issues have rarely attracted the attention of specialists. The paper will consider such terms as mass-produce prints, copy, reproduction, illustration etc.

Keywords: Visual Studies, terminology, mass-produce prints, prints, reproduction, copy, illustration.

Терминология – неотъемлемая часть любой современной науки. Но отдельное внимание вопросам профессиональной терминологии стало уделяться сравнительно недавно, лишь с XX столетия, когда активное развитие научных школ и направлений потребовало от исследователей более глубокого подхода.

В отечественной науке первый полноценный специализированный справочник терминов изобразительного искусства появляется только в 1959 году [1]. До этого момента, конечно, уже существовал определенный набор профессиональной лексики, сформировавшийся в художественно-ремесленной и производственно-издательской сферах. Эти понятия отражали техническую специфику и правовые отношения между участниками процесса – художниками, резчиками, печатниками, копировальщиками, издателями, владельцами

мастерских и др. Все они использовались по наитию, порой бессистемно и достаточно свободно.

С развитием научно-теоретической сферы искусства возросло внимание и к вопросам терминологии. Существующие понятия продолжают регулярно уточняться, словари пополняются новыми терминами, отражающими развитие художественных процессов. В последние десятилетия появляются справочники по отдельным видам и разделам искусства [2], [3], [4], [5], ведь «живой» процесс научной мысли требует постоянной актуализации.

В исследованиях тиражного визуального искусства выбор одного термина из нескольких близких по значению определяется исходя из ряда условий, в числе которых технология производства, отношения между создателями предмета искусства, специфика конкретного вида искусства, обстоятельства бытования произведения или другие факторы.

Главной задачей работы является попытка уточнить некоторые термины тиражного визуального искусства и условия их применения.

Несмотря на существование объемных по составу специализированных справочников, некоторые термины до сих пор не имеют точных дефиниций. Однако в профессиональном сообществе существует негласная договоренность по поводу их значений. К числу таких терминов относится *тиражное искусство.*

Способность к тиражированию – свойство почти всех видов изобразительного искусства [6, с. 72]. Но чаще это понятие применяется по отношению к графике. В словаре «Аполлон» приводится следующее определение одного из ее видов - печатной графики: «дает возможность получить определенный *тираж* относительно равноценных, идентичных художественных произведений – оттисков» [7, с. 144]. В качестве основных критериев тиражного искусства и печатной графики выделяются такие характеристики, как идентичность и равнозначность полученных оттисков.

Традиционно к видам тиражного искусства причисляют гравюру, литографию, а также фотографию и фотомеханические способы получения изображений. Понятия *печатная графика* и *тиражная графика* часто используются как взаимозаменяемые. В большинстве случаев такое равноправие справедливо. К печатной графике относят все виды высокой, глубокой и плоской печати, в производстве которых используется *печатный* пресс, а изображение *отпечатывается* на бумагу (или иной гладкий плоский носитель) со специальной печатной формы. Но существуют исключения - случаи, требующие употребления лишь одного из этих понятий. Например, *трафаретная печать* и такая ее разновидность, как *шелкография,* являются произведениями тиражной графики, но едва ли могут определяться как печатная графика, потому что принцип их производства не соответствует этому способу получения изображения. Краска попадает в прорези трафарета или в незащищенные специальным составом зоны натянутой на подрамник ткани и переносится на поверхность бумаги при помощи специальной эластичной пластины [7, с. 687]. Здесь налицо отсутствие печатного процесса. В качестве примера печатной графики, которая не позволяет получить тираж и существует в единственном экземпляре, приведем гравюры художницы Галины Ваншенкиной. Она создает изображение на офортной доске, используя нити и фрагменты ткани, и оно полностью разрушается в процессе печати. Поэтому каждый оттиск существует в единственном экземпляре [8]. Это же касается монотипии, которую принято относить по способу производства к печатным техникам, но она позволяет получить только один отпечаток [7, с. 356].

С другой стороны, существует ряд терминов, на первый взгляд близких по значению и имеющих зафиксированные в специальных справочниках толкования, но в их использовании специалисты не всегда придерживаются существующих определений. Одним из самых показательных примеров такого рода является пара *копирование* и *репродуцирование*.

Обратимся к словарям.

К*опирование* - это процесс получения и тиражирования какого-либо оригинала «с большей или меньшей точностью, в том же или другом материале, с изменением или без изменения масштаба» [7, с. 277]. Согласно этой формулировке процесс копирования допускает достаточно вольное обращение с первоисточником.

Термин чаще всего применяют по отношению к живописи. В этом виде искусства присутствует своя специфика и есть ряд терминов, которые возможно использовать в значении *копирования*. Речь о таких понятиях, как *повторение* и *вариант.* Оба они подразумевают относительно вольную передачу оригинала, допускают внесение изменений в сюжет или композицию произведения [7, с. 90, 455]. Но любопытным является факт, что понятие *копия* словарями определяется как «художественное произведение, повторяющее другое произведение с целью воспроизвести его как можно точнее» [7, с. 278], но его часто употребляют наравне с понятиями *вариант* и *повторение*.

В свою очередь *репродуцирование* – это факсимильное «воспроизведение изображения или художественного произведения средствами полиграфии и фотографии» [7, с. 508]. Здесь речь идет о максимально точном воспроизведении оригинала. Этим задачам в полной мере отвечает изобретенная в XIX столетии фотография и последовавшие за ней фотомеханические способы воспроизведения изображений.

До изобретения фотографии репродукция на протяжении нескольких столетий была рукотворной. Появление в XIV веке гравюры с самого начала было непосредственно связано с необходимостью тиражирования текстов и изображений. В эпоху Возрождения появился спрос на обладание прославленными произведения искусства, что породило импульс к репродуцированию живописи и рисунков знаменитых мастеров. Эти задачи взяла на себя резцовая гравюра на металле и гравюра на дереве [9].

Ранняя репродукционная гравюра передавала лишь общее представление об оригинале, была скорее его свободной копией, нежели репродукцией в современном значении этого слова. Изобретение офорта и техник травленой гравюры на металле - меццо-тинто, лависа, акватинты, карандашной манеры, мягкого лака, уже служили задачам максимально точного воспроизведения оригиналов. Они могли передавать тональные градиенты, структуру зернистого штриха, плавность карандашной линии и даже цвет. Но особенно в этом преуспела литография. Возможность свободного рисования по каменной доске с имитацией карандашного рисунка или акварельной размывки повлияла на увеличение скорости производства и повысила тираж с одной печатной матрицы [9, с. 182-183, 215].

Некоторые вопросы терминологии тесно связаны с ролью автора и особенностями производственного процесса. Так, гравированная *иллюстрация* с момента своего возникновения была примером именно репродукционного искусства. Процесс ее создания был разделен на несколько этапов. Помимо художника, создававшего рисунок, выделялась роль копировальщика, переносящего изображение на доску для гравирования, и резчика, который изготовлял печатную форму. Иллюстрация так тесно срослась в восприятии специалистов с репродукцией, что некоторые исследователи настаивают на формулировке *репродукционная графика* даже в тех случаях, когда художник создает иллюстрацию по собственному рисунку [9, с. 181]. На наш взгляд, такое утверждение весьма спорно и требует дополнительных обсуждений.

В заключении обратим внимание еще на один момент.

В последние годы набирает обороты тенденция к междисциплинарному подходу в исследованиях визуального искусства, в рамках которого авторы используют терминологию искусствоведения, культурологии, социологии, психологии, философии и других гуманитарных наук. Вступая на территорию смежных исследований, важно понимать, что в различных научных дисциплинах за одними и теми же словами может стоять разный смысл. Такой подход требует особого внимания к терминологии и становится важным импульсом к ее развитию и уточнению.

Формирование терминологического словаря – живой и подвижный процесс, который никогда не останавливается. Развитие научной мысли постоянно требует актуализации

понятий, расширения границ, дополнения новыми терминами, отражающими современное состояние вопроса. Многие явления до сих пор не имеют конкретных определений, границы расплывчаты и их употребление вольно. Эта работа – попытка наметить существующее сегодня положение вещей, а тема ждет своего будущего исследователя.

Литература

1. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М: Советский художник, 1959. 190 с.
2. Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия: Архитектурный словарь. М: Искусство-XXI век, 2011. 424 с.
3. Словарь издательских и полиграфических терминов. / Сост. В.И. Волкин. Волгоград: Перемена, 2006. 87 с.
4. Власов В.Г., Лукина Н.Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: терминолгический словарь. СПб: Азбука-Классика, 2005. 315 с.
5. Народная художественная культура: Учебный терминологический словарь для студентов, обучающихся по специальности «Народное художественное творчество». Челябинск: Челябинская гос. акад. культуры и искусств, 2010. 147 с.
6. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Краткая история фотографии. М: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 70-139.
7. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. М: Эллис Лак, 1997. 735 с.
8. Грибоносова-Гребнева Е.А. Укрощенная нить: об искусстве Галины Ваншенкиной // Галина Ваншенкина. Оттиск личности. М: ГРОСART. 2019. С. 9-12.
9. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М: Аспект пресс, 2000. 317 с.

«Злободневные штрихи»: карикатура как конспект городской жизни (на материале «Петербургской газеты» 1900 –1910-х гг.)

Мельничук В.А.

Кандидат филологических наук

Высшая школа печати и медиатехнологий СПбГУПТД, доцент кафедры книгоиздания и книжной торговли

E-mail: hatikva_gdola@mail.ru

Аннотация: Рассматриваются материалы рубрики «Злободневные штрихи», выходившей в «Петербургской газете» (начало XX в.). Особое внимание уделяется взаимодействию изображения с вербальной составляющей карикатуры, а также текстов выпусков «Петербургской газеты» в целом. Описываются ключевые темы «Злободневных штрихов», набор визуальных метафор, которые регулярно использовались в этом газетном разделе, их соотношение с вербальным компонентом и вероятное влияние на семантику отдельных лексических единиц.

Ключевые слова: русский язык начала XX в., язык газеты, карикатура, креолизованный текст, лексикология

Caricature as a Chronicle of Urban Life: Topical Sketches from the "Petersburgskaya Gazeta" (1900-1910s)

Melnichuk V.A.

Saint Petersburg State University of Industrial Technology and Design

Abstract: This study examines the materials from the column "Topical Strokes" ("Zlobodnevnye shtrikhi") published in Peterburgskaya Gazeta (The Petersburg Gazette) in the early 20th century. Particular attention is paid to the interaction between the image and the verbal component of the caricatures, as well as with the texts of the Peterburgskaya Gazeta issues. The article describes the key themes of the "Topical Strokes" column, the set of visual metaphors regularly used in this newspaper section, their relationship with the verbal component, and their probable influence on the semantics of individual lexical units.

Keywords: Russian language of the early 20th century, newspaper language, caricature, creolized text, lexicology

1. «Петербургская газета» — массовое городское издание. Его тематика отражала всю многогранность жизни столичного города: деятельность городской думы, эпидемиологическую обстановку, биржу, торговлю, художественные выставки, театральные премьеры, криминальные происшествия и курьезы. В газетных материалах находилось место и для персонажей светской хроники, и для насельников «дна Петербурга». Современному филологу «Петербургская газета» может дать богатый материал, отражающий языковой ландшафт Петербурга конца 19 – начала 20 вв., так как в текстах широко представлены элементы профессиональных жаргонов, воровского арго, отражается своеобразие – хоть и в утрированном виде – речи представителей различных сословий и национальных диаспор.

2. В воскресных номерах «Петербургской газеты» (далее – ПГ) регулярно выходила рубрика с карикатурами «Злободневные штрихи». Иногда вместо «Злободневных штрихов» применялись другие заголовки: «На злобы дня» (ПГ. 27.02.1900 – здесь и далее даты приводятся по старому стилю), «Предпраздничные штрихи» (ПГ. 02.04.1900), «Масленичные штрихи» (ПГ. 24.02.1902), «За неделю» (ПГ. 06.09.1912), которые так или иначе подчеркивали связь рубрики с актуальными событиями городской жизни. Художниками в ней в разное время были Карл Штейн (подписывался также Р. К. Шт., упоминается, что использовал псевдоним Перо [1, с. 278]); Эзоп (настоящее имя — В. В. Зауерлендер [1, с. 275]).

3. Карикатуры, составлявшие «Злободневные штрихи», представляли собой изображения, заключенные в рамки разной конфигурации (прямоугольник, неправильный многоугольник, овал). На фоне или внутри изображений присутствовали подписи. Обычно каждая из карикатур соответствовала одному информационному поводу и образовывала отдельный модуль, но иногда ряд карикатур организовывался как связанные по смыслу модули, вследствие чего возникал сложный креолизованный текст [2]. Модули такого текста нередко показывали развитие сюжета во времени, подчеркивая контраст «было – стало». Так устроен, например, текст «Карьера веселящегося петербуржца» (ПГ. 30.01.1900). На первом модуле этого креолизованного текста изображается главный герой – «веселящийся петербуржец» – с дамой в отдельном кабинете ресторана за богатым столом, для него поет женский хор, а метрдотель ему раболепно кланяется, подпись к этому визуальному ряду – «Начало карьеры в отдельном кабинете»; на втором модуле герой показан уже сидящим в камере у стола с кувшином и краюшкой хлеба, подпись – «Финал тоже в отдельном кабинете». Модули скрепляет плашка «Карьера веселящегося петербуржца». Дополнительным средством связности в тексте служит словосочетание *отдельный кабинет*, антонимическая пара *начало – финал* и соединительный союз *тоже*.

4. Основное внимание в «Злободневных штрихах» уделялось фактам городской жизни, которые освещались в материалах газеты в течение недели, тогда как события международного масштаба в эту рубрику практически никогда не попадали. Нередко в подписях к изображениям художники использовали ключевые слова из вышедших на неделе статей и заметок, особенно охотно включая окказионализмы в вербальный компонент карикатуры. Например, 10 марта 1910 г. вышла заметка «Жетономания среди гласных». Речь в ней шла о том, что гласные городской думы стремятся получить золотые жетоны с изображением вагона-мотора, которые были выпущены трамвайной комиссией в честь

сооружения первой очереди электрического трамвая. А уже 14 марта 1910 г. в «Злободневных штрихах» появляется карикатурный сюжет «Жетономания» с подписью «Гласные думы выдумали для себя новые декорации». Жетоны изображены утрированно, они свисают на цепях с шей и жилетов гласных. Причем на жетонах гласных, стоящих впереди, изображены выдуманные художником символы различных городских комиссий. Если символ трамвайной комиссии выглядит реалистично (на нем вагон-мотор), то символы санитарной комиссии – огромный шприц, и строительной комиссии – дом странной конструкции – гиперболизированы и комичны. Узнаваемы и персонажи: городской голова И.И. Глазунов (его изобразили в профиль; расхожая шутка «Петербургской газеты» – о сходстве городского головы с моржом), глава санитарной комиссии В.О. Губерт. Если не обращаться к заметке, а составлять представление о событии только по карикатуре, то факты предстанут в искаженном виде.

5. Карикатуры «Злободневных штрихов», следуя новостной повестке недели, показывали разные стороны жизни города, отбирая самые резонансные события. Просматривая «Злободневные штрихи», можно, как по конспекту, восстановить громкие факты информационной недели, хотя представлены они зачастую гиперболизированно. Регулярно карикатуры «Злободневных штрихов» освещали вопросы деятельности городской думы и комиссий, театральную жизнь, события мира предпринимательства. Иногда городские темы причудливо «скрещивались», и тогда проблемы городской санитарной обстановки легко сочетались в одном карикатурном сюжете с театральной премьерой. Если информационный повод надолго оставался на газетной полосе, то и в «Злободневных штрихах» его могли изображать более одного раза, используя одни и те же художественные приемы и образы, которые, вероятно, приобретали узнаваемость. Так, в нескольких воскресных номерах представлена история изгнания П.П. фон Винклера из Петербургского зоосада (февраль – май 1910 года). П.П. фон Винклер на этих карикатурах неизменно изображается в колпаке.

6. В составе одного выпуска «Злободневных штрихов» карикатура может соседствовать с шаржем: например, с явной симпатией изображался Константин Александрович Варламов – популярный комический актер, известный как «дядя Костя» (ПГ. 21.03.1910).

7. В «Злободневных штрихах» карикатуристы прибегали к узнаваемым визуальным метафорам. Так, городская дума персонифицируется и изображается как сварливая немолодая дама с грубоватыми чертами лица и пышными формами (ПГ. 14.02.1910). За ее спиной либо в ее прическе располагают силуэт Думской башни на Невском проспекте. Этот образ неоднократно встречался в различных городских изданиях [3, с. 74]. Не менее узнаваемой деталью является изображение севрюги как символа стародумской партии [4]. На наш взгляд, в том числе тиражирование визуального образа привело к закреплению в языке города начала 20 в. окказиональных значений слова *севрюга – ‘стародумская партия’, ‘управление городом, характеризующее коррупцией и круговой порукой’*. Расхожим словесным образом в карикатурах «Злободневных штрихов» и «Петербургской газеты» в целом можно назвать выражение *делить пирог – ‘делить прибыль от расхищения государственного имущества’* (ср. фразеологизмы *общественный пирог, казенный пирог, пирог с казенной начинкой*).

Еще одним любопытным с точки зрения работы с вербальным компонентом приемом, использовавшимся в «Злободневных штрихах», можно назвать буквальное изображение фразеологических единиц и цитат, а также создание аллюзий. Такие приемы применяются в карикатуре по случаю пуска второй очереди трамвая: в трамвай запряжены рак и черепаха (таким образом визуализируются устойчивые выражения *пятится как рак, ползет как черепаха* – оба животных образно передают идею медлительности), а в подписи *«Едет да когда-то будет?»* зашифрована трансформированная поговорка *улита едет, когда-то будет*.

8. Представляют интерес те оценки, которые даются в карикатурах городским событиям и персоналиям. Для «Петербургской газеты» в целом характерна критика стародумской партии, поэтому негативные образы И.И. Глазунова, его соратников и севрюги вполне ожидаемы. Однако в «Злободневных штрихах» нередко можно встретить критику

вполне прогрессивных начинаний и научного поиска: так, откровенно высмеяна деятельность С.Д. Грибоедова (ПГ. 25.04.1910) – метеоролога, предпринявшего попытки строить долгосрочные синоптические прогнозы (в 1910 году они не совпали с действительностью) и выпустившего два труда, содержавших в названии слово «Предсказание» («Предсказание погоды для отдельных мест с точки зрения синоптической метеорологии» [5]; «Предсказания господина Демчинского перед судом науки и фактов» [6]); критически представлена инициатива Ф.Э. фон Ландезена, работавшего над оснащением городской пожарной команды специализированной техникой (ПГ. 24.01.1910).

Литература

1. Исаков С.К. Список лиц, иллюстрировавших сатирические журналы 1905 — 1907 гг. // Исаков С.К. 1905 год в сатире и карикатуре. Л.: Прибой, 1928. С. 273-278.
2. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М.: Academia, 2003. 128 с.
3. Сонина Е.С. Городские мотивы петербургской карикатуры XIX – начала XX века // Коломенские чтения: 2018. СПб: Лики России, 2018. С. 72-85.
4. Мельничук В.А. Севрюга и севрюжники: об одном случае языковой игры в петербургской публицистике 1900-1910-х годов // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения — 2023). СПб.: Издательство СПбГУПТД, 2024. С. 297-305.
5. Грибоедов С.Д. Предсказание погоды для отдельных мест с точки зрения синоптической метеорологии. СПб.: Тип. Акад. наук, 1898. 27 с.
6. Грибоедов С.Д. Предсказания господина Демчинского перед судом науки и фактов. СПб.: Тип. Акад. наук, 1901. 22 с.

Образы и картины духовного содержания для православных церквей на Кавказе, в Сибири, Крыму, Волыни и западных епархиях. К вопросу о литографской печати на холсте в 1860-е гг.

Метелкина А.Г.

Кандидат искусствоведения

Государственный Русский музей, старший научный сотрудник музея – ответственный хранитель отдела гравюры XVIII-XXI вв.

E-mail: meteolcina@yandex.ru

Аннотация: В данном исследовании рассмотрен проект организации литографской мастерской, в которой под непосредственным контролем правительства предполагалось изготавливать образа для иконостасов православных церквей, вновь строящихся или предполагаемых к построению: на Кавказе, в Сибири, Крыму, Волыни и западных епархиях. В начале 1860-х гг. посчитали, что единообразие, скорость снабжения и дешевизна могли быть обеспечены не иначе, как только печатью на холсте масляными красками. Данный проект распространения превосходной русской духовной живописи был одобрен Александром II, который повелел «иметь эти образа в виду, не только для вновь строящихся православных церквей в западных епархиях, но и повсеместно в России». Однако проект не состоялся. Автора решено было лишь вознаградить за поданную им идею, отказав ходатайствовать Высочайшее соизволение на привилегию в заказах. А для введения в России искусства печатания образов на холсте несколько молодых людей предполагалось командировать за границу для обучения.

Ключевые слова: литография, печать, образ, масляные краски, духовная живопись, холст

Images and Paintings of a Spiritual Content for Orthodox Churches in the Caucasus, Siberia, Crimea, Volhynia and Western Dioceses. About the Question of Lithographic Printing on Canvas in the 1860s.

Metelkina A.G.
The State Russian Museum (St. Petersburg)

Abstract: This study examines a project for the organization of a lithographic workshop. In it, under the direct control of the Government, was to produce images for the iconostases of Orthodox churches that were newly built or planned for construction: in the Caucasus, Siberia, Crimea, Volyn, and the Western Dioceses. In the early 1860s, it was believed that the only way to ensure uniformity, speed of supply, and affordability was through the use of oil-based printing on canvas. This project of distribution excellent Russian religious paintings was approved by Alexander II, who ordered that "these images be kept in mind, not only for newly built Orthodox churches in the Western Dioceses, but throughout Russia." However, the project did not come to fruition. A.V. Lazarev was only rewarded for his idea, and his request for a privilege in the order was denied. To introduce the art of printing images on canvas in Russia, several young people were sent abroad for training.

Keywords: lithography, printing, image, oil paints, spiritual painting, canvas

Вторая половина XIX в. в России – время многочисленных экспериментов в области цветной печати, когда в литографских мастерских в технике хромолитографии (литохромии) отпечатывались многочисленные иллюстрации к капитальным трудам по археологии и истории военных форм. Среди материалов, собранных автором исследования в процессе многолетней работы над темой «Литографские заведения С.-Петербурга и Москвы», особый интерес представляет проект организации привилегированной литографской мастерской, в которой под непосредственным контролем Правительства предполагалось отпечатывать образа на холсте для иконостасов православных церквей, вновь строящихся или предполагаемых к построению: на Кавказе, в Сибири, Крыму, Волыни и западных епархиях. Целью проекта было «<…> распространение в нашем Отечестве образов по оригиналам лучших художников, а равно очищение вкуса живописи <…>» [1, л. 13.]. Автор проекта Александр Васильевич Лазарев (1819-?) вошел в историю отечественного искусства как композитор, дирижер и художник. Он сочинитель гимна «Помилуй нас Боже» и ораторий: «Смерть Олоферна», «Сотворение мира», «Страшный суд» (все – 1850-е), а также брошюры «Лазарев и Бетховен» (СПб., 1860). В начале 1860-х гг. о концертах, устроенных А.В. Лазаревым за границей и в С.-Петербурге на собственный счет с благотворительною целью, писали столичные журналы и газеты.

Основными источниками сведений о проекте послужили материалы дела «По предложению художника Лазарева о присоединении к Художественным заведениям Главного управления путей сообщения принадлежащей Лазареву Литографии для печатания образов и картин духовного содержания» из фонда «Особенная канцелярия главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий» Российского государственного исторического архива, а также рекламный лист («Особое прибавление»), прилагавшийся к апрельскому номеру газеты «Северная Пчела», под названием «Новый способ *) печатания масляными красками на особо приготовленном весьма прочном холсте образов и картин русской духовной живописи, издаваемых Александром Васильевичем Лазаревым на безвозмездное снабжение ими восточных православных церквей» с пояснением рекламодателя: «*) Для предупреждения всех недоразумений относительно слова: «новый способ», спешим сообщить, что: 1) картины «на холсте», длиной 2 арш. 12 вершк. и шириной 1 арш. 9 ½ вершк., до сего времени никогда и нигде в Европе не печатались, и 2) слово «новый

способ» относится собственно к особо приготовленному для напечатания масляными красками холсту <…>» [2, с. 576].

В «Особом прибавлении», отпечатанном в типографии Н.И. Греча и одобренном военным цензором СПб Цензурного комитета Е.Е. Волковым, любителям современного искусства печатания масляными красками настоятельно рекомендовали ознакомиться с «религиозным и весьма полезным предприятием г. Лазарева» на выставке, организованной для наглядности «нового способа»: «При нынешнем развитии искусства по части литографии, прочное и прекрасное подобие самой кисти, печатание картин масляными красками «на холсте» с предварительным для сего приготовлением посредством постепенной разрисовки химическим карандашом и тушью: десяти, двенадцати, шестнадцати и более камней по числу колеров каждой картины, – занимает, по всей справедливости одно из первых почетных мест в искусстве, и мы смело заявляем новый труд г. Лазарева, способствующий распространению повсеместно превосходной русской духовной живописи» [2, с. 576]. На суд публики было представлено более 800 образов на несколько тысяч гульденов, а также оригиналы на холсте, снятые с образов Казанского и Исаакиевского соборов, и более 40 картин духовного содержания на несколько тысяч рублей.

Единственный в своем роде пресс, использовавшийся А.В. Лазаревым, позволял изготавливать образа больших размеров для иконостасов. Литографские камни весом от 30 и более пудов поднимались на пресс посредством особенного механизма. А.В. Лазарев приобрел пресс в Европе за 700 гульденов после кончины литографа Томаса Дриндля (Дриендль) (Thomas Driendl) (1805–1859), известного в России благодаря совместным работам с немецким литографом Ф.С. Ганфштенглем (F.S. Hanfstaengl) (1804-1877). А.В. Лазарев, изучавший современное состояние искусства печатания масляными красками за границей в течение семи лет, представил контракт, заключенный между ним и известным немецким литографом, которому было уплачено вперед 1.700 гульденов.

В С.-Петербурге приобрести образа и картины духовного содержания можно было в магазине эстампов А. Фельтена, на Невском проспекте у Полицейского моста, в доме Голландской церкви. Для тиражирования А.В. Лазарев отобрал образа и картины, представляющие события церкви и священной истории Ветхого и Нового заветов, с оригиналов К.П. Брюллова, В.Л. Боровиковского, П.В. Басина, Т.А. Неффа, В.К. Шебуева и К.К. Штейнбена, большей частью находившиеся в Александро-Невской Лавре, Исаакиевском и Казанском соборах, а также в других православных церквях С.-Петербурга и даже в Греческой церкви в Мюнхене. Сверх того «для поддержания и осуществления сего христианского предприятия» А.В. Лазарева, в магазине А. Фельтена продавались образа и картины духовного содержания, напечатанные масляными красками на холсте: с Леонардо да Винчи, Рафаэля, Мурильо и Рубенса. Там же был выставлен на продажу портрет императора Александра II, напечатанный красками во весь рост в порфире, со знаками Андрея Первозванного, «весьма удобный для помещения в присутственных местах». Цена портрета составляла 50 рублей.

В феврале 1862 г. образцы печатания образов на холсте были представлены императору через министра Императорского двора В.Ф. Адлерберга. После осмотра образов и сравнения с оригиналами А.В. Лазарев получил разрешение представить их министру внутренних дел П.А. Валуеву, исправляющему должность министра государственных имуществ А.А. Зеленому и обер-прокурору святейшего правительствующего Синода А.П. Ахматову, для распространения по всей Российской империи. Александр II повелел образа, отпечатанные масляными красками, «иметь в виду» для вновь построенных православных церквей, «число которых простирается более пятисот». Помимо этого, образа, издаваемые А.В. Лазаревым, могли стать украшением флотских церквей.

Окончательная резолюция гласила: «При значительном количестве вновь строящихся или предполагаемых к построению православных церквей: на Кавказе, в Сибири, Крыму, Волыни и западных епархиях, необходимо и значительное количество образов, которые по отличному виду своему, единообразию и дешевизне совершенно соответствовали бы

и украшению этих церквей, превосходною русскою духовною живописью <…> Но единообразие это и скорость снабжения, могут быть выполнены не иначе, как одним только печатаньем» [1, л. 1 об.]

Для исполнения воли императора предполагалось учредить особую литографскую мастерскую, «которая была бы под непосредственным ведением и контролем Правительства» [1, л. 2]. А.В. Лазарев испросил соизволения иметь подобную литографскую мастерскую при Главном управлении путей сообщения и публичных зданий (далее – ГУПС и ПЗ), подобно существовавшей при нем ранее литографской мастерской по изданию иллюстраций издания А.В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск» (СПб., 1841-1862), которая в 1855 г. была передана в Военное ведомство под руководство генерал-адъютанта Н.А. Огарева. А.В. Лазарев поставил условие, «<…> чтобы все требующиеся для вновь возводимых церквей иконы заказывались исключительно в этой только литографии, на что и испрашивалось Высочайшее соизволение Его Величества в отвращение подрыва такого значительного заведения» [1, л. 4 об.].

Для осуществления проекта А.В. Лазарев предполагал перевести из Мюнхена в С.-Петербург, собственную литографскую мастерскую, присоединив ее к Художественным заведениям ГУПС и ПЗ под один общий контроль. Вновь организованная мастерская принадлежала бы, как Ведомству ГУПС и ПЗ, так и А.В. Лазареву в равных долях [1, л. 2 об.].

Выбор литографской мастерской ГУПС и ПЗ, которая была организована по примеру заведений Л.Ф. Заксе в Берлине и Ф.С. Ганфштенгля в Мюнхене, не был делом случая. В 1840-1850-е гг. – в период особого внимания к технике цветной печати Николая I и цесаревича Александра Николаевича – в заведении ГУПС и ПЗ были исполнены эстампы изданий «Изображение действий Черноморского флота против турок, 1853 года» и «Севастополь» (оба – СПб., 1854) [3].

Сведения о кризисном финансовом положении («коммерческом быте») литографского заведения ГУПС и ПЗ в конце 1850-х гг. стали известны из дела «По Художественным заведениям Главного управления путей сообщения и публичных зданий. О представлении полного обзора Художественных заведений в хозяйственном их отношении» [4]. Из отчета, составленного инженер-подполковником П.Н. Лебедевым 3-м, явствует, что литография испытывала финансовые трудности и содержалась частью на запасной капитал ГУПС и ПЗ, частью на капитал, приобретенный производством частных работ. Последний начал исчезать «<…> с 1830 года, когда постепенно увеличивавшееся количество казенных работ стало вытеснять собою все частные <…>» [4, л. 24].

Однако в 1863 г. главноуправляющий путями сообщения П.П. Мельников, после рассмотрения проекта А.В. Лазарева, «вполне сочувствуя», не нашел возможности организовать с ним совместное предприятие по «Фабрикации» образов потому, что «<…> изготовление образов и картин, по самому роду этих произведений, не принадлежит к специальности Ведомства Путей Сообщения, а ближе относится к ведению Академии художеств» [1, л. 13 об.]. В результате А.В. Лазарева решено было лишь вознаградить за поданную им идею, отказав ходатайствовать Высочайшее соизволение на привилегию в заказах. А для введения в России искусства печатания образов на холсте несколько молодых людей предполагалось командировать за границу для обучения [1, л. 13 об.]

В случае осуществления проекта А.В. Лазарева литографская мастерская ГУПС и ПЗ могла бы составить «блестящее состояние» – такое же, как у процветавшей типографии Императорской Академии наук в С.-Петербурге [4, л. 32 об.].

Литература и источники

1. РГИА. Ф. 207. Оп. 3. 1863 г. Д. 176.
2. Северная Пчела. Газета политическая и литературная. 1862. № 94.
3. Метелкина А.Г. Новые материалы к истории выхода в свет издания «Изображение действий Черноморского флота против турок, 1853 года» (СПб., 1854) // Печать и

слово Санкт-Петербурга. (Петербургские чтения – 2024). Сб. науч. тр. СПб.: СПбГУПТД, 2025. С. 45-52.
4. РГИА. Ф. 209. Оп. 1. 1857-1859 гг. Д. 99.

Типографское дело и фотография в творческой биографии С.М. Прокудина-Горского

Мозохина Н.А.
Кандидат искусствоведения
СПбГБУК «Государственный музей-заповедник "Гатчина"», старший научный сотрудник
E-mail: natalymoz@mail.ru

Аннотация: В конце XIX века фотография становится активной участницей издательского процесса, проникая в периодическую печать и подвергаясь фотомеханическому репродуцированию. Однако фотографы, отдавая свои произведения для тиражирования, не осознавали своей взаимосвязи с типографским делом. С.М. Прокудин-Горский как фотограф-практик и владелец типографии прекрасно видел эту взаимосвязь и пытался наладить диалог между фотографами и типографами путем преобразования деятельности V Фотографического отдела Императорского Русского технического общества. В 1912 году в докладной записке Совету общества он изложил свои идеи по организации взаимодействия между фотографами и практикующими типографами, итогом которого могло быть совершенствование и упрощение печатных техник. Однако из-за оставления в скором времени им поста председателя V Фотографического отдела диалог так и не был налажен, хотя использование фотографии в издательских инициативах XX века многократно возросло. Рассмотрение истории фотографии вне ее взаимосвязи с историей искусства репродукции сохраняется до сих пор и без включения тиражных практик обедняет ее понимание.

Ключевые слова: С.М. Прокудин-Горский, фотография, типографское дело, издательское дело, цветное репродуцирование, фототипия, Императорское Русское техническое общество

Printing and Photography in the Creative Biography of S.M. Prokudin-Gorsky

Mozokhina N.A.
The Gatchina Palace and Estate Museum

Abstract: At the end of the 19th century, photography became an active participant in the publishing process, penetrating into periodicals and being undergoing photomechanical reproduction. However, the photographers, giving their works for reproduction, did not realize their relationship with the printing business. S.M. Prokudin-Gorsky as a photographer-practitioner and owner of the printing house saw this relationship very well and tried to establish a dialogue between photographers and typographers by transforming the activities of the V Photographic Department of the Imperial Russian Technical Society. In 1912, in a note to the Council of the Society, he presented his ideas for organizing an interaction between photographers and typographers, which could result in the improvement and simplification of printing techniques. However, due to his early departure as chairman of the V Photographic Department, the dialogue has not been established, although the use of photography in publishing initiatives of the 20th century has increased many times. Consideration of the history of photography outside its relationship with the history of the art of reproduction

is still preserved and without inclusion of printing practices impoverishes its understanding.

Keywords: S.M. Prokudin-Gorsky, photography, printing, publishing, color reproduction, collotype, Imperial Russian Technical Society

К концу XIX века фотография пришла в типографское дело и стала востребованной в иллюстрированных изданиях и в особенности в периодике. Во многих типографиях появились фототипные станки, позволявшие печатать высококачественные черно-белые снимки. Для газет и журналов с негативов изготавливались цинковые клише, которые затем вставлялись в набор вместе с основным текстом. Фотографы, передававшие свои работы для воспроизведения в печати, мало задумывались о технологиях их репродуцирования. Однако именно благодаря тиражированию многие фотоснимки начала XX века, утраченные в подлинниках, известны по оттискам в альбомах, периодике и на открытках.

В последнее время наблюдается всплеск интереса к изучению фотографии XIX – XX веков, исследованию забытых фотографических техник и приемов фотохудожников. История фотографии предстает в виде истории подлинных авторских фотографий, сохранившихся в виде негативов или отпечатков. Полифункциональность фотоснимка, позволявшая ему существовать как в виде отдельного оттиска, так и в виде документа-иллюстрации, часто остается за границами исследований. Также в стороне оказываются и фоторепродукционные процессы, соединившие фотографию и типографское дело. К сожалению, эти две области, исторически воедино связанные многочисленными издательскими инициативами, сейчас находятся по разную сторону баррикад: истории фотографии и истории типографского дела, истории искусства и книговедения.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) в основном известен как мастер цветной фотографии, составивший коллекцию тройных цветоделеных негативов со снимками разных местностей России начала XX века, хранящуюся в Библиотеке Конгресса США. Менее известен факт основания им типографии, специализировавшейся на черно-белом и цветном воспроизведении, в которой печатались репродукции высокого качества для альбомов и роскошных изданий – его типографским работам посвящены всего два исследования в узкоспециализированных изданиях [1; 2]. В то же время именно они давали ему средства к существованию, причем без технологий цветной съемки ему вряд ли удалось бы быстро завоевать место среди ведущих типографий страны.

Точная дата основания С.М. Прокудиным-Горским печатни неизвестна, но самое первое рекламное объявление о ней было опубликовано в №5 журнала «Фотограф-любитель» за 1900 год [3] – с учетом возможного запаздывания выхода номеров примерно в мае-июне. Оно постоянно повторялось на страницах журнала почти до конца 1902 года. Самые первые иллюстрированные каталоги увидели свет в том же 1900 году: VIII выставки Санкт-Петербургского общества художников [4] и Русского музея императора Александра III [5]. С.М. Прокудин-Горский печатал с чужих негативов, а с середины 1900-х годов за отдельную плату сам или с помощью сотрудников осуществлял цветную съемку заказов. Следует подчеркнуть, что типография С.М. Прокудина-Горского была не единственной, которая занималась цветными съемками для художественных изданий. В Санкт-Петербурге технологиями цветной фотографии для дальнейшего репродуцирования владели Экспедиция заготовления государственных бумаг и Товарищество типографии Р.Р. Голике и А.И. Вильборга, а в 1910-е годы к ним присоединились еще несколько предприятий.

Деятели типографского дела и фотографы в начале XX века, как ни странно, редко взаимодействовали. Как практикующий типограф и издатель С.М. Прокудин-Горский наблюдал этот недостаток и предлагал настроить диалог между ними. И те, и другие имели собственные периодические узкоспециализированные издания, в которых не было места проблемам своих ближайших коллег по работе. Когда в 1901/1902 рабочем году V Фотографический отдел Императорского технического общества (далее – ИРТО) включил фотографа в работу комиссии по составлению обзоров фотографических журналов и новостей

[6, л. 179; 7, л. 41], то он в первую очередь обратился не к фотожурналам (например, зарубежным), а к обзору «Сборника технических статей», который с 1901 года издавался Экспедицией заготовления государственных бумаг [6, л. 31; 8, л. 63об, 95]. В нем помещалась сугубо специализированная информация о новинках в области полиграфии. При V отделе постепенно формировался музей с коллекцией устаревшей техники. В 1905 году ее постановили дополнить «коллекцией по автотипии и цинкографии», и за материалом по трехцветной автотипии решили обратиться именно к С.М. Прокудину-Горскому [9, л. 50]. К сожалению, контекст данного решения, принятого на заседании отдела, установить невозможно в связи с утратой документов фонда ИРТО, но, скорее всего, оно возникло вследствие предложения фотографа. Следует также упомянуть написанную им книгу «Фототехническое дело», предназначавшуюся для издателей, редакторов, художников и типографов и изданную в 1905 году [10].

Таким образом, С.М. Прокудин-Горский среди членов V Фотографического отдела настойчиво проводил идею взаимосвязи фотографии и полиграфии, увенчавшуюся в 1912 году, незадолго до сложения с себя полномочий председателя отдела, предложением о его реорганизации. Его докладная записка Совету общества, хранящаяся в Российском государственном историческом архиве, ранее была опубликована Н.А. Станулевич, но без соответствующих ей комментариев, вводивших бы читателей в контекст ее составления [11].

23 января 1912 года записка была направлена физику, секретарю Совета ИРТО Н.Н. Георгиевскому с просьбой вынести ее для рассмотрения на заседании в этот же день [12, л. 20]. С.М. Прокудин-Горский на собрании не был, а Совет постановил обсудить предлагаемую им реформу на совместном заседании V Фотографического и IX Технического образования отделов [12, л. 24]. Предположительно в мае фотограф сложил с себя обязанности председателя V отдела, и совместное заседание двух отделов и их реформирование так и не состоялись. В перспективе предложения С.М. Прокудина-Горского могли бы положительно сказаться на развитии полиграфической отрасли, если бы не потрясения, связанные с ухудшением ее положения в годы Первой мировой и Гражданской войн, поэтому они имеют интерес только с точки зрения понимания фотографом близости задач фотографии и типографского дела.

В Уставе ИРТО V отдел именовался как отдел «Светописи и ее применения». С.М. Прокудин-Горский предлагал переименовать его в «Графический и светописный». Хотя в исконном наименовании отдела имеется отсылка к «применению» светописи, то есть ее практическому использованию, в том числе в полиграфии, но, как верно подметил фотограф, оно так и не привлекло ученых и практиков, занимавшихся проблемами графических искусств и техник. Печатное дело находилось в ведении IX отдела, но в записке шла речь не об объединении двух отделов, а об их сближении и участии в заседаниях друг друга при обсуждении соприкасающихся проблем. Следует подчеркнуть, что идея подобного единения принадлежит не исключительно фотографу; он ее почерпнул в среде «технической публики», с которой он общался как типограф [12, л. 22об].

С.М. Прокудин-Горский наблюдал, что V отдел превратился в кружок любителей фотографии и перестал соответствовать задачам научно-технического общества. Прилив новых сил, который следовало ожидать в случае переименования отдела, привнес бы в его работу «новые вопросы и темы самого разнообразного свойства, начиная с вопросов по бумажной промышленности, литографии, цинкографии, типографского дела, красочного дела, граверного дела, издательского дела и т.д.» [12, л. 22]

Фотография, по мнению С.М. Прокудина-Горского, должна была курсом войти в занятия Школы печатного дела, основанной еще в 1884 году и находившейся в ведении IX отдела. По-видимому, этот пункт программы преобразований был обусловлен неуспешностью у публики фотографических курсов, которые в течение нескольких лет работали при Фотографическом отделе и инициатором которых был мастер. О результатах этой работы он говорит в той же записке чуть раньше. Он видит, что начальный общий курс фотографии почти не пользуется интересом, а более углубленное изучение разных отраслей

фотодела также не устраивает из-за того, что обычно слушателю важна только одна из них. Отсутствие образовательного ценза привлекало публику, но из-за этого она не всегда оказывалась подготовленной для обучения. Другая часть слушателей хотела бы получить более систематическое образование и соответствующий диплом [12, л. 21-21об].

Наконец, в результате присоединения фотографов к обсуждению вопросов печатного дела светопись «станет насущной потребностью в полном значении этого слова для тех отраслей графического дела, которые с ней непосредственно связаны, как то: фотоцинкография, фотолитография, фотогравюра и т.п.» [12, л. 22] Таким образом, С.М. Прокудина-Горского интересовала возможность широкого обсуждения с другими специалистами чисто технических вопросов печати, с которыми, возможно, он сталкивался на практике, что могло повлечь за собой раскрытие некоторых технологических секретов, имевшихся в каждой типографии, а также способствовать дальнейшему развитию типографского дела в сторону упрощения печатных техник. Данная проблематика весьма актуальна в виду утраты технологий старинных фотомеханических способов печати, и ее широкое обсуждение на страницах научных журналов могло бы оказать существенную помощь исследователям искусства репродукции.

Проникновение фотографии в издательское дело продолжилось и в XX веке, ярким подтверждением чему является, например, активное использование фотографии как художественно-пропагандистского средства в журналах 1920-х-1930-х годов, а в послевоенное время – тиражирование фотоснимков в виде разного рода издательской продукции. Однако диалог специалистов, о котором мечтал С.М. Прокудин-Горский, в силу разных исторических обстоятельств так и не состоялся. Тем не менее, тесная взаимосвязь фотографии и репродукции существует, и выделение тиражной светописи как самостоятельного предмета изучения без обращения к издательским практикам обедняет историю фотографии в целом.

Литература и источники

1. Мозохина Н.А. Издательская деятельность основателя цветной фотографии в России С.М. Прокудина-Горского // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения-2012): в 2 ч. Ч. 1: Книжное дело. Культурология: сб. науч. тр. СПб.: СПГУТД, 2013. С. 109-116.
2. Станулевич Н.А. Технологии цветной фотографии в творчестве Прокудина-Горского: от эксперимента к массовой репродукции // Журнал ВШЭ по искусству и дизайну. 2025. № 5. С. 127-158.
3. Фотограф-любитель. 1900. № 5. [Рекламная вкладка].
4. Иллюстрированный каталог 8-й выставки С.-Петербургского общества художников в Петербурге. СПб., 1900. 31 с.
5. Иллюстрированный каталог фотографических снимков с картин и статуй Русского музея императора Александра III. СПб.: Типография Санкт-Петербургского акционерного общества печатного дела в России, 1900. 24 с.
6. РГИА. Ф. 90. Оп. 1. Д. 443.
7. РГИА. Ф. 90. Оп. 1. Д. 447.
8. РГИА. Ф. 90. Оп. 1. Д. 444.
9. РГИА. Ф. 90. Оп. 1. Д. 449.
10. Прокудин-Горский С.М. Фототехническое дело. СПб.: Типография Товарищества «Общественная польза», 1905. 52 с.
11. Станулевич Н.А. «Всякое техническое дело, не имеющее в основе жизненного интереса... обречено на гибель». Докладная записка председателя фотографического отдела русского технического общества С.М. Прокудина-Горского. 1912 г. // Исторический архив. 2014. № 1. С. 197-201.
12. РГИА. Ф. 90. Оп. 1. Д. 453.

Карикатуры на русских писателей в дореволюционной периодике как конструирование литературной репутации

Сонина Е.С.
Кандидат филологических наук
Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»
Санкт-Петербургского государственного университета, доцент
E-mail: sonina@mail.ru

Аннотация: В работе прослеживается становление печатной русской литературой карикатуры в 1840-1900-х годах, обзорно приводится историография вопроса. Литературная карикатура рассматривается как пример визуальной критики, влияющий на читательские массовые представления о писателях, но чаще всего в шаблонном духе. Центральными сюжетами литературной карикатуры становятся писательский быт, объединения и полемика, а литературные и философские идеи авторов часто трактуются примитивно и искаженно.

Ключевые слова: русский литератор, дореволюционная журналистика России, карикатура, шарж, визуальная критика.

Cartoons by Russian Writers in Pre-revolutionary Periodicals as the Construction of Literary Reputation

Sonina E.S.
Saint Petersburg State University

Abstract: The work traces the formation of printed Russian literary caricature in the 1840s-1900s, providing an overview of the historiography. Literary caricature is examined as an example of visual criticism, influencing mass reader perceptions of writers, albeit often in a stereotypical manner. Central themes of literary caricature include writers' daily lives, associations, and polemics, while authors' literary and philosophical ideas are frequently interpreted simplistically and distortedly.

Keywords: Russian writer, pre-revolutionary Russian journalism, caricature, cartoon, visual critique.

Многолетняя дискуссия о факторах формирования литературной репутации продолжается по сегодняшний день. Среди прочих аспектов важно взглянуть на прижизненную литературную карикатуру как составную часть формирования общественного взгляда на писателя, хотя этот посыл не нов. Еще в начале – середине XX века предпринимались серьезные шаги по сбору и изучению литературной карикатуры [1–7], но подобных современных исследований немного. В 2015 году В.Н. Крылов в статье, созданной на основе шаржированных циклов в «Сатириконе», один из немногих определял карикатуру как яркое дополнение к вербальным формам критики [8]. Е.В. Наседкина на примерах портретов и шаржей рассматривала, как изменялось восприятие А. Белого современниками, Е.Е. Вахненко в том же ключе исследовал оценку наследия А.М. Ремизова, А.А. Холиков и Н.В. Барковская наделяли литературные карикатуры функциями культурной памяти, А.А. Россомахин трактовал прижизненную карикатуру на В.В. Маяковского как пласт синхронной рецепции [9–15] и пр.

Отследить влияние опубликованной карикатуры на уровень читательского признания того или иного писателя почти невозможно, но, зная тенденции развития русской печатной

сатирической графики, реально понять, как редакции периодических изданий пытались воздействовать на общественное восприятие литераторов.

Печатные карикатуры и шаржи на литераторов появляются в России с 1840-х годов. До этого альбомные рукописные изображения литераторов носили, как правило, едкий и высмеивающий характер. Это, например, рисунки в альбоме Е.Н. Ушаковой, посвященные А.С. Пушкину, или цикл карикатур Н.А. Степанова о похождениях Ф.В. Булгарина. Но карикатуры, напрямую затрагивающие личности, запрещались цензурой, и поэтому первые печатные образцы такой сатирической графики создавались скорее для лести идейно близким писателям. Например, «Листок для светских людей» В.Ф. Тимма в добродушных шаржах-шарадах подчеркивал трудолюбие, разносторонность и талантливость Булгарина, Н.И. Греча, Н.А. Полевого [16]. «Шествие в храм славы» М.Л. Неваховича, продолжая традицию живописных шествий античности и кватроченто, показывал важность литературного сообщества и уникальность каждой из изображенных фигур [17, с. 24]. При этом в торжественную церемонию вводятся не только хорошо узнаваемые Н.В. Гоголь, В.Ф. Одоевский или В.А. Жуковский, но и делающий первые шаги на литературном поприще Н.А. Некрасов. Одновременно с этим Невахович опубликовал в «Ералаше» сатирические рисунки, высмеивающие целое направление русской литературы – натуральную школу.

Положение литераторов, публицистов и журнальных иллюстраторов с восшествием на престол Александра II смягчилось, что незамедлительно сказалось и на общем тоне выступлений в прессе, и на характере сатирической графики. Политическое размежевание в периодике вызвало карикатуры, резко критикующие идейные позиции публицистов и редакционные расстановки сил. Сатирическая графика начинает использоваться в пропагандистских целях не только частными редакциями, но и правительственными кругами, доказательством чему служат антигерценовские карикатуры, отпечатанные в Берлине и распространявшиеся в России [18, 19]. Но есть и примеры относительной свободы слова (изображения), когда выходят, например, приложение к «Занозе», где «Колокол» А.И. Герцена отказывается играть в оркестре русской журналистики под управлением цензуры, или серия карикатур в «Искре» и «Гудке», эзоповым языком напоминающая о лондонском изгнаннике [20–23].

Со второй половины XIX века визуальный переход на личности в печати становится допустим. Карикатуристы могли уже позволить себе упрекнуть Ф.М. Достоевского в плагиате, осудить переход «Отечественных записок» от А.А. Краевского к Н.А. Некрасову, приписывать славянофилам в лице И.С. Аксакова стремление повернуть Россию вспять [24–26] и т.д. Сатирическая графика часто искажает суть излагаемых писателем идей, но эпоха гласности порой вызывает к жизни и обличительные иллюстрации, где осуждается состояние общества, породившее литературный текст. Это относится, например, к карикатуре на социум, поделенный по признаку «отцов» и «детей», где И.С. Тургенев занимает место посредника [27].

Первополосная литературная карикатура становится непременным атрибутом многих иллюстрированных журналов второй половины XIX – начала XX века. Тайны литературной «кухни», писательский быт, литературные сообщества и полемика интересуют читателя, а редакции стремятся удовлетворить возникающие запросы. Используются визуальное противопоставление литературы прошлого и настоящего, новые сатирические формы, появляются литераторы – лидеры по количеству посвященных им карикатур и аутсайдеры. Внимание художника обращено прежде всего на личность писателя, затем – на само творчество, и лишь в единичных случаях – на теоретические основы труда, литературные стили и пр. На страницах тонкого еженедельника можно увидеть карикатуры, посвященные гонорарам, расцвету «плагиатуры», правовым нормам профессии. Отдельно стоит упомянуть коллективные шаржированные изображения русских литераторов, демонстрирующие не столько сплоченность писательских объединений, сколько гипотетический литературный рейтинг [28–29].

Особенно же ярко тенденции конструирования литературной репутации проявляются в начале XX века. Серебряный век благодаря увеличивающимся возможностям тиражирования и резкому росту как периодики, так и читательской аудитории подарил нам множество карикатур. Количественно выделяются иллюстрации, связанные с эпатажным поведением представителей новых направлений (чаще всего футуристов), шокирующей и одновременно привлекающей читателя маргинальной тематикой (босяки М. Горького) и проповедническими выступлениями Л.Н. Толстого. Литературные карикатуры все больше отходят от литературы, погружаясь в мир странных отношений и странного внешнего вида поэтов и прозаиков; глубокие философские и культурные идеологемы подменяются поверхностным юмором, прививая читателю/зрителю стойкий, но поверхностный интерес к наиболее заметным писателям.

Литература и источники

1. Либрович С.Ф. Фидлеровский музей русских литераторов. СПб., Труд и польза, 1908.
2. Либрович С.Ф. М. Горький в карикатурах и анекдотах. СПб., 1903.
3. Битовт Ю.Ю. Граф Л.Н. Толстой в карикатурах и анекдотах. М., 1908.
4. В память Л.Н. Толстого. Альбом изображений Толстого и о Толстом / Под ред. Ю. Битовта. I–III вып. М., 1911.
5. Клевенский М.М. И.С. Тургенев в карикатурах и пародиях (с рисунками) // Голос минувшего. 1918. № 1-3. С.185–218.
6. Фонякова Н.Н. Шаржи и карикатуры на И.С. Тургенева // Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. Т. IV. И.С. Тургенев. М.-Л.: АН СССР, 1958. С.180–207.
7. Буторин Д., Гиппиус В. Салтыков в карикатуре // Литературное наследство. Т. XIII–XIV. М.: Журн.-газ. объединение, 1934. С. 569–582.
8. Крылов В.Н. Визуальные формы литературной критики в начале XX в. // Визуальная коммуникация в социокультурной динамике. Сб. ст. Казань: Издательство КФУ, 2015. С. 422–427.
9. Наседкина Е.В. Андрей Белый: трансформация образа в восприятии современников (портреты, шаржи, пародии) // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 2. Т. I. Культурология. С. 171–177.
10. Вахненко Е.Е. Литературная личность А.М. Ремизова в карикатурах, шаржах, пародия современников (1906–1916) // Филологический класс. 2019. № 4 (58). С. 170–180.
11. Холиков А.А. Трансформация памяти о писателе на пересечении словесного и визуального «пространств» // AvtobiografiЯ. 2013. № 2. С. 73–87.
12. Холиков А.А. Автобиография vs фотография и мемуар vs карикатура как формы сохранения памяти о писателе (Д. С. Мережковский) // Studia Litterarum. 2017. Т. 2. № 1. С. 10–21.
13. Барковская Н.В. Писательские карикатуры и шаржи как механизм культурной памяти // Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX–XXI веков. Направления и течения. 2019. № 3. С. 54–77.
14. Россомахин А. Тема финансов и гонораров Маяковского в карикатурах, пародиях и записках зрителей // «Разговор с фининспектором о поэзии» Владимира Маяковского: Факсимильное издание. Исследования. Комментарий / Сост., науч. ред. А.А. Россомахин. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. С. 99–120.
15. Россомахин А. Маяковский как предводитель хулиганов (из визуальной археологии 1920-х годов) // Юность. 2023. № 9 (813). С. 12–17.
16. Степанов Н.А. Музеум «Листка» // Листок для светских людей. 1844. №№ 2, 9.
17. Невахович М.Л. Шествие в храм славы // Ералаш. 1846.

18. ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1Г-1. Ед. хр. 233 (Проект памятника, предложенный к воздвижению на б. Толкучем рынке. Берлин: Типография Миллера, 1862).
19. ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп. 1Г-1. Ед. хр. 232 (Скоты-деятели. Берлин: Типография Миллера, 1861).
20. Борель П.Ф. Концерт в С-дурном тоне // Заноза. 1863. № 9. 3 марта. Приложение.
21. Щиглеев В. Ведь это Полярная звезда // Искра. 1862. № 45. 23 ноября. С. 613.
22. Колокол у него нашли // Искра. 1863. № 7. 22 февраля. С. 96.
23. Иевлев Н.В. Колокол-то здесь // Гудок. 1863. № 1. 8 января. С. 4.
24. 1867 комический год // Искра. 1867. № 14. 23 апреля. С. 175.
25. Фрейнд. Новый год в журналистике // Искра. 1868. № 1. 7 января. С. 5.
26. Порфирьев В.И. Б/н // Осколки. 1883. № 4. 22 января. С. 1.
27. Иевлев Н.В. Нет сладу ни с детьми, ни с отцами // Оса. 1863. 12 июня. № 7.
28. На мель села, голубушка! // Шут. 1879. № 3. 21 января. С. 1.
29. Ремизов Н.В. Салон ее светлости русской литературы // Сатирикон. 1914. Приложение.

Иконология на границе между историей искусства и визуальными исследованиями

Ступникова Д. А.
Российский институт истории искусств, аспирант
E-mail: dariastupnikova@gmail.com

Доклад посвящен отношениям между историей искусств и развивающимся с 1980-х годов направлением визуальных исследований. Граница между дисциплинами проводится, помимо прочего, с точки зрения иерархии слов и изображений, характерной для той или иной системы интерпретации. Отделяя себя от «традиционной» истории искусства, критикуемой за подчинение вербальной знаковой системе (так, что изображение оказывается иллюстрацией текста), визуальные исследования заявляют о необходимости эмансипировать образы. На основе этого знакового конфликта переинтерпретируется иконология – направление смыслового анализа произведений искусства. Поле иконологических исследований поляризируется и из него выделяется две основные фигуры – Аби Варбурга и Эрвина Панофского – так, что первый становится олицетворением «новых» подходов к образу, а второй – проводником власти слов. Тем не менее подобное положение дел отражает попытки новой дисциплины, скорее, легитимизировать себя, используя слова и образы как инструменты в борьбе, нежели обратиться к исследованию теоретических установок искусствознания. Ведь тех же представителей иконологии можно охарактеризовать ровно обратным образом.

Ключевые слова: иконология, визуальные исследования, пикториальный поворот, образ, Панофский, Варбург, Митчелл

Iconology at the Boundary between Art History and Visual Studies

Stupnikova D. A.
Russian Institute of Art History, postgraduate student

The paper examines the relationship between art history and the field of visual studies that has developed since the 1980s. The boundary between these disciplines is drawn, among other factors, through the hierarchy of words and images characteristic of each interpretive system. Distancing itself from "traditional" art history – criticized for

its subordination to a verbal sign system that renders the image an illustration of text – visual studies declare the need to emancipate images. Based on this semiotic conflict, iconology, the method of semantic analysis of artworks, is reinterpreted. The field of iconological research becomes polarized, giving rise to two key figures: Aby Warburg and Erwin Panofsky, with the former coming to embody the "new" approaches to the image and the latter representing the dominance of words. Yet this state of affairs reflects the new discipline's attempt to legitimize itself by using words and images as tools of struggle rather than by engaging with the theoretical foundations of art history. The same representatives of iconology, in fact, could be characterized in precisely the opposite way.

Key words: iconology, visual studies, pictorial turn, image, Panofsky, Warburg, Mitchell

Доклад посвящен построению границ между историей искусства и визуальными исследованиями. На примере иконологии планируется рассмотреть, как заявленное в историографии перераспределение вербального и визуального начал в процессе интерпретации встраивается в уже готовую систему различий между двумя дисциплинами, а методы толкования произведений оказываются средством борьбы разных исследовательских моделей.

С 1970-х годов широко обсуждается кризис истории искусства, что приводило к неоднократным заявлениям о смерти дисциплины [1]. История искусства критикуется за недостаток теоретической и методологической рефлексии. Искусствоведы упрекаются в насаждении иерархии высокого и низкого искусства, линейном восприятии истории, ее периодизации, отношении к произведению как к конечному, замкнутому в себе объекту [2; 3, p. 85–138]. Это связывается с подчинением визуального начала вербальному в процессе толкования произведений, что обуславливается как влиянием структуралистских и семиотических моделей интерпретации [4, p. 11–13], так и более давней проблемой – иконографией, направленной, помимо прочего, на соотнесение произведения искусства с обосновывающим его текстом.

Вместе с этим с 1980-х годов активно развивается направление в гуманитарных науках, связанное с понятиями визуальных исследований [5, p. 8], иконического поворота [6], пикториального поворота [4, p. 11], Bildwissenschaft [7]. Как следует из указанных наименований, представителей этого направления объединяет повышенное внимание к понятию образа, его логике, эпистемологическим возможностям и, следовательно, перераспределению вербального и визуального в интерпретации произведений искусства. Говорится об изменении как объекта исследования, так и методов с точки зрения эмансипации образов: крайне распространенными становятся заявления о необходимости расширения круга рассматриваемых явлений (помимо тех, что маркированы принадлежностью к сфере искусства), междисциплинарности и т. д.

Однако другим способом определения нового направления является проведение границы между ним и тем, что стало называться «традиционной» историей искусства. Визуальные исследования могут противопоставляться существующей дисциплине или оживлять ее [8, p. 109]. В любом случае «традиционная» история искусства, как нередко утверждается, сводит изображение к иллюстрации некой идеи, ограничивает его эпистемологический потенциал [3]. Совершаются попытки выявить те подходы к интерпретации образов, которые не были бы обусловлены вербальным языком [см., например: 9]. Так, подчеркивается возможность переворота иерархии слов и изображений в интерпретации, где на смену подавлению образов словами приходит подавление слов образами [4, p. 28]. Более того, распространенными становятся идеи «мышления» образов [10], их «желаний». У. Дж. Т. Митчелл пытается связать повышенное внимание к образам с «аномалией», в терминах Куна, способной привести к новой научной «парадигме» [4, p. 13]. Такое заявление представляется довольно провокативным, сказанным для стимулирования дискуссии, нежели пытающимся охарактеризовать наблюдаемое положение дел. Его можно

воспринимать как симптом желания провести некую границу между разными векторами истории искусства [11].

Противоположный взгляд на отношения между рассматриваемыми направлениями заключается в отказе считать положения визуальных исследований стимулирующими реальные изменения в интерпретации образов. Розалинда Краусс говорит лишь об иллюзии изменений, являющейся следствием позднего капитализма: материальное произведение для визуальных исследований – дематериализованный миф, нацеленный только на потребление [12]. Обвиняя историю искусства в недостатке теоретической рефлексии, новое направление оказывается еще более догматичным. Согласно другой точке зрения визуальные исследования говорят о том, что уже присутствует в «традиционной» истории искусства: как выходы к разнообразным сферам и методам интерпретации, так и обращение к широкому кругу образов [13, с. 49].

В этом докладе мы хотели бы рассмотреть отношения между «традиционной» историей искусства и визуальными исследованиями через взаимоотношение последнего с историографией истории искусства.

На наш взгляд, иллюстративным примером является рецепция иконологии, так как границы между визуальными исследованиями и «традиционной» историей искусства проходят в том числе через это направление смыслового анализа произведений. Во-первых, акцент на семантической составляющей образа свидетельствует об укорененности иконологии в проблеме распределения вербального и визуального в процессе интерпретации. Во-вторых, появившись в начале XX века, к середине столетия иконология стала одним из самых распространенных направлений в искусствознании, что обуславливает регулярное обращение теоретиков искусства к переинтерпретации ее возможностей и целей. Но, главное, иконология является крайне широким направлением, включающим разные точки зрения на ее сущность, что позволяет переописывать ее разными способами и связывать с разными явлениями. С самой общей позиции иконология может пониматься как расширенная (интерпретационная, критическая) [14] версия иконографии, исследующая помимо прямого значения образов скрытые смыслы: продолжающуюся жизнь архаичных символов (Варбург), обрамляющие темы (визуальные аналоги мифов) (Бялостоцкий), культурные симптомы (Панофский). В связи с многообразием подходов о ней принято говорить не как о методе интерпретации, а как о системе теоретических установок [15].

В рамках визуальных исследований иконология часто трактуется достаточно конкретно и в то же время противоречиво: поле иконологических исследований поляризуется и из него выделяется только две ее версии – иконологии Аби Варбурга и Эрвина Панофского, – причем первая маркируется положительно, а вторая – отрицательно. Аби Варбург рассматривается как предшественник и вдохновитель указанных поворотов из-за исследования миграции образов, переходящих временные и пространственные границы, внимания к аффективной стороне образа, отказа от иерархии «высокого» и «низкого» искусства и так далее [16]. В свою очередь Эрвин Панофский, один из самых влиятельных искусствоведов в академической науке, воспринимается как символ тех слабостей, о которых шла речь в начале доклада [3, 4]. Следовательно, теория Аби Варбурга ассоциируется с эмансипацией слов, а исследования Эрвина Панофского – с лингвистической обусловленностью.

В своей ранней работе «Иконология. Образ. Текст. Идеология» [17, с. 66] У. Дж. Т. Митчелл указывает, что между словами и изображениями нет сущностной разницы, но характерная для той или иной идеологии система различий, формирующая ценностные диспозиции, обуславливает и актуальное для нее значение разных типов знаков, встраивающихся в «борьбу между телом и душой, миром и разумом, природой и культурой» (например, повышенное внимание к образу можно связывать как с поздним капитализмом вслед за Розалиндой Краусс, так и с заявлениями о сопротивлении, акцентирующими процессуальность, логику не-знания; Митчелл соотносит образы с жертвами разных форм дискриминаций – гендерных, расовых – и связывает их голос с «желаниями» образов [18]).

Конфликт слов и изображений в рамках рецепции иконологии также представляется выходящим за пределы исследования семиотических возможностей. Подобно тому, как разные знаковые системы оказываются инструментами в борьбе за существование новых дисциплин, в их отделении от уже признанных областей исследований, иконология выполняет функцию легитимации визуальных исследований. И при иных расстановках сил ее оценка могла быть совсем другой. Уже упомянутый Аби Варбург посвятил много трудов иконографии, той есть поиску текстовых источников изображений, считал проблему соотношения слов и образов одной из ключевых в истории искусства (кроме того, иконография – результат сложного переплетения не только текста и образа, но и практики). Его знаменитый атлас «Мнемозина», который был положен в основу попыток выявить невербальные способы взаимодействия образов (через прием монтажа), остался почти без текстового сопровождения из-за смерти исследователя, который планировал создать подробное пояснение к каждой панели. В свою очередь фигура Панофского также является гораздо менее однозначной. Например, Митчелл говорит о нем как о создателе модели для возможной критической иконологии. Х. Бредекамп показывает, как для Леви-Стросса иконология Панофского была гораздо более заинтересованной в материальности образов, чем постструктурализм. Так, творчество Панофского может говорить о том, как изображение нарушает, трансформирует вербальные коды, иронизирует над ними [19].

Литература

1. Belting H. The End of the History of Art? Chicago; London: University of Chicago Press, 1987. 120 p.
2. Forster K. W. Critical History of Art, or Transfiguration of Values? // New Literary History. 1972. Vol. 3. N 3. P. 459–470.
3. Didi-Huberman G. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain History of art. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2005. 310 p.
4. Mitchell W. J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: University of Chicago Press, 1995. 445 p.
5. Rampley M. Introduction // Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks / / ed. by M. Rampley. Leiden; Boston: Brill, 2012. P. 1–13.
6. Boehm G. Die Wiederkehr der Bilder // Was is ein Bild. / hrsg. von G. Boehm. München: Wilhelm Fink, 1995. S. 11–38.
7. Rampley M. Bildwissenschaft: Theories of Image in German-Language Countries // Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks / ed. by M. Rampley. Leiden; Boston: Brill, 2012. P. 119–134.
8. Moxey K. The Practice of Persuasion: Paradox and Power in Art History. Ithaca: Cornell University Press, 2001. 158 p.
9. Bredekamp H. Image Acts: a Systematic Approach to Visual Agency. Berlin; Boston, Massachusetts: Walter de Gruyter, 2021. 361 p.
10. Didi-Huberman G. Atlas, or the Anxious Gay Science. Chicago: University of Chicago Press, 2018. 375 p.
11. Baetens J. Visual Culture and Visual Studies // Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks / ed. by M. Rampley. Leiden; Boston: Brill, 2012. P. 91–106.
12. Krauss R. Welcome to the Cultural Revolution // October. 1996. Vol. 77. P. 83–96.
13. Мазур Н. Исследования визуальной культуры: история и предыстория // Искусствознание. 2018. № 1. С. 10–51.
14. Białostocki J. Iconography and Iconology // Encyclopedia of Word Art. Vol. 7. New York, 1963. Col. 770-786.

15. Ванеян С. С. Иконология // Православная энциклопедия. Т. 22. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. 752 с. С. 47–50.
16. Didi-Huberman G. L'image survivante: histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg. Paris: Les Éditions de Minuit, 2002. 592 p.
17. Митчелл У. Дж. Т. Иконология. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. 237 с.
18. Mitchell W. J. T. What Do Pictures Really Want? // October. 1996. Vol. 77. P. 71–82.
19. Bredekamp H. Words, Images, Ellipses // Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside / ed. by I. Lavin. Princeton: Institute for Advanced Study, 1995. P. 363–371.

Визуальное + текстовое: исследование мультимодальности почтовой открытки (по материалам корпуса «Пишу тебе»)

Хусяинов Т.М.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», заместитель декана факультета гуманитарных наук, старший преподаватель департамента литературы и межкультурной коммуникации
E-mail: timur@husyainov.ru

Мусинова Ю.Д.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», студентка 5 курса образовательной программы «История»
E-mail: yumusinova@gmail.com

Аннотация: Данная работа предлагает рассмотрение почтовых открыток как мультимодальных источников, сочетающих в себе визуальную и текстовую части, кроме того, выделяется третья модальность - почтовые штампы и отметки, которые представляют собой одновременно и текст, и изображение.

Анализ почтовых открыток раскрывает диахроническую динамику коммуникативных форматов, визуальных языков и речевых практик. Триединство текста, изображения и почтовых метаданных позволяет реконструировать не только то, что сообщали люди, но и как они это делали. Изучение почтовых открыток позволяет раздвинуть дисциплинарные границы: для лингвистики это шанс увидеть язык в неразрывной связи с визуальным контекстом; для истории – услышать «живые» голоса эпохи; для культурологии – декодировать механизмы формирования и трансляции культурных кодов.

Ключевые слова: «Пишу тебе», почтовая открытка, мультимодальность, визуальное, текстовое, почтовая переписка

Visual + Textual: The Multimodality of the Postcard (Based on Materials from the Pishu Tebe Digital Archive)

Khusyainov T.M.
HSE University
Musinova Yu.D.
HSE University

Abstract: This paper examines postcards as multimodal sources, combining visual and textual elements. It also highlights a third modality—postmarks and marks that represent both text and image.

Analysis of postcards reveals the diachronic dynamics of communicative formats, visual languages, and speech practices. The trinity of text, image, and postal metadata

allows us to reconstruct not only what people communicated, but also how they did so. Studying postcards allows us to expand disciplinary boundaries: for linguistics, it offers a chance to see language inextricably linked to its visual context; for history, to hear the "living" voices of the era; and for cultural studies, to decode the mechanisms of formation and transmission of cultural codes.

Keywords: Pishu Tebe Digital Archive, postcard, multimodality, visual, textual, postal correspondence

Почтовая открытка представляет собой значимый первичный источник, который, однако, остаётся недостаточно исследованным в гуманитарных и социальных науках. В то время, как историки искусствоведы привлекают почтовую открытку как источник, в среде лингвистов, социологов и психологов она практически не затрагивается. Она объединяет в себе как рукописную речь самых различных авторов, выполняя при этом коммуникативную функцию, так и визуальный компонент – иллюстрацию, фотографию или репродукцию, создавая комплексный, мультимодальный текст. Именно такая двойственность: текстовое и визуальное, делает открытку ценным объектом для историков, лингвистов, культурологов и визуальных исследований: она фиксирует не только слова, но и визуальные представления, эстетические нормы, общественные ожидания и изменяющиеся формы коммуникации. Важно отметить, что если текст, как правило, был уникальным и, чаще всего, рукописным; то изображения представляли собой, за редким исключением, тиражируемые образы (порой тиражи достигали десятки миллионов штук).

В этом смысле открытка – это не просто письменное сообщение с иллюстрацией, а эпистемическая практика, своеобразный режим знания о повседневности: не просто слова, но явные и неявные знания отправителя о мире [1]; информация о том, как люди хотели быть представлены визуально; что они выбирали, чтобы сказать; и как визуальное и текстовое коррелировали в рамках социальных норм. Таким образом, почтовая открытка демонстрирует, как в обыденной коммуникации визуальные и текстовые практики участвуют в формировании и легитимации знаний о мире.

Эмпирическую основу нашего исследования составляет цифровой корпус почтовых открыток «Пишу тебе», который объединяет в себе 59325 объектов. Большинство открыток написано на русском языке, остальные – на более 30 иностранных языках. Самая ранняя почтовая открытка в корпусе была отправлена в 1875 году, самая поздняя – в 2025 году [2; 3].

Такой объём материала и временной охват позволяют исследователям выявлять диахронические изменения и вариативность: как менялись визуальные стили, формулировки поздравлений / обращений / сообщений, форматы и жанровые нормы, как взаимодействие визуала и текста трансформировалось со временем.

Довольно часто в современных исследования почтовых открыток мы можем видеть обращение лишь к одной из модальностей – либо текст [4], либо визуал [5], в то время как они не просто сопутствуют друг другу, а могут создавать смысловую композицию, в которой:

- визуальное задаёт фон ожиданий, определяет представление, создает визуальный контекст, в который помещается текст;
- текст выступает комментарием, личным высказыванием, корректором или даже ироничным замечанием к визуальному;
- оба компонента вместе формируют восприятие открытки как целостного акта коммуникации: что отправитель хочет показать, а что – сказать.

Подобное пересечение модальностей показывает, как эстетические, культурные и социальные нормы проявляются в повседневной практике: какие образы выбирались, с какими словами их сочетали, как формировались шаблоны личных высказываний. Однако, важно отметить, что в ряде случаев, иллюстрация и текст могут быть никак не связаны между собой, и быть подобраны случайно, что также способно влиять на восприятие послания.

Таким образом, мы можем выявить модели взаимодействия визуального и текстового, характерные для разных исторических эпох и жанров открыток. Исследование

мультимодальности почтовой открытки позволяет решить следующие задачи при изучении коммуникативных практик:

- определить, в каких ситуациях визуальное выступает ведущим компонентом, а когда – текст;
- проследить эволюцию практик компоновки текста и иллюстрации, которые, хотя и регулировались формальными ориентирами (линии подсказа) и практическими ограничениями (размер бланка, объем текста), демонстрируют широкий спектр вариаций – от следования условным нормам до их сознательного или вынужденного нарушения;
- проанализировать семиотическое взаимодействие изображения и текста, которое варьируется от преднамеренных эффектов (усиления, ослабления или преобразования визуального послания) до случаев их случайного или парадоксального несоответствия, что также является важной характеристикой коммуникации через открытку.

Кроме того, у почтовой открытки есть ещё одна модальность, которая соединяет в себе и визуал, и текст – это почтовые штемпели и цензурные отметки, которые содержат в себе информацию о том, когда и по какому маршруту перемещалось послание, или о том, что оно было проверено цензурой.

Визуальные и текстовые модальности не просто сопутствуют друг другу, а входят в коммуникативную практику как равноправные, но совсем не идентичные: визуальное задаёт ожидания, медийный и эстетический контекст; текст – аргумент, свидетельство, личное высказывание; а штемпели, цензурные отметки, магазинные и владельческие штампы выступают как «метаданные» источника, определяющие аутентичность, дату, местоположение, маршруты, становящиеся инструментом верификации и контекстуализации источника и играющие роль «третьей модальности».

Комплексное изучение почтовой открытки как мультимодального объекта (текст – визуал – метаданные) позволяет преодолеть дисциплинарные границы, но и утвердить ее в статусе самостоятельного предмета междисциплинарного исследования. Для лингвистики это шанс увидеть язык в его неразрывной связи с визуальным контекстом, проследить динамику изменения языка; для социологии – проанализировать повседневные практики, особенности взаимодействия разных социальных групп, глобальные социальные процессы; для истории – услышать «живые» голоса эпохи, встроенные в систему материальных практик, но и реконструировать облик прошлого, детали быта, а также анализировать репрезентацию исторических событий и персоналий, в том числе забытых; для культурологии - декодировать механизмы формирования и трансляции культурных кодов.

Именно на этом междисциплинарном пересечении и рождается целостное изучение открытки как уникального феномена культуры и мультимодального источника.

Благодарности

Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (проект № 24-00-004 «Динамика коммуникативных практик в почтовой переписке (на материале корпуса «Пишу тебе»)») в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)»

Литература

1. Медяков А.С. Открытка рубежа XIX–XX вв. как социокультурный феномен // Диалог со временем. 2019. Вып. 67. С. 146-162. [Электронный ресурс]. URL: https://roii.ru/r/1/67.12 (дата обращения: 09.10.2025)
2. Цифровой корпус почтовых открыток «Пишу тебе». [Электронный ресурс]. URL: https://pishutebe.ru/research (дата обращения: 09.10.2025)

3. Zharov D., Golub A., Khusyainov T. Pishu Tebe Digital Archive: Uncovering the Multimodality of Historical Postcards // Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Publications. 2024 Vol. 6 №1. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.5617/dhnbpub.11487 (дата обращения: 09.10.2025)
4. Машенцева Л.П. Почтовая открытка как способ эпистолярной коммуникации // Модернизация культуры: знание как инструмент развития: Материалы VII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Том Часть II. / Под ред. С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. Самара: Самарский государственный институт культуры, 2019. С. 55-59.
5. Oana-Ramona I. Visual Discourse and Urban Spatial Identity in Picture Postcards During Socialist Romania (1948–1989) // Representing Place and Territorial Identities in Europe. GeoJournal Library. Vol 127. Cham: Springer, 2021. P. 127–142. DOI: 10.1007/978-3-030-66766-5_9

ПОГРАНИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИХ ДЕМАРКАЦИЯ

Принцип, практика, алгоритм: современная динамика науки

Кукель В.Е.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, аспирант
E-mail: lac.kenon@gmail.com

Аннотация: Автор предлагает рассмотреть алгоритм в качестве оператора рациональности – синтетической формы, в которой нормативность принципов рациональности закрепляется, воспроизводится и становится операциональной. Исследователь предлагает траекторию «практики – принципы – алгоритм», где: 1) принципы рациональности возникают из устойчивых практик; 2) принципы рациональности являются мировоззренческой рамкой; 3) в перспективе акторно-сетевой теории научная рациональность тождественна воспроизводимости и устойчивости в структурах. Из этого следуют два вывода. Во-первых, алгоритм как оператор рациональности формализует практики и переводит мировоззренческую рамку в процедурное устройство, задающее последовательность шагов, критерии и условия. Во-вторых, алгоритм удерживает сети людей, приборов, текстов и институтов, обеспечивая воспроизводимость результатов в науке. На примерах показывается граница алгоритмизации: рост операциональности при риске редукционизма.

Ключевые слова: алгоритм; алгоритмическая рациональность; оператор рациональности; практики знания; принципы рациональности; воспроизводимость; акторно-сетевая теория

Principle, Practice, Algorithm: Contemporary Dynamics of Science

Kukel V.E.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Abstract: The author proposes to consider the algorithm as an operator of rationality – a synthetic form in which the normativity of rationality's principles is fixed, reproduced, and becomes operational. The study advances a trajectory of "practices – principles – algorithms" where: (1) principles of rationality arise from stable practices; (2) these principles function as a worldview framework; and (3) from an actor–network perspective, scientific rationality is equivalent to reproducibility and stability within infrastructures. Two conclusions follow. First, the algorithm as an operator of rationality formalizes practices and translates the worldview framework into a procedural device that specifies a sequence of steps, criteria, and stopping conditions. Second, the algorithm holds together networks of people, instruments, texts, and institutions, thereby ensuring the reproducibility of results in science. Using examples such as blind analysis, preregistration, and platform infrastructures, the paper delineates the limits of algorithmization: an increase in operationality accompanied by the risk of reductionism.

Keywords: algorithm; algorithmic rationality; operator of rationality; knowledge practices; principles of rationality; reproducibility; actor-network theory.

Введение

Как бы это не казалось странным, но в первую очередь мы хотели бы оттолкнуться от предпочитаемого нами определения науки. Наука – набор практик, которые ориентируются на принципы рациональности. Такое понимание существует, например, благодаря Томасу Куну

и его идее «нормальной науки» и теории структуры научных революций [1]. Принципы в этой традиции «не нависают» над практиками извне: они возникают как обобщения устойчивых режимов действия, а далее выступают регуляторами выработки знания. В данном контексте нам интересен статус алгоритма. В качестве предмета исследования мы предлагаем философскую интерпретацию алгоритма, в которой нормативность принципов закрепляется, воспроизводится и становится операциональной. Цель – выстроить и аргументировать траекторию «практики – принципы – алгоритмы-операторы», уточнив статус алгоритма как формы, которая, выступая одновременно и принципом, и практикой, становится мировоззренческой рамкой, оператором рациональности. Такой подход позволяет связать историко-философские и социологические аспекты проблематики: от генезиса нормативности рациональности в античной (λόγος)) и новоевропейской науке (clara et distincta) [3-6] через классические модели рациональности XX века (в первую очередь идеи парадигмы и фальсифицируемости) [7-11] к сетевой организации фактов и структур современной науки (акторно-сетевая теория (ACT)) [12-14]. В результате рациональность предстаёт не только как набор убеждений, но как структура воспроизводимых действий, в процедурном «сердце» которой – алгоритм.

Практики – принципы – алгоритм

1. Историко-научная перспектива показывает, что принципы рациональности формируются ретроспективно – как обобщения уже сложившихся практик наблюдения, измерения, экспериментирования и доказательства. В позитивистской программе О. Конта систематизируются дисциплины наблюдения, эксперимента и классификации в единый нормативный горизонт рациональности [2]. Античный логос – это не отвлечённая идея, а исторически сложившаяся норма аргументации, выросшая из ремесленных и математических техник демонстрации [2-3]. В Новое время механическая модель мира обобщает практики стандартизации и расчёта, картезианская рациональность переводит принцип в регламентированный путь рассуждения – «правила для руководства ума» [4-5]. В XX веке Г. Башляр, Т. Кун, К. Поппер и И. Лакатос по-разному фиксируют ту же динамику: устойчивые процедуры работы со знанием порождают и поддерживают нормативные «каркасы», которые затем рефлексируются как принципы [6-9]. М. Фуко, расширяя это поле, трактует эпистемы как эпохальные матрицы правил образования знания – культурные «установки» практик [10]. Во всех этих примерах «принцип» выступает стабилизированным резюме практик, а не их первопричиной.

2. Стабилизируясь, принципы начинают выполнять функцию мировоззренческой рамки: они задают допустимые способы постановки вопросов, критерии доказательности, формы уместного объяснения и допустимые стандарты. Так, куновская «нормальная наука» опирается на образцы задач и решений, которые обучают исследователя тому, что считать правильным и как это делать [7]. Попперовская фальсифицируемость оформляет критическую установку как общий принцип проверяемости [8]. У Лакатоса «жёсткое ядро» и «защитный пояс» задают стратегию манёвра между сохранением оснований и допустимыми изменениями [9]. Эта рамка придаёт практикам направленность и связность: она упорядочивает исследовательские действия, устанавливает границы релевантного, позволяет согласовывать локальные ходы с общими нормами дисциплины. Однако рамка остаётся в основном нормативной, поэтому её действенность зависит от того, насколько она операционализируется в конкретных процедурах.

3. Акторно-сетевая теория Бруно Латура смещает акцент с «логики открытий» к производству фактов в гетерогенных сетях людей и вещей: приборы, лаборатории, тексты и институты выступают равноправными акторами. Устойчивость истины зависит от стабильности связей между ними [11-13]. В этой оптике рациональность тождественна воспроизводимости: то рационально, что может быть удержано сетью и повторено в разных узлах без разрушения результатов. Отсюда следует требование к форме, которая не только выражает принцип, но и синхронизирует акторов через последовательности действий,

проверок и критериев. Такой формой становится алгоритм – стандартная операционная процедура, которая переводит что считать обоснованием в как именно действовать и диктует нормативности условие технической исполнимости. Инфраструктуры данных, вычислений и публикаций (репозитории, форматы, протоколы отчётности, политики раскрытия и рецензирования) усиливают именно эту сторону рациональности – её процедурную природу.

Оператор

Во-первых, алгоритм как оператор рациональности формализует практики и переводит мировоззренческую рамку в процедурное устройство, задающее последовательность шагов, критерии и условия.

Алгоритм «наследует» нормативность принципа (критерии, стандарты, допуски) и реализует её как техно-схему: последовательность операций с указанием входов-выходов, условий остановки и проверок качества. В XX веке это движение поддерживает формализация вычислимости и операциональности, а также инженерные и организационные практики, где подчёркнуты признаки алгоритма – точность, общепонятность, результативность и самое главное – воспроизводимость [21]. В современной науке это видно на кейсах: слепой анализ в физике высоких энергий – заранее фиксированный протокол, исключающий подгонку под ожидания [14]; пререгистрация в социальных и биомедицинских науках – регламент «до данных», сокращающий исследовательские «степени свободы» и задающий воспроизводимую цепочку действий [15]. В этих примерах, например, куновская аномалия невозможна, «место оставлено» только для алгоритмов и воспроизводимости. Рамка перестаёт быть лишь убеждением и становится оператором, который делает принцип практически действующим.

Во-вторых, алгоритм удерживает сети людей, приборов, текстов и институтов, обеспечивая воспроизводимость результатов в науке.

Алгоритмы не только регулируют локальные шаги, но и «стягивают» инфраструктуры: обеспечивают совместимость форматов, протоколов и ролей, распределяют задачи и координируют взаимодействия. В платформенных экосистемах и инфосфере алгоритмы выступают и операторами ко-производства: они определяют маршруты данных, приоритеты доступа, режимы верификации и мониторинга [16-19]. Благодаря этому сеть поддерживает ритмичность и повторяемость: результаты становятся переносимыми между «лабораториями». Вместе с тем выявляется граница алгоритмизации: рост операциональности может быть сопровожден риском редукционизма – утратой контекста (особенно в гуманитарной сфере). Акторно-сетевая перспектива задаёт критерий: алгоритм хорош постольку, поскольку он действительно удерживает сеть разнородных акторов, но не разрушая значимых контекстуальных связей [11-13]. На наш взгляд, вместо полной процедурности требуется баланс: операциональность алгоритмов должна быть согласована с интерпретацией и нормативными рамками.

Заключение

Исследование в предложенной перспективе обращает внимание на действительную онтологию современной науки: она существует как структура воспроизводимых практик, управляемых принципами, оператором которых выступает алгоритм. В первую очередь это означает сдвиг фокуса от абстрактных «оснований» к режимам исполнения. АСТ делает эту перспективу видимой: она показывает, что научные факты удерживаются сетями, а следовательно, рациональность реализуется не в идеях как таковых, а в процедурах, основа которых – алгоритм.

Литература

1. Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. 4th ed. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2012. 213 p.
2. Конт О. Курс положительной философии. СПб.: Посредник, 1900. 317 с.

3. Адо П. Что такое античная философия? М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1999. 317 с.
4. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. СПб.: Алетейя, 1996. 294 с.
5. Койре А. Этюды о Галилее. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 607 с.
6. Декарт Р. Правила для руководства ума. М.: Юрайт, 2025. 97 с.
7. Визгин В. П. Эпистемология Гастона Башляра и истории науки. М.: ИФРАН, 1996. 263 с.
8. Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 292 с.
9. Поппер К. Логика научного исследования. М.: Прогресс, 1983. 605 с.
10. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. М.: Академический Проект; Трикста, 2008. 475 с.
11. Фуко М. Слова и вещи. М.: Прогресс, 1994. 408 с.
12. Latour B.; Woolgar S. Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills: SAGE, 1979. 271 p.
13. Latour B. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Milton Keynes: Open University Press, 1987. 274 p.
14. Latour B. We Have Never Been Modern. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993. 168 p.
15. Klein J. R.; Roodman A. Blind Analysis in Nuclear and Particle Physics // Annual Review of Nuclear and Particle Science. 2005. Vol. 55. Pp. 141-163.
16. Nosek B. A.; Ebersole C. R.; DeHaven A. C.; Mellor D. T. The Preregistration Revolution // PNAS. 2018. 115(11). Pp. 2600-2606.
17. Floridi L. The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University Press, 2011. 405 p.
18. Srnicek N. Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press, 2017. 120 p.
19. Zuboff S. The Age of Surveillance Capitalism. New York: PublicAffairs, 2019. 704 p.
20. Willson M. Algorithms (and the) everyday // Information, Communication & Society. 2017. 20. Pp. 137-150.
21. Mehri B. From Al-Khwarizmi to Algorithm // Olympiads in Informatics. 2017. № 1. Pp. 71-74.
22. Марков А. А. Теория алгорифмов. М.; Л.: АН СССР, 1954. 375 с.

Искусственное искусство в повседневности генеративного интеллекта

Слюсарев В.В.

Ассоциация представителей бизнеса и научного сообщества "Цифровые технологии в промышленности", Руководитель проектов

E-mail: slyusarevvladimir@gmail.com

Аннотация: Развитие человеческой культуры неотделимо от совершенствования орудий — вещных и «невещных». В условиях существования генеративного ИИ, поля искусства, ранее выраженно разграниченные с механистическим воспроизведением, становятся средой повседневности, расширяя горизонты вычислимого и художественно возможного и стирая прежние условные границы между техникой и человеком. Опираясь на концепт пограничных объектов, а также на идеи Вальтера Беньямина, в докладе предлагается рамка анализа (производство — рецепция — регуляция) демаркации между «искусством» и «искусственным». Показывается, что границы задаются юридическими, техническими, культурными и рыночными процедурами, распределяя видимость, ответственность и вознаграждение. На примерах музейной маркировки, редакционных политик и образовательных регламентов демонстрируется, как один и тот же объект перемещается между статусами артефакта, инструмента и сервиса. Обосновывается необходимость контекстных политик раскрытия авторства и создания инфраструктуры прослеживаемости.

Ключевые слова: генеративный ИИ; искусство; искусственное; пограничные объекты; демаркация; прослеживаемость.

Unnatural art in ordinary life with GenAI

Slyusarev V.V.
Digital technologies in industry association

Abstract: The development of human culture is inseparable from the refinement of tools—both material and "immaterial." In the age of generative AI, artistic domains once clearly demarcated from mechanistic reproduction have become part of everyday life, expanding the horizons of the computable and the artistically possible while erasing earlier, conventional boundaries between technology and the human. Drawing on the concept of boundary objects and on Walter Benjamin's ideas, the paper proposes a three-axis analytical framework—production, reception, and regulation—for demarcating between "art" and the "artificial." It shows that boundaries are instituted through legal, technical, cultural, and market procedures that distribute visibility, responsibility, and reward. Using cases from museum labeling, editorial policies, and educational regulations, the study demonstrates how one and the same object shifts among the statuses of artifact, instrument, and service. The paper argues for the necessity of context-specific authorship disclosure policies and the creation of traceability infrastructures.

Keywords: generative AI; art; artificial; boundary objects; demarcation; aura; infrastructures; traceability.

Развитие человеческой культуры на протяжении всей её истории неотделимо от создания, использования и непрерывного совершенствования орудий — сначала вещных, затем всё более «искусственных», программных. В условиях, когда вычислительные и сетевые технологии задают темп и масштаб преобразований, генеративный искусственный интеллект становится не просто новым инструментом, но полноценной и новой средой повседневности. Он одновременно расширяет горизонты вычислимого и художественно возможного, стирая прежние условные границы между миром техники и миром человека. На наших глазах техника — в форме сервисов, интерфейсов и моделей — превращается не только в дополнение физиологического (начиная от примитивных орудий) и ассистента (прежде всего в повседневной рутине), но в «партнёра» по творчеству. Человек, все также стремясь избавиться от довлеющей обыденности, переносит на эти инфраструктуры всё больший массив рутинных операций. Но вместе с освобождением наступает зависимость: новая повседневность конструируется нормами и фильтрами платформ, а границы того, что может быть признано искусством, всё чаще задаются процедурно, а не онтологически. В дальнейшем изложении различение трактуется как эффект институционально-технических демаркаций, подлежащих реконструкции и критическому анализу.

Методологически продуктивно исходить из концепта пограничных объектов [1] — вещей, пластичных по интерпретации и достаточно стабильных для координации коллективного действия. В генеративной среде пограничными оказываются и артефакты (изображения, тексты, аудио), и сервисы, и «авторы», чья агентность распределена между данными, моделями, интерфейсами и институтами. Одним из решений для философии науки, например, может быть, акцент на медиирующем характере культурных практик [2], возвращающих «полноту жизни» в анализ научно-технических объектов. Дополнительный ракурс дают исследования инфраструктур классификации и платформенного управления, показывающие, как, казалось бы, «мягкие» правила становятся «жёсткими» при внедрении [3]; [4].

Для аналитики предложим три взаимосвязанные оси: производство, рецепция, регуляция. На оси производства — происхождение и правовой статус данных, процедуры отбора и лицензирования, архитектуры моделей и роль «человека в петле»;

промпт-инжиниринг и постобработка выступают в качестве форм композиции, структурирующих генеративный процесс. На оси рецепции — кураторские и критические практики, форматы маркировки («создано с ИИ»), рыночные механизмы видимости. На оси регуляции — авторское право и смежные права, право на изображение и голос, стандарты платформ (водяные знаки, метаданные прослеживаемости), профессиональная этика. Именно пересечение осей, а не только «качество модели», задаёт статус произведения и распределяет доли признания.

В рамках описанной оптики различим четыре режима демаркации. Юридический режим распределяет права и ответственность, задавая контуры допустимого использования данных и продуктов генерации. Технический режим материализует границы в инфраструктуре — посредством водяных знаков, метаданных, фильтров по умолчанию и запретов на автоматизированный сбор. Культурный режим институционализирует критерии признания (конкурсы, музейные политики, образовательные стандарты). Рыночный режим структурирует монетизацию, комиссионные практики, лицензионные соглашения и закрепляет бенефициаров. Один и тот же объект «мигрирует» между режимами, меняя статус: победа в конкурсе провоцирует пересмотр правил; редакционное использование — исключение из художественной категории; музейная экспозиция — переопределение как «исследовательский артефакт».

Рассматривая авторство, целесообразно отказаться от фигуры «единого гения» в пользу многоагентной конфигурации. Данные и сообщества-источники, разработчики архитектур и фильтров, операторы интерфейсов, кураторы и модераторы — все они участвуют в со-порождении результата. Позиция «мир искусства» описывает процедуры признания [5], тогда как подходы к распределённой агентности подчёркивают сетевой характер действия [7]. Границы видимости и вознаграждения зависят от доступности инфраструктур и стандартизации следов процесса (datasheets, model cards, логи).

Часто звучит тезис «ИИ — лишь инструмент, как кисть». Однако современный «инструмент» является сервисом: в нём упакованы данные, фильтры и правила, действующие в момент творчества; следовательно, меняется конфигурация ответственности. Другая реплика — «ИИ никогда не будет искусством». Здесь релевантна институциональная перспектива: статус артефакта закрепляется не онтологией, а процедурами признания [5]. Наконец, «маркировка решит проблему»: маркировка — управленческий ритуал доверия, необходимый, но недостаточный без инфраструктур прослеживаемости и справедливых режимов вознаграждения.

Практические следствия сводятся к трём блокам. Во-первых, контекстные политики раскрытия: в СМИ, образовании, музейной сфере и коммерческом дизайне уместны различные уровни прозрачности; унифицированные требования ведут либо к избыточным ограничениям, либо к фиктивной отчётности. Во-вторых, инфраструктуры прослеживаемости — стандартизированные метаданные, datasheets, model cards, реестры изменений и лицензий — как условие артикулируемых споров и подотчётности. В-третьих, институциональная работа с распределением вознаграждений и рисков: договорные механизмы компенсаций авторам корпусов, процедуры согласия/возражения на использование данных, а также образовательные практики, смещающие акцент с «детектирования ИИ» на анализ демаркационных процедур.

Резюмируя, генеративные медиа производят пограничные объекты двойной валентности: артефакты и сервисы, в которых техника выступает продолжением и «вынесенной за скобки» эволюцией человеческих способностей. Демаркация здесь — управление версиями, следами и режимами доступа, закрепляющее распределение внимания, ответственности и вознаграждения. Соединение беньяминовской оптики с исследованиями инфраструктур классификации [6] и подходами к распределённой агентности [7] высвечивает главную интенцию эпохи: человек стремится играть роль демиурга, передавая машине тяжесть повторяемого труда и часть композиционных операций, тогда как техника обретает статус дисциплинированного со-исполнителя. Этот сдвиг не отменяет человеческой

эксклюзивности в постановке целей, но переводит спор об «искусстве/искусственном» в плоскость процедур — тех, что поддаются публичной артикуляции, институциональному согласованию и нормативному контролю в новых мирах искусства.

Дополнительно отметим, что критериальная база оценки оригинальности в условиях алгоритмического тиражирования смещается к реконструкции процесса и условий генерации; это требует устойчивых методик описания источников, версий и контекстов показа, которые могут быть имплементированы в образовательные и музейные стандарты, а также в договорные практики платформенного сектора.

Генеративный искусственный интеллект стремительно превратился в повседневный интерфейс между творчеством, автоматизацией и платформенными инфраструктурами. В этой зоне «между» возникает особый класс пограничных объектов — тексты, изображения, голоса, а порой и «авторы», которые одновременно распознаются как произведения искусства, инструменты производства контента и сервисы. Их двойственная валентность позволяет разным сообществам — художникам, инженерам, кураторам, юристам, регуляторам и пользователям — координироваться без единого определения, но именно потому сама демаркация границ «искусства» и «искусственного» становится ареной споров. Главный вывод прост: в условиях генеративного ИИ демаркация — это не обнаружение уже существующих границ, а их постоянное изготовление через инфраструктуры, стандарты и практики; и эти границы распределяют ресурсы, видимость и ответственность.

Литература

1. Star S. L., Griesemer J. R. Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects // Social Studies of Science. 1989. Vol. 19. No. 3. P. 387–420.
2. Kasavin I. T. The Social Philosophy of Science: Its Russian Sources [Электронный ресурс]. URL: https://www.hpsst.com/uploads/6/2/9/3/62931075/kasavin_op__published___1_.pdf (дата обращения 15.10.2025).
3. Bowker G., Star S. L. Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
4. Pasquale F. The Black Box Society. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 2015.
5. Сахарова А. В. Демаркация научных дисциплин: разделение или интеграция? // Эпистемология и философия науки. 2025. Т. 62. № 1. С. 39–48.
6. Benjamin W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction // Illuminations. Ed. H. Arendt. New York: Schocken Books, 1968. P. 217–252.
7. Latour B. Reassembling the Social. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Гибридные конструкты: на стыке науки и социокультурных практик

Шибаршина С.В.
Кандидат философских наук
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
старший научный сотрудник
E-mail: lanashibarshina@yandex.ru

Аннотация: Исследуется феномен гибридных конструктов – синтетических смысловых образований, возникающих на стыке науки и социокультурных практик в публичной сфере. На материале экологической коммуникации показывается, как трансформируется научное знание, выходя за пределы профессионального сообщества. В публичной среде оно «упаковывается», наделяется эмоционально-

смысловыми коннотациями, превращаясь из профессионального в общедоступное. Различные выразительные вербальные и визуальные средства служат активным механизмом создания новых идеологических, политических и социокультурных смыслов. В качестве примеров рассмотрены концепты «климатическое изменение» и «глобальное потепление», «углеродный след», «антропоцен». Аргументируется, что гибридные конструкты усиливают влияние науки на ценности и поведение общества, но одновременно усложняют диалог между наукой и общественностью, повышая риски дезинформации и манипуляций.

Ключевые слова: гибридный конструкт, коммуникация науки, экологическая дискуссия, символ, публичная сфера, климат

Hybrid Constructs at the Nexus of Science and Sociocultural Practices

Shibarshina S.V.
National Research Lobachevsky State University

Abstract: This paper explores the phenomenon of hybrid constructs defined as synthetic expressive formations that emerge at the nexus of science and sociocultural practices in the public space. Using environmental communication as an illustration, the author demonstrates how scientific knowledge is transformed as it extends beyond the professional community. In the public space, it is "packaged," imbued with emotional and semantic connotations, and thus moves from the professional to the lay people level. Various expressive verbal and visual means serve as an active tool for creating new ideological, political, and sociocultural meanings. Examples include the concepts of "climate change" and "global warming," "carbon footprint," and "Anthropocene."It is argued that hybrid constructs enhance the influence of science on public values and behavior, and simultaneously complicate the dialogue between science and the public, increasing the risks of disinformation and manipulation.

Keywords: hybrid construct, science communication, environmental debate, symbol, public sphere, climate.

Современные процессы коммуникации науки в публичной сфере характеризуются активным проникновением научных идей за пределы профессиональных сообществ. В результате научное знание претерпевает изменения, попадает в новые интерпретационные рамки и становится объектом широкого общественного обсуждения. Одной из ключевых форм существования научного знания вне научного сообщества выступает особый феномен – *гибридный конструкт*, представляющий собой синтетическое образование на стыке науки и социокультурных контекстов.

Публичная коммуникация науки – не простая трансляция знаний, а «социальные обсуждения вокруг науки» [1, p. 7], формирующие общественные убеждения, оценки, установки и отношение к чему-либо с помощью риторики, символических кодов и т.д. Исходя из концепции А. Шюца, мы предлагаем описывать это как коммуникацию между представителями множества «миров» – научного сообщества, масс-медиа, политики, бизнеса, общественного активизма, мира повседневности и т.д. При этом каждый мир имеет специфично-индивидуальную манеру существования, создает собственные модели окружающего мира и использует разные символические коды, включая единицы измерения, способы интерпретации событий и знания. Одновременно с этим один мир может обращаться к символическим кодам другого мира: к примеру, использовать понятия и прочие конструкты мира науки. В современности всё сложнее провести различия между научной системой убеждений и другими системами (например, медиа). В итоге, на пересечении научного и повседневного, научного и медийного, научного и политического дискурса формируются новые смысловые образования, которые мы предлагаем называть «гибридные конструкты».

Гибридный конструкт синтезирует элементы разных миров (научные факты, культурные смыслы, политические нарративы и пр.). Одна из его важнейших черт – гибкость, необходимая для адаптации научных знаний к требованиям и ожиданиям различных общественных групп. В отличие от строгих научных теорий, в гибридных конструктах усиливается элемент социальной практичности, доступности для восприятия («смыслы для всех»), эмоциональности.

Среди опорных теоретических оснований исследования: представления М. Букки и Б. Тренча о природе современной научной коммуникации, М. Хьюма, Х. фон Шторха и Н. Штера [2; 3] – о социокультурных коннотациях, связанных с климатом, а также трансформации научных понятий о климате в общественном дискурсе, Р. Кокса – о символическом конструировании отношения общества к экологическим явлениям [4]. Исходя из данных идей, нами показано, что научное знание в публичной сфере выступает не статичным ресурсом, а динамично изменяющимися конструкциями, постоянно переосмысляемыми в новых социокультурных и политических контекстах.

Научное знание проходит стадии отбора, «упаковки», наделения эмоционально-смысловыми коннотациями, превращаясь из профессионального в общедоступное и, соответственно, гибридное. Различные субъекты и группы встраивают научный компонент в более широкий общественный «нарратив», способствуя коллективному осмыслению. Язык, риторика, образы («глобальное потепление», «углеродный след», «зелёная энергетика», «антропоцен»), визуальный ряд становятся не просто инструментом трансляции знаний, а активным механизмом создания новых идеологических и культурных смыслов.

В качестве иллюстрации нами изучены процессы формирования гибридных конструктов из общественных обсуждений вопросов экологии и изменения климата (2013–2022): в СМИ (CNN, Guardian, NYT), публицистике, научной литературе. Выявлено следующее.

Терминологические различия (например, «климатическое изменение» против «глобального потепления») используются для управления общественными эмоциями и восприятием риска. В публичном пространстве наблюдается смешение данных понятий [5]. В частности, в пространстве политики и медиа «климатическое изменение» может использоваться для снижения эмоционального накала, поскольку звучит менее тревожно, менее угрожающе, в то время как активисты могут, напротив, специально употреблять понятие «глобальное потепление», чтобы сделать свои нарративы более тревожащими.

Пример «углеродного следа» иллюстрирует, как строгий научный индикатор трансформируется в инструмент морального давления и политического символизма, а «зелёная энергетика» становится маркером прогрессивности или, наоборот, используется в корпоративном «зелёном камуфляже» [6; 7]. «Углеродный след» часто трансформируется в маркетинговый и, по сути, экзистенциальный гибрид, смысл которого: «Ты сам виноват!».

Через фрейминг, риторику, метафоры, визуальные образы, эмоциональные нарративы различные участники публичной коммуникации создают специфические рамки для осмысления и обсуждения научных проблем [4, p. 58-63], порождая в том числе и противоречивые либо даже мифологизированные интерпретации (пример: медийные представления антропоцена как символа капиталистической катастрофы [8] или технологического прогресса) [9].

В результате зачастую не научное знание как таковое, а гибридные конструкты используются для легитимации политических решений. Они становятся связующим звеном между знаниями и общественной практикой, активируя способность знания к социальному действию – стимулируя принятие решений, формирование повестки, общественную мобилизацию. Эмоционально заряженные гибридные конструкты побуждают к действию/бездействию [4, p. 20] (пример: акции против пластиковых пакетов, кампании по переработке мусора и т. д.). При этом возможность создания «эффекта связи» через личностную идентичность между коммуникатором и аудиторией повышает эффективность донесения знания до публики [10].

Таким образом, гибридные конструкты играют ключевую роль в адаптации научного знания к общественным реалиям и запросам, но при этом усложняет диалог между наукой и обществом и ставит задачи по развитию медиаграмотности, критического мышления.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-00879, https://rscf.ru/project/25-28-00879/

Литература

1. Bucchi M., Trench B. Rethinking Science Communication as the Social Conversation around Science // Journal of Science Communication. 2021. Vol. 20. No. 3. [Электронный ресурс]. URL: https://jcom.sissa.it/article/pubid/JCOM_2003_2021_Y01. (дата обращения: 12.06.2025).
2. Hulme M. Why We Disagree About Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 436 p.
3. Stehr N., von Storch H. The Social Construct of Climate and Climate Change // Climate Research. 1995. Vol. 5. No. 2. P. 99–105.
4. Cox R. Environmental Communication and the Public Sphere. Los Angeles, London, and New Delhi: SAGE, 2013. 448 p.
5. Christensen J. Is It Climate Change or Global Warming? How Science and a Secret Memo Shaped the Answer // CNN Edition. Publ. 2 March 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://edition.cnn.com/2019/03/02/world/global-warming-climate-change-language-scn (дата обращения: 12.06.2025).
6. Solnit R. Big Oil Coined ‘Carbon Footprints’ to Blame Us for Their Greed. Keep Them on the Hook // The Guardian. Publ. 23 August 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/23/big-oil-coined-carbon-footprints-to-blame-us-for-their-greed-keep-them-on-the-hook (дата обращения: 18.06.2025)
7. Sengupta S. How Greenwashing Fools Us // The New York Times. Publ. 23 August 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nytimes.com/2022/08/23/climate/climate-greenwashing.html?ysclid=mgpi6zt2m297569141
8. Angus I. Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System. New York: NYU Press, 2016. 277 p.
9. Henry B. What Remains of the Human in the Anthropocene? Living between ‘Nature’ and ‘Culture’ in the Posthuman Condition // Itinerari. 2020. No. LIX. P. 157-172.
10. Yang Z. Similar Attitudes, Different Strategies: a Limited Survey of the Discourse Strategies to Oppose Genetically Modified Organisms Conspiracy Theories by Chinese Scientist Communicators and Citizen Communicators on Zhihu // Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 13. [Электронный ресурс]. URL: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.926098/full.

ПОГРАНИЧНАЯ РАБОТА ДЛЯ НАУКИ: МОДУСЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Эмоциональная аксиология и границы научного знания: как постправда меняет эпистемологические критерии

Артамонов Д.С.
доктор философских наук
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, заведующий кафедрой методики обучения истории и обществознанию
E-mail: artamonovds@mail.ru

Тихонова С.В.
доктор философских наук
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, профессор кафедры теоретической и социальной философии
E-mail: segedasv@yandex.ru

Аннотация: В эпоху постправды традиционные эпистемологические критерии науки подвергаются трансформации. Классические основания демаркации — верифицируемость, фальсифицируемость, объективность — постепенно вытесняются эмоциональной аксиологией, придающей чувствам статус эпистемологически значимых факторов. В условиях социально-эпистемических арен, где знание формируется во взаимодействии профессиональных ученых, масс интернет-пользователей и цифровых технологий, рациональные механизмы легитимации уступают место эмоциональной достоверности. Научное знание утрачивает автономность, превращаясь в результат аффективной селекции и медийной репрезентации. Нейросети и алгоритмы социальных медиа усиливают этот процесс, производя тексты и нарративы, правдоподобие которых определяется эмоциональным откликом аудитории, а не их соответствием фактам. В статье анализируется, как эмоциональная аксиология подрывает классические критерии научности и формирует новые границы знания, где истина уступает место аффективной легитимности.

Ключевые слова: эмоциональная аксиология, постправда, социально-эпистемические арены, демаркация науки, нейросети, эмоциональная достоверность.

Emotional Axiology and the Boundaries of Scientific Knowledge: How Post-Truth Changes Epistemological Criteria

Artamonov Denis Sergeevich
Saratov State University

Tikhonova Sophia Vladimirovna
Saratov State University

Abstract: In the post-truth era, traditional epistemological criteria of science are undergoing erosion. Classical foundations of demarcation—verifiability, falsifiability, objectivity—are gradually being displaced by emotional axiology, which attributes epistemic significance to feelings. Within socio-epistemic arenas, where knowledge is formed through the interaction of professional scientists, masses of Internet users, and digital technologies, rational mechanisms of legitimation give way to emotional

credibility. Scientific knowledge loses its autonomy, becoming the outcome of affective selection and media representation. Neural networks and social media algorithms reinforce this process by producing texts and narratives whose plausibility is determined by emotional resonance rather than factual accuracy. The article analyzes how emotional axiology undermines classical criteria of scientificity and shapes new boundaries of knowledge, where truth is replaced by affective legitimacy.

Keywords: emotional axiology, post-truth, socio-epistemic arenas, demarcation of science, neural networks, emotional credibility.

Современная философия науки сталкивается с вызовом, который можно определить как кризис демаркации. Традиционные эпистемологические критерии, такие как верифицируемость, фальсифицируемость, логическая согласованность, репродуцируемость экспериментов и независимость знания от субъективных факторов, оказываются под давлением новых социальных и технологических условий. В эпоху постправды на первый план выходит эмоциональная аксиология, придающая чувствам и аффективным реакциям статус эпистемологически значимых оснований. Это смещение проявляется в трансформации социально-эпистемических арен познания, где классическая рациональность постепенно вытесняется эмоциональными структурами восприятия, а критерии научности подвергаются эрозии.

Под социально-эпистемическими аренами понимаются коммуникационные пространства, в которых знание формируется в процессе распределенного взаимодействия трех групп акторов: профессиональных исследователей, масс интернет-пользователей и цифровых технологий. В условиях цифровой медиации научное знание утрачивает статус автономного продукта деятельности исключительно профессионального сообщества и оказывается результатом сложной конфигурации коммуникаций, в которых важнейшую роль начинают играть эмоциональные факторы. Если раньше эмоции рассматривались как побочные эффекты познания, мешающие объективности, то в современном контексте они приобретают статус механизмов легитимации знания.

Научные модели глобального потепления основаны на строгих данных и методах, однако их восприятие обществом определяется эмоциональными реакциями. Страх перед катастрофами, транслируемый через образы горящих лесов или тающих ледников, усиливает доверие к научным предупреждениям. Одновременно возмущение и скепсис формируют альтернативные нарративы («ученые преувеличивают угрозу»), которые игнорируют рациональные доказательства. Таким образом, аффективные реакции становятся решающим фактором признания или отрицания научного знания [1, с. 62].

Данные о безопасности вакцин подтверждались клиническими испытаниями и международными публикациями, однако их восприятие оказалось глубоко эмоционально окрашенным. Страх побочных эффектов и недоверие к медицинским институтам подпитывали отказ от вакцинации, даже при минимальных рисках. В то же время гордость за участие в кампании и чувство солидарности укрепляли доверие к науке. В результате эпистемологический статус одних и тех же данных оказывался противоположным в зависимости от эмоций, доминировавших в сообществе.

Включение ChatGPT в список авторов научной статьи вызвал широкий резонанс. Часть академического сообщества с возмущением восприняла это как подрыв научной этики и угрозу человеческому авторству. Другая часть — с энтузиазмом приветствовала возможности ИИ как средства ускорения научных исследований. В обоих случаях эмоции — тревога, восхищение, возмущение — определили отношение к феномену сильнее, чем рациональный анализ качества полученного текста или корректности данных.

Эмоциональная аксиология фиксирует фундаментальный сдвиг в том, каким образом общество определяет ценность знания. Классические модели эпистемологии опирались на рациональные основания: соответствие фактам, строгие методологические процедуры, независимость выводов от субъективных установок. Сегодня же знание получает признание в первую очередь благодаря способности вызывать эмоциональный отклик. Подобное

смещение особенно заметно в гуманитарной сфере, где изучение памяти, идентичности, культурных практик всё больше происходит через призму аффективных переживаний. Однако и естественные науки оказываются втянутыми в эту логику: дискуссии об изменении климата, пандемиях или технологиях искусственного интеллекта носят ярко выраженный эмоциональный характер, а доверие к научным выводам определяется не столько строгой процедурой доказательства, сколько соответствием ожиданиям и чувствам различных сообществ [2, p. 80].

Постправда усиливает этот процесс, разрушая границу между истиной и заблуждениями. В классической модели эпистемологии истина определялась как соответствие высказывания фактам, а ложь — как отклонение от этого соответствия. В условиях постправды подобное различение теряет свою силу: информация оценивается не по критерию фактической корректности, а по тому, насколько она эмоционально резонирует с убеждениями и идентичностью аудитории [3, p. 448]. Таким образом, на социально-эпистемических аренах знание становится результатом не рациональной верификации, а аффективной селекции. Сообщение, вызывающее сильные эмоции, получает большее распространение и признается более значимым, чем сообщение, основанное на строгом анализе, но не вызывающее эмоционального отклика [4; 5, p. 137].

Важным следствием становится подрыв критериев демаркации науки. Фальсифицируемость, предложенная Карлом Поппером как центральный принцип отделения научного знания от ненаучного, в эпоху постправды утрачивает свою силу. Даже опровергнутые факты продолжают циркулировать в публичной сфере благодаря феномену «эхо убеждений», когда эмоционально закрепленные мнения сохраняются независимо от рациональной критики. В этой ситуации опровержение ложного утверждения не ведет к его устранению, а, напротив, укрепляет его позиции внутри определенной аффективной общности [6, p. 466]. Таким образом, эмоциональная аксиология задает новые механизмы устойчивости знания, которые противоположны классическим принципам научного дискурса.

Новые цифровые технологии усиливают эти тенденции. Алгоритмы социальных сетей, оптимизированные под максимизацию вовлечённости пользователей, систематически продвигают эмоционально окрашенный контент. Нейросети, такие как GPT-модели, не только воспроизводят уже существующие дискурсивные формы, но и создают тексты, обладающие высокой степенью правдоподобности, хотя и не всегда соответствующие критериям истины. На социально-эпистемических аренах это ведет к формированию ситуации, когда границы науки размываются: тексты, созданные искусственным интеллектом, становятся частью научного оборота, порождая дискуссии о возможности их признания в качестве научных работ или соавторов исследований.

Таким образом, эмоциональная аксиология меняет не только восприятие знания, но и сами эпистемологические основания его легитимации. Если в классической науке ключевым критерием была рациональная аргументация, то сегодня им все чаще становится эмоциональная достоверность. Этот термин можно определить как признание истинности на основе переживания и вовлечённости, а не на основе строгой методологической проверки. Подобная замена имеет далеко идущие последствия для философии науки, поскольку подрывает возможность проведения четкой демаркации между наукой и лженаукой.

Вместо классической демаркации возникает поле борьбы нарративов, где решающим фактором оказывается не истина, а способность мобилизовать эмоциональные ресурсы. В этом смысле научное знание становится частью широкой экологии смыслов, где оно конкурирует с идеологиями, мифами, медийными симулякрами. Социально-эпистемические арены фиксируют этот процесс, превращаясь в пространства, где производство знания подчинено логике риторической арены: голоса множества участников — ученых, пользователей, алгоритмов — создают многоголосый хор, в котором научные факты теряют своё привилегированное положение.

Философское осмысление этой ситуации требует признания того, что границы науки больше не определяются универсальными рациональными принципами. Они формируются

внутри конкретных сообществ и зависят от эмоциональной динамики, поддерживаемой цифровыми медиа. Это означает, что эпистемологические критерии становятся относительными и контекстуальными. Знание признается научным не потому, что оно удовлетворяет универсальным требованиям истины, а потому что оно встроено в эмоционально и социально значимую практику [7, p. 89].

Таким образом, эмоциональная аксиология в эпоху постправды подрывает классические критерии демаркации науки и открывает путь к новой эпистемологической парадигме. В этой парадигме истина перестает быть единственным мерилом знания, уступая место аффективной достоверности. Социально-эпистемические арены становятся пространством, где рациональное и эмоциональное не просто сосуществуют, но где последнее постепенно вытесняет первое. Это радикально изменяет характер научного знания и ставит перед философией науки задачу пересмотра самих оснований эпистемологии. Вопрос о границах науки в такой ситуации уже нельзя рассматривать в отрыве от эмоций, а значит, будущее эпистемологии связано с поиском способов интеграции эмоционального измерения в структуру научного дискурса, не утратив при этом критического потенциала науки.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-01261, https://rscf.ru/project/25-28-01261/

Литература

1. Шиповалова Л. В. Как возможна пост-нормальная наука? // Эпистемология и философия науки. 2022. Т. 59, № 3. С. 61-73. DOI 10.5840/eps202259341.
2. Boler M., & Davis, E. L. The affective politics of the “post-truth” era: Feeling rules and networked subjectivity // Emotion, Space and Society. 2018. № 27. С. 75–85. https://doi.org/10.1016/J.EMOSPA.2018.03.002
3. Durnová A. Unpacking emotional contexts of post-truth // Critical Policy Studies. 2019. № 13(4) С. 447–450. https://doi.org/10.1080/19460171.2019.1670222
4. Kalpokas I. Affective Encounters of the Algorithmic Kind: Post-Truth and Posthuman Pleasure // Social Media + Society. 2019. Vol. 5. № 2. https://doi.org/10.1177/2056305119845678
5. Lapsley D., Chaloner D. Post-Truth and Science Identity: A Virtue-Based Approach to Science Education // Educational Psychologist. 2020. Vol. 55. № 3. P. 132–143.
6. Thorson E. Belief Echoes: The Persistent Effects of Corrected Misinformation // Political Communication. 2016. Vol. 33. P. 460–480.
7. Zembylas M. The Affective Grounding of Post-Truth: Pedagogical Risks and Transformative Possibilities in Countering Post-Truth Claims // Pedagogy, Culture & Society. 2020. Vol. 28. № 1. P. 77–92.

Гуманитарные и социальные науки. К вопросу о границах

Антипов Г. А.
доктор философских наук
Новосибирский государственный университет экономики и управления, профессор
E-mail: dr-eji2@yandex.ru

Аннотация: В специальной и учебной литературе гуманитарные и социальные науки чаще всего фигурируют под общим брендом «социально-гуманитарных наук». Между тем как более чем столетняя традиция философии и методологии науки склонна скорее видеть принципиальную границу между данными формами научного знания. В свою очередь, здесь можно найти две граничащих между собой позиции. Одна из них апеллирует к ценностям, как фундаментальном основании гуманитарных наук, другая видит данное основание в категории «понимания». Если в первом случае налицо ориентация на аксиологический дискурс, то во втором — на герменевтический. Центральной обсуждаемой проблемой становится проблема «герменевтического круга», то есть адекватности результатов, получаемых с помощью процедуры понимания. Общий недостаток, обнаруживающийся во всех подобных рассуждениях, недостаток не позволяющий получить вполне адекватное толкование оснований гуманитарных наук — отсутствие сопоставления их опыта социальным наукам. Подобное сопоставление, если его предпринимать, должно, как представляется ориентироваться на идею дополнительности.

Ключевые слова: гуманитарные науки, социальные науки, ценности, понимание, смыслы.

Humanities and Social Sciences: On the Question of Boundaries

Antipov G.A.
Novosibirsk State University of Economics and Management

Abstract: In specialized and educational literature, the humanities and social sciences most often appear under the general brand of "social sciences and humanities". However, the more than century-old tradition of philosophy and scientific methodology tends to see a fundamental boundary between these forms of scientific knowledge. In turn, two adjoining positions can be found here. One appeals to values as the fundamental foundation of the humanities, while the other sees this foundation in the category of "understanding". While the first case emphasizes axiological discourse, the second emphasizes hermeneutic discourse. The central issue under discussion is the problem of the "hermeneutic circle", that is, the adequacy of the results obtained through the process of understanding. A common flaw found in all such discussions, a flaw that prevents a fully adequate interpretation of the foundations of the humanities, is the lack of comparison of their experience with the social sciences. Such a comparison, if undertaken, would seem to be guided by the idea of complementarity.

Keywords: humanities, social sciences, values, understanding, meanings

О гносеологическом статусе гуманитарных наук единого мнения не существует. Как, впрочем, и о теоретико-познавательных основаниях социальных наук. Зачастую предметы гуманитарных и социальных наук отождествляются или пересекаются и фигурируют единым комплексом «социально-гуманитарных наук», изучающих человеческое общество, культуру и историю. В этом качестве данная совокупность наук противопоставляется, так или иначе, естествознанию. Сюда обычно попадают философия, религиоведение, культурология, психология, социология, искусствознание, вообще все научные предметы, ориентированные на человека и человеческий мир.

Радикальные изменения в восприятии отношения гуманитарных и социальных наук произойдут там и поскольку философская рефлексия обратится к их эпистемологическим основаниям. Здесь и получится выход к «пограничной полосе». Сошлёмся на мнение М. М. Бахтина. «Гуманитарные науки, - подчёркивал он, - науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении» [1, с. 128]. В литературе можно обнаружить

и другие, но, впрочем, близкие рассуждения на этот счёт. К примеру такое: «Психолог или лингвист, изучающий поведение другого человека, имеет дело с объектом, равным ему по совершенству или, быть может, превосходящим его. В силу этого отношение «Исследователь — Объект» превращается в симметричное отношение между двумя исследователями» [2, с. 331]. Правда, в последнем случае, использование категории «объект» можно расценить как определённую гносеологическую «неряшливость», ибо ясно, что имеется в виду отношение между субъектами, и коммуникацией между ними.

Объективная реальность, как она мыслится в естественнонаучном дискурсе, представляется категорией «материя» - первоосновой всех вещей и процессов в мире (природе).

В гуманитарных науках реальность представляется миром смыслов, феноменов принципиально невещественной природы. И, подобно тому, как материя мыслится состоящей из атомов, культуру можно рассматривать состоящей из смыслов. Смысл — это присущий данной культуре способ восприятия какой бы то ни было реальности. Смысловая реальность становится адресатом эмансипирующейся мысли у древних греков. Причём, не как собственно познание, а как *techne – искусство, умение.* Это живопись, скульптура и, наконец, историческая память.

Важно при этом учитывать, что здесь мы сталкиваемся с достаточно развитой формой традиции в понимании историографии, начало которой положил Геродот, не случайно, в последствии, получивший почтительное именование Pater historia. Титул, присвоенный ему Цицероном. Его «История» начинается словами: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом» [3. с. 11]. Отчётливую рефлексивную характеристику *истории/памяти* находим у Аристотеля. Так в «Поэтике» говорится: «Историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозою <…> Поэтому поэзия философичнее и серьёзнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном» [4. с. 655]. Собственно научная познавательная установка обретается традицией *истории/памяти* в Х1Х в. Согласно классику немецкой историографии - Леопольду фон Ранке, она должна выглядеть так: показать, как было на самом деле. Он писал «История возложила на себя задачу судить о прошлом, давать уроки настоящему на благо грядущих веков. На эти высокие цели данная работа не претендует. Её задача лишь показать, как всё происходило на самом деле (*wie es eigentlich gewesen)* [5. s. Y11]. Это область особой дисциплины, именуемой источниковедением. Исторические источники — это «следы прошлого», его остатки, эмпирически данные феномены, «памятники прошлого»: рукописи, печатные книги, здания, предметы обихода, элементы древней речи, сохранившиеся в языке и т.п, анализ которых позволяет историку судить «как было на самом деле».

Между традицией *история/память* («первоначальная история» - по Гегелю) и «науками о природе» согласно философии истории Х1Х в. «пролегает» граница, получавшая двоякое толкование. Одно из них принадлежит неокантианцам и восходит к В. Виндельбанду и Г. Риккерту. В особую гносеологическую категорию «первоначальную историю» выделяет способ образования понятий. Он заключается в индивидуализации, индивидуализирующей репрезентации действительности в понятиях. В противоположность этому, естествознание идёт путём генерализации: действительность рассматривается с точки зрения общего, повторяющегося, свойственного множествам объектов. Элементы репрезентируемой действительности выступают как экземпляры общего родового понятия, «которые всегда могут быть заменены другими экземплярами того же понятия» [6. с. 19]. Что касается «первоначальной истории», то её базовый метод не «обобщение», а «отнесение к ценностям», то есть выбор особенно значимых для данной культуры событий и явлений. Очевидно, речь не может идти о собственно исследовательской процедуре, а о том, что греки называли *techne*, а для нас — это картина функционирования исторической памяти, её творчества. Продуктом его становится нарратив — вербальная реконструкция событий прошлого, обеспечивающая,

в той или иной мере, эффект «присутствия». Чтение нарратива, подчас, рассматривается как аналогия непосредственного зрительного восприятия прошлых событий.

Иную аргументацию, но тоже ориентированную на обоснование существования указанной границы находим у В. Дильтея. Суть его подхода находит выражение в словах: «Природу мы объясняем, душевную жизнь — понимаем» [7. s. 144]. Таким образом, «понимание», а не, скажем, познание, выглядит специфической особенностью работы историка. Вырастаемую из данного подхода традицию обычно воспринимают как «герменевтическую». Нужно сказать, что в современной методологии науки существует тенденция сближать, а подчас даже фактически отождествлять эту традицию с той, в которой историография трактуется как «отнесение к ценностям» — будем именовать её «аксиологической». С этим можно спорить. Ценности — суть конечные основания выбора, в деятельности человека и его поведении, тогда как понимание обращено к смыслам и их восприятию.

Первым толкователем герменевтики как учения (науки) с центральной проблемой «понимания» был Ф. Шлейермахер (1768-1834). По теоретико-познавательной форме предпринимавшийся Шлейермахером анализ имеет отчётливую методическую окраску: как техника, метод понимания и истолкования текста на том или ином языке. В дальнейшем стали формулироваться принципы, «каноны», которые следует соблюдать интерпретатору, чтобы добиться адекватного понимания некоторого текста. Шлейермахер считал, что цель и идеал исследования, ориентированного на достижение адекватного понимания текста, — достижение полного тождества (конгениальности) с автором текста, так сказать, повторения творческого акта создателя текста. Задача заключается в том, чтобы по правилам войти в «герменевтический круг». Дело в том, что прежде, чем исследовать некоторый текст, мы всегда определённым образом его понимаем. Затем исследуем уже некоторым образом понятый текст. То, что, казалось бы, нужно получить в конце, мы имеем вначале. Или, по-другому, чтобы истолковать отдельные компоненты, мы должны понимать его в целом. Дальнейшая эволюция намеченного подхода приводит к иной постановке вопроса: не как войти в герменевтический круг, а как из него выйти. Можно сказать, и здесь приходят к формуле Ранке: «показать, как на самом деле было».

Другая линия — это уже собственно проблемы познания. Герменевтика интерпретируется либо как философия и методология гуманитарного исследования, либо как теория познания вообще, в пределе — как глобальная философская система. Общий вывод здесь сводится к тому, что «герменевтичность» свойственна самому бытию, есть его фундаментальная характеристика. Адекватное толкование всех этих суждений можно получить лишь учитывая, что под реальностью здесь понимается реальность смыслов. Смыслы не суть вещи, они определяют отношение к вещам. А понимание, как говорят специалисты в области герменевтики — это «схватывание смысла» [8. s. 60].

Существует довольно распространённое мнение, согласно которому гуманитарные и социальные науки образуют единый комплекс под брендом «социально-гуманитарные науки». На самом деле, как представляется, данные формы научного знания разделяются достаточно «жёсткой» границей. Если гуманитарные науки ориентированы в познавательном отношении на смыслы, то ориентиром социальных наук являются социальные институты.

Как в своё время говорил Дюркгейм: «Нам нужно... рассматривать социальные явления сами по себе, отделяя их от сознающих и представляющих их себе субъектов. Их нужно изучать извне как внешние вещи, ибо именно в таком качестве они предстают перед нами. Если этот внешний характер лишь кажущийся, то иллюзия рассеивается по мере того, как наука будет продвигаться вперёд, и мы увидим, как внешнее, так сказать, войдёт внутрь <…> социальные факты <…> не только не являются продуктами нашей воли, но сами определяют её извне. Они представляют как бы формы, в которые мы вынуждены отливать наши действия» [9. с. 344, 432, 433]. Не трудно увидеть здесь репрезентацию общенаучного гносеологического идеала применительно к социальному познанию, поднимающего его на статус объективной науки. Это получает выражение в категории «социального института» —

системы взаимосвязанных норм, опирающихся на коллективно разделяемые ценности. Налицо коллизия, вызываемая существованием «жёсткой» границы между гуманитарными и социальными науками. Её преодолению может помочь обращение к «принципу дополнительности» Нильса Бора, сформулированного им первоначально в контексте методологии и эвристики квантовой механики и, в последствии, распространённого на социальные науки [10].

Литература

1. Бахтин М. М. Проблема текста // Вопросы Литературы. 1976. №10.
2. Фрумкина Р. М. Соотношение точных методов и гуманитарного подхода: Лингвистика, психология, психолингвистика // Изв. АН СССР. Серия лит. И яз. 1978. Т 37. №4.
3. Геродот. История в девяти книгах. Л.: Наука, 1972. 600 с.
4. Аристотель. Поэтика // Соч. В 4^{-x} т. М., 1984. Т.4. 655 с.
5. Ranke L. von. Geschichte der romanischen und germanishen Volker von 1494 bis 1514: Samtliche Werke. Gesamtausgabe. Leipzig, 1889. Bd 33.
6. Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Спб.: Наука, 1903 615 с.
7. Dilthey W. Gesammelte Schriften. Leipzig, 1924/ Bd V.
8. Coreth E. Grundfragen der Hermeneutik: Ein philoso phischer Beitrag. Freiburg e. a., 1969.
9. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. - М.: Наука, 1990. 575 с.
10. Антипов Г. А. Гуманитарные и социальные науки: теоретико-познавательные основания // Идеи и идеалы 2024. Том 16. №2, часть 1.

Нагелевский скептицизм или о симптомах кризиса научного мировоззрения

Баранец Наталья Григорьевна
доктор философских наук
Ульяновский государственный университет,
профессор кафедры философии
E-mail: n_baranetz@mail.ru

Верёвкин Андрей Борисович
кандидат физико-математических наук
Ульяновский государственный университет, доцент кафедры прикладной математики
E-mail: a_verevkin@mail.ru

Аннотация: Книга Т. Нагеля «Ум и космос. Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ложна» (2012) породила активную дискуссию и актуализировала ряд важных для эпистемологии тем: что составляет основу современного научного мировоззрения? На каких положениях основывается современное научное мировоззрение? Является ли эволюционная теория его неотъемлемой частью? Нужно ли работающему учёному научное мировоззрение или он может обойтись без него, не заботясь о защите поля научных исследований? Действительно ли выступление против материалистического редукционизма потенциально опасно для научного мировоззрения? Перспективен ли естественный телеологизм Нагеля? В тезисах описаны доводы Нагеля против материалистического редукционизма и эволюционной концепции. Выявлены некоторые мотивирующие соображения его критиков, выступивших против реанимации телеологии. Дано

определение концепта «научное мировоззрение» и того, что его составляет на современном этапе развития.

Ключевые слова: нагелевский скептицизм, научное мировоззрение, материалистический редукционизм, неодарвинизм, телеология.

Nagel's skepticism or symptoms of a crisis in the scientific worldview

Baranetz N. G.
Verevkin A. B.
Ulyanovsk State University

Abstract: The book by T. Nagel "Mind and Cosmos. Why the Materialistic Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False" (2012) generated an active discussion and actualized a number of important topics for epistemology: what is the basis of the modern scientific worldview? What provisions is the modern scientific worldview based on? Is evolutionary theory an integral part of it? Does a working scientist need a scientific worldview or can he do without it, without worrying about protecting the field of scientific research? Is it true that speaking out against materialistic reductionism is potentially dangerous for the scientific worldview? Is Nagel's natural teleologism promising? The theses describe Nagel's arguments against materialistic reductionism and the evolutionary concept. Some motivating considerations of his critics who spoke out against the resuscitation of teleology are revealed. A definition of the concept of a scientific worldview and what constitutes it at the present stage of development is given.

Key words: Nagelian skepticism, scientific worldview, materialistic reductionism, neo-Darwinism, teleology.

В 2012 году Томас Нагель опубликовал монографию «Ум и космос. Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ложна», вызвавшую, преимущественно, негативную реакцию со стороны философов аналитического направления. Так, Даниел Деннет и Майкл Рьюз выразили разочарование поверхностностью аргументации Нагеля. Естественно, что в стороне не остались учёные-естественники, скептически высмеявшие рассуждения Нагеля об эволюционном учении и заметившие, что «материализм и натурализм не нуждаются в априорном обосновании, но оправдываются своими плодами…. Неужели мы действительно должны отказаться от чрезвычайно успешной программы научных исследований только потому, что Нагель считает некоторые научные утверждения трудными для понимания? Чтобы соответствовать тому, что он думает» [1]. Автора обвиняли в склонности к мистицизму, призывали запретить его книгу, писали о «дилетантизме» и «дешёвых разглагольствованиях некогда великого мыслителя», намекали, что набожный фонд Темплтона приобрёл нового внештатного сотрудника. Негативных отзывов было много, и Марк Вернон даже назвал её самой «презираемой научной книгой года», которую «надо обязательно прочесть».

В 2024 году, благодаря переводу В.В. Целищева, книга вышла на русском языке в серии «Библиотека Аналитической философии». В сопроводительной статье Целищев объяснил резкую реакцию на вызов Нагеля материалистическому редукционизму его реставрацией телеологии, искорененной в науке с эпохи Просвещения, в возращении её в современный дискурс и попыткой указать изъяны в современной научной трактовке соотношения ума и тела [2]. В российском интеллектуальном поле реакция на эту работу Нагеля была слабой, за исключением нескольких небольших дискуссий в соцсетях в полупрофессиональных сообществах, и нескольких статьях-разборах идей Нагеля, наряду с концепциями Макгинна, Чалмерса [3]. Между тем, аргументация Нагеля против материалистического и эволюционистского редукционизма заслуживает изучения, так же, как и мотивация его критиков. Действительно ли выступление против материалистического редукционизма

потенциально опасно для научного мировоззрения? Имеет ли перспективу естественный телеологизм Нагеля? Что лежит в основе современного научного мировоззрения?

Надо отметить, что не все учёные имеют осознанное научное мировоззрение. В силу личной истории можно профессионально заниматься наукой, но при этом быть носителем религиозного сознания. При этом чисто научную деятельность можно подчинять научным доктринам и исследовательским программам. Сциентизм и научный атеизм – это, скорее, оградительные убеждения, защищающие границы научного поиска. Они не определяют напрямую результаты научного эксперимента, лабораторного исследования, которые выполняются по конвенционально одобренным процедурам и используют методы, адекватные задачам исследования. Поэтому у большинства рядовых работников науки нет выраженного стремления демонстрировать свои сциентистские убеждения, они не видят в этом ценности сейчас, так как их профессиональная жизнь защищена сложившейся в течении XX века традицией невмешательства в неё иных, внешних концепций и сил (клерикального и административного факторов). В европейской и англо-американской традиции споры между научными атеистами, теологами и учёными, работающими на гранты организаций вроде фонда Templton, не утихают и периодически разгораются. Книга Нагеля дала повод для очередного витка споров на тему достаточности/недостаточности научных методов для изучения природы, границ научного знания, идейных убеждений учёных.

Современная эволюционная теория или как её обозначает Т. Нагель – «эволюционный редукционизм», – это не просто научная теория или научно-исследовательская программа, но научная доктрина. Научная/дисциплинарная доктрина – это концепции дисциплинарного сообщества, задающие представление учёных о предмете, направлении и способах научного поиска, определяющие оценку научных идей. Доктрины включают в себя не только научные гипотезы, теории и методологические принципы, но также философско-методологические и ценностные компоненты. Нагель критикует не Синтетическую теорию эволюции с её базовыми методами, а именно философские заключения, из неё следующие. Его главная претензия к материалистическому (сводящему всю сложность мира к физико-химической эволюции) редукционизму и спекулятивному неодарвинизму, принимающим фактор случайности и спонтанности в объяснительной системе, в том, что они не могут дать убедительного, достаточно аргументированного обоснования появлению сложных форм жизни и сознания, морали. Он полагает, что нам надо признать: естественный порядок в мире не случаен; ум (сознание) – основной аспект природы, а не нечто второстепенное, случайно появившееся; у науки нет достаточного инструмента для понимания мира. Нагель декларирует: «Рациональная интеллигибельность лежит в основе естественного порядка, делает меня в широком смысле идеалистом – не субъективным идеалистом, … но объективным идеалистом в традиции Платона… Я подозреваю, что в каждом учёном-теоретике должна быть доля такого идеализма: чистого эмпиризма недостаточно» [4, с. 25]. Естественно, что такого рода аллюзия на платоново-аристотелевский телеологию, с идеей естественного порядка и Разумности, заставляет всех – и научных атеистов, и теологов увидеть за этим идею Высшего Разума, даже если Нагель оговаривается, что он атеист и сам для себя такой идеи не видит. Как философ-аналитик он стремится показать слабость аргументации, объяснительных схем, конвенциональность некоторых базовых допущений эволюционного учения, того, что в терминологии Т. Куна называется «метафизическими основаниями парадигмы». Именно это вызывает раздражение критиков Нагеля, ведь есть принципы, которые «надо» принять, чтобы эффективно двигаться дальше, используя уже проверенные и работающие идеи и методы, авторы которых руководствовались этими принципами в своих доктринальных убеждениях. Кроме того, сам факт критики этих принципов открывает возможность допуска на поле научных дискуссий теологов, метафизирующих ученых, панпсихистов и неопифагорейцев, которые приводят цитаты из этой работы авторитетного мыслителя и учёного – Томаса Нагеля, как свой несомненный аргумент.

Выражая собственное впечатление, скажем, что нагелевский скептицизм в отношение идеи «случайности» как одного из постулатов в СТЭ, конечно, мотивирован – «хорошая» объяснительная схема должна детерминистически описывать феномены, но допущение «случайности» не подрывает качественно аргументированные положения СТЭ, это скорее маркер, показывающий границы наших познавательных возможностей на данном этапе развития науки. Нагель, несомненно, имел основания критиковать материалистический и теоретический редукционизм (в том варианте, как он это себе понимает – как сведение биологических, химических процессов к физическим, и наук их исследующих – к физике) и эволюционную концепцию, которая представляет сознание продуктом эволюции мозга. При этом взамен предлагаемая им идея естественного порядка весьма слабо обоснована, и, вероятно, нежизнеспособна. Отчасти соглашаемся с оценкой Даннета, – эта книга «ничего не стоит – она милая и она умная, и она ничего не даёт». Хотя, она всё-таки даёт нам возможность задуматься – на чём основывается современное научное мировоззрение и каково качество его обоснования? Является ли эволюционная теория его неотъемлемой частью? И о том – нужно ли работающему учёному научное мировоззрение или он может обходиться без него, не заботясь о защите поля научных исследований?

Есть огромная армия работников от науки, не имеющих чётких представлений об истории своей науки и причинах доминирования тех или иных дисциплинарных парадигм, что не мешает им заниматься своими маленькими научными темами и делать научную карьеру. Сформированное научное мировоззрение – это особый уровень в представлениях учёных, который проявляется в объединяющем методе познания реальности, в приёмах, и способах оценки познавательной деятельности, в общности системы ценностей и регулятивов профессионального поведения, принятых в определённый исторический период в группе научных дисциплин (естественнонаучных или гуманитарных). Признаками современного научного мировоззрения являются: научный реализм (признание реальности исследуемого объекта); установка на непредвзятость в анализе исследуемого объекта; интуитивно принимаемая корреспондентская концепция истины; сциентизм. Материализм и эволюционизм – непременные принципы в естественнонаучном мировоззрении, которое, как показывает практика, может успешно игнорироваться математиками или гуманитариями. Выступление против материализма и эволюционизма философов само по себе, даже если эта критика звучит из уст именитого и уважаемого гуманитария, может мало влиять на устойчивость естественнонаучного мировоззрения. Признаками его кризиса скорее являются индифферентность и интеллектуальная апатия большой части профессионалов.

Литература

1. Coyne Jerry A. Philosopher Thomas Nagel goes the way of Alvin Plantinga, disses evolution // Why evolution is true / https://whyevolutionistrue.com/2012/10/13/philosopher-thomas-nagel-goes-the-way-of-alvin-plantinga-disses-evolution/ (дата обращения 19.08.2025)
2. Целищев В.В. Вызов Нагеля материалистическому редукционизму // Нагель Т. Ум и космос. Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ложна. М.: Канон-Плюс, 2024. С.168-190.
3. Гарнцева Н.М. Современные нередуктивные подходы к психофизической проблеме (Макгинн, Нагель, Чалмерс) // Философские науки. 2012. № 11. С.129-139.
4. Нагель Т. Ум и космос. Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ложна. М.: Канон-Плюс, 2024. 192 с.

Основания единства объективного научного знания

Болдин П.Н.
Русское общество истории и философии науки, исследователь
E-mail: bolpav@yandex.ru

Аннотация: Дифференциация объективного научного знания привела к проблеме его единства и оснований этого единства. В статье предлагается подход, позволяющий решить проблему единства через анализ соотношения основных теоретических типов наук, составляющих научное знание. Полученный результат в виде иерархической структуры научного знания демонстрирует единство научного знания, но не даёт оснований этого единства. Проблему оснований единства научного знания предлагается решить с опорой на семиотические представления, являющиеся исторической основой при возникновении теоретических подходов самих наук. Речь в первую очередь идёт о представлениях о Природе как тексте, которые играли смыслообразующую роль при формировании теоретического аппарата научного знания на начальных этапах. Применение семиотического подхода позволяет объяснить причины дифференциации знания на теоретические типы, что и даёт искомые основания

Ключевые слова: научное знание, структура научного знания, текст, семиотика, семиотические отношения, Книга Природы

The Foundations of Unity of Objective Scientific Knowledge

Boldin P.N.
Russian Society for the History and Philosophy of Science

Abstract: The differentiation of objective scientific knowledge has led to the problem of its unity and the foundations of this unity. The article proposes an approach that allows solving the problem of unity through the analysis of the relationship between the main theoretical types of sciences that make up scientific knowledge. The result obtained in the form of a hierarchical structure of scientific knowledge demonstrates the unity of scientific knowledge, but does not provide the foundations of this unity. The problem of the foundations of the unity of scientific knowledge is proposed to be solved based on semiotic representations, which are the historical basis for the emergence of theoretical approaches of the sciences themselves. We are primarily talking about ideas about Nature as a text, which played a meaning-forming role in the formation of the theoretical apparatus of scientific knowledge at the initial stages. The application of the semiotic approach makes it possible to explain the reasons for the differentiation of knowledge into theoretical types, which provides the desired foundations.

Keywords: scientific knowledge, structure of scientific knowledge, text, semiotics, semiotic relations, Book of Nature

Развитие объективного научного знания (далее — научное знание) сопровождалось дифференциацией на науки, которая привела к проблеме его единства. Поэтому актуальной становится задача поиска оснований единства научного знания в многообразии его проявлений. Мы оттолкнёмся от объективного характера предмета научного знания. Это предполагает, несмотря на специфику предметов различных объективных наук (далее — наук), что в конечном итоге эти частные предметы являются лишь сторонами единого предмета — объективной реальности или Природы. Рассмотрим отношения между различными науками, учитывая их специфику и стараясь при этом понять, что их объединяет.

К объективных наукам бесспорно принадлежат естественные науки. Понятие естественных наук включает в себя науки с двумя различными типами теорий (с различным теоретическим типом). Теории первого типа — это теории таких дисциплин как химия, биология, нейронауки и т. п. Эти дисциплины тесно взаимосвязаны друг с другом, а их теории построены по единому принципу и предполагают выявление предельных элементов, взаимодействие между которыми определяет организацию изучаемого природного объекта. Так в области неживой материи такой организацией является атомарная модель строения вещества, в рамках которой вычленяются предельные элементы — элементарные частицы и взаимодействия между ними. Другим примером является материальная организация живого, предельными элементами в рамках которой являются уже химические образования — нуклеотиды, аминокислоты и отношения между ними. Эту, всё более интегрирующуюся, область научного знания или науку можно назвать естествознанием. Специфическим предметом естествознания является материальная организация. Для построения теоретических моделей материальной организации во всех дисциплинах естествознания необходимо привлечение физических теорий. Сами теории естествознания не сводятся к теориям физики, то есть физический редукционизм исключён. Физические же теории имеют отличный от теорий естествознания тип, а физика является естественной наукой с вторым теоретическим типом. Основным предметом физики является изучение движения и действия, которые описываются физическими величинами и их отношениями. При этом для построения физических теорий необходимы уже математические теории, поскольку физические величины и их отношения выражаются на основе математического аппарата.

Таким образом, математика, не являясь естественной наукой, является объективной наукой, поскольку необходима для познания природной реальности, но с иным типом теорий. Предметом математики является определённая сторона объективной реальности в виде пространственных и количественных характеристик, выражаемых посредством теоретических объектов — субъектов (числа, геометрические объекты) и предикатов (свойства и отношения субъектов). При этом для построения математических теорий необходим уже аппарат логических теорий.

Мы пришли к последнему теоретическому типу — типу теорий логики, необходимых для формирования научного знания об объективной реальности. Основные теоретические объекты теорий логики — логические значения и логические операции, а предметом логики в объективной реальности является существование (как пример, логическое представление такого явления как протекание электрического тока в релейно-контактных схемах). Характерно, что для построения логики теорий иных теоретических типов не требуется.

Мы получили упорядоченную иерархическую структуру научного знания, построенную по принципу необходимости научных теорий предыдущей в иерархии науки для построения теорий последующей науки:

логика=>математика=>физика=>естествознание

Сам принцип построения в рамках этой структуры предполагает зависимость предметов предыдущей и последующей науки, поэтому можно утверждать объективный характер предмета всех этих наук вне зависимости от того является эта наука экспериментальной или нет. Последнее, в данном случае, связано с методологией получения и проверки знания, а не с отношением предмета науки и реальности.

Структура научного знания выявляет единство наук, но не даёт основания этого единства, поскольку не выявлена связь предметов наук в их отношении к объективной реальности как к единому предмету научного знания. Такое основание, на наш взгляд, даёт семиотическая интерпретация полученного результата.

Необходимость привлечения семиотических идей возникает не на пустом месте. У такого подхода есть как в истории, так и в современном рациональном познании. С исторической точки зрения необходимо отметить, что само формирование научного знания происходило в рамках семиотической аналогии, одной из самых распространённых форм которой является представление о реальности как Тексте (книга Природы или Речь Природы),

что было характерно как для древнегреческого сознания, так и в Средневековье, и Новом времени [1]. Тоже можно сказать и про формирование отдельных наук, о чём будет сказано ниже. Но и в современных наработках по основаниям наук привлечение семиотических идей носит фундаментальный характер. Речь прежде всего о теории моделей, которая обосновывает дедуктивный характер математики опираясь именно на семиотические представления. Логические теории (чаще первопорядковая логика предикатов) в рамках теории моделей выступают в качестве синтаксиса, а математика, являющаяся конкретной интерпретацией формальных логических конструкций, – в качестве семантики. Такой подход, очевидно, имеет корни в аналогии между логико-математическими конструкциями и реализацией синтаксиса и семантики в естественном языке (имеющий исторические основания у Аристотеля и схоластов). Следующий шаг мы сделаем, если попробуем подойти с семиотических позиций к следующим отношениям в рамках структуры научного знания, а именно к отношениям математики и физики. И в данном случае есть примеры такого подхода (см. [2], [3]), но они основаны на механическом перенесении представлений теории моделей на эти отношения что является на наш взгляд ошибкой: математика рассматривается как синтаксис, а физика – как семантика. Мы продолжим аналогию между структурой научного знания и семиотикой естественного языка, но с учётом специфики каждой из наук. Характер конструкций теорий физики наводит на аналогию с другим разделом семиотики – прагматикой. Прагматика языка — это «семантика языка в действии» [4], которая строится на основе уже означенных в семантике синтаксических конструкций и заключается в воздействии посредством речевых актов. Если сравнить теперь переход семантика=>прагматика с переходом математика=>физика, то мы получаем полную аналогию: аналогом семантических конструкций языка являются математические конструкции (ведь как было показано выше, в теории моделей, математика это семантика), а аналогом действующих речевых актов является физический процесс, описываемый этими математическими конструкциями и приводящий к определённым действиям, также как речевой акт. Стоит отметить, что становление математизированной физики осуществлялась именно в рамках этой семиотической аналогии (Галилео Галилей), а экспериментальный подход рассматривался как способ общения с Природой (отсюда – естествоиспытатель, то есть «пытающий» Природу путём задания вопросов чтобы получить ответы). Заключительным этапом предлагаемой нами аналогии является интерпретация теоретических конструкций естествознания как аналога знаковой части. Знак в семиотике рассматривается как отношение материальной оболочки и содержания. Аналогично в рамках структуры научного знания: содержание окончательно формируется в физике, а переход к конструкциям естествознания аналогичен формированию знака. Знаковая часть в языке строится из букв, фонем и т.д. Аналогично этому, в естествознании при описании материальной организации природных объектов основной теоретической конструкцией является атомизм — описание организации посредством выявления предельных элементов, роль которых в материальной организации очень напоминает роль букв в языковых конструкциях. Причём исторически такие взгляды также обоснованы. Как отмечал А.Ф. Лосев «мы чуть ли не на каждом шагу наталкиваемся в античности на элементы, понимаемые в виде букв. Бытие, думают греки, складывается из элементов так же, как рукопись (а значит, и речь) из букв» [5, с. 127]. Те же взгляды имел Р. Бойль – основатель химии.

В итоге мы приходим к утверждению того, что объективная реальность, то есть воспринимаемые нами природные феномены являются семиотическими объектами – Текстами. Получаемое в процессе познания научное знание выражает семиотику объективной реальности, а структура научного знания – конкретные семиотические отношения. То есть причиной дифференциации научного знания на науки со специфическими теоретическими типами частного знания является необходимость выражения различных семиотических аспектов реальности как Текста. Логика, математика, физика и естествознание являются соответственно объективными синтаксисом, семантикой, прагматикой и знаковой частью, что и даёт основания единства научного знания.

Литература

1. Огурцов А.П. Герменевтика и естественные науки // Загадка человеческого понимания М.: Издательство политической литературы, 1991. С. 129-144.
2. Косилова Е.В. Математика – это язык? // Математика и реальность. Труды Московского семинара по философии математики / Под ред. В. Бажанов, А. Н. Кричевец. Издательство МГУ, Москва, 2014, С. 282-292
3. Родин А.В. Программный реализм в физике и основания математики. Часть 1: классическая наука // Вопросы философии. 2015. №4. С. 58–67
4. Руднев В.П. Прагматика. Словарь культуры XX века М.: Аграф, 1997. 384 с.
5. Лосев А.Ф. История античной эстетики в 8 томах. Том 1: Ранняя классика. М: АСТ Фолио, 2000. 624 с.

Знание-власть: бюрократия и проблема демаркации

Бурнашев Р. Р.
к. филос. н.
Казахстанско-немецкий университет, профессор
E-mail : rburnashev@gmail.com

Черных И. А.
д. и. н.
Казахстанско-немецкий университет, профессор
E-mail : chernykhi@yahoo.com

Аннотация: Классический вопрос философии науки – вопрос ее демаркации, имеющий две формы: как наука отличается от ненауки и как одна научная дисциплина отличается от другой – определяться не только философскими и методологическими рамками, но и рамками, связанными с управлением наукой, причем не только самоуправлением, но и управлением внешним, задаваемым фондами, финансирующими научные исследования, и государственными бюрократиями. На примере управления наукой в Казахстане показывается, что в ситуации утери учеными символического капитала и формирования их финансовой зависимости от государственных институтов, бюрократии, находясь вне науки и занимая по отношению к ней властное положение, используют для управления наукой и ее демаркации от «ненауки» индикаторы, предоставляемые наукометрией. Эпистемические подходы, такие как принципы верификации и фальсификации, фактически выводятся за рамки управленческих практик и маргинализируются. При этом связь между централизованным управлением наукой и ее самоорганизацией сохраняется, но уже в формате «правительственности», как этот концепт определяется М. Фуко, а ставший классическим вопрос М. Фуко о том, какие формы знания порождают ту или иную форму власти, в анализируемом случае приобретает форму вопроса, как те или иные формы власти формируют ту или иную форму знания.

Ключевые слова: управление наукой, правительственность, наукометрия, символический капитал

Knowledge-power: bureaucracy and the problem of demarcation

Burnashev R. R.
Kazakh-German University

Chernykh I. A.
Kazakh-German University

Abstract: The classic question of the philosophy of science is the question of its demarcation, which has two forms: how science differs from non-science and how one scientific discipline differs from another – determined not only by philosophical and methodological frameworks, but also by frameworks related to the management of science, and not only self-management, but also external management, set by funds financing scientific research and state bureaucracies. The example of science management in Kazakhstan shows that in a situation where scientists have lost their symbolic capital and become financially dependent on state institutions, bureaucrats, who are outside science and occupy a position of power in relation to it, use indicators provided by scientometrics to manage science and demarcate it from "non-science." Epistemic approaches, such as the principles of verification and falsification, are effectively excluded from management practices and marginalized. At the same time, the connection between centralized management of science and its self-organization remains, but now in the format of "governmentality," as this concept is defined by M. Foucault, and M. Foucault's classic question about what forms of knowledge generate this or that form of power, in the case under analysis takes the form of a question about how this or that form of power shapes this or that form of knowledge.

Keywords: science management, governmentality, scientometrics, symbolic capital

Введение

Классический вопрос философии науки – вопрос ее демаркации, имеющий две формы: как наука отличается от ненауки и как одна научная дисциплина отличается от другой – определяется не только философскими и методологическими рамками, но и рамками, связанными с управлением наукой, причем не только самоуправлением, но и управлением внешним, задаваемым, например, фондами, финансирующими исследования, или государственными бюрократиями. В 1990-е годы значимость вненаучного управления начинает возрастать, что обусловлено рядом факторов. Окончание Холодной войны и распад социалистического лагеря привели к тому, что у государств, в первую очередь – образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, пропал идеологический и военный интерес к поддержке научных исследований, прежде всего – фундаментальных, а также относящихся к социальному и гуманитарному сегменту. Падение уровня финансирования науки обуславливалось и экономическим кризисом на постсоветском пространстве 1990-х годов. Кризис затрагивает и этос науки: размываются даже такие фундаментальные установки, как запрет на плагиат. Итогом становится стремительное сокращение символического капитала ученого как в глазах государства, так и в глазах общества. К середине 2000-х годов в науке стран Центральной Азии намечается смена поколений: в нее приходят специалисты, прошедшие социализацию или в постсоветском поле, с размытыми представлениями об этосе науки, или в зарубежном, чаще всего – западном интеллектуальном пространстве (благодаря поддержке со стороны специальных программ, принятых в странах Центральной Азии, или зарубежных фондов), имеющем свои специфические стандарты научной деятельности. Обе группы начинают конкурировать с прежним научным сообществом, в том числе через воздействие на государственный аппарат. Еще одним фактором, обусловившим изменение системы управления наукой, становится

возникновение к концу 2000-х годов фигуры «универсального управленца» или менеджера – специалиста, знающего и умеющего применять «универсальные» законы управления (менеджмента), которые, как считается, с незначительными корректировками приложимы к любой системе, в том числе – науке.

В совокупности указанные процессы и факторы привели к вопросу выстраивания новой системы управления наукой. Причем, поскольку ученые утеряли свой символический капитал, говорить о каком-либо самоуправлении здесь уже становится невозможно. Соответственно, функции управления передаются в руки бюрократии, представители которой могли не иметь никакой связи с наукой (не быть учеными). В значительной степени такая передача упрощалась тем, что в 1999-е годы чиновники не имели сложностей с получением ученых степеней и званий и, как правило, имели формальный научный статус. Современная ситуация отличается от положения, описанного В. Налимовым и З. Мульченко в 1969 году [1] при анализе соотношения двух уровней управления наукой – самоорганизации науки и централизованного управления ею – поскольку последнее теперь осуществляется не учеными, ставшими администраторами, а бюрократией, внешней для науки. Иными словами, вопрос демаркации науки начинает решаться не только наблюдателем, находящимся внутри поля науки, но и внешним наблюдателем, который имеет управленческие возможности проводить границы между «наукой» и «ненаукой», а также границы между различными научными дисциплинами. Основной вопрос данной статьи – как бюрократии проводят демаркацию науки и ненауки, какие механизмы при этом задействуется? В статье утверждается, что в настоящее время бюрократии, выступая внешним по отношению к науке управленческим механизмом, для поведения границы между наукой и ненаукой используют исключительно индикаторы и критерии, заимствованные из наукометрии (библиометрии). Иные, эпистемические, подходы, такие как принципы верификации и фальсификации, фактически выводятся за рамки управленческих практик и маргинализируются. При этом связь между централизованным управлением наукой и ее самоорганизацией сохраняется, но уже в формате «правительственности», как этот концепт определяется М. Фуко [2; 3].

Методология

Несмотря на то, что использование наукометрических индикаторов и критериев для решения проблемы демаркации является достаточно широко распространенным, в статье в качестве предмета исследования выступают социально-гуманитарные науки, как они представлены в странах Центральной Азии. Исходя из того, что «Центральная Азия» не обладает единством, фокус будет сделан на ситуации в Казахстане. Такой подход позволяет рассмотреть проблему системно на основе ограниченного материала.

Отбор анализируемых документов, вводящих и закрепляющих систему управления наукой в Казахстане, сделан в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» Министерства юстиции Республики Казахстан. Основанием для отбора выступила соответствующая рубрикация, предлагаемая данной системой, а также релевантные ключевые слова (термины «наука», «ученая степень» и т. п.) и перекрестные ссылки между документами. В силу ограниченности объема статьи в поле анализа включены только документы, действующие на конец 2025 года документы.

Результаты

Новая система управления наукой в Казахстане начинает выстраиваться в начале 2010-х годов, с одной стороны, как отражение появления интереса государства к научным исследованиям, а с другой – как реакция на конкуренцию между «старыми» традициями в науке и установками, носителями которых выступали выпускники программ, поддерживающих обучение казахстанцев в зарубежных университетах, прежде всего – выпускники президентской программы «Болашак».

В начале 2010-х годов в Казахстане предпринимаются специальные бюрократические акции, направленные на снижение возможностей нарушения этоса науки. Так, ликвидируется институт соискательства [4; 5]. Для получения ученой степени магистра и доктора философии вводится требование обязательного обучения в магистратуре и докторантуре с почти полным запретом одновременной работы [5]. Тем не менее, разрушение этоса науки, произошедшее в 1990-х годах, приводит к недоверию ученым со стороны государственных органов. Ученые отстраняются от принятия управленческих решений, им отводятся, в лучшем случае, консультативно-совещательные функции [6]. Недоверие внутренней экспертизе обуславливает опору на независимые от локального научного сообщества критерии: привлечение зарубежных экспертов (как для руководства диссертациями [5], так и для оценки проектов, претендующих на финансирование [6]). Активно вводятся такие критерии, как конфликт интересов.

Как инструмент оценки эффективности работы ученого в рамках «универсального» менеджмента начинают использоваться количественные (наукометрические) показатели, такие как число публикаций, индекс цитирования, импакт-фактор или индекс Хирша, не требующие отдельной качественной экспертизы научного результата. Как обязательное требование для получения ученой степени и ученого звания вводится наличие статей, «опубликованных в международных рецензируемых научных журналах», более того, используются и дополнительные ограничители, например, требование, чтобы претендент на ученое звание был «первым автором или автором для корреспонденции» [7]. Дисциплинарные критерии демаркации формируются через требование публикации в профильных изданиях [7], что затрудняет междисциплинарный подход или, по меньшей мере, делает допустимым только заданную междисциплинарность. Таким образом, наукометрический инструментарий (методы квантификации науки), показавший свою эффективность в сфере науковедения и, отчасти, философии науки [1; 8; 9] был некритично трансформирован в инструмент оценки. Более того, на основе этой оценки выстраиваются механизмы и практики управления наукой как на уровне макро-, так и микрофизики.

Использование наукометрии в целях выстраивания системы политики в отношении науки, управления ею и ее финансирования, породило в Казахстане достаточно активную дискуссию относительно того, насколько оправдано использовать методы исследования науки (методы ее квантификации, направленные на построение моделей развития науки, изучение научной коммуникации, научного признания и подобных вопросов) в качестве ее оценки. Содержательно данная дискуссия не уникальна и не носит какой-либо страновой специфики (см., например, разбор различных позиций в [10, с. 182–185]). Более важно то, что в рамках выстроенной в Казахстане системы управления наукой как сторонники использования наукометрических индикаторов и критериев для решения проблемы демаркации, так и критики данного подхода вынуждены использовать его как инструмент самооценки и самоконтроля при определении того, попадает ли то или иное исследование в поле «науки» или нет. Таким образом, система управления наукой в Казахстане может рассматриваться как модификация «правительственности», понимаемой как способ управления, выступающий не только как принуждение, внешнее по отношению к ученому как объекту, но и как техника, с помощью которой выстраивается управление наукой как самоконтроль (управление «изнутри» или самоорганизация).

Выводы

Пример государственного управления наукой в Казахстане демонстрирует, что в ситуации утери учеными символического капитала и формирования их финансовой зависимости от государственных институтов, бюрократии, находясь вне науки и занимая по отношению к ней властное положение, начинают использовать для управления наукой и ее демаркации от «ненауки» процедуры, выстроенные на основе индикаторов и показателей, отражающих ограниченное количество характеристик науки. В настоящее время в качестве

таких индикаторов активно используются наукометрические показатели. Иные, эпистемические, подходы, такие как принципы верификации и фальсификации, фактически выводятся за рамки управленческих практик и маргинализируются. Система централизованного управления наукой бюрократиями, построенная на использовании наукометрических показателей как критериев научности, может рассматриваться как модификация «правительственности», понимаемой как способ управления, выступающий не только как принуждение, внешнее по отношению к объекту, но и как техника, с помощью которой выстраивается управление наукой как самоконтроль или самоорганизация.

Литература

1. Мульченко З., Налимов В. Наукометрия. М.: Наука, 1969. 192 с.
2. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. 448 с.
3. Фуко М. Правительственность// Логос. 2003. Т. 39. No 4–5. С. 4–22
4. Министр образования и науки Республики Казахстан. Приказ от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней»// Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» [Электронный ресурс]. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951
5. Республика Казахстан. Закон от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»// Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» [Электронный ресурс]. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_
6. Республика Казахстан. Закон от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК «О науке и технологической политике»// Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» [Электронный ресурс]. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2400000103
7. Министр образования и науки Республики Казахстан. Приказ от 31 марта 2011 года № 128. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2011 года № 6939 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)»// Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» [Электронный ресурс]. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006939
8. Коммуникация в современной науке. М.: Прогресс, 1976. 440 с.
9. Яблонский А. Математические модели в исследовании науки. М.: Наука, 1986. 352 с.
10. Куприянов В., Шиповалова Л. Кризис репрезентации. Как возможен успешный исход? Случай наукометрии// Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. No 1. С. 171–187

В поиске «общеполезного»: о ценностном самоограничении познания

Ветютнев Ю.Ю.
Кандидат юридических наук
Волгоградский государственный университет, доцент
E-mail: legalmind@yandex.ru

Копанева В.А.
Кандидат философских наук
Волгоградский государственный медицинский университет, преподаватель
E-mail: leravalera5@mail.ru

Аннотация: некритическое восприятие ценностей в качестве руководства к действию противопоказано духу философского мышления, поскольку ведет к выборочной приостановке рефлексии с последующей возможностью эскалации и перерождения в догматику. Обратный же сценарий, связанный с сепарацией от внешних ценностей и расчетом на имманентные (т.е. внутрикорпоративные или даже индивидуальные) критерии оценивания, потенциально порождает самоизоляцию от ресурсной базы социальности с последствиями в виде отверженности и коммуникативного голода. Постулируемая объективность философского знания, очевидно, сталкивается с вызовом ценностей; поиск общеполезности оборачивается вынужденностью утери нейтралитета в культурном конфликте. Следовательно, обязанность выяснить ценностные основания собственных ограничений приводит к скрытым формам культурной ангажированности, острота которой, впрочем, может быть до известной степени смягчена рефлексией.

Ключевые слова: ценности, конфликт, польза, рефлексия, трансцендирование, границы.

In search of the "generally useful": on the value self-limitation of cognition

Vetyutnev Yu. Yu.
Volgograd State University

Kopaneva V.A.
Volgograd State Medical University

Abstract: uncritical perception of values as a guide to action is contraindicated in the spirit of philosophical thinking, as it leads to a selective suspension of reflection with the subsequent possibility of escalation and degeneration into dogmatism. The reverse scenario, involving separation from external values and reliance on immanent (i.e., intra-corporate or even individual) evaluation criteria, potentially generates self-isolation from the sociality resource base with consequences in the form of rejection and communicative hunger. The postulated objectivity of philosophical knowledge obviously faces a challenge of values; the search for common usefulness results in the loss of neutrality in a cultural conflict. Consequently, the obligation to find out the value bases of one's own limitations leads to hidden forms of cultural bias, the severity of which, however, can be mitigated to a certain extent by reflection.

Keywords: values, conflict, benefit, reflection, transcendence, boundaries.

Неопределенность социального и антропологического статуса философского знания в современности обусловлена отсутствием единых методологических конвенций в отношении того, во-первых, какими средствами это знание надлежит обнаруживать, и во-вторых, как его использовать. Отсюда проистекает такая широта разнообразия субкультурных подходов, какая не просто дробит самосознание мыслящих, но и часто обесценивает его.

В стоической философии относительно самопознания существует принцип сбережения сил; Марк Аврелий говорит об «общественном существе», посвятившем себя справедливости: «представлениями о том, что говорит, делает или думает другой, он себя без крайней и общеполезной надобности не часто займет» [1, с.13]. Этот критерий при необходимом его интерпретационном расширении применим к философии в том случае, если она рассматривается не как самокопание и самоуглубление в духе принципа «познай самого себя», а как попытка проанализировать социальную жизнь в ее широком масштабе - такое мышление есть не что иное, как интерес к другим людям, и тогда вопрос о его приемлемости можно свести к критериям величия и общеполезности.

В отношении философии качество «общеполезная» значит, видимо, обеспечивающая или приумножающая те или иные социальные ценности, и, следовательно, зависимая от того, какие из этих ценностей и кем признаются в данных социально-исторических условиях. «Крайность» философии – критерий количественный, говорящий о том, что проблемы, которые ею исследуются, предельны и носят не локальный, а глобальный, общечеловеческий или как минимум общенациональный характер. Этим оправдано неокантианское представление о том, что философия есть прежде всего учение о ценностях [2, с.26]. Немыслимо сбережение или накопление ценностей без понимания того, каковы они. Обратной стороной такого философского мышления является проблематизация как понимание того, при каких условиях и каким образом имеющиеся ценности могут быть утрачены, а ожидаемые ценности не приобретаются.

Дальнейшее уточнение границ философии будет зависеть, таким образом, от понимания ценностей. Если мы склонны мыслить ценности как вечные, неизменные, трансцендентные, то философское знание эволюционирует только на пути их лучшего постижения и таким образом оказывается конечным по своему способу развития, в духе Гегеля. Если постулировать релятивизм ценностей, то есть возможность их изменения в зависимости от условий психологических или социальных, то перед философией открывается более обширное поле перспектив, связанное с тем, чтобы диагностировать ценности, аксиологические трансформации общества и в соответствии с этим менять либо институциональные рамки этой ценностной динамики, либо воспитание человеческих существ в данном направлени (пример – концепция «нового человека» в советскую эпоху).

Дифференциация возможных моделей философии, включая ее границы, будет зависеть от ориентации на сущее или на должное. В первом случае за основу берется уже фактически достигнутый уровень и состояние философского мышления, а его границы определяются эмпирически, путем констатации того, что попадает в рамки философского сознания, а что оказывается за его пределами. При ориентации на должное появляется возможность отмены, отбрасывания тех направлений мысли, которые не соответствуют признанным ценностям. И тогда, например, идеи, обладающие философским статусом в одну эпоху, утрачивают его в другую эпоху (как, например, в ряде историко-философских концепций по умолчанию не считаются валидными марксистские идеи, развиваемые официальной философией советского периода).

В последнем случае появляется новая неопределенность, поскольку может возникнуть эффект безусловной подчиненности внешним силам, если ценностные критерии берутся в готовом виде из религии или идеологии, либо необходима автономизация, по завету Ж. Делеза и Ф. Гваттари: «У нас нет никакой причины полагать, будто способы существования нуждаются в трансцендентных ценностях, которые позволяли бы их сравнивать, отбирать и определять, какой из них “лучше” другого. Напротив, критерии бывают только имманентными, и та или иная жизненная возможность оценивается сама в себе по движениям, которые прочерчивает, и по интенсивностям, которые создает в плане имманенции…» [3, с.97].

Однако есть подозрение, что некритическое восприятие ценностей в качестве руководства к действию противопоказано духу философского мышления, поскольку ведет к выборочной приостановке рефлексии с последующей возможностью эскалации и перерождения в догматику. Обратный же сценарий, связанный с сепарацией от внешних ценностей и расчетом на имманентные (т.е. внутрикорпоративные или даже индивидуальные) критерии оценивания, потенциально порождает самоизоляцию от ресурсной базы социальности с последствиями в виде отверженности и коммуникативного голода.

Компромиссное решение можно усмотреть в следующей конструкции: «Для культуры различие между формой и содержанием означает, что “основные традиции, обеспечивающие идентичность” теряют конкретность мифических мировоззрений и превращаются в абстрактные базовые ценности (такие как автономия, свобода и тому подобное), а также в формальные процедуры и структуры коммуникации и аргументации» [4, p.29]. В такой

трактовке ценности, с одной стороны, и методологические установки, с другой, взаимно необходимы, поскольку задают границы друг друга, удерживая от крайностей конформизма и аутизма.

Тем не менее вопрос о происхождении ценностей не пропадает с повестки дня, поскольку внешние стандарты полезности для подобного вида мышления либо недостаточно операциональны («истина», «обоснованность», «достоверность»), либо сомнительны по смыслу («эффективность», «признанность» и т.п.). Таким образом, внутренняя критика ценностей неизбежна, но в соотнесенности с внешним контекстом, что предотвращает замыкание в когнитивный кокон. Вероятно, это подразумевает Ю. Хабермас, когда заявляет: «Ценностные стандарты не обладают всеобщностью интерсубъективно признанных норм, но не являются и совершенно приватными» [5, с.40].

Фактически достигнутые границы философского понимания ценностей могут быть рассмотрены как промежуточные итоги продолжающегося противостояния различных культурных моделей: «Первичная данность субстанции, субстанция-для-миров – это, таким образом, данность уже завершившейся борьбы, в результате которой один из атрибутов удерживания-вместе-разделенного-как-такового оказывается вытесненным другим» [6, с. 98]. Поскольку ценность представляет собой не что иное, как предпочтение, отдаваемое одним вещам по сравнению с другими, то приобретение любым явлением характера ценности предполагает, что оно выдержало определенную культурную конкуренцию. Этот механизм раскрывается также в гегелевской концепции «права в засаде»: двойственность мира, его расколотый характер проявляется в том, что любое действие человека, соответствуя одному принципу или закону, неизбежно нарушает другой, ему противоположный: «Самосознание, таким образом, благодаря действию становится виной. Ибо вина есть его действование, а действование – его сокровеннейшая сущность; и вина получает также значение преступления: ибо в качестве простого нравственного сознания оно обратилось к одному закону, но отказалось от другого и нарушает его своим действием» [7, с. 238].

Постулируемая объективность философского знания, очевидно, сталкивается с вызовом ценностей; поиск общеполезности оборачивается вынужденностью утери нейтралитета в культурном конфликте: «Ценности важны, поскольку они заставляют ученых тщательным образом тестировать результаты. Они позволяют ученым сделать выбор определенного объяснения в случае нехватки для этого эпистемических оснований» [8, с.14]. Следовательно, обязанность выяснить ценностные основания собственных ограничений приводит к скрытым формам культурной ангажированности, острота которой, впрочем, может быть до известной степени смягчена рефлексией.

Кроме того, мерилом ценностной состоятельности философского знания может служить его способность к трансцендированию в смысле репрезентации себя за собственными пределами, в иных социальных практиках, где наличие или отсутствие внешнего признания выступает, разумеется, не гарантией истинности, но формой открытости, позволяющей улавливать релевантные сигналы среды и отвечать на них в режиме обратной связи, когда кризис, в том числе ценностный, переживается не в качестве катастрофы, а как освобождение от предзаданности.

Литература

1. Марк Аврелий Антонин. Размышления / Издание подготовили А. И. Доватур, А. К. Гаврилов, Я. Унт. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1993. 247 с.
1. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре: Пер. с нем. / Общ. ред. и предисл. А. Ф. Зотова. М.: Республика, 1998. 413 с.
2. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С.Н. Зенкина — М.: Институт экспериментальной социологии, Спб.: Алетейя, 1998. 288 с.
3. Baxter H. Habermas: The Discourse Theory of Law and Democracy. Stanford: Stanford University Press, Stanford Law Books, 2011. 352 p.

4. Хабермас Ю. Теория коммуникативной деятельности: Том первый. Рациональность действия и социальная рационализация; Том второй. К критике функционалистского разума; пер. с нем. А.К. Судакова. М.: Издательство «Весь Мир», 2022. 880 с.
5. Регев Й. Невозможное и совпадение о революционной ситуации в философии; пер. с иврита М. Макаровского, пер. с англ. П. Хановой. Пермь : HylePress, 2016. 146 с.
6. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. 495 с.
7. Шиповалова Л.В. Концепт объективности как проблема философии науки//Эпистемология и философия науки. 2025. Т. 62. № 1. С. 6–21.

Эпистемология вовлечения: производство неакадемического социального знания в проектах городского благоустройства

Габов Константин Игоревич
НИУ ВШЭ, Высшая школа урбанистики А.А. Высоковского, преподаватель
E-mail: knstntn.gabov@gmail.com

Аннотация: В России в последние годы стремительно развиваются прикладные социологические исследования для проектов городского благоустройства. Исследователи с образованием в области социологии или других социальных наук под лозунгом «вовлечения» выступают посредниками между жителями, властью и архитекторами. Однако при ближайшем рассмотрении их работа далека от академических стандартов: теоретическая рамка, методологическое обоснование и валидация результатов в силу разных причин – игнорируются, формализуются или симулируются. Одновременно, в отличие от правил академической «игры», на передний план выходят другие задачи, например, ситуативного политического представительства экспертом-социологом жителей, которых касается благоустройство и развитие территории. Это ставит вопрос о природе такого исследования: по каким правилам оно устроено и какие эпистемологические роли у его участников? Исследование основано на анализе практик производства аналитических материалов, созданных автором в ходе участия в нескольких проектах в рамках федерального конкурса Минстроя «Комфортная городская среда».

Ключевые слова: социология знания, исследования экспертности, городские исследования, вовлечение граждан, методология социальных наук, автоэтнография.

The Epistemology of Participation: The Production of Non-Academic Social Knowledge in Urban Planning Projects

Konstantin Gabov
NRU HSE, Vysokovsky Graduate School of Urbanism

Abstract: In recent years, applied sociological research for urban improvement projects has been rapidly developing in Russia. Researchers with a background in sociology or other social sciences act as intermediaries between residents, authorities, and architects under the label of "participation." However, upon closer examination, their work is far from academic standards: for various reasons, the theoretical framework, methodological justification, and validation of results are ignored, formalized, or simulated. Simultaneously, in contrast to the rules of the academic "game," other tasks come to the fore, such as the situational political representation of residents affected by the improvement and development of the territory by the sociologist-expert.

This raises the question of the nature of such research: by what rules is it structured, and what are the epistemological roles of its participants? This report is based on an analysis of the practices involved in producing analytical materials, created by the author during their participation in several projects within the framework of the federal competition "Comfortable Urban Environment" by the Ministry of Construction.

Keywords: sociology of knowledge, expertise studies, urban studies, public participation, methodology of social sciences, autoethnography.

За последние 10-15 лет в России активно развивается прикладная сфера социальных исследований в проектах городского благоустройства. Ключевую роль в них играют жители. Их роль – под флагом «партиципации» или «вовлечения» принимать участие в выработке, принятии решений и дальнейшие судьбе благоустраиваемых территорий. На исследователя в таких проектах, в самом общем виде, возлагаются следующие задачи: использовать исследовательские инструменты, «услышать» жителей, превратить это в «данные» для архитекторов и планировщиков, принимающих решения и разрабатывающих проекты благоустройства и развития [2]. Несмотря на многообразие форм такой работы, в настоящем исследовании речь идет преимущественно о социологических исследованиях, которые проводились автором, для подготовки заявок более чем десятка малых городов в период с 2021 и по 2025 гг. на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Министерства строительства РФ.

В течение 2010-х годов сформировался устойчивый список требований к тому, как должны быть организованы исследования и выглядеть их результаты. В частности, это нашло отражение в рекомендациях Минстроя РФ от 2017 года [6]. Работа социального исследователя таким образом подверглась регламентации и формализации. Это подталкивает к вопросу: кем становится исследователь в этих условиях? Каков характер его труда? Он всё ещё производит ценное (для кого? для чего?) знание или выступает как политико-административный посредник между разными агентами влияния на городскую среду? Или же обе эти функции взаимно переплетены, что делает исследовательскую деятельность продуктивной в управленческом контексте, пусть и сталкивающейся с внутренними противоречиями?

При сравнении подобной исследовательской деятельности с принятой академической методологией бросаются в глаза несколько принципиальных отличий. Во-первых, от исследователя не требуется наличие теоретической рамки или оптики. Теория считается лишней: достаточно устоявшегося списка инструментов сбора эмпирических данных – опросов, интервью, воркшопов. Во-вторых, отсутствуют требования к интерпретации данных и обоснованию сделанных выводов. Считается, что данные говорят сами за себя. И наконец, полученные результаты не проходят профессиональной валидации: в отличие от академической работы, отсутствуют институты или даже базовые принципы фильтрации и оценки. В отличие же от публичного знания, результаты редко становятся достоянием общественности, не обсуждаются и не публикуются. В итоге исследователь оказывается в позиции эксперта *per se* – то, что он предлагает как результат своей работы как правило воспринимается как качественный результат. Институциональные и любые внешние механизмы его оценки отсутствуют. Эта автономия, с одной стороны, придает исследованию статус самоценного, но с другой – делает деятельность по его созданию уязвимой для подтасовки.

С точки зрения профессионального этоса, исследователь оказывается в сложной позиции. Естественно, сложно смотреть на это через оптику Роберта Мертона, как на отклонение от принципов универсализма, коммунизма, бескорыстности и организованного скептицизма, которым должны следовать ученые в своей работе [5, с. 767]. Возможно, вслед за Гилем Еалем стоит рассматривать этот процесс как «транс-научный», то есть такой, где «*методы преодолевают неполноту данных с помощью всего того, что связано с выбором между ценностями… Что наиболее важно, эти методы были разработаны на стыке науки*

и государства, потому что они призваны давать ответ – именно на тот вопрос, который Вебер, цитируя Толстого, назвал тем, на что наука не отвечает и что не следует ей задавать: «что нам делать и как нам жить?» [11, с. 144].

Одновременно с этим, специфика работы прикладного социолога не исчерпывается выбором между корректным использованием методов и организацией исследовательских процедур или же, наоборот, их симулированием, или, шире, коррумпированием. Так, даже при, казалось бы, отсутствии теоретической оптики, она всё равно присутствует в имплицитном виде, когда за выбором понятий и методов стоят те или иные представления об исследуемой реальности. Слова «идентичность», «сообщество», «репрезентативность», «глубинные интервью» и др. широко используются в проектной практике, но оторваны от научного контекста, из которого они происходят. Фактически, они превращаются в символы, работающие на легитимацию решений, а не инструмент или способ интерпретации [4].

Другой важный аспект – определение той совокупности людей, с которыми социолог взаимодействует. В рекомендациях Минстроя РФ приводится длинный список: жители разных категорий, активные группы, локальные эксперты, лидеры мнений, уязвимые группы. На практике этот список либо чрезмерно широк, либо, напротив, не отражает реального разнообразия агентов городских изменений в каждом конкретном случае. Более того, в силу ограничений времени, ресурсов и стремления избежать конфликтов, именно представители власти или бюджетных учреждений становятся фильтром для отбора участников, что искажает саму идею добровольного и заинтересованного включения в проектную работу. В результате партисипаторная и исследовательская деятельность и на этом этапе сталкивается с риском упрощения или формализации.

Как можно охарактеризовать итоговые результаты такой деятельности? С одной стороны, вроде бы ясно, что они являются одновременно и частью отчетности как элемента проектной реальности, и частью решений по действительно происходящему преобразованию городской среды. Если рассматривать эту деятельность как форму производства экспертного знания (в духе исследований экспертизы и экспертности [8, 9, 11]), в особенности, когда в определении и легитимации чего-то в качестве знания, сходятся интересы широкого круга агентов, как это показано в исследовании Гилем Елаем аутизма [10], то ее можно описать через две альтернативные перспективы.

Первая – «оптимистическая», следуя Джону Ло, предполагает, что исследователь признает «беспорядок», присущий миру [3]. И в таком случае, проведение исследования – это лишь придание определенной формы множественности голосов и интерпретаций, которое становится политическим актом и формой временного представительства объектов и субъектов. При таком взгляде мы выделяем существование обширного хинтерленда – неявной инфраструктуры, создающей временную реальность исследования (еще более разрастающегося в силу отсутствия механизмов контроля и оценки); готовность к «беспорядку» и ситуативности знания, которое существует лишь в рамках конкретного проекта, собирается при помощи уникального «метода» и исчезает после его завершения; а также отказ от иллюзии объективности, когда исследователь, с одной стороны, неизбежно кого-то «репрезентирует» и что-то «отражает», но остается лишь одним из агентов в сети, производящей это знание.

Противоположная «пессимистическая» перспектива, основанная на идеях Дэвида Гребера, описывает ситуацию как проведение «бредовой работы»: исследователь становится «галочником», а практики вовлечения жителей в проектную работу – ритуалом для отчетности [1]. Исследование существует лишь для того, чтобы можно было утверждать, что оно проведено, а не для того, чтобы оно действительно влияло на решения.

Таким образом, между этими двумя крайностями: ситуативным знанием и бюрократическим ритуалом – разворачивается современная прикладная социология в сфере городского благоустройства. Смещение фокуса внимания на то, как это знание производится, в том числе и при участии вовлекаемых в проектирование жителей, может как дополнить

и обогатить существующий инструментарий прикладной исследовательской деятельности, так и прояснить парадоксы «роста вовлеченности», но «снижения доверия» [7].

Литература

1. Гребер Д. Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда / Пер. с англ. А. В. Арамяна, К. А. Митрошенкова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2020. 440 с.
2. Замятин А. А. Двусмысленная партисипация: взгляд на соучастие из политической теории // Городские исследования и практики. 2025. Т. 10. № 1. С. 6–20.
3. Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / Пер. с англ. под ред. С. Гавриленко. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. 352 с.
4. Малышев Г. Н. Концепт идентичности в современной российской архитектурно-градостроительной практике как инструмент профессиональной легитимации: этнография одного бюро // Городские исследования и практики.2024. Т. 9. № 4. С. 40–53.
5. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. Е. Н. Егоровой и др.; науч. ред. З. В. Коганова. М.: АСТ, Хранитель, 2006. 873 с.
6. Рекомендации по организации общественного участия в реализации проектов комплексного благоустройства городской среды. Минстрой России, 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/13338 (дата обращения: 12.10.2025).
7. Цумарова Е. Ю. Парадокс общественного участия в программах благоустройства: вовлеченность растет, доверие снижается // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. Т. 24. № 4. С. 221–248.
8. Collins H. M., Evans R. J. Expertise Revisited. Pt. I: Interactional Expertise // Studies in History and Philosophy of Science. Part A. 2015. Vol. 54. P. 113–123.
9. Collins H., Evans R. Rethinking Expertise. Chicago: University of Chicago Press, 2007. 159 p.
10. Eyal G. For a Sociology of Expertise: The Social Origins of the Autism Epidemic // American Journal of Sociology. 2013. Vol. 118. No. 4. P. 863–907.
11. Eyal G. The Crisis of Expertise. Cambridge, UK: Polity Press, 2019. 190 p.

От анализа текста к анализу практики: Критика идеологии как герменевтический жест

Габриелян Л.К.
ЕУСПБ, Центр практической философии "Стасис"
E-mail: l.gabrielyan@eu.spb.ru

Аннотация: Статья посвящена реактуализации классической марксистской критики идеологии как особым образом устроенного герменевтического жеста, обладающего собственной онтологической основой. Анализируя герменевтический проект Фредерика Джеймисона, автор показывает, что, несмотря на попытку синтезировать негативную и позитивную герменевтику под эгидой марксизма, его концепция осталась уязвимой для релятивизма. Это связано с отказом от монистической онтологии, которая позволяла понимать идеологию не как ложь, а как заблуждение бытия относительно самого себя - частичную истину, искаженную положением субъекта внутри классового общества. На примере полемики Э. Ильенкова с Х.-Г. Гадамером продемонстрировано, что критика идеологии заключается не только в опровержении идей, но и во вскрытии отчужденного социального бытия мыслящего субъекта. Это приводит автора к обоснованию тезиса о том, что возрождение содержательной критики

в общественных науках требует возврата к позитивной онтологии как к её фундаменту.

Ключевые слова: идеология, марксизм, Джеймисон, Маркс, герменевтика, онтология

From Text Analysis to the Analysis of Practice: The Critique of Ideology as a Hermeneutic Gesture

Gabrielian L.K.
European University at St Petersburg

Abstract: The article is devoted to the reactualization of the classical Marxist critique of ideology as a hermeneutic gesture with a specific structure and its own ontological foundation. By analyzing Fredric Jameson's hermeneutic project, the author demonstrates that despite his attempt to synthesize negative and positive hermeneutics under the auspices of Marxism, his conception remains vulnerable to relativism. This is linked to the rejection of a monistic ontology, which allowed for understanding ideology not as a falsehood, but as a "self-misapprehension of being" — a partial truth distorted by the subject's position within a class society. Using the polemic between Evald Ilyenkov and H.-G. Gadamer as a case study, it is shown that the critique of ideology involves not only refuting ideas but also revealing the thinking subject's alienated social being. This leads the author to substantiate the thesis that reviving substantive critique in the social sciences necessitates a return to a positive ontology as its foundation.

Keywords: ideology, Marxism, Jameson, Marx, hermeneutics, ontology

Вопрос о критике чужих идей и об основании этой критики всегда затрагивает вопрос о границах между научным и ненаучным. Данная проблема особенно остро стоит в общественных науках, не в последнюю очередь из-за того, что ученый-обществовед изначально является частью предмета собственного исследования. В этой связи особое внимание следует уделить методу, который изначально был разработан для работы в условиях такой вовлеченности исследователя - метод критики идеологии в марксизме.

Критика идеологии была неотъемлемой частью марксизма с самого его зарождения. Начиная с текстов “Святое семейство” и “Немецкая идеология” разоблачение идеологии стало для марксизма основным modus operandi. Суть метода идеологической критики заключается в опровержении теоретических построений оппонента путем перехода от анализа ошибок в его аргументации к обнаружению их предпосылок в общественном бытии автора идеи. С помощью данного приема марксисты начиная с самого Маркса выражали собственный взгляд на социальную природу мышления, и одновременно с этим критиковали оппонентов, защищая диалектико-материалистический метод и рациональность.

С течением времени акцент внутри самой же марксистской традиции сместился с критики содержания отдельных идеологических доктрин на анализ условий и структур производства идеологии как таковой, в результате чего и само понятие идеологии из эпистемологического начало приобретать функциональный характер [1, с. 107]. Проблемой идеологии в данном ключе занимались так или иначе все крупные мыслители марксистского толка, начиная с Антонио Грамши и Франкфуртской школы, и заканчивая Луи Альтюссером или Славоем Жижеком. Вместе с тем критика идеологии в изначальном её виде - как герменевтическая операция и инструмент критики общественно-научных идей практически перестала быть самостоятельным предметом дискуссии или детального анализа.

Пожалуй, наиболее влиятельную и систематизированную попытку создать оригинальную герменевтическую концепцию на основе марксистской философии и понятия “идеология” предпринял американский философ Фредерик Джеймисон. Его подход к толкованию текстов и шире – содержания идей, основан на сопоставлении двух

герменевтических традиций, которые он именует негативной и позитивной [2, с. 276]. К негативной он относит марксизм, поскольку его парадигма и отношение к идеологии направлена на постоянное разоблачение скрытых классовых интересов, выдающих себя за тотальные. Позитивная же традиция, которую Джеймисон предлагает в качестве конструктивного дополнения марксизму, исходит из таких авторов, как Поль Рикер, Михаил Бахтин или Эрнст Блох. Благодаря данным авторам Джеймисон предпринимает попытку частичной реабилитации идеологии, стремясь утвердить ее конструктивность для познания, поскольку она несет в себе отпечаток объективной действительности, которую Джеймисон именует утопией. Утопия, в понятии Джеймисона, представляет собой нерепрезентируемую и недостижимую тотальность, к выражению которой стремится каждая новая идеология. Собственно идеологический характер та или иная концепция получает в тот момент, когда начинает претендовать на выражение тотальности во всем её многообразии. Таким образом, движение познания во времени заключается в последовательном возведении и опровержении идеологий, каждая из которых позволяет сказать о реальности (“утопии”) всё больше, не выражая при этом её до конца.

Подобный взгляд, объясняя общие принципы развития гуманитарной мысли, вместе с тем не лишен проблемных мест. Хотя Джеймисон и подчеркивает изначальное наличие у идеологии положительного содержания, из его позиции затруднительно сказать, в чем именно оно может заключаться, поскольку утопия как источник этого содержания принципиально невыразима. Кроме того, поскольку идеология в подобной картине мира выступает в виде необходимого спутника мышления, а не исторически обусловленного и преодолимого его артефакта, каким она представлялась в классическом марксизме, то подобный взгляд компрометирует идею исторического развития мысли как таковой. Из него не следует, чем сменяющие друг друга идеологии качественно отличаются друг от друга. Иными словами, хотя в герменевтике Джеймисона номинально декларируется измерение истины, оно выступает чисто негативно, поскольку выдвигает на первый план и ставит в свою основу неадекватность, вторичность мышления относительно своего предмета. Подобный подход и акцент на разрыве субъекта с объектом оставляет аргументацию уязвимой против релятивистских аргументов, поскольку сам подразумевает относительную степень релятивизма, не давая никаких положительных критериев или инструментов для критики собственно идеологического в мышлении. Более того, в рамках заданного Джеймисоном онтологического разрыва эти критерии в принципе не могут быть найдены.

Корень данной проблемы становится ясным, если посмотреть на то, каким образом критика идеологии проводилась у самого Маркса. Ведь еще в “Немецкой идеологии”, Маркс подчеркивал её положительный, то есть — онтологический источник, понимая идеологию в конечном итоге как заблуждение о бытии, обусловленное особым практическим к бытию отношением [3, с. 20]. Идеология, в его интерпретации — это в первую очередь истина, а не ложь, просто истина неполная и дополненная партикулярным взглядом индивида, принимающим в условиях классового общества классовый же характер. Именно с обнаружения истины, подвергшейся искажению, и начинается критика Марксом любой идеологии. Более того, сама критика идеологии заключается не только в формальном опровержении аргументации оппонента, но и в сохранении того истинного содержания, которое содержалось в его суждении, и демонстрации этого содержания в его подлинном, полном отношении с предметом, а самое главное — объяснение того, каковы были основания самого автора высказывания допустить искажение на основании его частного отношения к этому предмету.

Иными словами, в самом марксизме уже изначально присутствует та позитивная герменевтическая составляющая, которую Джеймисон пытается вменить ему извне через попытку синтеза с Рикером, Блохом и иными авторами. Вместе с тем стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в исходном виде марксистская критика идеологии как герменевтический жест является производным от позитивной, монистически понятой

онтологии, основанием которой для Маркса выступила философия тождества Шеллинга и Гегеля. В такой онтологии невозможно представить понятие, которому не соответствует никакая реальность [1, с. 111]. В частности, к данному принципу Гегель отсылается напрямую во введении в “Феноменологию духа”. Он указывает, что “нереальное сознание”, то есть заблуждение, не есть не-реальность, “ничто”. Напротив - заблуждение напрямую указывает на необходимость истинной реальности, отрицанием которого заблуждение является лишь в сознании заблуждающегося [5, с 48-49]. И именно от реальности, то есть – онтологии, а не от понятия отталкивается Маркс, когда критикует идеологию. Именно онтологической составляющей и недостает проекту Джеймисона, ввиду чего его проект приобретает кантианские черты даже при сохранении отсылок к марксистскому понятийному аппарату. Этот же недостаток и приводит к тому, что внутри концепции Джеймисона остается неясным сам внутренний механизм перехода от идеологии к истине, или хотя бы от более ложной идеологии – к менее ложной.

Таким образом, критика идеологии в её исходном, представленным Марксом виде немыслима без положительной монистической онтологии. Заблуждение субъекта о бытии выступает у Маркса в пределе лишь заблуждением бытия относительно самого себя, поскольку мыслящий субъект мыслится у него как агент, противоположный своему предмету лишь в видимости. Иными словами, критика представлений об обществе или общественных явлениях как о предмете возможна у Маркса лишь постольку, поскольку этот предмет предстает и для критикующего, и для критикуемого в виде единой субстанции, моментом которой выступает каждый из них.

Ввиду этого любая критика “больших нарративов” и философских систем является по своему содержанию критикой именно идеологии, поскольку затрагивает не просто абстрактное неправильное *понимание* предмета, но и искаженное *положение* субъекта относительно предмета, которое, в свою очередь, вызвано особым его положением в обществе, вызывающим искаженное представление о предмете суждения, будь то категории эстетики, этики или даже таких абстрактных областей, как теория познания.

В качестве примера подобной критики можно привести аргументы Эвальда Ильенкова против герменевтической традиции Ханса-Георга Гадамера и Мартина Хайдеггера. Ильенков, обличая лингвистический фетишизм гадамеровской герменевтики, и, шире, лингвистический поворот в аналитической и континентальной философии, указывает на тот факт, что подобный акцент возник из-за однобокого прочтения философии Гегеля, в результате которого язык стал пониматься единственным критерием актуализации разума несмотря на то, что сам Гегель в качестве такового называл и практическое преобразование мира человеком. Однако, Ильенков не просто констатирует факт этой ошибки, но также и пытается объяснить его в качестве необходимого аспекта современного ему общества, в качестве “естественной иллюзии”, выражающей не столько сам предмет суждения, сколько отчужденное существование академического интеллигента в рамках подчиненной рыночной логике академии [5, с. 158-161]. Для такого интеллигента, отчужденного от предмета, и, как следствие, от результата и преобразующего эффекта собственного праксиса, единственно существующей действительностью, скрепляющей его с предметом, становится язык, речь, обилие текстов и дискурсов. Как итог этот, по существу, вторичный элемент познания, предстает перед исследователем как абсолют, как единственный спаситель от абсолютного хаоса, как единственный источник логики и рациональности в иррациональном мире. Именно вследствие подобного, по словам самого Ильенкова, калечащего разум эффекта разделения труда и возникает обожествление отдельной человеческой способности или качества, которое в глазах познающего субъекта приобретает обособленное от него самого бытие и представляется чем-то ему противоположным или даже чуждым.

Как видно из приведенного примера, критика идеологии с необходимостью подразумевает одновременно критику субъекта, подверженного идеологии, и, как следствие, критику самого общества, в рамках которого возможна или даже необходима интеграция субъекта на условиях превращенного его отношения к общественному целому. Однако

подобная постановка вопроса, в свою очередь, требует актуализации вопроса об уже упомянутой выше позитивной марксистской онтологии как фундамента всякой будущей идеологической критики, и, что нельзя исключать, – нового прочтения марксизма.

Литература

1. Баллаев А.Б. Читая Маркса. М.: Праксис, 2004. С. 107-111.
2. Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledge, 2013. P. 276.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М.: Политиздат, 1988. С. 20.
4. Ильенков Э.В. Диалектическая логика // Ильенков Э.В. Собрание сочинений. Т. 4. М.: Канон+, 2020. С. 158-161.
5. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. Т. 3. С. 4.

Кто мыслит абстрактно: миметизмы и тропизмы постсоветского знания о культуре в бастионах исследовательских программ

Ганжа А.Г.
Кандидат философских наук
НИУ ВШЭ, Доцент
E-mail: ann.ganzha@gmail.com

Аннотация: Позднесоветский и постсоветский корпус дисциплин, формирующий знание о культуре, в асинхронно-форсированном, особом режиме проходил и преодолевал свои собственные стадии генерализаций и диссимиляций, то оборачиваясь бастионом возвышенного, защищающим от инвазий догматизма диалектического и исторического материализма, то превращая его агентов в эпистемологических семионавтов, выбирающих из мозаики сложившихся Studies инструментальные способы артикуляции коллективных и индивидуальных травм. На институциональном уровне эта свобода выбора усиливала ту часть конкретных направлений исследований культуры, которую можно обозначить как «штудия»: упражняясь в использовании готовых и шаблонных междисциплинарных ходов, участники поля внимательно следили за переменами и перестановками в этом поле. Для определения миметических механизмов воспроизводства знания о культуре нам важно сделать особый акцент на периодах, когда оно превращается в политическое препятствие и начинает апроприироваться различными политическими силами, демонстрируя многообразные модусы своей резистентности. Одним из примеров здесь может послужить стремительно меняющаяся расстановка сил в сфере искусства на фоне холодной войны, которая в результате привела к консервации марксистского дискурса о прекрасном и возвышенном, а в постсоветское время позволяла с легкостью отказываться от марксистских установок в пользу своеобразным образом понятых феноменолого-герменевтических, в которых остаточность логики подозрения сохраняла и удерживала свою силу.

Ключевые слова: науки о культуре, культурология, штудии, studies, фетиш междисциплинарности, культурные практики, марксистско-ленинская эстетика, позднесоветское воображение, институциональная история советской эстетики

Who thinks abstractly: mimeticisms and tropes of post-Soviet knowledge about culture in the bastions of research programs

Ganzha A.G.
National Research University Higher School of Economics

Abstract: The late Soviet and post-Soviet body of disciplines that shapes knowledge about culture underwent and overcame its own stages of generalization and dissimilation in an asynchronous, forced, and special regime, sometimes turning into a bastion of the sublime, protecting against the invasions of dogmatism of dialectical and historical materialism, then turning its agents into epistemological semionauts, choosing from the mosaic of established Studies instrumental ways of articulating collective and individual traumas. At the institutional level, this freedom of choice strengthened that part of specific areas of cultural research that can be designated as "studia": practicing the use of ready-made and template interdisciplinary moves, participants in the field closely monitored changes and rearrangements in this field. In order to identify the mimetic mechanisms of reproducing knowledge about culture, it is important for us to place special emphasis on periods when it becomes a political obstacle and begins to be appropriated by various political forces, demonstrating diverse modes of resistance. One example here is the rapidly changing balance of power in the arts against the backdrop of the Cold War, which ultimately led to the preservation of Marxist discourse on the beautiful and the sublime, and in the post-Soviet era made it easy to abandon Marxist attitudes in favor of a peculiar understanding of phenomenological-hermeneutic concepts, in which the residual logic of suspicion retained and maintained its power.

Keywords: cultural studies, culturology, studies, interdisciplinarity fetishism, cultural practices, Marxist-Leninist aesthetics, late Soviet imagination, institutional history of Soviet aesthetics

Послевоенный и постсоветский корпус дисциплин, формирующий поле знания о культуре, включающий и программы его изучения, начиная с конца 1950-х гг., в асинхронно-форсированном режиме проходил и преодолевал свои собственные стадии генерализаций и диссимиляций, то оборачиваясь бастионом возвышенного, защищающим от инвазий догматизма диалектического и исторического материализма, то превращая его агентов в эпистемологических «семионавтов», выбирающих из мозаики сложившихся Studies инструментальные способы артикуляции коллективных и индивидуальных травм. Обозначение себя, к примеру, в качестве «эстетика» или «культуролога» до определенного момента ни к чему не обязывало и снимало часть негласного академического контракта, заставляющего присягать на верность всему противоречивому набору традиций конкретной гуманитарной и социальной науки. По мере разрастания факультетов, кафедр, диссертационных советов, эстетика, а потом и культурология, из «не-имени» или вытесненного имени стала превращаться в особую идентичность со своими прескрипциями, нормами и обязательствами, в периоды обострений общественных дискуссий и войн экспертиз представляя возможности, преференции и даже образуя некие риски для вынесения суждений с большими или меньшими политическими последствиями. Помимо этого, важным фактом является то, что самые значимые и продуктивные исследования велись вовсе не от лица абстрактной науки о культуре, а из локальных Studies На институциональном уровне эта свобода выбора усиливала ту часть конкретных направлений исследований культуры, которую можно обозначить как «штудия»: упражняясь в использовании готовых и шаблонных междисциплинарных ходов, участники поля внимательно следили за интеллектуальной модой, периодически опустошая базовый словарь дисциплин, расходуя его в интенсивных режимах, и регулярно пополняя его неологизмами, кальками и остроумными именованиями. Это позволяет нам делать особый акцент на периодах, когда знание о культуре превращается

в политическое препятствие и начинает апроприироваться различными политическими силами, демонстрируя различные модусы своей резистентности – от демонстрации своей малозначимости и факультативности по отношению к «большим» социальным и гуманитарным наукам – философии, истории, социологии, филологии и лингвистики, до демографических и гендерных перераспределений, когда в поле исследований культуры происходит возрастная поляризация ее агентов и деформация балансов гендерного равенства. В этом смысле эпистемическое неравенство на поверку оказывается балансировкой по правильному распределению сил этого воображаемого дисциплинарного равенства: представляя себя в институциональном поле, знанию о культуре приходится удерживать себя в состоянии вечного рекогносцировщика. Презумпция «исследования» и «исследователя» также становится инструментом мимикрирующих тактик. Институциональный дизайн того, что было принято называть советской марксистско-ленинской эстетикой, включал в себя историко-философский проект по ревизии идей искусства и прекрасного, надзирающую художественно-критическую часть, работу по включению пограничных фигур художественного и интеллектуального мира в число предтеч и стихийных приверженцев марксизма, а также закрепление с помощью общеизвестных примеров процедур интерпретации всего того, что признавалось реальным и существенным.

Чтобы соотнести работу миметического воображения диалектически мыслящего строителя коммунизма с его пресуппозициями, это воображение следует понимать как воображение толкователя эстетическим образом окрашенного всемирно-исторического процесса. Такое понимание могло бы продемонстрировать, как именно и на каких основаниях осуществлялся переход от марксистских методов к рецептивно-герменевтическим и был ли этот переход тем, что приверженцы cultural studies называли попыткой примирить или поляризовать условно-структуралистскую и условно-культуралистскую модель [1]. Парадокс заключается в том, что вся работа воображения марксиста-эстетика направлена на мысленную расстановку политических сил, выявление идейных балансов, смертельных идеологических грехов и мелких погрешностей, каталогизацию и комбинирование идейно-методологических аппаратов оппонентов и соратников, – при этом сам объект его интереса вынесен за скобки. Идейно-эстетическая борьба в искусстве в работах, маркированных как «эстетические», с конца 1950-х годов иллюстрируется чаще всего заимствованными примерами и чужими пересказами, а именно – кейсами из работ зарубежных коллег или общими местами школьного канона [2; 3]. Сама биография М.Ф. Овсянникова, основателя первой советской кафедры эстетики на философском факультете, может подсказать нам причины такого отрыва теории и практической философии – с послевоенного времени он находился в эпицентре институциональной борьбы, включавшей в себя тяжелое и упорное противостояние различных группировок [4; 5].

Все высказывания эстетического характера в работах марксистов-эстетиков данного периода чрезвычайно концентрированы и схоластически дотошны, они сворачиваются в тезисы, сцепленные с другими тезисами; при этом проверенные «сильные» тезисы чередуются со «слабыми». Таким образом, вся работа воображения направлена не на реальность жизни и искусства, а на саму расстановку сил и попытку верно уловить безопасные векторы мысли.

Такая работа воображения, упаковывающая идеологические заявления в эзотерические формы, имеет несколько риторических стратегий.

Во-первых, это тактика тавтологической очевидности, когда субъекту суждения подбирается такой предикат, который совпадает с ним по объему, но может быть истолкован как не совпадающий в историческом ракурсе рассмотрения.

Вторая стратегия может быть обозначена как «диалектическое уклонение»: объявить все выраженные позиции крайностями, признавая по ходу движения мысли лишь малую степень правоты в каждой из них.

В-третьих – апелляция к «сокровищнице мировой культуры» по гегелевскому образцу. Если Кант с этой позиции привносит в момент своих рассуждений элемент личного опыта,

некой перемены ума и чувства при столкновении с прекрасным и возвышенным, то наследник гегелевской и марксистской традиции помещает себя в бесконечный музей образцов достижений мирового духа, указывая на проверенные образцы для наглядной иллюстрации своих идей.

Марксистская эстетика активно использует язык экзегетики: понятия «истолкования» и «понимания» не кажутся ей чуждыми. Это понимание имеет несколько регистров, включающих в себя понимание места конкретного образца во всемирно-историческом процессе, его идеологической роли, применимости к этому образцу правил восхождения от абстрактного к конкретному [6]. С выветриванием обязательств по сохранению верности методу и интервенцией «буржуазных учений», которые якобы требуют пристального внимания в контексте необходимости контроля за мировыми тенденциями, происходит постепенная подмена имени одного метода именем другого. Но что это значит в содержательном отношении? Поскольку опираться на практические примеры было совершенно не обязательно, работа воображения обрушивается на самого субъекта производства буржуазного знания и помогает с шахматной дотошностью производить разбор заявленных концепций. При этом собственная позиция могла никак не заявляться и ограничиваться несколькими дежурными фразами о значении партийных постановлений в свете мировой борьбы за художественную интерпретацию. Таким образом, исследователь, вооруженный марксистским инструментарием, превращался в визионера идейного разложения, беспристрастно фиксирующий регрессию западного искусства и сопровождающей его теории [7]. Герменевтика в позднесоветское время стала именем самого смысла, легитимирующего поиск осмысленного в бессмысленном, распадающемся и разлагающемся. Надежды на герменевтику были чрезмерны, – ведь она никогда не предлагала ничего конкретного, а участвовала в создании фундамента наук о культуре. Поэтому можно сказать, что, утратив относительную конкретность диалектических подходов, герменевтика перенаправила усилия позднесоветского воображения в сторону инструментальной утопии.

Литература

1. Куренной В.А. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос, 2012, No 1 (85). С. 14–79.
2. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. М.: Искусство, 1956.
3. Вопросы марксистско-ленинской эстетики. М.: Госполитиздат, 1956.
4. Felix Aestheticus: гуманитарная миссия эстетики. Воспоминания и научные доклады // Материалы VII Овсянниковской международной эстетической конференции (ОМЭК VII). Москва, МГУ, 19–20 ноября 2015 года.
5. Столович Л.Н. Покинула ли «Сова Минервы» эстетику? // Вопросы философии, 2012, № 7. С. 75–86.
6. Борьба идей в эстетике: V Гегелевский и V Международный конгрессы по эстетике. М.: Наука, 1966.
7. Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественная рецепция и герменевтика. М.: Наука, 1985.

Конструирование ниш и науки о человеке: критические замечания.

Герасимов Ф.С.
Независимый исследователь
г. Воронеж, Россия
E-mail: f308@inbox.ru

Аннотация: Многие авторы считают, что применение теории конструирования ниш обеспечивает надежную основу для наук о человеке. Мы выделяем некоторые особенности, которые необходимо учитывать при применении этой заимствованной из биологии теории к изучению феноменов, связанных с человеком. Обобщая некоторые критические замечания относительно конструирования ниш, мы приходим к выводу, что рост числа исследований с использованием этой теории объясняется скорее модой, чем ее полезностью. В гуманитарных и общественных науках она имеет малую объяснительную силу, не позволяет прогнозировать развитие событий и, в большинстве случаев, не предлагает проверяемых гипотез о связанных с человеком феноменах.

Ключевые слова: теория конструирования ниш, культура, науки о человеке, когнитивные способности, антропология, археология.

Niche construction and human sciences: critical remarks.

Gerasimov Ph.S.
Independent researcher
Voronezh, Russia
E-mail: f308@inbox.ru

Abstract: Many authors believe that the application of niche construction theory provides a reliable foundation for human sciences. We highlight some features that should be considered when applying this theoretical framework, borrowed from biology, to the study of human-related phenomena. Summarizing some critical remarks on niche construction, we conclude that the growth in the number of studies using this theory is explained more by fashion than by its usefulness. In the humanities and social sciences, it has limited explanatory power, does not allow predicting of event occurrences, and generally does not offer testable hypotheses about human-related phenomena.

Keywords: Niche construction theory, culture, human sciences, cognitive abilities, anthropology, archeology.

Комплекс идей, связанных с понятием ниши, получает все большее распространение в общественных и гуманитарных науках: предполагается, что процессы формирования ниш служат основой большинства (если не всех) феноменов, связываемых с человеком – от языка и когнитивных способностей до социальных институтов и виртуальной реальности [1-3]. Считается, что привлечение разработанного в биологии концептуального аппарата теории конструирования ниш (NCT) может способствовать более глубокому и всестороннему изучению этих феноменов. Но так ли это?

Каждый случай переноса идей между различными дисциплинами должен сопровождаться установлением корректности и обоснованности такой операции. К сожалению, в случае NCT такая рефлексивная работа не была проведена в достаточной степени и/или ее результаты слабо знакомы ученым-гуманитариям. Из-за этого не всегда можно понять, что тот или иной автор имеет в виду, говоря о нишах. Достаточно волюнтаристское выделение различных типов ниш и процессов их создания, а также отсутствие более-менее четких и однозначных определений используемых понятий, приводят к невозможности сопоставления и оценки различных исследований. Наша статья направлена на выявление особенностей и оправданности применения NCT в гуманитарном научном дискурсе. Отметим, что наше исследование не завершено и результаты его носят предварительный характер.

Конструирование ниши понимается в эволюционной биологии как «процесс, посредством которого организмы изменяют — намеренно или непреднамеренно —

селективную среду обитания своих собственных и других организмов до такой степени, что это изменяет давление отбора, действующее на нынешнее и будущие поколения указанного организма или организмов» [3, p. 337]. Соответственно, NCT рассматривает адаптацию организмов как результат действия двух эквивалентных по важности и взаимосвязанных процессов – естественного отбора и конструирования ниш. Поскольку конструирование ниш представлялось «неучтенным (neglected) эволюционным процессом», оставленным без внимания стандартными эволюционными подходами, основоположники NCT претендовали на новизну и научную значимость своей теории, утверждая, что она «обеспечивает как философский сдвиг в нашем рассмотрении и понимании эволюционных процессов, так и проверяемую научную теорию» [4, p. 785]. Однако, как отмечают критики, «до сих пор сторонники нишевого конструирования не сформулировали никаких новых общих теоретических принципов, которые могли бы стать руководством для новых эмпирических исследований» [5, p. 5]. Кроме того, оказалось, что «процессы создания ниш являются общепринятым аспектом эволюционной экологии, и нет необходимости создавать отдельное направление эволюционной мысли, чтобы включить их» [6, p. 938]. И в целом, скептики не видят причин, «по которым конструирование ниш создает какие-либо проблемы для стандартной эволюционной теории, не говоря уже о каких-либо причинах для фундаментального пересмотра» [7, p. 1232].

Хотя положение NCT в системе биологического знания далеко от незыблемого, она получила широкое распространение за пределами биологии. Среди возможных причин этого распространения мы выделим две. С одной стороны, некоторым биологам свойственно рассматривать человеческие когнитивные способности и социальные черты как преимущественно (или даже исключительно) биологические феномены, подчиняющиеся действию законов эволюции. Многие антропологи, археологи и психологи разделяют такую позицию. Однако традиционные натуралистические подходы к анализу этих феноменов – эволюционная психология и теория двойного наследования – слишком сосредоточены на генетическом наследовании и не предоставляют теоретических инструментов для анализа материальной культуры (ограничиваясь ее информационным измерением). В этом случае переход к использованию NCT с ее акцентом на материальности и экологическом наследовании является достаточно логичным шагом. С другой стороны, авторы, отрицающие нейронный редукционизм и оспаривающие локализацию разума в мозге, обращаются к неортодоксальным биологическим подходам для обоснования своей позиции. Сторонники расширенного и распределенного понимания разума учитывают как роль объектов внешнего мира в конституировании когнитивных процессов, так и двунаправленную трансформирующую связь «агент-мир». Оба эти положения созвучны идеям NCT, что приводит к использованию терминологии нишевого строительства в литературе, посвященной ситуативному познанию.

Использование NCT для изучения связанных с человеком феноменов имеет несколько особенностей. Одна из них – отказ подавляющего большинства ученых от формального моделирования. Причина проста: для такого моделирования необходимо выделение дискретных четко идентифицируемых и количественно измеримых сущностей, называемых (физическими и семантическими) ресурсами. Но для мира культуры возможность четкого выделения подобных сущностей (например, типов каменных орудий труда) – скорее исключение. Кроме того, к такому моделированию вполне применимы аргументы А. Бутела и Т.Луэнса [8] относительно моделей культурной эволюции. А именно, в моделях предполагается наличие не связанных существенным и необходимым образом акторов процесса конструирования ниш, реагирующих на внешние силы, причем процессы макроуровня объясняются путем обобщения событий на микроуровне. Такой подход значительно искажает реальные социальные процессы и снижает ценность моделирования.

Другая особенность: NCT распространяет одно понятие – нишу – и на биологическую активность, и на все формы человеческой деятельности, а также на все влияющие на них факторы. Эта тенденция к максимально расширительному толкованию понятия «ниша» не

только приводит к «отсутствию унифицированных параметров и к универсально применимой терминологии, которая не имеет очевидной функции» [6, p. 937], но и не позволяет различать сознательные и бессознательные процессы. При этом «теряются интенциональность, мотивация и мышление, в понимании которых заинтересованы большинство археологов/антропологов» [6, p. 940].

Третья особенность NCT связана с проблемой человеческой уникальности. Как отмечает С.Хейес, «если почти все животные участвуют в создании ниш, нам нужно выяснить, что же такого есть в создании ниш человеком, что отличает нас от других» [9, p. 44]. И здесь позиции основателей NCT существенным образом расходятся. Исходная модель тройного наследования, настаивая на том, что «артефакты играют в эволюционных процессах роль, отличную от "информационных" факторов эволюции» [10, p. 305], препятствовала, с одной стороны, упрощенному пониманию артефактов только как источников информации, доступной для дальнейшей интракраниальной обработки, а с другой – их аналитическому отождествлению с абиотическими особенностями среды. Однако затем Одлинг-Сми предположил, что модель тройного наследования является «неоправданно сложной и ограничивающей» [4, p. 787], и свел системы культурного и экологического наследования «к единой экологической системе наследования, состоящей из информационных, а также физических, материальных и энергетических ресурсов» [4, p. 787]. Такая новая система основана на общих принципах, которые должны применяться ко всем организмам, что препятствует установлению специфики человеческой культуры. Лаланд, напротив, предпочитает в последнее время говорить не о нишах, а о культуре, признавая, что «при эволюционном развитии в линии гоминин явно произошло нечто необычное» [11, с. 52]. И значительную долю объяснения этого «нечто» составляет культура [11, с. 57], более того, «человеческий разум не просто сформирован для культуры – он сам сформирован культурой» [11, с. 57].

Следующая особенность – многообразие видов ниш, упоминающихся в литературе. Среди них – ниши развития [12], включающие эпигенетическую и когнитивную среду, влияющую на онтогенетическое развитие организма. В общем виде такие ниши не передаются следующим поколениям и не наследуются экологически, что и отличает этот подход от NCT. Далее, упоминаются когнитивные ниши [13]. Здесь идет речь о том, что генетические изменения, лежащие в основе увеличения одних когнитивных способностей, порождают отбор для увеличения других, так что многочисленные аспекты человеческого интеллекта взаимно усиливали друг друга в ходе эволюции [14]. При этом эффекты генно-культурной коэволюции исключаются из рассмотрения. Влияние накопления и передачи знаний на развитие когнитивных способностей отражено в представлении о культурных нишах; сторонники этой версии исходят из того, что культурные изменения позволяют людям быстрее адаптироваться к новой среде, чем эволюционные [15]. Теоретики расширенного разума вновь говорят о когнитивных нишах [16], однако их подход учитывает вклад артефактов и культуры в трансформацию когнитивных процессов. Кроме указанных, в исследованиях упоминается конструирование многих других видов ниш – аффективных, социальных, биологических и т.д.

Следующий интересующий нас вопрос – насколько полезно использование этих идей в науках о человеке? Основные примеры, упоминаемые в литературе по NCT – толерантность к лактозе и серповидноклеточная анемия – не были предсказаны или выведены из нее, и изучались в рамках теории коэволюции генов и культуры. На примере дискуссий о возникновении сельского хозяйства (и на некоторых других примерах) критиками показано, что все существующие здесь теории совместимы с конструированием ниш: «все они согласуются с NCT, на самом деле они претендуют на то, что в определенном смысле вытекают из его предпосылок и имеют общее значение. Тем не менее, они предлагают различные, а в некоторых аспектах и противоречащие друг другу, сценарии причинных связей» [17, p. 2607], причем NCT не предлагает никаких инструментов для оценки и сравнения этих конкурирующих теорий. Кроме того, отмечается, что NCT не может объяснить создание сильно различающихся ниш в сходных условиях. Таким образом, «NCT

не подходит в качестве теории причинности человеческих явлений в том “сильном” смысле, который приписывают ей ее наиболее активные сторонники» [17, p. 2610], всего лишь предлагая «новую терминологию, которую можно применить к старым теориям, изменив их название» [6, p. 944]. Со своей стороны, защитники NCT демонстрируют совместимость ее положений с теориями, принятыми, например, в психологии развития [18], однако не объясняют, чем и как использование идей NCT может способствовать развитию этих теорий.

Вывод из нашего небольшого (и, повторим – предварительного) исследования таков: распространение NCT за пределы биологического знания значительно уменьшает ее объяснительную и предсказательную силу, мало что добавляет к концепциям, уже имеющимся в науках о человеке, и не предлагает (в большинстве случаев) проверяемых гипотез о связанных с человеком феноменах. В целом, обоснованным представляется следующее достаточно резкое замечание: NCT «не может служить основой для объяснения эпизодов и явлений, связанных с эволюцией человека» [17, p. 2614].

Литература

1. Розов Н. С. Ответы обществ на вызовы, пробы и «волшебные палочки» в истоках социальной эволюции // Философия науки и техники. 2025. Т. 30. № 1. С. 34–47.
2. Бикертон Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей. М.: Языки славянских культур, 2012. – 336 с.
3. Riede F. Niche Construction Theory and Human Biocultural Evolution. In: Handbook of Evolutionary Research in Archaeology. Ed. A.M. Prentiss. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. P. 337-358.
4. Kendal J., Tehrani J.J., Odling-Smee J. Human Niche Nonstruction in Interdisciplinary Focus // Phil. Trans. R. Soc. B. 2011. Vol. 366. P. 785–792.
5. Futuyma D.J. Evolutionary Biology Today and The Call for an Extended Synthesis // Interface Focus. 2017. Vol. 7: 20160145.
6. Spengler R.N. Niche Construction Theory in Archaeology: A Critical Review // J Archaeol Method Theory. 2021. Vol. 28. P. 925–955.
7. Scott-Phillips T.C., Laland K.N., Shuker D.M., Dickins T.E., West S.A. The Niche Construction Perspective: A Critical Appraisal // Evolution. 2014. Vol. 68(5). P. 1231-1243.
8. Boutel A., Lewens T. Cultural evolution and the mind. In: The Routledge Handbook of Philosophy of the Social Mind. Ed. J. Kiverstein. London, New York: Routledge, 2017. P. 53-71.
9. Heyes C. Précis of Cognitive Gadgets: The Cultural Evolution of Thinking // Behavioral and Brain Sciences. 2019. Vol. 42, e169. P. 1–58.
10. Schultz E.A. Niche Construction and the Study of Culture Change in Anthropology: Challenges and Prospects // Interdisciplina. 2015. Vol 3(5). P. 303-327.
11. Лейланд К. Неоконченная симфония Дарвина: Как культура формировала человеческий разум. М.: Альпина нон-фикшн, 2024. – 612 с.
12. Stotz K. 2017 Why Developmental Niche Construction is Not Selective Niche Construction: And Why it Matters // Interface Focus. 2017. Vol. 7: 20160157.
13. Pinker S. The Cognitive Niche: Coevolution of Intelligence, Sociality, and Language // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2010. Vol. 107 (supplement_2), P. 8993-8999.
14. Morgan T.J.H. Testing the Cognitive and Cultural Niche Theories of Human Evolution // Current Anthropology. 2016. Vol. 57(3). P. 370–377.
15. Laland K.N., O’Brien M.J. Cultural Niche Construction: An Introduction // Biol Theory. 2011. Vol. 6. P. 191–202.
16. Wheeler M., Clark A. Culture, Embodiment and Genes: Unravelling the Triple Helix // Phil. Trans. R. Soc. B. 2008. Vol. 363. P. 3563–3575
17. Wallach E. Niche Construction Theory as an Explanatory Framework for Human Phenomena // Synthese. 2016. Vol. 193. P. 2595–2618.

18. Flynn E.G., Laland K.N., Kendal R.L., Kendal J.R. Target Article with Commentaries: Developmental Niche Construction // Dev Sci. 2013. Vol. 16. P. 296-313.

Объяснение и рефлексивность: перспективы

Груздев А.Д.
Санкт-Петербургский государственный университет,
магистрант 1 курса по направлению «Прикладная этика»
E-mail: gruzdev457@yandex.ru

Аннотация: в докладе предпринимается обоснование возможности объяснения как одной из ведущих научных практик в контексте критики самой способности объяснять как наделённой властью. Наиболее перспективными в этой оптике принимаются философская экология (Б. Латур, Ф. Гваттари, Т. Мортон) и проблематика идентичности, распространяющаяся не только на человеческий опыт (Д. Харауэй, Ю. Такер, Р. Брайдотти). Достижение объяснения без власти возможно в том случае, если принимается образ плюрализма наук и природ, что ведёт к переходу от понятия репрезентации к феноменологично ориентированным способам высказываний и практик. Немаловажной становится и эстетическая сторона современной философии, где возможность взаимодействий с объектами преимущественно достижима именно благодаря не формализованному опыту и пониманию другого в его идентичности.

Ключевые слова: объяснение, идентичность, философская экология, феноменология, природа, репрезентация.

Explanation and reflexivity: perspectives

Gruzdev A.D.
Saint-Petersburg State University

Abstract: The report attempts to justify the possibility of explanation as one of the leading scientific practices in the context of criticizing the ability to explain itself as endowed with power. The most promising in this optics are philosophical ecology (B. Latour, F. Guattari, T. Morton) and problems of identity extending beyond human experience (D. Haraway, E. Thacker, R. Braidotti). The achievement of an explanation without power is possible if one adopts the image of pluralism of sciences and nature, which leads to a transition from the concept of representation to phenomenologically oriented modes of expression and practice. The aesthetic aspect of contemporary philosophy is becoming important, where the possibility of interaction with objects is mainly attainable by the non-formalized experience and understanding of another in his identity.

Keywords: explanation, identity, philosophical ecology, phenomenology, nature, representation.

Объяснение как научная практика включает в себя не только установление причинно-следственных связей и формулирование теорий, но и постоянное переосмысление методов и результатов в свете новых данных и критической оценки собственных предпосылок. Это требует рефлексивности — способности исследователя анализировать собственные методологические выборы, этические перспективы и рассматривать собственную работу как часть более общего вида, а не как единственную верную оптику. Значимость рефлексивности

наиболее отчётливо показана, как представляется, в работах Б. Латура «Политика объяснения» [1], «Политики природы», «Несводимое» и др. Как видно, даже в наименованиях текстов Латура присутствует властное устройство, которое он стремится скорее обойти, чем «деконструировать». Обход, намеченный им, задевает и понимание знания: «Подобно тому, как мы различали Науку и науки, мы противопоставим политике-власти, наследнице Пещеры, политику, понимаемую как постепенное построение общего мира» [2, с. 26]. Эта оптика соседствует не только с методологией наук, но и с видением идентичности, распространяющимся и на не-человеческих существ. Включение разных форм жизни предоставляет возможность не устанавливать конечную цель для практики объяснения, которая может разворачиваться в различных вариантах, но также и позволяет предложить форму сообщества, которое было бы не основано на иерархии идентичностей. «Увечность» нововременной субъективности в том, что попытка задать определённое целеполагание оборачивается для жизни вымиранием или «усечением» других форм жизни, которые не могут быть включены в такой план. помимо этого, сама субъективность в результате становится лишь проекцией для рационального целеполагания. «Действие», которое понято как выброшенное в будущее, обнаруживает пустотность актуальности и превращение субъекта в надзирателя исполняемого плана. Обнаружение нового основания для родства — задача, которая решается в проектах «философской экологии», к представителям которой можно отнести как Латура, так и Т. Мортона, Ф. Гваттари, Ю. Такера. Именно стремление к тому, чтобы показать возможность солидарности с не-людьми в актуальности делает важной обращение к этому мышлению. Такое мышление можно назвать рефлексивным, так как оно задействует знание о нас как включённых в более обширный ансамбль или дискурс форм жизни — как показывает Такер, мышление вообще нельзя назвать тем, что является строго человеческим.

И Гваттари, и Мортон используют понятие солидарности без установления той идентифицирующей формы, которая объединяет разные формы жизни. Экологическая философия ставит под вопрос не только «совокупность субъективности», но и способов репрезентовать, маркировать, отследить и объяснить какие-либо события. «Фактоид» [3], введённый Мортоном в качестве властного репрезентативного механизма объяснения, — это сборка той оптики, которая побуждает к вынесению решений, действий и заставляет «быть активным» субъекта-носителя идентичности. Преодоление «фактоидности» в объяснениях равносильно не только попытке обойти конечный уровень высказывания и решения, но и не наделять какую-либо идентичность единственно властными полномочиями. Одним из важнейших контекстов в этом аспекте является отказ от понятия «природы», который начинает Латур [2] в опыте формирования проекта экологической демократии и продолжает Мортон в своих работах по концептуализации объектности и, в частности, последней книге о феноменологии священного в экологической перспективе [4]. «Природа» как концепт не может быть применим, так как он упрочивает власть одного типа объяснения и выстраивает иерархию не только идентичностей и форм жизни, но и способов обращения с ними, в том числе и по их отбору.

Далее, можно подойти к образу объяснения без власти не только с методологической и онтологической, но и с этической точки зрения. В этом отношении важно заметить, что Гваттари и Харауэй напрямую указывают необходимость разработки нового «типа» этики ответственности. Критическое отношение к понятию «ответственности» представлено, например, Ю. Хабермасом. Демаркация между до-секулярным языком юриспруденции (понятие «греха») и секулярным («вина» или «ответственность») является ненужной, так как в человеческой истории XX века можно наблюдать события, которые выходят за рамки секулярного круга преступления. В этом случае Хабермас указывает на необходимость «переводов» с одного языка на другой, что могло бы обеспечить рефлексивность самой этической позиции. Похожим образом можно поступить с объяснением: Аннмари Мол, нидерландский антрополог, в книге «Множественно тело: онтология в медицинской практике» поступает именно так, описывая опыт «перевода» одной идентичности

(атеросклероз) разными «языками», то есть врачами различных специализаций. Эта «переводимость» [5] позволяет ей отследить точки понимания переводов и обнаружить их взаимовлияние друг на друга. Такие перспективы предлагают рефлексивное отношение к ответственности и объяснению благодаря тому, что обращают внимание на множественный характер идентичностей и разных подходов по их обнаружению. Достижение объяснения без власти — это, таким образом, попытка обосновать частную ответственность конкретной ситуации с помощью рефлексии и языковой практики, которая присуща определённой роли, например, хирургу или его пациенту.

Кажется правомерным сказать, что именно отход от классической перспективы идентичности как корреляции или принадлежности и внимание к не-человеческим существам позволяет открыть такую сторону объяснения, зафиксировать переводимость знания благодаря различным технологиям, которые образуют огромное количество различных акторов. Сосуществование этики ответственности и экологически ориентированной философии предлагает перспективы по расширению наших собственных представлений о влиянии в футуральном отношении: важность повседневных действий в контексте экологических вызовов подчёркивается многими авторами неоднократно, однако в тривиальной интерпретации она становится политическим направленным императивом, т.е. «фактоидом», между тем как более продуктивное понимание кроется, как представляется, в том, чтобы помнить о возможном удовольствии не-человеческих существ. Эта область заслуживает более подробного рассмотрения, так как создание этики ответственности, ориентированной на удовольствие — значительный вопрос, который ставится, например, М. Фуко в тексте-интервью «О генеалогии этики» как один из ведущих вопросов современности [6]. Действительно, в то время как институциональность не кажется достоверной и абсолютно желанной формой взаимодействия между сообществами, важным становится продумать, какая модель может быть релевантной для того, чтобы модифицровать институты или сформулировать определённые основания для того, чтобы предложить другую вариацию коммуникации в обществе. Усиление роли рефлексивности подчёркивается именно в контексте философской экологии, так как эта парадигма предполагает большую чувствительность к «разорванным» объектам и нелинейным онтологическим моделям («гиперобъектность», «хаосмос» [7], «парламент вещей [2] и др.).

Завершая тему, следует сказать, что автором не предполагается отказ от объяснения как такового, но предлагается возможность выведения рефлексивного опыта объяснения на основе мышления об идентичности и философской экологии. Методы, которые могут быть использованы для поддержания этой оптики, разрабатываются и предлагаются не только специальными направлениями типа STS, но и в политической философии (Дж. Агамбен, Ф. Гваттари), объектно-ориентированной философии (Г. Харман, Л. Брайант), антропологии и и социологии, устремлённой к «мультинатурализму» [8] (К. Э. Аппиа). Исследование сил и слабостей объяснения — это не только человеческая стратегия, но и аналитика нашей вовлечённости в коммуникацию с не-человеческими существами, потому и модели этой важной научной практики в современности могут быть продуктивными в этой перспективе.

Литература

1. Латур Б. Политика объяснения: альтернатива // Социология власти. 2012. №8. С. 113-143
2. Латур Б. Политики природы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 336 с.
3. Мортон Т. Стать экологичным. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. 200 с.
4. Morton T. Hell: in search of a christian ecology. New York: Columbia University Press, 2024. 257 p.
5. Мол А. Множественное тело: онтология в медицинской практике. Пермь: Гиле Пресс, 2017. 254 с.
6. Фуко М. О генеалогии этики: обзор текущей работы // Философско-литературный журнал «Логос». 2008. №2. С. 135-158.

7. Guattari F. Chaosmosis : an ethico-aesthetic paradigm. Indiana University Press, 1995. 142 p.
8. Аппиа К. Э. Этика идентичности. НЛО, 2024. 504 с.

Когнитивное моделирование как предмет философии науки

Гулиев А.Я.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, аспирант
E-mail: guliev.aya@edu.spbstu.ru

Аннотация: В статье рассматривается метод когнитивного моделирования в контексте философского анализа развития интеллектуальных технологий. Показано, что моделирование познавательных процессов, характеризующих деятельность человека, служит связующим звеном между когнитивными науками и философией, позволяя исследовать природу интеллекта и функции нейросетевых систем, имитирующих интеллектуальное поведение. Особое внимание уделено проблемам репрезентации знаний и эпистемологическому статусу интеллектуальных технологий. Предлагается аналитическая перспектива, объединяющая философию познания и когнитивные модели в проектировании смарт систем. Подчеркивается значение когнитивного моделирования для понимания соотношения естественного и искусственного интеллекта (ИИ), а также для разработки нормативных критериев прозрачности и надежности искусственных систем. Методы моделирования когнитивных архитектур позволяют создавать экспериментальные платформы для комплексного исследования функций познающего субъекта, а также формирования теоретических моделей искусственного интеллекта на базе нейронауки и философии сознания.

Ключевые слова: когнитивное моделирование, философия науки, искусственный интеллект, нейросетевые модели, эпистемологический агент, технология, познание.

Cognitive modeling as a subject of philosophy of science

Guliev A. Y.
Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University

Abstract: The article discusses the method of cognitive modeling in the context of a philosophical analysis of the development of intelligent technologies. It is shown that the modeling of cognitive processes characterizing human activity serves as a link between cognitive sciences and philosophy, allowing us to explore the nature of intelligence and the functions of neural network systems that simulate intellectual behavior. Special attention is paid to the problems of knowledge representation and the epistemological status of intelligent technologies. An analytical perspective is proposed that combines the philosophy of cognition and cognitive models in the design of smart systems. The importance of cognitive modeling is emphasized for understanding the relationship between natural and artificial intelligence (AI), as well as for developing regulatory criteria for transparency and reliability of artificial systems. Methods of modeling cognitive architectures allow us to create experimental platforms for a comprehensive study of the functions of a cognitive subject, as well as the formation of theoretical models of artificial intelligence based on neuroscience and philosophy of consciousness.

Keywords: cognitive modeling, philosophy of science, artificial intelligence, neural network models, epistemic agent, technology, cognition.

Когнитивное моделирование представляет собой метод исследования познавательных процессов посредством построения формальных моделей, позволяющих анализировать и объяснять интеллектуальное поведение. Возникнув на стыке философии, психологии и информатики, данный метод приобрёл ключевое значение в понимании природы интеллекта и в разработке искусственных когнитивных систем. В философии науки моделирование трактуется как посредник между теорией и реальностью, обеспечивающий объяснительную и предсказательную функции научного познания [1, с. 213]. В контексте когнитивных исследований оно становится инструментом анализа самого процесса мышления, а в сфере интеллектуальных технологий — средством оценки эпистемологических оснований искусственного интеллекта [2, с. 45].

Современные интеллектуальные технологии — от экспертных систем до нейронных сетей — создают новые философские проблемы. Актуальным остаётся вопрос о границах машинного познания: может ли искусственная система обладать знанием или лишь имитирует когнитивные функции человека? Тест Тьюринга предложил прагматический критерий мышления, но аргумент Серла о «китайской комнате» показал, что синтаксическая обработка символов не равна пониманию [3, с. 182]. Эти рассуждения выявили фундаментальную проблему репрезентации и интерпретации знаний в ИИ. С философской точки зрения, знание предполагает не только правильные ответы, но и осмысленное обоснование, чего лишены непрозрачные нейросетевые модели.

Методы когнитивного моделирования активно применяются при проектировании когнитивных архитектур, таких как ACT-R и Soar. Они имитируют различные модули познавательной деятельности (внимание, память, восприятие, мышление) и позволяют анализировать интеллектуальные процессы в терминах обработки информации. Эти архитектуры не только вдохновлены результатами нейронаук, но и сами становятся теоретическими моделями, проверяющими гипотезы о структуре разума. Например, ACT-R связывает функции когнитивных модулей с активностью конкретных зон мозга, демонстрируя, что философские идеи о модульности интеллекта могут получать эмпирические подтверждения [4, с. 78]. Таким образом, когнитивное моделирование служит экспериментальной платформой для философии сознания, превращая абстрактные концепции в проверяемые модели.

Ключевая роль философского подхода в когнитивном моделировании проявляется в его способности объединять уровни анализа — от теоретико-познавательного до технологического. Каждая когнитивная модель выступает не просто инструментом инженерного проектирования, но и способом экспликации того, как мыслит человек и как это мышление можно формализовать. При этом философия науки получает возможность изучать познание не только описательно, но и конструктивно. Моделируя когнитивные процессы, исследователь выявляет внутренние механизмы знания и границы его формализации.

На этой основе формируется новая методологическая перспектива развития ИИ, предполагающая разработку технологии познания (Epistemic Technology) на базе объединения когнитивной науки и философии. В этом контексте, интеллектуальные технологии рассматриваются как эпистемологические агенты, выполняющие операции получения, хранения и интерпретации знаний. Критерии надёжности, прозрачности, обоснованности соотносятся с оценкой адекватности интеллектуального поведения искусственных агентов в процессе познания [5, с. 12]. Такой взгляд позволяет выстраивать нормативные ориентиры развития ИИ, где философия и когнитивная наука взаимодействуют в общем аналитическом поле. Важно подчеркнуть, что когнитивное моделирование не сводится к простому воспроизведению поведенческих паттернов. Оно включает в себя построение структурных аналогов когнитивных механизмов, которые могут быть подвергнуты как эмпирической, так и логико-философской проверке. Например, архитектура Soar демонстрирует,

как универсальный решатель задач может функционировать на основе ограниченного набора когнитивных принципов, что ставит под сомнение необходимость жёсткой модульности разума [6, с. 34], позволяет предлагать гибридные модели, учитывающие как структурную, так и функциональную сложность познавательных процессов.

Современное развитие когнитивных и интеллектуальных систем свидетельствует о переходе от моделей, имитирующих отдельные когнитивные функции, к построению полноценных когнитивных агентов — систем, обладающих способностью к целеполаганию, обучению, планированию и взаимодействию в динамичных средах. Путь интеллектуальной технологии и когнитивной науки от первых экспертных систем к современным самообучающимся агентам отражает не только технологическую эволюцию, но и глубокую трансформацию понимания интеллекта.

Философские следствия этой технологической эволюции глубоки. Самообучающиеся агенты обладают признаками когнитивной активности, агентности, адаптивности — качествами, ранее считавшимися исключительно прерогативой естественных субъектов. Искусственный интеллект перестаёт быть просто вычислительным инструментом: он становится активным участником когнитивных процессов, адаптивным агентом в сложных динамических средах, претендующим на новые формы субъектности в интерактивных технологических средах современного социума. В этой связи актуализируются идеи о возникновении техносубъектов, которые не только проявляют когнитивную активность, но и способны участвовать в социальной коммуникации, принимать решения в условиях неопределённости, вступать в отношения симметричного взаимодействия с людьми [7, с. 68]. Технологические аспекты когнитивного моделирования в создании интеллектуальных систем уже выходят за рамки инженерии: они требуют философского осмысления новых форм субъектности, ответственности, автономии искусственных агентов.

Появление и распространение в разных сферах деятельности самообучающихся смарт систем ставит перед человечеством новые задачи, связанные с необходимостью разработки этических, правовых и социальные норм, регулирующих взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Когнитивное моделирование, следовательно, является не только методом научного анализа, но и средством философской рефлексии, способствующим осмыслению природы познания и границ искусственного интеллекта. Кроме того, когнитивное моделирование открывает путь к новому пониманию знания как динамического, интерактивного и контекстуально зависимого процесса. Традиционная эпистемология часто рассматривала знание как статическое состояние субъекта, но когнитивные модели показывают, что знание возникает в процессе взаимодействия с окружающей средой и постоянно пересматривается в свете новых данных. Это особенно актуально для систем ИИ, функционирующих в реальном времени и адаптирующихся к изменяющимся условиям. Таким образом, когнитивное моделирование не только помогает понять, как работает ИИ, но и переформулирует саму задачу философии науки — от анализа готовых теорий к исследованию процессов их генезиса и функционирования.

В заключение следует отметить, что когнитивное моделирование становится неотъемлемой частью современной философской методологии. Оно позволяет преодолеть разрыв между абстрактной теорией и эмпирической практикой, обеспечивая конструктивный диалог между философией, когнитивной наукой и компьютерной инженерией. В условиях стремительного развития интеллектуальных технологий именно такой междисциплинарный подход способен обеспечить глубокое понимание, как возможностей, так и ограничений искусственного интеллекта, а также заложить основы этически и эпистемологически обоснованного его применения.

Литература

1. Гастев Ю.А. О гносеологических аспектах моделирования // Логика и методология науки. М.: Наука, 1967. С. 211–218.

2. Баксанский О.Е. Моделирование в науке: когнитивные модели и интеллект. М.: URSS, 2018. 304 с.
3. Курилович И.С., Голубов М.Д., Перова Н.В., Занина А.П. Искусственный интеллект как метафора, объект и субъект философского анализа // Вопросы философии. — 2024. № 9. С. 177–189.
4. Anderson J.R. How Can the Human Mind Occur in the Physical World? — New York: Oxford University Press, 2007. 316 p.
5. Alvarado R. AI as an Epistemic Technology // Science and Engineering Ethics. 2023. Vol. 29, Article 32. P. 1–23.
6. Laird J.E., Newell A., Rosenbloom P.S. SOAR: An architecture for general intelligence // Artificial Intelligence. 1987. Vol. 33, Issue 1. P. 1–64.
7. Игнатьев В.И. И грядет «другой» актор... Становление техносубъекта в контексте движения к технологической сингулярности // Социология науки и технологий. 2019. Т. 10, № 1. С. 65–75.

Целесообразность как альтернативный критерий научности в условиях кризиса воспроизводимости

Деветьяров Р.Д.
Магистр.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, аспирант
E-mail: devetyarov.rd@edu.spbtu.ru

Аннотация: В статье рассматривается кризис воспроизводимости как фундаментальная проблема, ставящая под сомнение эпистемический авторитет науки. Анализируются классические определения воспроизводимости и выявляются присущие им трудности, связанные с неоднозначностью требований о тождестве результатов и методов постановки реплицируемого эксперимента. Предлагается путь преодоления кризиса через переосмысление критерия научности на основе прагматической философии. Альтернативой воспроизводимости выдвигается принцип целесообразности и продуктивности научного утверждения.

Ключевые слова: воспроизводимость, научное знание, критерии научности, целесообразность, истина, эксперимент, технология.

Expediency as an alternative criterion of scientificity in the context of the reproducibility crisis

Devetyarov R.D.
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

Abstract: This article examines the reproducibility crisis as a fundamental problem that challenges the epistemic authority of science. It analyzes classical definitions of reproducibility and identifies their inherent difficulties related to the ambiguous requirements for the identity of results and methods in setting up a replicable experiment. A path to overcoming the crisis is proposed through a rethinking of the criterion of science based on pragmatic philosophy. The principle of expediency and productivity of a scientific statement is put forward as an alternative to reproducibility.

Keywords: reproducibility, scientific knowledge, criteria of science, expediency, truth, experiment, technology

Воспроизводимость – это один из краеугольных камней эпистемического авторитета науки. Можно даже утверждать, что возможность воспроизвести эксперимент или

наблюдение является сущностной характеристикой научного знания. Ситуация кризиса воспроизводимости, в таком случае, ставит нас на границу научности и призывает либо переосмыслить понятие воспроизводимости, либо переопределить критерии того, что мы называем научным знанием. В этой статье мы предложим на рассмотрение путь к выходу из кризиса воспроизводимости через переосмысление такого критерия научного знания как истинность при помощи понятия прагматической целесообразности. В начале мы определим, что в данной статье будет пониматься под воспроизводимостью, затем опишем ситуацию кризиса воспроизводимости и лишь затем укажем на одно из возможных направлений выхода из него.

Что такое воспроизводимость? Учитывая разнообразие методов, целей и особенностей научных исследований сложно дать однозначно описывающее этот феномен определение. Ханс Раддер выделяет, принимаемое затем многими комментаторами [1, с. 9], следующее описание воспроизводимости. Под ней он предлагает понимать только способность получить те же результаты при помощи тех же методов, что и в оригинальном эксперименте [2]. Воспроизводимость он отделяет от реплицируемости, в которой тех же результатов добиваются иными методами постановки эксперимента. Сложность данного определения возникает, как нам видится, на двух уровнях: первый уровень – неясность относительно того, что можно назвать «тем же экспериментом», а второй уровень – неясность относительно того, что является «тем же результатом».

Социолог науки Гарри Коллинз утверждает, что понятие «того же самого эксперимента» культурно обусловлено и задается неявными, социально установленными правилами конкретного научного сообщества [3, с. 206]. В каждом эксперименте есть существенные и несущественные аспекты. К примеру, для измерения температур кипения воды существенным аспектом является, что объектом эксперимента является вода, а несущественным цвет халата лаборантов. Коллинз демонстрирует, что деятельность ученых в передовых и спорных областях науки заключается не столько в попытке повторить чей-то эксперимент, сколько в переговорах о том, что значит быть «тем же самым экспериментом» [3].

Сабина Леонелли утверждает, что воспроизводимость, как требование получить «те же результаты» не может являться общим и однозначным мерилом ценности научного исследования. Она обосновывает это тем, что существуют разные типы исследований и для каждого типа характерным является разный уровень контроля над условиями эксперимента, что в итоге дает разный уровень контроля над исходом исследования. [4, с. 139]. Она приходит к выводу, что навязывание идеала прямой воспроизводимости как универсального метода оценки качества научного исследования несет за собой эпистемические риски, такие как замалчивание уникальных аспектов исследований в угоду соблюдения общего протокола и обесценивание качественных исследовательских традиций, развивающихся вне погони за воспроизводимостью [4].

Принятие выводов Коллинза и Леонелли подрывает уверенность в том, что воспроизводимость должна быть одним из критериев научности знания. Эта ситуация усугубляется методологическим кризисом воспроизводимости научных исследований. Кризисом воспроизводимости называется положение дел, в котором огромное количество опубликованных в научных журналах исследованиях сталкиваются с принципиальной или фактической невозможностью их воспроизведения. В различных сферах научного знания процент невоспроизводящихся исследований варьируется [5, с. 10], однако, тот факт, что мы не можем полагаться на истинность (если воспроизводимость мы считаем критерием истинности) научного знания в таких важных в восприятии людей сферах как медицина, вызывает беспокойство.

Мы оказываемся в кризисной ситуации, в которой научное сообщество сталкивается с двойной проблемой: с одной стороны, отсутствует единое понимание воспроизводимости, а с другой — независимо от выбранного определения, уровень её достижения остаётся критически низким. Воспроизводимость научного эксперимента является одним из

классических критериев научного знания. Методологический кризис, характеризующийся принципиальной или фактической невозможностью воспроизведения научных исследований, ставит под сомнение науку как способ производства истинного знания.

Причины кризиса многообразны. Одной из них является то, что сами критерии допуска результатов исследования до публикации в позитивных науках предполагают вероятность ложности исследования (в критерии заложена возможность ложноположительных, ложноотрицательных и ошибочных результатов). Однако, ситуация, когда большая часть результатов, представленных в публикациях, не может быть воспроизведена или не воспроизводится фактически, требует либо изменения критериев публикации результатов, либо изменения нашего понимания научности и истинности.

В 1878 Чарльз Пирс сформулировал максиму прагматизма, согласно которой наши представления о практических действиях, которые оказывает объект, и о практических следствиях на нашу жизнь принятия этого объекта, составляют концепт этого объекта. [6] Уильям Джеймс, опираясь на эту максиму, предлагал понимать под истиной целесообразность в нашем образе мышления [7, с. 106]. Он полагал, что практический смысл истинности утверждения лежит в том, что истинные убеждения помогают нам более эффективно сделать то, что предполагается сделать. Истинным, в таком случае, будет убеждение, сообразное цели.

Выход из пограничной ситуации, в которой критерием того, что делает некое утверждение научной истинной, является неясная и не всегда работающая воспроизводимость, мы предлагаем искать в направлении определения того, какие убеждения и утверждения сообразны целям науки. То есть, первоначально необходимо решить проблему целеполагания научной деятельности, то есть дать ответ на вопрос: «какова цель науки?».

В осуществлении данного поиска мы предлагаем исходить из прагматистских установок об истине, как о целесообразности и инструменте. Объект исследования мы будем понимать, как совокупность видимых в опыте практических следствиях действий этого объекта.

В рамках данного подхода, как нам видится, мы не можем объявить, что основной целью научного поиска является научная истина, так как в таком случае мы замыкаемся в круге, в котором мы определяем истинность через сообразность цели, а цель через истинность.

Также проблематичным видится поиск цели научного процесса в представлении объективных законов действительности. В первую очередь, сложность здесь возникает в том, что, говоря об «объективности» как о соответствии утверждения независимому от наблюдателя положением дел, мы выходим за рамки прагматизма и склоняемся в сторону наивного реализма.

Основная гипотеза нашего исследования состоит в том, что преодолеть ситуацию кризиса воспроизводи мости, можно, определив целью научного деятельности порождение *продуктивных* утверждений.

Объявить утверждение *продуктивным* можно, если оно соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

1) Данное утверждение способствует производству новой технологии.
2) Данное утверждение способствует производству утверждений, которые могут способствовать производству новой технологии.

Под технологией, в данном контексте, мы предлагаем понимать новую практику, техническое изобретение или знание, которое помогает решать задачи, возникающие перед актором, инициировавшим эксперимент.

Данный подход не являет собой попытку дать новое определение науке или научному методу, но, скорее, актуализирует возможность рассмотреть целесообразность эксперимента как альтернативу воспроизводимости. Это переосмысление позволит гарантировать исследованию статус научно истинного, если оно привело к производству новой технологии,

даже если его воспроизведение не удалось.

Рассмотрение научности через призму целесообразности и продуктивности несет за собой сложности такие как, к примеру: вопрос о статусе утверждений, продуктивность которых еще не была доказана или вопрос о статусе научности утверждений случайно приведших к производству технологии, или вопрос о статусе исследований. Доработка проблем данной гипотезы является целью дальнейших исследований, выходящих за пределы данной статьи.

Литература

1. Shavit A., Ellison A. M. Toward a taxonomy of scientific replication //Stepping in the same river twice. – 2017. – P. 3-22.
2. Radder H. In and about the world: Philosophical studies of science and technology. – State University of New York Press, 1996.
3. Collins H. M. The seven sexes: A study in the sociology of a phenomenon, or the replication of experiments in physics //Sociology. – 1975. – Т. 9. – №. 2. – P. 205-224.
4. Leonelli S. Rethinking reproducibility as a criterion for research quality // Including a symposium on Mary Morgan: curiosity, imagination, and surprise. – Emerald Publishing Limited, 2018. – P. 129-146.
5. Guttinger S. The limits of replicability //European Journal for Philosophy of Science. – 2020. – Т. 10. – №. 2. – P. 10.
6. Peirce, C. S. Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition. Volume 3: 1872–1878 / C. S. Peirce; ed. by C. Kloesel, M. Fisch, N. et al. – Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986. – P. 257–276.
7. James W. Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking, New York and London: Longmans, Green & Co.; reprinted Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.

Философское консультирование: границы метода и перспективы их преодоления

Шапошникова Ю.В.

Кандидат философских наук

Санкт-Петербургский государственный университет, старший. преподаватель

j.shaposhnikova@spbu.ru

Аннотация. В докладе пойдет речь о практике философского консультирования как одной из современных форм «практической» деятельности философа. История существования проекта насчитывает около полувека, однако его представителям до сих пор не удалось разрешить целый ряд методологических затруднений, которые позволили бы придать философскому консультированию научную строгость, с одной стороны, и повысить уровень социального доверия, с другой. Возможный выход из положения лежит на путях осознания специалистами, практикующими философское консультирование, границ применимости доступного им арсенала средств и последующего междисциплинарного взаимодействия философов с представителями других отраслей знания.

Ключевые слова: философское консультирование, сократический диалог, философский метод, публичная научная коммуникация

Philosophical counseling: its methodological limitations and prospects for overcoming them

Shaposhnikova Y. V.
Saint-Petersburg State University

Abstract: The report will focus on the practice of philosophical counseling as one of the contemporary forms of philosophical practice. The project's history spans about half a century; however, its proponents have still not managed to resolve a number of methodological difficulties. Resolving these would, on the one hand, lend scientific rigor to philosophical counseling and, on the other, increase its level of social trust. A possible way out of the situation lies in practitioners of philosophical counseling becoming aware of limited applicability of the arsenal of cognitive tools available to them, followed by interdisciplinary collaboration between philosophers and representatives of other fields of knowledge.

Keywords: philosophical counseling, socratic dialogue, philosophical method, public scientific communication

История проекта философского консультирования восходит к 1981 году, когда по инициативе немецкого философа Герда Б. Ахенбаха в городе Бергиш-Гладбах, неподалеку от Кёльна, было основано Общество философской практики (Gesellschaft für Philosophische Praxis). Насчитывавшее на момент своего появления всего 10 членов, общество довольно скоро разрослось до нескольких десятков участников из разных стран, а уже спустя несколько лет получило распространение в Голландии. В 1984 году группа студентов университета Амстердама, интересовавшихся прикладными аспектами философии и вдохновленных работами Ахенбаха, объединились для обсуждения различных методологических и теоретических аспектов философского консультирования, а в 1987 году один из членов группы Ад Хугендейк (Ad Hoogendijk) открыл первую в Голландии практику.

Идея философского консультирования получила с тех пор широкое распространение. В Университете Калгари Петра фон Морштейн организовала рабочую группу практикующих философских консультантов. В Нью-Йорке под руководством Лу Маринофф возникла Американская ассоциация практикующих философов (American Philosophical Practitioners Association). В Париже был открыт так называемый Кабинет философии (Le Cabinet de Philosophie), организующий воскресные обсуждения практических форм философии, в Израиле – Общество развития философского консультирования, В ЮАР – Институт искусства мышления и т.д.

Несомненно, форматы работы довольно многочисленных организаций, практикующих философское консультирование, различны. Одни носят характер клубов по интересам, где можно встретиться и обсудить тот или иной мировоззренческий вопрос, другие напоминают по форме индивидуальные консультации с психологом за тем исключением, что набор средств специалиста не относится к психологической науке, а является арсеналом средств философа, то есть набором интеллектуальных подходов и способов интерпретаций различных понятий и проблем, знанием различных философских учений и исторических форм мышления.

Круг проблем, с которым клиенты приходят к философским консультантам, включает в себя целый ряд экзистенциальных и социальных затруднений: кризис среднего возраста, переоценка ценностей, смена карьерной траектории, стресс, эмоциональные реакции, физические недуги, смерть, старение, смысл жизни, вопросы этики и морали. Содержательно данный круг проблем схож с тем кругом вопросов, с которым обычно обращаются к психологу, хотя, при более пристальном рассмотрении, перечисленные вопросы носят мировоззренческий характер и совсем не обязательно предполагают работу с индивидуальными психологическими особенностями клиента.

Еще Г. Ахенбах подчеркивал, что его подход «не-методический», не имеет жестких схем, но направлен на диалог и совместный поиск. В самом общем виде идея философского консультирования такова, что скорректировать, а прежде, несомненно, прояснить, ту или иную экзистенциальную ситуацию возможно посредством анализа присущей человеку (клиенту) парадигмы мышления, обнаружения «тупиковых» ходов внутри этой парадигмы и предложения альтернативных способов осмысления возникшей проблемы.

Практика философского консультирования, таким образом, предполагает, что в основе значительного числа личных затруднений (personal predicaments) лежат вопросы философского характера [1]. Как следствие, консультирующие философы используют сократовский метод интеллектуального родовспоможения, обращаясь к клиентам с вопросами «Кто ты такой?», «Чего ты хочешь?» и тому подобными, работая с тем, что есть, и прежде всего сосредотачиваясь на помощи проговорить то, что накопилось внутри [2]. Хугендейк ссылается на своего коллегу Вининга (E. Veening), который, по его собственному свидетельству, начал консультировать, возмущенный, насколько неряшливо (sloppy) люди мыслят. В основе такого подхода стоит убеждение, что философское консультирование направлено на расширение философских способностей клиентов, что само уже имеет терапевтическое значение.

Задача философского консультирования – не вылечить, не разобраться в эмоциональном состоянии, но прояснить ценности, которые лежат в основании жизненной позиции того или иного человека, и упорядочить мысли, которые руководят его повседневными действиями. Вместо работы с прошлым опытом, бессознательным, детскими травмами и т. д., философы, в отличие от психологов, «пытаются приложить мудрость своей области знания, чтобы помочь людям увидеть свои проблемы в новой перспективе» [2]. Согласно Хугендейку, Спиноза, Маркс, Маркузе, Ханна Арендт и др. являются авторами, к которым стоит обращаться прежде всего за прояснением смыслов.

«Я пытаюсь донести до людей понимание их собственной этики и того, каким был бы наилучший выбор для них в той или иной ситуации... Другое дело, можете ли вы заставить себя поступать так, как лучше, или нет. Если вы обнаружите, что не можете, что ж, тогда, вероятно, лучше обратиться к психологу» [Вининг, цит. по 2]. В этой связи заслуживает внимания исходное требование, обращенное философскими консультантами к своим клиентам – здравомыслие, или психическое здоровье. Л. Маринофф, используя выражение своего канадского коллеги П. Марча, прямо называет философское консультирование «терапией для здравомыслящих» (therapy for the sane) [3]. При этом он подчеркивает, что данное определение подходит практически ко всем без исключения, а всеобщая склонность усматривать в себе те или иные психиатрические симптомы – не более чем признак времени, своего рода мода, сменившая новоевропейское воззрение на мир (и всех его обитателей) как лучший и наиболее разумный из миров. «Нормально иметь проблемы, а эмоциональная нестабильность вовсе не обязательно является болезнью» [3].

Итак, каковы методологические средства консультанта-философа? Это и наставления Эпиктета, который призывал всякий раз отделять то, что от нас зависит и что нет, и четырехчленный метод Декарта, согласно которому следует принимать за истину только то, что представляется ясным и отчетливым, делить проблемы на части, продвигаться малыми шагами и каталогизировать знания, это и мыслительные «ходы» экзистенциалистов, и тезисы марксистов, и открытия представителей аналитической философии.

Однако в основе деятельности философского консультанта – сократовское диалогическое подведение клиента к *осознанию* положений, принятых им за истину случайно, однако укоренившихся и не вызывающих сомнения в своей значимости, т. е. к осознанию и принятию (либо отбрасыванию) самостоятельно и свободно того, что при неизвестных обстоятельствах пристало к уму само собой и сделалось определяющей установкой или целым набором таковых. По выражению Г. Ахенбаха, «Мы не должны говорить, как он (клиент) должен жить, но мы призваны помочь ему лучше узнать себя и свой собственный образ жизни, то есть узнать о себе как можно больше» [4].

Философское консультирование претендует на развитие у клиента навыков концептуального анализа, мировоззренческого анализа, критического мышления и анализа аргументов, осознавания и анализа предпосылок мышления; оно также обучает диалогу, т. е. искусству слышать и понимать. А. Хугендейк уделяет особое внимание и так называемому «развитию видения» (vision development), то есть по сути дела развитию воображения через построение утопических проектов, подчеркивая полезность данного навыка как в бизнесе и политике, так и в повседневной жизни.

Несмотря на оригинальность подхода, практика философского консультирования все чаще становится объектом критики и даже скепсиса. Ее обвиняют в гетерогенности методологических подходов, поскольку она, в отличие от психологического и психоаналитического консультирования, не имеет определенных парадигмальных и институциональных ориентиров. По мнению противников философского консультирования, оно также страдает отсутствием критериев верифицируемости и эффективности, а кроме того, лишено эмпирической базы, поскольку не имеет в своем арсенале долгосрочных исследований, и ограничивается лишь описанием отдельных и немногочисленных случаев из практики. Философских консультантов упрекают и в психологической некомпетентности, склонности навязывать собственное мировоззрение вопреки обещанию соблюдать нейтральность, указывают на потенциальную манипулятивность данного подхода и возможность для злоупотребления положением «наставника», а также обвиняют в излишней интеллектуализации при потенциальной недооценке эмоциональной составляющей и т. д.

Примечательно, что строгие критики научного статуса философского консультирования не отвергают значения этого направления, но подчеркивают необходимость очерчивания границ применимости данного подхода и указывают пути преодоления этих границ. «В настоящее время отсутствует диалог между философским консультированием и эмпирическими исследованиями. Существует множество эмпирических проблем, которые можно было бы изучить с помощью междисциплинарных исследований философов, психологов, социологов, лингвистов и педагогов» [5]. По убеждению Краймер и Примеро, именно междисциплинарность способна придать практике философского консультирования недостающую строгость, а также избавить это направление от грозящей ему перспективы сделаться псевдонаукой в силу отсутствующей у нее эмпирической составляющей и, как следствие, невозможной фальсифицируемости.

Практика философского консультирования при всей сложности и противоречивости самого модуса бытия данного направления, несомненно, является одним из удачных форматов для осуществления участия философа в публичной коммуникации и осуществлении исконного назначения философии «утешать» и наделять смыслом: «Осознанная жизнь (examined life) должна быть ядром всей философии, прежде всего не как тема для теоретизирования, а как тема, которой должны заниматься люди различных профессий, побуждаемые, вдохновляемые и поощряемые философом повседневности» [6].

Литература

1. Lahav, R. & Tillmanns, M. (eds.). Essays on Philosophical Counseling. Lanham, Maryland, USA: University Press of America, 1995. 234 p.
2. Hoogendijk A. Philosophers Hang Out the Shingle. 1989. Dec. 30. URL: https://www.nytimes.com/1989/12/30/arts/philosophers-hang-out-the-shingle.html (дата обращения 14.10.2025)
3. Marinoff L. Plato, Not Prozac! : Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems. HarperCollins Publishers, NY, 1999. 309 p.
4. Achenbach, G. ‘On Wisdom in Philosophical Practice’ Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines, 1998. Vol. 17. No. 3.

5. Kreimer R., Primero G. The Future of Philosophical Counseling: Pseudoscience or Interdisciplinary Field? New Frontiers in Philosophical Practice, Amir, L. (Ed.). Newcastle, Cambridge Scholars, 2017.
6. Saarinen, E., & Slotte, S. Philosophical Lecturing as a Philosophical Practice. Practical Philosophy. 2003. Vol. 6(2). P. 7-23.

Возможно ли единство научного знания в фундаментальной теоретической физике?

Князев В.Н.
Доктор философских наук,
Московский педагогический государственный университет,
профессор кафедры философии
Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
профессор кафедры философии, политологии и социологии
E-mail: kvn951@inbox.ru

Аннотация. Философия физики как раздел философского знания чрезвычайно значимо реализует стремление физиков к поиску единства физического знания. Состояние фундаментальной теоретической физики в последние десятилетия таково, что при господствующем желании физиков найти подлинное единство в физике наталкивается на принципиальные противоречия и невозможность соотнести фундаментальные физические теории под общий подход. Хорошо известно, что общая теория относительности не находится в гармонии с принципами квантовой физики. Пока нет желаемых результатов в квантовании гравитации. Однако возникают варианты развития реляционной парадигмы наряду с созданными в XX веке теоретико-полевой и геометрической парадигмами с дальнейшей перспективой становления метареляционного подхода к проблемам фундаментальной теоретической физики. В статье выражается достаточно определенная надежда на формирование монистической метареляционной парадигмы в физике XXI века.

Ключевые слова: теоретическая физика, фундаментальные парадигмы, метареляционная парадигма, эпистемология физики, Ю.С. Владимиров.

Is the unity of scientific knowledge possible in fundamental theoretical physics?

Knyazev V.N.
Moscow State Pedagogical University,
National Research University "MPEI"

Abstract: Philosophy of physics as a section of philosophical knowledge extremely significantly implements the desire of physicists to search for the unity of physical knowledge. The state of fundamental theoretical physics in recent decades is such that with the prevailing desire of physicists to find a true unity in physics, it encounters fundamental contradictions and the impossibility of correlating fundamental physical theories under a common approach. It is well known that the general theory of relativity is not in harmony with the principles of quantum physics. There are no desired results in the quantization of gravity yet. However, there are options for the development of the relational paradigm along with the field-theoretical and geometric paradigms created in the twentieth century with the further prospect of the formation of a meta-relational approach to the problems of fundamental theoretical physics. The article expresses

a fairly definite hope for the formation of a monistic meta-relational paradigm in physics of the 21st century.

Key words: theoretical physics, fundamental paradigms, meta-relational paradigm, epistemology of physics, Yu.S. Vladimirov.

Проблема единства научного знания начала обсуждаться в философии науки на рубеже XIX-XX веков как результат уже накопленного естественнонаучного и социально-гуманитарного знания и его дифференциации по предметным областям. При этом учтем, что сама философия науки в качестве раздела философского знания свое официальное становление реализовывала с середины XIX века, что проявилось в процессе становления идей первого позитивизма. Сам термин «*philosophy of science*» впервые появился в книге Уильяма Хьюэлла «Философия индуктивных наук, основанная на их истории» [1; 2] в 1840 году. Здесь я хочу обратить внимание на проблему единства научного знания на примере одной из авангардных наук – физики, точнее на фундаментальной теоретической физике рубежа XX-XXI веков. Известно, что А. Эйнштейн, в течение почти 30 лет работавший над созданием единой теории поля, руководствовался идеей, согласно которой «с самого начала проявлялось стремление найти для унификации всех отраслей науки теоретическую основу, образованную минимальным числом понятий и фундаментальных соотношений, из которой логическим путем можно было бы вывести все понятия и соотношения отдельных дисциплин… Глубокое убеждение в достижимости этой цели является главным источником страстной преданности, которая всегда воодушевляет исследователя» [3, с. 230]. В свою очередь в современных условиях лауреат Нобелевской премии Ф. Вильчек пишет: «Вдохновившись своими успехами и многому на них научившись, физики вошли в XXI век с идеями для дальнейшего синтеза: идеи, которые приближают к созданию единого описания на первый взгляд различных сил природы» [4, с. 23].

Несомненно, статус физики как науки чрезвычайно важен, ибо она единственная наука, охватывающая своим взором весь вселенский мир – микро-, макро- и мегамир. В силу таких масштабов физика принципиально разнообразна. Существующее многообразие физических теорий, концепций и парадигм детерминировано сложностью устройства физической природы. Поскольку физическая реальность столь многолика, характеризуется разнообразием закономерностей, видов связей и типов взаимодействий ныне еще трудно говорить о подлинном единстве физических знаний. Хотя подчас говорят о единстве физики, но мне представляется, что в таком случае выражается *научная вера* в потенциальную возможность в будущем такого состояния физического знания.

Меня прежде всего интересует фундаментальная теоретическая физика, «в задачу которой входят анализ и обоснование уже известных закономерностей, а также *поиск их возможных обобщений и изменений*» [5, с.20]. Сегодня все более становится признанным, что в фундаментальной теоретической физике довольно выраженно присутствие трех важнейших парадигм: *теоретико-полевой, геометрической и реляционной парадигм* [6, с. 13-16; 7, с. 24-27]. При этом подчеркивается не только сам факт их различий, но и принципиально взаимно дополняющий друг друга их характер: 1) теоретико-полевая парадигма, которая сформировалась как ведущая на основе квантовой теории поля и является господствующей вплоть до сегодняшнего дня, 2) геометрическая парадигма, развивавшаяся на основе релятивистской физики в течение всего XX века, и 3) реляционная парадигма, активно развертывающаяся в последние несколько десятилетий. В содержании каждой из этих парадигм существенно по-разному понимаются базовые категории как наиболее фундаментальные понятия современной физики — частицы (тела), поля как переносчики взаимодействий и пространственно-временной континуум. В зависимости от того, какие две из этих категорий можно объединить, формируются разные типы мировосприятия (разные парадигмы). С моей точки зрения *эти парадигмы есть методологические конструкты* [8, с. 29-32] *в лоне эпистемологии физики*, которые являются во многом базовым фрагментом философии науки.

Кратко поясню каждую из трех этих парадигм. Квантово-полевая парадигма сформировалась в сознании физиков после возникновения квантовой механики ровно сто лет назад. В ее основе лежит квантовая теория поля (объединяющая частицы и поля как нечто единое и дополненная, по сути, априорным понятием «пространство-время»). В геометрической парадигме, сформировавшейся на основе идей общей теории относительности провозглашается объединение категории пространства-времени и полей переносчиков взаимодействий и отдельно рассматриваются частицы (тела). Главная особенность невозможности объединения квантово-полевой и геометрической парадигм связана с несовместимостью квантовой механики (содержащей в себе соотношения неопределенности) и общей теории относительности (описывающей события локально в точке пространства-времени). Реляционная парадигма свои исторические истоки имеет в идеях Г. Лейбница и Э. Маха, а исходным понятием является понятие «отношение» (*relation*, от лат. *Relativus* – относительный).

Согласно И. Лакатосу: «История науки была и будет историей соперничества исследовательских программ (или, если угодно, «парадигм»), но она не была и не должна быть чередованием периодов нормальной науки: чем быстрее начинается соперничество, тем лучше для прогресса. «Теоретический плюрализм» лучше, чем «теоретический монизм»: здесь я согласен с Поппером и Фейерабендом и не согласен с Куном» [9, с. 117]. Я полностью солидарен с такой постановкой вопроса, выражающей более гибкий характер интерпретации сложного процесса эволюции науки. Подобного рода постановка вопроса действенна потому, что процесс развития физических знаний о мире не может остановиться, однако и поиск идеала более обобщенного знания как стремление к выражению его единства не теряет своей ценности. Применительно к развитию фундаментальной теоретической физики XXI века это выражено в развитии идей, связанных с поиском наиболее обобщенного понимания единства теоретической физики в программе метареляционного подхода. В этой связи Ю.С. Владимиров пишет: «Для перехода к искомой монистической парадигме, которую предлагается именовать *метареляционной парадигмой*, необходимо было найти, во-первых, основные принципы этой парадигмы и, во-вторых, математический аппарат, отображающий эти принципы… Произведенный в наших работах анализ содержания и достижений физических теорий в рамках трех названных парадигм убедительно свидетельствует, что искомая монистическая теория должна строиться на базе трех метафизических принципов: 1) метафизического принципа дуализма, когда в основу кладутся две противоположности…; 2) метафизического принципа тринитарности, издавна вскрытого в философско-религиозных учениях как Запада, так и Востока…; 3) метафизического принципа фундаментальной симметрии, играющего чрезвычайно важную роль в современной фундаментальной физике» [10, с. 11].

Здесь необходимо пояснить, что сама реляционная парадигма включает в свои основания три важнейших положения: 1) *Реляционная трактовка понятия «пространства-времени»* как альтернатива более признанного в физике априорного его характера, что выражено в признании, по сути, макроскопической природы пространства и времени. В реляционном подходе основными понятиями выступают состояния частиц (микрообъектов), которые вводятся, по сути, как трансцендентные по отношению к явно наблюдаемому. Эта концепция использует математический аппарат теории физических структур в виде универсальной алгебраической теории комплексных отношений между элементами произвольной природы. При этом пространство-время рассматривается не как первичный элемент, а как результат *отношений* между множествами элементарных объектов: речь идет о трактовке природы пространственно-временных отношений как конструируемых из многообразия первичных отношений между протообъектами. 2) Чрезвычайно значимым обстоятельством является то, что в отличие от теоретико-полевой парадигмы (основанной на концепции близкодействия) реляционное миропонимание реализует по существу альтернативный подход, выражающий принципы и идеи теории прямого межчастичного взаимодействия Фоккера – Фейнмана (action at a distance) и основанный на своеобразной

концепции дальнодействия. 3) Признание значимости статуса *принципа Маха*, понимаемого как обусловленность *«локальных свойств материальных образований закономерностями и распределением всей материи мира»* [5, с. 48].

Я понимаю сложность реализации научно-исследовательской программы создания Ю.С. Владимировым и его коллегами концепции метареляционного подхода в фундаментальной теоретической физике не только объективно, но и в необходимости преодоления сложившихся традиций и субъективных стереотипов мышления в сообществе физиков. Творческий поиск всегда сопровождается определенными рисками. Но без креативности не будет дальнейшего развития физики. Осознавая все это, я полностью солидарен с задачами конструирования метареляционного подхода, поскольку есть бесспорные надежды на эвристическую ценность уже полученных результатов для дальнейшего развития фундаментальной теоретической физики и философии физики.

Литература

1. Whewell W. The Philosophy of the Inductive Sciences. Part 1. Cambridge: John W. Parker. 1840.
2. Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, основанная на их истории. М.: Кнорус, 2016. 500 с.
3. Эйнштейн А. Рассуждения об основах теоретической физики // Собрание научных трудов. Т.4. М.: Наука, 1967. С. 229-238.
4. Вильчек Ф. Тонкая физика. Масса, эфир и объединение всемирных сил. СПб.: Питер, 2019. 336 с.
5. Владимиров Ю.С. Метафизические основания физики. Обоснование метареляционной парадигмы. М.: ЛЕНАНД, 2024. 240 с.
6. Владимиров Ю.С. Метафизика и фундаментальная физика. Кн. 2. Три дуалистические парадигмы XX века. М.: ЛЕНАНД, 2017. 248 с.
7. Князев В.Н. Эпистемологический смысл дополнительности фундаментальных парадигм в теоретической физике // В сборнике: После постпозитивизма. Материалы Третьего Международного Конгресса Русского общества истории и философии науки. М., 2022. С. 24-27.
8. Князев В.Н. О статусе методологических конструктов в философии науки // В сборнике: Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме. Труды IV Международной научной конференции. Москва, 2023. С. 29-32.
9. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: «Медиум», 1995. 236 с.
10. Владимиров Ю.С. Метареляционный подход к основаниям фундаментальной физики. Метафизика. 2024. № 1 (51). С. 10-32.

Можно ли изучать музыку не только посредством эстетики?

Красноярова В. О.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центр практической философии «Стасис», магистрант

E-mail: v.krasnoyarova@eu.spb.ru

Аннотация: В статье автор обращается к вопросу об изучении музыки через оптику философии. Отмечая эстетику как наиболее очевидный и часто встречающийся вариант подобного изучения, автор отмечает, что его доминирование входит в противоречие с идейным основанием отечественной школы музыкознания, ориентированной на фундаментальное и научное

рассмотрение предмета. В статье приведены различные варианты иных способов исследования музыки с позиций философии. Автор показывает с позиций музыковедения, какие методы и подходы, как специфичные для философии, так и общие для гуманитарных наук, могут быть использованы для изучения музыки. В качестве примеров приводятся феноменологический, герменевтический, диалектический, системный и семиологический методы. Статья заканчивается постановкой вопроса о необходимости более широкого осмысления музыки и музыкального.

Ключевые слова: музыка, философия, феноменология музыки, музыкальная герменевтика, диалектика, музыкальная семиология

Can we study music beyond aesthetics?

Krasnoyarova V. O.
European University at St. Petersburg

Abstract: In the article, the author addresses the question of studying music through the lens of philosophy. The author notes aesthetics as the most obvious and frequently encountered approach to such study. However, the author suggests that dominance of the aestetics contradicts the ideological foundation of the Russian school of musicology, which is focused on a fundamental and scientific approach to the subject. The article presents various alternative approaches to studying music from a philosophical perspective. Using a musicological background, the author demonstrates which methods and approaches, both ones specific to philosophy and ones common to the humanities, can be used to study music. Examples include phenomenological, hermeneutic, dialectical, systemic, and semiological methods. The article concludes by raising the need for a broader understanding of music and the musical arts.

Keywords: music, philosophy, phenomenology of music, musical hermeneutics, dialectic, musical semiology

В представленном исследовании мы раскроем некоторые подходы к философскому осмыслению музыки, выходящие за рамки эстетики. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда осмысление музыки через философию по умолчанию отсылается к эстетике, то есть к осмыслению музыки в категориях искусства и прекрасного. Сам по себе такой подход не плох, однако, его доминирующее положение становится преградой как для более полного и разностороннего понимания феномена музыки, так и для постановки в принципе вопроса о полноте нашего понимания этого феномена.

Вдобавок, данная ситуация примата эстетики рождает определенное противоречие с отечественной школой музыкознания. Главным фокусом русской музыковедческой школы является изучение устройства музыки – ее отдельных элементов и их функционирования. «Музыковедение – это в основном процесс истолкования того, каков смысл произведения и как оно «устроено», как организовано его время-пространство, в какой среде оно сформировалось, как отразилась в нем личность автора-творца и т. п.» [1, с. 12] Такая формулировка Натальи Гуляницкой с полнотой задает цели традиции музыкальной науки в России. Однако, в деятельности, которая исходит из подобного целеполагания, пересечения с философским знанием менее заметны, нежели чем в обращении к эстетическому. Рассмотрим же, какие еще методы и подходы философии могут быть использованы для изучения музыки.

Алексей Лосев является редким примером мыслителя, чей авторитет признают как философы, так и музыковеды. В своей работе 1927 года «Музыка как предмет логики» он показывает феноменологический подход к осмыслению вопроса: «Есть ли эйдос музыкального бытия также эйдос пространственных предметов? Музыкальное бытие есть ли

бытие физическое? Тождественны ли эйдосы бытия музыкального и бытия физического?» [2, с. 14]. Феноменологический метод в изучении музыки использовала философ Елена Косилова, которая через его призму рассматривала уже не академическую, а рок-музыку, а также ряд других исследователей.

Анализировать музыкальные явления можно также с помощью герменевтического подхода. Несмотря на свое бытование в виде звукового потока мы вполне можем мыслить музыкальные произведения в качестве текстов и исследовать их закономерности. В области музыкальной герменевтики возможно два подхода – акцент на предполагаемом замысле высказывания автора-композитора и акцент на индивидуальной рецепции исследователя. Пионером в этой области в России можно назвать музыковеда Бориса Асафьева [4], чей подход к анализу музыкальных произведений повлиял на дальнейшее становление русской школы музыкознания.

Системный метод, рассматривающий явление как единство сочетания и взаимодействия частей, отлично подходит для рассмотрения многих явлений музыки. С такой оптикой возможно как зумирование на уровень тональных и ладовых структур, так и отдаление на уровень взаимодействия жанров в ту или иную эпоху. В области анализа форм музыкальных произведений подобный подход получил название целостного анализа. Целостный анализ рассматривает единство отдельных элементов языка (тембра, ритма, мелодии, гармонии и проч.) в разворачивании музыкального высказывания. Авторами, наиболее полно выразившими принципы целостного анализа, являются музыковеды Лео Мазель и Виктор Цуккерман [5]. В целом можно сказать, что системный подход является основанием для отечественной музыкальной науки.

Для изучения музыки можно использовать и диалектический метод. Как и в предыдущем случае, применять его можно для решения широкого круга вопросов. На микроуровне – для анализа тональных планов в одном отдельно взятом произведении или соотношения частей в циклических формах. На макроуровне – для прояснения закономерностей смены музыкальных стилей, появления новых жанров или парадигм.

Как наиболее абстрактное из искусств сложно изучать музыку, не обращаясь к семиологии, науке о знаках и функционировании их систем. Несмотря на то, что изучение вопроса о знаках и знаковых системах музыки не ново, самостоятельная дисциплина, затрагивающая этот вопрос – теория музыкального содержания – окончательно сформировалась лишь в XXI веке. Теория музыкального содержания вбирает в себя аппарат семиологии, однако, расширяет его за счет специфических для музыки методов. Одними из самых влиятельных ученых, занимавшихся разработкой этой дисциплины, являются Валентина Холопова [6] и Андрей Кудряшов [7].

Завершим это перечисление обращением к истокам философии. В противовес нынешнему доминированию эстетического восприятия музыки, первые философы, по большей степени, задействовали прагматический, ориентированный на практическое применение, подход. Пифагор осмыслял музыкальное через математику и заложил основы музыкальной теории. При этом звук и музыкальное были для Пифагора иллюстрацией его более глобальных идей о порядке космического мироустройства. Платон пишет о месте музыки в «Государстве» [8], Аристотель – в «Политике» [9], то есть в трудах, посвященных устройству общественной жизни, а не осмыслению искусства. Оба философы видят музыку не столько как отдельную самостоятельную и самоценную деятельность, а как средство, необходимое для воспитания граждан.

Не умаляя роли эстетики, мы бы хотели подчеркнуть важность разнообразия. Категории прекрасного и безобразного, а также связанные с ними вопросы, безусловно, нуждаются в раскрытии, более того, каждая новая эпоха будет давать свои определения и интерпретации этих категорий. Однако ответы на вопросы эстетического дадут нам лишь часть знания о феномене музыки. Стремясь к полноте, нам следует расширять горизонты, находя новые формулировки проблем и углубляя уже начатые, но недостаточно разработанные, исследования.

Литература

1. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке: Исследование. М.: Музыка, 2009. 256 с.
2. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики ; Античная музыкальная эстетика / Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия; [послеслов. К.В. Зенкин]. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, 2023. 526 с.
3. Косилова Е.В. Феноменология музыкального понимания: случай рок-музыки // HORIZON. Феноменологические исследования. 2022. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-muzykalnogo-ponimaniya-sluchay-rok-muzyki (дата обращения: 15.10.2025).
4. Асафьев Б.В. (Игорь Глебов). Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонация. М.; Л.: Музгиз, 1947. 164 с.
5. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. М., 1967.
6. Холопова В.Н., Бойцова Н.В., Акишина Е.М. Музыкальное содержание: учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, стер. СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2024. 145 с.
7. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв.: учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. СПб.; М.: Лань; Планета музыки, 2006. 427 с.
8. Платон. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1993. С. 560–565.
9. Аристотель. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1983.
10. Завалько Г.А. Философские проблемы эстетики. М.: URSS, ЛИБРОКОМ, 2011. 399 с.

Универсализация денежной оценки природы: вопрос демаркации и обоснованности

Ломакина М.И.
Магистр философии, выпускница ЕУСПб
E-mail: *m.lomakina@eu.spb.ru*

Аннотация: В работе рассматривается то, как происходит придание ценности природе посредством определения её денежного эквивалента. Показано, что, вопреки доминирующим представлениям, такая номинализация не выступает универсальной и нейтральной мерой: денежная оценка конструируется практиками расчёта, институциональными выборами и нормативными предпосылками, которые вариативны и политизированы. Рассмотрение процессов придания ценности через призму прагматического подхода даёт представление о том, что практики придания ценности природе зависят от того, какие стратегии оценки выберут компетентные агентства. В капиталистической системе придание ценности природе зависит от практик капитализации, которые представляют собой управление настоящим через ожидаемую прибыль. Подобные практики управления настоящим через будущую прибыль приводят к отчуждению природы от её материальных оснований и к фрагментации её временной перспективы, поскольку экономические эквиваленты нивелируют долгосрочные и межпоколенческие связи. Такая оценка создаёт репрезентацию природы, способную замаскировать реальную утрату экосистемных функций и снизить ответственность за будущее восстановление.

Ключевые слова: придание ценности природе, капитализация, экологический ущерб, прагматический подход

Universalization of the monetary valuation of nature: the question of demarcation and validity

Lomakina M.I.
European University at St. Petersburg

Abstract: This paper examines how value is attributed to nature by assigning it a monetary equivalent. It demonstrates that, contrary to dominant assumptions, such nominalization is neither universal nor neutral: monetary valuation is constructed through calculation practices, institutional choices, and normative premises that are variable and politically charged. Viewing valuation processes through a pragmatic approach shows that practices for attributing value to nature depend on the assessment strategies adopted by competent agencies. In capitalist systems, the attribution of value to nature depends on capitalization practices, which amount to managing the present through expected future profit. Such practices lead to the alienation of nature from its material foundations and to a fragmentation of its temporal horizons, since economic equivalents flatten long-term and intergenerational ties. This form of valuation produces a representation of nature that can mask the actual loss of ecosystem functions and reduce responsibility for future recovery.

Keywords: valuation of nature, capitalization, environmental damage, pragmatic approach

Капитализм демонстрирует способность трансформировать экологические кризисы в экономические задачи, что проявляется в том числе в процессе придания ценности природе через финансовые метрики. Как отмечают авторы статьи «Оценить природу, чтобы спасти ее: центральная роль оценки природы в дискурсах об охране природы», в течение многих десятилетий взаимодействие с планетой строится вокруг убеждений о необходимости экономической оценки природы как ключевого инструмента решения экологического кризиса. Однако парадоксальным образом, несмотря на доминирование дискурса о денежной оценке природы, реальные практики охраны природы почти не используют эти экономические оценки. Этот дискурсивный феномен авторы называют «оценко-центризмом» (valuation-centrism) – системой знания и дискурса, которая трансформирует все стратегии выхода из экологического кризиса в экономические практики оценки и усиливает капиталистические представления о природе в противовес прочим возможностям репрезентации «других природ». [9]

Практически любые экологические катастрофы современности сопровождаются оценкой ущерба, нанесённого окружающей среде, именно в финансовом эквиваленте. Например, когда результате аварии в Керченском проливе, произошедшей 15 декабря 2024 года, потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) установила объем экологического ущерба в размере 84,943 миллиарда рублей. [12]

Фуркад, анализируя социологический механизм придания природе денежной ценности, показывает, что процесс экономической оценки природы не является нейтральным или исключительно техническим, а укоренён в культурных установках, институциональных практиках и правовых режимах. Прежде всего, денежная оценка природы становится возможной благодаря тому, что деньги в современном обществе признаются универсальным эквивалентом ценности. Во-вторых, конкретные техники перевода природы в денежные показатели различны и зависят от контекста. Сама процедура «оценивания» природы

формируется в результате институциональных и политических выборов, отражающих различные научные и культурные традиции. [5]

Также денежная оценка природы имеет обратный эффект: она не только фиксирует экологический ущерб в финансовых величинах, но и меняет восприятие природы обществом. Таким образом, придание природе денежной ценности происходит через сложное переплетение культурных представлений, правовых институтов и экспертных практик. Этот процесс не является универсальным и механическим: он всегда обусловлен историческими и социальными контекстами, в которых формируются как сами методы оценки, так и их общественная легитимность. [5]

Следует полагать, что в основе такого подхода лежит подход неоклассической экономики, которая перешла от рассмотрения производства как процесса, преобразующего материальные и энергетические ресурсы, к производству как аспекту распределения и ценообразования, где все факторы производства (земля, труд, капитал) рассматриваются как взаимозаменяемые и независимо продуктивные. Некоторые исследователи считают, что тем самым неоклассическая экономика, отойдя от производственного подхода классической экономики, сократила экономику до анализа обменной ценности. [4]

В рамках современной экономической теории денежная оценка природы основывается на концепции инструментальной ценности, где ценность экосистемных услуг определяется их вкладом в человеческое благосостояние. Экономическая оценка рассматривает природу через призму замещаемости, чтобы переводить нерыночные экологические блага в денежную форму. Методологически этот подход реализуется через методы заявленных предпочтений и выявленных предпочтений, однако его применение сопряжено с рядом ограничений, включая влияние распределения доходов на оценки, недостаточную информированность респондентов о сложных экосистемных процессах и игнорирование вопросов справедливости распределения выгод и потерь между различными социальными группами. [10, с. 1–25]

Чалышкан и Каллон в своём подходе к процессу придания ценности приписывают ответственность за влияние на оценку не обществу в целом и в то же время не конкретным институтам, а так называемым «расчётным агентствам», которые выступают как ключевые акторы в процессе капитализации. К этим агентствам относятся разные группы акторов, находящихся как внутри (менеджмент), так и за пределами (финансовые аналитики, инвесторы, регуляторы) юридического периметра организации. Они представляют собой не только людей, но и различные системы, обладающие легитимным влиянием на процесс придания ценности. [2, 3]

В рамках прагматического подхода, разработанного Чалышканом и Каллоном, Джонатан Леви предлагает прочтение капитализма как «особого вида денежного процесса оценки, связанного с инвестициями, в котором капитал может (или не может) стать фактором производства». То есть, капитал – это не вещь и не накопленное благо, а процесс оценки прав собственности, выраженных в денежной форме, с расчётом на будущий доход. [8, с. 485]

Таким образом, в центре анализа капитализма оказываются именно «процессы капитализации», в процессе которых «материальное или нематериальное богатство трансформируется в приносящую доход собственность». [1, с. 151–152]

Чалышкан и Каллон показывают, что капитализм – это динамическая совокупность практик и операций, с помощью которых создаются и циркулируют формы стоимости. Если капитализм управляет настоящим через ожидаемую прибыль, то это приводит к игнорированию реальных экологических и социальных условий. Капитализм превращает природу в доходные активы, создавая разрыв между настоящим и будущими ожиданиями. Таким образом, экологический кризис – это не просто результат чрезмерного производства, эксплуатации природы или неограниченного экономического роста, а следствие этой извращённой темпоральной логики капитализации.

Экономическая оценка – это не естественный и не универсальный процесс, а результат конкретных эпистемических и институциональных практик. Экономисты не просто отражают ценность, они конструируют её, создавая методы, которые делают природу сравнимой

с деньгами. Денежная оценка природы перестала быть специфическим экономическим инструментом и превратилась в фундаментальную предпосылку нашего отношения к окружающему миру. Происходит создание того, что Бруно Латур назвал «второй природой» – конструирование вымышленной природы, существующей только в расчётах экономистов, в противовес первой «настоящей природе». [7]

В статье Фуркад мы видим иллюстрации того, как практики оценки приводят к различным результатам. Эта иллюстрация на примере двух крупных нефтеразливов XX века: катастрофы 1978 года супертанкера Amoco Cadiz у побережья Бретани (Франция), когда произошла утечка около 227 000 тонн нефти, а также катастрофы танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году, когда произошла утечка около 30 000 тонн нефти. По итогам катастрофы Amoco Cadiz ущерб был оценён около 200 млн. долларов, катастрофа Exxon Valdez же была оценена в более чем 1 млрд. долларов. [5]

Значит ли это, что экосистемы побережья Аляски являются более ценными, чем экосистемы побережья Бретани? Приносят ли они больше капиталистической прибыли или являются более ценными для благосостояния обществ?

Различие оценки произошло на уровне методики практик придания ценности, поскольку американская практика оценки ущерба через включение «непользовательских ценностей» и активное участие государства привела к кратно более высоким суммам возмещения, чем французская модель, основанная на подсчёте прямых расходов. [5]

Таким образом, универсальная финансовая оценка экологического ущерба таковой не является и напрямую зависит от тех практик оценки, которые применяют различные компетентные агентства. Придание ценности природе путём расчётов денежного эквивалента, возможно, способно определить влияние экологического кризиса на благосостояние обществ, но оно не может сделать это полноценно в исторической перспективе, когда срок восстановления экосистем может занимать продолжительность жизни многих поколений. Казалось бы, природа как ничто другое должна иметь крепкие материальные основания, однако, конструирование «второй природы» разрывает связь природы с собственными материальными основаниями. Кроме того, извращённая темпоральность, посредством которой капитализм управляет окружающей средой, приводит к тому, что природа оказывается оторвана и от будущего.

Литература

1. Жихаревич Д. Элементы прагматической теории капитализма // Sociology of Power. 2021. № 1 (33). С. 125–168.
2. Caliskan K., Callon M. Economization, part 1: shifting attention from the economy towards processes of economization // Economy and Society. 2009. № 3 (38). С. 369–398.
3. Caliskan K., Callon M. Economization, part 2: a research programme for the study of markets // Economy and Society. 2010. № 1 (39). С. 1–32.
4. Christensen P. P. Historical roots for ecological economics — biophysical versus allocative approaches // Ecological Economics. 1989. № Vol. 1. С. 17–36.
5. Fourcade M. Cents and Sensibility: Economic Valuation and the Nature of “Nature” // American Journal of Sociology. 2011. № 6 (116). С. 1721–1777.
6. Lamont M. Toward a Comparative Sociology of Valuation and Evaluation // Annual Review of Sociology. 2012. № 1 (38). С. 201–221.
7. Latour B. The Affects of Capitalism // Videnskabernes Selskab [Электронный ресурс]. URL: https://youtu.be/8i-ZKfShovs?si=yoByJ5PPj5IOIUu2 (дата обращения: 06.04.2025).
8. Levy J. Capital as Process and the History of Capitalism // Business History Review. 2017. № 3 (91). С. 483–510.
9. Maechler S., Boisvert V. Valuing Nature to Save It? The Centrality of Valuation in the New Spirit of Conservation // Global Environmental Politics. 2024. № 1 (24). С. 10–30.

10. A Primer on Nonmarket Valuation под ред. P. A. Champ, K. J. Boyle, T. C. Brown, Dordrecht: Springer Netherlands, 2003.
11. A primer on nonmarket valuation под ред. P. A. Champ, Reprint-е изд., Dordrecht: Kluwer Acad. Publ, 2004. 576 с.
12. Rosprirodnadzor estimates damages from fuel oil spill in Kerch Strait at 84.943 bln rubles, presents assessment to ship owners // Interfax [Электронный ресурс]. URL: https://interfax.com/newsroom/top-stories/110765/ (дата обращения: 22.09.2025).

Собственная и чуждая власть науки

Малышкин Е. В.
Доктор философских наук
Санкт-Петербургский государственный университет, профессор
E-mail: e.malyshkin@spbu.ru

Аннотация. Научное знание стремится быть разделенным и среди тех, кто способен его усвоить, и там, где это невозможно. Агрессия знания заставляет его отыскивать политические формы власти, полагающиеся уже не на необходимость, преследуемую наукой, а на иные формы принуждения. При этом наука опирается на миф, на метафору. Примером принуждающей метафоры может служить цифровой мир: она рождалась у нас на глазах и теперь пришла к своему завершению. Если еще несколько лет назад мы, осознавая, что оказываемся в информационном пузыре, стремились выбраться из него, то теперь, напротив вкладываем усилия и средства, чтобы сделать его более комфортабельным. Казалось, что всеобщая разделяемость естественна для файлов, а произвол лицензий и закрытых форматов казался насилием. Теперь соразделяемость файлов обнаружила собственные границы.

Ключевые слова: соразделенность, принуждение, необходимость.

Science's proper and improper power

Malyshkin E. V.
Saint Petersburg State University

Abstract. Scientific knowledge strives to be shared among those capable of assimilating it, and even there, this is out of such ability. This aggression of knowledge forces it to seek political forms of power that rely not on the necessity pursued by science, but on other forms of coercion. In this case, scientific knowledge rely on myth, oncmetaphor. The digital world is an example of a coercive metaphor: this metaphor was born before our eyes and has now come to its conclusion. If just a few years ago, realizing that we were trapped in an information bubble, we sought to escape it, now, on the contrary, we invest effort and resources to make it more comfortable. Just a few years ago, it seemed that the universal sharing of files was natural, and the arbitrariness of licenses and closed formats seemed coercive. Now, the sharing of files has discovered its own limits.

Keywords: condivision, coercion, necessity

Научное знание само по себе является властью, в той мере, в какой говорит от имени необходимости. В XVII в. виды необходимости стали предметом самого пристального обсуждения, поскольку наука, придумав рационально организованную политику, сама стала претендовать на политическую силу. Принуждение, следы которого вскрываются научным

исследованием, может пониматься либо как безапелляционное, как в случае с числами, либо как моральная необходимость, или как обозначение неравновесности принимаемых решений, если нам известен только процент корреляции, но в каждом случае мы имеем с одной и той же последовательностью: форма принуждения сформулирована в рамках науки, но порожденная не ею. Таким образом, власть, которой обладает сама наука — это заимствованная власть. Однако ученые стремятся управлять сами, не как ученые, а как чиновники, как собственники, как независимые распорядители. Более того, научное знание, претендуя на власть экспертного мнения, притягивает иные формы власти: распоряжение, принуждение, насилие. Является ли такое желание всегда контингентно обусловленным или же можно указать на формальные основания, почему научное знание побуждает ученых выходить за пределы заимствованной власти, стремясь к «собственной», т. е. чуждой?

Если принимать описание научного знания в терминах всеобщей соразделенности, то в качестве указания на формальную причину можно высказать следующее: причина притяжения к чуждому — в путанице, которую отмечал еще Беркли: игнорирование различия между делимым и поделенным. Беркли критикует современные ему способы инфинитезимального счисления: как Лейбницево понятие бесконечно малого расстояния между двумя точками, так и метод флюксий, который вплоть до появления понятия предела оставался незаконосоразмерной операцией: считать считаем, но исходим из заведомо ложных предположений, склоняемся «к спутыванию полезности правила с определенностью истины, особенно если … привыкли скорее считать, чем думать» [1, с. 404]. Полезно таким образом, полагать, что всякий, кто выслушает твои соображения об аподиктичности такого-то положения, согласится с тобой. Однако он может быть отделен от твоих аргументов, попросту никогда у него не наступит такого времени, когда он способен будет со вниманием тебя выслушать и согласиться. Либо по техническим, либо по психологическим, либо по каким-либо другим естественным причинам. Впрочем, причины эти могут быть и искусственными: понимая, что ты можешь оказаться прав и даже прав наверняка, я не стану ни слушать тебя, ни делать так, как ты говоришь. Персонаж рассказа Шукшина формулирует это запросто: «Люблю по носу щелкнуть – не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи» [2]. Соразделяемое еще не значит разделенное.

Это нехитрое соображение мы привели для того только, чтобы показать, что определенность истины проходит не только по линиям родо-видовых отличий, но и по силовым линиям соразделенности знания. Знание перестает циркулировать, когда ему явно или неявно сопротивляются. И тогда ученый берется за другую, «собственную» способность управлять, где он способен принуждать, склонять, включать, задействовать и т. д.

Наука, обращенная к внешней власти — это наука, породнившаяся с мифом. Без мифов наука не обходится. Все эти стремящиеся функции, двигающиеся электроны, падающие в черную дыру тела, животные, заботящиеся о своем потомстве — все эти оксюмороны, метафоры, без которых не обходятся и сами ученые, помимо того, что они — инструмент знания, оказываются еще и силой принуждающей, тогда как наука сама по себе, здесь Гоббс вполне актуален, «невеликая сила». Один из недавних мифов, двигавших науку, это миф о цифровом универсуме. Мир, который рождался на наших глазах и сошел на нет, так и не сбывшись.

Еще до недавнего времени мы всерьез могли полагать, что существует некий мир, который отличен от нашего, мы сами его создали, но существует как бы независимо от нас и сам по себе, он виртуален, т. е. обладает непоколебимым достоинством, и в нем любой объект доступен любому пользователю. Однако этот мир обеспечивается унификацией форматов, не только форматов файлов, но и форматов связи (протоколов) и стандартов аппаратного обеспечения. Знать формы совпадения — это и значит быть профессионалом: в такой-то среде такая-то программа будет вести себя так и так. Как профи ты начинаешься там, когда ты знаешь эти различия. Попросту говоря, ты знаешь программу тогда, когда знаешь ее баги. То есть цифровой мир поддерживается большим количеством работающих инженеров,

которые располагаются как раз не в цифровом, а в аналоговом мире, выполняя процедуры, приводящие к иллюзии всеобщей разделяемости файлов.

Поэтому, собственно, цифровизации и не было. К примеру, получить одинаковое изображение на двух разных мониторах — дело, в общем, невозможное, глаз даже неподготовленный будет видеть отличия. Но метафора цифрового мира была для нас белой, мы не замечали, что имеем дело именно с метафорой, а не с определением, подобно тому, как Лейбниц утверждал полезность такой фикции, как бесконечно малая величина. Делая вид, что имеем дело с одними и теми же файлами (даже называли их данными), мы обучались искусству нивелировать отличия и не замечать их. Собственно виртуальным на этой границе миров были только части кода, т. е. тексты, некая примитивная литература, обходящаяся ограниченным набором выразительных средств, операторами, все остальное — аналоговое, плавающее, приблизительное.

Однако и здесь уже есть разрывы: на один и тот же запрос у разных пользователей поисковики, ориентированные «персонально», то есть создающие информационный пузырь для каждого пользователя, уже несколько лет как способны были выдавать не только разные, но и не похожие один на другой ответы в верхних строках. Вот, собственно, о природе этого разрыва (не о его причине!) я и хотел бы поставить вопрос в своем докладе, ведь получать разные ответы на сходные запросы — это отныне будет не сбоем программы, а признаком хорошо составленного вопроса и хорошо работающего искина. Платон говорил, что письмо — плохое изобретение, поскольку разным людям сообщает одно и то же, не оставляя возможности переспросить. Нейронные сети, казалось, являются воплощением мечты Платона и правильной, философской риторике: несходность, невоспроизводимость — уже не сбой в работе цифровых машин, а порядок. И ближайшая наша перспектива — уже не выбираться из информационного пузыря, как еще недавно советовали прогрессивные бизнес-журналы [3], а, напротив, приплачивать за то, чтобы обживаться в нем с возможно большим комфортом, как мы поступаем, платя за подписки на нейросети. Но выбираемся мы из информационной перспективы или, напротив, погружаемся в нее, мы выполняем одну и ту же операцию: отыскиваем возможность соразделяемости за пределами актуально соразделенного. Еще несколько лет казалось, что всеобщая разделяемость естественна для файлов, а произвол лицензий и закрытых форматов казался насилием. Теперь соразделяемость файлов обнаружила собственные границы.

Чем получившееся положение дел сходно с доцифровой ситуацией, так это неизвестной до конца природой этой приблизительности. Отчего-то равные бревна, со времен Платона, совсем не равны. И отчего-то одни и те же промпты, отправленные разными пользователями или одним и тем же пользователем, но в разное время, тоже дают (или должны давать) разные результаты. И нам тоже не до конца понятна природа (хотя известны общие причины) именно случившихся различий. Одна и та же сила заставляет бревна оказываться неравными, а ответы нейросетей различными до противоположности? Этот вопрос мне придется оставить без ответа. А вот говоря об отличии, не только не точно, но и неверно будет сказать, что в постдигитальную эпоху эти различия продиктованы человеческой деятельностью по составлению и обучению нейросетей.

Литература

1. Беркли Дж. Аналитик, или Рассуждение, адресованное неверующему математику // Беркли Сочинения. М.: Мысль, 1978. С. 395-442.
2. Шукшин В. М. Срезал [Электронный ресурс]. URL: (https://azbyka.ru/fiction/srezal-sbornik-rasskazov/. (дата обращения 14.10.2025).
3. Holly Green Breaking Out of Your Internet Filter Bubble. [Электронный ресурс]. URL: (https://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/08/29/breaking-out-of-your-internet-filter-bubble/).

Критическая социология и превращённая форма

Мирзоев К.А.
Европейский университет в Санкт-Петербурге, студент магистратуры
E-mail: karen.mirzoev@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается актуальность понятия «превращённой формы» в контексте современного методологического кризиса критической социальной теории. Автор обращается к проекту Люка Болтански, который, развивая «социологию критической способности», предлагает переосмыслить превращённую форму не как инструмент разоблачения с привилегированной позиции социолога, а как способ выявления механизма формирования нормативных представлений об опыте и создания альтернативных аналогичных механизмов. Этот подход дополняется эпистемологическими рассуждениями Мераба Мамардашвили, описывающего превращённые формы как объективные структуры. В итоге делается вывод, что обновлённое понятие превращённой формы остаётся ключевым инструментом для анализа и трансформации устойчивых социальных порядков, смещая фокус с тотального суда на вскрытие внутренних противоречий реальности и способов их нормализации.

Ключевые слова: превращённая форма, критика, критическая теория, критическая социология, прагматическая социология, Люк Болтански.

Critical Sociology and the Transformed Form

Mirzoev K.A.
European University at St. Petersburg

Abstract: The article examines the relevance of the concept of "transformed form" in the context of the modern methodological crisis of critical social theory. The author refers to the project of Luc Boltanski, who, developing the "sociology of critique", suggests rethinking the transformed form not as a tool for exposure from the privileged position of a sociologist, but as a way to identify the mechanism of forming normative ideas about experience and creating alternative similar mechanisms. This approach is complemented by the epistemological arguments of Merab Mamardashvili, who describes transformed forms as objective structures. As a result, it is concluded that the updated concept of transformed form remains a key tool for analyzing and transforming stable social orders, shifting the focus from total judgment to revealing the internal contradictions of reality and ways to normalize them.

Keywords: transformed form, criticism, critical theory, critical sociology, pragmatic sociology, Luke Boltanski.

Современная критическая социальная теория находится в состоянии методологического кризиса, вызванного исчерпанием традиционных форм критики. Понятие превращённой формы — классический инструмент таких форм критики, который к сегодняшнему дню напоминает больше необязательный анахронизм в особенности в глазах отечественного читателя. Цель данной работы — выяснить актуальность подобного рода инструментов и понять, зачем они продолжают использоваться.

Бруно Латур в своей известной разгромной речи против критической теории видел в ней главную причину упадка, который он назвал «критическим варварством» — бессмысленным различением фактов и фетишей, по своей сути ничем не отличающимся от конспирологии [1]. Критика даёт неоправданно привилегированную позицию, позволяющую оправдать множество «тяжких лет чтения напыщенных текстов». Как результат, «Вы правите

в одиночестве и приспособлены для этого лучше, чем сам Зевс», а гуманитарные дисциплины, как пишет далее Латур, теряют популярность, «отступают и окапываются во всё более тесных бараках, выделяемых всё более прижимистыми деканами». Возможно, не с таким страшным пафосом с этим согласился бы Люк Болтански, поскольку его аргументы против критической социологии своего учителя Пьера Бурдьё оказываются схожими. Во-первых, проблемы вызывает расплывчатость понимания господства, во-вторых, социолог, объясняющий влюблённому юноше классовую природу его чувств, вряд ли будет как-либо хорошо воспринят [2, p. 20]. Однако есть одно существенное отличие — если статья Латура только ставит вопрос о новых методах критики, то Болтански пытается эти методы найти, а процитированная книга оказывается программной.

Свою известную социологию критической способности, разрабатываемую на протяжении многих лет вместе с Лораном Тевено, Болтански представляет как необходимый этап, после которого должно последовать возвращение к критической социологии и её развитие. В рамках социологии критической способности, созданной в оппозиции к Бурдьё, целью является описание использования критической способности не привилегированного социолога, а простого обывателя. Болтански пишет: «в прагматической социологии критики метакритическая позиция будет заключаться в использовании точки зрения акторов, то есть основываться на их моральном чувстве и, в частности, на их обычном чувстве справедливости, чтобы выявить несоответствие между социальным миром таким, какой он есть, и таким, каким он должен быть в соответствии с моральными ожиданиями людей. Принимая точку зрения актора, социолог фактически может бросить нормативный взгляд на мир, не руководствуясь при этом ни своими личными предрассудками…, ни принятием содержания моральной философии» [Ibid, p. 30]. Социологическая критика, исходящая из точки зрения актора, способна выносить критические суждения, но лишь в тех границах рутинных практик, в которых, собственно говоря, находится актор. В мире повседневности люди могут находиться в негодовании, они могут даже выражать протест, но «обычные люди редко ставят под сомнение, по крайней мере в нормальном ходе общественной жизни, общие рамки, в которые вписаны ситуации, вызывающие их негодование и протест» [Ibid, p. 32]. Поэтому для Болтански оказываются ключевыми понятия мира и реальности, первое из которых означает в духе философии жизни форму переживания опыта, а второе — общие представления о мире, «заранее установленная гармония» при помощи «практических устройств и когнитивных инструментов» [Ibid, p. 32]. Соответственно, новую критическую социологию должны интересовать ситуации, когда происходит столкновение реальности с миром, с описанием чего вполне успешно справляется социология критической способности, и инструменты, которые позволяют преодолеть представление об ограниченности ситуации и изолированности индивида. Последние являются нормативным аппаратом, который при всей своей хрупкости работает до тех пор, пока его в достаточной степени поддерживают объединённые социальные группы. Понятие превращённой формы, таким образом, обеспечивает не привилегированный статус критического теоретика, а проблематизацию устройства реальности, благодаря которому победители неизменно побеждают, а проигравшие продолжают проигрывать. Этим Болтански объясняет необходимость критической социологии: если прагматическая социология имеет достаточно прочную связь с реальностью, что полезно в том случае, если учёный хочет быть услышанным, то критическая позволяет подходить к реальности не как к чему-то готовому, обращая внимание на то, каким образом она конструируется и позволяя тем самым акторам её как-либо изменять.

Если возвращаться к понятию превращённой формы, то у аргумента Болтански оказывается эпистемологическая сторона — прокладывание дороги к систематике. О такой черте превращённой формы писал Мераб Мамардашвили: «В этом смысле превращённая форма видения действия системы изнутри её самой есть объективированная ориентация сцепления с ней атомарных сознательных актов, есть реально полагаемый вовне субъектов объект, определяемый отношениями системы как целого и из них черпающий свою жизнь…» [3, с. 248]. Однако, как пишет философ дальше, объективированная превращённая форма

неизбежно отбрасывают тень, в результате чего «индуцируется зона принципиального непонимания, «мёртвое пространство», непроницаемое для луча сознания». Поэтому «превращённые объекты обладают особого рода существованием, несводимым к субъективным фикциям и иллюзиям сознания» [Там же, с. 249]. Таким образом, превращённая форма от действующего субъекта не зависит, но означает ли это, что она иррациональна? Иррациональность, как говорит Мамардашвили, требует определённых условий [Там же, с. 250] — она возникает в обозначенном выше «мёртвом пространстве». И за каждым таким слепым пятном скрывается «вторичная рациональная система», стабилизированная внутренним устройством превращённой формы. Однако скрываемое содержание всё же даёт о себе знать насильственно или в процессе развития, результатом которого прежде всего является уничтожение превращённой формы [Там же, с. 259]. Этим объясняется радикальность социологической критики и её внимание к разрушению реальности и установлению новой нормативности. Критика, с одной стороны, становится нейтральным местом, с которого вершится суд и про которое нельзя сказать ничего кроме того, что это специфическая, отстранённая точка зрения, но, с другой, — она является отягощённой крайне сильной моральной идеей о справедливости как равенстве, оставаясь при этом единственной точкой, где люди тождественны друг другу.

Таким образом, несмотря на сомнительную репутацию понятие превращённой формы в современных социальных науках имеет далеко не исчерпанный теоретический потенциал. Критическая теория, проходя через обоснованную критику и преодолевая свои собственные тенденции к саморазложению, демонстрирует удивительную живучесть. Как демонстрирует проект Болтански, новая жизнь превращённой формы начинается там, где она перестаёт быть оружием социолога и становится инструментом проблематизации для самих акторов. Её функция смещается с разоблачения лжи к анализу того, как социальная реальность разрушается при столкновении с миром и какими могут быть инструменты для её реконструкции кроме тех, что уже есть в ситуации господства. Некоторым образом, это соответствует взгляду Мамардашвили — систематика выстраивается в тот момент, когда сцеплению атомарных акторов придаётся объективная ориентация, подразумевающая рационализацию второго порядка ими же самими. Современная критическая теория, сохраняя свою радикальность, меняет оптику. Она отказывается от тотального суда над социальным миром в пользу работы по вскрытию его внутренних противоречий — тех точек столкновения мира повседневного опыта с навязанной реальностью, где возникает потенциал для изменения. В этом обновлённом виде понятие превращённой формы не только не является анахронизмом, но и оказывается ключевым инструментом для понимания того, как непрозрачные и устойчивые социальные порядки могут быть оспорены и трансформированы.

Литература

1. Латур Б. Почему критика выдохлась? [Электронный ресурс]. URL:http://www.ncca.ru/app/images/file/Bruno_Latour.pdf (дата обращения: 10.10.2025)
2. Boltanski L. On Critique. A Sociology of Emancipation. Cambridge: Polity, 2011. 191 pp.
3. Мамардашвили М. Формы и содержание мышления. СПб.: Азбука, азбука-Аттикус, 2011. 288 с.

Пограничность психологии: стоя на пути исследований сознания

Мусс А.И.

Кандидат философских наук

Санкт-Петербургский государственный университет, старший преподаватель

E-mail: Albertwanderer@gmail.com

Аннотация: Как термин, психология возникла в самом конце XVI века, но лишь следующий век наполнил ее смыслом – психология оказалась на границе субстанции протяженной и субстанции мыслящей, а, вместе с тем, ареной для споров мыслителей Нового времени и эпохи Просвещения. И, если последнее слово осталось здесь за Х. фон Вольфом и И. Кантом, следующее столетие, ведомое успехами естественных наук, предложило проблеме сознания новое решение в виде новой психологии – психофизики Г. Фехнера и физиологической психологии В. Вундта. Такой психология оказалась на границе философии и физиологии. Вопрос же о субъективном опыте стал границей уже внутри самой психологии, отделив Вундта и его многочисленных учеников и оппонентов от Ф. Брентано, а затем – от феноменологии. Через многие споры и дискуссии проблема сознания ушла и вернулась в психологический дискурс, который был прочно укоренен с помощью понятия информации в нейронауки, математическое моделирование и аналитическую философию, однако оптимизм ранних когнитивистов сменился их же пессимизмом. Новый глоток жизни случился, когда психология как часть когнитивной науки столкнулась с феноменологией. Таким образом, в развитии психологии можно видеть одновременно объединяющую и разделяющую силу дисциплинарных границ, а также увидеть в них источник жизни конкретной науки.

Ключевые слова: философия психологии, дисциплинарные границы, фундаментальные проблемы, проблема сознания, физиология, нейронауки, когнитивная наука.

The Borderline Psychology: Standing on the Way of the Study of Consciousness

Muss A.I.
St. Petersburg State University

Abstract: As a term, psychology emerged at the very end of the 16th century, but the next century was the only one that gave it meaning – psychology found itself at the boundary between extended and thinking substances. And this area of knowledge became the arena for debate among thinkers of the Early Modern Age and the Enlightenment. While the final word here belonged to Ch. von Wolff and I. Kant, the advances in the natural sciences of the next century offered a new solution to the problem of consciousness in the form of a new psychology – the psychophysics of G. Fechner and the physiological psychology of W. Wundt. This psychology found itself at the boundary between philosophy and physiology. However, the question of subjective experience became a boundary within psychology itself, separating Wundt and his many students and opponents from F. Brentano, and then from phenomenology. After numerous debates and discussions, the problem of consciousness left and returned to psychological discourse that is now rooted in neuroscience, mathematical modeling, and analytical psychology through the concept of information. However, the optimism of early cognitive scientists gave way to their own pessimism. A new stage occurred at the time when psychology (as part of cognitive science) encountered phenomenology. Thus, in the development of psychology it is possible to both the unifying and divisive power of disciplinary boundaries, and also see them as the lifesource of a particular area of knowledge.

Keywords: Philosophy of Psychology, Disciplinary Boundaries, Fundamental Problems, Problem of Consciousness, Physiology, Neuroscience, Cognitive Science.

Проблема дисциплинарных границ как проблема, вынесенная в заглавие настоящей конференции с учетом трансцендентности науки как таковой – вечно ускользающего в своей развитии объекта исследования философии науки, не может быть проблемой одномерной.

По этой причине приверженность и даже предвзятость автора настоящего текста к образовательному идеалу В. фон Гумбольдта – подходу, позволяющему формировать выдающихся специалистов–исследователей, к сожалению, несовместимого с современной системой массового высшего образования [1] – не позволяет судить о дисциплинарных границах в оценочных терминах “хорошо” или “плохо”. Более того, вопреки привычному мне рассмотрению дисциплинарных границ как препятствия на пути к исследованию фундаментальной проблемы, в рамках настоящего текста на примере развития психологии как отдельной области научного и философского знания я попробую показать что такие границы становятся основанием как для появления той или иной области знания, так и выхода такой области из кризиса.

Психология выбрана мною здесь не только как область научного знания, в которой происходило мое профессиональное становление, но область знания, порождаемая из границ и порождающая границы. Первая из них проявляется в момент определения того, когда психология началась. С одной стороны, историки науки рекомендуют рассматривать в качестве стартовой точки не появление определенной области познания, ограничивающей выбор объекта, метода и имеющей название, а момент появления психологического мышления, когда были сформулированы те или иные проблемы, разрабатываемые в рамках современной психологии. При таком рассмотрении корни психологии находятся в Античности: причем одни авторы показывают, как психологическое мышление возникло из философского [2], а часть авторов – как психологическое мышление ему противостояло [3]. Назовем это **границей появления**.

Мне самому кажется более близким поиск истоков психологии не только в том, что перед исследователями возникают определенные проблемы, а в том, когда такая проблемная область обретает конкретные очертания в виде названия, определения объекта и метода. Здесь важно учитывать то, что, как термин, психология возникла в самом конце XVI века [4], но лишь следующий век наполнил ее смыслом – за счет последующего проблемного прочтения философии Р. Декарта, в частности, его субстанциального дуализма [5]. Таким образом, проблема сознания **стала границей**, на которой психология оформилась.

В результате этого психология как область изучения души и / или сознания оказалась на границе субстанции протяженной и субстанции мыслящей, а, вместе с тем, ареной для споров мыслителей Нового времени и эпохи Просвещения. В течение XVIII века последнее слово осталось здесь за Х. фон Вольфом [4] в отношении следующей из психофизического параллелизма невозможности судить о психике через физиологии, и И. Кантом [6], в отношении невозможности применения в психологии точных, математических измерений. Такая **методологическая граница** стала серьезным вызовом для дальнейшего развития психологии.

В течение следующего столетия, философы и ученые, ведомые успехами естественных наук, предложили проблеме сознания новое решение в виде новой психологии – психофизики Г. Фехнера [7], которая подразумевала не только математическое описание связи между интенсивностью физического воздействия и интенсивностью возникающего в ответ ощущения, но и теорию психического измерения, и физиологической психологии В. Вундта [8], которая, вопреки расхожим представлениям, не только утвердила одним из методов поиска и описания элементов субъективного опыта интроспекцию (такого термина в первом издании “Оснований физиологической психологии” 1874-го года внимательный читатель не увидит), но заложила принципы связи этих элементов с нейронами головного мозга.

Такой психология оказалась на границе философии и физиологии. Однако вопрос о субъективном опыте стал границей уже внутри самой психологии, отделив Вундта и его многочисленных учеников и оппонентов от Ф. Брентано, а затем и от детища ученика Брентано, Э. Гуссерля – феноменологии. Дело в том, что, в отличие от Вундта, искавшего связь

между сознанием и мозгом, Брентано [9], а затем и Гуссерль [10] мыслили эту связь, скорее, вторичной по отношению к самому субъективного опыту, а в рамках своих философских трудов они стремились описать, в первую очередь, законы существования такого опыта. Таким образом, естественнонаучная психология **отграничила** себя от психологии философской.

Тем временем, американские ученики Вундта, в частности, Э. Титченер, были выкинуты из мейнстрима американской психологии бихевиоризмом Дж. Уотсона [11], для которого субъективный опыт респондента в самоотчете был менее объективным явлением, чем наблюдаемое со стороны поведение. Сознание, таким образом, покинуло, как минимум дискурс американской психологии. В течение уже второй половины XX столетия, через многие споры и дискуссии проблема сознания вернулась в психологический дискурс, который был прочно укоренен с помощью понятия информации в нейронауки, математическое моделирование и аналитическую философию – сначала появилась когнитивная психология как подход, экспериментально изучающих познавательные процессы человека как процессы переработки информации, а затем – когнитивная наука, соединившая амбиции психологов с философским анализом высказываний, математическим моделированием искусственного интеллекта, возможностью заглянуть в обменные процессы и изменения активности живого мозга, а также многочисленными клиническими случаями, такими, как, например, исследования расщепленного мозга [12]. Однако оптимизм ранних когнитивистов сменился их же пессимизмом – лабораторные условия психологических экспериментов и метафора компьютера **ограничивала** возможности исследователей [13]. Стоит отметить, что в это же самое время феноменология продолжила развиваться в русле континентальной философии, породив как фундаментально-практические (феноменологическая психология) и практико-ориентированные направления (понимающая психиатрия), так и фундаментально-философские, среди которых были подходы, определившие облик дальнейшего философствования континентальных мыслителей: философская антропология и экзистенциальная философия.

В тот самый момент, когда когнитивные исследователи увидели **границу возможностей** психологического исследования, когнитивная психология столкнулась с феноменологией и ее плодами. Это случилось вскоре после того, как Д. Чалмерс [14] назвал проблему порождения субъективного опыта головным мозгом Трудной проблемой, отделив от легких проблем, которые, по его мнению, до этого и решали представители когниитивной науки. Трудную проблему всерьез принял чилийский исследователь Ф. Варела [15], который предложил сопоставлять данные нейрокогнитивных исследователей с феноменологическими описаниями, стремясь взаимно ограничить такие данные от третьего и, соответственно, первого лица. Этот подход развивается в когнитивной науке до сих пор, к нему относят себя и наиболее передовые исследователи-когнитивисты [16].

Таким образом, в развитии психологии можно видеть одновременно объединяющую и разделяющую силу дисциплинарных границ, а также увидеть в них источник жизни конкретной науки. Граница пролегает между теми, кто ищет истоки психологии в Античности и в Новое время. Психология оформилась на границе между концептами, не имеющими общих свойств, обретя свою центральную проблему и форму. Граница возможностей философской психологии стала вызовом для мыслителей XIX века, предложивших ей свои варианты развития. Психология как наука возникла на границе философии и физиологии, ответив на вызов времени и одновременно отделив от себя границей философскую психологию – феноменологию. В XX веке психология познала границы своих исследовательских возможностей – в Америке проект Вундта был вытеснен бихевиоризмом, бихевиоризм – когнитивной психологией и когнитивной наукой, причем последняя нашла себе вдохновение на границе с когда-то отринутой феноменологией. И эта граница в настоящее время расширила горизонты как феноменологов, так и исследователей познания и мозга, и, кто знает, к каким новым границам приведет философов и ученых такое взаимодействие…

Литература

1. van Bommel, B. Between "Bildung" and "Wissenschaft": The 19th Century German Ideal of Scientific Education. Institut für Europäische Geschichte, 2015.
2. Робинсон Д.Н. Интеллектуальная история психологии. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. 568 с.
3. Klempe S.H. Tracing the emergence of psychology, 1520-1750. Springer International Publishing, 2020.
4. Васильев В.В. Философская психология в эпоху Просвещения. М.: Канон+, 2010.
5. Мальбранш Н. Разыскания истины. СПб., 1999.
6. Якунин В.А. История психологии. М.: Издательство Михайлова В.А., 2001.
7. Fechner, G.T. Elemente der Psychophysik. In 2 Teilen. Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1860.
8. Wundt, W. Grundzüge der physiologischen Psychologie. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1874.
9. Brentano, F. Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig: Duncker & Humblot, 1874.
10. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. М.: Владимир Даль, 2022.
11. Watson, J.B. Psychology as the behaviorist views it // Psychological review. 1913. Vol. 20. №. 2. pp. 158–177.
12. Газзанига М. Сознание как инстинкт. М.: Corpus, 2022.
13. Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 Т. Т. 1. М.: Юрайт, 2019.
14. Chalmers, D.J. The conscious mind: In search of a fundamental theory. New York, 1996.
15. Varela, F.J. Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem // Journal of consciousness studies. 1996. Vol. 3. №. 4. pp. 330–349.
16. Сет А. Быть собой. Новая теория сознания. М.: АНФ, 2023.

Историческая наука и историческое сознание социума. Связи и границы

Никитин В. Е.
Кандидат философских наук
Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра онтологии и теории познания
Старший преподаватель
E-mail: v.e.nikitin@spbu.ru

Аннотация: В данном сообщении ставится проблема соотношения исторической науки и исторического сознания социума, которое формируется как на основе научных данных, так и из источников ненаучного происхождения, к которым относятся средства массовой информации, художественная и научно-популярная историческая литература и различные киноверсии прошлых событий. Автор отмечает важную роль политики и властвующих элит в формировании современных представлений о прошлом, что часто приводит к сосредоточению внимания на одних событиях и сюжетах прошлого и игнорированию других событий. Такой подход ведет к искажению научной картины исторической реальности. Опираясь на известную книгу британского историка Джона Тоша «Стремление к истине», автор выделяет три установки сознания, которые лежат в основании исторического сознания социума: приверженность традициям, ностальгию и веру в прогресс.

Ключевые слова: историческое сознание, картина исторической реальности, политика, прогресс, традиция, ностальгия, вера.

Historical Science and the Historical Consciousness of Society. Connections and Borders

Nikitin V. E.
St. Petersburg State University

Abstract: This article addresses the issue of the relationship between historical science and the historical consciousness of society, which is formed both on the basis of scientific data and from non-scientific sources, such as the media, fiction and non-fiction historical literature, and various film versions of past events. The author highlights the important role of politics and the ruling elites in shaping modern perceptions of the past, which often leads to a focus on certain events and narratives of the past while ignoring others. This approach can distort the scientific understanding of historical reality. Drawing on the well-known book "The Pursuit of Truth" by the British historian John Tosh, the author identifies three cognitive attitudes that underlie the historical consciousness of society: adherence to tradition, nostalgia, and belief in progress.

Keywords: historical consciousness, the picture of historical reality, politics, progress, tradition, nostalgia, faith.

Одной из характерных особенностей современной культуры является возрастание дистанции между научными знаниями и обыденными представлениями человека об окружающем мире. Так, математическое естествознание по многим своим направлениям вышло на рубежи, где уже не работает здравый смысл с его представлениями и аналогиями. Современная физика и космология имеют дело с тем, что можно как-то понять посредством сложного математического описания, но уже невозможно представить. В результате «наука уже более не является, в отличие от эпохи Просвещения, интегрирующим фактором именно потому, что не усваивается в должной мере повседневным сознанием …» [1, с. 59]. Возникает парадоксальная ситуация. С развитием науки, с развитием знаний, научная картина мира становится все более недоступной для большей части человечества. Следствием этого ухода науки от здравого смысла и наглядности является мифологизация научной картины мира, а основным источником такого рода мифов является ныне интернет. В то же время, многие достижения современного математического естествознания, утратившего культурообразующую функцию, успешно реализуются в мире техники, которая расширяя масштабы материального комфорта, все более ограничивает перспективы духовного и интеллектуального потенциала человека.

Казалось бы, в этой ситуации технизации бытия положение социально-гуманитарных наук и их роль в обществе возрастают, и также возрастает их влияние на формирование у человека картины его жизненного мира. Ведь то, чем занимаются эти науки непосредственно связано с человеческим существованием и обыденным опытом. Но на самом деле, и здесь не все так однозначно. Не имея возможности в столь кратком сообщении говорить о положении всего корпуса социально-гуманитарных наук, я остановлюсь на одной из них, на науке исторической, а точнее, на сложности отношений, которые складываются между научными знаниями о прошлом и коллективной памятью социума, которая им не тождественна, и формируется на основе целого ряда факторов, которые не имеют непосредственного отношения к науке.

Надежды мыслителей эпохи Просвещения и философов-позитивистов относительно того, что с развитием социально-гуманитарных наук на их теории будут опираться политики, принимая важные государственные решения, до сих пор не оправдываются. Основной причиной этого является не недостаточная развитость наук об обществе и человеке, а, скорее, специфика самих субъектов политической деятельности. Тем не менее, тесная связь между властью и наукой существует, и реализуется в тех ситуациях, когда власть оказывается заинтересованной в определенных результатах научных исследований, в которых открывается

путь к новым достижениям в области техники, промышленности, экономики и политики. Поэтому развитие естественных и технических наук в современных условиях во многом зависит от социальной востребованности результатов их деятельности. Социально-гуманитарные науки такую востребованность и внимание к себе со стороны государственной власти ощущают гораздо в меньшей степени. Но, тем не менее, среди социально-гуманитарных наук есть наука, которая, пожалуй, во все времена ощущала на себе внимание (иногда даже очень пристальное) государственной власти, и эта наука история. При этом следует отметить разнонаправленность векторов истории и политики. Историческая наука, творимая в настоящем, обращена к прошлому. В то время как политические решения, принимаемые в настоящем, ориентированы на будущее, их целью является изменение существующего положения дел. Политик, подобно шахматисту, должен просчитывать свои ходы таким образом, чтобы они обеспечивали успешное развитие его государства. Реализация масштабных социальных проектов нередко зависит от настроенности социума, который нуждается во вдохновении, а источником этого вдохновения в большинстве случаев становится великое прошлое, которое играет роль примера и стимула. «Социальным группам необходимы свидетельства своего существования в прошлом, но им требуется такая картина прошлого, которая служит объяснению или оправданию настоящего, часто за счет исторической достоверности» [2, с. 13]. Поэтому политика обращается к истории, стремясь найти в ней обоснование для принятия решений и вдохновляющие примеры для тех, кто будет должен их реализовать. Эти обоснования и примеры формируются не только самой исторической наукой, опирающейся на факты, но и средствами массовой информации, а также художественной литературой и искусством в целом. Таким образом, как бы параллельно формируются и существуют два уровня исторического сознания – научный или теоретический и обыденный или народный. В основе формирования теоретического уровня исторического сознания лежит принцип максимально объективного исследования событий прошлого с целью создания научной картины исторической реальности, опирающейся на первоисточники. Понимание сегодняшнего хода событий при этом складывается на основе достоверных знаний о прошлом. В формировании обыденного исторического сознания наблюдается обратная тенденция, которая заключается в интерпретации событий прошлого с позиций современности, которая часто носит тенденциозный характер, ибо здесь прошлое выступает в качестве объяснения или оправдания того, что происходит в настоящем. Поскольку формированию популярного народного исторического сознания сопутствуют ссылки на историческую науку, постольку актуальной становится проблема проведения границы между научным и обыденным уровнями исторического сознания.

Джон Тош в своей книге «Стремление к истине» [2] выделяет три особенности обыденного или народного исторического сознания. Во-первых, это уважение к традициям, при котором игнорируются и замалчиваются исторические перемены, что ведет к продлению существования отживших или «отошедших в историю» форм социальной жизни». Особенно тяжелым случаем, влекущим за собой часто катастрофические последствия, являются волны национализма, вызываемые стремлением нации подтвердить свою идентичность. Второй особенностью является ностальгия как установка общественного сознания согласно которой все перемены ведут к худшему и «золотой век» всегда оказывается позади. Ностальгия характерна для обществ, которые переживают в своем существовании стремительные перемены, и испытывают неуверенность в будущем. Ностальгическое отношение к прошлому поддерживается и усиливается культурой коммеморации, памятниками и памятными местами, связанными с великим прошлым. Третьей установкой обыденного исторического сознания является вера в прогресс, которая ведет к необоснованному историческому оптимизму, к вере в то, что «завтра будет лучше, чем вчера». Такого рода виденье хода исторических событий является как бы альтернативой ностальгии, но также не имеет под собой научной основы. Именно традиции, ностальгия и вера в прогресс являются основополагающими установками обыденного исторического сознания, наличие которых позволяет в определенной степени провести границу между научно-историческим и народным уровнями исторического

сознания. Но предлагаемый вывод, по мнению автора, не является универсальным и единственно возможным ключом к решению данной проблемы, которая нуждается в дальнейшем анализе в силу ее актуальности, так как под угрозой мифологизации находится ныне не только естественнонаучная картина мира, но и картина исторической реальности.

Литература

1. Касавин И.Т. Мир науки и жизненный мир человека // Наука и религия. Междисциплинарный и кросс-культурный подход. Научные труды. М. 2006. С. 59-78.
2. Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М. 2000. 296 с.

Нужны ли науке границы?

Николина Н.В.
Кандидат философских наук
Томский государственный университет, доцент
E-mail: nadnikolina@yandex.ru

Аннотация: В работе кратко раскрываются основные направления в решении проблемы установления границ науки. Кроме этого, автором обсуждаются ответы на вопрос: нужны ли науке границы, которые даются в рамках представленных направлений. Автор заключает: если рассматривать тему границ науки как философско-методологическую проблему, то ответ будет утвердительный, но если как социально-культурологическую, то – отрицательный. Однако позиции не противоречат, а дополняют друг друга. Представленные направления описывают науку в разных плоскостях: в первом случае наука определяется в структуре знания (выстраивание внутренней системы), во втором – наука характеризуется как социальный конструкт (формирование внешней системы). Автор также указывает на доработки и пояснения, которые необходимы для решения проблемы установления границ науки.

Ключевые слова: наука, граница, демаркация, гражданская наука, национальная наука, трансграничность.

Does Science Need Boundaries?

Nikolina N.V.
Tomsk State University

Abstract: The paper briefly reveals the main directions for solving the problem of establishing the boundaries of science. In addition, the author discusses the answers to the question: does science need the boundaries that are given within the framework of the presented directions. The author concludes: if we consider the topic of the boundaries of science as a philosophical and methodological problem, then the answer will be in the affirmative, but if as a socio-cultural one, then it is negative. However, the positions do not contradict, but complement each other. The presented directions describe science in different planes: in the first case, science is defined in the structure of knowledge (building an internal system), in the second, science is characterized as a social construct (forming an external system). The author also points out the improvements and clarifications that are necessary to solve the problem of setting scientific boundaries.

Keywords: science, boundary, demarcation, citizen science, national science, transboundarity.

Тему установления границ науки можно рассматривать в двух направлениях: как философско-методологическую проблему, включающую демаркацию, междисциплинарность, трансдисциплинарность, идентичность и автономность научного знания, либо как социально-культурологическую проблему, в рамках которой обсуждаются национальные интересы, расширение социальных связей и радиуса вовлеченности в научные проекты. Обсуждая тему границ науки, авторы по-разному отвечают на вопрос: нужны ли науке границы?

В философских исследованиях прослеживается долгая история поиска научных критериев, с помощью которых можно было бы прочертить четкую линию между наукой и другими областями знания. Однако после заявления Л. Лаудана о тщетности поиска демаркационного критерия [1] и указания Д. Хоргана на конец лимитологии [2], современные авторы не оставляют попыток решить проблему демаркации и предлагают подходы с поправкой на междисциплинарность. Последние попытки решить проблему демаркации были предприняты Д. Фернандасом-Беанато. В своей диссертации Д. Фернандас-Беанато предложил 217 эпистемически значимых свойств науки, из которых 135 – специфические свойства, 82 – неспецифические, и проанализировал часть наук (естественных и социально-гуманитарных) на соответствие этим свойствам [3]. К специфическим свойствам относились, например, оригинальность против здравого смысла, общая краткость; к неспецифическим – использование точных, недвусмысленных терминов, обещание дальнейшего плодотворного развития и другое. В результате исследования получилось, например, что биология больше соответствует критериям научности, чем физика, а в социологии больше специфических научных свойств, чем в аналитической философии. В анализе Д. Фернандаса-Беанато прозрачной нитью проходит основная проблема – автор рассматривает дисциплины (что тоже является спорным, так как дисциплины указываются обобщенно, например, физика в целом), а не науку, и отсюда возникает вопрос: как меняется определение науки в современных условиях? Сам Д. Фернандас-Беанато замечает, что «наука» – это, вероятно, неопределенное понятие, в котором, существуют пограничные случаи» [3, с. 46], но в более ранней работе предлагает считать науку «супердоменом» всех дисциплин. Таким образом, очерчивание границ возможно после определения того, что понимается под термином «наука». Д. Хорган передает эту мысль следующим образом: «чтобы определить, имеет ли наука границы, надо определить науку, и как только вы определите науку, вы навяжете ей границу» [2, с. 147]. Это приводит к тому, что можно начертить четкие дисциплинарные и междисциплинарные границы, например, между физикой и химией, а так же границы, отделяющие научные знания от вненаучных, например, психологию и парапсихологию. Кроме проблемы демаркации философско-методологическое направление включает исследования функций границ науки, отвечая на вопрос: зачем науке границы. Наиболее полно на этот вопрос ответил Т. Гиерин, указывая на то, что границы науке нужны, во-первых, для того, чтобы отделить научные знания от ненаучных, во-вторых, для идентификации науки как надежного источника, производителя истинных знаний, в-третьих, для автономии науки [4]. Таким образом, в рамках философско-методологического направления авторы уверенно отвечают, что установление границ науки необходимо, однако прежде чем делать громкие заявления и чертить четкие линии на карте знания следует прояснить некоторые моменты. Первое – дать определение науке, учитывая ее социальный статус в современном мире, междисциплинарность и открытость, или признать, что термин «наука» больше не охватывает все разнообразие научных знаний, поэтому следует заменить его термином «дисциплина», либо уточнять, о какой науке идет речь. Второе – проанализировать поле науки с позиции его трансграничности. Такой подход будет учитывать современные «географические», исторические, социальные и политические условия существования науки. «При этом граница понимается как социальный конструкт, который конструирует представление о стабильной идентификации науки, устойчивых связях внутри научного сообщества, приоритетности

научной истины в восприятии практикующих людей (ученых) и общества» [5, с. 65]. Третье – консолидация научного сообщества для решения проблемы установления границ науки. Проблема демаркации и границ науки должна решаться не только философами и методологами науки, но и теми, кто непосредственно делает науку.

С другой стороны, наука расширяет свои социальные границы, привлекая к научной работе широкий круг населения. Здесь речь идет не только о национальных границах науки и сотрудничестве с учеными других стран, но и о различных проектах, например, гражданской науке, или науке 0+. Под лозунгом «наука без границ» в последнее время проходит большое количество конференций и семинаров, основная тема которых – установление международного сотрудничества в научной области. Ученые производят истинные, объективные знания, поэтому наука находится вне политики, а значит, не должно быть национальных границ. В этом случае открытость науки обеспечивает обмен опытом, реализацию проектов совместно с учеными других стран, развитие методов и технологий [6]. Наука – такое поле деятельности, которое не имеет географических, политических, экономических и социальных границ, однако так ли это? С.П. Чернозуб, анализируя концепт национальной науки, приводит примеры турецкой, колониальной науки, указывая на то, что наука формируется и развивается в пределах культурных парадигм определенной страны. Культурные, социальные, политические решения повлияли на историю науки в стране, поэтому сотрудничество возможно, но только в тех научных областях, где фиксируется надлежащий уровень [7]. Границы науки, обусловленные историко-культурным фактором, устанавливаются, но характеризуются как прозрачные или пунктирные. В рамках гражданской науки к научным исследованиям привлекаются «любители», которые не занимаются наукой непосредственно, но заинтересованы в оказании помощи ученым в сборе информации. Так расширяются социальные границы науки, которая становится не только делом небольшой группы людей, но и любого желающего [8]. Однако гражданская наука не является наукой в строгом смысле слова, так как привлеченные граждане не выполняют исследований, не анализируют, не делают выводов, а только собирают информацию и передают ее тому, кто курирует проект. В литературе позитивно описываются практики науки без границ и гражданской науки, так как это способствует популяризации научной области, привлечению молодых людей в науку, увеличению рейтинга науки как сферы профессиональной деятельности. В этом контексте науке не нужны границы, но тут следует сделать несколько замечаний. Во-первых, термин «наука» используется в широком смысле: в первом случае речь идет не о науке в целом, а об отдельных областях или исследованиях, во втором случае – гражданская наука не является собственно наукой, а сбором данных. Во-вторых, международное сотрудничество вызывает интерес, когда сохраняются культурные границы, тогда можно предложить другой стороне уникальный товар, методику, технологию или разработку. В-третьих, критерии демаркации работают в гражданской науке, так как «любители» привлекаются только к сбору информации.

Данный обзор двух направлений по теме установления границ науки позволяет сделать вывод, что позиции исследователей не противоречат друг другу. «Наука без границ» – красноречивый лозунг, который, однако, не означает, что науке не нужны границы. Представленные два направления рассматривают науку с разных сторон: в первом случае наука определяется в структуре знания (выстраивание внутренней системы), во втором – наука характеризуется как социальный конструкт (формирование внешней системы). Но в одном авторы двух направлений сходятся во мнении, что науке нужны границы как демаркационные, так и социальные, в медиапространстве. Современные видеоплатформы и социальные сети представляются информационной ямой, куда попадает, в том числе, и научный контент. В этом случае установление границ необходимо, так как на видеоплатформах важны не истина, доказательная база или проверяемость информации, а рейтинги, количество просмотров и популярность.

Литература

1. Laudan L. The Demise of the Demarcation Problem // Physics, Philosophy and Psychoanalysis. Essays in Honor of Adolf Grilnbaum. Eds. by R. S. Cohen, L. Laudan. Dordrecht: D. Reidel publishing company, 1983. P. 111–127.
2. Хорган Дж. Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки / Пер. с англ. М. Жуковой. СПб.: Амфора, 2001. 479 с.
3. Fernandez-Beanato D. A working scientific demarcation [Электронный ресурс]. URL: (https://research-information.bris.ac.uk/en/studentTheses/a-working-scientific-demarcation (дата обращения 29.09.2025)
4. Gieryn T. F. Cultural boundaries of science: Credibility on the line. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999. 412 p.
5. Николина Н.В. Проблемы демаркации и трансграничности науки в современном философском дискурсе // Философия науки. 2025. № 1(105). С. 56-69.
6. Силантьева М.В. Проблема границ в современной науке: культура и дипломатия // Концепт: философия, религия, культура. 2017. № 4. С. 67-77.
7. Чернозуб С.П. Концепт национальной науки в новом дискурсе цивилизаций // Историческая психология и социология истории. 2012. Т. 5. № 1 [Электронный ресурс]. URL: (https://www.socionauki.ru/journal/articles/143046/ (дата обращения 29.09.2025)
8. Ромашкина Г. Ф. Гражданская наука – за и против // Siberian Socium. 2022. Т. 6. № 3 (21). С. 39-59.

Эволюция визуального кода пирата во вселенной «One Piece»: от тиражируемого архетипа к уникальному символу свободы

Орлова А.М.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», студентка 3 курса образовательной программы «Иностранные языки и межкультурная бизнес-коммуникация»

E-mail: orlovanana@internet.ru

Хусяинов Т.М.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», заместитель декана факультета гуманитарных наук, старший преподаватель департамента литературы и межкультурной коммуникации

E-mail: timur@husyainov.ru

Аннотация. Данное исследование посвящено трансформации визуального кода пиратского архетипа в рамках вселенной манги и аниме One Piece Эйитиро Оды. Анализируется процесс деконструкции устоявшихся стереотипных элементов пиратства и их наполнение новым смысловым содержанием. На примере главного героя, Манки Д. Луффи, и его команды демонстрируется, как пиратский образ эволюционирует от символа беззакония и жадности к сложному символу свободы, мечты и этического сопротивления. Особое внимание уделяется рецепции обновленного образа в реальном мире, что подтверждается использованием символики «Соломенной Шляпы» в современных протестных движениях.

Ключевые слова: One Piece, визуальный код, архетип пирата, деконструкция, символ свободы, Эйитиро Ода, массовая культура, аниме, манга.

The evolution of the pirate's visual code in the One Piece Universe: from a replicated archetype to a unique symbol of freedom

Orlova A.M.
National Research University Higher School of Economics

Khusyainov T.M.
National Research University Higher School of Economics

Abstract. This study examines the transformation of the visual code of the pirate archetype within the universe of Eiichiro Oda's manga and anime One Piece. It analyzes the process of deconstructing established stereotypical elements of piracy and their subsequent infusion with new meaning. Using the example of the main protagonist, Monkey D. Luffy, and his crew, the article demonstrates how the pirate image evolves from a symbol of lawlessness and greed into a complex symbol of freedom, dreams, and ethical resistance. Particular attention is paid to the reception of this updated image in the real world, as evidenced by the use of the "Straw Hat" symbolism in contemporary protest movements.

Keywords: One Piece, visual code, pirate archetype, deconstruction, symbol of freedom, Eiichiro Oda, mass culture, anime, manga

Образ пирата – один из самых тиражируемых в мировой культуре. Первые их описания появляются ещё в литературе XVIII века, когда капитан Чарльз Джонсон опубликовал свою «Всеобщую историю грабежей и убийств, совершенных самыми знаменитыми пиратами» [1], которая, в дальнейшем, вдохновила многих писателей. Благодаря им, последующим театральным постановкам, кинофильмам и книжным иллюстрациям формируется устойчивый визуальный архетип: глазная повязка, попугай на плече, ром, карта сокровищ, флаг с черепом и костями — всё это узнаётся мгновенно [2].

В. Беньямин писал: «<…> То, что при этом исчезает, может быть суммировано с помощью понятия ауры в эпоху: технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры» [3, с. 22], так архетип пирата, будучи повторенным огромное количество раз, становится тиражируемым штампом, который утрачивает какую-либо индивидуальность и внутренний смысл, переходит в фигуру из мира развлечения.

Акош Коппер в своем исследовании подчеркнул двойственность и пограничность образа пирата в One Piece: пират здесь – символ иного типа миропорядка, в одних случаях олицетворяя беспощадное насилие, а в других – бескомпромиссное стремление к свободе, бросающее вызов любой власти [4, с. 508].

В центре повествования капитан пиратской команды Луффи, и первоначально, для читателя манги и зрителя аниме, один из пиратов, но с амбициозными целями – стать королем всех пиратов. Однако, позже выясняется, что цели его намного выше, чем обычная борьба за власть над другими – стать по-настоящему свободным.

Во вселенной One Piece, созданной Эйитиро Оды, мы видим активную работу с растиражированным архетипом: знакомый образ переосмысляется, переводится из западного символа беззакония и жадности в восточный символ внутренней свободы, мечты и самоопределения.

В One Piece пират перестаёт быть преступником в привычном смысле. Луффи и его команда нарушают законы, но не ради наживы, а во имя личной свободы и поиска правды. Автор использует знакомые элементы «пиратского» архетипа – корабль, флаг, команду, капитана, но наполняет их новым содержанием.

Визуально Луффи далёк от классического пирата: он не носит повязку, не пьёт ром, не имеет оружия. Его отличительные черты: соломенная шляпа и широкая улыбка – становятся не знаком опасности, а знаком надежды. Шляпа Луффи, переданная ему от персонажа Шанкса,

превращается в символ преемственности мечты о свободе. Таким образом, Ода деконструирует визуальный архетип, освобождая его от стереотипных атрибутов и создавая новый, эмоционально и этически насыщенный символ.

Ещё один тиражируемый символ пиратов – флаг с Веселым Роджером, который в традиционной культуре однозначно сигнализировал об угрозе. Вселенная One Piece наполнена множеством пиратских флагов, каждый из которых демонстрирует индивидуальность команды. Если в классическом образе флаг с черепом означал угрозу и смерть, то здесь он становится знаком идентичности и сплоченности. Поэтому череп на флаге команды Луффи улыбается, он не пугает, а может выражать жизнеутверждение.

Эволюция визуального кода неразрывно связана с переосмыслением этической составляющей. Образ Луффи демонстрирует расставание с простой схемой противопоставления «хороших» и «плохих» персонажей, традиционной для пиратского жанра, входя в поле «серой» морали.

По сюжету аниме Луффи и его команда неоднократно выступают в роли «реставраторов» справедливости, помогая вернуть законную власть прежним ранее смещенным династиям в таких королевствах, как Алабаста, страна Рыболюдей и Дресс Роза, где был установлен «жесткий» политический режим, угнетающий местных жителей. Парадоксальным образом, пират способствует восстановлению легитимных династий, борясь с узурпаторами и раскрывая правду народу.

Данная ирония получает структурное закрепление в сюжете о Совете Королей, мероприятии, организованном Мировым Правительством, в который входят лидеры различных государств. На нём три героини-принцессы встречаются и случайно выясняют, что во всех трёх странах Луффи помог восстановить порядок и вернуть власть династиям, у которых она была отобрана ранее.

С одной стороны, Луффи восстановил справедливость, вернув власть династиям, которые годами правили в данных странах. В рамках этой борьбы он помог раскрыть правду народу о «захватчиках». С другой стороны, важно отметить, что в ходе борьбы за возвращение власти погибло очень много невинных людей, города были разрушены, а в случае с Дресс Розой вся страна целиком была уничтожена. Он не ведет себя как пират, образ которого закрепился в общественном сознании, а демонстрирует более западный супергеройский образ – персонажа, который спасает страны и народы, а не грабит приморские города или проплывающие мимо корабли.

Если воспринимать пиратов как отрицательных персонажей, то в противовес им должны быть те, кто несет добро и справедливость. В данном случае в их роли выступает Морской Дозор, который борется с пиратами. Три Адмирала Морского Дозора: Акаину, Аокидзи и Фуджитора – ратуют за справедливость, но у каждого она своя, также как и понимание «добра» у них отличается. Из-за того, что их взгляды заметно расходятся, это приводит к конфликтам внутри их структуры. Эти внутренние конфликты и методы десакрализируют образ «абсолютного добра», традиционно ассоциируемый с официальными властями, и вызывает неоднозначное отношение зрителя к Морскому Дозору. В результате конфликта Адмиралов Аокидзи и Акаину, первый уходит из морского дозора и присоединяется к пиратской команде, к тем, с кем когда-то боролся, что окончательно размывает четкие границы между добром и злом.

В ходе всего аниме автор пытается вызвать эмпатию и симпатию к команде Соломенной шляпы. Сюжет и образы выстроены так, что им хочется сопереживать и поддерживать, радоваться их победам и их достижению поставленных целей. У Морского Дозора основная цель – ограничить права команды и арестовать их, что вызывает негативные эмоции у читателя манги и зрителя аниме. Особенно, когда Адмиралы Морского Дозора убивают многими горячо любимых персонажей.

Эйитиро Ода не подменяет понятия и не говорит, что пираты абсолютно хорошие, а Морской Дозор абсолютно плохой, он заставляет внимательнее присмотреться к поступкам и мотивам персонажей, делая самостоятельные выводы. Образ пирата из абсолютно плохого

в общественном сознании становится символом справедливости и добра, а образ Морского Дозора с точностью да наоборот из образа абсолютного добра и справедливости превращается в образ, вызывающий негативные эмоции, несущий смерть.

Эволюция визуального кода пирата во вселенной One Piece отражает более широкий культурный процесс – переход от тиражируемого архетипа к индивидуализированному символу. One Piece стал действительно культовым произведением современной японской и мировой культуры, благодаря которому образ пирата отошел от образа грабителя и разбойника, и из манги и аниме нашел применение в реальной жизни.

Ярким примером проявления этого становится появление флагов команды Луффи с улыбающимся черепом в соломенной шляпе на молодежных протестах в Непале. Активисты из поколения Z выбрали флаг пиратов Мугивар как символ своей личной свободы и противопоставление её государству [5]. В дополнение к флагу были использованы стилизованные листовки о розыске с изображением представителей органов государственной власти. Таким образом, трансформация в One Piece тиражируемого образа пирата достигает своего апогея, Луффи становится символом свободы и борьбы за права уже не только в вымышленной вселенной манги и аниме, но и находит свое проявление в предметном мире.

Литература

1. Captain Charles Johnson. A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. London, 1724. 304 p.
2. White D. The Piratical Philosophy of Freedom // Philosophy Now. [Электронный ресурс]. URL: https://philosophynow.org/issues/64/The_Piratical_Philosophy_of_Freedom (дата обращения 10.10.2025)
3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Под. ред. Ю.А. Здорового. М.: Медиум, 1996. 240 с.
4. Kopper A. Pirates, justice and global order in the anime «One Piece» // Global Affairs. 2020. Vol. 6. Issue 4-5: Contestation of EU Foreign Policy, Guest Editors: Franziska Petri, Elodie Thevenin and Lina Liedlbauer. P. 503-517. DOI: 10.1080/23340460.2020.1797521
5. Bagchi N. One Piece 'Straw Hat' flag becomes symbol of Nepal Gen-Z protests as 19 killed in clashes, social media ban lifted amid youth outrage // India Times. [Электронный ресурс]. URL: https://www.indiatimes.com/trending/one-piece-straw-hat-flag-becomes-symbol-of-nepal-gen-z-protests-as-19-killed-in-clashes-social-media-ban-lifted-amid-youth-outrage/articleshow/123973316.html (дата обращения 10.10.2025)

Преодолевая локальность: практические и концептуальные границы расширения научных практик

Петрухина П. С.

философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова,
кафедра онтологии и теории познания,
младший научный сотрудник
E-mail: polina.petruhina@gmail.com

Аннотация: Трактовку научного знания, предлагаемую современными социальными исследованиями науки и техники, можно выразить через концепт локальности. Знание оказывается укоренено или локализовано в социальных и материальных условиях его производства, определяющих его статус. Однако наука – это растущий и развивающийся институт и система знаний. Характеристика научных положений и практик как локальных ставит в этой связи ряд вопросов, касающихся, с одной стороны, границ функционирования

научного знания (его универсальности), с другой – границ использования самого понятия «наука» (того, что можно считать наукой). Настоящий доклад посвящен анализу и возможным путям решения этих вопросов. Указывается на практические возможности расширения сфер значимости научного знания, позволяющие ему в пределе претендовать на универсальность и общезначимость. В рамках проблемы наделения статусом науки альтернативных эпистемических систем (традиционного, индигенного знания) отстаивается сохранение за наукой локального значения – формы производства знания, сформировавшейся на основе опытного естествознания в Европе XVII в., однако претерпевающей разнообразные трансформации в результате экспансии научных практик в другие регионы и культуры.

Ключевые слова: локальность, производство знания, социальный конструктивизм, релятивизм, STS, индигенное знание, эпистемические системы

Transcending locality: practical and conceptual limits to the expansion of scientific practices

Petrukhina P. S.

Lomonosov Moscow State University

Abstract: The interpretation of scientific knowledge offered by contemporary STS can be expressed through the concept of locality. Knowledge is situated or localized in the social and material conditions of its production, which determine its status. However, science is a growing and developing institution and system of knowledge. Characterizing scientific statements and practices as local raises a number of questions concerning, on the one hand, the limits of scientific knowledge functioning (its (non-)universality) and, on the other, the limits of the application of "science" as a concept (what can be considered science). This paper analyzes these issues and explores possible solutions. Practical possibilities for expanding the scope of scientific knowledge's significance are pointed out, which ultimately allow for universality and general validity of scientific claims. Also, the problem of granting the scientific status to alternative forms of knowledge (traditional, indigenous knowledge) is discussed. The limited definition for science as a form of knowledge production formed on the basis of experimental natural science in the Modern Europe is defended, while its diversity is postulated as a result of the expansion of scientific practices into other regions and cultures.

Keywords: locality, knowledge production, social constructivism, relativism, STS, indigenous knowledge, epistemic systems

В рамках современных социальных исследований науки и техники (STS[1]) одной из ключевых характеристик научного знания можно назвать локальность. В противовес универсалистскому нарративу, приписывающему научным теориям и законам статус необходимых истин о мире вне зависимости от того, кто, где, когда и как их произносит и использует, во многих STS проектах утверждается принципиальная укорененность знания в конкретных практиках и ситуациях, в которых находится носитель этого знания [1]. Таким образом вскрываются границы применимости науки: ее функционирование в качестве системы «твердых фактов» ставится в зависимость от определенных условий, внешних по отношению к содержанию ее положений. Однако наука – это, с одной стороны, растущий и развивающийся институт, распространяющий свои практики по всему миру, а с другой – система знаний, претендующая на универсальную значимость. В своем докладе я проанализирую те напряжения, которые производит применение концепта локальности к научному знанию и то, какие эффекты они оказывают на наше понимание науки, ее границ и ее места относительно других систем производства знания.

Начнем с того, как вообще можно утверждать локальность науки. Исследования генезиса научных фактов, сосредоточенные на эмпирически наблюдаемых, социальных

и материальных механизмах их производства, подводят нас к признанию конструктивистского характера знания [2]. В рамках альтернативных и более распространенных концепций, гдезнание понимается как отражение реального мира, в качестве обоснования его претензий на истинность выступают отношения соответствия или подобия между содержанием знания и его объектом. В конструктивистской же трактовке признание некоторого утверждения качестве истины объясняется через экспликацию «внешнего контекста», который и делает это знание возможным. Этот контекст включает в себя различных акторов (люди, институции, артефакты, исследуемые объекты и пр.), их взаимодействия и условия, в которых они действуют. Укорененность знания в этих исторических, социальных и материальных факторах приводит к признанию его локальной природы. Понятие локальности здесь используется в качестве компактного обозначения целого комплекса смыслов, среди которых можно выделить историчность, контекстуальность, темпоральность, плюралистичность [3, с. 8, 10], предполагаемые социально-конструктивистской трактовкой научного знания.

Наиболее ярким примером, иллюстрирующим тезис о локальной природе научного знания, является анализ исследований Луи Пастера в области микробиологии, который предпринимает в своих работах Бруно Латур [4, 5]. Так, чтобы вакцина от сибирской язвы, успешно продемонстрировавшая свою эффективность в лаборатории, смогла заработать и на реальных животных вне ее стен, необходимо «распространить лабораторию вовне» [5, с. 14–15]. Это означает, что нужно воспроизвести на фермах те условия (в частности, гигиену), в которых была получена работающая вакцина, и в которых, следовательно, приобретают статус истин научные утверждения о том, что является причиной данного заболевания и как с ним бороться. Только в рамках сетей устойчивых и воспроизводимых практик высказывания науки становятся фактами реальности.

Признание локальности знания ставит перед нами ряд теоретических и практических сложностей. Одной из наиболее существенных проблем, вызывающих критику подобных взглядов на науку, является кажущаяся ее неизбежным следствием принципиальная неуниверсальность научного знания, вступающая в противоречие с общепринятым взглядом на научные теории. Действительно, в рамках социально-конструктивистских взглядов на науку отсутствуют онтологические и эпистемологические обоснования необходимой истинности научных утверждений, позволяющие подвести под них метафизический фундамент. Помещенное в иные исторические, культурные и материальные контексты, знание не сохраняет по умолчанию свой статус истины о мире, если в результате оно оказывается оторванным и изолированным от условий своего производства. С другой стороны, это противоречие можно разрешить, поскольку всегда остается возможность “вынести лабораторию вовне”, то есть расширить географию применимости научного знания путем распространения сопутствующих ему практик и институций. У этого процесса нет принципиальных ограничений, что в пределе позволяет добиться желаемой универсальности науки. Вопрос в том, нужно ли это делать?

Утверждение локальности не только научного, но знания вообще предполагает неоднородность и множественность форм последнего. Другие социальные и материальные условия порождают альтернативные науке эпистемические системы практик. Исследованию таких альтернатив, в частности индигенных форм знания сейчас уделяется все большее внимание, особенно в контексте экологической проблематики и исследований климата (см., например, [6]). В ситуации ярко выраженного доминирования науки как главного поставщика знаний о реальности в современном мире встает вопрос о ценности сохранения множественности различных систем производства знания. Однако здесь важно соблюдать баланс. Сохранение и поддержание условий возможности для альтернативных форм знания не влечет за собой признания равноценности всех этих форм. Иными словами, тезис о локальности знания не предполагает с необходимостью позицию радикального релятивизма, оставляя возможность сравнивать различные эпистемические системы друг с другом. Например, по прагматическому критерию, то есть по их способности решать актуальные

задачи. Специфика науки состоит в том, что во многих сферах производимое ею знание позволяет достигать наиболее эффективных результатов, что обуславливает ее широкое распространение.

Другой проблемный аспект связан с самим термином “наука” и границами сфер его применимости. Становление и оформление науки как института, то есть совокупности определенных практик производства знания, как правило, усматривается в Европе XVII века. Именно там и именно в этот период появляется математизированное опытное естествознание, которое и рассматривается как наиболее чистый образец научного знания. В рамках нашего разговора о локальности тогда уместно сделать ремарку, что науку должно понимать как специфически западный феномен, ведь именно в западной культуре укоренено его происхождение. Правда, даже в классической “европоцентристской” историографии возникают вопросы относительно темпоральной локальности феномена науки. Например, как быть с исследовательскими практиками Античности и Средневековья? Конечно, эту проблему можно решить, например, постулировав некий протонаучный этап в развитии науки. Однако “географическое” или пространственное измерение локальности ставит проблему, которую решить не так просто. Насколько мы можем расширять границы термина «наука»? Возможна ли вообще наука «незападная»? И что под ней может подразумеваться?

Прежде всего, очевидно, что имеется в виду не просто наука, которая имеет место в странах условного Востока, поскольку большая ее часть представляет собой такое «вынесение» условий ее возможности (то есть западных исследовательских и образовательных практик) вовне, как в случае с «вынесением» вовне лаборатории Пастера. Значит, мы снова должны обратиться в своем анализе к альтернативным западной науке традиционным или индигенным практикам производства знания. Аргументы в пользу расширения понятия науки таким образом, чтобы оно включало в себя и эти формы знания, лежат прежде всего в сфере политики, понимаемой в широком смысле как борьбы за представление своих интересов в публичном пространстве. Это связано с той политической силой, которой наделен термин “наука”. В ситуации конкуренции эпистемических систем в современных обществах у официальной науки как доминирующей системы есть ряд привилегий, тогда как многие ее альтернативы часто клеймятся такими негативно окрашенными оценочными терминами как паранаука или даже лженаука. В этом случае признание научности той или иной формы знания добавляет ей политического веса, поэтому стремление закрепить в употреблении понятия коренной или индигенной науки [7] вполне понятно.

Однако в каком случае индигенные формы знания могут претендовать на то, чтобы именоваться наукой? Как будто бы это предполагает, что у западной науки все же есть “нелокальные”, универсальные характеристики, наличие которых позволило бы нам назвать наукой и другие системы знаний и способы их производства. Однако, во-первых, тогда эти характеристики претендовали бы на статус сущностных черт науки, сама возможность выделения которых ставится многими STS-исследователями под вопрос и даже критикуется [8, с. 9-10]. Во-вторых, незападные формы знания оказывались бы под угрозой утраты своей уникальности и специфичности, а вместе с ними утрачивала бы свой смысл идея множественности эпистемических систем. В другом возможном варианте, наделяя альтернативные формы знаний статусом науки, мы просто используем понятие науки в качестве синонима системы производства знаний о мире, нивелируя любую его специфику. Возможно, в первое время это действительно даст желаемый политический результат, однако в долгосрочной перспективе понятие науки рискует стать чересчур общим и пустым.

Предполагаемым выходом здесь могло бы стать сохранение термина «наука» в узком смысле за той системой производства знания, которая зародилась в нововременной Европе. При этом, в нем также присутствует множественность и вариативность в виде специфических локальных его реализаций, появляющихся в результате переноса исходной системы в новые социокультурные контексты.

Примечания

[1] Англоязычная аббревиатура, ставшая общеупотребительным названием для целого комплекса исследований, может расшифровываться двояко: как «исследования науки и техники» (*Science and Technology Studies*) или как «наука, техника, общество» (*Science, Technology, Society*). Чтобы ухватить оба эти смысла и некоторым образом их синтезировать, я использую оборот «социальные исследования науки и техники».

Благодарности

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В.Ломоносова / The study was conducted under the state assignment of Lomonosov Moscow State University

Литература

1. Харауэй Д. Ситуативные знания: вопрос о науке в феминизме и преимущество частичной перспективы // Логос. 2022. Т. 32. №1. С. 237–271.
2. Knorr-Cetina K. The manufacture of knowledge: an essay on the constructivist and contextual nature of science. New York: Pergamon Press. 1981. 189 p.
3. Сыродеева А. Локальность и современники // Коллаж-2. Социально-философский и философско-антропологический альманах. М., 1999. С. 7–18.
4. Латур Б. Пастер: война и мир микробов, с приложением «Несводимого». СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2015. 316 с.
5. Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. 2002. Т. 35. № 5–6. С. 211–242.
6. Whyte K. Indigenous Science (Fiction) for the Anthropocene: Ancestral Dystopias and Fantasies of Climate Change Crises // Environment and Planning E: Nature and Space. 2018. Vol. 1. №1–2. P. 224–242.
7. Shinely G., Corsiglia J. Indigenous Science: Proven, Practical and Timeless // Knowing Home: Braiding Indigenous Science with Western Science. Book 1. Eds. by Snively G., & Williams Wanosts'a7 L. Victoria, BC: University of Victoria. 2016. 265 p.
8. Писарев А., Гавриленко С. В поисках ускользающего объекта: наука и ее история // Логос. 2020. Т. 30. №1. С. 1–29.

Философия техники в эпоху Industry 4.0: новые границы человеческой сущности

Редникина В.Е.
кандидат философских наук
Самарский университет, зав. лабораториями
кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии
valentina-8107@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме философского осмысления и гуманитарной экспертизы в контексте стремительного технонаучного прогресса современного общества. В эпоху, когда научно-технический прорыв охватывает все аспекты жизни, автор подчеркивает ключевую роль философии техники как инструмента глубокого анализа и понимания трансформаций, происходящих в человеческом обществе. Центральное место в статье занимают ключевые направления современных технологических проектов, оказывающих влияние на фундаментальные основы

существования человека. Этот процесс рассматривается через призму постчеловеческой философии, акцентирующей внимание на размывании границ между человеком и технологией, что приводит к появлению квазиобъектов – "субъект-объектов", которые разрушают традиционные представления о природе и культуре.

Ключевые слова: философия техники, NBIC-конвергенции, технонаучный, трансгуманизм, промышленная революция, Industry 4.0, импланты, биотехнологии.

Philosophy of Technology in the Era of Industry 4.0: New Boundaries of Human Essence

V.E. Rednikina
Samara University

Abstract: This article addresses the pressing issue of philosophical understanding and humanitarian expertise in the context of the rapid technoscientific progress of modern society. In an era when scientific and technological breakthroughs permeate all aspects of life, the author emphasizes the key role of the philosophy of technology as a tool for deep analysis and understanding of the transformations occurring in human society. The article focuses on the key areas of modern technological projects that impact the fundamental foundations of human existence. This process is examined through the prism of posthuman philosophy, which emphasizes the blurring of boundaries between humans and technology, leading to the emergence of quasi-objects – "subject-objects" – that undermine traditional notions of nature and culture.

Keywords: philosophy of technology, NBIC convergence, technoscientific, transhumanism, industrial revolution, Industry 4.0, implants, biotechnology.

В современном мире, где технонаучный прогресс стремительно развивается, возникает необходимость в философском осмыслении и гуманитарной экспертизе. Различные технологические и индустриальные проекты затрагивают важнейшие аспекты человеческой жизни, включая природу человека, его социальные отношения, ценности и т.д. В условиях текущей технонаучной революции, которая охватывает все сферы нашей жизни, философия техники выступает как инструмент для анализа и понимания происходящих изменений. Среди таких проектов можно выделить несколько ключевых направлений.

Например, проект NBIC-конвергенции представляет собой попытку интеграции различных научных дисциплин с целью создания новых, более совершенных технологий. «Переводя с языка областей взаимодействия (нано-, био-, инфо, когно-, технонауки) на язык акторов наномасштаба: атомов, генов, нейронов и битов, мы сталкиваемся с гибридами природы и культуры, по выражению Бруно Латура – квазиобъектами, или «субъект-объектами», которые размывают барьеры между культурой и природой, деятелем и материалом. В связи с этим возникает вопрос о границах изменяемого конвергентными технологиями тела. Четкое определение границ человеческого тела как раз в связи со становлением конвергентных технологий – проблематично. Границы наших тел «размываются» в физическом, физиологическом, экологическом, психосенсорном, экзистенциальном измерении» [1, с.107].

Во-вторых, проект «четвертой промышленной революции, известный как Industry 4.0, создает мир, в котором виртуальные и физические системы производства гибко взаимодействуют между собой на глобальном уровне. Это обеспечивает полную адаптацию продуктов и создание новых операционных моделей» [2, с.12].

Наконец, трансгуманистические проекты, которые ставят перед собой задачу улучшения человеческих возможностей с помощью технологий, становятся все более актуальными в нашем обществе. «Содержательно «трансгуманизм» подразумевает анализ

границ человеческого в естественнонаучном, нравственном, эстетическом измерениях с целью обнаружения путей их качественного преодоления» [3, с.188]. «Трансгуманизм – это больше, чем наивная абстрактная вера, что мы на пороге преодоления своих биологических границ посредством технологий. Это также попытка полностью переоценить привычное определение человеческого существа» [4, с.244].

Необходимо не просто замечать происходящие преобразования, но и предвидеть вероятные пути их дальнейшего хода. Для этого нужно создать принципиально новые подходы и стратегии, которые будут учитывать технологический прогресс и социокультурные аспекты. Гуманитарная экспертиза должна восприниматься не как инструмент ограничения дискуссионных исследований, а как способ анализа изменений, влияющих на нашу жизнь, а также понимания рисков в отношении человеческой идентичности в эпоху новых технологий. Обычная методика оценки в области гуманитарной экспертизы все чаще заменяется проектным методом работы.

Человек перестает быть лишь «создателем и потребителем техники; он становится моделью в процессе получения технического знания» [5, с.79]. Его уникальность и индивидуальность начинают терять исключительность в мире искусственных систем. Современные разработки в области автоматизации и машинного обучения все активнее имитируют функции человеческого мозга. К примеру, несмотря на потенциал полного изменения генетического кода, современные биотехнологии пока не способны создать полноценную клетку с нуля. При создании новых живых организмов ученым приходится применять нативные клеточные структуры, в которые затем интегрируется сконструированная ДНК. Это не свидетельствует о слабости синтетической биологии, а лишь отражает текущие ограничения ее возможностей. Таким образом, технологии работы с рекомбинантной ДНК и прочие инструменты синтетической биологии точнее рассматривать как способы оптимизации существующих биологических систем, а не как методы зарождения новой жизни. «Отчуждение от собственного тела – философская проблема, приобретающая особую остроту в условиях стремительного научно-технического прогресса. Мы наблюдаем не просто изменение восприятия, а коренной сдвиг в самом понимании того, что значит быть человеком. Тело перестает быть исключительно биологическим субстратом, оно становится объектом манипуляции, подвергается модификациям, дополняется технологиями, превращаясь в своего рода кибернетический артефакт (искусственные органы, импланты, микрочипы и т.д.)» [6, с.87].

Это поднимает важные вопросы о том, что значит быть человеком в эпоху, когда машины могут выполнять задачи, которые ранее считались исключительно человеческими. Вновь человек признается высшей ценностью, однако установить пределы его сущности теперь непросто, ведь технологии проникли не только во внешнюю среду, но и внутрь нас – благодаря имплантам, искусственным органам, медикаментам, и прочим достижениям.

Таким образом, перед нами стоит вызов: как нам адаптироваться к этому новому миру, в котором границы между человеческим и искусственным становятся все более размытыми? Как обеспечить, чтобы технологии служили на благо человечества, а не наоборот? Ответы на эти вопросы требуют глубокого философского осмысления и активного участия гуманитарных наук в процессе научно-технического развития. Это требует от нас не только понимания текущих тенденций, но и готовности к активному участию в формировании будущего, где технологии и человечество будут сосуществовать в гармонии, поддерживая друг друга в стремлении к прогрессу и развитию.

«В частности, многочисленные факты вмешательства в природу человека на генетическом уровне оказались столь значительными, что поставили человеческую цивилизацию перед сложным выбором между миром естественным и искусственным» [7, с.389]. «На современном витке развития человечества, меняется методология и субъектность. Многие функции субъекта-человека передаются искусственному интеллекту (ИИ) и это не только сбор информации и вычислительные процессы. Граница человеческого, что передаваемо машине, постоянно сдвигается. Конечно, у бездушного механизма нет

целеполагания, сознания, что, несомненно, присуще *Homo sapiens*, но это лишь потому, что мы сами еще не до конца разобрались, как это работает» [8, с.57]. Подобная ситуация делает особенно актуальными моральные и этические аспекты. Поскольку люди зачастую не способны отличить конструктивные технологии от деструктивных, а привыкшие к комфорту, обеспечиваемому научным и техническим прогрессом, неохотно отказываются от неудобств современной потребительской культуры.

Таким образом, философия техники и «гуманитарная экспертиза играют ключевую роль в понимании и осмыслении изменений, происходящих в нашем обществе. В условиях технонаучной революции необходимо учитывать не только технологические достижения, но и их влияние на человека и общество» [9, с.208]. Это требует интеграции социальных наук в инженерную практику и осознания важности человека как центральной фигуры в процессе техноэволюции. Только так мы сможем справиться с вызовами, которые ставит перед нами стремительное развитие технологий, и создать будущее, в котором гармонично сосуществуют человек и машина.

Литература

1. Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. Под ред. проф. Д.И. Дубровского. М.: ООО «Издательство МБА», 2013. 272 с.
2. Шваб, К. Четвертая промышленная революция. М: «Эксмо». 2016. 138 с.
3. Нестеров А.Ю. Проблема человека в свете идеологии эволюционного трансгуманизма // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. Москва: ООО "Издательство МБА", 2013. С. 203-227.
4. Bostrom N. Are you living in a computer simulation? // Philosophical Quarterly. 2003. Vol. 53. № 211. P. 243—255
5. Ястреб, Н.А. Человек в эпоху четвертой промышленной революции : монография / Н.А. Ястреб, О.Ю. Никифоров ; М-во образ. и науки РФ, Вологод. гос. ун-т. Вологда: ВоГУ, 2015.
6. Редникина, В. От естественного к искусственному конструированию живых систем // Patria. 2025. Т. 2, № 3(7). С. 82-91.
7. Редникина, В. Е. Внутринаучные и метанаучные аспекты трансдисциплинарности // Материалы II Международной конференции Российского национального комитета по истории и философии науки и техники РАН, посвященной 300-летию Российской академии наук : Материалы конференции, Москва - Санкт-Петербург, 26 февраля – 01 2024 года. Москва: Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 2024. С. 389-391.
8. Редникина В.Е. Методологические основания трансдисциплинарного подхода в науках о жизни: дис. ... канд. филос. наук: 5.7.6. - Моск. пед. гос. университет, Москва, 2025 156 с.
9. Барышников, П. Н. Типология бессмертия в теоретическом поле французского трансгуманизма // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. Москва: ООО "Издательство МБА", 2013. С. 203-227.

Основания интеграции и взаимопроникновения гуманитарных, естественных и точных наук

Тульчинский Г.Л.

Доктор философских наук

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»-Санкт-Петербург, профессор

E-mail: gtul@mail.ru

Аннотация: Рассмотрены три основания интеграции и взаимпроникновения наук. Во-первых, нарративные дискурсы любого научного знания: фактологически-описательный, каузально-объяснительный и оценочно-целевой. Фактически, они задают три измерения смыслового содержания любых идей: референциальной предметности, оценки и нормативности. В разных отраслях научного знания акцентируются конкретные виды (уровни) наррации. В гуманитаристике – на первом плане оценочно-целевые наррации. В естествознании - фактология и каузальность. Но и в них, и в точных науках фигурируют и оценочно целевые контексты в обосновании актуальности и практической значимости исследований. Аналогична и структура любого проекта, заявки на грант, научной статьи. Во-вторых, это субъектность, выступающая универсальным интерфейсом взаимодействия различных контекстов смыслообразования. В-третьих, общий механизм прагмасемантики семиозиса знаковых систем научного знания, как каскадов контекстов смыслообразования, задаваемых ценностно-регулятивными системами социально-культурных практик. В этой связи оказывается важным разделение субъектности, субъективности и агентности (агентивности), а также уровней их проявления в семиозисе научного знания и его институционализации.

Ключевые слова: агентивность, междисциплинарность, нарративный дискурс, научное знание, семиозис, смыслообразование, субъектность.

Foundations for the integration and interpenetration of the humanities, natural sciences, and exact sciencesTitle

Tulchinskii G.L.
National Research University "Higher School of Economics"- St.Petersburg

Abstract: Three foundations for the integration and interpenetration of sciences are considered. First, the narrative discourses of any scientific knowledge: factual-descriptive, causal-explanatory, and evaluative-targeted. In fact, they define three dimensions of the semantic content of any ideas: referential objectivity, evaluation, and normativity. Different branches of scientific knowledge emphasize specific types (levels) of narration. In the humanities, evaluative-targeted narratives are foregrounded. In the natural sciences, factuality and causality are prominent. However, both in these fields and in the exact sciences, evaluative-targeted contexts also figure in substantiating the relevance and practical significance of research. The structure of any project, grant application, or scientific article is similar. Second, that is subjectness, which serves as a universal interface for the interaction of various contexts of meaning formation. Third, the general mechanism of the pragmasemantics of the semiosis of scientific knowledge's sign systems, as cascades of meaning-making contexts defined by the value-regulatory systems of socio-cultural practices, is crucial. In this regard, the distinction between subjectness, subjectivity and agency, as well as the levels of their manifestation in the semiosis of scientific knowledge and its institutionalization, becomes important..

Keywords: agency, cross-disciplinarity, narrative discourse, scientific knowledge, semiosis, meaning-making, subjectness

Развитие науки даёт много примеров междисциплинарности, взаимного проникновения и дополнения различных подходов, становления новых дисциплин, объединяющих такой потенциал. Примерами являются маркетинг, культурология, когнитивистика… Поскольку таких примеров становится всё больше, постольку возникает

необходимость выявления и обобщения оснований, факторов и механизмов такого взаимодействия. В данной работе обращается внимание на три таких основания.

Первое связано со способами фиксации и выражения знания, общими для различных научных дисциплин. В науке уже давно выявлена зависимость формулировки представлений о сущностях от способов рассуждений, языковых конструкций. Представления не только о социальной, но и о природной реальности зависят от способов рассуждения не в меньшей степени, чем от способов наблюдения и измерения. Более того, сами возможности распознавания и измерения неких параметров зависят от ранее выстроенных осмысленных дискурсивных конструкций, связных нарративов о реальности. И такая зависимость намного глубже, чем может представляться на первый взгляд.

Как было показано ранее [1], если рассматривать объяснения в терминах нарративов, т.е. построения осмысленных дискурсивных разъяснений, то научное знание предстает как три формы (уровня) наррации:

(1) Уровень эмпирической фактологии, предъявления описаний, данных.

(2) Уровень каузальных связей, взаимосвязей и детерминаций между фактами.

(3) Уровень целевого контекста, раскрывающего замысел построения и использования целостного конструкта.

Если научные объяснения дают ответы на вопросы, решают проблемы, раскрывая суть происходящего, то уместно уподобление уровней их нарративности структуре детектива: презентация ситуаций, их описание (наличие жертвы, место и время пребывания участников событий, орудия преступления) дополняется агрегацией паззла построения целостной картины происшедшего, в котором могут обнаруживаться смысловые, каузальные нестыковки объяснений, а завершает осмысление этого целого рефлексия достраивающая осмысление до выявления мотиваций (в духе рассказа Э.Пуаро, мисс Марпл в финале). Такая полинарративная модель вполне соответствует концепции И. Галтунга, согласно которой развитие социальной науки происходит в постоянном движении между тремя «полюсами»: данными, теорией и ценностями [2]. Осмысление эмпирических данных с ценностных позиций реализует критицизм. Соотнесение теории и эмпирических данных реализует эмпирицизм с его попытками объяснения и предвидения развития. Синтез теории и ценностей дает конструктивизм – как возможность построения моделей реальности.

Хотя 1-й и 2-й уровни акцентированно свойственны science, тогда как 3-й – humanities, уровни эти не разорваны, а взаимосвязаны, как в humanities, так и в sciences. Так, роль 3-го уровня проявляется выражается не только в обосновании значения исследования, но и в базовых метафорах, лежащих в основе научной терминологии, даже на 1-ом – при отборе фактов, их распознавании и обозначении. Специфика science в том, что такие метафоры как «сила», «поле», «ток», «струны», «волна» и т.п. конкретизируются, операционализируются, измеряются. Это позволяет не просто подводить явление под общую категорию, а пытаться выявить корреляции, выделить существенные факторы, каузальность и прочие детерминации, подтвердить или опровергнуть суждения. Но сами категории, их отбор, не говоря об обосновании актуальности, целевом контексте исследования, признании практического значения его результатов, важных для заявок на гранты, в популяризации, научной публицистике – нарративы именно 3-го уровня. Конструктивные (алгоритмически процедурные) объяснения интегрируют 2-й и 3-й уровни объяснительной наррации, раскрывая процесс порождения феномена. Тогда как 1-й уровень выступает в качестве либо элементной базы построения, либо также как презентация «конечного продукта» всего построения.

Другими словами, клавиши у всех отраслей науки одни и те же – просто аккорды на них берутся разные. Разумеется, нельзя сводить методологию социальных и гуманитарных наук к методологии естественных и точных наук. Это выхолащивает саму суть социального и гуманитарного предмета – наличие воли политических акторов, мотивация которых редуцируется к абстрактным схемам. Но нельзя не признать, что и sciences зависят от конструктивной концептуальной активности познающего субъекта. Абстрагирование от этого

элиминирует ответственную субъектность, которая выступает вторым, более глубоким основанием интеграции.

Об этом свидетельствует и явный персонологический тренд философии познания от представлений о сущем (онтология, натурфилософия) – к методам и критериям познания этого сущего (гносеология, эпистемология, позитивизм), далее – к ценностно-нормативным факторам, определяющим эти критерии (постпозитивизм с его подчёркиванием роли социально-культурных, дискурсивных практик) и – к источнику, инструменту и результату этих практик, каковой выступает личностная субъектность.

Субъектность (самосознание) суть семиотическое по своей природе рефлексивное самоописание – результат социализации, освоения социально-культурных практик, которое сопровождается нарративной коммуникацией типа «Это не само произошло – это ты сделал!». В этом заключается смысл семейного воспитания, образования, освоения профессии – человека вырывают из каузальных связей, замыкая причины на нём и делая его causa sui. И обычно к 3-у году жизни, с освоением ребёнком наррации от 1-го лица, у него формируется самосознание (autobiographical self [3]), в его памяти начинается складывать нарратив «романа» его жизни [4] и он становится вменяемым субъектом. В силу своей рефлексивности, субъектность противоречива (допуская A&~A), а значит, открыта различным дополнениям универсума рассуждения. Более того, рефлексивная самоописательность субъектности не только противоречива, но и целостна, («странная петля» [5], что делает её универсальным интерфейсом для дополнения, смены и порождения различных контекстов, открывая возможность дополнения реально сущего воображением.

В определенном смысле субъектность является операционализацией трансцендентального субъекта, носителем которого является любой наделенный самосознанием вменяемый индивид. Так же, как и трансцендентальный субъект, субъектность, подобна слепому пятну в глазу, будучи сама ненаблюдаемой, является условием познания. Интенциональность субъектности фокусирует предмет познания – не случайно тема, предмет суждения в логике называется субъектом, что закреплено также в ряде европейских языков. В психологии это называется прокреативной преадаптацией [6], то есть способностью реагировать на окружающее не по принципу стимул-реакция, а упреждающими сценариями поведения. Поэтому субъектность с полным правом можно считать решающим фактором, который до сих пор определял успехи человеческой цивилизации, включая технику и цифровизацию.

Нарративная дискурсивность и субъектность связаны со смыслопорождением, условиями, факторами и механизмами его реализации. Это позволяет говорить о третьем основании взаимодействия и взаимопроникновения научного знания, связанном с прагмасемантикой смыслопорождения, как каскада взаимодействия контекстов смыслообразования, связанных с ценностно-регулятивными системами (ЦРС) социально-культурных практик [7]. Универсальным интерфейсом этого взаимодействия и выступает субъектность [8].

Коммуникативно-знаковая общность различных отраслей науки вышелушивается с развитием цифровых форматов социально-культурных практик. Это открывает перспективу дальнейших уточнений. Прежде всего, как показала дискуссия на IV Конгрессе РОИФН, речь идёт о необходимости различения концептов субъектности, субъективности, идентичности и агентивности.

Субъектность, как точка сборки свободы и ответственности, суть форма, наполнение которой конкретным социально-культурны опытом выступает идентичностью, а выражение отношения к этому опыту – субъективностью, которые суть содержание, наполнение, социально-личностная конкретизация субъектности. Агентивность (агентность), в отличие от субъектности и идентичности, не предполагает противоречивую рефлексию. Если субъектность открыта игре с контекстами, порождаемой ими, нарушением целостной гармонии, то агентивность технорациональна, алгоритмична – даже, если она связана с моделированием «креатива», как игры нейросетей с текстами и изображениями. Вся история

развития техники может быть представлена как укрощение субъектности с помощью агентивности. Самообучающиеся электронные нейрости являются логичным продолжением и усилением этого тренда.

При этом, в различении субъектности и агентивности важно учитывать, что у них разные, но предполагающие и дополняющие друг друга ответственности. Если у агентивности она порождается нарушением алгоритма, заданного и технологически обеспеченного нормативного правила, то у субъектности это ответственность за создание, воплощение нового мира, преодоление данной действительности, игру воображения. Субъектность и агентивность не противостоят, а дополняют друг друга – между ними необходим баланс, взаимодействие, обеспечивающее развитие.

Поглощение субъектности агентивностью чревато не только искушением власти властью, жёстким расслоением социума, физической и интеллектуальной деградации, но и к деградации цивилизационной. Кем станет человек в современном оцифрованном метакосмосе – Нарциссом, потерявшим себя в самолюбовании своим отражением в ИИ, или Пигмалионом, воплотившим свой идеал и испытавшим с ним счастье жизни [10: 170-174] – выбор за самим человеком. Развитие науки и техники требует «этического напряжения» [9: 126].

Даже столь краткое рассмотрение оснований нарративности, субъектности и семиотичности показывает необходимость выхода за рамки технорациональной парадигмы к фундаментальным основаниям бытия, познания и этики, взаимозависимости различных отраслей науки, включая гуманитаристику.

Литература

1. Tulchinskii G.L. Narration as a Platform for Interdisciplinarity: The Inter- and Cross-Disciplinarity of the Narrative Approach. // Narratives in East Asia and Beyond. Interdisciplinary Perspectives on Using Narratives as a Research Method /Ed. by E.Priupolina and T.D.Eckstein. Lanham; New York; London: Lexington books, 2023. P.15-42.
2. Galtung J. Essays in methodology. Vol. 1: Methodology and ideology. Copenhagen: Christian Ejlers, 1977. P.41-71.
3. Damasio A. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. New York: Pantheon, 2010. 268 p.
4. Хенрих Д. Мышление и самобытие. Чтения о субъективности. М.: Весь Мир, 2018. 320 с.
5. Хофштадтер Д. Я — странная петля. М.: АСТ, 2022. 629 с.
6. Асмолов А. Г., Шехтер Е. Д., Черноризов А. М. Преадаптация к неопределенности: непредсказуемые маршруты эволюции. М.: Акрополь, 2018. 212 с.
7. Золян С. Т., Тульчинский Г. Л. Динамика смысла: глубокая семиотика и стереометрическая семантика. М.: Издательский Дом ЯСК, 2024. 448 с.
8. Tulchinskii G. L. The Möbius Strip of the Pragmasemantics of Meaning: From Culture through Agency into Nothing and Back // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2025. Vol. 95. No. 1. P. 73-83.
9. Штрассберг Д. Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают. М.: Изд-во АСТ, 2025. 416 с.
10. Дессауэр Ф. Человек и космос. Опыт. Спор о технике: монография Т. 1. Самара: Изд-во «Мудрая черепаха», 2024. 340 с.

Пределы когнитивного моделирования: проблема априорного знания

Шипунова О. Д.
Доктор философских наук
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Профессор,
Высшая школа общественных наук, Гуманитарный институт
E-mail: o_shipunova@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена проблеме априорного знания, актуальность которой обозначена в методологии конструктивизма в связи с моделированием автономного искусственного интеллекта. Успехи, которые демонстрируют нейросетевые смарт системы, заменяющие действия человека в познавательной сфере и повседневной жизни, приводят к необходимости задуматься о концептуальных ресурсах когнитивного моделирования, на которые опирается конструирование гибкой функциональной архитектуры самообучающихся искусственных агентов. В этой связи рассматривается принцип аксиоматического построения предпосылочного знания, выступающего в качестве исходного концептуального ресурса когнитивного моделирования. Обсуждается относительность трактовок критерия истинности аксиом в истории и философии науки. Подчеркивается, что в условиях современных цифровых технологий семантические границы предпосылочного знания всегда встроены в многоуровневые информационные среды глобального социума и когнитивную сеть науки.

Ключевые слова: аксиома, смысловая связность, парадигма, априорное знание, когнитивное пространство, когнитивная гиперсеть, научное сообщество

Limits of Cognitive Modeling: The Problem of A Priori Knowledge

Shipunova O. D.
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

Abstract: This article addresses the problem of prior knowledge, the relevance of which has been identified in the constructivist approach to modeling autonomous artificial intelligence. The successes demonstrated by neural network intelligent systems, which are replacing human actions in cognitive tasks and everyday life, require reflection on the conceptual foundations of cognitive modeling that underpin the creation of flexible functional architectures for self-learning AI agents. In this context, the principle of axiomatic knowledge construction, which forms an initial conceptual foundation for cognitive modeling, should be considered. There is discussed the relative nature of axiom truth criteria presented in philosophical concepts. Emphasized is that, in context of modern digital technology, semantic limits of pre-requisite knowledge are always embedded within multilayer information environment of global societies and cognitive networks of science.

Key words: axiom, semantic coherence, paradigm, a priori knowledge, cognitive space, cognitive hyper-network, scientific community

В контексте современной интеллектуально-технологической эволюции актуальные проблемы философии науки связаны с исследованием механизмов мышления, в которых акцентируется роль контекста, фонового знания и неопределённость алгоритмов формирования исходного когнитивного пространства познавательной активности. Анализ априорной информации с целью выявления закономерности в данных, обоснование и прогнозирование действий осуществляется человеком подсознательно, интуитивно,

благодаря естественной работе мозга в определённом режиме. Рассматривая возможность проектирования автономного искусственного интеллекта, А.А. Жданов выделяет ключевую роль априорной информации в качестве ресурса, необходимого для запуска и ориентации интеллектуального действия, как человека, так и искусственного агента, способного к обучению. Моделирование автономного адаптивного поведения предполагает некий познавательный алгоритм эффективного выживания в агрессивной среде. Что требует от агента планирования интеллектуальных действий, связанных с поиском нужной информации, систематизацией найденных знаний и сохранением их в памяти. В процессе оптимизации этих знаний и прогнозирования действий на первое место выходит анализ ситуации с использованием априорной информации, которая соотносится с факторами местонахождения в текущий момент времени, наличием ресурсов, данных, средств наблюдения [1, с.17, 20-21]. Следовательно, чтобы успешно прогнозировать свое адаптивное поведение, автономная система искусственного интеллекта должна иметь некий концептуальный ресурс для систематизации данных и оптимизации накопленных знаний,

Базовую роль исходных концептуальных установок в качестве необходимого ресурса когнитивного моделирования подчеркивает Л. Флориди. Интеллектуальное поведение искусственной системы, отмечает Л. Флориди, моделируется в соответствии с семантическими ограничениями, заданными фреймом, который содержит априорную для системы информацию. Если исходная смысловая матрица меняется, то меняются и критерии в оценке поведения модели [2, с.11-12]. Таким образом, в практике когнитивного моделирования актуальность приобретают принципы аксиоматического построения предпосылочного знания.

С точки зрения философии познания совокупность аксиом образует фундамент теоретического знания. В концептуальных границах аксиоматики создается формальный аппарат исследовательских программ, конструируются вычислительные и каузальные модели. Аксиомы всегда выходят за рамки конкретной теории, образуя ее метауровень. Поэтому анализ исходной аксиоматики в научном исследовании и когнитивном моделировании оказывается в сфере философии.

Выявление истинности аксиоматических положений составляет вечную философскую проблему. Согласно Аристотелю, человек обладает способностью познания, которая проявляется в двух формах. Умозрение как постижение целого выступает основанием истинности аксиом, которые не нуждаются в доказательстве в силу их очевидности, ясности и простоты. Постижение целого, которое характеризуется спонтанностью, не может быть ложным, поскольку мыслить “эйдос” можно только одним способом – сразу, и всем людям это одинаково свойственно. Различие суждений по значению истинности или ложности характерно для познания и сравнения элементов. В этом случае, мышление опирается на формализованные суждения, подчиняется общим правилам и алгоритмам [3]. Традиции, заложенной Аристотелем, в Новое время следовал Декарт, полагая источником истинности аксиом интеллектуальную интуицию. Кант относил источник истинности априорных суждений к трансцендентальной системе, аксиоматика которой ограничивает динамику отношений рассудка и разума рамками нравственного закона. Прагматизм эпохи Модерна выдвигает новый критерий истины – полезность, который играет роль аксиомы, определяющей границы конструирования моделей и технических изделий в инженерной области. Критерием истинности аксиом той или иной формально построенной системы теоретического знания, в конечном счете, выступает ее практическая применимость.

Аксиомы в современной науке не всегда очевидны даже для специалистов, работающих в рамках своих дисциплин. Различные аксиоматические системы могут предоставлять свои уникальные способы описания одних и тех же объектов. В одной системе за аксиомы могут быть выбраны одни утверждения, в другой — другие. На уровне философии познания универсальные категории образуют систему мировоззренческих аксиом, которые представляют концентрированное выражение концептуальной установки, закрепленной в «парадигме» и признанной научным сообществом на определенном этапе истории развития

знания (Т. Кун). Научное исследование отталкивается от знания о незнании (проблема) и заканчивается знанием о знании (идея, истина, аксиома), на основе которого создаются новые объекты и пути их практической реализации, формулируются познавательные принципы, направляющие движение мысли. Общепринятые аксиомы и ценностные ориентации задают форму когнитивного пространства, рамки которого указывают перспективу познания человеческому разуму. Аксиоматика парадигмы, представляя сконцентрированное базовое знание, предшествует поиску истины, однако в процессе развития науки подвергается критической рефлексии, особенно в периоды научных революций [4].

В цифровом мире система научной деятельности опирается на глобальную сеть знания. Многоуровневые семантические связи ученых встроены в информационные системы творческих коллективов и научных объединений. Наиболее адекватно коллективный субъект развития знания, объединенный когнитивной сетью, представлен научным сообществом. Границы когнитивной сети научного сообщества четко не обозначены, но ее смысловые узлы соотносимы с аксиоматикой фрейма, определяющего границы семантической ориентации субъекта в информационном поле. Согласно теории К. Анохина, единое пространство социума определено когнитивной гиперсетью, динамика которой обеспечивается архитектурой, включающей иерархию сетевых структур трех уровней сложности. В этом случае нейронная сеть мозга через семантические сети социума включается в информационно нагруженные среды когнитивного пространства науки.

Интеллектуальный разрыв между операционным уровнем обработки информации машиной и человеком постоянно расширяется. Давление, исходящее от огромного количества информации, которая экспоненциально генерируется современной сетью, подталкивает к поиску новых методов и технологий не только для обработки больших объемов знания, но и для когнитивного моделирования активного производителя знаний и концептуальных структур. Повышенный интерес в области когнитивного моделирования к формированию априорного знания свидетельствует об актуальности новых аспектов соотношения когнитивного поведения человека и смарт системы, касающихся исходного ресурса и потенциальных границ конструирования автономного искусственного интеллекта.

Литература

1. Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект. 5-е изд. М.: Лаборатория знаний, 2024.
2. Floridi L. A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering // Metaphilosophy. 2011. Vol. 42, No. 3. – Pp. 282–304.
3. Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1975. Т. 1. С. 250
4. Краузе А. А., Шипунова О.Д. Истина и аксиома в философии науки // Философия науки. 2009. № 1(40). С. 3-14.

ГРАНИЦА И ПРЕДЕЛ: ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ В ПСИХОАНАЛИЗЕ

В созвучии с музыкой сфер: ядро самости и возможность коммуникации с ним в теории Дональда Винникотта

Громова Е.А.
Независимая исследовательница
gromow@inbox.ru

Аннотация: В статье рассматриваются идеи Дональда Винникотта о ядре самости (core of the self) – «живом центре», первичной, телесно-аффективной, полностью изолированной основе личности, динамическим проявлением которой в контакте с объектом выступает Истинное Я. Подчеркивается важность тонкой адаптации первичного окружения к младенцу для обеспечения защиты изолированного, но предельно хрупкого ядра самости от вторжения внешнего мира. Отмечается двойственная природа коммуникации: наряду с общением с объективно воспринимаемыми объектами существует область «не-коммуникации» с субъективными объектами, связанная с изолированным ядром самости. В работе подчеркивается важность этого типа коммуникации для формирования чувства реальности и непрерывности бытия. Теоретические размышления Винникотта и Огдена позволяют рассмотреть феномен коммуникации с субъективными объектами как возможность «быть найденным» и «быть сокрытым» одновременно. Эти идеи открывают новые горизонты для психоаналитической практики, особенно в аспекте приближения к глубинным уровням психической жизни пациента. В статье рассмотрено, как идеи Винникотта о коммуникации с ядром самости могут быть использованы для работы в кабинете.

Ключевые слова: Винникотт, истинное Я, ядро самости, субъективные объекты, холдинг, фасилитирующая среда.

Attuning to the Music of the Spheres: The Core of the Self and the Possibility of Communication with It in Donald Winnicott's Theory

Gromova E.A.
Independent researcher

Abstract: The article examines Donald Winnicott's ideas on the core of the self – the "living center," a primary bodily-affective and fully isolated foundation of personality, whose dynamic manifestation in contact with the object is expressed as the True Self. The importance of the subtle adaptation of the primary environment to the infant is emphasized, ensuring protection of the isolated yet highly fragile self-core from intrusions of the external world. The dual nature of communication is highlighted: alongside communication with objectively perceived objects, there exists a sphere of "non-communication" with subjective objects, associated with the isolated core of the self. The paper underscores the significance of this type of communication for the formation of a sense of reality and continuity of being. Theoretical reflections by Winnicott and Ogden allow us to view communication with subjective objects as the paradoxical possibility of "being found" and "being hidden" at the same time. These ideas open new horizons for psychoanalytic practice, particularly in approaching

the deeper levels of the patient's psychic life. The article also considers how Winnicott's concept of communication with the core of the self can be applied in the consulting room.
Keywords: Winnicott, true self, core of the self, subjective objects, holding, facilitating environment.

Дональд Вудс Винникотт – британский аналитик, один из ключевых представителей теории объектных отношений, внёсший значительный вклад в развитие онтологического измерения психоанализа, акцент в котором делается не на понимании и познании, а на бытии и становлении. Один из значительных вкладов Винникотта – утверждение важности фасилитирующей окружающей среды (facilitating environment) в формировании здоровой психики. Его вклад в психоаналитическую технику также сосредоточен в большой степени на создании благоприятной среды – условий, содействующих «усилиям пациента стать более полно самим собой» [1, с. 664].

Важнейший теоретический вклад Винникотта – концепция истинного Я (true self) и ложного Я (false self). Истинное Я позволяет человеку проявляться спонтанно и жить творчески – проживать жизнь своим собственным способом. Истинное Я связано с чувством бытия реальным. Оно возникает «на основе живых телесных функций, работы телесной ткани… включая сердечную деятельность и дыхание» [2, с. 15], его существование возможно при достаточно хорошей адаптации матери к потребностям младенца. Ложное Я – адаптивная оболочка, выполняющая защитную функцию по отношению к Истинному Я. Доминирование ложного Я в организации Эго приводит к ощущению бессмысленности существования.

Ядро самости (core of the self) – первичная, телесно-аффективная основа личности. Это онтологическая база, "живой центр", переживаемый телесно и до-символически, динамическим проявлением которого в контакте с объектом, его выражение во внешнем мире (через спонтанный жест, творческий акт) выступает Истинное Я.

Развивая идею ядра самости, Винникотт, по словам Огдена, «ставит задачу описать самые фундаментальные аспекты ощущения бытия…, найти способ выразить невыразимое, непередаваемое, передать тайну бытия, которая является «абсолютно личной (private)» [3, с. 1288].

Ядро самости является унаследованным потенциалом, который «переживает непрерывность бытия и обретает по-своему и со своей скоростью личную психическую реальность и личную схему тела» [4, с. 160]. Оно является фундаментально изолированным, и в то же время предельно уязвимым перед вмешательством на ранних этапах отношений между младенцем и матерью (поддерживающим окружением). Задача матери предельно сложна: тонко настроиться на нужды младенца и обеспечить «защитный барьер вокруг состояния продолжения бытия (going-on-being) младенца, оберегая его от безжалостной неизменной инаковости времени» [5, с. 1351]. Если же этого не происходит, вероятны разрушительные последствия. Недостаточность холдинга приводит к тревоге аннигиляции, ощущаемой как разрыв с бытием. Уилфред Бион описывает эти примитивные тревоги как «безымянный ужас» [6, с. 56]. Результатом становятся глубокие и ранние нарушения, ведущие к психозу.

Винникотт говорит о том, что «отдельный человек знает, что с этим ядром [ядром самости] никогда не следует взаимодействовать извне и что на него не должна влиять внешняя реальность». Хотя здоровые люди коммуницируют и получают от этого удовольствие, верно и другое: «*каждый индивидуум пребывает в изоляции, является перманентно не вступающим в коммуникацию, неизвестным, фактически необнаруженным»* [7, с. 192].

Тем не менее, выстраивая теорию коммуникации, Винникотт осторожно приближается к вопросу о том, как всё же возможен этот тип коммуникации. Он связывает возможность коммуникации с развитием способности к объектным отношениям, с переходом от субъективных объектов к объективно воспринимаемым. Пока объект субъективен, в явной коммуникации с ним нет необходимости. По мере того, как объект становится объективно воспринимаемым, с ним начинается коммуникация. Винникотт говорит о том, что, в этот

момент, вместе с появлением коммуникации («явной» или «немой»), возникают два обстоятельства: 1) её использование и получение от этого удовольствия, 2) «не вступающее в коммуникацию Я индивидуума, или личностное ядро Я, которое действительно изолировано» [7, с. 187].

Он ставит в соответствие этим двум обстоятельствам два параллельно существующих вида отношений младенца с матерью: с матерью-как-объектом и матерью-как-средой.

Размышления о контакте с ядром самости переносят нас в плоскость взаимодействия младенца с матерью-средой. Невозможно говорить о коммуникации с ядром самости, оно действительно изолировано. Речь скорее идёт не о коммуникации, а о положении дел, подобном взаимодействию матери с младенцем в условиях холдинга. «Опыт *ненадежности* окружения-матери делает для него очевидным существование коммуникации с ней. В этот момент младенец переживает себя разрушенным, и только настроенность матери на младенца, тонкая идентификация с ним позволяет ей воспринять это его состояние как вид коммуникации. В благоприятной среде ««младенец коммуницирует просто продолжая существовать и развиваясь в соответствии с личными процессами взросления» – эта коммуникация, вероятно, представлять собой самое раннее, наименее дифференцированное состояние бытия, которое переживает младенец, и этот опыт, быть может, лежит в основе некоммуникативного, изолированного ядра самости» [7, с. 189].

Винникотт говорит о «безмолвной, тайной» коммуникации с субъективным объектом (в противовес коммуникации посредством Ложного Я с объективно воспринимаемым объектом). Общение с субъективными объектами – это «тупиковая коммуникация» (коммуникация, не предназначенная для какого-либо внешнего или внутреннего объекта), которая, тем не менее, полностью наделяет каждый аспект человеческого опыта «ощущением реальности (sense of real)» [7, с. 178]. Чувство реальности, приносимое общением с субъективными объектами (уединение, погружение в грёзы, творчество, прослушивание музыки и т.п.), имеет непосредственное отношение к фундаментальному чувству бытия, возникающему, когда «младенец общается просто тем, что продолжает существовать».

Томас Огден, развивая идеи Винникотта, говорит о двух одновременно существующих тенденциях: «каждый человек в равной степени нуждается как в том, чтобы его нашли (признали, но не разоблачили), так и в том, чтобы не быть найденным (быть некоммуницирующим и изолированным)» [3, с.1294].

Коммуникация в области субъективных объектов позволяет разрешить это противоречие. Существует период в развитии младенца, когда матери «общаются со своими младенцами только в той мере, в какой они (матери) являются субъективными объектами». Это позволяет младенцу, коммуницируя с матерью, одновременно «не-коммуницировать» в её присутствии.

Идеи Винникотта о ядре самости открывают обширное поле для размышлений в области клинической практики. Винникотт призывает аналитика к осторожной и взвешенной работе. Когда анализ достигает глубин личности пациента, и аналитик становится субъективным объектом пациента, разрушительность интерпретации может слишком интенсивно столкнуть его с существованием «не-Я», поэтому «аналитику лучше подождать» [7, с. 196]. Аналитику необходимо давать место «не-коммуникации» пациента, связанной с приближением к ядру самости, и тем самым способствовать аналитическому процессу пациента (что эквивалентно процессу взросления младенца), чтобы стать, когда придёт время, «объективно воспринимаемым в собственном времени пациента» [7, с. 196].

Для Огдена способом бытия на сессии становится ревери как форма интенсивной эмоциональной связи с пациентом, позволяющая, в то же время, сохранять «способность думать, чувствовать и вести себя как отдельный человек» [3, с. 1299]. Этот способ «ожидания» (общения с пациентом преимущественно как с субъективным объектом) позволяет пациенту «коммуницировать и не-коммуницировать, быть понятым и не быть понятым» [3, с. 1298].

В своих размышлениях о ядре самости Винникотт отказывается от языка прозы и переходит на язык поэзии, что, возможно, является его попыткой донести до читателя тайну

бытия, которая является «абсолютно личной» для каждого из нас: «Я попытался заявить о необходимости признания важного аспекта здоровья: не коммуницирующего центрального Я, вечно иммунного к принципу реальности и вечно безмолвствующего. Здесь коммуникация не является невербальной; она, как музыка сфер, абсолютно личная. Она принадлежит бытию живым. И в здоровье именно отсюда естественным образом возникает коммуникация» [7, с. 195].

Литература

1. Ogden T. H. Ontological psychoanalysis or “What do you want to be when you grow up?” // The Psychoanalytic Quarterly. 2019. Volume 88. Issue 4 [Электронный ресурс]. URL: http://dx.doi.org/10.1080/00332828.2019.1656928 (дата обращения 03.10.2025).
2. Винникотт, Д.В. Искажение Эго в терминах истинного и ложного Я // Московский психотерапевтический журнал. 2006. № 1 [Электронный ресурс]. URL: https://psyjournals.ru/journals/cpp/archive/2006_n1/1721 (дата обращения: 09.10.2025)
3. Ogden T. H. The feeling of real: On Winnicott’s “Communicating and Not Communicating Leading to a Study of Certain Opposites” // The International Journal of Psychoanalysis. 2018. Volume 99. Issue 6 [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/330389619_The_feeling_of_real_On_Winnicott's_Communicating_and_Not_Communicating_Leading_to_a_Study_of_Certain_Opposites (дата обращения 05.10.2025)
4. Winnicott D. W. The Theory of the Parent-Infant Relationship. // Reading Winnicott. Ed. Lesley Caldwell and Angela Joyce. New York: Routledge, 2011. P. 152-169.
5. Ogden T. H. On holding and containing, being and dreaming // The International Journal of Psychoanalysis. 2004. Volume 85. Issue 6 [Электронный ресурс]. URL: http://www.counsellingme.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/On-Holding-and-Containing-Ogden.pdf (дата обращения 15.09.2025)
6. Бион У. Р. Внимание и интерпретация. Научный подход к инсайту в психоанализе и групповой работе. Перевод с английского Дмитрия Селиванова и Ольги Лежниной. М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2023. 208 с.
7. Winnicott D. W. Communicating and not Communicating Leading to a Study of Certain Opposites. // Reading Winnicott. Ed. Lesley Caldwell and Angela Joyce. New York: Routledge, 2011. P. 184-192.

Где знание встречается с невозможным: психоанализ против редукционизма

Гулуа А.В.
ЕУСПб, Центр практической философии «Стасис»
E-mail: a.gulua@eu.spb.ru

Аннотация: Статья посвящена проблеме научного статуса психоанализа в контексте современных дискуссий о границах рациональности и легитимности гуманитарного знания. Рассматривая историю «Freud wars» и эпизод с отчётом INSERM (2004–2005) как симптомы эпистемологического и институционального напряжения, автор показывает, что вопрос о научности психоанализа выходит за пределы методологических критериев: он затрагивает власть, экономику и этику знания. Психоанализ мыслится не как антипод науки, а как её зеркальное продолжение — пространство, где наука сталкивается со своими вытесненными основаниями: с субъектом, языком, желанием и Вещью (das Ding). Его «научность» гибридна, соединяя эпистемологическую строгость с герменевтической интерпретацией, институциональную форму — с этической

задачей. В этом смысле психоанализ выступает как защита человеческого в человеке перед лицом редукционизма нейронаук и доказательных терапий.

Ключевые слова: психоанализ, научность, эпистемология, субъект, Лакан, бессознательное науки, герменевтика, этика знания.

Where Knowledge Meets the Impossible: Psychoanalysis vs. Reductionism

Gulua A.V.
European University at St. Petersburg

Abstract: The article addresses the problem of the scientific status of psychoanalysis within the broader context of contemporary debates on the limits of rationality and the legitimacy of the humanities. Examining the history of the Freud wars and the 2004–2005 INSERM report as symptoms of epistemological and institutional tension, the author argues that the question of psychoanalysis's scientificity extends beyond methodological criteria, implicating the dimensions of power, economy, and the ethics of knowledge. Psychoanalysis is conceived not as the antithesis of science but as its reflective continuation — a space where science encounters its own repressed foundations: the subject, language, desire, and the Thing (das Ding). Its "scientificity" is hybrid, combining epistemological rigor with hermeneutic interpretation, institutional form with ethical purpose. In this sense, psychoanalysis emerges as a defense of the human within the human, confronting the reductionism of neuroscience and evidence-based psychotherapies.

Keywords: psychoanalysis, scientificity, epistemology, subject, Lacan, the unconscious of science, hermeneutics, ethics of knowledge.

Уже более ста лет психоанализ существует в пространстве непрерывных дебатов, получивших в англоязычной литературе наименование *Freud wars* [1] — своеобразных «войн вокруг Фройда», в которых сталкиваются не столько теоретические системы, сколько различные формы эпистемологической, институциональной и экономической легитимации знания о человеке.

Вопрос о научности психоанализа имеет и социально-политическое измерение. В современном обществе научность функционирует как механизм распределения символического капитала: звание «научного» определяет, какое знание будет финансироваться, преподаваться, допускаться в медицинскую практику. Статус науки становится не столько вопросом истины, сколько вопросом власти. Именно поэтому дисциплины, работающие с субъективным (психоанализ, феноменология, герменевтика) неизбежно оказываются в уязвимом положении. Они нарушают правила игры, в которой легитимным считается лишь то, что может быть измерено, подсчитано и быстро применено. Отсюда хроническая тревога (*status anxiety*): психоанализ вынужден постоянно оправдываться перед институциями, которые оценивают знание по параметрам, несовместимым с его предметом.

Показателен эпизод 2004–2005 годов во Франции, когда Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) опубликовал отчёт *Psychothérapie: trois approches évaluées* [2], оценивающий эффективность психотерапий. В документе психодинамические и психоаналитические подходы были признаны наименее «доказательными» по сравнению с когнитивно-поведенческой терапией. Основой для сравнений служили диагностические критерии DSM-IV — инструмент, признанный международным психиатрическим сообществом, но не всеми терапевтическими школами: аналитики указывали, что применение DSM-классификаций делает невозможным целостное понимание субъекта и подменяет психическое страдание набором симптомов. В ответ на критику и публичные дебаты министр здравоохранения Филипп Дюст-Блази в 2005 году

распорядился снять отчёт с сайта Министерства здравоохранения, что стало беспрецедентным случаем прямого административного вмешательства в эпистемологическую дискуссию.

Эта история — симптом современной рациональности: статус «научности» определяется не внутренней методологией, а отношением к институционально признанным стандартам, прежде всего к DSM-IV и логике доказательной медицины. Иными словами, вопрос о том, что считать «научной терапией», решается не только в лаборатории, но и в министерском кабинете, где устанавливаются границы допустимого знания о человеке.

Дискуссия о научности психоанализа разворачивается одновременно в трёх координатах — эпистемологической, политико-институциональной и экономической. В каждой из них психоанализ занимает пограничное положение: он нарушает границы позитивистской проверки, подрывает административные процедуры нормирования и сопротивляется рыночной логике доказательности. Тем самым психоанализ оказывается не объектом внешнего осуждения, а зеркалом, в котором современная наука распознаёт собственное вытеснение субъекта.

Современная наука, как показывает Лакан, — это дискурс, конституированный исключением субъекта и Вещи (*das Ding*), то есть Реального, неподдающегося символизации. Её идеал — замкнутая система означающих, стремящаяся к самодостаточности и полной прозрачности, где не остаётся места ни желанию, ни наслаждению, ни пустоте. Наука отбрасывает Вещь — то, вокруг чего формируется символический порядок и что, по Лакану, является «пустотой, функционирующей как объект желания» [3]. Если в искусстве имеет место вытеснение Вещи, а в религии — её смещение или отсрочка, то в науке — её отбрасывание: наука отвергает присутствие слова и тела, поскольку в перспективе ей мерещится идеал абсолютного знания, не считающегося с тем, что делает знание возможным — с самим субъектом. Психоанализ, напротив, удерживает это исключённое внутри поля знания. Он возвращает Вещь в виде симптома, ошибки, оговорки, фантазма.

С самого возникновения психоанализ оказался в пространстве пересечения естественно-научного и гуманитарного дискурсов. Сам Фройд, будучи врачом-неврологом, формулировал свой проект как создание новой науки о психике. Его незавершённый «Проект научной психологии» (1895), опубликованный лишь в 1954 году, изначально ориентировался на разработку психологии естественно-научного типа, основанной на нейрофизиологической модели функционирования психического аппарата [4]. В ранних текстах Фройд описывает психику в категориях физиологии и механики — возбуждения, разрядки, энергетического равновесия; однако клинический опыт постепенно показал, что психические феномены не сводимы к причинности физического порядка. Симптомы оказываются осмысленными, их форма и значение зависят не от биологического механизма, а от языка и истории субъекта. Именно этот переход — от каузальности к смыслу — определяет внутренний поворот психоанализа и задаёт его основное эпистемологическое напряжение. Фройд не отказался от идеи науки, но радикально переосмыслил само понятие «научного объяснения». Его «наука о психике» основывается на интерпретации – не на факте, а на реконструкции утраченных смыслов: истина здесь не дана в опыте, а производится в процессе речи.

Позднее Фройд специально пытается артикулировать, что в клинике может играть роль критерия достоверности интерпретаций. В лекциях 1917 г. он формулирует то, что называется *tally argument*: интерпретация в анализе считается обоснованной постольку, поскольку она «сходится» (*tallies*) с тем, что действительно разыгрывается в субъекте, — всё несоответствующее «отпадает» в ходе лечения, а устойчивый терапевтический эффект свидетельствует, что были затронуты реальные причины симптома, а не произведён «псевдо-инсайт» внушением. В этом смысле согласование реконструкции с клиническим материалом мыслится Фройдом как внутриклинический аналог эмпирической проверки: не лабораторная верификация, а динамика трансфера и симптома, где ложное не удерживается, а истинное даёт эффект снятия сопротивлений.

Психоанализ возникает как часть научного проекта, но его предмет — субъективность — делает невозможным сохранение классического идеала объективности. В отличие от

естественных наук, психоанализ не может исключить наблюдателя из описания: акт знания здесь всегда вовлекает знающего. В этом смысле психоанализ становится пространством, где сама наука впервые осознаёт ограниченность собственных принципов — свою неспособность мыслить субъекта как часть знания.

Если развить эту мысль, можно сказать, что психоанализ открывает бессознательное самой науки, под этим можно понимать структурное вытеснение: ту совокупность предпосылок, которые делают науку возможной, но при этом не могут быть ею самою осмыслены. Это — её неотрефлексированная метафизика и этика, её собственный *désir de savoir* — желание знать. Наука, утверждающая нейтральность, сама движима страстью к истине, к контролю, к устранению непредсказуемого, контингентного; но эта страсть редко становится предметом её саморефлексии.

Психоанализ позволяет прочитать это желание как симптом: он показывает, что за установкой на объективность скрывается фантазия о знании как о власти — о возможности полного владения Реальным. Таким образом, психоанализ не противопоставляется науке, а выполняет по отношению к ней функцию анализирующего зеркала, в котором наука сталкивается со своими вытесненными основаниями — с тем, что формирует её как дискурс, но не может быть артикулировано в её собственных терминах.

Психоанализ, таким образом, занимает уникальное место в эпистемологическом ландшафте: он не вписывается в классическую дихотомию “наука / не-наука”. Его научность гибридна: она соединяет эпистемологическую строгость с герменевтической интерпретацией, институциональную форму с этической задачей, аналитическую дистанцию с субъективным участием. Именно поэтому вопрос о научности психоанализа не исчезает. Он возвращается как форма саморефлексии современного разума — как напоминание, что знание о человеке невозможно без включения самого человека в структуру знания. Психоанализ — не антагонист науки, а её симптом и условие: пространство, где наука встречается со своим вытесненным Реальным — с субъектом, с Вещью, с невозможным, делающим знание человеческим.

Современная наука, особенно в её прикладных и биопсихологических формах, всё чаще претендует на то, чтобы занять место единственного языка истины о человеке. Психические процессы объясняются через нейронные корреляты, эмоции — через биохимические реакции, поведение — через алгоритмы обучения. В этом контексте психоанализ представляет собой **этическое сопротивление редукционизму**: он напоминает, что человек не совпадает с совокупностью своих функций, а психика — не машина обработки стимулов.

По выражению Д. Узланера, психоанализ «защищает человеческое в человеке» [5] — именно то, что не поддаётся рационализации, категоризации и управлению. В отличие от «доказательных» терапий, ориентированных на адаптацию индивида к среде, психоанализ не нормирует, не сглаживает «шероховатости» в человеке, а исследует структуру субъективного страдания. Он не стремится «починить» человека – он позволяет услышать его как говорящего, желающего, ошибающегося – одним словом, живого. В этом смысле его задача — скорее этическая: вернуть субъекту право на собственное бессознательное, на его непредсказуемость и внутренний разлад.

Именно эта установка на уникальность и несводимость человеческого опыта делает психоанализ принципиально несовместимым с логикой стандартизированной «эффективности». Психоанализ вводит в гуманитарное знание то, что можно назвать антропологической контингентностью — признание радикальной открытости человеческого существования, его неспособности быть окончательно объяснённым или исчерпанным теорией. Он исходит из предпосылки, что человек всегда больше, чем его представление о себе, а его речь всегда говорит больше, чем он знает. Поэтому анализ не устраняет симптом как дефект, а исследует его как высказывание, как способ существования субъекта в языке — там, где знание соприкасается с невозможным и становится человеческим.

Литература

1. Forrester J. Dispatches from the Freud Wars: Psychoanalysis and Its Passions. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1997.
2. INSERM. Psychothérapie: trois approches évaluées. Paris: INSERM, 2004.
3. Петров Д.Б. Культура, наука и религия в структурном психоанализе Жака Лакана // Известия Саратовского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2009. Т. 9. Вып. 1. С. 41–44.
4. Фрейд З. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: (https://old.bigenc.ru/philosophy/text/4723311. (дата обращения: 14.10.2025).
5. Узланер Д.В. В защиту психоанализа // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2017. № 4 (114). С. 244–263.

Ограничения и интерпретации психоанализа с точки зрения экзистенциальной феноменологии: позиции Жана-Поля Сартра и Мориса Мерло-Понти

Канониров И. В.
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", студент
E-mail: ivkanonirov@edu.hse.ru

Аннотация: Доклад посвящен анализу критики и интерпретации психоанализа Зигмунда Фрейда с позиций французской экзистенциальной феноменологии, представленной в работах Жана-Поля Сартра и Мориса Мерло-Понти. В своих работах Сартр осуществляет радикальный отказ от фрейдистской теории бессознательного и психического детерминизма. Он критикует психоаналитическую каузальную интерпретацию сознания, приводящую к пониманию сознания в качестве пассивного феномена. Он заменяет её концепциями самообмана и «фундаментального проекта» человека, используемыми в экзистенциальном психоанализе. В отличие от Сартра, Морис Мерло-Понти предлагает специфическую интерпретацию психоанализа. Он видит в психоанализе возможный ключ к осмыслению телесности. Мерло-Понти расширяет понятие сексуальности до телесности как таковой («универсальной возможности бытия-в-мире») и переосмысливает бессознательное в качестве «несформулированного знания». В целом, оба проекта демонстрируют общий нарратив «экзистенциализации психоанализа», требующий модификации фрейдистского канона для утверждения человека как обладающего «бытием-в-мире».

Ключевые слова: феноменология, психоанализ, бессознательное, самообман, телесность, сексуальность, бытие-в-мире.

The Limitations and Interpretations of Psychoanalysis from the Perspective of Existential Phenomenology: The Positions of Jean-Paul Sartre and Maurice Merleau-Ponty

Kanonirov I. V.
National Research University "Higher School of Economics"

Abstract: This scientific report is dedicated to the analysis of the criticism and interpretation of Sigmund Freud's psychoanalysis from the perspective of French existential phenomenology, as presented in the works of Jean-Paul Sartre and Maurice Merleau-Ponty. In his works, Sartre makes a radical rejection of the Freudian theory of

the unconscious and psychic determinism. He criticizes the psychoanalytic causal interpretation of consciousness, which leads to understanding consciousness as a passive phenomenon. He replaces it with the concepts of conscious self-deception and the individual's "Fundamental project," utilized in existential psychoanalysis. In contrast to Sartre, Maurice Merleau-Ponty offers a specific interpretation of psychoanalysis. He sees in psychoanalysis a possible key to the comprehension of Corporeality (Bodiliness). Merleau-Ponty expands the concept of sexuality to corporeality as such (the "universal possibility of being-in-the-world") and reinterprets the unconscious as "unformulated knowledge." Overall, both projects demonstrate a common narrative of the "existentialization of psychoanalysis," which requires a modification of the Freudian canon to affirm the human being as possessing "being-in-the-world."

Keywords: phenomenology, psychoanalysis, unconscious, conscious self-deception, corporeality, sexuality, being-in-the-world.

По мере проникновения фрейдизма во Францию с работами венского психоаналитика знакомятся философы феноменологического направления, о которых здесь и пойдёт речь. Мной будет рассмотрено, как такие философы как Жан-Поль Сартр и Морис Мерло-Понти, чьи философские проекты можно смело назвать экзистенциальной феноменологией, восприняли психоаналитическое движения и отреагировали на вызовы психоанализа.

Жан-Поль Сартр был одним из первых французских философов, обратившихся к идеям Фрейда. Он, как отмечает историк феноменологии Герберт Шпигельберг, воспринимал фрейдизм как некий философский вызов, раскрывающийся в механистическом характере теорий Фрейда, который феноменологии необходимо преодолеть [1, с. 26]. Ответом Сартра на этот вызов стал его проект экзистенциальной психологии.

В данной статье мы сначала сконцентрируемся на анализе психоанализа в ранней работе Сартра «Очерк теории эмоций», в которой он реконструирует психоаналитический подход к эмоциям и сознанию и, в ходе критики, выявляет его противоречивость. Согласно философу «Психоаналитическая интерпретация осмысляет сознательный феномен как символическую реализацию желания, вытесненного цензором» [2, с. 30], таким образом, символическая реализация полностью отделена от непосредственного желания, так как субъект в психоанализе не сознаёт скрытое желание во время его реализации. В то же время означаемое в психоанализе всегда соотносится с реализацией (сознательным фактом) как причина и следствие. Последствия этой интерпретации позволяют говорит о сознании как «вещи», появившейся в отношении каузации к тому, что она означает. А это значит, что «сознание может конституировать себя в значение (meaning) без осознания значения, которое оно конституирует» [2, с. 31].

В этом и состоит основное противоречие психоанализа: согласно Сартру такое рассмотрение приводит к трактовке сознания как ко вторичного и пассивного феномену, если только не понимать сознание как «существование» такого же типа «как камень или пруд». Таким образом, психоанализ нивелирует активность сознания и вынужден отказаться от картезианского Cogito.

Значение должно так или иначе содержаться в сознании, которое его воплощает. Оно не обязательно должно быть полность эксплицированно в нём, возможны разные степени сгущения (condensation) и ясности. Это выражает связь между означаемым и означающим в сознании как связь понимания (comprehension). Такая связь несовместима со связью причинности между символизацией и трансцедентным по отношению к сознанию фактом. Преодолеть это противоречие можно только посредством полного отказа от каузальной связи между вытесненным желанием и сознанием, оставив только связь понимания, объекты которой будут имманентны сознанию [2, с. 32-33]. Несмотря на то, что Сартр не пишет этого напрямую в этой работе, на мой взгляд можно сказать, что таким образом можно вывести и невозможность в его феноменологии концепции бессознательного.

В рамках психологического проекта в фундаментальной работе Сартра «Бытие и Ничто» он также отвергает теорию бессознательного и психический детерминизм. По мнению Сартра каждое действие человека опирается на интуитивное понимание человеком самого себя [3, с. 249]. Таким образом, именно самоосознание является основой поведения человека в мире, а не бессознательное. Самопонимание себя у Сартра порождает «фундаментальный проект» будущего или бытия человека как такового, который он выстраивает, и именно этот «проект» определяет человека и его поведение. Эмпирически выявленные склонности поведения человека в экзистенциальном психоанализе Сартра трактуются не как символическое выражение желаний или травм, а как небольшие и конкретные проекты, составляющие часть «фундаментального проекта» жизни человека [4, с. 567-568].

Часть психоаналитических концептов, таких как вытеснение, самоцензура и т.п., Сартр заменяет понятием самообмана. По логике Сартра цензура должна знать, что она скрывает, а любое знание есть сознание знания, следовательно цензура выступает как самообман. Самообман, как подмечено данным рассуждением, является строго сознательной стороной психической жизни. На фундаментальном уровне человек всегда осознает самообман, но не рефлексирует его в обыденности. Таким образом, Сартр различает фундаментальное сознание и нерефлексируемое сознание [3, с. 250-251].

В отличие от Сартра, решительно отвергающего фрейдизм и заменяющего его собственным экзистенциальным психоанализом, Мерло-Понти относится к «отцу психоанализа» более снисходительно и заимствует некоторые фрейдистские идеи и концепты, выстраивая свою философию тела в «Феноменологии восприятия», увидевшей свет в 1945 году, спустя 2 года после «Бытия и ничто». Такое отношение философа к психоанализу можно также объяснить многочисленными контактами с одним из пионеров психоанализа во Франции Анжело Луи Эснаром, который во многом одобрял феноменологию Мерло-Понти [1, с. 138-140], а также с тем, что в начале своей карьеры он был назначен в Сорбонне на должность психолога [1, с. 26]. В своём труде Мерло-Понти отводит главу пониманию телесного и сексуального в его феноменологии, где описывается и отношение Мерло-Понти к фрейдистскому пониманию сексуальности. Помимо прочего, непосредственное прочтение Фрейда философом можно найти в работе «Человек и его злоключения», написанной на год позже.

В «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти трактует психоанализ следующим образом: он считает неверным рассматривать фрейдистский психоанализ как биологизаторскую позицию по отношению к психическому. Наоборот, основной заслугой Фрейда он считает возможность психического рассмотрения биологического, то есть телесного. Утверждая, что любое действие обладает внутренним психологическим смыслом, Фрейд открывает путь к психологическому пониманию процессов [5. с, 209-210].

Исходя из обнаруженной двойственности рассмотрения психического через биологического и биологического через психическое, Мерло-Понти выстраивает диалектическое отношение между сексуальностью или телесностью и существованием (в широком смысле, Мерло-Понти под ним подразумевает не только чистую экзистенцию, но и некоторое духовное основание, на чём делает акцент в «Человеке и его злоключениях»). Существование для Мерло-Понти раскрывается исключительно в телесности, а телесность с помощью существования приобретает личностный характер и лишается анонимности. Существование есть некоторое действие или интенция, а тело — атмосфера этого действия [5, с, 224].

В «Человеке и его злоключениях» Мерло-Понти делает акцент на духовных основаниях поведения, считая, что с развитием своих трудов Фрейд всё больше осознавал примат духовной жизни над инстинктами. В связи с чем даёт следующее определение телесности: «Таким образом, сексуальность — в более широком смысле телесность, которую Фрейд рассматривает как основу нашего существования — изначально представляет собой абсолютную и универсальную способность включения в мир. Она является «сексуальной» лишь в том смысле, что с самого начала реагирует на зримые телесные различия между

матерью и отцом и на их роли. Физиология и инстинкт оказываются направленными в русло одной центральной потребности — потребности абсолютного обладания, которая не может быть сведена к материальному элементу и относится к тому, что принято называть сознанием» [6, с. 263]. Так в данном определении понятие сексуальности расширяется до понятия телесности, которое обладает для Мерло-Понти экзистенциальным значением, в силу определения его в качестве «универсальной возможности бытия в мире». Иначе говоря, в этой работе значение телесности обосновывается в качестве агента восприятия, проявления духовного и отправной точки нашего исследования самих себя. Однако в то же время Мерло-Понти останавливается на некотором «нечто», необходимом для проникновения духа в тело и тела в дух. Это «нечто» есть бессознательное. Бессознательное понимается как «несформулированное знание, за которое мы не хотим брать ответственности» [6, с. 264] Бессознательное интерпретируется как некоторая бесформенная часть духа, находящая отражение в теле и действующая на него неосознанно, таким образом, пребывающая и там и там. Так Мерло-Понти не столько ограничивает психоанализ, сколько расширяет его, предлагая собственную экзистенциальную версию понимания сексуальности и бессознательного.

Таким образом, на примере Сартра и Мерло-Понти мы можем увидеть безусловный интерес экзистенциальной феноменологии к фрейдизму, который, как показывает ограниченность психоанализа в понимании сознания (критика Жана-Поля Сартра), так и порождает уникальное прочтение работ Зигмунда Фрейда (интерпретация Мориса Мерло-Понти). В проектах экзистенциализации психоанализа, которые мы можем наблюдать у этих авторов, есть общий нарратив, заключающийся в представлении человека как включенного в мир и обладающего бытием-в-мире. Однако стоит подметить, что такой путь примирения требует некоторого изменения во фрейдистском каноне через отказ от некоторых концепций или специфическое прочтение.

Литература

1. Spiegelberg H. Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction / H. Spiegelberg. Evanston: Northwestern University Press, 1972. 348 p.
2. Sartre, J.-P. Sketch for a Theory of the Emotions / J.-P. Sartre; translated by P. Mairet; foreword by S. Gardner. London; New York: Routledge, 2014. 96 p.
3. Лейбин В. М. Постклассический психоанализ: энциклопедия. Т. 2. М.: Территория будущего, 2007. 576 с.
4. Сартр Ж-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. М.: Республика, 2000. 639 с.
5. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / пер. с франц. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб.: Ювента, Наука, 1999. 606 с.
6. Мерло-Понти М. Знаки / пер. с франц., примеч. и послесл. И. С. Вдовиной. М.: Искусство, 2001. 432 с.

Теоретические и клинические аспекты феноменов завершения и обрыва психоаналитической терапии

Козлова Ю.В.

Магистр психологии, частная практика

E-mail: julia.kozlova.it@gmail.com

Аннотация: Психоаналитический процесс имеет свою структуру и внутреннюю логику. Его этапы, образующие структуру, являются предметом исследований и описаний в психоаналитической литературе. Но если началу

терапии и ее середине уделяется достаточно много внимания, то процесс завершения часто считается интуитивно понятным и не требующим специального внимания и концептуализации. В докладе представлены результаты эмпирического исследования процессов завершения и обрыва терапии с точки зрения русскоязычных психоаналитически ориентированных психотерапевтов. В исследовании показано, что процесс завершения терапии может быть соотнесен с сознательным процессом, а процесс обрыва – с бессознательным.

Ключевые слова: психоанализ, психоаналитический процесс, этапы терапии, структура терапии, завершение терапии, обрыв терапии.

Theoretical and clinical aspects of the phenomena of completion and termination of psychoanalytic therapy

Kozlova Y.V.
Independent researcher

Abstract: The psychoanalytic process has its own structure and internal logic. Its stages, which form the structure, are the subject of research and descriptions in the psychoanalytic literature. But if the beginning of therapy and its middle receive enough attention, the process of completion is often considered to be intuitive and does not require special attention and conceptualization. The report presents the results of an empirical study of the processes of completion and termination of therapy from the point of view of Russian-speaking psychoanalytically oriented psychotherapists. The study shows that the process of therapy completion can be related to the conscious process, and the process of therapy termination can be related to the unconscious process.

Keywords: psychoanalysis, psychoanalytic process, stages of therapy, structure of therapy, therapy completion, therapy termination.

Психоаналитический процесс имеет свою структуру и внутреннюю логику. Его этапы, образующие структуру, являются предметом исследований и описаний в психоаналитической литературе [1,2,3], а также подробно изучаются в образовательных программах. Но если началу терапии и ее середине уделяется достаточно много внимания, то процесс завершения часто считается интуитивно понятным и не требующим специального внимания и концептуализации.

Между тем, вопросы, связанные с завершением терапии, представляются не менее важными. Может ли психоаналитическая терапия быть завершена, и по каким критериям она считается завершенной? Что такое «человек проанализированный», и возможно ли достичь этой полной проанализированности? В конечном итоге завершение ставит перед нами ключевой вопрос – каковы истинные цели нашей работы и когда мы можем считать эту работу выполненной?

Размышляя об окончании терапии, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой истинного завершения и досрочного прерывания терапии. По меткому замечанию Фрейда, «анализ завершен, когда аналитик и пациент больше не встречаются на аналитических сеансах» [4, с. 20]. Но каждый практикующий специалист знает, что эти встречи могут прекратиться к взаимному удовольствию и по взаимной договоренности аналитика и пациента, а могут – резко, внезапно, в одностороннем порядке. В принципе мы интуитивно понимаем, когда анализ завершен, скажем так, правильным образом, а когда прерван. Но бывают ситуации, особенно у начинающих специалистов, когда вроде бы правильным образом завершенный длительный анализ по прошествии времени ощущается как незаконченный.

Представленное исследование актуально еще и в связи с тем, что среди психоаналитических исследований в России эмпирические исследования составляют совсем небольшой процент. Между тем, считаю, что эмпирические исследования позволяют по-

новому оценить различные психоаналитические феномены. Убеждена, что эмпирические исследования должны занять свое место в научном и образовательном психоаналитическом пространстве.

Общая гипотеза исследования: представления об окончания терапии в клиническом опыте совпадают с представлениями об окончании терапии в теоретическом психоаналитическом дискурсе.

Частная гипотеза: существуют теоретические, клинические и технические отличия между процессами завершения и обрыва терапии. Эти отличия зафиксированы в теоретических материалах и клиническом опыте практикующих аналитиков.

Анализ теоретической литературы показал, что большинство авторов считают психоаналитическую терапию конечным процессом, завершение которого должно быть основано на проверяемых клинических данных. Описано несколько моделей завершения анализа [1,2,3,5].

В литературе выделяют этапы и сроки завершения анализа, также особое значение придается постаналитическому периоду [1].

Завершению анализа способствует ряд факторов. Помимо достижения целей терапии и структурных изменений в психике пациента, это фактор времени. Именно конечность анализа запускает процессы сепарации и горевания.

В процессе терапии анализ становится функцией Я. Идентификация с аналитиком и его методом позволяет пациентам достигать уровня саморефлексии, которая в дальнейшем становится инструментом самопомощи.

Обрыв терапии главным образом понимается как патологический процесс. Существуют угрозы аналитическому процессу, которые могут приводить к обрыву терапии *(непреодолимое сопротивление, отыгрывание, негативная терапевтическая реакция, обращаемая перспектива и др.).*

На основании анализа теоретических источников были выделены признаки завершения и обрыва терапии, которые легли в основу части эмпирического исследования.

Основные результаты эмпирического исследования.

Исследование проведено онлайн с 22 по 28 мая 2025 года среди русскоязычных терапевтов, работающих в психоаналитической модальности. Выборка составила 49 человек.

Случаи завершения терапии есть в практике большинства опрошенных. Опыт и длительность работы, как показали результаты опроса, не связаны с наличием или отсутствием случаев завершенной терапии в практике.

Терапия завершается нормативно менее чем в половине случаев. Вероятно, эти данные демонстрируют возможности метода и подчеркивают, что обрыв терапии – это не свидетельство непрофессионализма, а довольно распространенный феномен.

Длительность терапии, которую можно считать завершенной, не имеет значения для 40% опрошенных. Но половина респондентов отмечает, что завершенной может считаться терапия длительностью от 100 до 500 часов.

Что касается инициатора завершения терапии, - 82% опрошенных (также, как и большинство теоретиков) отметили, что это должно быть совместное решение.

Все респонденты уверены, что необходимо оставлять пациентам возможность вернуться в терапию. 39% обозначают возвращение как новую терапию, 25% - как продолжение прежней; 27% - в зависимости от ситуации. И тут возникает интересная коллизия: не является ли такое завершение терапии, которое подразумевает возможность возвращения в прежнюю терапию, и не завершением, и не обрывом, а просто перерывом в терапии? И какова природа этого явления?

Завершение анализа для терапевтов (как, вероятно, и для пациентов) сопровождается гореванием: опрошенные отметили, что терапевты испытывают чувства грусти, утраты, сожаление, но при этом – и светлые чувства, такие, как благодарность или удовлетворение от хорошо сделанной работы, а также уверенность в дальнейшем благополучии пациента. То есть

нормативное завершение терапии – это комплекс сложных, но, скорее, светлых чувств. И в этом важное отличие завершения от обрыва.

Большинство практикующих терапевтов предпочитают при завершении терапии руководствоваться конкретными клиническими критериями. По этим критериям возможно оценить состояние пациента в начале терапии и при ее завершении и сделать выводы об их изменениях.

На случаи обрыва терапии по инициативе пациента в своей практике указали 100% опрошенных. 33% отметили возможность завершения терапии по инициативе аналитика, 37% – по инициативе третьей стороны.

Не выявлено значимых связей между количеством обрывов в практике и опытом работы аналитиков, а также их теоретическими предпочтениями. Можно предположить, что количество обрывов может быть связано главным образом с особенностями пациентов, со структурой их личности и т.д.

Терапевт, вероятно, принимает решение о досрочном прекращении терапии по большей части сознательно (осознавая, например, границы собственной компетентности), а пациент – бессознательно (испытывая непереносимые чувства).

Опрошенные выделяют три ключевых фактора риска обрыва: структура личностной организации и отыгрывание, а также тип личностного расстройства. В этом они солидарны с теоретиками, особенно авторами концепций в области теории объектных отношений.

Практически все респонденты считают, что обрыв терапии можно профилактировать – либо обсуждая происходящее с пациентами, либо супервизируя случаи. Но, вероятно, это касается только тех ситуаций, когда есть видимые признаки (например, нарушения сеттинга).

По мнению опрошенных, возвращение пациента в терапию возможно. Полностью согласны с этим утверждением 78% респондентов, в зависимости от ситуации – 22%.

Данные свидетельствуют в пользу того, что феноменология обрывов и перерывов в терапии заслуживает дальнейшего исследования и рассмотрения. В частности, вызывает интерес и мотивация пациентов к возвращению в терапию, и навыки аналитиков, которые способствуют возобновлению прерванной терапии.

Большинство психоаналитиков стремится хорошо делать свою работу, стараясь довести терапию до завершения. При этом психоаналитическая терапия создает уникальные условия, при которых законченность нашей работы не может быть гарантирована ни нашим образованием, ни опытом работы, ни личными качествами.

Качественная часть исследования включает в себя контент-анализ комментариев респондентов по поводу отличий завершения терапии от ее обрыва.

Оценивая эти отличия, можно выделить главное: завершение терапии – это в большей степени сознательный процесс; обрыв – в большей степени бессознательный. Можно предположить, что именно в нормативном завершении мы видим реализацию главной задачи психоаналитической терапии, сформулированной З. Фрейдом: «где было Оно, должно стать Я» [6, с. 492]. Завершение происходит на уровне зрелых объектных отношений, пациент способен осознавать и справляться со своими чувствами, признавать реальность и отдельность – свою и аналитика.

Именно бессознательный характер обрыва, сопряженный с негативным переносом, проективной идентификацией, агрессией и др. делает его таким сложным.

Выводы.

В эмпирическом исследовании показано, что завершение терапии понимается современными клиницистами как совместный процесс, при этом терапевты руководствуются конкретными клиническими критериями, позволяющими оценивать динамику состояния пациента в ходе всего психоаналитического процесса.

Специфика обрыва терапии – ее стремительное завершение. Более осознанное прекращение терапии, которое сопровождается завершающими встречами, вероятно, является

более благоприятным прогностическим фактором для возобновления терапии, чем резкий внезапный обрыв.

Практики выделяют ключевые факторы риска обрыва терапии: структура личностной организации и отыгрывание, а также тип личностного расстройства, что соотносимо с позицией авторов концепций в области теории объектных отношений.

Оценивая эти отличия, можно выделить главное: завершение терапии – это в большей степени сознательный процесс; обрыв – в большей степени бессознательный.

Литература

1. Этчегоен Р. Горацио. Основы психоаналитической техники. М.: Когито-центр, 2020. 1010 с.
2. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Т. 1. Теория. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Литера», Издательство Агентства «Яхтсмен», 1996. 576 с.
3. Йоманс Ф., Кларкин Д., Кернберг О. Психотерапия, фокусированная на переносе, при пограничном расстройстве личности. Клиническое руководство. М.: Издательский проект группы партнеров Psy Event, 2018. 498 с.
4. «Конечный и бесконечный анализ» Зигмунда Фрейда. Под. ред. Дж. Сандлера. М.: «Канон+», 2016. 256 с.
5. Кляйн М. Психоаналитические труды в 7 томах. Том V. «Эдипов комплекс в свете ранних тревог» и другие работы 1945-1952 гг. Ижевск: «Эрго», 2009. 312 с.
6. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ и Новый цикл. [Электронный ресурс] URL: (https://www.litres.ru/book/zigmund-freyd/tom-1-lekcii-po-vvedeniu-v-psihoanaliz-i-novyy-cikl-67615673/. (дата обращения 03.05.2025)

Пересмотр субъективности и эвристичность концепции шизоидности Дэвида Кишика

Костелев Н.Н.

Северо-Западный Институт Управления РАНХиГС, кафедра сравнительных политических исследований. Студент-бакалавр.

nkostelev-22@edu.ranepa.ru

Аннотация: Хотя психоанализ изначально возник как терапевтическая дисциплина, он довольно быстро вышел за пределы медицинской практики и вошёл в широкий контекст социальных и гуманитарных наук. Среди его ключевых понятий феномен шизоидности долгое время оставался малоизученным. Психоаналитики — Луи Сасс и Гарри Гантрип — указывали на то, что обсуждение шизоидности выходит за рамки клиники и может быть продуктивно для анализа социума и культуры. Дэвид Кишик развивает эту идею, предлагая рассматривать шизоидность как аналитическую категорию. Анализируя Книгу Бытия, диалоги Платона и Cogito Декарта, он показывает, что одиночество и дистанция, во-первых, присутствуют на протяжении всей истории, а не только в современности и, во-вторых, шизоидные механизмы лежат в основе мышления и творчества, выступая в роли эпистемологического ресурса. Таким образом, анализ с шизоидной позиции выявляет скрытые структуры субъективности в истории мысли, ставя под сомнение идеал «целостного субъекта» и предлагая новый взгляд на культуру и современность. В своем докладе я систематизирую и концептуализирую основные положения книги Кишика, уточняя её место в более широком контексте гуманитарных исследований.

Ключевые слова: психоанализ, шизоидность, субъективность, эвристичность, социальные науки, эпистемология.

Revisiting Subjectivity and the Heuristic Potential of David Kishik's Concept of Schizoidness

Kostelev N.N.
North-West Institute of Management RANEPA

Abstract: Psychoanalysis originally emerged as a therapeutic discipline, it quickly extended beyond medical practice into the broader realms of the social sciences and humanities. Among its key concepts, the phenomenon of schizoidness remained underexplored for a long time. Psychoanalysts Louis Sass and Harry Guntrip noted that discussions of schizoidness transcend clinical contexts and can offer valuable insights for analyzing society and culture. David Kishik develops this idea further, proposing schizoidness as an analytical category. By examining the Book of Genesis, Plato's dialogues, and Descartes' Cogito, he demonstrates that solitude and distance have persisted throughout history, not only in modernity, and that schizoid mechanisms underlie thought and creativity, functioning as an epistemological resource. Analysis from a schizoid perspective thus uncovers hidden structures of subjectivity in the history of thought, challenges the ideal of the "integral subject," and offers a novel perspective on culture and modernity. In my presentation, I systematize and conceptualize Kishik's main arguments, situating them within the broader context of the humanities.

Keywords: psychoanalysis, schizoidness, subjectivity, heuristic value, social sciences, epistemology

Несмотря на то, что психоанализ изначально возник как терапевтическая дисциплина, он довольно быстро вышел за рамки кабинета врача и встроился в более широкий контекст социальных и гуманитарных наук. Так, психоаналитические концепции были «реабилитированы» и адаптированы в рамках социальных наук *post factum*, например, в рамках Франкфуртской школы [1] или в феминистской критике 1970-х годов [2]. Однако более интересная ситуация сложилась с концептом шизоидности. Психоаналитики, которые разрабатывали теорию для описания шизоидного состояния, уже указывали на него как на выходящее сугубо за рамки клиники. Например, Гарри Гантрип писал о наступлении «шизоидной эры» [3, с. 63], а Луи Сасс утверждал, что шизоидное восприятие мира во многом определило деконструкционные подходы в искусстве и культуре XX века [цит. по: 4, с. 242]. Но, несмотря на сильный эвристический потенциал, количество теоретических работ, специально посвященных шизоидности, невелико. К ним относятся монографии Гарри Гантрипа [3], Рональда Лэйнга [5] и Нэнси Мак-Вильямс [4], а также несколько ключевых статей Рональда Фейрнберна [6] и Мелани Кляйн [7]. Однако, недавно этот пробел был восполнен — последняя монография Дэвида Кишика впервые предлагает рассматривать шизоидность именно как аналитическую категорию [8]. Таким образом, целью моей работы является предварительное обсуждение концепта шизоидности, который вводится в данной книге. Такая необходимость возникает по нескольким причинам. Во-первых, книга Кишика является скорее автофилософией в духе «Аргонавтов» Мэгги Нельсон [9] или античной практикой заботы о себе, как это описал Мишель Фуко [10], нежели стройной теоретической работой с последовательным изложением. В связи с этим существует необходимость в более ясном изложении, с одновременным встраиванием работы в более широкий контекст гуманитарных наук. Во-вторых, автор предлагает малое количество кейсов, через которые демонстрируется применение концепта, поскольку это не является основной целью книги.

Расстройства, относящие к корню «шизо», привлекли некоторое внимание со стороны философов в середине XX века. Главным образом благодаря связи, которая довольно отчетливо прослеживается между расщепленным состоянием сознания у человека с шизофренией и марксистской концепцией отчуждения. Точно так же, как у человека с шизофренией происходит отчуждение психических функций — когда мышление теряет

связь с эмоциональными реакциями (паратимия), речь с логикой (разорванность), а восприятие с реальностью (галлюцинации) — так и при капиталистическом отчуждении трудящийся теряет связь с продуктом своего труда, с другими людьми, природой, и, в конечном счете, со своей человеческой сущностью. Однако единственную серьезную попытку перевести шизофрению из рамки клиники в более широкий контекст предприняли Жиль Делез и Феликс Гваттари [11, 12]. Их главная заслуга состоит в переориентации психоанализа с «Эдипова треугольника» на объективные материальные отношения — в их рамке человек «заболевает» не из-за проблем в семье, а из-за экономической структуры общества, которая его подавляет. Шизофреничное состояние видится своего рода освобождением, сопротивлением капиталистической унификации. Однако, во-первых, их образ человека с шизофренией является скорее культурным героем, ролевой моделью или метафорой, который не имеет ничего общего с психиатрическим диагнозом (даже с большой натяжкой). Во-вторых, понятие шизоидности и шизофрении нельзя смешивать. Такая ошибка повсеместно распространена: например, Самсон Либерман в своем недавнем исследовании рассуждает о «шизоидности» Раскольникова, но для его объяснения привлекает концепцию Делеза и Гваттари, которые говорят о шизофрении [13], что наглядно демонстрирует теоретический вакуум в отношении концепта шизоидности. Шизофрения предполагает наличие позитивной симптоматики, в то время как шизоидность является скорее сильно заостренной негативной симптоматикой, акцентуацией на грани нормы, типом характера — Кишик рассуждает именно о нем.

Кишик сознательно дистанцируется от узко научных трактовок, не сводя термин «шизоид» «ни к расстройству личности, ни к сущности» [8, с. 70]. Вместо этого он использует его как «теоретический маркер, который определяет широко распространенный образ жизни, пересекающийся со стандартным набором социальных идентичностей». С его точки зрения, «ни психология, ни психиатрия не могут претендовать на охват этого повсеместного опыта» [8], поэтому шизоидность должна стать предметом междисциплинарного анализа. Кишик утверждает, что «шизоидная тенденция продолжает незаметно распространяться, воспроизводясь через века и континенты» [8, с. 81], отпечатываясь в истории культуры и в её основных формах. С его точки зрения, «Homo schizoid — это не аномалия человечества, а его образцовое проявление», и, таким образом, «не бывает документа культуры, который не был бы в то же время документом шизоизма» [8, с. 99]. Таким образом, шизоидность приобретает статус универсальной категории анализа, позволяющей описывать внутренние механизмы творчества, познания и социальной организации. Для демонстрации метода Кишик проблематизирует традиционное прочтение трех текстов: книгу Бытия, диалоги Платона и сочинения Декарта.

Например, монотеистическая традиция, согласно Кишику, демонстрирует торжество шизоидной позиции. Если в политеизме боги существуют в диалоге с человеком, то христианский Бог существует в монологе, не нуждаясь в объекте: «Триумфальное монотеистическое представление о Боге как о неограниченной суверенной власти предполагает божественную субъективность, не зависящую ни от какого объекта» [8, с 142].

Аналогичная логика обнаруживается в философии Платона, где познание превращается в работу с воображаемыми собеседниками: «Читая объемный опус Платона, мы понимаем, что он не мог проводить много времени в реальных беседах с живыми людьми. Для написания своих воображаемых диалогов ему приходилось проводить время главным образом в одиночестве». При этом, Кишик настаивает, что шизоидная адаптация к смерти учителя определила сам характер философии Платона. Увидев предательство со стороны афинян, Платон обратил свою философию «либо внутрь, либо вверх», но не на окружающих людей. [8, с. 36].

Еще более убедительной точка зрения Кишика кажется в тот момент, когда он анализирует главную максиму рационализма Нового времени — выражение Рене Декарта «Cogito, ergo sum». Гантрип, с цитаты которого начинается обсуждение, писал, что эта максима дала «Превосходную формулу для борьбы шизоидного интеллектуала за обладание

эго. Обычный человек скорее бы начал с другого афоризма: «Я чувствую, следовательно я существую»». Таким образом, автор подсвечивает крайнюю степень шизоидности знаменитого латинского выражения: «Философия модерна начинается с ложного заявления об онтологической уверенности, сделанного человеком, находящимся в уединении и взаимодействующим только с воображаемым злым гением; с дуалистического «я», необратимо расколотого на разум и тело; с субъекта, подвергающегося сомнению всякий объект, который мог бы дать ему чувство достоверности путем простого соотношения с ним в повседневной жизни» [8, с. 43].

В этих примерах шизоидность перестаёт быть признаком болезни и становится условием возможности мышления как такового — способностью удерживать дистанцию, создавать внутреннее пространство рефлексии и отделять сознание от непосредственного опыта. Шизоидность в таком анализе можно назвать, по сути, эпистемологическим ресурсом. С другой же стороны, в привычных философских и религиозных сюжетах мы можем увидеть неожиданные измерения — изоляцию, замкнутость и раскол — которые остаются в тени традиционных прочтений. Такая перспектива не является конечной истиной и неизбежно может упрощать сложные феномены, но именно благодаря этому она оказывается продуктивной: в ее рамках классические тексты и смыслы начинают работать по-новому и задают ориентиры для исследований.

Рассуждения Кишика радикально пересматривают представления о субъективности в прошлом — его выводы вступают в противоречие как с левой, так и с правой критикой. Для левых мыслителей, например, Эриха Фромма и его книги «Бегство от свободы» [14], характерна ностальгия по фигуре «укоренённого субъекта», ещё связанного с общиной, семьёй и религией. Именно разрушение этих связей Фромм рассматривал как источник тревоги и отчуждения современного человека. Для правых авторов — например, Эдмунда Бёрка в его «Размышлениях о Французской революции» [15] — утраченная цельность ассоциировалась с традицией, религиозными и семейными устоями, обеспечивающими «духовную полноту» субъекта и социальную стабильность. Таким образом, обе традиции, несмотря на идеологические различия, исходят из представления о прошлом как об эпохе более цельной и гармоничной субъективности, что прямо противостоит универсализации шизоидного состояния. Нетривиальное прочтение интеллектуальной истории человечества со стороны Кишика показывает, что состояние расщепления и расколотости, а также отчуждения от людей, свойственны человеку на протяжении всей его истории. Для того, чтобы это осознать, необходимо посмотреть на историю с определенной перспективы, то есть с шизоидной позиции.

Концепция оказывается пригодной как для анализа культурных памятников, так и для современности. Рассуждая о недавней пандемии, Кишик утверждает, что западный человек оказался полностью готов к пандемии COVID-19 — наличие всевозможных цифровых инструментов позволило очень легко перенести социальную изоляцию [8, с. 75]. Такая мысль сама по себе уже похожа на доказательство подъема шизоидной позиции, ведь «Социальное дистанцирование — воплощение шизоидной мечты» [8]. В этом смысле пандемия оказалась эмпирической ретроспективной проверкой тезиса Кишика: изоляция способна стать нормой существования западного человека.

Литература

1. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. Пер. с англ., послесл., примеч. А. А. Юдина; сост. и предисл. В. Ю. Кузнецова. М.: Издательство ДСТ, 2003. 526 с.
2. Хрестоматия феминистских текстов: Переводы. Под ред. Е. Здравомысловой, А.Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 512 с.
3. Гантрип Г. Шизоидные явления, объектные отношения и самость. Пер. с англ. В.В. Старовойтов. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2010. 672 с.

4. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. М.: Класс, 2021. 592 с.
5. Лэйнг Р. Расколотое «Я». М.: АСТ, 2021. 288 с.
6. Fairbairn W. R. D. A revised psychopathology of the psychoses and psychoneuroses // The International Journal of Psychoanalysis. 1941. Vol. 22. P. 250–279.
7. Klein M. Notes on some schizoid mechanisms // The International Journal of Psychoanalysis. 1946. Vol. 27. P. 99–110.
8. Кишик Д. Self Study: заметки о шизоидном состоянии. М.: Ад Маргинем, 2024. 192 с.
9. Нельсон М. Аргонавты. М.: No Kidding Press, 2021. 206 с.
10. Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франсе в 1981–1982 учебном году. Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007. 677 с.
11. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 672 с.
12. Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Пер. с фр. и послесл. Я. И. Свирского; науч. ред. В. Ю. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. 895 с.
13. Либерман С. Капитализм и чужая шизофрения: Образы современности в романе «Преступление и наказание» // Логос. 2025. Т. 35. № 1 (164). С. 71–92.
14. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2019. 352 с.
15. Берк Э. Размышления о революции во Франции. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. 411 с.

Черты психоаналитического знания

Мтвралашвили М. Э.
Выпускник аспирантуры Центра практической философии «Стасис»,ЕУСПБ
Независимый исследователь, психоаналитик
E-mail: mikhail.mtvralashvili@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается проблема определения границ психоаналитического знания через призму его развития от Фрейда к Лакану. Анализируются типичные ошибки его трактовки — медикализация, биологизация и культурализация. Подчеркивается, что фрейдовский психоанализ, зародившись в сингулярности клинического случая, стремится к универсальным истинам, в частности к реконструкции архаических пластов человеческой психики. Лакан радикализует этот подход, помещая субъекта в зависимость от языка и Другого, что позволяет психоанализу претендовать на интерпретацию любых феноменов, принадлежащих языковому полю. Ключевой особенностью психоанализа провозглашается его работа с «несовпадениями» и «разрывами» в речи, что противопоставляет его науке, ориентированной на объективное знание. Ценность психоанализа видится в его исключённом положении, позволяющем ему исследовать напряжение между сингулярным и универсальным, возможным и невозможным, что и составляет главную сложность в определении его границ.

Ключевые слова: психоанализ, Лакан, Фрейд, знание, несовпадение, универсальность, истина.

Bars of psychoanalytic knowledge

Mtvralashvili M.E.
Independent researcher

Abstract: The article examines the problem of defining the boundaries of psychoanalytic knowledge through the prism of its development from Freud to Lacan. The typical errors of its interpretation are analyzed — medicalization, biologization and culturalization. It is emphasized that Freudian psychoanalysis, having originated in the singularity of a clinical case, strives for universal truths, in particular, for the reconstruction of archaic layers of the human psyche. Lacan radicalizes this approach by placing the subject in dependence on language and the Other, which allows psychoanalysis to claim to interpret any phenomena belonging to the field of language. A key feature of psychoanalysis is its work with "discrepancies" and "gaps" in speech, which contrasts it with a science focused on objective knowledge. The value of psychoanalysis is seen in its excluded position, which allows it to explore the tension between the singular and the universal, the possible and the impossible, which is the main reason for difficulty in defining its boundaries.

Keywords: psychoanalysis, Lacan, Freud, knowledge, discrepancy, universality, truth.

Интересную перспективу проблематичности определения границ психоанализа выразил автор биографической книги о Фрейде Р. Дадун, обнаруживший три типичные ошибки, которым может подвергаться человек, читающий «отца психоанализа», — медикализацию, биологизацию и культурализацию психоанализа. «Медикализировать Фрейда, — как отмечает Р. Дадун, — значит признавать в нем лишь специалиста по “нервным болезням”, практикующего под крышей дома на Берггассе, 19, в Вене…» В свою очередь, это предполагало бы пренебрежение тонкими интуициями и замечаниями Фрейда в отношении контекста происходящего в кабинете [1, с. 255]. Также это было бы неуместно ввиду последующего наследия психоанализа, включившегося в борьбу с чрезмерной биологизацией человека, сводящей его к некоей функции врождённых инстинктов. Одновременно предельная культурализация Фрейда вытесняет свойственные ему позитивизм и реализм, из которых психоанализ рождается, но к которым никогда не сводится.

Необходимо отметить, что определить рамки и цели психоанализа пытался и сам Фрейд. Наиболее ёмкой и дискуссионной фразой на эту тему является высказывание о том, что целью аналитической работы становится процесс осознания: «Где было Оно, должно стать Я» [2, с. 507]. Самой же интересной, но одновременно малоупоминаемой рамкой, в которую пытался поместить психоанализ Фрейд, является та, которую можно найти в «Толковании сновидений», где он пишет о том, что за индивидуальным детством каждого человека открывается понимание филогенетического детства, развития всего человеческого рода, сокращённым повторением которого, фактически, является развитие отдельного человека. Завершает же Фрейд своё высказывание общим призывом к психоаналитикам: «Похоже, что сновидение и невроз сохранили для нас больше психических "древностей", чем мы могли предполагать, а потому психоанализ может претендовать на высокий ранг среди наук, пытающихся реконструировать самые древние и неизведанные фазы развития человечества» [3, с. 734].

Приведённое обозначение целей психоанализа не противоречит высказыванию Фрейда о Я и Оно, но добавляет к нему реконструкторский оттенок, отсылающий к воспоминанию, подобно тому, что можно наблюдать в платоновском «Меноне». Сократ, наставляя раба Менона, помогает тому припомнить знание, которое в нём уже изначально содержится, тем самым доказывая принадлежность всех душ к единому полю истины. Это же замечание относительно направления, которое должен взять психоанализ, подтверждается тем,

что в практически предсмертном тексте «Анализ конечный и бесконечный». Фрейд приходит к весьма юнгианскому выводу о том, что такие психические содержания, как символика, «не имеют других источников передачи, помимо наследования» [4, с. 125].

Иными словами, к индивидуальному анализу, приводящему субъекта к раскрытию личных бессознательных напластований, Фрейд вписывает в задачу психоаналитика возможность проводить через анализ поиск универсальных, имманентных знаний, сопутствующих каждой человеческой душе. Это поэтическое направление, содержащее в себе антропологический уклон, подчёркивает не просто свойственную психоанализу трансдисциплинарность, но парадоксальную и неизбежную апелляцию к универсальности, выявляющуюся из попытки объяснить сингулярность.

Рождённая из сингулярности универсальность выходит за ориентиры, обозначенные Фрейдом, в лакановской теории субъекта, которая, отвергая какие-либо имманентные, всеобщие свойства души, достигает апогея претензий психоанализа на универсальность своего знания. Отталкиваясь от картезианского субъекта, обосновывающего самого себя, лакановский субъект бессознательного, не веря в это самообоснование, находит свою уверенность в Другом.

Лакан, создавая образ Фрейда-структуралиста, превращает психоаналитика в лингвиста; в своей же теории означающего он оформляет субъекта, который становится невозможен вне контуров означающих [5, с. 380]. Поскольку всё в мире лишено своей сути и является производным от языка, текстом, который возможно прочесть и высказать о нём свою интерпретацию, то в таком случае в поле публичного, как и у кушетки, психоаналитик имеет компетентное право интерпретировать физическое, астрономическое, молекулярно-биологическое или какое-либо другое, требующее высокого порога вхождения, научное знание на основании его причастности к языку, подобно симптому анализанта. Более того, посредством топологических фигур, обнаруживающих видимую невозможность определения внешнего и внутреннего, Лакан ставит под вопрос существование границ как таковых.

Таким образом, проделав путь от Фрейда к Лакану, психоаналитическая теория, рождённая в сингулярности, обретает измерение универсальности, на которую не смеет претендовать даже наука, которая ограничивает себя различными принципами проведения экспериментов, а также требованиями проверяемости, объективности, валидности.

Онтология отсутствия, на которой строит своё учение Лакан [6, с. 432], свойственная континентальным философиям, предполагающая неразрывную корреляцию бытия и мышления (в данном случае бытия и «означающего»), активно критиковалась спекулятивно-реалистическими мыслителями [7, с. 11], косвенно подталкивающими психоаналитиков к возвращению к тем реалистическим границам, от которых никогда не отказывался сам Фрейд.

Поэтому куда больший интерес представляет попытка Лакана поместить психоанализ в контекст его сравнения с наукой, религией и магией [5, с. 452]. В статье «Наука и истина», которая является стенограммой вводной лекции семинара «Объект психоанализа», Лакан противопоставляет знание, как то, на что ориентирует себя наука, истине, к которой настойчиво возвращается психоанализ.

Субъект науки, говорит Лакан, — это тот, кто об истине как причине успехов науки «не-желает-ничего-знать» [5, с. 450]. Именно предположение о существовании истины, лишённой какой бы то ни было субъективности, и позволяет науке, несмотря на то, что (для Лакана) никакого метаязыка нет, выдавать метаязык за существующий, отождествляя знание и истину [5, с. 442]. Выражаясь иначе, наука мыслит мир, но само мыслящее Я остается за скобками научного дискурса; именно поэтому психоанализ — рождённый из науки, бросая вызов и науке, и религии, и философии, выступая в качестве подлинной антифилософии, оказывается в исключённом положении того, кто обнаруживает несовпадения между знанием и истиной. Именно поэтому цель аналитического дискурса — не получение объективного знания об анализанте, но производство истины через обнаружение несовпадений, раскрывающихся в потоке бессознательного.

В этом же тексте Лакан говорит о главной операции, которую производит как наука, так и религия, — сшитие, или связывание субъекта [5, с. 435]. Собственно, сам глагол, от которого происходит слово религия, religare, буквально имеет своим значением не что иное, как возможность «связывать». Однако в этом же месте происходит расщепление уже самого психоанализа: он был бы невозможен без этого вторичного процесса. Как замечает М. Мерло-Понти, психоанализ не даёт прямых ответов на то, чем является человек как таковой, и не исключает возможности обращения к философии; наоборот, он весьма энергично ставит проблему человека, при решении которой без философии обойтись нельзя [8, с. 34].

Это замечание указывает на ещё одну неизбежность: чтобы обновлять своё знание, иметь возможность производить интерпретацию, психоаналитику необходимо обращаться к философскому или научному знанию, которое неизбежно затронуто универсальной апелляцией и желанием как учёного, так и желанием самого аналитика, выбравшего обоснование заполнения невозможных событий, случающихся в практике, в конкретном участке философского или научного знания. Эта точка соприкосновения является как местом инноваций, так и наибольших теоретических провалов психоанализа.

Вместе с тем, извлекая себя из зазоров науки, но параллельно черпая из неё же своё знание, психоанализ не забывает о своём желании, данном в черте, которая и является указанием на несовпадения [9, с. 292]. Другими словами, психоанализ не забывает своей сути — вслушивания в разрывы, позволяя истине явиться из самой себя, давая ей возможность иметь свой голос и своё имя. Если психоанализ имеет какую-то ценность, то это не эдипов комплекс или теория означающих Лакана, но место потока избыточной речи, которая в своей избыточности, в своём праве на возможность производит невозможные несовпадения, обнаруживающие в себе самом и со-восстанавливающий эффект, творящий несокрытую субъектность.

Преимущество психоанализа как раз в том, что он работает с тем, что из всех университетских дискурсов, претендующих на универсальность, исключено по причине его сингулярности. Собственно, это и является главной причиной сложности определения границ психоанализа, поскольку, только будучи исключённым, психоанализ и может обладать ценностью; только будучи исключённым и единичным, он и может заглядывать в эпицентр напряжения мерцающих совпадений и несовпадений.

Литература

1. Дадун Р. Фрейд. Пер. Д. Т. Федорова. М.: Х.Г.С., 1994. 512 с.
2. Фрейд З. Собрание сочинений в 10-ти т. Т. 1. Лекции по введению в психоанализ и Новый цикл. Пер. с нем. А.М. Боковикова. М.: ООО «Фирма СТД», 2003. 609 с.
3. Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 24. Статьи о сновидениях и толковании сновидений. Т. 25. Толкование сновидений. Пер. с нем. Андрея Боковикова. СПб.: Восточно-Европейский Институт психоанализа, 2024. 847 с.
4. Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 10-11. Динамика переноса. Психоаналитическая клиническая теория. Пер. с нем. Андрея Боковикова. СПб.: Восточно-Европейский Институт психоанализа, 2019. 514 с.
5. Лакан Ж. Написанное. Пер. с франц. А. Черноглазова. Т. 1. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. 496 с.
6. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. Пер. с итал. В. Резник и А. Погоняйло. СПб.:Издательство «Симпозиум», 2006. 548 с.
7. Мейясу К. После конечности: эссе о необходимости контингентности. Пер. с фр. Л. Медведевой, науч. ред. П. Хановой. Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2015. 198 с.
8. Мерло-Понти М. Беседа с Мадлен Шапсаль. Пер. В. М. Рыкунова // Логос. 1994. №.6. С. 29–39.

9. Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа (1964). Пер. с франц. А. Черноглазова. Москва: «Гнозис», 2004. 305 с.

Лу Андреас-Саломе и Р.М. Рильке: о границах языка в поэзии и психоанализе — слово и прикосновение

Груба Н.В.
Европейский университет в Санкт-Петербурге, аспирантка
n.gruba@eu.spb.ru

Аннотация: Переписка Андреас-Саломе и Рильке возможно является самым интимным сближением психоаналитической и поэтической речи. При этом оба автора обращаются к проблеме внеязыкового опыта и (невозможности) его выражения в языке. Стихотворения-вещи Рильке и «слишком поэтические» психоаналитические тексты Саломе становятся не только размышлением о соотношении языка и реальности, но и непосредственно практикой речи, личной историей, биографией. Статья посвящена вопросам, которые эта переписка, жизнь, речь, ставят перед философией языка.

Ключевые слова: Андреас-Саломе, Рильке, границы языка, поэзия, психоанализ.

Lou Andreas-Salomé and R.M. Rilke: On the Limits of Language in Poetry and Psychoanalysis – Word and Touch

Gruba N.V.
European University in St. Petersburg

Abstract: The correspondence between Andreas Salomé and Rilke is perhaps the most intimate encounter between psychoanalytic and poetic speech. Both authors address the problem of extralinguistic experience and the (impossibility) of its expression in language. Rilke's "thing-poems" and Salomé's "overly poetic" psychoanalytic texts become not only reflections on the relationship between language and reality but also a direct practice of speech, a personal history, a biography. This article examines the questions that this correspondence, life, and speech pose for the philosophy of language.

Key words: Andreas Salomé, Rilke, limits of language, poetry, psychoanalysis.

Переписка Р.М. Рильке и Л. Андреас-Саломе [1] длилась 29 лет, с 1897 по 1926 гг. Проблема слова и вещи, языка и тела, речи и невыразимого является одной из центральных тем их диалога. Но эти тексты практически полностью лишены концептуальной рамки несмотря на то, что оба адресата активно включены в интеллектуальную жизнь эпохи. Саломе в целом чаще упоминается в контексте отношений с Ницше и Фрейдом, чем как самостоятельный автор и мыслитель. Судя по переписке, она рекомендует и одалживает Рильке работы Воррингера и Бергсона. Рильке также упоминает работы Спинозы, Кьеркегора, Зиммеля, Каснера. Однако большинство имен появляется в письмах вскользь, в связи с личными впечатлениями или обстоятельствами повседневности. Здесь также не очень много тех развернутых поэтических и философских рассуждений, которые комментаторы Рильке любят цитировать из его переписки. Возможно более всего эти письма наполнены жалобами — дискурс, который Т. Хофман называет "Klageschprache" (речь-плач, речь-стенание) [2], а Ф. Иллиес использует в книге «1913. Лето целого века» качестве трагикомического рефрена «Рильке жалуется» [3]. И несмотря на то, что Саломе с самого начала играла терапевтическую роль в этих отношениях — выслушивала, утешала, интерпретировала — даже после начала ее

активной работы в качестве психоаналитика этот дискурс также почти не проникает в их письма.

Не «говорение о» проблемах языка интересно в этой переписке — она сама, в своем разворачивании, представляет собой суть проблематизации, не абстрагируясь от хода жизни, обсуждения семейных, финансовых, бытовых дел, обсуждения погоды, настроения и состояния здоровья. Здесь уже совершающийся «лингвистический поворот» проявляется еще как бы в декорациях конца 19 века. Любопытно, что английский переводчик работы Саломе о нарциссизме характеризует ее стиль как слишком «громоздкий и напыщенный даже для немцев» [4, С. 1] и считает необходимым «упрощение витиеватого стиля» при переводе [4, С. 2]. При этом сама Саломе считает слишком витиеватой раннюю лирику Рильке, и одним из лейтмотивов их ранней переписки становится необходимость «простоты» и возврата к «простым вещам», или возвращения из «литературы» к «жизни». Рильке пишет в Флорентийском дневнике о необходимости *проживать* знание, а не передавать его в словах [1, С. 33], Саломе в воспоминаниях — о важном для Рильке возвращении в мир людей и вещей из «царства символов», где он мечтал сказать о «невыразимом» в одиночку и напрямую (не опосредованно) [1, С. 40-41].

Граница между языком как косвенным «говорением о жизни» и возможностью проживать опыт непосредственно, не давая имен и ярлыков, проводится в письмах по-разному. Знакомство с русским языком и путешествие по России, как опыт близости далекого и чужого, становятся для Рильке выражением внесемантического бытия языка как чистого звука, слияния означаемого и означающего. Воскрешаемая в памяти звуковая материя не претворяется в стихотворные строки: «Я не могу извлечь ни слова из ткани этих звуков, да я даже не знаю, сопровождали ли их слова» [1, С. 43]. В примечании к этому же письму составители сборника приводят цитату из монографии Р. Фридмана: «[Рильке] считал, что русский язык состоит только из звуков и что не следует изобретать для него смысл... В определенные часы — которые Рильке называл «русскими часами» — звук становится образом, значением и формой выражения» [1, С. 341]. Язык, очищенный от привычной референции, становится значимым сам по себе, не превращаясь в бессмысленный шум.

Идиосинкразия языка воплощается для Рильке как образ не только визуальный, но и (а может быть прежде всего) пластический. В одном из первых восторженных писем к Саломе в 1897 г. он пишет о рутине повседневного общения в разлуке с возлюбленной: «Но язык, на котором они сейчас говорят со мной, — это язык надгробий, и когда они произносят слово, я нащупываю лишь холодные, жесткие буквы». [1, С. 26]. Позже, под влиянием работы у Родена, это восприятие языка только усилится: он пишет о необходимости работать со стихотворением, как с вещью, найти «орудие искусства, молот», который заглушит «посторонний шум» [1, С. 82]. И Саломе, в ответ на эссе о Родене, пишет об обретении телесной чувственности в языке, вопреки тому, что «в инструментах поэта, телесное не находит адекватных средств для своего выражения» [1, С. 71]. Язык становится не просто бесплотным звуком, а материалом и плотью.

Но каким образом или в каком смысле язык может стать телесным прикосновением? Йорг Шустер отмечает, что в письмах Рильке часто присутствует оборот “als ob” (как будто, как если бы), которые он (Шустер) называет modus irrealis, указывая на роль письма как формы приближения и отдаления одновременно [2, С. 20-21]. Особенно хорошо это заметно в переписке с Саломе, в силу ее продолжительности, личного интимного характера и одновременно непостоянства. Перерывы между письмами могли длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, но каждое письмо (кроме возобновления переписки после расставания в 1901-1903 гг.) написано так, *как будто* время и расстояние не играют никакого значения, и диалог не прерывался. Не только Рильке, но и Саломе часто пишет о незримом присутствии или прикосновении собеседника. Если “als ob” используется для выражения «присутствия» издалека, то другой часто встречающийся оборот “gewissermaßen” (в некотором смысле, в какой-то степени) выражает иллюзорность факта или присутствия. Например, о Кларе Рильке: “gewissermaßen als meine Frau” (словно моя жена) [Цит. по 4,

С. 250]. Этот языковой жест смещения происходящего в повседневной и воображаемой, внешней и внутренней реальностях и создает возможность прикосновения без прикосновения.

Другой формой отношения языка и тела становится возможность исцеления — и как предмет обсуждения, и как рефлексируемая суть самой переписки. Один из лейтмотивов ранних писем Рильке и Саломе — его внутренняя борьба с собственной темной стороной, источником мнительности и перепадов настроения. Саломе называет этого темного двойника «Другой». Позже, в письме 1904 года, Рильке говорит о возможно истероидной природе своих страданий и потребности во враче, «у которого было бы достаточно терпения, времени и дружбы, чтобы принять мои высказывания как симптомы моей жизни», которая хочет «пережить свою болезнь, перерасти её и постепенно познавать бессознательные процессы, посредством которых изгоняются такие чужеродные сущности» [1, С. 111-112]. Очевидно, что к этому времени оба собеседника знакомы с работами Фрейда об истерии, хотя пройдет еще несколько лет, прежде чем Саломе начнет обучение психоанализу. Хорошо известны письма Рильке 1911 и 1912 гг., в которых он характеризует психоанализ как радикальную «дезинфекцию души» [1, С. 170, 176] и отказывается от этого метода лечения, при полной поддержке Саломе. Языком, который может принести исцеление от «Другого», становится роман «Записки Мальте Лауридса Бригге», куда Рильке вставляет почти без изменений отрывки из дневников и писем парижского периода.

В 1914 году Рильке ищет уже скорее врача-терапевта или диагноста, «который, начав с тела, сможет проникнуть вглубь психического» [1, С. 239]. Невролог В. фон Штауффенберг, помимо терапевтического лечения, подолгу беседует с ним, но Рильке испытывает «ментальную тошноту» от практики пересказывания ранних воспоминаний детства, «извергания детства бесформенными комками» [1, С. 244], и они прекращают эту практику.

В поздней переписке и Саломе, и Рильке обращаются к поэзии как способу исцеления. Лу пишет о том, что Дуинские элегии помогают ее пациентам вернуть чувство реальности и осязаемости окружающего мира, благодаря своей посреднеческой роли между миром слов и миром вещей. Язык (поэзии) вновь возвращается как наиболее деликатное прикосновение без прикосновения, но может принести исцеление лишь другим. Саломе пишет Рильке, что он не сможет избавиться от страданий, или что на самом деле его поэтический дар уже есть счастливая жизнь внутри него, жизнь, которая ему недоступна, но в то же время всегда с ним.

Но все же и «язык-плач» оказывается непроницаемым для внешнего, даже самого внимательного и доброжелательного читателя. Слова-жалобы приносят знание о страдании, но не о жизни тела. Сложно уловить в переписке тот период, когда мнительность и ипохондрия переходят в симптомы действительно смертельной болезни. «И как я могу зайти настолько далеко, чтобы попытаться поместить язык между болью и ее выражением?» [5, С. 141]. Здесь граница между мимолетностью жизни и спасением в языке обозначается резко и категорично. И для самого говорящего уже собственное тело становится непроницаемым, непостижимым и неподвластным языку.

Саломе узнала о реальном диагнозе Рильке за две недели до его смерти. Врачи не сообщали ему прогнозов, но он попросил «рассказать все» Саломе («возможно она найдет утешение») [1, С. 397], и написал последнее письмо («[Боль] окружает меня. Вытесняет меня. День и ночь! Где найти мужество?») [1, С. 333]. Саломе стала писать каждый день, но, со слов свидетелей, он прочитал только часть первого письма и больше не открывал конверты. Последними его словами в этом диалоге были: “Vielleicht wird die Lou Salomé doch begreifen, woran es gelegen hat” (Возможно Лу Саломе в конце концов поймет, в чем было дело) [1, С. 398], что, по замечанию комментаторов, можно прочитать и как «возможно она, проницательный целитель, однажды найдет причины того, что произошло», и как «возможно она однажды наконец поймет, что произошло на самом деле». Эта амбивалентность языка перед лицом смерти и в финале многолетнего диалога воплощает его способность одновременно и разделить жизнь, реальность, телесные ощущения, познание мира с другими людьми, и невозможность этого прикосновения в слове. Стирает границу и прочерчивает ее еще резче.

Литература

1. Rainer Maria Rilke and Lou Andreas-Salomé: The Correspondence. Translated by E. Snow and M. Winkler. New York: W.W . Norton, 2006. 424 p.
2. Rilkes Korrespondenzen. Herausgegeben von Alexander Honold und Irmgard M. Wirtz. Göttingen: Wallstein Verlag; Zürich: Chronos Verlag, 2019. 288 S.
3. Иллиес Ф. 1913. Лето целого века. М.: Ад Маргинем, 2017. 272 с.
4. Andreas-Salomè L. The Dual Orientation of Narcissism. Translated by Leavy S. A. The Psychoanalytic Quarterly. 1962. Volume 31. Issue 1. P. 1-30.
5. Витгенштейн Л. Философские исследования. Пер. с нем. Л. Добросельского. М.: Издательство АСТ, 2018. 352 с.

ФИЛОСОФИЯ С ПРИСТАВКАМИ И БЕЗ

От невозможного к Видению-в-Одном-наслаждения: логика сексуации в перспективе нефилософии Ф. Ларюэля

Кудинова А.Е.
Магистр философии
ЕУСПб, Центр практической философии «Стасис»
E-mail: annakudinova98@gmail.com

Аннотация: В данном тексте предлагается вариант прочтения формул сексуации, новизна которого заключается в обращении к нефилософской методологии, разработанной французским мыслителем Ф. Ларюэлем. В качестве одного из главных столпов нефилософского мышления в учении Ларюэля выступает принцип Видения-в-Одном, логика которого в применении к лакановским формулам сексуации, на наш взгляд, способна прояснить их смысл, а также глубже раскрыть само понятие сексуации в психоанализе. И хотя Ф. Ларюэль в своих работах эксплицитно не ссылается на концептуальный аппарат лакановского психоанализа, одной из целей данной статьи является демонстрация значительного сближения, которое обнаруживается в способе, которым в позднелакановском и ларюэлевском проектах мыслится Реальное — а именно, как имманентное. Этот статус Реального требует разработки особой методологии, которую в собственных терминах формулируют психоанализ и нефилософия, и логика которой выступает моментом сближения этих двух оригинальных направлений мысли.

Ключевые слова: логика сексуации, наслаждение, Реальное, нефилософия, Видение-в-Одном, психоанализ.

From impossible to Vision-in-One-of-jouissance: the logic of sexuation in the perspective of Laruelle's non-philosophy.

Kudinova A.E.
European University at St. Petersburg

Abstract: This article offers a new interpretation of Lacan's formulas of sexuation by drawing on the non-philosophical methodology developed by the French thinker François Laruelle. At the core of Laruelle's thought lies the principle of Vision-in-One, whose logic, when brought into relation with Lacan's formulas, can shed light on their structure and clarify the concept of sexuation within psychoanalytic theory. Although Laruelle never explicitly engages with Lacan's conceptual apparatus, the article argues that both projects converge in their understanding of the Real as immanent. This immanent status of the Real calls for a distinct methodological framework — one articulated, in different ways, by both psychoanalysis and non-philosophy. It is within this shared logic of immanence that the two modes of thought encounter one another.

Keywords: logic of sexuation, jouissance, Real, non-philosophy, Vision-in-one, psychoanalysis.

Отношениям лакановского психоанализа и нефилософии на текущий момент посвящено совсем немного исследований, в особенности в русскоязычной академической среде. Отчасти это можно объяснить почти полным отсутствием переводов ключевых работ Ларюэля на русский язык и только зарождающейся традицией чтения и интерпретации

нефилософских текстов русскоязычными исследователями. Однако похожая ситуация наблюдается в англоязычном и франкоязычном академическом поле: нефилософия и психоанализ практически не соприкасаются друг с другом в современных исследованиях, не говоря уже о последовательном синтезе этих оригинальных направлений мысли. Конечно, существует ряд текстов, в которых раскрывается близость некоторых положений лакановской и ларюэлевской мысли [8], [4, с.79-103], и все же данная тема остается мало разработанной.

Это представляется нам удивительным, поскольку общие черты двух проектов бросаются в глаза даже при беглом ознакомлении с ними. Во-первых, и Лакан, и Ларюэль стремятся нащупать подступы к знанию, которое не было бы знанием философским – более того, на изгнании, забвении которого философия только и способна себя обосновать. Во-вторых, оба мыслителя эксплицитно укореняют это отброшенное знание в понятии Реального, которое, в свою очередь, оказывается тесно связано с сингулярностью конечного человеческого существа. В-третьих, для позднего Лакана, также как для Ларюэля, чрезвычайной важностью обладает концепт Одного (Un), который вводит понимание Реального не как абсолютно негативного, закрытого для любого усилия мысли, а как того, что может быть помыслено в качестве *данного* наряду с дискурсивным знанием. Таким образом, психоаналитический и нефилософский проекты претендуют на разработку особого способа производства знания, чей статус можно определить как вне-находимый по отношению к эпистемической ситуации философии. Его отличие от знания, поставляемого дискурсом философии и смежных с ней наук, базируется на специфическом отношении к своему объекту — отношении, которое, во-первых, представляло бы альтернативу репрезентации и предикативной подмене; а во-вторых, удерживало бы разрыв между объектом и производимым о нем знании, при этом не впадая в проблему апофатического, абсолютно закрытого для мышления. Этот «срединный путь», который, на наш взгляд, характеризует особую эпистемологию, присущую психоанализу и нефилософии, мы и постараемся наметить в данном тексте, а также аргументировать утверждение о том, что лакановские формулы сексуации представляют собой формализованную запись этой эпистемической стратегии.

Итак, в своей программной книге «Principles of non-philosophy» Ларюэль говорит, что основная линия напряжения в современной философской ситуации пролегает по оси имманентного-трансцендентного. Имманентистские и трансценденталистские философские стратегии, по мнению Ларюэля, на деле представляют собой «смеси» имманентного и трансцендентного, аппарат переходов одного в другое и различений, влекущих последующие переходы и т.д. [7, pp. 17-19]. То есть, Ларюэль утверждает принципиально диалектическую природу философского стремления, которое, устанавливая свой предел, оказывается захвачено соблазном его преодоления в мысли. Предел, таким образом, остается *собственным* пределом философии, учреждается ею в качестве внутреннего условия ее развертывания [1, с.66].

Предел есть следствие того, что Ларюэль называет «философским решением» по поводу природы Реального. Можно сказать, что Решение — это операция предикации Реального, эффектом которой становится его замещение фундаментальной бинарной парой терминов: эмпирического и трансцендентального, сущности и феномена, единого и множественного (то есть, условия и обусловленного), из которой разворачивается вечный двигатель диалектической игры полагания и снятия. Эта операция порождает галлюцинаторную веру в возможность единого дискурса о Реальном [6, p 56]. Поскольку решение является основанием для философии, для всего ее аппарата и ходов мысли, оно размещается в зоне ее слепого пятна и в конечном счете фундирует ее претензию говорить обо всем, не нуждаясь во внешнем гаранте. Брассье говорит о том, что всякая философия содержит в себе философию философии, всегда стремясь вобрать и объяснить собственные предпосылки, тогда как не-философия представляет собой практику мышления, в перспективе которого философия может быть поставлена в отношение к своей реальной причине, подвергнутой форклюзии в философском решении и не апроприируемой философским аппаратом [3]. Эту практику Ларюэль назовет Видением-в-Одном, которое есть мысль не *о*

Реальном и не *про* Реальное, а, скорее, в соответствии с ним или из его места. Такой способ мышления принципиально аксиоматичен — в его основании лежит простое, радикально перформативное утверждение Реального (или Одного) как конечного человеческого существа, данного себе в своей имманентности до всяческого решения и предицирования [5, p.1]. Эта имманентность остается независимой от философского решения и неотчуждаемой в нем [5, p.27]. Средства философии, принципиально неадекватные по отношению к ее реальной причине, способны лишь формулировать Реальное в терминах негативности, необъективируемого избытка, провала и т.д. поскольку, по мысли Брассье, стремятся схватить «не-рефлексивный корень рефлексивности с помощью рефлексивных средств» [3]. То есть, негативность и апоретический характер Одного является следствием обреченной на провал попытки сформулировать его в терминах, не имеющих к нему отношения. Мыслить из места Реального значит иметь возможность взять саму зеркальную логику философского мышления в скобки, тем самым радикально разделив философскую мысль и ее имманентную причину, отдав приоритет последней.

Теперь обратимся к формулам сексуации [2, с. 93]. Правая и левая стороны записи соответствуют женскому и мужскому способам наслаждения. Только так, через наслаждение, формулируется в психоанализе пол, который не совпадает с биологическим или другим определением. Этот психоаналитический пол задается двумя различными вариантами отношения к кастрации (Ф). Коротко говоря, кастрацию можно мыслить как операцию означивания того факта, что всему порядку символического (дискурса/Другого) недостает средства для выражения гетерогенного ему измерения — а именно, измерения наслаждения/Реального. Расхожая формулировка гласит, что женщина «не-вся» подпадает под предикат кастрации. Однако, в каком смысле должны мы понимать, что мужчина оказывается под ним целиком? В том, что все его бытие в языке оказывается выстроено через отношение к универсальному гаранту — элементу, который исключен из дискурса и в силу самого этого исключения возникает на горизонте как мифическая возможность полного, абсолютного универсума, где знание и наслаждение обрели бы единство. Именно это иллюстрирует фрейдовский миф об Отце Орды: отце, который наслаждался всеми женщинами племени без ограничения до тех пор, пока его не убили, сговорившись, сыновья, тем самым закрепив его в качестве фигуры наслаждения, путь к которому заказан. Итак, вот как можно читать мужскую (левую) сторону сексуации: именно постольку, поскольку существует x, который не кастрирован (Отец Орды как лик полного фаллического наслаждения), все x попадают под функцию кастрации. Это трансгрессивная логика, которая устанавливает всеобщность посредством учреждения предела, по отношению к которому все элементы получают свое значение и могут быть объединены в одно множество (Фx). Именно в рамках этой логики существует субъект, записанный на мужской стороне сексуации.

Что же происходит на «женской» стороне? Лакан скажет о ней: «… каждому говорящему существу … позволено в эту часть вписаться. Вписавшись же туда, никакой всеобщности оно не потерпит: свободное выбирать, включаться ему в разряд Фx, или нет, оно так и останется не-всем.» [7, с. 94-95]**.** То есть, скандально известная формула «Женщины не существует» всего лишь утверждает бессилие функции универсальности — на стороне женской сексуации мы не найдем универсального гаранта (такого как Отец орды), который именно в силу своей исключенности поддерживает тот порядок, из которого он изъят.

В женской сексуации кастрация утверждается как то, что имеет место в случае каждого взятого по отдельности элемента, но без того, чтобы находить свое обоснование в трансцендентном исключении. Отсюда, однако, следует парадоксальное утверждение, что «не все x кастрированы». Чтобы понять это противоречие, нужно, как я полагаю, рассматривать логику женской сексуации как ту, которая предлагает читать «x» двумя взаимоисключающими способами, сохраняя это противоречие в его синхронии. Действительно, нет такого x, который не был бы кастрирован, поскольку говорящее существо принимает закон дискурса, который есть закон исключения наслаждения. Однако логика исключения сама по себе есть то, что навязано законом означающего существу, которое не

является означающим, и чье существование не покрывается символическим порядком. X, который мы можем прочитать здесь как «человек» (в отличие от субъекта), подлежит кастрации не полностью, не-весь. Итак, чтобы понимать логику женской сексуации, необходимо совмещать две взаимоисключающих перспективы, в которых один и тот же объект (x, человек) может быть определен либо из позиции дискурса как тот, чье бытие исчерпывается законом означающего (кастрации); либо из позиции Реального как тот, кто не схвачен дискурсом целиком, кто предстает в нем *не-весь*. В первом случае простая самотождественность человека оказывается в месте дыры, нехватки, всегда уже утраченного основания, вокруг которого разворачивается символический аппарат, оставляя от всего человека только субъект как эффект пропажи его бытия в языке. Во втором же случае, вставая на место Реального как пред-первичной, имманентной и неотчуждаемой субстанциальности конечного человеческого бытия, мы оказываемся способны ограничить притязания самой логики исключения и обнаружить ее относительное бессилие перед ее реальным объектом.

Литература

1. Керимов Т. Х. Не-философия и пределы философии: Ж. Делез и Ф. Ларюэль //Философский журнал. – 2022. – Т. 15. – №. 2. – 64-79 с.
2. Лакан Ж. Семинары. Книга 20. Ещё. 1972-1973 //М.: Гнозис/Логос. – 2011. – 178 с.
3. Brassier R. Axiomatic heresy: The non-philosophy of François Laruelle //Radical Philosophy. – 2003. – Т. 121. – С. 24-35. пер. Неустроев З.
4. Kolozova K. Cut of the real: Subjectivity in poststructuralist philosophy. – Columbia University Press, 2014.
5. Laruelle F. A Biography of Ordinary Man: On Authorities and Minorities. – John Wiley & Sons, 2018.

Гнозис без спасения: консервативная установка «радикализации» в анте-философии Жиля Греле

Шестаков М. А.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центр практической философии «Стасис», магистрант

E-mail: m.shestakov@eu.spb.ru

Аннотация: В статье предлагается интерпретация концепта «радикализации» в антифилософском проекте французского автора Жиля Греле как своеобразной консервативной установки. Отталкиваясь от леворадикальной французской мысли в лице таких авторов, как Ги Лардро и Кристиан Жамбе, Греле выстраивает парадигму индивидуального бунта, «восстания, которое бы не было подобием», т. е. не встраивалось бы в порочный круг «мирозатворения». Однако парадоксальным образом данная ориентация приводит Греле к антифилософскому и антиполитическому проекту, изложенному им в манифесте «Теория одиночного мореплавателя». Помимо фундаментальной ставки на меланхолию, ведущую к отказу от политического действия («спасения») как от «мирского», Греле также переосмысляет понятие «радикализации», определяя ее как нахождение особого знания (гнозиса) о «корне вещей», об их начале — в этом смысле «анте-философия» определяет движение к до-мирскому началу: такое движение предлагается охарактеризовать как консервативное, притом отличающееся от политического консерватизма стремлением не к сохранению социального порядка, а к выходу в порядок до-социальный. Помимо данной интерпретации, в статье намечены некоторые пути критики проекта Греле.

Ключевые слова: анти-философия, консерватизм, Жиль Греле, гностический материализм, мессианизм

Gnosis without salvation: a conservative stance of the "radicalization" in Gilles Grelet's ante-philosophy

Shestakov M. A.
European University in St. Petersburg

Annotation: This paper offers an interpretation of the concept of "radicalization" in the antiphilosophical project of the French author Gilles Grelet as a distinctive conservative stance. Drawing on left-wing French thought represented by authors such as Guy Lardreau and Christian Jambes, Grelet constructs a paradigm of individual rebellion, a "rebellion that would not be a similitude," i.e., one that would not be embedded in the vicious cycle of "world-making". However, paradoxically, this orientation leads Grelet to an antiphilosophical and antipolitical project, outlined in his manifesto, "The Theory of the Solitary Sailor". Beyond the fundamental emphasis on melancholy, which leads to the rejection of political action ("salvation") as "worldly", Grelet also rethinks the concept of "radicalization", defining it as the discovery of a special knowledge (gnosis) about the "root of things", their origin. In this sense, "ante-philosophy" defines a movement toward a pre-worldly origin. Such a movement is proposed to be characterized as conservative, yet distinguished from political conservatism by its desire not to preserve social order, but to reach a pre-social order. Beyond this interpretation, the article outlines several avenues for critiquing Grelet's project.

Keywords: anti-philosophy, conservatism, Gilles Grelet, gnostic materialism, messianism

В последние годы в русскоязычной среде получило рецепцию направление антифилософии, восходящее к не-философии Франсуа Ларюэля, а также к левой мысли, вышедшей из-под пера Ги Лардро и Кристиана Жамбе. Книга Жиля Греле «Теория одиночного мореплавателя», не так давно вышедшая на русском языке, обозначена издателем как «манифест антифилософии» [1, с. 4], а следовательно, позволяет судить о ключевых установках данного направления, сочетающего в себе, с одной стороны, (анти)политический жест, с другой стороны, обрисовывающего целостную парадигму внемирского существования. Мы предпримем попытку интерпретации одного из стержневых концептов Греле — «радикализации», который парадоксальным, на первый взгляд, образом может быть истолкован в качестве своеобразной консервативной установки. Нашу критическую трактовку совершенно не следует считать риторическим упреком в консерватизме, принимая последний лишь за пейоратив. Наш исследовательский интерес нацелен на прояснение того, каким образом леворадикальное мышление «восстания против мира» в работах Лардро и Жамбе трансформируется в тот облик, который оно принимает в «Теории одиночного мореплавателя», где фундаментом («каноном», в терминах Греле) этого восстания становится меланхолия и одиночество, а его методом («органоном») — специфически понятая радикализация, выводящая субъекта к анте-мирскому (т. е. предшествующему миру) порядку. Как стремление к «спасению от мира» обрывается в отказе от спасения как такового, в ставке на «гнозис без спасения»?

Необходимо строго обозначить, что в нашем тексте понимается в качестве консервативной установки. Сегодня консерватизм зачастую подвергается смешению с другими, условно «правыми», политическими тенденциями, такими как традиционализм, национализм и т. п. [2, с. 8] При этом сам по себе консерватизм, понятый в строгом смысле, представляет собой весьма конкретную установку — установку на сохранение (лат. conservo)

некого положения дел, некого порядка [3, с. 32]. В этом смысле консерватизм не представляет собой целостной политической теории, но являет собой именно установку на сохранение некого status quo. Непосредственно этой установки в книге Греле мы не обнаружим именно в силу ее пафоса «бунта против мира», которому совершенно противоречила бы установка на сохранение некого мирского порядка. Установка Греле в большей степени родственна тому мотиву, который обнаруживается в работах весьма разнородного круга авторов XX века. Среди них можно особо выделить, во-первых, Леона Блуа, которого Александр Дугин упоминает в числе теоретиков импонирующего ему «фундаментального консерватизма» [4, с. 9], и чьим резким обличением «мирского» порядка вдохновлялся и сам Греле; во-вторых, Эрнста Юнгера, идеолога «консервативной революции». Во взглядах этих авторов мы можем найти установку, направленную уже не столько на сохранение текущего положения дел, сколько на существенные (радикальные) изменения, призванные возродить некий порядок, предшествующий текущему. В отличие от других революций, консервативная революция направлена не на построение нового порядка, но на восстановление некого порядка прошлого. Именно в данном смысле консервативная установка обнаруживается в работе Греле, и более того, оказывается доведенной им до своей крайней степени, так что она выводится из плоскости мирской идеологии (именно поэтому сам Греле не называет свой проект ни нацеленным на «возврат» к определенному состоянию, ни вообще консервативным [1, с. 19]).

В своем пафосе «бунта против мира» эта установка Греле восходит к работам Лардро и Жамбе, ядро критики которых составляет «подобие» (le semblant), неизменно производимое всякой революцией — в критической интерпретации Алена Бадью, «Лардро и Жамбе… постулируют, что революция есть попросту ничто, если не выступает инстанцией абсолютной свободы, исчезновением всякого господства… Любое предприятие, которое, будучи ближе всего к восстанию, на самом деле восстанавливает новое господство, даже и особенно если провозглашает себя революцией, есть специфическая форма, которую принимает мир господина, подвергаясь испытанию миром бунтаря» [5]. Тем самым, революция (la revolution) как бы сначала мобилизует сверхъестественный освободительный потенциал восстания (le revolte, также «бунт»), а затем подавляет его, вписывая в логику построения новых институтов власти и господства. Потому ставкой Лардро и Жамбе оказывается индивидуальное восстание, восстание одиночки, который не связан, в том числе, цепями философского теоретизирования, поскольку именно оно в конечном счете оказывается одним из механизмов подобия: «Никакая современная революция не совершается без философии. Философия присутствует в умах ее участников (они же — будущие жертвы революции) как мечта, надежда и упование. Философия присутствует в умах ее вождей и организаторов как план и программа» [6, с. 213] — план и программа по установлению нового господства. Подлинная цель одинокого бунтовщика — «восстание, которое бы не было подобием» [7, с. 88].

Проектом такого восстания, одиночного бунта, является «Теория одиночного мореплавателя». Данный текст обрисовывает автобиографические подробности жизни автора, последнее десятилетие живущего на своей парусной лодке, находясь в постоянном плавании, практически без выхода на сушу, и, вместе с этим, теоретизирует его личный проект: уход в море Греле противопоставляет «мирозатворению», диспозитиву мира, подавляющему «человеческое» в человеке. В данном регистре теория Греле постулируется в качестве формы «бунта против мира», который осуществляется посредством «радикализации». Радикализация понимается Греле как «вырывание людей из мира» [1, с. 18], поскольку именно «радикальность» обладает «человеческим, не иначе как человеческим» смыслом [1, с. 9], и только «радикальная мысль» способна «зрить вещи в их корне» [1, с. 10] (радикальность восходит к латинскому radix, «корень»). Таким образом, эта радикализация обладает не активной направленностью на производство радикальных, коренных изменений, как в привычном употреблении данного понятия, а напротив, направленностью ретроактивной — на обнаружение изначального «корня вещей», радикала, соответствующий гнозису — «строгому знанию дел человеческих» [1, с. 9]. Отказ Греле от радикализации,

производящей изменения, понятен — она представляется ему лишь очередным политическим действием, ничем иным, как формой производства мирозатворяющего подобия. «Восстание, которое бы не было подобием» может восходить лишь к «строгому гнозису» — некому внемирскому началу вещей, — и оно, согласно Греле, может быть обнаружено как анте-мирское, до-мирское, предшествующее миру. Местом обнаружения этого анте-мирского (антифилософия, согласно Греле, возвращает должное внимание месту, топосу, поскольку оно может служить локализацией восстания против мира [1, с. 36–38]) для Греле становится Бретань — его родина, где в безлюдном море, окруженном скалистыми берегами, на краю света (в терминах Греле: «финистер») обнаруживается некая предшествующая миру стихия. Это место, находящееся в мире, но при этом не затронутое мирозатворением: оно проходит по кромке мира, «в своем противостоянии [оно] вплотную к миру прилегает: оно приходит заранее, антецедентно; оно анте-мир» [1, с. 28]. Таким образом, свою главную проблему — как спастись от мира при условии, что от/из мира нет выхода? — Греле решает, постулируя уход в особое пространство, где силы мирозатворения ослабевают, где возможно соприкоснуться с подлинно человеческим гнозисом. Именно поэтому гнозис или радикал Бретани Греле называет «гнозисом без спасения» [1, с. 64]: ведь вместо прямого действия он предполагает ретроактивное движение «к корням», к до-мирскому состоянию. В этом смысле проект Греле оказывается как бы перевернутым гностицизмом: если древний гностицизм был направлен против материального мира и пытался обрести спасение от него посредством некого духовного знания, то материалистический гностицизм Греле направлен против мира духовного или интеллектуального, против того, что он прямо именует «спиритуализмом», и находит спасение от этого мира в материальном гнозисе места.

Понятый таким образом, проект Греле оказывается примером типичного затруднения современной политики истины — как пишет Антон Сюткин, «история XX века учит нас, что и силовое воплощение утопии в реальность, и отказ от такого воплощения одинаково приводят к катастрофическим последствиям» [8, с. 69]. В этих условиях антиполитика Греле предлагает отказ от политического действия, от спасения, и даже, в конечном счете, от высказывания — ведь одиночный мореплаватель, чья «меланхолия обрекает его на радикальность» [1, с. 18], так или иначе пребывает в «режиме едва удерживаемого мутизма» [1, с. 22]. Такая консервативная установка, предлагающая в качестве бунта против мира уход в место, где действие мирского диспозитива ослабевает, кажется весьма бесперспективной. Может ли революционная политика истины процесс не мыслиттся как мирозатворяющая, производящая подобие? Можно ли мыслить подлинное спасение от мира в условиях невозможности от мира уйти? Поиск положительного ответа на эти вопросы может быть продолжен по альтернативным путям, таким как рецепция христианского наследия — к примеру, как она предпринимается Джорджо Агамбеном. Проблематика Агамбена сходна с Греле: он также размышляет о мирозатворении (диспозитиве), также наделяет мессианической ролью «остаток». Однако пребывание «в миру, но не от мира» Агамбен мыслит главным образом в темпоральном ключе — через концепт мессианического времени [9], в то время как Греле, делая ставку на место, а не на время, приходит к «гнозису без спасения» и его путь восстания, таким образом, оказывается заключен в консервативную установку.

Литература

1. Греле Ж. Теория одиночного мореплавателя / Пер. с фр. А. Морозова. М.: Ад Маргинем Пресс; Пермь: Hyle Press, 2025. 120 с.
2. Vincent J.-P. Qu’est-ce que le conservatisme? Paris: Les Belles lettres, 2017. 268 p.
3. Scruton R. Réformer pour conserver. Paris: Albin Michel, 2018. 234 p.
4. Дугин А. Г. Консерватизм как явление: возможна ли его общая теория? // Философия права. 2009. № 4. С. 4–16.

5. Бадью А. Ангел пролетел (о Кристиане Жамбе и Ги Лардро) / Пер. с фр. А. Морозова // Spacemorgue [Электронный ресурс]. URL: https://spacemorgue.com/angel (дата обращения: 8.10.2025).
6. Пятигорский А. М. Философия на развалинах революции. Беседа о книге Кристиана Жамбе и Ги Лардро «Мир» // Континент. 1980. № 23. С. 213–234.
7. Lardreau G., Jambet C. L'Ange. Ontologie de la révolution I. Paris: Grasset, 1976. 240 p.
8. Сюткин А., Серебряков А. Трещина в Абсолюте: спор об утопии в критической теории // Логос. 2024. № 6 (34). С. 67–112.
9. Агамбен Дж. Оставшееся время. Комментарий к Посланию к Римлянам / Пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 224 с.

Чужая философия. Овнешнение негативности как ключевой жест современной философии

Либерман С.А.
кандидат философских наук
доцент кафедры социальной философии
Казанского (Приволжского) федерального университета
E-mail: samsonliberman@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена анализу ключевого философского жеста, определяющего современную философию конца XX – начала XXI века, — овнешнению негативности. В отличие от «имманентизации» или «обуздания» негативного, характерных для модерна и постмодерна, этот жест выражает стремление мыслить неданное, отсутствующее и внешнее как позитивную возможность. Именно в этом жесте, по мысли автора, заключается ключ к пониманию тенденции выхода философии за собственные границы — в «анти-» и «не-философии», а также в попытках мыслить через нечеловеческое, чуждое и внешнее/ Особое внимание уделяется феномену философского нарциссизма, понимаемого как открытость встрече с Другим и готовность мыслить через чужой взгляд — от Деррида до современных проектов «каннибальской метафизики» и «растительного мышления». Философский нарциссизм наряду с параноидальной озабоченностью Внешним спекулятивного реализма рассматриваются как две формы одного жеста овнешнения негативного.

Заявленный переход к жесту овнешнения негативности автор предлагает рассматривать как реакцию на распространение цифровых платформ, которые с одной стороны навязывают своим пользователям тотальную прозрачность и стремление контролировать свой внешний образ, с другой – претендуют на контроль над пользовательским вниманием в стремлении увеличить экранное время.

Таким образом, оба рассматриваемые проявления овнешнения негативности – философский нарциссизм и завороженность Внешним – понимаются как формы философской рефлексии новых форм эксплуатации современного платформенного капитализма

Ключевые слова: негативность, нарциссизм, не-данное, Другой, современная философия, Чужой

Someone else's philosophy.
Externalization of negativity as a key gesture of modern philosophy

Liberman S.A.
Kazan (Volga Region) Federal University

Abstract: Article is dedicated to the analysis of a key philosophical concept that defines modern philosophy of the late 20th and early 21st centuries – the elimination of negativity. This concept, in contrast to the "immanentization" or "curbing" of the negative that is characteristic of modern and postmodern thought, expresses the desire to consider the unfinished, absent, and external as positive possibilities. According to the author, this concept is crucial to understanding the trend in philosophy towards transcending its own boundaries, as seen in "anti-" and "non-philosophical" approaches, as well as attempts to think about the inhuman, foreign, and external.

Special attention is given to the phenomenon of philosophical narcissism, which is understood as an openness to encountering others and a willingness to consider another person's perspective, from Derrida's work to contemporary projects of "cannibalistic metaphysics" and "vegetative thinking." Philosophical narcissism, alongside paranoid fascination with the outside (speculative realism), is seen as two forms of the same gesture of externalizing negativity.

The author proposes considering the declared shift to a gesture of eliminating negativity as a response to the proliferation of digital platforms. These platforms, on the one hand, demand total transparency and control over their users' external image, while on the other, they strive to control users' attention in order to increase screen time.

Thus, both manifestations of the externalization of negativity - philosophical narcissism and fascination with the outside - are understood as forms of philosophical reflection on the new forms of exploitation in modern platform capitalism.

Keywords: negativity, narcissism, not-given, Other, modern philosophy, Alien

Основная наша гипотеза состоит в предположении некоторого общего «жеста», объединяющего современную философию (90-ые годы XX века и начало XXI) и отделяющего ее от предшествующей традиции (вторая половина XX). Очевидно, эта граница не может быть проведена просто формально-хронологически, тем более что термин «современная философия» часто используется для маркировки не только XX века целиком, но и второй половины XIX. Именно поэтому поиск некоторого «сущностного» основания подобного разделения и представляется нам важным.

Существует устойчивая традиция связывать представление о современности и современном с особым отношением к негативности, которое Диана Гаспарян называет «имманентизацией негативности» [1, с. 27], а Борис Капустин – «обузданием негативности» [2]. Исследование Капустина интересно нам попыткой выделить две различные негативные логики современности – логику модернизации и логику капитала. В первом случае негативность понимается как некоторая проективность и субъектность, способность действовать вопреки существующему, но с опорой на предполагаемое будущее; во втором – обезличивание вещей в процессе коммодификации и кодификации окружающего, некоторое «вытеснение» Реального и «забвение» Бытия [2, 137]. В наши задачи не входит подробный анализ или соотнесение друг с другом исследовательских проектов негативности Гаспарян и Капустина, но мы предлагаем выделить «третий» тип отношения к негативному, отличающий нашу с вами современность от современности XIX века и современности второй половины XX. Это третье отношение к негативному мы предлагаем называть «овнешнением», когда абсолют понимается не как тотально «сбывающийся» в этом посюстороннем мире через историю (имманентистский проект), и не как искусственный произведенный знак (критический проект), но как отсутствующий, недоступный или невозможный.

Нетрудно заметить в этой логике некоторое реактивное или даже реакционное начало, сближающее ее с вполне консервативными философскими проектами вроде проекта Мартина Хайдеггера, которого интересовали не столько механизмы производства и кодификации реальности, сколько то, что вытесняется и забывается в этом процессе, некоторый «некалькулируемый» остаток подлинного. Жан Лиотар в тексте «Хайдеггер и евреи» проводит некоторую перепись и учет подобных философских интуиций «некалькулируемого остатка», в который кроме собственно «Бытия» Хайдеггера попадает «Забытое» иудаизма, «Возвышенное» Канта, «Первичное вытеснение» Фрейда [3, с.14-16]. Однако отцом «овнешнения негативности» нужно считать Алена Бадью, который предложил интерпретировать эту гносеологическую «нехватку», «несхваченность» Реального, как онтологический «избыток». Примечательно, что эта формулировка из текста о Лакане и анти-философии [4].

В отличие от French theory, того, что многие называют установкой постмодерна, здесь речь идет не о тотальности и неразличимости потоков (материи, знаков, времени), и не о невозможности зафиксировать нечто статичное, но о позитивной возможности утверждать что-то о «не-данном». Такие разные философские проекты Ларюэля, Мейясу, Харрауэй, Хуэя можно объединить одним жестом «овнешнения» негативности, когда абсолют понимается как не-данный, однако постулируется возможность и необходимость говорить об этой не-данности позитивно.

На наш взгляд именно из этого жеста следует стремление ограничить экспансию философии, поскольку последняя понимается как наука или мышление слишком посюстороннее и «человеческое, слишком человеческое».

Однако сосредоточить наше внимание мы бы хотели не столько на спекулятивном реализме, сколько на проектах, которым свойственен философский нарциссизм. Под последним мы имеем в виду особую установку, согласно которой истоком философствования является не рефлексивный декартовский жест схватывания себя как мыслящего субъекта, но момент встречи с другим или даже чужим. Нам кажется довольно показательным рассуждение Жака Деррида о встрече с котом и стыдом перед животным за собственную наготу. В ней обнаруживается нарциссическая попытка самообъективации, превращения себя в предмет чужого взгляда.

Существует определенная тенденция в развитии философии, связанная с именами Харрауэй, Иглтона, Вивейруша де Кастру, Цзин, Чакрабарти, Мардера и многих других, в которой утверждается особая антропологическая установка, требующая «обмена перспективами» или напрямую заимствования чужого взгляда, заимствования канибальской метафизики, философии растений и проч. Философски разворачивая одну и ту же максиму «чтобы понять Х, надо думать как Х» на разном материале, они формулируют очень схожую методологическую философскую установку. Читая про китайскую космотехнику, каннибальскую метафизику и мышление растений, неизбежно удивляешься схожести извлекаемых из такого разного материала методических рекомендаций. Во всех случаях речь идет об особом внимании к внешнему, которое, правда, понимается не как Планета, Катастрофа или Событие, но как встреча с Другим. Открытость встрече, открытость становлению другим, отказ от страха потери собственной идентичности, внимание к чужому взгляду – вот что отличает философский нарциссизм.

Интересен в этом отношении текст «Апология Нарцисса» Бориса Гройса, который позволяет связать такой тип рассуждения с распространением цифровых платформ. Современные практики постоянного надзора стали очевидными, каждое наше действие - покупка, высказывание, перемещение в транспорте – фиксируется, обрабатывается и используется для извлечения прибыли и укрепления власти над нами. В этом ситуации тотальной прозрачности нарциссическое внимание к собственному образу, к тому, как нас видят другие, становится некоторым защитным механизмом [5, с. 22]. Каждый сегодня озабочен если не своим внешним видом, то тем, какие сигналы он посылает окружающим – «как бы не сказать лишнего на лекции».

Философский же нарциссизм можно представить своеобразной инверсией нашего повседневного нарциссизма, который описывает Гройс. Это попытка отрефлексировать метафизические и философские основания направленного на нас взгляда. Равно как и параноидальную озабоченность «Внешним» Мейясу и (или) «Ужасным» Такера можно объяснять попытками отрефлексировать собственную завороженность и поглощенность наблюдаемым, возникающую в процессе взаимодействия с современными платформами, которые эксплуатируют не столько наше либидо и желания, сколько внимание как таковую, сколько управляют нашим взглядом как таковым.

Таким образом, мы склонны утверждать, что обе эти тенденции (философский нарциссизм, параноидальная озабоченность Внешним) несут в себе один и тот же философский «жест» овнешнения негативного. И этот жест объединяет и роднит их друг с другом сильнее, чем с предшествующим «типом современности», который основан на логике имманентизации негативности. И именно в этом жесте можно видеть причину тенденции ограничения экспансии философии, проявляющуюся в стремлении выйти за ее пределы через различного рода приставки «анти», «не» и проч. А в случае с философским нарциссизмом мы имеем дело не столько с приставками, но с указанием на чуждость и принадлежность («каннибальская метафизика» [6], «растительное мышление» [7], «философия животных» [8] и т.п.) философии.

Литература

1. Гаспарян Д.Э. Социальность как негативность / Д.Э. Гаспарян. М.: КДУ, 2007. 256 с.
2. Капустин Б.Г. Обуздание негативного. Критика современности / Б.Г. Капустин. Ереван: Fortis Press, 2024. 176 с.
3. Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи» / Пер. с франц., послесл. и прим. В.Е. Лапицкого. СПб.: Аксиома, 2001. 187 с.
4. Бадью А. О Лакане и антифилософии / пер. с фр. Н. Архипова [Электронный ресурс]. URL: (https://syg.ma/@nikita-archipov/alien-badiu-o-lakanie-i-antifilosofii. (дата обращения 15.10.2025)
5. Гройс Б. Апология Нарцисса / пер. с англ. А. Фоменко. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. 112 с.
6. Вивейруш де Кастру Э. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии / пер. с фр. Д. Кралечкина – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 200 с.
7. Мардер М. Растительное мышление. Философия вегетативной жизни / пер. с англ. Д. Шалагинова Москва: Ад Маргинем Пресс, 2024. 240 с.
8. Тимофеева О. История животных. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 208 с.

Границы философии и субъект меланхолии

Капельчук К.А.
Университет ИТМО, ассистент
E-mail: kkapelchuk@itmo.ru

Аннотация: Доклад строится вокруг тезиса о том, что попытки очертить границы философии и сделать шаг за её пределы неизбежно разворачивается в рамках самой философской практики, пусть и предельно широко понятой.

Тем не менее несмотря на то, что философия, как кажется, способна если не поглотить, то соблазнить любой критический дискурс, делающий её своим предметом, нельзя не признать существования таких территорий, которые в «нормальном» состоянии вполне могут быть не заражены рефлексией философского характера (по крайней мере, пока в силу каких-либо причин не

превратятся в «кризисные регионы»). Именно в этих областях локализуются основания «антифилософских» проектов: медицина, политика, теология. Гипотеза состоит в том, что скепсис и дистанцирование в отношении философии здесь вызывает не столько философский догматизм, сколько то, что объединяет образ философа и меланхолика: верность собственным «симптомам» (для медицины), неспособность к действию (для политики), невозможность обладать непроблематичным знанием (для теологии). То, каким образом философ отвечает на подобное сближение, будет рассмотрено на примере рассуждений о меланхолии Славоя Жижека.

Ключевые слова: меланхолия, философия, антифилософия, теология, политика, психоанализ, Жижек

The Boundaries of Philosophy and the Subject of Melancholy

Kapelchuk K.A.
ITMO University

Abstract: The paper revolves around the thesis that any attempt to delineate the boundaries of philosophy and to take a step beyond them inevitably unfolds within the framework of philosophical practice itself – albeit understood in its broadest sense.

Nevertheless, although philosophy seems capable, if not of absorbing, then at least of seducing any critical discourse that takes it as its object, one cannot deny the existence of certain territories that, in their "normal" state, may well remain uninfected by philosophical reflection (at least until they, for one reason or another, turn into "crisis regions"). It is precisely within these areas that the foundations of "anti-philosophical" projects are localized: medicine, politics, and theology. The hypothesis is that skepticism and distancing from philosophy in these fields arise not so much from philosophical dogmatism as from what unites the figures of the philosopher and the melancholic: fidelity to one's own "symptoms" (in the case of medicine), incapacity for action (in the case of politics), and the impossibility of possessing unproblematic knowledge (in the case of theology). The way in which philosophy responds to such an alignment will be examined through Slavoj Žižek's reflections on melancholy.

Keywords: melancholy, philosophy, anti-philosophy, theology, politics, psychoanalysis, Žižek

Разговор об определённости философского занятия, его сущности и границах, имеет долгую историю.

Если первым философом и принято называть одного из семи мудрецов, Фалеса, то лишь, по-видимому, с подачи Аристотеля, имевшего на этот вопрос свой особый взгляд, ведь при жизни милетца такого слова в древнегреческом языке попросту не существовало. О возникновении же самого понятия «философ» с его противопоставлением «мудрецу», каким может быть признан лишь совершенный бог, антиковедами до сих пор ведутся дискуссии: так, с принятой ещё в античной доксографии версией о пифагорейском истоке термина, спорит гипотеза его платонического происхождения. В. Буркерт [1] выдвигает обоснованное предположение о том, что до платоновской трактовки неологизм «философия» вовсе не претендовал на описание какого-то нового феномена, и не противопоставлялся мудрости, а лишь подчёркивал приверженность мудреца своему занятию: как музыкант может и должен любить музыку, чтобы ею заниматься, так мудрец одновременно является также и любителем мудрости, от которой не отделён, но с которой поддерживает неразрывную связь. Совсем иную трактовку предлагает Платон с его пониманием любви как нехватки. Если любовь – это стремление к тому, чего нет, то философ оказывается тем, кто находится в вечном движении к истине, но признать себя обладающим ею, оставаясь философом, он не может.

Мудрость же оказывается скомпрометированной, так как динамически она тождественна невежеству (состояние покоя) и изнутри не верифицируема. В дальнейшем на первый план выдвигается то один, то другой смысл термина, и эта двойственность – связь с мудростью, с одной стороны, и стремление к ней, как недостигнутой и, возможно, недостижимой, с другой, – задаёт определённый ритм интеллектуальной практике, называемой философией: это и полагание границы, и выход за неё. С одной стороны, это негативный жест, выбивание почвы из-под ног, проблематизация предельных оснований, разоблачение мнения, мифа, здравого смысла, «само собой разумеющегося» и т. д., а, с другой, утверждение, система или проект по установлению этих оснований, ни одно из которых, в свою очередь, не может обойтись без дальнейшей критики, чтобы остаться в контексте развития философии, неотличимого, в этом плане, от её же саморазрушения.

Гегелевское описание философского знания как системы, по сути, воспроизводит этот ритмический рисунок: «опровержение [философского принципа] было бы, собственно говоря, его, принципа, развитием и тем самым восполнением его недостаточности – если оно не сделает ошибку в том отношении, что обратит внимание только на негативную сторону своих действий и не будет сознавать своего продвижения и результата также с их положительной стороны. – И наоборот, в собственном смысле положительное проведение начала есть в то же время и в такой же мере негативное отношение к нему, а именно к его односторонней форме лишь непосредственного бытия или цели» [2, с. 18].

Как возможно завершение подобной системы, и каким образом должно быть организовано абсолютное знание: как «апокалиптический коллектор, вбирающий в себя любое возможное описание» [3], или же как «крах любых попыток покончить с антагонизмами» [4, с. 14]? И какой, в этом смысле, может быть «теория философии», очерчивающая её границы? Каким бы ни был ответ, на мой взгляд, он так или иначе будет соответствовать изначальному двойственному смыслу философии, и разговор в этом контексте о мета- и нефилософии имеет смысл лишь в ограниченном контексте, где философия отождествляется с конкретным набором теорий, способов рассуждения и жестов. Если говорить в этой связи конкретно о проекте Ларюэля, то, возможно, его теория и наука, о которой он рассуждает, действительно принципиальным образом отличаются от существующей философии, в которой, с его точки зрения, слишком глубоко укоренился метафизический фетишизм [5], но то обстоятельство, что эта интеллектуальная практика сопоставляется с философией и обсуждает специфику и ограничения последней, вовлекает её в разбор самого что ни на есть философского вопроса о том, что такое философия. А значит, несмотря на отрицание, интерпелляция философией уже случилась.

С другой стороны, можно видеть самые разные попытки обозначить дистанцию по отношению к философии для создания не её теории, а её альтернативы: сделать шаг за пределы философии не для того, чтобы охватить взглядом, а чтобы отойти в сторону или убежать, сломя голову (ацефал в данном случае вполне может претендовать на роль концептуального персонажа). Проекты антифилософии крайне разнообразны. Здесь можно вспомнить не только Ж.Лакана, формулирующего свою антифилософскую позиции напрямую [6], но и целый ряд имён, среди которых десяток перечисленных Б.Гройсом в его «Введении в антифилософию» – от Шестова и Беньямина до Хайдеггера и Маклюэна [7]. Сближение их в крайней степени проблематично, но зачастую речь идёт о подозрительности по отношению к дискурсу философии как метапозиции, достигаемой ценой, как называет это Гройс, «секулярной метанойи». Впрочем, если присмотреться, то можно заметить, что расхождение философии и антифилософии является не столь уж бесповоротным. В случае тех мыслителей и теоретиков, о которых говорит Гройс, термин «антифилософ», как правило, не является самоназванием, это определённая интерпретация автора книги. Да и сам он в конце концов признаёт, что «антифилософия – это философия в условиях демократического равенства» [8, с. 6].

Что же касается Лакана, который на своей антифилософии настаивает, то здесь можно условно выделить два крайних подхода. А.Бадью признаёт Лакана антифилософом, но сам как философ пытается ответить на критику не столько ответной критикой, сколько шагом

навстречу, ставя вопрос следующим образом: «Какие уроки, мы, философы, должны извлечь из лакановской критики философии?» Ответ на этот вопрос, как и у Гройса имеет политическую окраску: Бадью, в частности, предлагает двигаться «путем радикальной демократии истины» [9]. Противоположный подход реализует Л.Кьеза, который утверждает, что лаканавская «антифилософия» снимается самим же Лаканом и переходит в философию: «Различными способами устанавливая антифилософские отношения с антифилософией, Лакан тем самым диалектически “закрывает” период антифилософии и “открывает” нечто беспрецедентное для философии. Или, лучше сказать, его антифилософское отношение к антифилософии выльется в анти-антифилософию, философскую антифилософию, которая возобновит, оживит и, наконец, поставит на центральное место антифилософскую философию (а именно философию, выступающую против Бытия-Единого), которая в истории философии по большей части оставалась латентной или маргинализированной» [10, с. 137].

Дело выглядит так, будто бы философия оказывается критикуема, прежде всего, за свои тесные отношения с Бытием-Единым и привилегию доступа к измерению универсальности, которую она получает в результате этой незаконной, с точки зрения критиков, связи. Как описывает позицию Лакана Бадью: «в конечном счете философская махинация, которая является безумием, восходит к тому, чтобы элиминировать наслаждение другого в пользу метаязыка. Отталкиваясь от этого, философ может претендовать на высказывание тотальной истины» [9]. Но признать это – означает выразить лишь половину правды. Ведь, как было сказано ещё в начале, философия не может полностью отождествиться с мудростью, и её метапозиция также может, а значит, должна быть подвергнута отрицанию. Но можно ли задержаться на этом отрицании? И тут приоткрывается новая проблема, на которую вскользь указывают Бадью, комментирующий Лакана, и Й.Регев, комментирующий Гройса [11] – проблема меланхолии.

Как говорит Бадью, на смену «философам-философам, настоящим догматичным параноикам, которые верят, что нашли самодостаточный метаязык», приходят «философы-антифилософы, критичные меланхолики, которые изобличают метаязык и критикуют догматичное мошенничество. Но они же, продолжая отбрасывать наслаждение, восстанавливают – на практическом, этическом или эстетическом уровне – нечто, что они элиминировали на уровне теории» [9]. Регев в своём комментарии к Гройсу и анализе антифилософского движения идёт ещё дальше, и за критикой метаязыка распознаёт в антифилософии страсть к повторению и «искусство иметь дело с навязывающим себя в его непосредственной данности <…> Однако отчего эта захваченность уже совершившимся носит ярко выраженный меланхолический характер?» [11, с. 501]. Оба автора находят способ обернуть эту меланхолию в позитивное русло и направить странное философское знание по пути, на котором становится возможным включиться в историю человеческого мышления и усилить его (Бадью), или же каждый раз оказываться в лучшем из возможных миров (Регев). Однако загадка состоит в том, что, несмотря на эти прекрасные решения, импульс антифилософии как отрицания философии в любом её изводе, в том числе самокритическом, всё же не ослабевает.

Несмотря на то, что философия, как кажется, способна если не поглотить, то соблазнить любой критический дискурс, делающий её своим предметом, всё же нельзя не признать существования таких территорий, которые в «нормальном» состоянии вполне могут быть не затронуты и не заражены рефлексией философского характера, по крайней мере, пока в силу каких-либо причин не превратятся в «кризисные регионы». Именно в этих областях локализуются основания «антифилософских» проектов, среди них – медицина (включая врачевание души), политика, теология. И можно заметить, что скепсис в отношении философии, когда мы смотрим на неё из такой «внефилософской» перспективы, может быть вызван не только и даже не столько философским догматизмом, сколько именно тем, что объединяет образ философа и меланхолика: верность собственным «симптомам» (для медицины), неспособность к действию (для политики), невозможность обладать непроблематичным знанием (для теологии). То, каким образом философ отвечает на подобное

подозрение (не столько критику или попытку вырваться за её пределы, сколько дистанцирование от неё), будет рассмотрено на примере рассуждений Славоя Жижека о меланхолии в его статье 2000 года «Меланхолия и акт» [12].

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта №24-28-00883, «Социально-философская рецепция христианства в контексте постсекулярной культуры второй половины XX - начала XXI веков».

Литература

1. Буркерт В. Платон или Пифагор? О происхождении слова «философия» // Философская мысль. 2017. №3. С. 36-51.
2. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000.
3. Грякалов Н.А. Презентация книги Валерия Савчука «Медиафилософия. Приступ реальности» СПБ., Изд-во РХГА, 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://mediaphilosophy.ru/events/pristup_realnosti_presentaciya/ (дата обращения 15.10.2025)
4. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999.
5. Derrida J., Laruelle F. Controverse sur la possibilité d'une science de la philosophie // La Décision Philosophique. April 1988. № 5. P. 62–76.
6. Lacan J. (1975/2001). Peut-être à Vincennes... // Autres écrits. Paris: Seuil. P. 314-315.
7. Гройс Б. Введение в антифилософию. М.: Ад Маргинем Пресс, 2021.
8. Гройс Б. Антифилософия, или Философские реди-мейды // Логос. 2013. №6 [96]. С. 1-6.
9. Бадью А. Филиация и сексуация философии. [Электронный ресурс]. URL: https://syg.ma/@nikita-archipov/alien-badiu-o-lakanie-iantifilosofii (дата обращения 15.10.2025)
10. Кьеза Л. Бадью/Лакан-Бадью. По ту сторону антифилософии //Лаканалия. 2024. №46. С. 132-157.
11. Регев Й. Борис Гройс. Введение в антифилософию // Историко-философский ежегодник. 2022. т. 37. С. 497-502.
12. Žižek S. Melancholy and the Act // Critical Inquiry. Summer 2000. P. 657-681.

Миметическая теория как философская маргиналия

Кондакова А. С.
Европейский университет в Санкт-Петербурге, аспирантка
E-mail: akondakova@eu.spb.ru

Настоящая статья представляет собой попытку рефлексии места миметической теории Рене Жирара в философском дискурсе, исходя из ее генетических особенностей, а также мимесиса как эпистемологической оптики. Еще Платоном мимесис противопоставляется философскому поиску, но само устройство субъекта, осваивающего мир через категории сходства и вписывающего различное относительного сходного, не лишено миметической интенции. Примечательно, что изначально позиционирующая себя как не-философская, миметическая теория Жирара формировалась из литературоведения и как инструмент анализа литературы интердисциплинарным образом, привлекая материалы этнологии, этологии, психоанализа, по мере своего развития все больше заступала на поле философии и не только обращалась к ее понятийному аппарату,

но завершилась обращением к миметическому Абсолюту. В связи с этим предлагается рассмотреть философские контуры миметической теории, что позволит высветить противоречивые моменты в ее целеполагании и решении поставленных ею вопросов.

Ключевые слова: мимесис, желание, Другой, миметическая теория, метафизика, Рене Жирар

Mimetic theory as a philosophical marginality

Kondakova A. S.
European University in St. Petersburg

This article is an attempt to examine the place of René Girard's mimetic theory in philosophical discourse, based on its genetic characteristics and mimesis as an epistemological perspective. Even Plato contrasted mimesis with the philosophical search, yet the very structure of a subject who masters the world through categories of similarity and writes about various relative similarities is not devoid of mimetic intention. It is worth noting that Girard's mimetic theory, initially conceived as a non-philosophical approach, emerged from literary criticism, serving as a tool for interdisciplinary analysis of literature, drawing upon materials from ethnology, ethology, and psychoanalysis. Over time, it gradually expanded into the realm of philosophy, not only incorporating its conceptual framework but ultimately culminating in an appeal to the concept of the mimetic absolute. In this context, it is suggested to delve into the philosophical dimensions of Girard's theory, shedding light on the inherent contradictions in its objectives and the resolution of the questions it poses.

Keywords: mimesis, desire, Other, mimetic theory, metaphisics, René Girard

Миметическая теория Рене Жирара определенно переживает сейчас свои лучшие времена. Об этом свидетельствует не только активный интерес широкой публики к теории желания и насилия Жирара, но и многообразие областей ее приложения в современных исследованиях: от геополитики [1] и экономики [2; 3] до аналитики современных медиа [4] и социологии музыки [5]. Такая экстенсивность применения вполне понятна — миметическая теория в сухом остатке обладает универсальным объяснительным потенциалом, который успешно привлекается за пределами герменевтики, прежде использовавшейся Жираром для философско-антропологических задач, но и сама себе миметическая теория находит объяснение и оправдание в междисциплинарном поле (его расчерчивают этология, этнология, психология, религиоведение, богословие и литературоведение), которое образует ее понятийный аппарат и аргументационную базу. Однако удивительным образом миметическая теория будто бы скрывает свое сродство с философией, хотя и играет на ее поле. Так, Жирар неоднократно подчеркивает не-философский характер своей работы и отсутствие в ней философского плана, и настойчивее всего оно им артикулируется как в принципиальном различии между миметической теорией желания и концепцией борьбы за признание как условия становления самосознания [6, с. 18, 72, 311, 332, 373-374], так и в целом в критике философии и философов за близорукость в отношении мимесиса [Там же, с. 17-18].

Тем не менее развитие миметической теории, которое она совершает от концепции желания, зачатой в пространстве литературы, и концепции насилия через призму этнологии, антропологии и религиозной мысли к эсхатологическому переосмыслению миметической теории, находит свой предел в точке, где Жирар от диагностики проблемы субъективного насилия предпринимает попытку перехода к ее разрешению. С этого момента Жирар не просто действует в поле философии, но действует философски. Если объяснение миметического желания (и вызванного им насилия) прежде содержалось в человеческой природе, а его механизм хотя и был артикулирован с позиций антропологии, этологии и религии, но уже

включал в себя метафизические структуры [Там же, с. 346-347], то разработка концепции спасения от насилия в свете его апокалиптических тенденций приобрела довольно отчетливые онтологические черты. Рассмотрим чуть пристальнее этот переход.

Концепция желания, обремененного насилием, имеет триангулярную форму: субъектом, мнящий свою сущностную неполноту, желает то, сам не знает что до тех пор, пока в его поле зрения не появляется некто, сообщающий ему о своей избыточности, выраженной в знании своего желания/ обладании неким желательным объектом, и тогда объект воображается субъектом инструментом закрытия лакуны и сближения с «самодостаточным» обладателем знания о желании/ объекта желания, поскольку тот обосновал самим собой его ценность, выступив, таким образом, для субъекта образцом. Однако для образца субъект также валидирует ценность его собственного желания и его объекта — если другой счел объект желанным, значит, и сам образец представляет ценность, а если же другой желает этот объект настолько, что готов состязаться за него, то тем желаннее для образца объект и ставка желания становится экзистенциальной. Так другой тоже становится образцом, и формируется миметический треугольник, где каждая вершина медиирует две другие [7, с. 32] и является предметом и целью коммуникации. Но треугольник всегда удвоен, и это удвоение начинается с расщепления исходного объекта желания, присвоенного обоими субъектами, но затем и они удваиваются, становясь миметическими двойниками друг друга. Отношения двойничества — это череда осцилляций между стремлением к асимметрии (выйти из борьбы победителем и обрести отличную от другого идентичность) и симметричными жестами, что и вызывает насилие, привлекаемое как инструмент установления различия между двойниками. Таким образом, мы имеем дело по сути с двумя треугольниками — реальным, характеризующимся симметрией, и наслоенным на него метафизическим, движимым различием как установлением истины субъекта и объекта. Так проявляется метафизическая компонента, о которой мы говорили выше. Но как происходит переход к онтологии? Описанная структура отношений герметична, а миметический порядок стремления к симметрии и тождеству не подразумевает разрыва, как и не предусматривает победы в соперничестве. Разгерметизация происходит за счет внедрения в эти отношения различия, обеспечиваемого трансцендентным миметическим Абсолютом — Христом. Только ему под силу «исправить» миметическое поведение, сконцентрировав на себе потоки желаний [8, с. 47], тем самым освобождая их от бремени насилия, освобождая от насилия и сам мимесис. Именно спасение последнего потребовало введения в миметическую теорию Абсолютного Образца как онтологического остова, в результате чего мимесис закрепил за собой статус универсального.

Таким образом мы можем проследить активность Жирара на полях философии на примере изменчивого положения мимесиса в его теории: там, где мимесис тождественен миметическому поведению, а сама миметическая структура горизонтальна и герметична, Жирар декларирует не-философский характер своей работы, в то же самое время апроприируя (конечно, миметически!) ее дискурсивное поле. И это выглядит весьма любопытно, если принять во внимание, что еще Платон, разделяя мимесис и миметическое поведение, отвергает мимесис как инструмент познания истины, т. к. тот связан с мифотворчеством (миф выстраивается путем отождествление человеческого и божественного, через изображение художественными средствами одного через другое) [9, с. 110], и потому уводит нас в область *видимости* сути вещей, где те обманчиво отождествляются с идеями, но при этом Платон находит пользу в подражании достойным образцам, хотя и не для всякого индивида. У Жирара мимесис также работает на миф, поддерживая его воспроизводство в ритуале [10], а миметичное поведение ввиду его апроприационного аспекта, собственно, и ведет к насилию, которое затем приводит к жертвоприношению. Притом Жирар на данном этапе строго не разграничивает созидательный и негативный мимесис: склонность к апроприации и миметическая слепота в отношении себе подобного, считает Жирар, неизбежно запускают насильственный механизм, даже если миметическая ситуация поначалу выглядит безобидным образом (например, процесс обучения — он тоже запросто может стать площадкой для соперничества, поскольку обучение затрагивает вопросы идентичности субъекта, при всем

различии между учеником и учителем дистанция между ними легко сокращается, так что «двойные послания» становятся триггером насилия [6, с. 339]).

Перемена места мимесиса случается в связи с разгерметизацией миметической триангулярной структуры: так, между мимесисом и миметическим поведением, прежде практически тождественными, возникает намек на различие, благодаря подведению под мимесис фигуры Христа как единственного и бесконфликтного образца, миметическое поведение человека становится оправданным, но только лишь в связке с *таким* образцом, тогда как миметическая коммуникация с тем, с кем подобие, а значит, и вероятность соперничества, слишком велики, не лишается печати насилия, а потому она должна быть ограничена. В конечном итоге мимесис определяется Жираром как атрибут спасения человека, которым Бог наделил человека, чтобы тот мог, подражая ему, исполнить Закон — «Мир между людьми» [8, с. 20-21], другими словами, мимесис становится проводником к Истине, когда он сопровождается немиметическим импульсом, но вместе с тем остается тождественен самому себе. В этой трансформации мимесиса происходит его рационализация [11, с. 34], призванная порвать с прошлым типом человеческого устройства и общежития. Однако, стоит отметить, что миметическое поведение на то и миметическое, что определяет субъекта через принадлежность к Другому, но различие между человеком и Богом кажется слишком значительным, чтобы миметически соотнести себя с ним полностью, притом устраняя миметические отношения человека с отныне иным Другим, неправильно миметичным.

Миметическая теория подвергала критике философию за слепоту к связи мимесиса и насилия, а религию — за то, что та скрывала имманентный человеку характер насилия, канализируя его сакральным образом в жертвоприношении, в то время как сама миметическая теория проделывает схожий путь от утверждения мимесиса в качестве побочного, но неотъемлемого фактора социализации и гоминизации, к универсализации мимесиса как основания человеческого бытия через связывание его с Абсолютом, то есть миметическим образом сама повторяет движение мифа к сакральному, но уже — от «демифологизации» к метафизике.

Литература

1. Farnetti R. Mimetic Politics: Dyadic Patterns in Global Politics, East Lansing: Michigan State University Press, 2015. xvi + 177 p.
2. Gronow J. Deciphering Markets and Money: A Sociological Analysis of Economic Institutions. Helsinki University Press, 2020. 203 p.
3. Ifeka C. “Violence, Market Forces & Militarisation in the Niger Delta.” Review of African Political Economy, vol. 31, no. 99, 2004, pp. 144–150.
4. Askonas J. “The New Control Society.” The New Atlantis, no. 79, 2025, pp. 28–65.
5. Sanga I. “Marimba and the Musical Figuring of Desire and Postcolonial National Identity in Edwin Semzaba’s Novel ‘Marimba Ya Majaliwa.’” International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. 46, no. 2, 2015, pp. 401–421.
6. Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. М.: ББИ, 2016. xiv + 518 с.
7. Жирар Р. Ложь романтизма и правда романа. М.: НЛО, 2019. 352 с.
8. Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего, как молния. М.: ББИ, 2015. xviii + 202 с.
9. Платон. Государство. М.: Академический проект, 2015. 398 с.
10. Жирар Р. Насилие и священное. М.: НЛО, 2010. 448 с.
11. Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001. 527 с.

О сближении аналитической метафилософии с наукой

Беляев Д. А.
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), магистрант второго года кафедры онтологии и теории познания факультета гуманитарных и социальных наук
E-mail: 1132249420@pfur.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу сближения аналитической метафилософии с наукой, выявлению её методологических и институциональных особенностей. Рассматривается вопрос прогресса в философии, на примере которого демонстрируются ключевые научные мотивы аналитической метафилософии. Особое внимание уделяется экспериментальной философии (X-Phi) и эмпирическим методам, включая опросы, корпусный анализ и цифровые инструменты, позволяющие проверять философские гипотезы и анализировать практику философов. Все перечисленные примеры показывают общую тенденцию: аналитическая метафилософия последовательно стремится придать философии научный характер, применяя проверяемые методы, воспроизводимые данные и формальные модели. Она формирует институциональный и методологический фундамент аналитической философии и нормативный идеал «научности».

Ключевые слова: аналитическая метафилософия, экспериментальная философия, прогресс в философии, эмпирические методы, философская практика, методология, натурализованная метафизика.

On the convergence of analytical metaphilosophy with science

Belyaev. D.A.
Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

Abstract: This article examines the convergence of analytic metaphilosophy with science, highlighting its methodological and institutional features. It addresses the question of progress in philosophy, illustrating the key scientific motivations within analytic metaphilosophy. Special attention is given to experimental philosophy (X-Phi) and empirical methods, including surveys, corpus analysis, and digital tools, which allow for testing philosophical hypotheses and analyzing philosophers' practices. The examples discussed demonstrate a general trend: analytic metaphilosophy consistently aims to endow philosophy with a scientific character, employing verifiable methods, reproducible data, and formal models. It establishes the institutional and methodological foundations of analytic philosophy and a normative ideal of "scientificity."

Keywords: analytic metaphilosophy, experimental philosophy, philosophical progress, empirical methods, philosophical practice, methodology, naturalized metaphysics.

За последние несколько десятков лет метафилософия прочно обосновалась в пантеоне легитимных философских областей. Эта дисциплина, по расхожему мнению, изучает различные интерпретации и аспекты одного вопроса: «Что такое философия?». Однако в последние годы в философской (и не только) академии на первый план вышли проблемы и дискуссии определенного толка и характера, а именно касающиеся аналитической метафилософии. Последнюю, в отличие от метафилософии вообще, отличает, как ясно следует из названия, корпус вопросов, обычно так или иначе атрибутированный аналитической традиции (эпистемология философии, её методы, прогресс, природа, взаимодействие с наукой и т.д.). В докладе будет предпринята попытка показать внутреннюю логику большинства

вопросов в аналитической метафилософии, характеризующуюся «научным» трендом в ней — его методологических мотивах, институциональных проявлениях.

Начнем с одного из самых популярных в аналитической метафилософии вопросов, который задаст тон дальнейшей дискуссии: вопрос о том, возможен (и есть ли) в философии прогресс. Он занимает особое место в метафилософии, потому что в нём пересекаются почти все ключевые темы этой области: метод, цель, истина и границы самой философии. Проблематику вопроса можно кратко резюмировать: если философия не прогрессирует, то какой смысл ей заниматься? А если прогресс всё-таки есть, по каким признакам это можно увидеть? Мнения по этому топику можно представить в виде нескольких теоретических позиций. Одна из них — оптимистическая: философия действительно продвигается (хотя не всегда равномерно по всем направлениям), и нужно скорее спросить не «есть ли прогресс?», а «почему он не больше?», как это формулирует Чалмерс в известном эссе [1, с. 29-30].

Пессимистическая позиция, с другой стороны, в вопросе о прогрессе утверждает, что философия не делает подлинного кумулятивного прогресса, то есть не накапливает знания. Сторонники этой точки зрения обращают внимание на то, что философские споры (о сознании, морали, свободе воли, истине, смысле жизни) остаются нерешёнными на протяжении веков, и философы продолжают возвращаться к тем же вопросам, лишь изменяя терминологию и контекст [2, с. 335].

Существует ещё великое множество альтернативных позиций, будь то ревизирующих понятие самого прогресса или контекст вопроса. Но так или иначе, сам вопрос о прогрессе в философии уже задаётся в терминах, унаследованных от науки. Накопление знаний, устранение ошибок, рост согласия и воспроизводимость результатов – все это является научным языком описания. Это показывает, что аналитическая метафилософия не просто анализирует философию как особую область, но пытается сделать её объектом теоретического контроля, подобного научному. Вопрос о прогрессе становится не просто предметом обсуждения, а симптомом научного самоосознания аналитической философии, её стремления быть строгой, проверяемой и рационально оправданной дисциплиной.

Одним из самых заметных проявлений научного поворота в аналитической метафилософии становится экспериментальная философия (X-Phi). Она возникает на рубеже 1990–2000-х годов как попытка сделать философские рассуждения эмпирически обоснованными и, следовательно, более научными. Экспериментальная философия — это исследование обыденных интуиций (folk epistemology) по поводу философских проблем с целью их дальнейшего сравнения с профессиональными интуициями философов по поводу этих же проблем. Исследование интуитивных представлений (или того, как семантика философских понятий реализуется в обыденной языковой практике) является центральной задачей X-Phi.

Классическая аналитическая философия предполагала, что философ способен выявлять структуру понятий и анализировать их «из кресла» (armchair), опираясь на собственные интуиции. Экспериментальная философия утверждает обратное: интуиции варьируются от культуры к культуре, от языка к языку, от человека к человеку, а значит, не могут служить универсальной основой аргументации. В знаменитых исследованиях Николса [3, с. 441] по проблеме свободной воли и моральной ответственности, а также в экспериментах Мачери [4, с. 10-11] по эпистемологическим интуициям было показано, что разные группы людей по-разному отвечают на одни и те же философские вопросы, что делает сомнительным представление о некой общей «философской интуиции». Постепенно X-Phi становится инструментом для проверки философских гипотез на эмпирических данных. Вместо того чтобы ограничиваться концептуальным анализом, экспериментальные философы собирают статистические данные, разрабатывают опросники и анализируют поведенческие реакции.

Таким образом, экспериментальная философия воплощает научный идеал проверки и воспроизводимости в самой сердцевине философской практики. Главный её тезис в том, наши интуиции ненадёжны, и чтобы понять философские понятия, нужно проверять их эмпирически — фактически превращает метафилософию в форму методологической

саморефлексии, близкой к науке о философии. На примере X-Phi мы можем видеть процесс превращения философствования в исследовательскую программу, структурно подобную научной: с гипотезами, выборками, экспериментами и репликацией.

Наряду с этим растёт интерес к эмпирическим методам вообще в аналитической метафилософии — попыткам исследовать не столько мир, сколько саму философскую практику с помощью эмпирических инструментов. Например, социология философии. Наиболее известный её пример — масштабное исследование, проведённое Дэвидом Чалмерсом и Дэвидом Бурджем на платформе PhilPapers, где было собрано более трёх тысяч ответов профессиональных философов по основным направлениям метафизики, эпистемологии и этики [5, с. 469]. Это позволило впервые количественно зафиксировать распределение философских позиций (например, реалистов и антиреалистов, физикалистов и дуалистов), а также показать внутреннюю структуру современного философского сообщества. Подобные попытки были предприняты и в России — например, исследование Московского центра исследования сознания (МЦИС) среди отечественных философов [6, с. 90].

К числу недавних примеров относится работа Моти Мирайхи, посвящённая эмпирическому анализу аргументов в аналитической философии. Исследователь использует методы корпусной лингвистики и контент-анализа, чтобы показать, что нет существенной разницы в количестве аргументов, используемых в текстах аналитической и континентальной философии [7, с. 678-679].

Таким образом, даже когда речь идёт не об экспериментальной философии в строгом смысле, аналитическая метафилософия активно осваивает эмпирические подходы: будь то опросы, корпусный анализ, нейронаучные данные или статистические методы.

Список нарративов, диагностирующих «поворот к науке» в аналитической метафилософии, можно успешно продолжать: в книге «Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized» Джеймс Лэдиман и Дон Росс предлагают радикальный подход к метафизике, утверждая, что она должна быть основана на результатах современной науки, а не на априорных интуициях философов. Авторы критикуют традиционную аналитическую метафизику за её оторванность от эмпирических данных и предлагают заменить её «натурализованной метафизикой», которая интегрирует научные теории в философские рассуждения [8, с. 36-44].

Чарльз Пенс и Грант Рэмси предлагают методологию цифровой философии науки, которая включает автоматизированный анализ философских текстов, обработку больших массивов данных и цифровые симуляции. Эти инструменты позволяют выявлять структурные паттерны аргументации, количественно изучать философские дискурсы и создавать реплицируемые модели философской практики [9, с. 937].

Поворот к практике в философии логики демонстрирует Бен Мартин в работе «The Philosophy of Logical Practice», где он исследует логическую деятельность не как абстрактный анализ понятий, а через реальные практики логиков: написание доказательств, решение задач и коллективное обсуждение [10, с. 275-279] Такой подход переносит философский анализ на уровень инструментальной и институциональной деятельности, приближая философию к научной дисциплине.

Все перечисленные выше примеры показывают одну общую тенденцию: аналитическая метафилософия последовательно стремится придать философии научный характер. Она не ограничивается рефлексией над философскими понятиями и практиками, но использует методы, инструменты и критерии, характерные для научного исследования: проверяемость гипотез, воспроизводимость результатов, количественные данные, формальные модели. В итоге аналитическая метафилософия во многом строит аналитическую философию институционально и методологически, формируя нормативный идеал «научности», к которому следует стремиться.

Литература

1. Chalmers D.J. Why Isn't There More Progress in Philosophy? // Philosophy. 2015. Vol. 90(1). P. 3-31
2. Dietrich E. There is no progress in philosophy // Essays in philosophy. 2011. Vol. 12(2). P. 330-345.
3. Weinberg J. M., Nichols S., & Stich S. (2001). Normativity and epistemic intuitions // Philosophical Topics. 2011. Vol. 29(1–2). P. 429–460
4. Machery E, Mallon R, Nichols S, Stich SP. Semantics, cross-cultural style // Cognition. 2004 Vol. 92(3). P. B1-B12.
5. Bourget D., Chalmers D.J. What do philosophers believe? // Philos. Stud. 2014. Vol. 170. P. 465–500.
6. Беседин А. П. и др. О чем думают российские философы? Результаты интернет-опроса // Вестник Московского университета. 2017. Серия 7. Философия, Т. 6. С. 84-116.
7. Mizrahi M., and Dickinson M. The analytic-continental divide in philosophical practice: An empirical study // Metaphilosophy. 2021. Vol. 52.P. 668–680.
8. Ladyman, J. et al, Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized (Oxford, 2007; online edn, Oxford Academic, 1 Sept. 2007). (дата обращения 1.10.2025)
9. Pence C.H., Ramsey G. How to Do Digital Philosophy of Science // Philosophy of Science. 2018. Vol. 85(5). P. 930-94
10. Martin B. The philosophy of logical practice // Metaphilosophy. 2022. Vol. 53. P. 267–283.

Философия с «приставками»: к вопросу архитектурной метафоры в описании философского знания

Король Е. А.
Европейский университет в Санкт-Петербурге,
Центр практической философии «Стасис»,
магистр 1 курса
E-mail: e.korol@eu.spb.ru

Аннотация: В статье ставится под сомнение эвристическая ценность архитектурной метафоры, доминирующей в европейской философской традиции при описании собственного генезиса и структуры. Автор прослеживает несколько нарративных сценариев вокруг архитектурной метафоры: от идеи фундаментального обоснования у Канта и онтологического «строительства» у Хайдеггера до концепции нескончаемого и принципиально незавершаемого проекта у Деррида. Центральной проблемой становится противоречие между претензией философии на прочное основание и ее реальной практикой перманентного достраивания дополнительных приставок и конструкций. Анализ показывает, что, несмотря на риторику возведения монументального «здания» разума, мысль в действительности обретает пристанище на периферии этого проекта: во вспомогательных конструкциях и бесконечных пристройках, которые и становятся ее подлинным, но лишенным фундаментальности жилищем.

Ключевые слова: метафора; здание философии; основание; декорация; деконструкция; ограничение; архитектоника знания; приставки.

Philosophy with ‘‘supplements’’: to the question of architectural metaphor in description of philosophical knowledge.

Korol E. A.
European University at Saint-Petersburg

Abstract: The article questions the heuristic value of architectural metaphor, which dominates the European philosophical tradition in describing its own genesis and structure. The author traces several narrative scenarios around an architectural metaphor: from the idea of a fundamental foundation by Kant and the ontological «construction» by Heidegger to the concept of a never-ending and fundamentally unfinished project by Derrida. The central problem becomes a contradiction between the claim of philosophy on a solid foundation and its real practice of permanent fitting of additional inserts and structures. The analysis shows that, despite the rhetoric of the construction of a monumental «building» of mind, thought actually finds refuge on the periphery of this project: in auxiliary structures and infinite additions, which become its authentic but deprived fundamental home.

Keywords: metaphor; building of philosophy; foundation; decoration; deconstruction; limitation; architectonics of knowledge; supplements

Перенос архитектурной метафоры в метафизический дискурс кажется подозрительным в своей очевидности. Ж. Деррида говорит о ее естественности в восприятии мира человека, архитектура, которую мы воспринимаем как должное, как необходимое приуготовленное заранее положение дел, которую населяем мы, и которая населяет нас. Вне зависимости от этого, архитектура все-таки сама по себе сконструирована, и, хотя настраивает нас на определенное отношение к «физике, небу, земле, смертному и божественному» [1, с. 308], к восприятию пространства и отношений, имеет основания и историю, процесс ее установления и воспроизведения. Концепция архитектуры, выступающая как обитаемый конструкт, говорит не только об архитектуре как о действительном физическом обживании пространства, но и о способе мышления, который во многом характерен европейской мысли и который подразумевает сложение и кооперацию в процессе познания – практически возведения здания мысли (философии, языка, науки), где каждый следующий слой наносится на множество предыдущих, часто временных слоев, противоречащих друг другу. В таком случае кажется легитимным рассмотрение вопроса о философствовании, как о строительстве, полном как пересматриваемых оснований, так «приставок»: от строительных лесов до декоративных элементов, которые и маскируют, и обнажают условность всей конструкции. Вопрос тогда в том, что мы упускаем, когда позволяем себе мыслить философию как строительство?

Архитектура, как самый материальный из дискурсов, и потому отдаленный от оригинального произведения, для метафизики кажется скорее репрезентативным орнаментом, который в полной мере не может воздействовать на традицию, к которой он добавлен. Но архитектура вряд ли может быть дополнением, поскольку мысль о дополнении сама по себе архитектурна – т. е. сама логика философии уже полнится «приставками» и вечными добавлениями. М. Хайдеггер отождествляет мышление со строительством [2, с. 159] – само теоретизирование, накопление и распределение – уже архитектурно (хотя в большей степени он старается описывать это строительство через сходства с мостом, а не с собственно зданием, как это было у Аристотеля [3, с. 516]). Хайдеггер также часто обращается [4, с. 5] к тому, как философия настойчиво описывает себя как разновидность архитектуры. Он указывает на то, как Р. Декарт изображает философию, как строительство «здания», обращает пристальное внимание, как И. Кант в описывает метафизику как «здание», возведенное на прочном «фундаменте», заложенном на самой прочной «почве», и также на трагический сюжет развалленного здания метафизики, которое находится «в руинах», так как воздвигнуто на

беспочвенных утверждениях, унаследованных от философской традиции, и чтобы восстановить надежное основание, «критик» должен начать «тщательную подготовку почвы».

При этих же обстоятельствах, уже в кантовской «Критике способности суждения» архитектура относится уже к низшим формам искусств, ввиду наибольшей связи с утилитарной сферой, которую эстетическое, по идее, должно превосходить. Так, архитектуру невозможно мыслить вне полезности, а ее красота оказывается дополнительным свойством. С другой стороны, украшения зданий, такие как, например, «колоннады у здания» [5, с. 94], которые можно рассматривать отдельно от самих зданий как «вещи в себе», возводятся в ранг красоты, свободной как раз от утилитарности [5, с. 98]. Если здания низшая форма искусства, то их украшения, чья единственная функция – быть созерцаемыми, возносятся до высшей формы искусства – живописи. Однако большая часть декора обязана отражать функцию зданий и потому исключается из этой категории. То, что в метафизике ценится как структурная связь с землей, способная контролировать репрезентацию, в эстетике, видимо, понижается в статусе. Укорененность архитектуры мешает отстраненному эстетическому взгляду.

Так, вопрос метафизики для Хайдеггера всегда оказывался вопросом о почве, на которой стоят вещи. Метафизика как попытка найти основание, названия которого исторически меняются (логос, архе и др.), но по сути описывают одно и то же – землю. С самого начала философия представляла себя в качестве источника, хранилища и арбитра порядка, и это представление было бы невозможно без фигуры, очень специфической, которая всегда должна быть защищена от повреждений, даже когда она не вызывается явно. Архитектурные переносы дают возможность быть такой влиятельной фигурой: с одной стороны, философия конструирует суждения, которые встают на почву (и их способность стоять определяется состоянием земли); с другой стороны, философия определяет, что вообще может стоять на этой земле. В итоге оказывается, что ничего из предложенного не может быть достаточно устойчивым, и потому здание философии рушится, видимо, чтобы была возможность на этой же земле построить другое здание. Философ в этом смысле может быть архитектором, направив все свои усилия на то, чтобы возвести адекватное почве здание. Оно должно получиться и объектом представления, и средством выражения одновременно, поэтому эта облицовка и украшение выступают как верхний слой маски, ничем не уступающий, а, наоборот, репрезентирующий структуру сообщения от начала и до конца – философия в общем-то становится теорией орнамента [6, с. 11]. Сообщение сущностно не сможет быть передано без этого приставленного украшения.

У Ж. Деррида архитектура практически главная метафора, которая показывает ценность философии как постоянно продолжающегося, вечно строящегося проекта, нескончаемо дополняемой вавилонской башни, которая важна постольку, поскольку не может быть законченной. Все ее существование зависит от постоянных-временных пристроек, «приставок», которые становятся постоянным обиталищем мысли. При этом все ее существо направлено на обрушение постройки, поскольку оно несет куда большие последствия, чем результат законченного проекта – при обрушении башни происходит обрушение насильственно навязываемого идеала, также характеризуемого единым языком и единым взглядом на мир [7, с. 16]. Идеал навсегда откладывается, а проект здания уже не может быть действительно реализованным.

Архитектура и философия оказываются результатами существования дискурса, производящего пространство, и потому им проще объяснять себя через другого, метафорически или по аналогии. И потому хорошо разворачиваются другие архитектурные метафоры, например деконструкция, которая как бы в самом термине заключает все метафоры строительства и его обратного действия. Это не значит в полной мере разрушение, скорее отход от нагромождения слоев друг на друга, как способа мысли. Деконструкция предлагает проникнуть в места, которые находятся на стыке стыке структуры и репрезентации, внутрь архитектурной маски, через проникновение в трещины и складки, видимые на поверхности, для выяснения механизмов работы или пробелов в них [8, с. 86].

Деконструкция оказывается заложенным в самой структуре здания элементом, эксплуатирующим скрытые внутренние ресурсы, и произрастающим из неспособности метафизики найти достаточно прочное основание, постоянного откладывания реализации проекта. Недостроенная башня становится не выражением иерархичности, истечения из основания к декоративным элементам, а вереницей спутанных элементов, которые наваливаются друг на друга. Их нестабильность контролирует границы постройки, формирует репрезентирующий слой, который точно должен передавать идею здания и следовать его правилам, и который во многом отличается от собственно структуры. Все здание нагружено складками и трещинами, в которые можно проникнуть, и они не свидетельствуют о разрушении или полной нежизнеспособности конструкции. Эти ограничения и огрехи в целом и есть основание, поскольку в из полноты, абсолютной наличности ничего не производится, попытки заполнения происходит из нехватки. Трещина, бездна в основании и в конструкции не (не)счастливая случайность [8, с. 318], ее наличие есть условие этого строительства.

Трещины сваленной конструкции принципиально ограничивают произведенное пространство, и не могут быть устранены, поскольку в своем основании содержат мысль о стремлении к восполнению их пустотности. Исключение и подчинение интервального пространства и пространства вообще создает фасад, чтобы замаскировать внутренний беспорядок. Тревога по поводу пространства и стремление к его заполнению знаменует собой запретное желание, которое угрожает разрушить здание философии изнутри.

Стратегическая роль архитектуры как метафорического представления метафизического (языкового, научного) проекта состоит скорее в ее откидывании при сохранении логики сложения, обживания и поглощения – порой как придомового участка, а порой и вспомогательных структур вроде сваев. Если пространственный знак всегда уступает место тому, что он обозначает, то фигура здания, как знак знака, должна уступить место понятийной системе, которую она делает доступной [3, с. 87]. В работах Деррида архитектурный дискурс является большим, чем просто его сочинения о пространственности письма и роли около-архитектурных фигур в ней. Скорее, расстояние между архитектурой, изображаемой в традиционном смысле слова, и архитектурой, используемой в смысле письма, которое она пытается скрыть, – то, что Деррида называет «огромной проблемой образной пространственности» [9, с. 97].

Вместе с распространенностью несколько противоречащих друг другу нарративов вокруг архитектурной метафоры (только нами затронутого вопроса о фундаменте, об избыточной декорации и долгострое, стабильном только в своей временности решений) подспудно будто разворачивается афера. Даже при отождествлении мышления со строительством, когда мы можем принять философский проект как совместное возведение здания, которое может стать домом, – храмом, где живет мысль, надежды не окупаются. Все усилия, которые положены на здание философии, могут исполнять роль только условных пристроек и приставок, бытовок, которые явно вырезаны из кадров строительства вавилонской башни, где остались жить люди. И вместе с ними там остается жить мысль.

Литература

1. Derrida J. Point de Folie-Maintenant L’Architecture // Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory / ed. by N. Leach. New York: Routledge, 1986. P. 305-317.
2. Хайдеггер М. Строительство жительствование мышление // Журнал Фронтирных Исследований. 2020. №1 (17). С. 157-173.
3. Bröchner J. Construction metaphors in Aristotle: knowledge, purpose, process. Construction Management and Economics. 2009. P. 515-523
4. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики / Пер. с нем, послесловие О. В. Никифорова. М.: Логос. 1997. 143 с.
5. Кант И. Критика способности суждения. / Пер с нем. М.: Искусство, 1994. С. 367.

6. Wigley, M. The architecture of deconstruction: Derrida's haunt / Cambridge, MA: MIT Press. 1997. 278 p.
7. Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен / Пер. с франц. и коммент. В. Е. Лапицкого. – 2 изд., испр. – СПб: Machina, 2012. 118 с.
8. Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с франц. и вступительная статья Н. Автономовой. – М.: – Ad Marginem. 2000. 511 с.
9. Derrida J, How to Avoid Speaking: Denials // Derrida and negative theology / Ed. by H. Coward, T. Foshay. Albany, N.Y.: State University of New York Press. 1992. P. 73-142.

КОИНСИДЕНТОЛОГИЯ КАК СТРОГАЯ НАУКА

Оптический поворот в коинсидентальной философии

Регев Йоэль
PhD, Доцент центра практической философии «Стасис» ЕУ СПб
E-mail: yoel.regev@gmail.com

Аннотация: В докладе излагаются основные положения «оптического поворота» в коинсидентальной философии. Автор утверждает, что примат жеста как зоны самораскрытия субстанции является метафизическим предрассудком, унаследованным от теологической онто-экономики. В качестве альтернативы предлагается концепция «видения» как фундаментальной человеческой способности к самоприравниванию к субстанции. Субстанция понимается как «резолют» — чистое удерживание-вместе двух автономных модусов, логоса и праксиса, которое раскрывается в видимом образе вещи. Доклад исследует вещь как «двойную непроницаемость» и показывает, как именно зрение позволяет пройти от её непроницаемого образа к динамической схеме её внутреннего совпадения.

Ключевые слова: антропология, коинсидентальная философия, оптический поворот, субстанция, вещь, теология

On optical turn in coincisential philosophy

Regev Yoel
European University at St. Petersburg

Abstract: This paper outlines the main tenets of the "optical turn" in coincidental philosophy. It argues that the primacy of the gesture as the zone of substance's self-revelation is a metaphysical prejudice inherited from Western Christian onto-economics. As an alternative, the concept of "vision" is proposed as the fundamental human capacity for "self-equation" with substance. Substance is understood as a "resolut" – the pure holding-together of two autonomous modi, logos and praxis, which is disclosed in the visible image of the thing. The text explores the thing as a "double impermeability" and demonstrates how vision enables the transition from its impermeable image to the dynamic scheme of its internal coincidence.

Keywords: anthropology, coincidenatal philosophy, optical turn, substance, theology, thing

1. Центральным для оптического поворота в коинсидентальной философии является вопрос о том, каким образом для нас, людей, разворачивает себя и раскрывает себя субстанция. До сих пор в качестве такой зоны разворачивания знания о субстанциальном фигурировала область жестового. Оптический поворот заключается в указании на то, что подобная первичность жестового как поля само-приравнивания к субстанции представляет из себя метафизический предрассудок, свидетельствующий о не до конца преодоленном влиянии европейской онто-экономики. Главным тезисом оптического поворота является тезис о том, что место, прежде предназначавшееся для жестового, должно занять видимое.

2. Особый и привилегированный статус человека в коинсидентальной антропологии определяется тем базисным фактом, что человек представляет из себя совпадение совпадений, или удерживание вместе двух независимых и автономных модусов субстанции: логоса и праксиса. Это прояснение статуса человеческого связано с коинсидентальной теорией агрегатных состояний субстанции и ее само-распада и само-блокирования. [1, с.20-32]

3. Специфика собственно человеческой ситуации определяется тем фактом, что в человеке совпадают две абсолютно независимые друг от друга способности. Человек является одновременно тем, кто говорит/мыслит и тем, кто действует, и представляет из себя удерживание вместе этих разделенных континуумов. Именно из напряжения и сцепления рядов мышления и практики появляется возможность кристализации и вычленения чистого удерживания-вместе-как-таквого: оно появляется как резолют, возникающий в результате отбрасывание конкретных типов удерживания-вместе, и может существовать лишь как этот результат. Субстанция реальна лишь как такой резолют, возникающий в результате размешивания смешанного, но при этом ретроактивно утверждающей себя как то, что предшествует этому размешиванию и порождает его.

4. Остается, однако, вопрос о том, где и как именно в области человеческого разворачивается эта зона чистого отвлечения резолюта. Мы говорим о минимальном проникновении и максимальном прилегании как о двух способах удерживать-вместе-разделенное, о субстанции как об удерживании-вместе этих двух способов удерживать вместе. Но что дает нам возможность об этом говорить? Какая именно наша способность позволяет иметь дело с этим чистым удерживанием-вместе-разделенного, не являющимся ни праксисом, ни логосом? В человеческой реальности, помимо реальности мысли и реальности действия, есть также сверх-реальность или сверх-способность само-приравнивания к субстанции. Оптический поворот утверждает, что такой специфической субстанциальной реальностью человеческого является реальностью видения. Мы видим субстанцию как наложение друг на друга двух движущихся оптических механизма: минимального проникновения и максимального прилегания. Человек становится сверх-человеком, приравнивающим себя к субстанции и делающим реальность более реальной, в тот момент, когда видит.

5. Как уже было сказано, до сих пор в качестве такого рода сверх-способности, в которой человек может по-настоящему отвлечься и увлечься, коинсидентальная философия указывала на жест. Это, однако, являлось результатом того, что, не осознавая того, она продолжала двигаться в русле теологического, и его специфического христианско-европейского ответвления. Центром теологического является вопрос об удерживании-вместе-разедленного. [2, с.74-89] Однако особенностью теологи является также и то, что этот вопрос оказывается подчиненным “возможности переживания невозможного” - поскольку именно такое Невозможное Возможное, в качестве божественной воли, представляется истоком, распределяющим благословения и проклятия. Более же конкретно это Имманентное Невозможное производится в рамках теологической онто-экономики как результат функционирования весового механизма, распределяющего возможное и невозможное между способностями.

Механизм производства ИН христианского Запада характеризуется тем, что оно разворачивается здесь как результат уравновешивания возможного логоса невозможным праксисом. Мысль в соответствии с абсолютом возможна и дана (например, в догматах, обсуждаемых и утверждаемых коллективом наделенных знанием), действие же, соответствующее этой мысли, требует благодати. Божественное оказывается отождествленным и слепленным с областью праксиса - и это отождествления абсолюта и практики остается незатронутым во всей секулярной европейской мысли, вплоть до самых последних попыток осуществления радикальной секуляризации у Бадью, Жижиека и Мейясу. [3,4,5]

Для наших целей на настоящий момент достаточно указать на то, что примат жеста в конисидентальной теории до сих пор оставался реликтом этого специфического склеивания способности и субстанции в рамках христианско-западного диспозитива. Жест — это действительно тот аспект или срез действия, в котором оно максимально обращено к субстанции: действие, высвобожденное из-под власти телеологии, освобожденное от необходимости осваивать и усваивать. Именно жест является максимально проницаемым для субстанции срезом действия, и действие максимально человеческое и максимально ценное,

максимально освещенное светом субстанциального, действительно принимает характер чистого жеста

Однако жест — это всего лишь один из наиболее проницаемых фильтров для чистого-удерживания-вместе-разделенного (другим таким фильтром, зеркально отражающим расположение жеста со стороны логоса, является интонация). Он нуждается в поддержке со стороны субстанциального для того, чтобы обладать содержанием. Без такой поддержки он превращается в пустую потенциальность, чистую возможность чего-угодно (именно таким статусом наделен жест в наиболее продуманной и доведенной до конца теории жеста в современной мысли, одновременно являющейся также, возможно, и наиболее радикально продолженной и завершенной концепцией в рамках западно-христианской онто-экономики: в философии Джорджио Агамбена).[6, с. 53, 7, с. 45]

6. Однако, на чем основано утверждение о том, что место жеста должно быть занято именно зрением? Для ответа на этот вопрос необходимо краткое прояснение коинсидентальной теории вещи.

Быть человеком означает думать и действовать, осваивать и усваивать. Однако мы не думаем о действии и не действуем на мысль. Факт совпадения в человеке мысли и вещи фиксируется в вещи. Вещь - это выпавшие в осадок праксис и логос. Она удерживает вместе мысль и действие, однако при этом скрывает это удерживание вместе, представляясь непроницаемым единством. Построено же это единство из двух взаимных непроницаемостей. И мысль, и действие имеют дело с вещью. Вещь — это “та первичная форма, в которой субстанциальное дано человеку. Вещь представляет собой неразличающее смешение невозможного-для-логоса, как оно существует для праксиса, и невозможное для праксиса, как оно существует для логоса. В обоих случаях формой этого “как” является непроницаемость.” [2, с. 108] К этой теории вещи как “двойной братской могилы боли и удовольствия”, непроницаемости, которая не может быть узнана как непроницаемость, поскольку является чужой непроницаемостью - но с которой я все же вынужден иметь дело - нужно добавить только, что эта первичная данность субстанциального для человека осуществляется именно в видении.

7. Вещь издает звуки, от нее исходит запах, я могу распробовать ее на вкус, ее поверхность может быть холодной или горячей, мягкой или твердой. Однако “вид” никогда не воспринимается нами как исходящий от вещи, как то, что в ней можно распознать. Вид вещи — это то, что она сама и есть, абсолютное безразличное к нам и нашему устройству. Видимое всегда будет сопротивляться всем нашим попыткам освоения и усвоения, и сопротивление это будет тем более непреодолимым, что его как будто бы и нет. Мы боремся с невысказываемым и продвигаемся в понимании, и пусть даже всегда будет оставаться принципиально невысказываемое и непонятное - оно находится во взаимодействии с нашими попытками понять, хотя бы как то, что всегда будет от них ускользать. То же верно и по поводу нашего стремления к практическому освоению мира. Видимое же никуда не ускользает и ничему не сопротивляется, ему просто все равно. Это - тотальное отвлеченное.

8. Однако именно это отвлеченное и есть базисная форма нашей встречи с совпадением. Вещь - братская могила, однако умирающие в ней удовольствие и боль могут быть вскрыты изнутри. Возвращение вещи в континуум разворачивания логоса и праксиса, оживляющее то невыносимое, из смерти которого она состоит, является первым шагом на пути к такому вскрытию. Однако за этим первым шагом, разъединяющим вещь на вещь-для-понимания и вещь-для-действия, за этой “трансцендентальной аналитикой”, должен последовать второй - проясняющий, как это разъединенное все же оказывается соединенным. Этот второй шаг также осуществляется благодаря видению - но уже не видению непроницаемого образа, а видению порождающей этот образ динамической схемы. (Понимание вещи Хайдеггером [8, с. 316-326] и диалектика видимого и невидимого у позднего Мерло-Понти [9] приближаются к подобному прояснению сути вещи, однако продолжают мыслить ее как ускользающее и данное в своей неданности).

9. Обычно видимая нами вещь - контейнер и оболочка для мысли и действия: мы видим “то, что можно использовать” и “ то, что обладает такими-то границами и характеристиками”. Однако, помимо этого, в вещи всегда имеется некоторый остаток, который и делает ее непроницаемой, несводимой к тотальности способов использования и тотальности свойств. Видимое и является этим остатком. И именно этот остаток несет в себе свидетельство того, что исток сосудов видимого выше, чем исток упаковываемого в эти сосуда света действия и мысли. Он подчиняет себе мысль и действие, соединяет их и оказывается непреодолимым для них поскольку он изначально является их соединением. Но эта изначальность “зрения до” существует лишь в ретроактивной темпоральности: как специфическое обнажающее и снимающее завесы зрение. Тождество видения должно быть вскрыто изнутри как удерживание вместе разделенного: и именно такое вскрытие, становящееся возможным благодаря выстраиванию коинсидентальных рядов, превращает “зрение после” в “зрение до”, монадологический спектакль прояснения.

Литература

1. Регев Й. Коинсидентология: краткий трактат о методе. СПб.: транслит, 2015. 56 с.
2. Регев Й. Невозможное и совпадение. Пермь: Hyle Press, 2016. 139 с.
3. Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма / Пер. с фр. О. Головой. М.: Московский философский фонд, 1999. 96 с.
4. Жижек С. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие / Пер. с англ. В. Мазина. М.: Художественный журнал, 2003. 170 с.
5. Мейяссу К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности / Пер. с фр. Д. Кралечкина. – СПб.: Издательство Европейского университета, 2015. 152 с.
6. Агамбен Дж. Средства без цели. Заметки о политике / Пер. с итал. Б. Скуратова. М.: Гилея, 2015. 112 с.
7. Агамбен Дж. Искусство, без-деятельность, политика // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 43–52.
8. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: Республика, 1993. 447 с.
9. Мерло-Понти М. Видимое и невидимое / Пер. с фр. О.Н. Шпараги. Минск: Современный литератор, 2006. 400 с.

Гуссерль и Поршнев: редукция как жест

Клименская Е.А.
Центр практической философии Стасис ЕУ СПб, аспирант
E-mail: eklimenskaya@eu.spb.ru

Аннотация: Доклад посвящен проблеме соотнесения феноменологической редукции Э. Гуссерля с философией жеста в коинсидентальной философии Й. Регева. В архитектонике последней феноменология занимает базовый уровень, обеспечивая доступ к первичному, конфликтному опыту. Через формальный жестовый анализ феноменология идентифицируется как «резонансная» стратегия, основанная на имманентной согласованности элементов сознания. Вводится различение между жестом-в-себе (родовая, до-семиотическая природа) и жестом-для-себя (семиотический, методологический акт). Для материального обоснования онтологии жеста-в-себе привлекается теория антропогенеза Б.Ф. Поршнева, где ключевым механизмом выступает торможение как активный жест, создающий «зазор» для сознания. Делается вывод, что редукция является не просто методом, но жестовым актом, укорененным в телесной практике

торможения, что раскрывает ее двойную функцию в коинсидентальной философии: как фундамента и как объекта специальной редукции, вскрывающей ее жестовую природу.

Ключевые слова: феноменологическая редукция, коинсидентальная философия, философия жеста, жест-в-себе, резонансная стратегия, торможение, онтология жеста

Husserl and Porshnev: reduction as a gesture

Klimenskaya E.A.
European University at St. Petersburg

Abstract: The report addresses the problem of correlating Edmund Husserl's phenomenological reduction with the philosophy of gesture in Yoel Regev's coincidental philosophy. Within the latter's architectonics, phenomenology occupies the basic level, providing access to primary, conflictual experience. Through a formal gesture analysis, phenomenology is identified as a "resonant" strategy based on the immanent coherence of the elements of consciousness. A distinction is introduced between the gesture-in-itself (a generic, pre-semiotic nature) and the gesture-for-itself (a semiotic, methodological act). To substantiate the ontology of the gesture-in-itself materially, the theory of anthropogenesis by B.F. Porshnev is invoked, where the key mechanism is inhibition as an active gesture that creates a "gap" for consciousness. It is concluded that the reduction is not merely a method but a gestural act rooted in the bodily practice of inhibition, revealing its dual function in coincidental philosophy: as a foundation and as an object of a special reduction that exposes its gestural nature.

Keywords: phenomenological reduction, coincidental philosophy, philosophy of gesture, gesture-in-itself, resonant strategy, inhibition, ontology of gesture

В рамках данного доклада ставится задача развития проблематики, связанной с концептуальным соотнесением феноменологической редукции Эдмунда Гуссерля [1] с философией жеста в рамках коинсидентальной философии Йоэля Регева [2]. Это соотнесение позволяет выявить жестово-пластическую и телесно-резонансную природу редукции, демонстрируя ее укорененность в фундаментальных онтолого-антропологических механизмах, что открывает новые перспективы для понимания как самого феноменологического метода, так и его места в современном философском ландшафте.

В архитектонике коинсидентальной философии, представленной как пирамида из четырех уровней, феноменология занимает место базового, первого уровня. Она является необходимой отправной точкой, поскольку коинсидентальная философия принципиально имеет дело с феноменологическим опытом — тем, что себя дает. Однако феноменология здесь понимается не как пассивное созерцание, но как анализ напряженного и требовательного взаимодействия с реальностью. Коинсидентальная философия, наследуя линии Мерло-Понти и Лингиса, интерпретирует феномены не как объекты созерцания, а как активные, навязывающие себя сущности. В этом контексте коинсидентология эксплицирует фундаментальное противостояние «вертикальной» (Марион, Хайдеггер) и «горизонтальной» (Гуссерль, Мерло-Понти) традиций, выявляя базовую структуру данности как «единого, делящегося надвое» — имманентного конфликта [2]. Таким образом, требование выявить основной конфликт на втором, диалектическом уровне пирамиды получает собственно феноменологическое обоснование: конфликт не навязывается извне, а раскрывается как необходимое условие самого феноменологического опыта.

Ситуация столкновения является единственной, способной эксплицировать силы, участвующие в определении способа бытия образующих конфликт сторон. Это состояние

взаимного сопротивления требует экспликации и раскола, что ведет к его диалектическому преодолению. Одним из таких фундаментальных конфликтов, организующих историю западной метафизики, является столкновение трансгрессивной и резонансной стратегий, где борьба ведется за сохранение невозможного в модусе возможности. Выявление этого раскола стало возможным благодаря Жилю Делезу и предпринятому им формальному жестовому анализу двух перверсий как двух способов модуса действия [3, с. 213] – резонансного и трансгрессивного [4, с. 49-73]. Жест как базовая онтологическая единица [5, с. 1-22] позволяет сместить внимание с содержания на механизм философской работы. Такой формальный анализ позволяет отнести феноменологию к резонансной стратегии, где под резонансом понимается имманентная согласованность элементов сознания, характеризующаяся взаимообусловленностью и взаимным усилением конституирующих элементов интенционального опыта. В тексте «Идеи к чистой феноменологии и трансцендентальной философии» Э. Гуссерля [1] резонанс как модель феноменологической корреляции в редукции проявляется в двух основных вариантах: как резонанс между миром естественной установки и гилетическим потоком, структурированным темпоральностью, и как резонанс между ноэтическим и ноэматическим аспектами сознания.

У Мориса Мерло-Понти, в отличие от картезианской традиции, нет онтологического разделения между испытывающим «я» и телом, как оно живет [6]. Если у Мерло-Понти жест [6, с. 229] — это единица значения, предшествующая языку, и телесный акт, конституирующий «зазор» между непосредственностью и выражением, то редукция также может быть понята как жест «шага назад» от семиозиса языка, чья до-предикативная родовая природа может быть прослежена. Как указывает Чарльз Дарвин [7, с. 27-76], в основе жеста и любого значащего положения тела лежит случайно сложившаяся связь между состоянием частей и органов тела, с одной стороны, и его нервной реактивностью — с другой. Вне всякой семиотики, некогнитивный жест есть просто внешнее выражение нервного ответа, закрепившееся в популяции и как случайный артефакт, и как некоторое конкурентное преимущество вида. Однако такое натуралистическое понимание жеста требует философского углубления.

Для различения родового телесного и семиотического смыслов редукции продуктивно введение понятий жеста-для-себя и жеста-в-себе. Таким образом организованная философская спекуляция позволяет выявить жестово-пластическую составляющую редукции. Если редукция как жест-для-себя — это явление семиотическое, связанное с «научной» точкой критической работы ума и внутренним развитием феноменологического движения, благодаря которому мы способны узнать о явлении родовом и назвать его, то формальный анализ жеста-в-себе как онтологической единицы может найти свое материальное обоснование в биологической эволюции, в частности, в контексте теории антропогенеза Б.Ф. Поршнева [8].

Концепция Поршнева рассматривает торможение как ключевой механизм антропогенеза. Синтезируя учение И.П.Павлова о рефлексах и теорию доминанты А.А. Ухтомского [8, с. 201-284], Поршнев разрабатывает модель, где торможение — это не просто пауза, а активный жест, создающий «зазор» для рождения знака и сознания через приостановку инстинктивной реакции. Этот «зазор» представляет собой диалектическое отрицание, которое является формой негативности — особой силы и момента развития. Согласно Поршневу, человеческий язык возникает из этой негативности — из «тормозной доминанты», блокирующей действие и тем самым создающей условие для смыслообразования. Язык, таким образом, изначально является не инструментом обозначения, а жестом запрета, «антиязыком», чья сущность — в отрицании непосредственной реакции [8, с. 124-183]. На уровне взаимодействия учение И.П. Павлова и А.А. Ухтомского также может быть раскрыта как резонансная модель.

Эта модель предлагает глубокую аналогию с жестом эпохé. Их сопоставление продуктивно для иллюстрации того, как дорефлексивная телесная практика торможения может служить матрицей для понимания генезиса жеста. Телесность участвует в редукции не как объект натурализма, а как носитель онтологического жеста торможения. Именно тело

осуществляет материальную приостановку инстинкта, создавая условие для трансцендентального акта. Редукция, таким образом, есть кульминация этого процесса: она воспроизводит жест торможения на уровне трансцендентального опыта. Тело здесь — не пассивный субстрат, а активный синхронизирующий резонатор. Иными словами, редукция предстает кульминацией человеческого способа бытия — практикой удержания невозможного, чьи корни уходят в ритуальные практики палеолита. Интеграция теории Поршнева позволяет раскрыть телесно-резонансную природу редукции, демонстрируя, что торможение — это жест, создающий зазор через внутренний конфликт возбуждения и его сдерживания.

Таким образом, в докладе будет показано, что феноменология в коинсидентальной философии выполняет двойную функцию: является как фундаментом, обеспечивающим доступ к первичному, конфликтному опыту, так и объектом «четвертой редукции» [2], вскрывающей ее собственную жестовую природу. Этот анализ, простирающийся от спекулятивной философии до биологии и диалектической антропологии, позволяет понять феноменологическую редукцию не просто как методологический прием, но как жестовый акт, укорененный в самой материи жизни и имманентном конфликте, конституирующем реальность. Подобный синтез открывает новые возможности для диалога между феноменологией, философской антропологией и науками о жизни, преодолевая традиционные разрывы между трансцендентальным и эмпирическим.

Литература

1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том Общее введение в чистую феноменологию / Пер. с нем. А. В. Михайлова. 489 с.
2. Регев Й. Краткий трактат о методе – 2-е издание (В печати).
3. Делез Ж. Представления Захер-Мазоха // Венера в мехах. Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. Ж. Делез. Представления Захер-Мазоха. З. Фрейд. Работы о мазохизме. М.: Ад Маргинен, 1992. 292 с.
4. Регев Й. Невозможное и совпадение: О революционной ситуации в философии / пер. с иврита М. Макаровского; пер. с англ. П. Хановой. Пермь: Гиле Пресс, 2016. 146 с.
5. Регев Й. Введение в исчисление сред // Логос: философско-литературный журнал. 2020. Том 30. №5. С. 1-22.
6. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Пер. с фр. О.Н. Шпараги; под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. СПб.: Ювента; Наука, 1999. 608 с.
7. Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных / Пер. с англ. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. 384 с.
8. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М.: Мысль, 1974. 487 с

ПРОЕКТЫ ФИЛОСОФСКОГО ОСНОВАНИЯ НАУКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ (1500–1800)

Животный магнетизм и гипнотизм: контроль над сознанием как (псевдо)научная практика

Ким В. С.
магистрант
Европейский университет в Санкт-Петербурге, исследовательский центр «Res Publica»
E-mail: violettikum@gmail.com

Аннотация: Доклад посвящен реконструкции интеллектуальных аргументов, обеспечивших преемственную связь семантики «животного магнетизма» («месмеризма») с «гипнотизмом» второй половины XIX века. Реконструкция позволила выявить прямую зависимость «животного магнетизма» как модели познания внутреннего мира человека от преобразований в физиологическом дискурсе. В 1810–1840-е гг. натурфилософское понимание практики предполагало физиологическое объяснение магнетических явлений, при котором душа становилась органом в человеческом организме. На тот момент такая интерпретация понятия могла казаться перспективной в поле научного знания. Но уже в 1840–1850-х гг. понятие «животный магнетизм» рассматривается как псевдонаучное в связи с популяризацией взглядов «научных материалистов» на физиологию человека и постепенно замещается «гипнотизмом», который в 1880-е гг. обретает серьезный научный авторитет (в связи с исследованиями Жана Мартена Шарко).

Ключевые слова: животный магнетизм, месмеризм, гипноз, научный материализм, историческая семантика, натурфилософия.

Animal Magnetism and Hypnotism: Mind Control as a (Pseudo)Scientific Practice

Kim V.S.
European University at St. Petersburg

Abstract: This paper explores the intellectual arguments that underpinned the continuity between the semantics of "animal magnetism" ("mesmerism") and "hypnotism" in the second half of the 19th century. This reconstruction reveals a direct correlation between "animal magnetism" as a model for understanding the human inner world and changes in physiological discourse. From the 1810s to the 1840s, the natural philosophical understanding of practice assumed a physiological explanation for magnetic phenomena, in which the soul became an organ within the human body. At the time, such an interpretation of the concept may have seemed promising in the field of scientific knowledge. However, by the 1840s and 1850s, the concept of "animal magnetism" was viewed as pseudoscientific due to the popularization of the views of "scientific materialists" on human physiology and was gradually replaced by "hypnotism," which in the 1880s gains serious scientific credibility (in connection with the research of Jean-Martin Charcot).

Keywords: animal magnetism, mesmerism, hypnosis, scientific materialism, historical semantics, Naturphilosophie.

Доклад посвящен эпизоду из интеллектуальной истории животного магнетизма и гипнотизма. Эти практики представляли собой одну и ту же процедуру, при которой тело и сознание одного человека оказывается под контролем другого. Однако вопрос о преемственной связи гипнотизма конца XIX века с животным магнетизмом конца XVIII – начала XIX в. остается открытым. Представление о том, что история гипнотизма начинается с животного магнетизма Месмера характерно для большинства специальных исследований по этой теме. Из классических исследований животного магнетизма и гипнотизма можно выделить труд Г. Элленбергера «The Discovery of Unconscious…» [1] и монографию А. Голда «A History of Hypnotism» [2].

В этих работах не рассматривается подробно тот период, когда животный магнетизм перестает казаться перспективной областью научного знания, а гипнотизм остается малоизвестным учением (примерно 1840-1870-е гг.). В России в 1810-1830-е гг. «животный магнетизм» становится философским понятием, вокруг которого выстраивается натурфилософский шеллингианский контекст. Постепенный упадок интереса к животному магнетизму в России в 1840-е гг. объясняется падением авторитета натурфилософии в эти же годы в Германии, когда идеи романтической науки вытесняются экспериментальным естествознанием, а позитивистская медицина дискредитирует животный магнетизм как лечебную практику [3, с. 55]. Но, несмотря на тесную связь животного магнетизма с натурфилософией, его практика в определенных формах «переживает» смену парадигм 1840-1850-х годов и к концу XIX века трансформируется в гипнотизм.

В рамках доклада мы попробуем показать, как происходит процесс маргинализации понятия «животный магнетизм» в 1850-е гг. Сначала мы опишем модель, по которой животный магнетизм становился инструментом познания человеческой души и контроля над ней в контексте немецкой романтической науки. Далее мы попробуем показать, как физиологический дискурс устанавливает границы в дискурсе о познании человеческой души и контроле над ней, тем самым вводя в середине XIX века такие критерии научного знания, которым животный магнетизм окончательно перестает соответствовать.

Месмеризм и натурфилософия: душа как часть человеческого организма

Животный магнетизм — это псевдонаука, которая была создана в 1770-е гг. австрийским медиком Францем Месмером. Магнетизм представлял собой лечебный метод, в основе которого лежала теория о существовании невидимого флюида, объединяющего все живое. Этот флюид, по Месмеру, можно было научиться контролировать и распределять по телу пациента для излечения болезней [4, с. 76]. Помимо такого прагматического варианта магнетизма, очень скоро возникают эзотерические версии учения, например, в Германии, где магнетизм воспринимается в контексте натурфилософии. Среди натурфилософских работ нас больше всего будут интересовать труды Готтхильфа Генриха фон Шуберта и Иоганна Кристиана Рейля.

Во «Взглядах на ночную сторону науки» Шуберт делит внутренний мир человека на сознание и бессознательное (душу), второе оказывается связано с явлениями высшей реальности, недосягаемой для разума [5, с. 171]. Бессознательное в человеке Шуберт обозначает как Gemeingefühl, которое проявляет активность лишь тогда, когда бездействует разум, например, во сне. Это шестое чувство наделяет человека сверхъестественными способностями, а с помощью животного магнетизма «чувство общности» можно вызвать искусственно. Эти же идеи Шуберт развивает в другой работе, «Символике снов», ключевую роль в которой играет теория физиолога Рейля. По Рейлю, в человеческом организме есть две нервные системы: «церебральная система» и «ганглиозная система», которая представляет собой орган человеческой души [6, с. 262]. В «Символике снов» Шуберт связывает ганглиозную систему Рейля с разрабатываемой им идеей «ночной стороны» природы: церебральная система, связанная с разумом, активна во время дня, а ганглиозная система начинает свою деятельность, когда человек погружается в сон. Gemeingefühl с его

сверхъестественными атрибутами локализуется в ганглиозной системе человеческого организма, на которую может воздействовать сила магнетизера.

Таким образом, в контексте натурфилософии разработанная концепция животного магнетизма становится промежуточным звеном между метафизикой и физиологией в системе научных знаний о душе человека, а также не только врачебной и мистической практикой, но и общей теорией сверхъестественных способностей. С помощью физиологической аргументации философские положения Шеллинга встраиваются в научную картину мира — по крайней мере в границах романтической науки.

Физиологические представления «научных материалистов» и конец животного магнетизма

В середине XIX в. популяризация и демократизация науки способствует формированию представления об «эпистемологическом превосходстве» последней над философией: метафизические категории перестают казаться применимыми в поле научного знания [7, с. 28]. Такой взгляд на познание восходит к идее Людвига Фейербаха о нераздельности духа и материи. Впоследствии она развивается и распространяется, благодаря работам немецких материалистов-физиологов Людвига Бюхнера, Карла Фогта и Якоба Молешотта. Вероятно, практика животного магнетизма перестает казаться полезной и перспективной преимущественно за счет распространения материалистического взгляда на устройство человеческого организма, описанного главным образом в «Силе и материи» Л. Бюхнера [8].

Бюхнер подвергает критике все метафизические категории, которыми оперировали натурфилософы. В контексте теории животного магнетизма среди них ключевую роль играют «жизненная сила» и «душа», каждой из которых в «Силе и материи» посвящен отдельный раздел. В главе «Жизненная сила» Бюхнер отмечает, что не существует гипотезы, «принесшей науке больше вреда», чем идея о существовании особой «жизненной силы» [8, с. 252]. Автор подчеркивает обусловленность жизни от действия «неорганических сил», описанных химиками и физиками. В таком случае свойства живых созданий, отличающие их от неживых, зависят «от особенности химического соединения, вызывающего этот эффект» [8, 253]. Этот вывод исходит из ключевого положения Бюхнера о неразрывной связи между силой и материей

Так подрывается ключевая идея, лежавшая в основе теории животного магнетизма еще с возникновения учения в 1770-е гг. Магнетическое лечение предполагало манипуляции над излучаемым планетами невидимым флюидом, который протекает через все органические существа. Но существование такого флюида так и не было доказано, а у последователей Месмера в Германии «жизненная сила» магнетизма тесно вплетается в контекст натурфилософии Шеллинга о единстве всей природы как организма.

Переосмысляется и понятие «души», которое у Бюхнера все еще рассматривается в качестве органа, находящегося в организме человека. Принципиальное различие в материалистической точке зрения заключается в том, что за счет локализации в человеческом организме понятие «души» лишается свойственных ему метафизических коннотаций. Бюхнер отмечает, что ранее загадочная работа нервной системы теперь подвергается рациональному объяснению: «О самом же чудеснейшем <…> о нервной деятельности, теперь уже известно <...> она есть не что иное, как превращенная электрическая сила» [8, с. 256]

За счет такой демистификации «ганглиозная система», по Рейлю и Шуберту, перестает быть носителем человеческой души. Относительно процессов «высшей психической деятельности…» Бюхнер лишь предполагает существование регулирующих их нервных клеток. Выдвигая такую гипотезу, автор в качестве аргумента указывает на огромное число нервных клеток, содержащихся в человеческом мозге, среди которых многие остаются неизученными [8, с. 170]. Выходит, что, хотя не все явления человеческой души до конца объяснены наукой, этот пробел рассматривается исключительно как лакуна в области

анатомии и физиологии. Следовательно, в поле научного знания душа может быть рассмотрена только как результат физических и химических процессов в мозге. Практика животного магнетизма, опирающаяся на метафизические понятия «жизненной силы» и «души» не может в действительности способствовать познанию внутреннего мира человека и как-либо на него воздействовать.

Таким образом, к 1860-му году «животный магнетизм» рассматривается преимущественно как безнадежно устаревшее понятие, серьезное обращение к которому ассоциируется с мистическими представлениями романтиков первой половины XIX века. Незадолго до этого в 1840-е гг. шотландский врач Дж. Брейд формулирует теорию гипнотизма как новый вариант животного магнетизма. Ученый видел условия для погружения в магнетический сон не в магнетическом флюиде, но в особенном физиологическом состоянии человека (перенапряжение глазных мышц, подавление дыхания). При жизни Брейда его учение не становится широко известным, но уже в 1870-е гг., благодаря исключительно физиологической аргументации, теория гипнотизма вводится в научный оборот. А в 1882 г. французская Академия наук признает ценными результаты работы Жана Мартена Шарко по применению гипноза в лечении истерии [2, с. 311], тем самым наделяя гипнотизм таким научным авторитетом, каким животный магнетизм в первой половине XIX века никогда не обладал.

Литература

1. Ellenberger H. F. The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. London: Fontana Press, 1970.
2. Gauld A. A History of Hypnotism. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
3. Decker H. S. Freud in Germany: Revolution and Reaction in Science, 1893-1907. New York: International Universities Press, 1977.
4. Meheust B. Animal Magnetism/Mesmerism // Dictionary of Gnosis and Western Esotericism / ed. by W. J. Hanegraaff, A. Faivre, J.-P. Brach, R. van de Broek. Leyde: E. J. Brill, 2005. pp. 75–82.
5. Bell M. The German Tradition of Psychology in Literature and Thought, 1700–1840. New York: Cambridge University Press, 2005.
6. Hanegraaff W. J. Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
7. Раздьяконов В. С. Физиологи против теологии: наука как источник секуляризации в идеологии научного материализма XIX столетия // Вестник ПСТГУ. 2017. Вып. 74. С. 27–43.
8. Бюхнер Л. Сила и материя: очерк естественного миропорядка вместе с основанной на нем моралью, или учением о нравственности. СПб.: Издание А. И. Васильева, 1907.

Алхимические основания научного эксперимента

Крутько Д.Ю.
аспирант
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
E-mail: krutko.dyu@edu.spbstu.ru

Аннотация: Одной из актуальных тем обсуждения в современной философии науки является научный эксперимент. Можно выделить два типа работ: анализ в историческом контексте (исторической эпистемологии) и обсуждение проблем научного эксперимента XX-XXI вв. Важность обращения к историческому

контексту отмечает венгерский философ И. Лакатос в известной цитате: «Философия науки без истории пуста, история науки без философии науки слепа». При этом способы исторического исследования эксперимента разнообразны. В данном исследовании проанализировано формирование научных экспериментальных практик на основе алхимических традиций в Новое время в Европе. Арабская алхимия, пришедшая в Европу, основывалась на тщательном изучении используемых в опытах материалов. При этом алхимия выступала течением, предшествовавшем экспериментальному естествознанию и повлияла на становление современного научного метода.

Ключевые слова: философия науки, методология науки, научный эксперимент, новоевропейская наука, алхимия, науки о природе, науки о человеке.

Alchemical Foundations of Scientific Experiment

Krutko D.Y.
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

Abstract: One of the most pressing topics of discussion in contemporary philosophy of science is the scientific experiment. Two types of work can be distinguished: analysis within a historical context (historical epistemology) and discussion of the problems of scientific experimentation in the 20th and 21st centuries. The importance of addressing historical context is noted by the Hungarian philosopher I. Lakatos in his famous quotation: "The philosophy of science without history is empty, the history of science without the philosophy of science is blind." Moreover, the methods of historically studying experimentation vary. This study analyzes the development of scientific experimental practices based on alchemical traditions in modern Europe. Arabic alchemy, which came to Europe, relied on a careful study of the materials used in experiments. Moreover, alchemy was a movement that preceded experimental natural science and influenced the development of the modern scientific method.

Keywords: philosophy of science, methodology of science, scientific experiment, modern European science, alchemy, natural sciences, human sciences.

В «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» эксперимент определяется как «род опыта, имеющего целенаправленно исследовательский, методический характер, который проводится в специально заданных, воспроизводимых условиях путем их контролируемого изменения» [1, с.1135]. Эксперимент как метод и форма опыта складывается в Европе в Новое время и является, по выражению Н.В. Бряник, «решающим фактором в формировании современной науки» [2, с. 27].

Профессор Берлинского Технологического института Фридрих Штайнле (Friedrich Steinle) отмечает: «эксперимент как понятие и процесс давно интересует учёных, занимающихся историей и философией науки» [3, p. 408]. Штайле выделяет три линии развития аналитики эксперимента. Линия Ф. Бэкона — Дж. С. Милля опирается на функциональные особенности эксперимента. Линия П. Дюгема — Х. Райхенбаха представляет эксперимент как «слугу теории» и линия «нового экспериментализма» (New Experimentalism), которая начинается с конца 80-гг. XX в. и продолжающаяся к настоящему моменту [3, p. 409]. Новый экспериментализм сконцентрирован на бэконовской варианте эксперимента, а первой работой в данном направлении, по мнению Штайле, является работа «Представление и вмешательство» канадского философа Я. Хакинга [4]. Хакинг стремится показать, что экспериментирование предшествует теории, а идеи Бэкона выступают критикой аристотелевской схоластики и книжного знания. По Бэкону природу нужно испытать с помощью эксперимента для того, чтобы она открыла свои секреты.

Профессор Технологического института Карлсруэ Иоаким Шуммер (Joachim Schummer) полагает, что Бэкон обязан своими идеями, касающимися эксперимента, именно алхимии [5]. Алхимия, особенно в арабской традиции, всегда основывалась на лабораторных исследованиях, основанных на тщательном изучении результатов контролируемых манипуляций с материалами.

Алхимия из всех наук Нового времени в большей степени сталкивалась с неудачами, вынужденной быть таинственной из-за более серьезных церковных гонений, чем это было, например, с первым «экспериментатором» Г. Галилео, а ее вклад в естественные науки рассматривается только как предвестник химии.

Между тем, алхимия представляла собой сочетание философии, религии, магии, ремесла и искусства, а ее главной целью было совершенствование материи. Эта цель, по мнению британского химика Джона Рида (John Read) включала превращение металлов в золото и открытия зелья, излечивающего все болезни [6]. Алхимики верили, что материя состоит из одних и тех же четырёх элементов (земли, воздуха, огня и воды) в разных сочетаниях и пропорциях. Данные элементы были предложены Аристотелем и далее дополнялись различными свойствами. Алхимики пытались изменить пропорции этих элементов для получения желаемых веществ. Согласно такому представлению о материи, каждая химическая реакция была своего рода трансмутацией, т.е. изменением, при котором один вид материи превращается в другой. Например, алхимики считали, что свинец можно превратить в золото. Отметим, что на современной этапе развития науки трансмутация используется для уменьшения ядерных отходов, загрязняющих окружающую среду.

Философ М.М. Фиалко полагает, что традицию европейской алхимии начал Парацельс. Он дополнил «меркурие-серную теорию» араба Гебера третьим элементом, солью. Их этих трех элементов состоит каждая вещь: Сера является принципом организации тела, соль — формой, твердостью тела, а меркурий — «летучее жизненное начало» [7, с. 20]. Заимствую теорию из алхимии, Парацельс начал использовать «алхимические» минералы в медицинских целях. У.С. Струговщикова рассматривает наследие Парацельса через акторно-сетевую теорию Б. Латура и выявляет, что в Новое время не было жесткой дихотомии между субъектами и объектами [8]. Коммуникация между акторами — людьми (пациентами, врачами) и не-людьми (минералами, растениями, знаками, инструментами) — происходила на равных, в отличие от бэконовского «допроса» над природой. Лаборатория Парацельса в каком-то смысле выступала, по выражению исследователя научных лабораторий Е.А. Жаркова, «вненаходимой сущностью» — места, где производится какое-либо новое знание [9, с. 176].

Струговщикова показывает, что эксперимент после Парацельса приобретает новое качество — воспроизводимость. Но для самого алхимика важным оказывается опытное знание: «В качестве наглядного примера Парацельс приводит грушевое дерево: у дерева есть знание, scientia, которое позволяет дереву цвести. Результат цветения — плоды, это видимый эксперимент, experiment. А вот понимание того, как дерево цветет (его физиология), — это опытность, или experientia» [8, с. 99].

Д. Рид описывает, как в Средние века алхимики «окутывали» свои письменные труды символикой и секретностью [6]. Отчасти это было обусловлено религиозной обстановкой того времени. Многие сталкивались с угрозой инквизиции, если их эксперименты вызывали неодобрение. Другой причиной скрытности алхимиков был страх того, что любые раскрытые ими важные секреты могут привести к великому злу, если попадут не в те руки. Поэтому алхимики использовали символы и зашифрованный язык, которые затрудняли понимание их работы. Например, ртуть в их трудах упоминается как зелёный лев, ядовитый дракон и др.

Рид отмечает, что Андреас Либавий предпринял попытки упростить язык алхимии и выпустил работу «Алхимия» (1606) [6, p. 46], но более сильное влияние на трансформацию алхимии как вида практики и ее языковое оформление оказала работа Роберта Бойла «Химик-Скептик» (1661).

В этой книге Бойль выступил против теории алхимиков о четырёх элементах. Центральным аргументом алхимиков в пользу этой теории был пример горения древесины.

При горении древесина выделяла огонь, дым представлял собой воздух, а жидкость, выкипающая с концов древесины, — воду. Оставшийся пепел считался землёй. Другими словами, древесина распадалась на четыре элемента: огонь, воздух, воду и землю. Бойль, однако, утверждал, что некоторые вещества, такие как золото и серебро, не могут быть сожжены. Бойль также заметил, что некоторые вещества, по-видимому, распадаются более чем на четыре элемента [6].

Алхимики рассматривали четыре элемента как мистические субстанции, существование которых можно было обосновать исключительно логически. Бойль же, напротив, считал, что элементы — это конкретные субстанции, существование которых можно подтвердить только экспериментально.

Главной целью Бойля было обращение внимания к опытному знанию и внедрению эксперимента. Также Бойль провёл параллели между физикой и химией, сблизив эти области. Следствием этого, по мнению Рида, стало повышение социального статуса бывших алхимиков, так как ранее они считались магами и вынуждены были скрываться, но теперь наукой можно было заниматься открыто [6]. Новые химики сосредоточились на химических веществах и их изменениях, а не на совершенствовании материи и человечества.

До работ Бойля основным методом анализа химических веществ, использовавшимся алхимиками, был огонь. Бойль считал, что огонь, хотя и полезен, не является достаточным способом анализа химического состава веществ. Поэтому он искал и описывал другие методы анализа, многие из которых используются и по сей день, например, цветные и пламенные пробы, исследования формы кристаллов.

Рид пишет, что алхимики иногда давали одному и тому же веществу десятки названий [6]. Это приводило к большой путанице и затруднению коммуникации. Бойль в «Химике-Скептике» попытался найти каждому химического веществу одно наименование, а также связать название химического вещества с его составом. Его попытки не имели особого успеха, поскольку структура многих химических веществ в то время была не известна.

Благодаря работам Бойля расширилось понятие элемента и к XVIII веку элемент был определён как любое вещество, которое невозможно разложить на более простые обычными химическими методами.

В XVIII веке многие ученые отказались от мистицизма алхимиков и стали полагаться на точные измерения в лабораторных условиях — теории, основанные на умозрительных рассуждениях были заменены теориями, основанными на «новом» эксперименте. Наука приобретала современный вид, а алхимическое знание уходило в тень и его значение в научной революции не обсуждалось как минимум до второй половины XX в.

Долгий период времени не было известно об алхимических экспериментах столпа классической науки И. Ньютона. Между тем, в алхимических трудах Ньютона описывается концепция «медиации», которая позволяет соединять в одно недружественные друг другу вещества [10, p. 363]. Данные вещества в современной науке рассматриваются в химии кластеров. Обращение к работам Ньютона показывает, что экспериментальному естествознанию предшествовал алхимический период, а не критика аристотелевской схоластики, как это ранее представлялось в истории становления науки и, в частности, научного эксперимента. Алхимические эксперименты уточняют сложную взаимосвязь теории и наблюдения, которую описывает спустя столетия Я. Хакинг и другие исследователи эксперимента.

Литература

1. Ахутин А.В. Эксперимент // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. Касавина И.Т. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2009. С. 1135-1137.
2. Бряник Н. В. От классики к постнеклассике. Этапы развития науки современного типа (Философский анализ классической, неклассической и постнеклассической науки). М.: Академический проект, 2021. 373 с.

3. Steinle F. Experiments in History and Philosophy of Science // Perspectives on Science. 2002. №10 (4). P. 408-432.
4. Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. М.: Логос, 1998. 296 с.
5. Shummer J. Why Do Chemists Perform Experiments? In: Chemistry in the Philosophical Melting Pot. Ed. Sobczynska D., Zeidler P., Zielonacka-Lis E. Frankfurt et al.: Peter Lang, 2004. P. 395–410.
6. J. From Alchemistry to Chemistry. New York: Dover Publications, 1995. 324 p.
7. Фиалко М. М. Tria prima в новоевропейской магико-алхимической // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Т. 13, № 1. С. 16-23.
8. Струговщикова У. С. Что такое "эксперимент" в медицинской системе Парацельса? // Идеи и идеалы. 2019. Т. 11, № 4-1. С. 86-106.
9. Жарков Е. А. Лаборатория как вненаходимая сущность // Социология науки и технологий. 2020. Т. 11, № 4. С. 175-190.
10. Newman W. The background to Newton's chymistry. In: The Cambridge Companion to Newton. Ed. I. Bernard Cohen, G. E. Smith. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 358-369.

Наука как функция дискурсивной власти в теориях суверенитета и вопрос о демаркации

Лаврищев Д.Е.
магистр философии
Институт истории естествознания и техники РАН им. С.И. Вавилова,
младший научный сотрудник
E-mail: vtstampede@yandex.ru

Аннотация: В докладе анализируется изменение социально-политической роли науки в Новое время на примере теории суверенитета Томаса Гоббса. В этот период наука превращается из инструмента отвлеченного познания в средство утверждения власти суверена. Ключевым аспектом этого процесса является необходимость установления сувереном контроля над языком и понятийным аппаратом. Через верное определение понятий и создание единого дискурсивного пространства суверен обеспечивает общественное согласие и стабильность государства. Эта дискурсивная власть находит эмпирическое подтверждение в возникновении государственных научных организаций в Новое время, проводящих политические решения в науке, прежде всего демаркационные установления. Именно в рамках такой модели рождается демаркационный дискурс — практика отделения науки от лженауки, которая по своей сути является политическим актом, поскольку лишь суверен обладает силой навязывать обществу решения о статусе различных теорий.

Ключевые слова: дискурсивный суверенитет, Томас Гоббс, наука в Новое время, политическая роль науки, демаркация, академия наук.

Science as an instrument of power over discourse in theories of sovereignty; the demarcation question

Lavrischev D.E.
S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of Russian Academy of Sciences

Abstract: The report examines the changing socio-political role of science in the Modern era, exemplified by Thomas Hobbes's theory of sovereignty. In this period, science transforms from an instrument of abstract knowledge into a tool for consolidating sovereign power. A crucial part of this process is the sovereign's need to control language and conceptual framework. Through the proper definition of terms and the creation of a common discursive field, the sovereign secures public agreement and commonwealth stability. This discoursive authority is empirically validated by the rise of state scientific institutions that enforced political decisions in science, primarily through acts of demarcation. This framework gives birth to the discourse of demarcation—the practice of distinguishing science from pseudoscience. This is fundamentally a political act, since only the sovereign has the power to force a judgment on society about the status of different theories.

Keywords: discoursive sovereignty, Thomas Hobbes, science in Modernity, political role of science, demarcation, academy of sciences.

Новое время может интересовать исследователей науки не только как период становления классической науки, развития гуманитарного знания и формирования канона научных дисциплин. Не менее важными представляются изменения социальной и политической функций науки, которые наиболее ярко можно наблюдать в теориях суверенитета, в частности – в договорных теориях, идущих от Т. Гоббса. В них наука перестает быть инструментом отвлеченного исследования, чтения «книги природы», превращаясь в инструмент утверждения власти суверена.

Известно, что Гоббс мыслил свой политический проект как сугубо научное начинание. Его философская трилогия («О теле», «О человеке», «О гражданине»), суммированная и обобщенная в «Левиафане», была призвана дать полное и обоснованное механистическое описание человеческого агента как подчиненного общей логике природных законов. Отсюда же проистекает представление о естественном праве как неотъемлемой, «идущей в комплекте» с материалистической рациональностью, части устройства человеческо-природного мира. Однако, если говорить о роли науки именно в этом смысле – как о фундаменте политического проекта Гоббса, – мы увидим, что он в целом не слишком отличается от проектов своих современников или философских оппонентов. Начиная с Античности, а конкретно с антропологии Платона и Аристотеля, политика мыслилась как продолжение природы человека, и в этом смысле всегда оставалась подверженной научному исследованию. Существенным отличием является лишь понимание научности; для Гоббса (как позднее для Б. Спинозы) политика являлась строгой наукой, подобно «единственной науке» геометрии [1, с. 25], тогда как ранее политика преимущественно сводилась к описанию утопических проектов или сравнительному анализу форм политической жизни. Таким образом, мы не станем говорить о роли науки с точки зрения ее места в политико-философских основаниях теории суверенитета. Вместо этого мы сфокусируемся на другой, не менее важной функции, которая специфически обозначена Гоббсом в рассуждениях о роли суверена в становлении понятийного аппарата.

Отвлекаясь от непосредственно научного языка, рассмотрим некоторые существенные аспекты понимания места языка в суверенном государстве. Хорошо известны положения глав IV и V «Левиафана» [1, с. 25-29], где Гоббс обсуждает необходимость верного установления определений понятий. Верное составление имен путем сложения или вычитания слов позволяет строить правильные рассуждения, а значит рассуждать научно – правильно связывать в теоремы совокупности фактов, данных в восприятии. Тем самым уже сам язык становится предметом фундаментального интереса для Гоббса как инструмент формирования общественного согласия: только через науку, основанную на правильном использовании языка, можно достичь общего блага (*commonwealth*).

Обращаясь к поздним интерпретациям Гоббса, уместно обратиться к К. Шмитту и его «Левиафану в учении о государстве Т. Гоббса…». О роли суверена в регулировании языка

Шмитт пишет в связи с политической теологией Гоббса: задачей суверена в христианском государстве является требование от каждого гражданина публичного исповедания вербальной формулы «Иисус есть Христос», которая является стержнем всей религиозной жизни государства [2, с. 119, 250-251]. Именно от вербальной, внешней языковой поддержки этого символа зависит гражданское единство; для защиты этого единства суверен обязан преследовать всех, кто не разделяет эту формулу. Заметим, что указанная формула является выражением математического равенства, т.е. подчиняется общей логике установления определений в научном рассуждении.

Еще более радикальные свидетельства о значимости роли суверена в формировании публичного общего языка подробно описывает А. Плешков на материале расширенного корпуса гоббсианских текстов. Значение суверена состоит не просто в придании целостности религиозной жизни на основе публичных вербальных формул, но и в целом в создании единого дискурсивного пространства: строгая цензура должна соблюдаться не только в церковных делах, но и в общественной морали и нравственности, а также, что важно в рамках текущего обсуждения, в области просвещения и обучения [3, с. 35-37]. Как пишет уже А. Филиппов, «в государстве есть <…> инстанция интерпретации, от которой исходят авторитетные суждения о том, что считать [значением понятий]» [4, с. 118]. Хотя язык существует и до суверена, сила последнего преодолевает обыденное употребление, соглашаясь лишь с таким использованием слов, которое касается имен для фактов восприятия.

Из сказанного видно, что язык в государстве подвержен контролю суверена и является в существенной степени продуктом авторитетной интерпретации. Суверен обладает *дискурсивной властью*, помимо других способов контроля, входящих в *summa potestas*. Возвращаясь к науке, очевидно, что и язык научного исследования является также предметом контроля суверена. Более того, в теории Гоббса наука должна быть не просто одним из предметов контроля, но предметом первоначального, фундаментального интереса для суверенной интерпретации, коль скоро от значения первых определений науки зависят основания политической жизни. От контроля над правильным употреблением научного языка зависит само выживание суверена как структуры, основанной на научном понимании политической природы человека. Таким образом, наука становится прямым продолжением политической воли суверена, утверждающей свою власть над публичной сферой.

Эмпирическим свидетельством формирования суверенной власти над научным дискурсом становятся государственные академии наук и подобные им организации, момент возникновения которых совпадает со становлением суверенных государств Нового времени, описанных Гоббсом. Например, Лондонское королевское общество и Академия наук Франции возникают с разницей в 6 лет в 1660-е годы; в 1652 году создается Германская академия естествоиспытателей; в начале 18 века возникают государственные Академии наук в России, Дании, Швеции. Формирование подобных институций демонстрирует возникновение в модерновых государствах устойчивого понимания необходимости регулирования научной деятельности. Государственные научные учреждения до сих пор остаются в большинстве своем проводниками политических решений в области развития науки.

Ключевым типом политических решений, принимаемых государственными научными организациями, являются решения о демаркации. Можно с существенной долей уверенности утверждать, что само становление демаркационного дискурса в его современном виде является продуктом дискурсивной государственной регуляции, в начале в форме (не)допуска к преподаванию на кафедрах университетов, и далее через публичные решения о признании какой-либо дисциплины не-наукой. Для утверждения подобных решений могут создаваться специальные органы научной власти – как, например, Комиссия по борьбе с лженаукой в современной России, – или же речь может идти о некотором общественном консенсусе, подкрепляемом правовыми нормами, как это было с секулярным эволюционизмом в Великобритании XIX века. Суждение о рождении демаркации в подобных теориях суверенитета усиливается, если принять во внимание, что решение о демаркации не обладает

никакой силой, кроме как в случае, если есть сила, способная навязать это решение общественности. Такой силой не обладает никто, кроме суверена.

Суммируя сказанное, есть основания считать, что именно в Новое время с появлением теорий суверенитета происходит формирование представления о необходимости соединения государства и науки в области признания «истинных» и «ложных» научных идей, что выражается в формировании внешне научных инструментов контроля над общественным дискурсом. На примере теории Гоббса видно, что происходит осмысление значимости истин науки для укрепления суверенитета и обеспечения устойчивости общего блага через контроль над общественно значимыми теориями восприятия реальности, в т.ч. политической. Вместе с этим рождается и демаркационный дискурс, который не может быть отделен от сферы политики в силу того, что только суверен обладает достаточной властью для того, чтобы решения о статусе теории имели силу.

Литература

1. Гоббс, Т. Левиафан / Томас Гоббс — Москва : Мысль, 2001. — 478 с.
2. Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. / Карл Шмитт; пер. с немецкого Д.В. Кузницына — С-Пб.: Владимир Даль, 2006.
3. Плешков А. Статус языка в политической философии Томаса Гоббса // Социологическое обозрение. Т. 10 № 3. 2011. С. 29–40.
4. Филиппов А. Ф. Актуальность философии Гоббса. Статья вторая // Социологическое обозрение. Т. 8. № 3. 2009. С. 113–122.

Эвристические фикции как фундамент естественных наук и политического проекта Иммануила Канта

Манаков Д.С.
магистрант
Европейский университет в Санкт-Петербурге,
исследовательский центр «Res Publica»
E-mail: d.manakov@eu.spb.ru

Аннотация: В рамках настоящего доклада я предоставлю интерпретацию философского проекта Канта через призму «Философии “как если бы”» Ханса Файхингера. Через рассмотрение примеров регулятивного использования идей разума, я проиллюстрирую то, что фикции играют определяющую роль в формировании как естественнонаучного, так и политического проекта Канта: в обоих случаях философ опирается на конструкцию «как если бы», предполагая выдвижение фикций, способствующих организации опыта, но не сказывающихся о вещах самих по себе. Исходя из этих размышлений, я предоставлю интерпретацию политической философии Канта не просто как нормативного или дескриптивного проекта, но как жеста, призывающего к публичному критическому анализу систем фикций, посредством которых разум регулирует наше рассудочное образование понятий.

Ключевые слова: Кант, Файхингер, философия «как если бы», фикции, идеи разума, регулятивные принципы, Просвещение.

Heuristic fictions as the foundation of the natural sciences and the political project of Immanuel Kant

Manakov D.S.
European University at St Petersburg

Abstract: In this paper, I will interpret Kant's philosophical project through the lens of Hans Vaihinger's «Philosophy of the As-If». By examining examples of the regulatory use of ideas of Reason, I will illustrate how fictions play a decisive role in shaping both Kant's scientific and political projects: in both cases, the philosopher relies on the «as-if» construction, suggesting the development of fictions that facilitate the organization of experience but do not speak to things in themselves. Based on these reflections, I will interpret Kant's political philosophy not simply as a normative or descriptive project, but as a gesture calling for public critical analysis of the systems of fictions through which Reason regulates our Understanding's formation of concepts.

Keywords: Kant, Vaihinger, the philosophy of «as if», fictions, ideas of Reason, regulative principles, Enlightenment.

В 1911 году Ханс Файхингер (1852–1933) опубликовал «Философию как если бы» – работу, которая быстро стала одной из самых оригинальных и спорных версий интерпретации и развития кантовского философского проекта, которую автор озаглавил «фикционализмом». Основным исследовательским интересом Файхингера являлось устройство и функционирование фикций в человеческом мышлении. Фикция – это ментальная структура, продукт логической деятельности мышления, который никак не может быть обнаружен в эмпирической данности и является заведомо ложным или даже внутренне-противоречивым, однако все равно может быть использован в на прагматических основаниях, в той мере, в которой он помогает делать реальность доступной для постижения [5, S. 21–24].

Свой концептуальный аппарат Файхингер черпает из отрывков Канта, посвященных идеям разума, которые сами по себе недоказуемы и противоречивы (и поэтому недопустимы в своем трансцендентальном применении, т.е. как гипотезы о реальных объектах, выходящих за пределы опыта), однако помогают разуму вносить систематичность и единство в производимое рассудком множество понятий, функционируя как регулятивные принципы или эвристические фикции (и поэтому с оговорками допустимы в своем практическом применении). По мнению Файхингера именно открытие фикций как фундамента человеческой теоретической деятельности (вкупе с критикой их трансцендентального применения и обоснованием допустимости их практического применения) является главным достижением «коперниканского переворота» Канта.

Далее я бы не хотел углубляться в эпистемологические тонкости аргументации Файхингера и обсуждать статус фикций в общем проекте трансцендентального идеализма Канта, но, отталкиваясь от трактовки Файхингера, рассмотреть функционирование некоторых фикций уже в непосредственном практическом применении – в проекте естественных наук и в политической философии Канта, – и провести параллель между ними.

Несмотря на то, что в файхингеровской оптике весь философский проект Канта пронизан использованием фикций, не у всех этих фикций для этого проекта одинаковый статус. Без сомнения тремя главными фикциями, рассматриваемыми в «Критике чистого разума», являются три трансцендентальные идеи разума: душа, мир как целое и Бог. Они, будучи противоречивыми продуктами разума (полагаемыми в качестве реальных), но не реальными объектами, стали источником множества бессмысленных метафизических споров, разоблачению которых посвящена большая часть «Трансцендентальной диалектики». Трансцендентальные идеи выводятся из природы разума самого по себе (из трех форм силлогизмов) [2, с. 221–222], однако это далеко не единственные идеи разума, функционирующие как фикции, которыми мы оперируем в нашей теоретической деятельности.

Кант приводит примеры других идей разума. Такие понятия, как «чистый воздух», «чистая вода», «чистая земля», – это понятия, которые возникают в результате рассмотрения некоторых результатов в определенной области естествознания и служат для «вопрошания природы» с целью обнаружения более закономерных связей в этой области [2, с. 481–484]. Таким образом, в естественных науках эти понятия функционируют как своего рода идеализированные модели.

Похожий пример мы можем обнаружить в «Метафизических началах естествознания», в которых Кант одновременно отстаивает динамизм и предполагает бесконечную делимость материи. Неделимость природы и отсутствие пустоты Канта полагал «правильными», но не мог не осознавать методологическую продуктивность рассмотрения природы как совокупности отдельных частей, поддающихся математическому анализу [5, S. 434]. Поэтому делимость материи на частицы Кант предложил относить не к понятиям, описывающим объекты, но к процедуре конструирования понятий, что допускает возможность математического анализа материи «как если бы» делимой, но при этом предполагает, что «на этом основании нельзя в делимом до бесконечности допускать действительное расстояние между частями» [4, с. 295]. Таким образом, Кант предлагает мыслить бесконечную делимость материи как фиктивный принцип, прагматически обоснованный удобством математического рассмотрения материи, но не гипостазируемый как реальное положение дел в природе.

Еще одним примером подобного рода фикций является целесообразность живых организмов в «Критике способности суждения». Исследуя живые организмы по мысли Канта мы не можем не рассматривать их так, как если бы они были созданы телеологично. Организация частей ради одного целого (в рамках одного организма, вида или природы в целом) требует телеологического объяснения, несмотря на то, что мы знаем, что такая целесообразность не может быть доказана. Эта перспектива необходима для эмпирического исследования, поскольку без нее мы не смогли бы систематически изучать органические явления (одно лишь механическое объяснение никогда не будет для нас удовлетворительным) [1, с. 245–250].

Ну и наконец стоит отметить, что Кант в целом представляет идею природы не как реальный объект, но как регулятивное единство, проектируемое разумом для того, чтобы сделать естественнонаучное знание возможным. Разум требует, чтобы все эмпирические законы были связаны в едином целостном порядке, как если бы исходили из одного высшего принципа. Однако это единство никогда не является актуально данным и представляет собой лишь фиктивный постулат, структурирующий наши эмпирические исследования. Он дает ученому горизонт – направляющий образ природы как упорядоченного целого, – который остается за пределами эмпирической проверки. Поскольку мы имеем дело с регулятивным, а не конститутивным принципом, говоря о систематическом единстве природы, мы определяем этим не природу как таковую, но то, как мы должны мыслить ее, чтобы наука могла продвигаться вперед.

Таким образом, кантовское естествознание может быть рассмотрено как парадигма рационального конструирования, где наука – это не торжество догматической истины над заблуждением, но творческое искусство осознанного и продуктивного использования вымыслов. На мой взгляд, эта файхингеровская оптика рассмотрения Кантовского устройства естественнонаучного знания может быть также успешно экстраполирована на политический проект Канта.

Что можно было бы отнести к политическим фикциям? Самый очевидный пример – это, конечно же, общественный договор. Трактовка этой идеи Кантом в «Метафизике нравов» явно указывает на ее фиктивный характер: первоначальный договор «акт, через который народ сам конституируется в государство» есть «собственно же говоря, лишь идея такого акта, единственно благодаря которому можно мыслить его правомерность» [3, с. 347]. Эта мыслительная конструкция позволяет нам мыслить легитимность прав так, как если бы она вытекала из коллективной воли свободных и равных индивидов. Таким образом, общественный договор функционирует как регулятивная фикция.

Другой центральной фикцией для политического учения Канта является идея вечного мира. В одноименном эссе 1795 года Кант прямо предостерегает от восприятия его как утопического

пророчества, идея вечного мира – это не предсказание будущего, но регулятивный идеал, направляющий человеческие усилия к достижению космополитического порядка, при котором войны между государствами станут невозможными. И здесь есть прямая параллель с «Критикой способности суждения»: для идеи вечного мира необходимо мыслить историю так, как если бы она имела целенаправленное движение (хотя строго говоря, мы должны отрицать подчинение истории имманентной телеологии), как если бы сама природа стремилась к достижению нравственных целей. В «Идее всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» Кант описывает природу как действующую «как если бы» у нее был план, позволяющий полностью развить человеческий разум в рамках гражданского устройства. Эта теологическая перспектива, хотя и является явно вымышленной, создает необходимую основу для политической надежды. Вымысел этой траектории истории поддерживает требование практического разума к совершенствованию, а без него политическое действие утратило бы свою нормативную направленность и скатилось бы в цинизм или отчаяние.

Крайне важным для политической философии в такой перспективе становится кантовский проект Просвещения. Просвещение – это условие, при котором деятельность разума по производству фикций может стать видимой и критически обсуждаемой, таким образом, это историческое проявление того же жеста, который «Критика чистого разума» осуществляет теоретически, превращая догматические идеи в критические фикции. Так, мы можем представить себе политическую философию не как описание положения дел (нормативное или дескриптивное), но как размышление об условиях, при которых разум руководит рассудочным образованием понятий в этой области, и публичный критический анализ системы фикций, которой разум оперирует при размышлении о политике.

Литература

1. Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 5. М: Чоро, 1994a.
2. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 3. М: Чоро, 1994b.
3. Кант И. Метафизика нравов // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 6. М: Чоро, 1994c. С. 224–267.
4. Кант И. Метафизические начала естествознания // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 4. М: Чоро, 1994d. С. 247–372.
5. Vaihinger H. Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche. Leipzig: Verlag von Felix Meiner, 1922.

ПУТЬ К ОТКРЫТОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКЕ: РОССИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В КОНТЕКСТЕ ПОППЕРОВСКОЙ ЛИНИИ ФИЛОСОФИИ НАУКИ(ПАМЯТИ МАРКА НОТТУРНО)

Карл Поппер в интерпретации Марка Ноттурно: какие уроки могут извлечь из этого российская наука и методология?

Марача В.Г.
Кандидат философских наук
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
доцент
E-mail: maratcha@yandex.ru

Аннотация: Марк Ноттурно был самым молодым и любимым учеником Карла Поппера. Он оставался «живым духом Поппера», продолжавшим его идеи и сохранявшим вокруг них атмосферу критических дискуссий, соответствующую его пониманию попперовских принципов. В течение нескольких лет жизни, предшествовавших постигшей его в 2022 году тяжелой болезни, Марк вел международный онлайн-семинар, посвященный наследию Карла Поппера. В данном докладе рассмотрены три «фактора Ноттурно» (сообщество, авторитет и бюрократия), влияющих на степени открытости науки и общества. Это влияние анализируется в трех контекстах: различных трактовок «публикационной активности» ученых, взаимосвязи социальной философии и эпистемологии Поппера, а также интегративной концепции науки, построенной автором с позиции методологического институционализма. Для онтологического обоснования своей интегративной концепции института науки и ответа на вопрос о месте институтов науки и представлений научного сообщества в онтологии автор предлагает конструктивистский апгрейд Теории Трех Миров Карла Поппера на принципах методологического институционализма.

Ключевые слова: сообщество, авторитет, бюрократия, открытое общество, открытость и закрытость науки, публикационная активность, методологический институционализм, интегративная концепция науки.

Karl Popper as Interpreted by Mark Notturno: What Lessons Can Russian Science and Methodology Learn from This?

Maracha V.G.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
National Research Nuclear University MEPhI

Abstract: Mark Notturno was Karl Popper's youngest and most beloved disciple. He remained "Popper's living spirit," continuing his ideas and preserving an atmosphere of critical debate around them, consistent with his understanding of Popperian principles. For several years before his serious illness in 2022, Mark led an international online seminar dedicated to the legacy of Karl Popper. This paper examines three "Notturno factors" (community, authority, and bureaucracy) that influence the degree of openness in science and society. This influence is analyzed in three contexts: different interpretations of scientists' "publication activity," the relationship between Popper's social philosophy and epistemology, and the author's integrative conception of science, constructed from the perspective of methodological institutionalism. To provide an ontological justification for his integrative concept of the institute of science and to answer the question of the place for scientific institutions and the ideas of the scientific community in ontology, the author proposes a constructivist upgrade of Karl Popper's Three Worlds Theory based on the principles of methodological institutionalism.

Keywords: community, authority, bureaucracy, open society, openness and closure of science, publication activity, methodological institutionalism, integrative concept of science.

Марк Ноттурно был самым молодым и любимым учеником Карла Поппера. Он редактировал и готовил к печати две его последних книги [1; 2]. В отличие от других известных учеников Поппера, создавших собственные направления в методологии науки, Ноттурно оставался «живым духом Поппера», продолжавшим его идеи и сохранявшим вокруг них атмосферу критических дискуссий, соответствующую его пониманию попперовских принципов (автор, знавший Марка более четверти века, был всему этому свидетелем). В течение нескольких лет жизни, предшествовавших постигшей его в 2022 году тяжелой болезни, Марк вел международный онлайн-семинар, посвященный наследию Карла Поппера.

С 1990-х годов судьба соединила Марка Ноттурно с нашей страной. Он часто приезжал в Россию и близко подружился с В.Н. Садовским, который был научным редактором переводов работ Поппера, тогда активно издававшимися. А Кира Викторова, одна из аспиранток Вадима Николаевича, даже стала первой женой Марка. Их единственного сына, как нетрудно догадаться, зовут Карл. Последний раз Марк был в Москве в 2018 году и сумел вдохновить идеями Поппера даже студентов и преподавателей Финансового университета, где он был приглашенным докладчиком международной конференции «Системный анализ в экономике», а сверх программы прочел публичную лекцию *"Karl Popper in three nutshells"*.

Отвечая на вопрос, какие уроки могут извлечь российская наука и методология из той интерпретации, которую дал Марк Ноттурно идеям Карла Поппера, необходимо начать с опубликованной в 1997 году в журнале «Вопросы философии» статьи Марка «Открытое общество и его враги: сообщество, авторитет и бюрократия» [3]. В этой работе Ноттурно проецирует характеристики открытого общества на науку, соотнося их с попперовским идеалом науки (который в данном контексте можно определить как *открытую науку*). Показывает он и обратное влияние качества науки на общество: отклонение науки от попперовского идеала (которое, в свою очередь, можно определить как «закрытость») способствует закрытости общества в целом.

Факторами, определяющими «степень закрытости» науки, Ноттурно считает научное сообщество, авторитет и бюрократию. Именно через свое воздействие на науку эти факторы выступают в качестве врагов открытого общества. Здесь важно отметить два момента:

во-первых, эти факторы действуют системно, в комплексе;

во-вторых, эти факторы могут действовать «в обе стороны»: как в направлении повышения степени закрытости общества, так и в обратном направлении повышения степени его открытости.

Примером системного действия трех вышеупомянутых «факторов Ноттурно» выступает «публикационное давление». В работах российских философов науки данный

концепт уже использовался, – например, И.Т. Касавиным [4] и А.О. Костиной [5], – как «принуждение ученого к публикации», порождаемое внешними по отношению к науке факторами, одним из которых является использование «публикационной активности» в качестве показателя результативности научной деятельности. Требование публиковаться в «высокорейтинговых» периодических изданиях вводится и поддерживается научной *бюрократией*, постепенно становясь значимым критерием *авторитетности* публикации, формирующим ее восприятие научным *сообществом* и влияющим на соотношение когнитивных и социальных факторов развития науки [6].

Вопрос о направленности действия трех «факторов Ноттурно» является дискуссионным. В своей рукописи, подготовленной к данной конференции [7], А.М. Орехов однозначно трактует «публикационное давление» как одну из характеристик «закрытой социальной науки», которую следует противопоставлять «открытой социальной науке». По его мнению, публикационное давление как давление авторитетными (хотя в определенном ракурсе можно сказать – «лжеавторитетными») публикациями на других ученых есть специфический признак современного положения российских социально-гуманитарных наук, что может позволить характеризовать последние как «закрытые». В подтверждение этого тезиса А.М. Орехов перефразирует известную метафору Ф. Ницше, говоря о рождении «авторитарности» из духа «авторитетности».

А дальше начинает работать логика Поппера-Ноттурно: «авторитарное» научное сообщество, опираясь на бюрократические механизмы, блокирует свободу научных дискуссий и подрывает дух критического рационализма, что превращает обсуждаемый комплекс трех факторов во «врагов» не только открытой науки, но и открытого общества. Здесь уместно вспомнить о статье В.А. Лекторского [8], посвященной взаимосвязи социальной философии и эпистемологии Поппера. «Между эпистемологией Поппера (включая его философию науки) и его социальной философией (включая его политическую философию) обнаруживаются глубинные связи, – пишет В.А. Лекторский. – Речь не идет о том, чтобы представить его социальную философию в качестве простого приложения идей, разработанных в эпистемологии, и о том, чтобы рассматривать попперовскую философию науки в качестве прямого выражения его социально-политических идеалов. Мне кажется, что плодотворным является понимание обоих главных разделов философии Поппера в качестве растущих из одного корня и взаимодействующих между собой. Этим общим корнем является концепция рациональности» [8, с. 27].

Попперовская концепция рациональности – критический рационализм – «работает» как в эпистемологии и философии науки, так и в социальной философии, определяя общие основания для их взаимодействия. Такими общими основаниями являются следующие *«сквозные» идеи, принципы и процедуры:*

принципы фальсификационизма и фаллибилизма, выражающиеся в *процедурах критических дискуссий,* которые переносятся из эпистемологии в социальную философию;

идея «открытости» общества, которая переносится из социальной философии в эпистемологию и философию науки, порождая представления об *открытости научного сообщества и науки в целом* (здесь можно выделить *свободу, открытость и критический характер дискуссий,* а также *открытость границ науки*).

Если, с учетом сказанного выше, вернуться к вопросу о направленности действия трех «факторов Ноттурно», то ответ оказывается не столь однозначным, как у самого Марка Ноттурно и Андрея Орехова. Ведь наука не может существовать и развиваться без научного сообщества, в котором хотя бы в силу необходимости обучения молодых ученых неустраним фактор авторитета. Все зависит от того, *какими принципами будет руководствоваться научное сообщество для своей внутренней организации и как оно будет определять авторитетность мнений* (и здесь оно может ориентироваться на попперовские принципы критического рационализма).

А потребности управления научной деятельностью, которая в современной науке в значительной степени является коллективной, делают неизбежной научную бюрократию.

И, опять-таки, все зависит от того, *какой* будет эта бюрократия. В этом контексте можно вспомнить о веберовском понятии «рациональной бюрократии», которое вновь отсылает нас к идее рациональности. Можно предположить, что *научная бюрократия, поддерживающая открытость науки, должна быть рациональной в смысле критического рационализма Поппера.*

Обратим внимание, что по своей природе три «фактора Ноттурно» являются *институциональными*. В этом контексте вопрос о направленности действия этих факторов отсылает нас к известным эпистемологическим дискуссиям второй половины XX века между К. Поппером, его учеником И. Лакатосом, с одной стороны, и Т. Куном, с другой. Как было показано автором, развивающим точку зрения *методологического институционализма* [6], само возникновение этих споров стало следствием обнаружения *эффекта «теоретической нагруженности» языка наблюдения,* повлекшего за собой переход философии науки от логического позитивизма к постпозитивизму. Данный эффект переводит спор рационализма и эмпиризма на рефлексивный уровень, где обоснование научного знания уже не может обойтись без *онтологических предположений* (что и приводит к кризису позитивистской идеи освобождения науки от метафизики). Но это ставит под угрозу «надежность» даже самых проверенных знаний: они оказываются беззащитны перед возможностью введения новой онтологии, ведущей к радикальному пересмотру представлений об изучаемых явлениях.

Получается, что если не объективностью, то хотя бы «устойчивостью» научного знания мы обязаны прежде всего *публичному характеру науки, наличию у нее определенной институциональной организации.* Подобная организация сферы науки позволяет научному сообществу осуществлять *процедуры выработки конвенций (соглашений)* по поводу принятия онтологических схем, языков наблюдения, новых методов, их парадигматизации для нужд системы образования и т.д. *Именно эти конвенции, имеющие институциональный характер, в значительной мере определяют границы науки, в том числе онтологические:* что вообще считается возможным с научной точки зрения, а что полагается «ненаучным», какие факты наука принимает к рассмотрению, как проводятся границы между научными дисциплинами и т.д.

Важное место в институциональной организации науки занимают *когнитивные институты,* воспроизводящие процедуры «рациональных дискуссий», ориентированных прежде всего на поиск истины, а не на внешние социальные критерии. Но чисто рациональный (т.е. когнитивно-институциональный) выбор между возможными онтологическими допущениями, «правильными» методами познания, парадигмами, научно-исследовательскими программами и т.п. невозможен – поэтому приходится «легализовать» *влияние на развитие научного знания также и социально-институциональных факторов,* главными из которых как раз являются три «фактора Ноттурно».

С точки зрения методологического институционализма именно вопрос о том, какие роли в организации сферы науки и ее институтов играют когнитивно-институциональные и социально-институциональные факторы, разводит позиции Поппера, Лакатоса и Куна. Для их соотнесения автор предлагает *интегративную концепцию института науки, который является одновременно когнитивным и социальным.* На основе этой концепции строится *модель «суда науки с двойным стандартом аргументации»,* объясняющая механизм смены научных онтологий через «максимы научного консерватизма» и, в этом контексте, различие позиций Поппера, Лакатоса и Куна [6].

Означает ли негативная оценка влияния трех «факторов Ноттурно» на открытость науки и общества самим Ноттурно, что его (а вместе с ним и Поппера) следует рассматривать как «антиинституционалистов» в философии науки? На взгляд автора, вовсе нет! Скорее такую оценку Ноттурно следует рассматривать как критику в адрес *социологического* институционализма Куна, рассматривающего «нормальную науку» в качестве института, а научные революции – в качестве институциональных трансформаций, имеющих чуть ли не иррациональную природу (по Куну парадигмы чаще всего меняются вместе с поколениями ученых). Критический рационализм Поппера и Ноттурно позволяет понять смену парадигм не

как иррациональный, а как *когнитивно-институциональный (то есть вполне рациональный) механизм.* Ведь основные черты науки как когнитивного института сохраняются и при смене парадигм!

В рамках методологического институционализма, в отличие от социологического, автор предлагает *интегративную концепцию института науки, социальный аспект которого соответствует представлениям Куна о «нормальной науке», а когнитивный – представлениям Поппера и Лакатоса.* Но, на первый взгляд, последнее противоречит онтологическим представлениям Поппера. Его Теория Трех Миров, выполняющая функцию онтологии, построена на принципе методологического индивидуализма, соответствующего либеральным взглядам Поппера. Где же в ней место для институтов?

Для онтологического обоснования своей интегративной концепции института науки автор предлагает *конструктивистский апгрейд Теории Трех Миров Карла Поппера на принципах методологического институционализма:* 1) деятельностно-природный мир, где знание соотносится не только с фактами, но и с социальными практиками; 2) социокультурный мир, в котором существуют не ментальные состояния индивидов (как это представлено у Поппера), а институты науки и представления научного сообщества; 3) мир объективного знания как «мир мыследеятельности» [9, с. 25–30].

Литература

1. Popper K. The Myth of the Framework: In Defence of Science and Rationality (ed. by M.A. Notturno), London and New York: Routledge, 1994. 248 p.
2. Popper K. Knowledge and the Mind-Body Problem: In Defence of Interaction (ed. by M.A Notturno), London and New York: Routledge, 1994. 168 p.
3. Ноттурно М. Открытое общество и его враги: сообщество, авторитет и бюрократия // Вопросы философии. 1997. № 11. С. 90–104.
4. Касавин И.Т. Публикация как смерть автора // Цифровой ученый. 2022. т. 5. № 3. С. 6–16.
5. Костина А.О. Добродетельный автор – публикующийся автор? // Цифровой ученый. 2022. т. 5. № 3. С. 17–25.
6. Марача В.Г. Структура и развитие науки с точки зрения методологического институционализма // Методология науки: проблемы и история. М.: ИФРАН, 2003. С. 166–220.
7. Орехов А.М. «Публикационное давление»: насколько современная российская социально-гуманитарная наука является «открытой»? // Рукопись, подготовленная ко Всероссийской конференции «Границы науки / границы в науке». Санкт-Петербург, 2025.
8. Лекторский В.А. Рациональность, критицизм и принципы либерализма: взаимосвязь социальной философии и эпистемологии Поппера // Вопросы философии. 1995. № 10. С. 27–36.
9. Орехов А.М., Платонова С.И., Марача В.Г., Моисеев С.В., Шевченко О.К. Современная социальная онтология в зеркале российской онтологической традиции: дискурсы и интерпретации (под общей редакцией А.М. Орехова). – Королев: «Космос», 2024. 260 с.

Социально-эпистемологические основания философских споров о границах науки

Платонова С.И.
Доктор философских наук
Удмуртский государственный аграрный университет,
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин
E-mail: platon-s@bk.ru

Аннотация: Демаркация науки и вненаучного знания остается важной проблемой в эпистемологии и философии науки. Феномены постправды и фейковых новостей актуализируют вопросы критериев научного знания, специфики научного познания. Эксплицируются социально-эпистемологические основания вненаучного знания. К социальным основаниям вненаучных знаний можно отнести влияние социокультурного контекста, контекстов практики и повседневности. Эпистемологическими основаниями вненаучного знания являются трудности познавательного процесса, связанные с датафикацией, цифровизацией науки, развитием цифровых технологий. Современная наука характеризуется формированием в научных сообществах «эхо-пузырей», «эхо-камер» и персонализированных цифровых фильтров. Представители эпистемических пузырей используют определённые источники информации, ограничивая доступ к альтернативным внешним знаниям. Представители эпистемических камер дискредитируют любые внешние источники информации и знания. Преодоление эпистемических пузырей и эпистемических камер возможно на пути развития доверия и открытой коммуникации в профессиональном научном сообществе.

Ключевые слова: наука, псевдонаука, демаркация, «эхо-камеры», «эпистемические пузыри», основания вненаучного знания.

Socio-Epistemological Foundations Philosophical Disputes about the Boundaries of Science

Platonova S.I.
Udmurt State Agricultural University

Abstract: The demarcation of science and non-scientific knowledge remains an important issue in epistemology and the philosophy of science. The phenomena of post-truth and fake news highlight questions about the criteria of scientific knowledge. The social and epistemological foundations of non-scientific knowledge are explicated. The social foundations of non-scientific knowledge include the influence of the sociocultural context, the contexts of practice, and everyday life. The epistemological foundations of extra-scientific knowledge are the difficulties of the cognitive process associated with datafication, the digitalization of science. Modern science is characterized by the formation of "echo bubbles," "echo chambers," and personalized digital filters within scientific communities. Representatives of epistemic bubbles rely on specific sources of information, limiting access to alternative external knowledge. Representatives of epistemic chambers discredit any external sources of information and knowledge. Overcoming epistemic bubbles and epistemic chambers is possible through the development of trust and open communication within the professional scientific community.

Keywords: science, pseudoscience, demarcation, "echo chambers", "epistemic bubbles", foundations of pseudoscience.

В современном цифровом обществе, где ведущая роль отводится информационно-коммуникационным технологиям, становится все труднее отличить научное знание от вненаучного, истину от фейка, знание от мнения. Неслучайно концепт «постправда» является одним из наиболее востребованных понятий в последнее время. В этом понятии схвачены особенности функционирования современных знаний, зачастую представляющих интеграцию знания и эмоций, рационального и иррационального, теоретического и повседневного знания.

Н. Штер формулирует «парадокс экономики знаний», заключающийся в противоречивости современной науки. «С одной стороны, знание является общественным благом, или товаром, выведенным за пределы конкуренции … С другой стороны, в силу частной собственности на знание оно используется фирмами-суперзвездами для укрепления своего монополистического положения на рынке и умножения собственного интеллектуального капитала» [1, с. 321]. И.Т. Касавин соглашается с выводами немецкого философа о том, что знание в современном мире порождает неопределённость и случайность: будучи по своей природе эгалитарным и демократическим, знание все более концентрируется крупными фирмами, монополизирующими собственность на знание. Знание – сложный и противоречивый феномен, который имеет как положительные, так и отрицательные характеристики [1].

Сложность и противоречивость научного знания заключается в том числе в том, науку всегда сопровождает вненаучное знание, включая псевдонаучные теории и концепции. Необходимо отметить, что демаркация науки от вненаучного знания являлась и является очень серьезной проблемой на протяжении всего существования науки, однако особую актуальность данная проблема приобрела в XX веке. В течение XX века было предложено несколько критериев разграничения научной и вненаучных форм знания. В числе этих критериев следует указать на критерий верификации, предложенный представителями Венского кружка в 20-х гг. XX века. Еще одним критерием демаркации науки от ненауки является критерий фальсификации, предложенный К. Поппером. К. Поппер критикует критерий верификации по нескольким причинам. В частности, не все научные теории могут быть проверены на истинность с помощью подтверждаемости на опыте. Неверифицируемыми являются, например, математические теории, исторические концепции. «Научные теории никогда не могут быть полностью оправданы и верифицируемы» [2, с. 68]. Еще одной причиной недостатка метода верификации является асимметрия между верифицируемостью и фальсифицируемостью научной теории.

В течение второй половины XX века учеными предлагались иные критерии демаркации науки от ненауки. Методология исследовательских программ, предложенная И. Лакатосом, подчеркивала связь и преемственность теорий; при этом, если новая теория обладала большей объяснительной, прогностической силой, чем ее предшественница, то новая теория считалась теоретически и эмпирически более прогрессивной, чем ее предшественница. Однако прогрессивность теории была поставлена под сомнение, например, Л. Лауданом, полагавшим, что прогресс может наблюдаться и в ненаучных знаниях, а в науке возможны периоды относительного застоя [3]. В концепции В.А. Бажанова важно указание, что науку и псевдонауку можно отличить по используемым ими методам: «Именно методы получения нового знания задают ключевые признаки и науки, и ненаучного знания» [4, с. 16].

Напрашивается вывод, что критерий демаркации четко и однозначно не определен. Однако можно утверждать, что критерий демаркации должен быть комплексным, системным, включать как уже предложенные ранее критерии верификации и фальсификации, так и критерии, подразумевающие воспроизводимость экспериментов, использование научной методологии, прогностические возможности научной теории, репутацию ученого в научном сообществе.

Каковы причины роста популярности вненаучного знания, фейкового знания, псевдонаучных теорий? Можно выделить, по нашему мнению, ряд оснований, важнейшими из которых являются социальные и эпистемологические основания.

К социальным основаниям функционирования и развития вненаучного знания относятся особенности науки как социального института. Начиная с XVII века, когда ученые объединяются в профессиональные научные сообщества, увеличивается барьер между малообразованными слоями населения и учеными, представлявшими довольно немногочисленную прослойку. На науку влияют многообразные вненаучные контексты: контекст практики и повседневности, социокультурный контекст [5]. В рамках этих контекстов оказывается влияние на науку со стороны государства, разного рода идеологических программ, обыденных потребностей и представлений людей. В рамках социокультурного контекста выделяют как прямые, непосредственные формы влияния (например, социальный заказ), так и опосредованные, латентные (например, представления о научных методах, целях и ценностях науки [5, с. 61]. Контекст практики и повседневности ориентирует науку на решение стоящих перед обществом задач. Практика и повседневные потребности людей направлены на стирание границ между наукой и вненаучным знанием, на сближение научного знания с обыденными представлениями людей.

Эпистемологическими основаниями распространения вненаучного знания, начиная с античности, являются трудности познавательного процесса. В информационном обществе некритическому восприятию и популяризации псевдонаучного знания способствует, по нашему мнению, феномен «эхо-камер» [6; 7]. Эхо-камеры – это «фактически замкнутые коммуникативные пространства, образованные посредством объединения людей со сходными взглядами (в широком смысле) и эмоциями, сопутствующими этим взглядам» [6, с. 154]. Эхо-камеры не принимают альтернативную точку зрения, внешние рациональные аргументы рассматриваются как иррациональные, любая внешняя критика является нетерпимой. В таких условиях люди, попавшие в подобную «эхо-камеру», могут стать приверженцами псевдонаучных теорий, так как отсутствуют возможности критического анализа и разбора этих теорий.

Для более полного понимания эпистемологических оснований вненаучного знания воспользуемся предложенным американским философом К. Тхи Нгуен (C. Thi Nguyen) анализом различий между эхо-камерами и эпистемическими пузырями [7]. Эпистемические пузыри – это эпистемологическая структура, в которой используются определённые источники информации, а другие голоса просто не слышны. Эпистемический пузырь является непрочной структурой, он легко создается и так же легко может исчезнуть. Эпистемический пузырь основан на ограниченном потоке информации, отсечении альтернативных аргументов. Более жесткой, долговременной и устойчивой структурой являются эхо-камеры. «В эхо-камерах другие голоса активно подрываются и дискредитируются» [7, p. 2]. «Эхо-камера – это эпистемологическое сообщество, которое создает значительное неравенство в доверии между членами и нечленами» [7, p. 6]. По мнению автора, эхо-камера представляет серьезную угрозу, дискредитируя взгляды, учреждения, теории, которые не вписываются в систему знаний и ценностей, циркулирующих в определенной эхо-камере.

Для функционирования эхо-камер и эхо-пузырей существуют объективные причины состояния современной науки, связанные с усиливающейся специализацией и дифференциацией научного знания. Быть специалистом во всех областях науки невозможно, поэтому возрастает значимость доверия к профессиональному мнению, выходящему за пределы собственной компетенции. В статье С. Бланке (Blancke) и М. Будри (Boudry) «Псевдонаука как негативный результат научного диалога: прагматично-натуралистический подход к проблеме демаркации» (2021) есть прямое указание на то, что важным аспектом науки является доверие к коллегам. «В своих исследованиях ученые никогда не начинают с нуля, а скорее опираются на достижения своих предшественников и коллег» [8, p. 187].

Рассмотренные понятия «эпистемический пузырь» и «эхо-камера» дополняются понятием «персонализированный фильтр» [9]. Как считает Э. Паризер, «персонализированные фильтры незримо преобразуют мир, который мы воспринимаем, контролируя то, что мы видим и чего не видим. Они вмешиваются во взаимодействие между нашими мыслительными процессами и окружающей средой» [9, с. 94]. Стена фильтров «искажает восприятие

человеком мира и информации. Человек получает информацию, с которой он уже знаком и которая убеждает его в правильности его идей и мыслей. Кроме того, персонализированные фильтры устраняют информацию, которая может побудить к творчеству, к освоению нового» [10, с. 18]. Когнитивный механизм работы эпистемических пузырей, эхо-камер, персонализированных фильтров схож. Это отсечение нового, некритическое восприятие удобной и понятной информации, сокращение разнообразия, ограничение мыслительного пространства. Герметичная эхо-камера является наиболее устойчивой и агрессивной по отношению к другим идеям, взглядам, теориям эпистемической структурой, создающей условия для развития и функционирования вненаучных форм знания.

Таким образом, в рамках вненаучных концепций не работают критерии научности знания (верификация, воспроизводимость эксперимента, результативность, объективность, критицизм). Подобные концепции наносят существенный урон функционированию и развитию научного знания. Во-первых, подвергаются дискредитации научные теории и, в дальнейшем, их развитие может быть приостановлено. Во-вторых, блокируются ценности рациональности, критического мышления, образования. Преодоление распространения псевдонаучного знания возможно на пути развития доверия внутри профессионального научного сообщества и формирования открытой науки.

Литература

1. Касавин И.Т. Общество знания: миграционный дискурс в плену капитала // Социологическое обозрение. 2024. Т. 23. № 3. С. 314–325.
2. Поппер К. Логика научного исследования // Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 33–235.
3. Laudan L. The Demise of the Demarcation Problem. In: R. Cohen, L. Laudan (eds.) Physics, Philosophy and Psychoanalysis. Boston Studies in the Philosophy of Science. 1983. Vol. 76. P. 111–128.
4. Бажанов В.А. Как возможны псевдонауки? Еще раз о вечнозеленой философской проблеме // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 6–22.
5. Колпаков В.А. Социально-эпистемологические проблемы современного экономического знания (экономическая наука эпохи перемен). М.: «Канон+» РОИИ «Реабилитация», 2008. 208 с.
6. Бажанов В.А. Особенности познавательных механизмов в информационную эпоху: «эхо-пузыри» и «эхо-камеры» // Философский журнал. 2022. Т. 15. № 4. С. 152–164.
7. Nguyen C. Echo chambers and epistemic bubbles // Episteme. 2018. Vol. 17. No. 2. P. 1–21.
8. Blancke S., Boudry M. Pseudoscience as a Negative Outcome of Scientific Dialogue: A Pragmatic-Naturalistic Approach to the Demarcation Problem // International Studies in the Philosophy of Science. 2021. Vol. 34. No. 3. P. 183–198.
9. Паризер Э. За стеной фильтров. Что Интернет скрывает от вас? / Пер. с англ. А. Ширикова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 304 с.
10. Платонова С.И. Парадигмальные сдвиги в социальном знании // Вестник Вятского государственного университета. 2024. № 1(151). С. 14–22.

Поппер о свободе и свободе личности в контексте открытого и закрытого общества

Рахимов М. Х.

Доктор философских наук
Таджикский технический университет им. М. Осими
профессор Кафедры общественных наук
E-mail: Rakhimov55@mail.ru

Аннотация: в статье рассматривается концептуальные идеи К. Поппера, посвященные проблемам свободы и свободы личности в условиях открытого и закрытого общества. В ней также большое внимание уделяется место и роли личности в гражданском обществе. Свою теорию о свободе под эгидой государства Поппер называет «протекционизмом», включающий в себя элементы либерализма, с одной стороны и вмешательство государства - с другой. Важно учесть, что система образования должна в определенной мере находиться под опекой государства, поскольку дети не в состоянии еще защитить свое право на свободу. В обязанность государства входит задача сделать образование доступным для всех. Необходимо следить за тем, чтобы контроль государства не перерос в идеологическую узду для промывания мозгов». Не менее важным представляется анализ со стороны Поппера взаимоотношения коллективизма и индивидуализма. Он выступает против идеи Платона, ратующий за полное подчинение индивида интересам целого, имея ввиду государство, род, раса, или иное социальное образование.

Ключевые слова: личность, свобода, гражданское общество, индивидуализм, коллективизм, тоталитаризм, протекционизм.

Popper on freedom and individual liberty in the context of open and closed societies

Rakhimov M. Kh.
Tajik Technical University named after M. Osimi

Abstract: This article examines Karl Popper's conceptual ideas on the problems of freedom and individual liberty in open and closed societies. It also focuses on the place and role of the individual in civil society. Popper calls his theory of freedom under the auspices of the state "protectionism," which includes elements of liberalism on the one hand and state intervention on the other. It is important to note that the education system must, to a certain extent, be under the supervision of the state, since children are not yet able to defend their right to freedom. It is the state's responsibility to make education accessible to all. It is necessary to ensure that state control does not turn into an ideological straitjacket for brainwashing. Equally important is Popper's analysis of the relationship between collectivism and individualism. He opposes Plato's idea of the complete subordination of the individual to the interests of the whole, meaning the universe (world), state, family, race, or other social entity.

Keywords: personality, freedom, civil society, individualism, collectivism, totalitarianism, protectionism

От закрытого к открытому обществу

В примечании к «Введению» своего произведения Поппер следующим образом определяет термины «закрытое» и «открытое» общество: «Закрытое общество характеризуется верой в существование магических табу, а открытое общество в моем понимании представляет собой общество, в котором люди (в значительной степени) научились критически относиться к табу и основывать свои решения на совместном обсуждении и возможностях собственного интеллекта» [1, с. 251].

Рождение западной цивилизации, так же, как и появление первых демократических институтов по праву принадлежит грекам. Благодаря их жизнедеятельности племенные магические табу и институты, основанные на коллективистской племенной традиции и групповой ответственности, стали заменяться законами государства, где все большую роль стали играть личностное решение и личная ответственность человека за возможные последствия своих действий.

Именно в «рациональной рефлексии» личности Поппер видит принципиальное различие этих двух типов общества, определяя соответственно племенное или коллективистское общество как «закрытое общество», а общество, строящее свои отношения на рациональных личных решениях и личной ответственности индивидуумов, – открытым обществом.

В отличие от закрытого общества, важнейшей характеристикой открытого общества, полагает Поппер, выступает конкуренция среди его членов за статус в обществе, т.е. стремление подняться по социальной лестнице и занять места других членов. Это создает определенное напряжение в обществе и может привести к классовой борьбе. В закрытом обществе практически отсутствует практика конкуренции в силу того, что его институты, такие как кастовая система, наделены священной санкцией – табу.

По своему значению переход от закрытого к открытому обществу знаменовал собой величайшую революцию в истории человечества, которая не только не завершилась в настоящее время, но и находится все еще на начальной стадии своего развития. В результате этой духовной революции, которая означала торжество критического мышления и освобождения человека от пут родоплеменных связей, стало возможным возникновение нового индивидуализма.

Два фактора – торговля и мореплавание – по мнению Поппера стали главной причиной, которые привели в V в. до н.э. к краху древнегреческого закрытого общества и становлению демократических Афин. Смена форм жизнедеятельности, вызванная вышеуказанными процессами и подрывом племенных институтов, востребовала иную форму активности – коммерческую деятельность, благодаря которой стали развиваться индивидуальная инициатива, самостоятельность и автономность личности.

Провозвестником новой наступившей эры индивидуализма и открытого общества наряду с социально-экономическими факторами предстала и философия в лице ее выдающегося представителя Сократа, который внес огромный вклад в отстаивание достоинства личности. Его этическое учение о душе, по сути, есть не что иное как теория индивидуализма открытого общества. Несмотря на свою критическую настроенность против демократии и демократических лидеров, он, тем не менее, в глубине души оставался наиболее верным приверженцем открытого общества и демократии. Наиболее ярко кредо индивидуализма Сократа, по мнению Поппера, проявляется в его интеллектуализме, т.е. признании человеческого разума в качестве божественной сущности человека, значимости интеллектуальной скромности и самокритики, особенно в его теории справедливости и постулате, провозглашающем, что «лучше быть жертвой несправедливости, чем самому причинить ее другим». Моральное учение о душе Сократа, полагает ученый, было направлено против самоудовлетворенности и самодовольства. Человек является не просто суммой желаний и потребностей. Достоинство человека образует прежде всего его разум, интеллект, а также доброта, человечность, любовь к истине, красоте и благу, которые позволяют ему быть самодостаточным индивидуумом и дают ему право претендовать на статус цели самой по себе.

Сократовская поговорка «Заботьтесь о своих душах» является выражением морального (интеллектуального) индивидуализма личности, призывающей ее к интеллектуальной честности. Поппер убежден, что идея, выраженная в поговорке «Заботьтесь о своих душах», тесно связана с индивидуалистической теорией моральной самодостаточности добродетельного человека. Самодостаточность на языке Сократа означала: «Если можно уничтожить тело добродетельного человека, то нельзя разрушить её моральную целостность. Если последняя есть главная забота человека, то никто не может причинить ему никакого реального вреда». В другом своем изречении: «Познай самого себя», – Сократ предупреждает об интеллектуальной ограниченности человека. Поэтому Сократа по праву можно считать основателем «открытого общества».

Свобода личности и государство

Как известно, отношение государства к своим гражданам и, наоборот, обязательства последних перед своим государством во многом зависят от степени свободы или несвободы,

которыми наделены или во всяком случае пытаются завоевать в ходе своей борьбы его подданные. Рациональный подход к проблеме свободы, согласно Попперу, должен состоять в ряде политических требований к государству и выяснении его целей со стороны ученого (или, по выражению Поппера, «социального технолога»). Но прежде, чем выдвигать основные политические требования людей, следует задаться вопросом: «Почему мы предпочитаем жить в хорошо организованном государстве, а не без государства, т.е. в анархии? Поэтому, прежде чем строить или реформировать какой-либо политический институт, ученому следует ответить на указанный вопрос, т.е. начать рассматривать политические проблемы с позиций совершенно ясной и определенной цели.

Поппер полагает, что с точки зрения гуманиста ответ мог бы быть сформулирован следующим образом: «Я требую, чтобы государство защитило не только меня, но и других. Я требую, чтобы оно защитило свободу – и мою собственную, и всех окружающих людей. Я не хочу жить милостью тех, у кого тяжелее кулаки и кто лучше вооружен. Другими словами, я хочу, чтобы меня защитили от агрессии со стороны других людей. Я хочу, чтобы разграничили агрессию и оборону, и хочу, чтобы оборону поддерживала организованная сила государства…» [1, с. 148–149].

При этом личность должна пойти на определенные уступки и согласиться с тем, чтобы государство в определенной степени ограничило ее свободу действий при условии, что индивиду будут гарантированы защита оставшейся части свободы: «Ведь я знаю, – говорит от имени своего безымянного гуманиста Поппер, – что некоторые ограничения моей свободы необходимы. Например, я должен отказаться от «свободы» нападать, если я хочу, чтобы государство обеспечивало оборону от любых нападений. Однако я требую, чтобы не забывали об основной цели государства, а именно о том, что следует защищать свободу только тех граждан, которые не причиняют вреда другим. Таким образом, я требую, чтобы государство ограничивало свободу граждан по возможности одинаково, причем эти ограничения не должны превышать того, что необходимо для достижения такого равенства» [Там же].

Однако есть мнения, полагает Поппер, которые скептически относятся к возможности «ясно и определенно сформулировать цели государства относительно свободы». Например, допущение самой мысли об ограничении свободы подрывает, мол, принцип свободы. И вопрос о необходимости и произвольности ограничения свободы решает, по мнению сторонников этой точки зрения, не разум, а авторитет.

Проблема свободы возникает тогда, считает Поппер, когда смешивают основные цели государства относительно свободы и некоторые технологические трудности, возникающие на пути к этой цели. Одна из этих проблем состоит в определении степени свободы граждан, остающейся в их распоряжении, и той ее части, которую призвано защитить государство. Опыт демократических государств показывает, что эту степень можно приблизительно определить. Хотя ученый понимает, что порой трудно определить, где кончается свобода и начинается преступление, на это возражение он отвечает известной притчей о хулигане, утверждавшем, что, будучи свободным гражданином, он может двигать своим кулаком в любом направлении, на что судья мудро ответил: «Свобода движения вашего кулака ограничена положением носа вашего соседа» [1, с. 150].

Свою теорию о свободе под эгидой государства Поппер называет «протекционизмом», включающим в себя элементы либерализма, с одной стороны, и вмешательство государства – с другой. Поппер убежден, что «либерализм и вмешательство государства не противоречат друг другу – напротив, свобода, очевидно, невозможна, если ее не гарантирует государство» [там же].

В завершении раздела своей книги Поппер, возражая противникам протекционизма, которые ратовали за то, чтобы государство взяло на себя заботу о нравственности граждан и использовало свою власть не столько для защиты свободы граждан, сколько для контроля за их моралью, предупреждает их о последствиях такого подхода. Принятие такого рода требования служит не совершенствованию нравственности, а ее разрушению, заменив личную ответственность коллективной безответственностью личности. С позиций гуманиста-индивидуалиста мораль государства (если таковая вообще существует) как правило

значительно ниже морали среднего гражданина. Поэтому, желательнее, отмечает Поппер, чтобы граждане контролировали государство, а не наоборот» [там же]. В конечном счете Поппер настаивает на том, чтобы сделать моральной политику, а не политизировать мораль.

Таким образом, Поппер, учитывая политический опыт предшествующих эпох, приходит к выводу, что свобода должна быть ограничена со стороны государства. Неограниченная свобода может обернуться в свою противоположность, которая была известна еще со времен Платона как «парадокс свободы». Суть данного парадокса заключается в том, что «свобода сама себя упраздняет, если она не ограничена. Неограниченная свобода означает, что сильный человек свободен запугать того, кто слабее, лишить его свободы» [2, с. 145]. Поэтому требование ограничения свободы государством должно осуществляться в той мере, чтобы свобода каждого человека была защищена законом, т.е. государство должно каждому члену общества предоставить право на защиту. Подобного мнения придерживался и Кант, настаивавший на том, чтобы свобода каждого человека была ограничена, но не далее тех пределов, которые необходимы для обеспечения равной степени свободы для всех. [2, с. 56]. Для либерально мыслящих людей важно помнить, что в условиях демократии неограниченная свобода представляет собой угрозу как для личности, так и для справедливого устройства государства. Поэтому по вопросу о парадоксе свободы Поппер согласен со своим главным оппонентом Платоном, заявившим, что «чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для государства обращается не во что иное, как в чрезмерное рабство» (цит. по [1, с. 328]). Эти идеи, высказанные Платоном в несколько ином ракурсе, тем не менее не потеряли свою актуальность и в настоящее время. Когда мы становимся свидетелями того, как в маску «демократии» облачаются деспотические режимы, то убеждаешься в проницательности Платона: «Тирания возникает, конечно не из какого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство» (цит. по [1, с. 328]).

Ратуя за свободу личности, Поппер выступает против коллективистских установок, особенно против идеи Платона о полном подчинении индивида интересам целого, имея в виду государство, род, расу или иное социальное образование.

Таким образом, можно заметить, что большинство ценностей западной демократии (такие, например, как развитие традиций гражданского общества, свобода слова и вероисповедания, развитие идей парламентаризма и т.д.) были взращены на почве трудов западных ученых и философов. Особенно следует отметить философию экзистенциализма, неопозитивизма, постмодернизма и других влиятельных школ и направлений западной философско-антропологической мысли.

Литература

1. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. I. М.: Феникс, 1992. 448 с.
2. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. II. М.: Феникс, 1992. 528 с.
3. Ноттурно М. Открытое общество и его враги: сообщество, авторитет и бюрократия // Вопросы философии. 1997. № 11. С. 90–104.
4. Рахимов М.Х. Философская антропология. Душанбе: Ирфон, 2017.

Особенности социальной науки и проблемы свободного циркулирования научной информации в переходе от модерна к фьючекультуре

Розин В.М.

Доктор философских наук
Институт философии РАН
Главный научный сотрудник
E-mail: rozinvm@gmail.com

Аннотация: Раскрыты понятие социальности как своего рода эквивалент понятия «социальной природы» и шесть особенностей (постоянных характеристик) социальности, которые должны быть дополнены анализом уникальных исторических изменений. Для этого выделены шесть этапов развития европейской социальности. Опираясь на эти концептуальные рамки, автор отвечает на вопрос: как в настоящее время можно помыслить социальное действие и что означает утверждение Дж. Ритцера, что всегда можно улучшить социальную жизнь? В этом контексте автор рассматривает принцип свободного и открытого доступа к знаниям как общее место научного мировоззрения и показывает, как переход к следующей «большой культуре» («фьючекультуре») вызвал социальные и идеологические конфликты, препятствующие свободному обмену научной информации. По мнению автора, проблема свободного обмена и циркулирования информации в настоящее время тесно связана, с одной стороны, с бурным развитием цифровых технологий, особенно Интернета и ИИ, с другой – необходимостью обновления и формирования новых принципов и концепций социальности.

Ключевые слова: социальность, этапы развития европейской социальности, модерн, фьючекультура, доступ к знаниям, обмен и циркулирование информации, цифровые технологии, ограниченность познавательных возможностей

Features of social science and problems of free circulation of scientific information in the transition from modernity to future culture

Rozin V.M.
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Abstract: The concept of sociality is explored as a kind of equivalent to the concept of "social nature" and six features (constant characteristics) of sociality, which should be complemented by an analysis of unique historical changes. For this purpose, six stages of the development of European sociality are identified. Based on this conceptual framework, the author answers the question: how can social action be conceived today and what does J. Ritzer's assertion that social life can always be improved mean? In this context, the author examines the principle of free and open access to knowledge as a commonplace in the scientific worldview and demonstrates how the transition to the next "great culture" ("future culture") has given rise to social and ideological conflicts that hinder the free exchange of scientific information. According to the author, the problem of the free exchange and circulation of information is currently closely linked, on the one hand, to the rapid development of digital technologies, especially the Internet and AI, and on the other, to the need to update and develop new principles and concepts of sociality.

Keywords: sociality, development stages of European sociality, modernity, future culture, access to knowledge, exchange and circulation of information, digital technologies, limited cognitive abilities

1. Все чаще для обозначения предельной социологической онтологии используют понятие «социальность». Для меня понятие социальности – своего рода эквивалент понятия «социальной природы». Под социальностью я понимаю «совместную жизнедеятельность людей» в культуре, ставшую предметом работы по улучшению качества этой жизнедеятельности. Если иметь в виду теоретический план, т.е. социальность как «идеальное построение» (как онтология, задающая принципы конструирования идеальных объектов в социологии), то это, с одной стороны, искусственное образование, артефакт, который

создают люди, с другой – образование естественное, складывающееся не только под влиянием «социального строительства» (социального действия), но и природы социальных явлений.

2. Перечислю особенности социальности. Первая характеристика. В отличие от психологов, изучающих индивидов и личность, социологи изучают массовое поведение людей (групп, сообществ, общества) в рамках установленного социального порядка (в либерально-демократических государствах он задается социальными институтами и правом). Вторая характеристика. Начиная с античной культуры социальность истолковывается не только в дискурсе управления и власти, но и правильности, под которой понимается такой социальный порядок, который работает на благо граждан, отвечает представлению о социальной справедливости. Третья характеристика. Своеобразие социальности не в последнюю очередь задается оценкой социальности (по критериям «справедливо – несправедливо», «соответствие – несоответствие», в последнем случае некоторому идеалу или образцу) и связанной с этой оценкой установкой на социальное действие. Четвертая характеристика. Позитивистски ориентированная социология рассматривает социальность неисторически, только как феномен модерна, правда, другие направления социологии признают исторический контекст развития социальности, но, считают, что человек во все времена остается тем же самым (в этом отношении это то же вариант антиисторического подхода).

В модерне государство и общество берут на себя задачи, которые раньше пытались решить философы и политики, а именно способствовать развитию социальности в правильном направлении (улучшать жизнь населения, обеспечивать благосостояние, проводить в жизнь общечеловеческие и гуманистические ценности). Пятая характеристика: социальность как популятивный (множественный) феномен. В настоящее время социальную жизнь невозможно понять, не учитывая взаимосвязь и взаимовлияние в мире разных форм социальности. Шестая характеристика – сингулярный план эволюции европейской социальности. Как культурно-исторический феномен социальность не только законосообразна, но и сингулярна, т.е. в ее становлении и развитии можно различить, во-первых, смены строения (целого), как правило, совпадающие с завершением одних (предыдущих) культур и становлением других (последующих), во-вторых, закономерности (один из примеров указанные здесь характеристики), в-третьих, уникальные изменения (сингулярность, это то, что имеет место один раз). Следовательно, охарактеризовать историческую трансформацию социальности невозможно, указывая только приведенные здесь характеристики. Они должны быть дополнены анализом уникальных исторических изменений.

3. Первый этап развития европейской социальности – строительство либерально-демократического государства (главенствование общества). Переход ко второму этапу (это две мировые войны) был связан с усугубляющимся неравенством (богатые и бедные), борьбой социалистических партий и стран против капитализма, доминированием националистических концепций государства, получение власти сообществами, вдохновленными этими националистическими или социалистическими концепциями. Война позволила властным сообществам не только мобилизовать граждан на борьбу с врагами (одновременно лишив их значительной части свободы), но, что не менее важно, временно или надолго подчинить общество государству.

Для третьего этапа развития европейской социальности (после второй мировой войны и примерно до конца XX столетия) характерны не только борьба двух мировых лагерей и экспансия капитализма на Восток, страны Африки и южной Америки, но и попытка развитых капиталистических государств создать общество благосостояния. Однако, развитие социальности в таком направлении привели к резкому увеличению бюрократии и нарушило экономический баланс. В результате общество начинает выступать против сложившейся практики, отчасти, возвращаясь к предыдущему классическому этапу развития капитализма.

Четвертый этап развития европейской социальности можно квалифицировать как «завершение новоевропейской социальности». К нему можно отнести также процессы становления новой социальности. Как правило, такие процессы связаны с трендами

социальных изменений (кризис социальных институтов, конвергенция концепций социализма и капитализма, становление новой системы ценностей, права и общественной морали и др.). Завершение новоевропейской социальности идет по двум линиям: трансформируется и теряет доминирование государство, меняется, и существенно, общество.

4. Как в настоящее время можно помыслить социальное действие и что означает утверждение Дж. Ритцера, что всегда можно улучшить социальную жизнь? Если принять концепции З. Баумана и Б. Латура, то улучшить жизнь можно только вместе с теми, кого эта жизнь касается; кроме того, улучшение всегда будет проблематичным в силу того, что мы по-настоящему не знаем природу социальности (ее границ, целого, назревающих сингулярных изменений). По сути, Бауман призывает социологов не только более осторожно формулировать закономерности социальности, признавая гуманитарную природу социологического исследования и действия, но и признать по отношению к социальности ограниченность познавательных возможностей и связанных с ними модернизаций.

5. Свободный и открытый доступ к знаниям – общее место научного мировоззрения. Но переход к следующей «большой культуре» («фьючекультуре») вызвал социальные и идеологические конфликты, препятствующие свободному обмену научной информации. Здесь действует много факторов: обособление научных аудиторий и контроль над ними государства, идеологические, например исторические, истолкования (интерпретации) научной информации, создание ложной научной информации (фэйки, дезинформация, концепции заговоров и пр.), возрастающая сложность содержания, блокирующая понимание, или наоборот, нарочитая упрощенность, граничащая с мифами и т.п.

6. Проблема свободного обмена и циркулирования информации в настоящее время тесно связана, с одной стороны, с бурным развитием цифровых технологий, особенно Интернета и ИИ, с другой – с необходимостью обновления и формирования новых принципов и концепций социальности. В понимание социальности фьючекультуры, на наш взгляд, должна входить и новая концепция «Спасения» жизни на нашей планете, что предполагает не только рациональные картины мира и предложения, но и манифесты, выполненные в модальности духовно-эзотерических дискурсов. Наука ближайшего будущего мыслится необычной: на первый план выйдут социально-гуманитарные дисциплины, ведомые обновленной философией, на которую, в свою очередь, серьезно повлияют методология и эзотерика.

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА: ИХ ГРАНИЦА И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Наука и эзотеризм в общем пространстве веры и знания

Белоногов И. Н.
Кандидат философских наук
Независимый исследователь
E-mail: Ligneofflyight@gmail.com

Аннотация: Данная работа посвящена выведению таких теоретических предпосылок для изучения отношений науки и других дисциплин, на примере её отношений с эзотеризмом, которые не будут содержать себе презумпций о привилегированности одной из исследуемых областей. Для это, в начале, предлагается альтернативное прочтение отношений между верой и знанием, выводящее их из оппозиционного положения и предполагающее их совместное функционирование в виде двух измерений: знание как формальная сторона идей и вера как их интенсивность для носителя. Следующим шагом выделяется теоретический конструкт, общий как для науки, так и для эзотеризма, позволяющий, тем самым, мыслить их отношения в едином пространстве, внутри которого вновь могут быть определены их различия. В качестве заключения указывается, что такой взгляд не только позволяет рассматривать отношения науки и эзотеризма не отдавая предпочтение одной из областей, но также дает возможность с той же детальностью исследовать пограничные области, где имеет место смешение науки и эзотеризма.

Ключевые слова: Наука, эзотеризм, эволюционная эпистемология, вирусологическая эпистемология, эгрегоры, STS

Science and esotericism in the common space of faith and knowledge

Belonogov I. N.
Independent Researcher

Abstract: This paper is devoted to developing theoretical premises for studying the relationship between science and other disciplines, using esotericism as an example, that avoid presumptions about the privilege of one of the areas under study. To this end, it first proposes an alternative reading of the relationship between faith and knowledge, removing them from their oppositional position and assuming their joint functioning as two dimensions: knowledge as the formal aspect of ideas and faith as their intensity for the bearer. The next step is to identify a theoretical construct common to both science and esotericism, thereby allowing us to conceptualize their relationship within a single framework within which their differences can be further defined. It concludes by noting that this perspective not only allows us to examine the relationship between science and esotericism without prioritizing one area over the other but also enables us to explore with equal detail the borderlands where science and esotericism intermingle.

Key words: Science, esotericism, evolutionary epistemology, virological epistemology, egregors, STS.

Вопрос о границах науки, одновременно с задачей решить проблему ее демаркации, взывает и к проблеме единства знания – каким образом выделить науку в культурном поле вмещающем и все остальные феномены, будь то искусство или религия, так, чтобы линия демаркации не превращалась в барьер, делающей науку «закрытой» от других социальных феноменов?

Плодотворным для исследования этого вопроса представляется рассмотрения случая отношений науки и эзотеризма, поскольку эзотеризм, в отличие от религии, далеко не всегда противопоставляет себя науке в плане метода (так, оккультист Алистер Кроули настаивал на использовании научного подхода в «магических» практиках [5]), но в тоже время включает в себе фактор «веры», который является одним из фундаментом противопоставления науки и религии («знание» науки против «веры» религии). Потому, сразу поставим этот вопрос с другой стороны – со стороны академического исследования эзотеризма: методологическая проблема при исследовании оккультных сообществ, которую ставит Дейв Эванс, заключается в том, что «именно присутствие веры и влияние этой веры на человека и мир, а не вероятность ее правильности (суждение о которой всегда рефлексивно в любом случае) имеет отношение к записи истории магии» [3, с.64], в связи с этой необходимостью – учитывать фактор веры, поскольку от нее и ее градаций зависит как социальное поведение представителей оккультного сообщества, так и их практика, часто намеренно направленная на повышение своей убежденности, или, как в случае с магией хаоса, работа по смене своих убеждений – Эванс ищет подходящую методологию. Примером такой методологии является для него миметика, однако, ее возможности всё же оказываются, по его мнению, недостаточными.

Таким образом, возникает необходимость выйти из оппозиции «веры/знания», поскольку она, во-первых, затушевывает многие важные моменты как научной практики (ученому психологически необходимо во что-то верить, поскольку лишь так он может быть внутренне мотивирован к научному исследованию), так и эзотерической (покуда влияние эзотеризма как «прото-науки» имело место (к примеру, в виде превращения алхимии в химию)), следовательно, в нем также стоит вопрос и производстве определенного знания); во-вторых, такое разграничение не позволяет ввести измерение интенсивности веры – фактор, который важен не только для исследований эзотеризма, но и для научной практики, ибо в нее так же необходимо рефлексировать степень собственной уверенности, как вопросе достоверности собственных выводов, так и для задачи сохранения научного скептицизма в противоположность фанатичной вере.

Это задача легко решается при обращении к концепции Юма, в том виде, в каком ее использует Мануэль Деланда: «основным эффектом языка на уровне человеческих индивидов будет формирование верований. По Юму разница между верой и отсутствием веры в определённую идею – это просто вопрос интенсивности. Учитывая, что идеи являются низкоинтенсивными копиями впечатлений, вера в них просто приближает их к оригиналу» [1, с.66]. Таким образом, вера оказывается одним из измерений идей, знания, и является мерой интенсивности их реальности для индивида. И именно тут и разыгрывается практика работы с верой как со стороны ученых (необходимость поддерживать веру в идеи, на основании их достоверности и, одновременно, не давать ее становится абсолютной, сохраняя скептическое сомнение, требуемое научный дискурсом), так и со стороны оккультистов (где имеет место задача по поддержанию веры во время практик, чаще всего – ритуальных, поскольку от нее, согласно эзотерическому дискурсу, зависит результат их практики).

Сделав этот шаг – деконструировав оппозицию веры/знания и обратив ее в механизм, в котором вера и знание оказываются различными измерениями одного объекта – идей-впечатлений – перейдем к следующему шагу – выведению теоретической конструкции, родственной как науке, так и эзотерике, так, чтобы в ней не содержалось презумпции о превосходстве одной из областей (науки над эзотерикой или наоборот). А. Монтлевич, в своей работе посвященной осознанным сновидениям, рассматривает достаточно интересный пример – историю опровержения гипотезы Пира-Кендла о шаровых молниях как массовой галлюцинации, вызываемой фосфенами, заключающейся в том, что «свидетели шаровых молний с широко открытыми глазами находятся под воздействием образов, которые поступают не с сетчатки глаз, а генерируются в каналах передачи и блоках обработки зрительной информации» [2, с. 85]. Гипотеза Пира-Кендла оказалась опровергнутой после того, как шаровую молнию зафиксировал спектрометр. Из этой истории Монтлевич делает вывод о том, что гипотеза совместного, разделенного между группой людей,

галлюцинаторного опыта, подходит под критерии научности, введенные Карлом Поппером, поскольку может быть опровергнута.

В свою очередь, со стороны эзотеризма, существует достаточно распространенная теория эгрегоров – образований, возникающий (и «питающихся») за счет веры в них. Для магии хаоса эгрегоры являются одной из основных конструкций, основываясь на которой, практик выбирает подходящий под свою задачу эгрегор и после, убедив (на то или иное время) себя в его реальности (посредством различных техник), а после производит различные манипуляции в мировоззрения, соответствующего выбранному эгрегору. Таким образом, здесь мы также имеем дело с опытом, который может быть назван галлюцинаторным, и который может быть разделен коллективом практиков, благодаря общему набору практик, а также слов, образов и соответствий между ними. Таким образом, мы имеем дело с общей для науки и эзотерике конструкцией – системе взаимосвязанных практик, слов и образов – которая, с точки зрения науки, опровержима, а с точки зрения эзотерики – позволяет добиваться определенных результатов. Обратив внимание на составные части этой конструкции, несложно увидеть, что она соответствует тому, что Карл Поппер включил в свою концепцию Мира 3 – мира языка и культуры – слова и образы, к которым Стивен Тулмин добавляет практику. Следовательно, рассмотрение отношений науки с эзотеризмом, так, чтобы заочно одной из них не приписывались привилегии, вполне может производиться с помощью такого теоретического аппарата, поскольку он возник в обеих областях и потому является их общим достоянием. В таком случае мы имеем дело не с (чисто) научным взглядом на эзотерику, но и не с (чисто) эзотерическим взглядом на науку, но оказываемся на их общем поле, где имеют место и знание (терминов, образов и практик) и вера (интенсивность реальности той или иной конструкции).

Здесь же, внутри этого поля – родственного, к тому же, эволюционной эпистемологии как философской дисциплине – оказывается возможным выделить и различия между областями, но уже не по некому «территориальному» признаку, как в практиках, терминах и образах, различных для науки и эзотерики, так и в их способах работы с верой. Такой взгляд позволяет с высокой степенью детализированности обходится с исследованием научных и эзотерических конструкций, поскольку различие в практиках так же не является абсолютным – как указывает Эгил Аспрем [4], существует множество «пограничных» областей, где наука становится похожей на эзотерику и наоборот – и детальное различие становится возможным, покуда оно происходит через определение состава используемых конструкций.

В довершение, представляется необходимым добавить, что Акторно-Сетевая теория, в рамках которой и разрабатывалось представление о «границах» и «пограничье» науки, хотя и позволяет описывать это пограничье, но не может работать с виртуальными феноменами, а следовательно, не может и учитывать способ бытия образований, существующих благодаря вере в них.

Литература

1. Деланда М. Новая философия общества: Теория ассамбляжей и социальная сложность / М. Деланда; пер. с англ. К. С. Майровой. – Пермь: Гиле Пресс, 2018. – 170 с.
2. Монтлевич А. Сумасбродства бодрствования. Спекулятивный реализм и осознанные сновидения. – СПБ.: Транслит, 2020 – 112 с.
3. Эванс Д. История британской магии после Кроули. Кеннет Грант, Амадо Кроули, Магия Хаоса, Сатанизм, Лавкрафт, Путь левой руки, Богохульство и магическая мораль. Касталия, 2022. 356 с.
4. Asprem, E. (2015). “Dis/Unity of Knowledge: Models for the study of modern esotericism and science”. Numen 61.5–6: 538–567.
5. Asprem, Egil. 2008. “Magic Naturalized? Negotiating Science and Occult Experience in Aleister Crowley’s ‘Scientific Illuminism.’” *Aries* 8(2):139–165.

Риторика как антистрофа диалектики

Варфоломеева М. Д.
Магистрант, ЕУСПб, Центр практической философии «Стасис»
E-mail: m.varfolomeeva@eu.spb.ru

Аннотация: Исследование предлагает новый взгляд на извечный спор между античными риторикой и диалектикой, преодолевая их традиционное противопоставление. Автор показывает, как риторический процесс, основанный на эндоксиях, становится механизмом коллективной верификации, где истина возникает в результате публичного испытания аргументов. Сравнительный анализ подходов Платона и Аристотеля выявляет фундаментальное различие в понимании природы истины: если для Платона истина трансцендентна и существует как объективная реальность в мире идей, постигаемая через интеллектуальное озарение, то для Аристотеля она имманентна и формируется в процессе коммуникативного взаимодействия. Несмотря на различие обе дисциплины стремятся к истине. Риторика, переосмысленная через аристотелевскую концепцию эндоксии, предстает не как искусство манипуляции, а как полноценный эпистемологический проект. Ее процесс, основанный на коллективной верификации и публичном испытании аргументов, оказывается не противоположностью диалектического поиска, а его органичным продолжением в социальной сфере. Это позволяет говорить о риторике как о действенном инструменте достижения обоснованного согласия, где истина не просто открывается, но активно формируется через диалогическую практику.

Ключевые слова: античная диалектика, риторика, эндоксия, Платон, Аристотель, истина, эпистемология

Rhetoric as the Antistrophe of Dialectic

Varfolomeeva M. D.
European University at St. Petersburg

Abstract: This study offers a novel perspective on the perennial debate between classical rhetoric and dialectic, transcending their conventional opposition. The author demonstrates how the rhetorical process, grounded in endoxa (reputable opinions), serves as a mechanism of collective verification where truth emerges through public scrutiny of arguments. A comparative analysis of Platonic and Aristotelian approaches reveals a fundamental divergence in understanding truth's nature: whereas Plato treats truth as transcendent—an objective reality in the realm of Forms apprehended through noetic insight—Aristotle conceptualizes it as immanent, formed through communicative practice. Despite this epistemological divide, both disciplines maintain truth as their telos. Rhetoric, reconceived through the Aristotelian framework of endoxa, emerges not as mere persuasion but as a robust epistemological enterprise. Its procedure of collective verification and public argument-testing appears not as dialectic's antithesis but as its natural extension into the social sphere. This reframing positions rhetoric as an effective instrument for achieving warranted consensus, where truth is not merely revealed but actively constituted through dialogical engagement.

Keywords: classical dialectic, rhetoric, endoxa, Plato, Aristotle, truth, epistemology.

Античные риторика и диалектика, несмотря на свою близость, часто воспринимаются как дисциплины разного рода: если диалектика предстает методом поиска истины через дискуссию, то риторика — искусством убеждения в публичной речи. Однако, открывая «Риторику» Аристотеля, читатель сразу сталкивается с ключевым тезисом: «риторика — искусство, соответствующее (ἀντίστροφος) диалектике» [1, с. 95]. Это соответствие, скрытое в оригинальном греческом понятии «антистрофа», означающим часть, продолжающую предыдущую, указывает на их сходство и соразмерность. Центральным элементом, раскрывающим это единство, являются эндоксии — общепринятые мнения. Именно они служат фундаментом, от которого риторика отталкивается и к которому, в идеале, приходит обратно, совершая движение, аналогичное платоновскому припоминанию (ἀνάμνησις): возвращение к тому, что и так уже было, но оставалось сокрытым. Так, эпистемологический статус риторики зиждется на ее работе с эндоксией, которая является одновременно исходным материалом, процессом проверки и конечной целью — разделяемой слушателями истиной.

Античная диалектика традиционно ассоциируется с Платоном, для которого она обладает фундаментальной эпистемологической ценностью. Диалектика выступает не просто методом аргументации, но единственным путем достижения подлинного знания (ἐπιστήμη) в противовес мнению (δόξα) [2, с. 306]. Диалектический процесс, реализуемый через структурированный диалог, представляет собой восхождение по «лестнице» познания: отправляясь от эмпирических гипотез и частных суждений, что представляет собой сферу нестабильных мнений, он выявляет системные связи между понятиями [3, с. 202], подвергая их взаимной проверке и критике, и, таким образом, движется к постижению неизменных и самотождественных идей (εἶδη) — подлинного знания [2, с. 305-306]. В этом смысле эпистемологическая ценность диалектики очевидна — она есть деятельность разума, направленная на постижение подлинной реальности (κόσμος νοητός), существующей объективно и независимо от человеческих соглашений. Истина здесь — это откровение вечного, а не продукт дискуссии.

Риторика, при этом, оказывается порицаемой Платоном именно за ее работу с мнением, а не со знанием. В диалоге «Горгий» он, устами Сократа, высказывается о риторике негативно: «это занятие, чуждое искусству, но требующее души догадливой, дерзкой и наделенной природным даром обращения с людьми. Суть этого занятия я зову угодничеством» [4, с. 531]. Для него риторика также справедлива и полезна словно повар в качестве врача – «это как бы поварское дело для души» [4, с. 533]. Так, риторика определяет лишь несущественные аспекты коммуникации, то, что является просто декоративным или, что еще хуже, намеренно вводит в заблуждение. Если у кого-то есть слабые аргументы, то с помощью риторики этот человек сможет убедить большее количество людей, чем без использования риторических приемов. Из-за принципиальной ориентированности на убедительность, а не на истинность, риторика обречена вращаться в сфере мнений, никогда не достигая знания.

Аристотель соглашается с тем, что риторика может быть использована для манипуляции лживыми аргументами, но настаивает, что это злоупотребление, а не сущностная характеристика самого искусства [1, с. 97]. В то время как риторика может сделать слабые аргументы более сильными, а сильные — более слабыми, она, по своей природе, гораздо эффективнее делает слабые аргументы еще слабее, а сильные – еще сильнее. Иными словами, в то время как платонический Горгий утверждает, что риторика нейтральна по отношению к истине и лжи, а Сократ, что она неравнодушна ко лжи, Аристотель делает менее очевидное утверждение — риторика неравнодушна именно к истине.

Как же риторика достигает истины? Аристотель находит ответ в механизме энтимемы и ее фундаменте — эндоксии. Энтимема, по его определению, — главный риторический аргумент [1, с. 101]. Он, как и диалектический, строится дедуктивно, но его посылки — не абсолютные истины, а эндоксии. Эндоксия — это не просто «мнение большинства». Это испытанное, правдоподобное, репутационное мнение, разделяемое либо всеми, либо большинством, либо мудрейшими и наиболее уважаемыми [5, с. 351]. Оно проверено временем и поколениями, то есть уже прошло первичную общественную верификацию.

Таким образом, риторический процесс у Аристотеля выглядит так: оратор отталкивается от эндоксий, разделяемых аудиторией, и через дедуктивное построение энтимем выводит из них умозаключения. Истина в публичной сфере укрепляется и становится социально значимой, когда ее принимает сообщество. Убедительность речи напрямую зависит от согласия аудитории, но это согласие не манипулятивное, а рационально обоснованное. Справедливость и истина не просто существуют где-то в умопостигаемом мире, но и укрепляются, когда их признают и разделяют. Эндоксия — не компромисс с истиной, а единственно возможный способ ее достижения в условиях неопределенности — политике и этике. В этом и заключается «антистрофность» риторики диалектике: как в диалектике два собеседника через диалог движутся от частных мнений к общему понятию, так в риторике оратор и аудитория через эндоксию движутся к истине. Движение в обоих случаях имеет структуру «анамнесиса» — мы приходим к чему-то, что уже было заложено в исходных посылках (в одном случае — в душе, в другом — в коллективном разуме полиса).

Идея Аристотеля об эндоксии (общепринятом мнении) была развита его последователями. Цицерон подчеркивал силу социальной верификации, полагая, что истина укрепляется, когда ее признает сообщество (consensus omnium) [6, с. 112]. Для него убедительность речи и вес истины напрямую зависели от согласия аудитории. Квинтилиан, в свою очередь, сместил акцент на этику, настаивая, что риторика, даже опирающаяся на общие ценности, должна служить добродетели и общественному благу [7, с. 125].

Эпистемологическая реабилитация риторики, начатая Аристотелем, была радикально развита мыслителями XX века, увидевшими в ней ключ к пониманию производства знания в гуманитарных науках. Мишель Мейер рассматривает риторику как метод рационального поиска истины через проблематизацию в пространстве дискуссии [8, с. 112]. Нэнси Стрювер видит в риторике самодостаточный метод познания, работающий с правдоподобными версиями истины [9, с. 78]. Хаим Перельман доказывает, что в гуманитарной сфере истина обосновывается не формальной логикой, а убедительными аргументами, одобренными конкретной аудиторией, что прямо продолжает аристотелевскую линию эндоксии [10, с. 45]. Юрген Хабермас помещает этот процесс в рамки теории коммуникативного действия, где истина рождается в дискурсе, направленном на взаимопонимание. Он переосмысливает эндоксию как нормы, вырабатываемые в «идеальной речевой ситуации» — открытом и равноправном обсуждении, где побеждает сила лучшего аргумента, а не авторитет говорящего [11, с. 223]. Таким образом, для этих мыслителей риторика является инструментом формирования общественного мнения, где истина предстает не как абсолютный факт, а как результат публичного, критического диалога.

Платоновский скепсис в отношении риторики, как ни парадоксально, оказался ее самым плодотворным критическим импульсом. Если для Сократа риторика была «поварским искусством для души» [4, с. 533], то последующая традиция – от Аристотеля до Хабермаса – превратила эту кухню в лабораторию по производству социальной истины.

Однако вся эта впечатляющая линия, реабилитирующая риторику Аристотеля, работает только если истина в социальной сфере дается в форме консенсуса, достигаемого через рациональную аргументацию. Именно здесь и пролегает критический разрыв между диалектикой Платона и риторикой Аристотеля. Для Аристотеля и его последователей движение к истине — это имманентный процесс очищения и укрепления того, что уже содержится в коллективном разуме (эндоксии). Истина здесь — эмерджентное свойство правильно организованной коммуникации.

Для Платона же истина трансцендентна. Она не столько выкристаллизовывается из мнений, сколько активно им противостоит, критикуя и опровергая их. Истина не рождается в диалоге — он лишь подготавливает душу к ее самостоятельному усмотрению [12, с. 597]. Диалектик Платона не столько ищет согласия с собеседником, сколько методом опровержения (ἔλεγχος) разоблачает его незнание, чтобы расчистить место для восприятия истины, которая всегда уже была в его душе [13, с. 319].

Несмотря на этот фундаментальный разрыв в понимании истины, риторика сохраняет стремление к ней, хотя и в ином, не-платоническом смысле. Она существует в публичной сфере и основывается на эндоксии. Это выполняет в риторической эпистемологии роль диалектического катализатора, запуская механизмы коллективной верификации, аналогичные платоновским испытаниям мнений (δοκιμασία τῶν ἐνδόξων) [2, с. 174]. Как в платоновских диалогах истина проступает через столкновение позиций, так и в публичной речи эндоксия становится полем, где сильные аргументы, по мнению Аристотеля, естественным образом усиливаются.

Таким образом, от «Горгия» до хабермасовской теории коммуникативного действия тянется единая, хотя и напряженная, нить: истина в социальном мире достигается не вопреки риторике, а именно через нее – в горниле публичного испытания аргументов. И как заметил бы сам Платон, возможно, настоящая риторика, прошедшая очищение философской критикой, и была тем самым «искусством души», которое он тщетно искал за пределами софистических уловок, — искусством, ведущим не к удовлетворению сиюминутных страстей, а к обоснованному согласию, основанному на разуме.

Литература

1. Аристотель. Риторика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 95–164.
2. Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 79–420.
3. Платон. Федр // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 155–224.
4. Платон. Горгий // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 477–574.
5. Аристотель. Топика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 349–532.
6. Цицерон. О природе богов // Цицерон. Философские трактаты. М.: Наука, 1985. С. 62–190.
7. Квинтилиан. Наставления оратору // Квинтилиан. Двенадцать книг риторических наставлений. Ч. 1. СПб., 1834. С. 1–450.
8. Meyer, M. Rhétorique. Théorie et pratique. Paris: Armand Colin, 2004. – 112 p.
9. Struever, N. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
10. Перельман, Х., Ольбрехт-Тытека, Л. Новая риторика: Трактат по аргументации. М.: URSS, 2021.
11. Хабермас, Ю. Теория коммуникативного действия // Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000. С. 199–266.
12. Платон. Менон // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 575–612.
13. Платон. Софист // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 275–345.

Соотношение философии и науки: болезнь философии и вирус научности

Вахрамеев Дмитрий Олегович
Магистрант, ЕУСПб, Центр практической философии «Стасис»
E-mail: d.vakhrameev@eu.spb.ru

Аннотация: *Современная академическая среда вынуждает философию оправдывать свою деятельность полезностью различным наукам: либо она включается в инструментарий обслуживания науки и лишается самодостаточности, либо существует автономно, однако нарекается бесполезной деятельностью, ввиду отсутствия практической применимости. Карнап критикует Гегеля и Хайдеггера за то, что они сосредотачивают свои усилия на решении псевдо-проблем, Поппер критикует Гегеля за гипостазирование и отсутствие какой-либо проверки истинности его метода и системы, Рорти и Райхенбах ссылаются на ненаучность философских систем до XX века. При этом и нововременные, и современные философы относятся к науке самой по себе*

положительно, но формулируют собственное, обособленное понимание научности. Соответственно, традиция оправдания философии является следствием внесения позитивизмом в философию научности извне. Именно позитивизм называется автором болезнью философии, ввиду того что тот предлагает неадекватную версию синтеза философии и науки, поскольку ставит проблему их синтеза не имманентную философии.

Ключевые слова: Философия, наука, позитивизм, традиция оправдания.

The relationship between philosophy and science: the disease of philosophy and the virus of scientificity

Vakhrameev D.O.
European University at St. Petersburg

Abstract: The modern academic environment forces philosophy to justify its activities by its usefulness to various sciences: either it is included in the toolkit of science and loses its self-sufficiency, or it exists autonomously, but is called useless activity due to the lack of practical applicability. Carnap criticizes Hegel and Heidegger for focusing their efforts on solving pseudo-problems, Popper criticizes Hegel for hypostatizing and lacking any verification of the truth of his method and system, Rorty and Reichenbach refer to the unscientific nature of philosophical systems before the 20th century. At the same time, both modern and contemporary philosophers have a positive attitude towards science itself, but they formulate their own, separate understanding of scientificity. Accordingly, the tradition of justifying philosophy is a consequence of the introduction of positivism into the philosophy of science from the outside. It is positivism that the author calls the disease of philosophy, in view of the fact that it offers an inadequate version of the synthesis of philosophy and science, since it poses the problem of their synthesis not immanently to philosophy.

Keywords: Philosophy, science, positivism, tradition of justification.

В современной академической среде присутствуют противоположные мнения, касающиеся определения философии, её границ и сущности в связи с наукой, и именно поэтому её можно охарактеризовать как крайне некогерентную, что не свойственно истории. Традиционно в каждую эпоху взгляд интеллектуального сообщества на философию разделялся практически всеми его членами: в Древней Греции философия считалась существующей ради себя самой, созерцательной дисциплиной; в Средневековье (вплоть до создания Аверроэсом «теории двойственной истины» и её распространения по Европе) она, в той или иной степени, признавалась «служанкой богословия» даже теми, кто, в целом, критиковал ее редукцию к теологии или экзегетике; в эпоху Возрождения проблемы соотношения между различными видами познания и пребывания в мире не стояло, покуда они могли выразить достоинство человеческой личности во всей её многогранности. В Новое время, с одной стороны, присутствует консенсус: философия и наука органично сочетаются, что очевидно при рассмотрении систем Рене Декарта, Бенедикта Спинозы, Вильгельма Готфрида Лейбница; долго искать примеры не приходится, достаточно взглянуть на центральный вопрос, поставленный Иммануилом Кантом: «Как возможна метафизика как наука?». С другой стороны, с ростом городского населения и обмирщения мировоззрения людей возрастает необходимость в более прикладных знаниях, а также легитимирующем научном дискурсе, который бы с точностью определил, какое знание необходимо, иначе говоря – эффективно, а какое – нет.

Многие нововременные философы стремятся построить философскую теорию по научному образцу, и в этом же заключается метапроблема кантовского вопроса – возможность его постановки и сама постановка имплицитно свидетельствуют о грядущем расколе.

Усиливающийся разрыв между философией и наукой ярко демонстрирует защита Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем диссертации по философии. Ближе к концу диссертации он, основываясь на математике, решается доказать совершенную невозможность существования планеты между Марсом и Юпитером [1, с. 262–263], и уже на самой защите узнаёт, что ещё за несколько месяцев до этого физики обнаружили Цереру, планету между Марсом и Юпитером [2, P. 162–163]. В связи с этим Гегелю зачастую и приписывают утверждение: «Если факты противоречат моей теории – тем хуже для фактов». Таким образом, немецкий философ подчиняет науку философии, спекулятивно устраняя раскол. Примечательно, что, несмотря на то внимание, которое немецкий философ уделял современным ему достижениям естествознания, он всё же подвергался критике за гипостазирование. Именно из-за это Карл Поппер отвергал научность натурфилософии Гегеля: она лишь постулирует, отрицает возможность опровержения, а потому догматична [3, с. 133]. К подобному выводу пришёл и логический позитивист Ханс Райхенбах: «Система Гегеля – это слабое построение фанатика, который увидел одну эмпирическую истину и пытается сделать ее логическим законом в рамках самой ненаучной из всех логик» [4, P. 72].

Не будет преувеличением сказать, что с отождествлением философии и науки, а также со сведением одного к другому боролась бóльшая часть континентальной философии второй половины XX века, что отчасти является реакцией на кризис структурализма и, в частности, неокантианского разделения наук. Так, подобные мотивы прослеживались и в интервью Мартина Хайдеггера:

> *[Корреспондент]: …Сегодня кризис университетов сопровождается недоверием к самому смыслу философии. Для большинства она не имеет права на существование, она стала бесполезной.*
>
> *[Хайдеггер]: – Это как раз то, о чём я всегда думал…*
>
> *[Корреспондент]: – Как вы понимаете взаимоотношение философии и науки?*
>
> *[Хайдеггер]: – Это очень трудный вопрос. Наука распространяет сейчас свою власть на всю Землю… Именно благодаря тому, что наука не мыслит, она может утверждаться и прогрессировать в сфере своих исследований… Только тогда, когда призна́ют, что науку и мысль разделяет пропасть – их взаимоотношение станет подлинным… [5, с. 146–150].*

Он подтверждает существующую мысль о том, что наука задана фактичностью в то время, как философская мысль если и сталкивается с некоторым пределом, то он задаётся самим мышлением. Кроме того, весь указанный диалог пятидесятилетней давности, в особенности первая реплика корреспондента и заключительный ответ Хайдеггера, поразительным образом описывает и современное положение дел.

Нынешняя ситуация в науке такова, что от философии ждут отчёта и оправдания. Институциональное давление, оказываемое на философа, вынуждает его редуцировать смысл своей деятельности к созданию базовых понятий науки (точка и множество – минимальные, неопределимые понятия в геометрии и теории множеств, тело – в физике), определении границ науки, пребывании инструментом преодоления внутренних кризисов науки. Об этом пишет и довольно лояльно относящийся к континентальной мысли Ричард Рорти: «Можно всё ещё придерживаться того мнения, что философия началась как самооценка естественной науки» [6, с. 435].

Учитывая сказанное выше, присутствуют основания полагать, что истоком позиции современных ученых, касающейся философии, является позитивизм, занимавший куда более радикальную позицию, в которой философии отводилась лишь роль «служанки науки». Позитивизм, являясь критической реакцией на философский универсализм, в частности, всеобъемлющую систему Гегеля, перевернул всю новоевропейскую традицию мысли, создав иерархию наук (в этом плане повторив жест критикуемого им Гегеля), в которой философии не оставалось места. Только та философия может быть легитимирована, что является научной. Так, Рудольф Карнап указывал, что и гегелевская, и хайдеггеровская философии решали лишь неадекватно сформулированные псевдо-проблемы, не затрагивая реальные. Критику

последней он подкреплял, к примеру, ссылкой на тексты Давида Гильберта и цитатой Оскара Крауса: «Науке стало бы смешно, если бы она восприняла это (ничто) всерьёз» [7, с. 26].

Стоит понимать, что традиция оправдания философии перед требованиями научности имеет два источника: внутренний, исходящий от непосредственно мыслителей, и внешний (побуждение самих учёных), причём второй порождает первый. В этом плане ошибочно полагать, что философы по доброй воле приняли решение эксплицитно обосновывать другим интеллектуальным сферам значимость и необходимость своей деятельности. Как было сказано ранее, они систематически принуждаются к этому на институциональном уровне: речь идёт не только о чисто бюрократической структуре современных университетов, в которой профессор философии должен обосновать занимаемое им положение, но и о фактической оценке философии со стороны ученых. Об этом свидетельствует так называемая «мистификация Сокала», специалиста по математике и физике, которая затем вылилась в написание полноценной книги (в соавторстве с Жаном Брикманом) с критикой наиболее известных французских философов за неверное и нерефлексивное заимствование естественнонаучных понятий: «Сокал подобрал и пустил среди коллег более развернутые фрагменты, которые позволили бы лучше судить о том, как именно названными авторами понимается наука. Это вызвало смешанную реакцию смеха недоверия: невозможно было поверить, что кто-то мог написать такое» [8, с. 18].

Между тем апроприация французами научных терминов является не просто смелым, хотя иногда и кажущимся шутливым, решением, но также важным шагом в восстановлении баланса между философией и наукой. В заключении своей книги Сокал и Брикман резюмируют вред подобного заимствования в том, что это укореняет существующие проблемы современного образования – неосведомленные люди не могут отличить науку от псевдонауки, периодически отдавая предпочтение последней. Тем не менее, например, критикуемый ими Жиль Делёз прекрасно знал историю развития проблематики математики и даже ссылался в своих работах на тех же ученых (к примеру, Карла Вейерштрасса), что Сокал и Брикмон в своей аргументации. Поэтому неудивительны следующие слова: «Философия – не рефлексия, так как никому не нужна философия, чтобы о чем-то размышлять; объявляя философию искусством размышления, ее скорее умаляют, чем возвышают, ибо чистые математики вовсе не дожидались философии, чтобы размышлять о математике» [9, с. 10–11]. Он не просто разводил философию и науку, но указывал на их самодостаточность, на наличие у каждой из них собственного поля применения.

Декарт, Спиноза, Лейбниц, традиция немецкого идеализма от Канта до Гегеля рассматривали соотношение философии и науки как имманентное философии. Все они понимали науку, исходя из философии и ради нее. При этом все перечисленные философы, за исключением Гегеля не умаляли значение науки, но, напротив, признавали плодотворность их союза. Философ встает в позу критика лишь *в ответ* на действия ученых, на которых исходно не обращает никакого внимания, потому что сам бенефицирует их понятия. Вот почему, как высказался В.В. Костецкий, подробно исследовавший диссертацию Гегеля, о которой ранее велась речь: «Для “научного сектантства” сама конструкция этой [философской – Д.В.] мысли остается недоступной» [10, с. 82]. Из этого следует важный вывод: наука не может в полной мере понять философию, поскольку та сама продуцирует необходимое для своего развития понятие научности, и поэтому ответить философии может лишь философия.

Осуществленный краткий экскурс, позволяет заключить: гегельянская аргументация не была воспринята учеными всерьез, благодаря чему их настигла болезнь в лице позитивизма, принесшего вирус репрессивной, породившей саму институциональность науки, научности. Отказаться от союза философии и науки, основанного на философском понятии научности, а не вирусном, то есть репрессивном, – значит отказаться от наследия Николая Кузанского, Спинозы, Лейбница, и значит предать собственные основания. Поэтому позитивизм – философия, обнаруживаемая как внешняя самой философии, философия, обманувшая себя. Сама же возможность попадания вируса научности в тело философии свидетельствует

о смещении дискурсов, искусственной попытке сделать их соизмеримыми, вновь подтверждая мысль Мишеля Фуко о совпадении дискурса науки и дискурса власти.

Литература

1. Гегель Г.В.Ф. Об орбитах планет. Философская диссертация // Работы разных лет. В двух томах. Т. 1. 1970. – С. 235–268.
2. Hoskin M. The Cambridge Concise History of Astronomy. Cambridge University press. 1999. 380 p.
3. Поппер К. Что такое диалектика? Вопросы философии. 1995. № 1. С. 118–138.
4. Reichenbach H. The Rise of Scientific Philosophy. Berkeley: University of California Press. 1968. 333 p.
5. Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге. М: Высшая школа. 1991. 192 с.
6. Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия: становление и развитие. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция. 1998. 528 с.
7. Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1993. № 6. С. 11–26.
8. Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна. М: Дом интеллектуальной книги. 2002. 248 с.
9. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М: Академический проект. 2009. 260 с.
10. Костецкий В.В. Апология Гегелевской диссертации «Об орбитах планет» // Вестник Самарского государственного университета. Серия: Философия. 2020. С. 73–84.

Взаимотношения философии и науки с точки зрения концепций неявного знания М. Полани и С. Тёрнера

Воеводенко А.В.
Институт философии РАН, аспирант
E-mail: voevodenko@gmail.com

Аннотация: С точки зрения концепций неявного знания М. Полани и С. Тёрнера, возможность языковой коммуникации опирается на совпадение у участников диалога неявного (фонового) знания. Приблизительное совпадение делает возможным лишь приблизительное и частичное понимание. В докладе выдвинут тезис о том, что невозможность философии как тотальной метафизики обусловлена не только принципиальными гносеологическими ограничениями, но также и двумя другими факторами: накоплением и дифференциацией научного знания, с одной стороны, и биологическими ограничениями человека, с другой. В силу этих факторов культурный и профессиональный багаж исследователей, работающих в одной дисциплине, может существенно отличаться. В результате, согласно Майклу Полани, наука дефакто является сообществом, объединенным цепочкой взаимного признания, лишь отчасти основанной на реальном понимании научных результатов друг друга. Таким образом, наука представляет собой глобальную «конференцию», или диалог в условиях частичного понимания. Продолжающаяся дифференциация научного знания угрожает целостности этой сети, создавая риск все большей деградации взаимного понимания. В этом контексте обосновывается новая интегративная роль философии.

Ключевые слова: неявное знание, фоновое знание, Майкл Полани, Стивен Тёрнер.

The mutual relation of philosophy and science from the point of view of the concepts of implicit knowledge by M. Polanyi and S. Turner

Voevodenko A.V.
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Abstract: According to theories of tacit knowledge by M. Polanyi and S. Turner, the possibility of linguistic communication relies on the alignment of speakers' tacit knowledge (also known as background or background knowledge). Approximate alignment only allows for approximate and partial understanding. The author argues that the impossibility of philosophy as total metaphysics is due not only to fundamental epistemological limitations but also to two other factors: the accumulation and differentiation of scientific knowledge, on the one hand, and human biological limitations, on the other. Due to these factors, the cultural and professional backgrounds of researchers working within the same discipline can differ significantly. As a result, according to Michael Polanyi, science is de facto a community united by a chain of mutual recognition, only partially based on a genuine understanding of each other's scientific results. Thus, science represents a global «conference», a dialogue under conditions of partial understanding. The ongoing differentiation of scientific knowledge threatens the integrity of this network, creating a risk of progressively greater degradation of mutual understanding. In this context, the author justifies a new integrative role for philosophy.

Keywords: tacit knowledge, background knowledge, personal knowledge, Michael Polanyi, Stephen Turner.

В описании круглого стола «Философия и наука: их граница и ее преодоление» упоминается следующая идея: идея о завершенности философии как тотальной метафизики. Причем, в данном контексте, «завершенность», очевидно, значит и «невозможность» – по крайней мере, в определенном смысле. Зададимся вопросом: на чем основана невозможность философии как тотальной метафизики – невозможность для философии играть роль, столь очевидную и для философов античности, и для метафизиков Нового времени?

Одна причина хорошо известна со времен Канта: это фундаментальные гносеологические причины. Философия как тотальная метафизика невозможна в силу фундаментальных ограничений, свойственных разумному познанию; в силу ограниченных возможностей чистого разума. Но это не единственная причина. Вторая причина этой невозможности носит практический – или, можно сказать, социологический характер.

В своей работе «Личностное знание» (Tacit Knowledge) [1] британский философ и физхимик Майкл Полани приводит описание науки как некой сети, основанной на взаимном признании учеными компетентности друг друга. Даже на профильной математической конференции каждый из участников способен по-настоящему понять едва ли одну треть из всех представленных докладов. Все остальные он понимает лишь частично: скорее всего, он понимает тезисы и постановку проблемы, а также какую-то часть рассуждений – но проследить доказательство полностью он не может – в силу растущей специализации научного знания. Он обладает лишь частичным пониманием предмета, и не может, строго говоря, судить о качестве данного доклада. И в точно таком же положении находятся другие участники секции. Поэтому каждый из них предполагает, что среди участников конференции есть хотя бы несколько людей, которые могут судить об этом докладе, и что они судят честно (беспристрастно, объективно).

Очевидно, что ни о какой тотальной метафизике в такой ситуации речи не идёт. Единая теория, объединяющая в себе всю совокупность научного знания, сегодня невозможна. Наука как целое скорее подобна конференции. Можно сказать, вся она в целом и *является* огромной *конференцией* (т. е. беседой, разговором, диалогом), распределенной во времени и в

пространстве: между тысячами лабораторий, журналов и круглых столов. Наука как целое является процессом общения людей, частично понимающих друг друга.

Но из чего вытекает невозможность полного понимания? Можно сказать так: причина состоит в специализации научного знания, и в том, что она постоянно углубляется. М. Полани формулирует это иначе: причина состоит в несовпадении у исследователей *неявного знания* («tacit knowledge», термин М. Полани), или *фонового знания* («background», термин Ч. Тейлора [2]). Хотя некоторые исследователи оспаривают это [3,4], совпадение неявного/фонового знания является необходимым условием понимания сообщения.

Владение языком – типичный пример неявного знания. При этом, язык должен быть общим: если один участник владеет французским языком, а другой – китайским, понимание невозможно. Там, где неявное знание совпадает частично, и понимание будет частичным. Там, где неявное знание совпадает полностью – возможно полное понимание. Хотя полное совпадение неявного знания невозможно [4,5], в случае совпадения специализаций и областей научных интересов участники научного диалога могут приблизиться к точному пониманию друг друга, достичь *практически полного* понимания – т. е. понимания, достаточно точного для решения их практических задач.

В случае их приблизительного сходства (близости, смежности) – возникает частичное понимание. Неполнота понимания компенсируется доверием, основанном на предположении, что в аудитории всегда есть хотя бы один-два человека, понимающих докладчика полностью.

Несовпадение неявного знания у участников научного диалога – это данность, с ней ничего нельзя сделать. Однако, с определенного предела углубление этого различия начинает представлять опасность. Что если на 1 000 ученых окажется всего одна пара полностью понимающих друг друга? А если одна пара на миллион? Будет ли это всё ещё наукой? Чем реже среди ученых «пары», способные полностью понять друг друга, тем разреженнее, тем условнее становится научный диалог. Ученые всё больше полагаются на доверие, и всё меньше – на понимание. В конце концов, однажды в аудитории может не оказаться ни одного человека, который понимает докладчика точно. Ситуация из мифа о Вавилонской башне повторяется – и неизбежно, если постоянной дифференциации знания не будет противопоставлено нечто, выполняющее функцию интеграции.

Из этой точки становится видно возможное место, возможное призвание философии в общем научном проекте. Ведь философия – это конференция *par excellence*. Неслучайно диалог является одним из первых философских жанров. Даже тогда, когда древние философы выбирали другой жанр (трактат или, скажем, поэму, как Парменид) – вопросы всё равно либо приводились прямо в тексте, либо существовали в фоне (background), в неявном знании читателя. «Вопрос – ответ» – это структура, лежащая в самом сердце философии. При этом участники диалога стремятся (1) проверить своё понимание и отбросить то, что ложно; (2) уточнить его, повысить точность реконструкции сознания Другого и (3) расширить зону своего понимания.

Философия с самого своего зарождения выполняла интегрирующую функцию, о которой мы говорим. Она парировала нарастающую дифференциацию содержания жизненного мира людей, создавая ясность там, где это возможно: проверяя, уточняя и расширяя взаимное понимание. Можно выразиться и по-другому: философия всегда является диалогом людей, не вполне понимающих друг друга. Специалисты-предметники могут избежать этого положения, если держатся границ своей предметной области, и её содержание растёт не слишком быстро. Философы (если только не понимать философию как ещё одну предметную область, одну из многих) – не могут, поскольку их предмет рассмотрения – всё рациональное знание. Это автоматически ведет к значительному несовпадению неявного знания у участников диалога и к ситуации частичного понимания, которое требует проверки, уточнения и расширения.

Призвание философии в общем научном проекте – парировать нарастающую дифференциацию научного знания, чтобы предотвратить реализацию сценария Вавилонской башни. Чем актуальнее эта опасность, тем острее потребность науки в философии.

Подведем итоги нашего анализа:

1. Наука является универсальным проектом познания, т. к. стремится охватить весь мир в целом, или собрать в себе всё рациональное знание. Однако, биологических возможностей одного человека (его интеллекта, памяти, срока жизни) не хватает, чтобы освоить всё существующее знание, поэтому происходит специализация научного знания, и она постоянно растёт.
2. Понимание учеными друг друга возможно в той мере, в которой совпадает их неявное знание (tacit knowledge, background). Однако объем накопленного научного знания и биологические ограничения человека исключают полное совпадение неявного знания, и обрекают нас действовать в ситуации частичного понимания.
3. В силу этого наука является диалогом («конференцией») сторон в условиях частичного понимания. Единство науки обеспечивается цепочкой (точнее, сетью) взаимных признаний компетентности, основанной отчасти на понимании, отчасти на доверии.
4. Достоверность результатов науки, а через это – и ее авторитет, зависят от того, остается ли *понимание* в основе этой сети. То есть, не происходит ли чрезмерного «разведения» понимания в доверии: не становится ли научный диалог *условным* (диалогом без понимания).
5. Таким образом, и единство, и авторитет науки как целого, зависят от связности сети *взаимного понимания* между учеными, работающими в разных областях.
6. В силу постоянного роста объема научного знания связность этой сети неуклонно падает. Таким образом, нужно, чтобы что-то парировало постоянно нарастающую дифференциацию научного знания, т. е. выполняло функцию интегратора.
7. Предметные науки направлены на максимально полное познание своего предмета. В силу этого, со временем происходит адаптация самой их методологии к предмету – и это неизбежно. Уже поэтому они не могут выполнять функцию собирания/интеграции научного знания. Но без этой сборки науки как целого не существует.
8. Призвание философии в общем проекте науки – осуществление такой сборки. Функция философии – не обоснование научного знания, а его интеграция; но именно через интеграцию создается его основание.
9. Взаимное признание компетентности, на которых основано существование науки как целого, отчасти основано на доверии. Это также неизбежно, но доверие не должно быть слепым. Сделать его полностью обоснованным тоже нельзя, но следует к этому стремиться. Для этого необходимо сочетание двух мер, двух практик. Во-первых, (1) постоянное общение *в зонах полного понимания* (общение специалистов-предметников в рамках своих узких специализаций) – т. к. именно в этот момент признание компетентности проходит проверку. Во-вторых, (2) постоянное общение *в зонах частичного понимания* (междисциплинарное общение). Одно усиливает существующие связи; другое наводит новые. Всё вместе – повышает связность сети; поддерживает социологический механизм, благодаря которому научное знание обладает достаточно высокой достоверностью. И если первая (1) практика – это функция предметных наук, то вторая (2) – призвание именно философии.
10. Обойтись только первой практикой (1) нельзя, т. к. она усиливает существующие связи, но не создаёт новых. В силу постоянной дифференциации знания количество хорошо понимающих друг друга «пар» на 1 000 специалистов будет постепенно падать. В итоге сеть всё равно утратит единство, разбившись на набор отдельных кластеров, достаточно связных внутри, но лишенных связи с другими кластерами. Можно даже утверждать, что это уже произошло: ситуация disunity of science уже наступила, и связность сети нужно не поддерживать, а восстанавливать.

Литература

1. Polanyi M. Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. London: Routledge, 2005. 503 p.

2. Taylor C. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press, 1989. 624 p.
3. Davidson, D. Radical Interpretation. // Dialectica. 1973. Vol. 27. No. 3/4. P. 313–328.
4. Turner S. Understanding the Tacit. L., New York.: Routledge, 2014. 247 p.
5. Thompson J. R. Introduction: in search of the implicit. In: The Routledge Handbook on Philosophy and Implicit Cognition. Ed. J. R. Thompson. London, New York: Routledge, 2023. Pp. 1–30.

О границах науки и жизненном мире человека

Воронина Н. Н.
кандидат философских наук, доцент кафедры философии,
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского,
E-mail: voronina.nnov@yandex.ru

Аннотация: Статья ставит проблему столкновения науки и жизненного мира человека в процессе коммуникации науки и общества. Предлагается обратить внимание на роль экзистенциального переживания бытия человеком при формировании границ науки. Строго рациональный научный подход бессознательно отторгается обществом и порождает амбивалентность образов ученых в массовой культуре. В искусстве возникают как положительные образы ученых, так и образы ужасные, опасные и бездушные. Ставится вопрос о совместимости механистического и человеческого и самой возможности создания наукой мировоззрения, удовлетворяющего человеческому запросу. Наука удовлетворяет материальные нужды человека, но экзистенциально-духовные проблемы не являются ее сферой.

Ключевые слова: коммуникация науки и общества, коммуникация, жизненный мир, ученый в культуре, наука, популярная культура

About the boundaries of science and lifeworld

Voronina N. N.
PhD in Philosophy, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Abstract: The article poses the problem of the collision of science and lifeworld in the process of communication between science and society. The author suggests paying attention to the role of the existential experience of being a human being in shaping the boundaries of science. Society unconsciously rejects rational scientific approach, and this creates ambivalence in the images of scientists in popular culture. Stereotypes depicted in films and books include: the evil demiurge, the egoist without morals, the nerdy scientist. These images are dangerous and frightening. The article raises the question of the compatibility of the mechanistic and the human, and the very possibility of science creating a worldview that satisfies human demand. Science satisfies the material needs of man, but existential and spiritual problems are not its sphere.

Keywords: science, scientific communication, image of scientist, popular culture, lifeworld

С самого начала развития науки в Новое время она идет бок о бок с научным просвещением, обращаясь к публике, к обществу [1, с. 24–25]. Популяризация науки широко развивается, занимает все новые ниши, востребована и пользуется в обществе интересом благодаря успехам науки. Но ученые, занимающиеся научным просвещением, выходя

к публике с рассказами о науке и ее достижениях, выходят за пределы науки и оказываются на «чужой» для нее территории.

Наука, переходящая свои границы в процессе научного просвещения, оказывается в широком мировоззренческом пространстве, в жизненном мире, где научные ценности и установки, строго говоря, не имеют значения. Если к науке и относятся с интересом, то вовсе не благодаря серьезности и убедительности ее аргументации, а скорее, как к авторитету, который показал свою практическую успешность. Именно технонаука облегчила труд человека, сделала комфортным его ежедневное существование, она улучшила здоровье человека и продлила его жизнь. Публике интересна наука как инструмент, решающий некоторые проблемы обыденного характера. Или же формы популяризации становится видом развлечения, когда человек может посетить цирк, а может сходить на популярную научную лекцию, при том, что то и другое объединяет «вау-эффект», яркость, неожиданность [2], а доказательность уходит на второй план.

Может ли популяризация науки одарить общество научным мировоззрением и вооружить научной методологией? Сциентисты утверждают безграничность и универсальность того и другого. Однако сами возможности науки в области строения мировоззрения вызывают вопросы. «Наука дала нам знание об окружающем мире и вооружила средствами его преобразования для удовлетворения биологических нужд, но, кажется, она ничего не дала для духовно-нравственного развития человека и даже не пыталась ответить на самые важные вопросы человеческого существования: в чем суть человеческого в человеке? Для чего он живет или должен жить? В чем смысл существования отдельного человека и всего человечества? Что такое смерть, любовь, счастье? На эти и другие вопросы, связанные с пониманием человека как особого, отличного от животного существа, технонаука не дала и в силу своей природы даже не стремилась дать ответ» [3, с. 183]

Наука не только не способна ответить на животрепещущие мировоззренческие вопросы – она предлагает человеку картину мира, в котором невозможно жить. Известный защитник естественного мира и его антропоморфного измерения В.А. Кутырев неоднократно приводил пример, иллюстрирующий то, что сам ученый-естественник не живет в «научном» мире: когда физик в свой выходной день идет погулять с маленьким сыном на детскую площадку, он не рассматривает сына как движущуюся точку, на которую действуют силы и не рассматривает его как агрегат из атомов. Строго рациональный научный подход и та картина мира, где нет места самому человеку (если он не представитель вида животного, не объект медицинской манипуляции, не механическая система и пр.) вызывает скрытое отторжение у публики.

Отсюда происходит и амбивалентность образа ученого в массовом сознании и в произведениях массового искусства. Ученый-героический подвижник, ученый-энтузиаст соседствует с неадекватными учеными, готовыми уничтожить мир ради своего открытия, или странными люди, с роботизированным мышлением, склонным к механичности. Ученые в книгах и фильмах неприятны и даже откровенно пугающи: злой демиург, эгоист без морали, капиталист, наживающийся на науке, зануда, для которого книги первичны, а люди вторичны. [4]. Отлично передают этот пугающий элемент в образе науки результаты теста «Нарисуй ученого» (DAST), который был разработан Чемберсом в 1983 году. В этом тесте детям начальной школы предлагают нарисовать ученого, каким он им представляется [5, с. 655]. Такой тест проводился разными группами исследователей в различных странах. Одно из недавних исследований выделяет «пять различных профилей ученых, описанных детьми: 1) Умный ученый, 2) Сумасшедший ученый, 3) Ученый-сверхъестественный, 4) Неуклюжий ученый и 5) Нормальный ученый» [64, p.1]. «Слишком умный», «сверхъестественный» ученый, то есть не-человек этого мира; существо, говорящее голосом Разума, но разум этот не-человеческий, а потому иррационально-ужасный, бездушный и ненужный человеку. «Сумасшедший ученый» и «злой демиург» – это тоже, как правило, образы, в которых рационально не обоснованное нравственное и человеческое элиминируется – остается логичная машина. Закономерно, что этика, нравственные идеалы, будучи частью

мировоззрения, остаются за пределами науки, а ученый и наука в целом видятся машиной, цель которой знания ради знаний и техника ради техники.

Как правило, в статьях об образах ученых есть призывы изменять сами образы в массовой культуре, показывать ученого дружелюбным и любознательным. Предполагается, что такое изменение образа должно изменить отношение общества к науке, увеличить кредит доверия. Но эти отрицательные образы питаются бессознательными страхами, в том числе и страхом перед вторжением холодного рационализма и замещающей человека техники в жизненный мир человека, страхом перед тем, что это вторжение уже произошло. «С барского стола, за которым пируют машины и технологии, человеку, их творцу и лакею, перепадают крохи. ***Под видом человеческих*** выступают потребности производства. Они искусственны для человека и естественны для искусственного мира» [7, с. 32].

Не случайно в философии, которая ближе к человеку, чем наука, происходит протест против рационализма, выражаемый в иррационалистических видах философствования, например, в экзистенциализме. Это проблема не ограничивается только взаимодействием науки и общества в процессе научного просвещения. Интерпретация науки встает перед вопросом: наука – это что-то человеческое или нечто машинообразное. В работах исследователей науки последних десятилетий наука предстает как машина по производству знаний, фабрика (например, в эссе К. Кнорр-Цетиной «Фабрика знаний») со всеми плюсами и минусами капиталистического производства: разделением труда ученых, отчуждением от результатов этого труда, превращением субъекта в элемент механизма. Науку можно рассматривать как созданный человеком инструмент, цели которого должны задаваться извне.

Способна ли машина или фабрика производить и транслировать мировоззрение? Или же ученым стоит осознать границу, в которой существует научное знание, и не пытаться выступать с позиций научного империализма. В науке тоже используются представления о картине мира, но они носят не мировоззренческий характер (в смысле выбора пути жизни человеком), а характер предположений, которые необходимы в качестве точек отсчета для описания наблюдаемых явлений, поскольку явления невозможно описывать безотносительно. Кроме того, в инструменте науки действует принцип «бритвы Оккама», который не позволяет задавать точек отсчета больше, чем требуется для решения конкретных задач. Вот уже только потому, что точки отсчета ограничиваются в науке для потребностей функционирования инструмента науки, научная картина мира не является мировоззрением человека. У человека не потребности инструмента, а совсем другие потребности, а потому и другие точки отсчета.

В связи с этим границы науки представляются границами именно механистической области, понимаемой в широком смысле. Например, систематичность, логичность, повторяемость, и так далее, в науке тоже можно отнести к проявлениям механистического, а не человеческого. Наука – это более инструмент, чем творчество человека. Хотя творчество человека, безусловно, присутствует в науке, но оно носит инструментальный характер, и малейшая попытка ученого в своем творчестве выйти за пределы инструментального подхода, тут же оценивается как псевдо-наука. Творчество в науке – это не совсем творчество человека, потому что полнота экзистенциального бытия человека не входит в научное творчество, а скорее, это творческое соучастие человека в развитии научного инструментария, при котором явно ограничивается присутствие человеческого. В науке человек присутствует не как целостная личность, а как элемент научного инструментария, обладающий полезными творческими свойствами для успешного функционирования науки.

Благодарность

Исследование выполнено в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Литература

1. Букки М., Тренч Б. Пособие по общественным связям в науке и технологиях / Под ред. М. Букки и Б. Тренча. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 592 с.
2. Сахарова А. В. О неожиданном в науке: третий аспект креативности // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме: Труды IV Международной научной конференции / Под общей ред. И.Т. Касавина, Е. В. Сухановой. [Электронный ресурс]. – Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2023. – 532 с. Режим доступа: http://www.rshps.ru/books/rev-evo2023.pdf С. 392–396.
3. Никифоров А. Л. Что дала человеку наука Нового времени? // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2018. № 42. DOI: 10.17223/1998863X/42/19
4. Domaradzki J. From evil demiurge to caring hero: images of geneticists in the movies, Science as Culture, 2023, pp. 266-293. DOI: 10.1080/09505431.2023.2180627
5. Воронина Н.Н. Проблема образа науки и ученого в многообразии общества / Наука, технологии и ценности в неустойчивом мире. Сборник научных статей IV Конгресса Русского общества истории и философии науки. М.: Изд-во РОИФН, 2024. С. 654–656.
6. Brumovska Tereza J., Carroll Sarah, Javornicky Martin, Grenon Muriel. Brainy, Crazy, Supernatural, Clumsy and Normal: Five profiles of children's stereotypical and non-stereotypical perceptions of scientists in the Draw-A-Scientist-Test // International Journal of Educational Research Open. Volume 3, 2022, 100180
7. Кутырев В.А. Разум против человека: (Философия выживания в эпоху постмодернизма) / В. А. Кутырев. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 103 с.

Современная философия – наука

Григорян Ю. Х.
Кандидат философских наук
г. Ереван, Армения
E-mail: ygrigoryan@yandex.ru

Аннотация. Естественные науки изучают функционирование ранее возникших структур, но процесс развития и усложнения существ им недоступен. Это основной предмет философии. Философия дополняет естественные науки, что необходимо для понимания человека, его менталитета и эволюции человечества.

Ключевые слова: развитие, закономерность, воздействие, взаимосвязь, структура, сознание, эволюция.

Contemporary philosophy is the science

Grigoryan Y. Kh.
Independent Researcher

Abstract. The natural sciences study the functioning of previously arising structures but the process of development and complexity of beings is inaccessible for them. This is the primary subject of philosophy. Philosophy complements the natural sciences what is essential for understanding humans, their mentality and the evolution of humanity.

Keywords: development, pattern, influence, interconnection, structure, consciousness, evolution.

В свое время Гегель обратил внимание на различие предметов изучения у естественных наук. Действительно, их методы познания вполне соответствуют исследованию ранее сформировавшихся структур неживой, либо живой сущности, но отнюдь не процесса их возникновения и все большего усложнения. Проблема философии издревле была обращена на познание начала и причины создавшегося многообразия мира. Но уровень знания в древности был недостаточен для решения этой всеобщей проблемы. Поэтому греческие философы свои выводы сводили к обобщению видимых явлений, а предельные решения относили к богам или божественному Космосу. То была попросту «любовь к мудрости».

Лишь через пару тысячелетий Гегель разработал теорию развития. При этом, однако, он использовал важное для того времени знание развития организма на базе зародыша. Обращение к этому процессу для познания развития ранее предлагал Спиноза. «Абсолютная идея» Гегеля была предельным обобщением сущности зародыша. Об этой аналогии Гегель откровенно отмечает в лекциях по «Истории философии». «…Подобно тому, как зародыш содержит в себе всю природу дерева, вкус, форму плодов, так и первые проявления духа виртуально содержат в себе всю историю». [1, с.71] «Абсолютная идея» представляла собой все качества становящейся действительности. Теория тем самым разрешала и проблему эпистемологии, так как «вещь в себе» была идентична «вещи для себя».

Хотя формирование зрелого организма на базе зародыша было также процессом развития, но лишь как воспроизводство, редупликация ранее возникшего существа. Процесс образования новой усложненной сущности, как акт развития, мог быть изучен лишь в наши времена, когда естественные науки обратились к качественным преобразованиям. Хотя они столкнулись с принципиальными трудностями, все же выявили предпосылки и критические моменты формирования новых структур. Философия могла уже на основе современных знаний представить закономерности процесса развития все более усложняющихся сущностей на Земле.

К сожалению, после Гегеля философы сместили свои интересы к проблемам существования и созидательной деятельности людей, несмотря на то что, по существу, без знания базовой основы развития невозможно было обосновывать эти процессы. Всевозможные концепции представляли собой обобщения тех или иных сторон деятельности, хотя реальное многообразие событий могло вызывать иные, даже противоположные суждения.

При этом знание предпосылок и закономерности развития крайне важно для понимания прежде всего эволюции человечества, прошлой истории, современного этапа отношений между сообществами и внутри них. Но также важно для познания процесса сознания, познания и созидания людей.

Философия для постижения процессов развития может начать с тех физических явлений, которые теоретическая физика при всем развитом теоретическом багаже принципиально не способна постичь. Таковы простейшие фазовые переходы первого рода, переходы пара в жидкость, а жидкости в твердое тело. Проблемы переходов в новое качество оказались недоступны для физики прежде всего по двум причинам.

Во-первых, однородные элементы любой гомогенной системы изменяются вследствие изменения внешних условий однотипно, отчего их взаимосвязь, что необходимо для образования новой структуры, невозможна. Для взаимосвязи необходима противоположность состояний, будь то разная поляризация, валентность, анти-параллельность спинов и пр., что может возникнуть при частном одиночном воздействии на отдельные элементы. Такое воздействие в природе возникает со стороны многообразного внешнего мира, который никак не втиснуть в теории естественных наук, но учесть может философия.

Во-вторых, достижения естественных наук обязаны формально-логическому мышлению, которое из-за обязательного принципа тождества никак не способно воспринять качественные преобразования. В уравнениях физики все множества обязаны состоять из элементов одного и того же качества. Поэтому для этих переходов используются общие для

всего и вся термодинамические потенциалы. Физики вынуждены скачок в уравнении признавать моментом перехода, хотя знают, что преобразования могут так и не произойти. Вода при нормальном атмосферном давлении и минусовых температурах, а в лабораторных условиях до -33^0С, не превращается в лед. Физики такие состояния вынужденно называют метастабильными. Но если случайно в переохлажденную воду попадет некий предмет, то вся масса воды преобразуется в лед. Изменения состояний соседних молекул в итоге приведет к взаимосвязям всего вещества. Прежнее *случайное* воздействие *становится необходимым* фактором для новой структуры.

Схожий процесс происходит и в камере Вильсона, где пересыщенный пар не превращается в жидкость, пока не влетит заряженная частица.

При образовании твердого тела следует иметь в виду предшествующие, по существу и во времени, преобразования атомных и молекулярных связей. Усложнение тел происходит на основе предыдущих структур, что приводит к *формированию многоуровневых систем*.

При кристаллизации было замечено, что последующая активность возникшего кристалла, в частности дендритный рост, соответствует организации исходного зародыша. Иначе говоря, *следствие* внешнего воздействия *становится причиной* последующего функционирования новой структуры.

В физиологии акт развития происходит, в частности, при формировании нового условного рефлекса. Происходит повышенная (генерализованная) активация нейронов головного мозга, которая может продолжаться, как метастабильное состояние, пока внешнее воздействие (сигнал) и обстоятельства не приведут к разрешению мотивации. При этом начинает формироваться новая сенсорно-двигательная взаимосвязь, которая в последующем будет обеспечивать соответствующее благоприятное поведение.

Многоуровневость проявляется при функционировании живых существ. Активность ЦНС (центральной нервной системы) начинается с физических воздействий на первичные рецепторы. Так под влиянием энергии фотона света родопсин распадается на опсин и ретиналь, который вследствие изомеризации открывает пору мембраны нейрона. Начинается двусторонний поток ионов натрия и калия из-за разности концентраций. Причем концентрация во внеклеточной среде соответствует их концентрации в морской воде, среде формирования жизни. Потенциалы действия нейронов низшего уровня интегрируется на нейронах последующих уровней.

Предпосылки преобразования вполне основательно могут быть представлены естественными науками, которые эффективно разрабатывают количественное усложнение состояний гомогенных систем. Но частный акт воздействия внешнего мира и последующее усложнение структур является сферой познания философии. Тем более это относится к формированию и функционированию многоуровневых систем, когда предшествующие подсистемы становятся элементами последующих усложненных структур. Этот процесс особенно важен при познании менталитета человека.

Эволюционная физиология каждую функцию организма выявляла исходя из истории ее формирования. Усложнение структур происходило в исторически возрастающем ряду организмов от беспозвоночных до высших млекопитающих, с последовательным образованием новых нейронных ядер интеграции.

Фактически историческая последовательность пирамидального наслоения ядер проявляется в каждом акте ЦНС. Происходит активация всех предшествующих структур материи; в нем имеют место и физические, и химические, и биологические явления. Но если в прошлом образование ядер восходящей интеграции происходило в течение сотен миллионов лет, то в развитом мозгу процесс воспроизводства их активации и восстановления занимает десятки мс. *Прошлое с необходимостью проявляется в настоящем, а настоящее обеспечивает функциональную базу будущего*.

Имея в виду иерархическую действенность организма, следует полагать, что сознание активируется только лишь на базе бессознательного. Оно формируется у человека вследствие необходимости общения с соотечественниками. Дело в том, что даже условные рефлексы не

фиксируются в геноме, поэтому и животные передают выработанные навыки своим детенышам путем показа актов полезного поведения. Тем более в человеческом сообществе передача знаний осуществлялась при демонстрации эффективных действий, порой имитации их звуками, рисунками. Позже они принимали все более абстрагированную от первичных акций форму, в конечном виде кодируя их в слове.

Поскольку человек, человечество являются природным образованием, то их развитие также подвержено всеобщим закономерностям. Философия совместно с естественными науками важна для понимания истории и тенденции эволюции человечества.

В частности влияние ВПК в США столь велико, что влияет на его политику и для реализации его продукции (орудий) вынуждает войны между странами. Такова основная регрессивная сила нашего этапа эволюции.

Подробнее эти темы представлены в книгах издательства «Весь мир» на сайте: https://www.vesmirbooks.ru/authors/grigoryan/

Литература

1. Гегель Г. Философия истории. Санкт-Петербург „Наука", 1993. – 477 с.

Гоббс и проблема о(бо)снования

Джафаров С. С.
Магистрант, ЕУСПб, Центр практической философии «Стасис»
E-mail: s.aliyev2002@gmail.com; s.dzhafarov@eu.spb.ru

Аннотация: В данной статье анализируется онтологическая проблематика основания в политической философии Томаса Гоббса. За основание берется «война всех против всех». Для анализа данной проблемы берется текст «О существе основания» Мартина Хайдеггера и «Аспекты мифа» Мирча Элиаде. В ходе разбора гоббсовского «естественного состояния» выявляется мифологическая процедура обоснования. Далее, эта процедура ведет к гипотезе о том, что всякая философская операция включает в себя подобную мифологическую практику. Опорой для исследования этой гипотезы является не-философия Франсуа Ларюэля и его текст «В защиту науки о Философском Решении». Дальнейшее рассмотрение показывает, что «война всех против всех», хотя и является мифом внутри философии Гоббса, есть также и реальность для самой философии.

Ключевые слова: «Война всех против всех», основание, обоснование, миф, трансценденция, Философское Решение.

Hobbes and the problem of ground(ing)

Jafarov. S. S.
European University at Saint Petersburg

Abstract: This article analyzes the ontological problematic of ground in Thomas Hobbes's political philosophy. The ground is defined as the "war of all against all."This problem is analyzed using Martin Heidegger's "On the Essence of Ground" and Mircea Eliade's "Aspects of Myth." Through an analysis of Hobbes's "state of nature," a mythological procedure of justification is revealed. This procedure further leads to the hypothesis that every philosophical operation involves a similar mythological practice. This hypothesis is supported by the non-philosophy of François Laruelle and his text "In Defense of the Science of Philosophical Solution." Further examination reveals that

the "war of all against all," although is a myth within Hobbes's philosophy, is also a reality for philosophy itself.

Key words: "War of all against all", ground, grounding, myth, transcendence, Philosophical Solution.

Вряд ли будет ошибкой сказать, что философия всегда искала основание. Таков путь философии, начиная с досократиков, искавших первоэлемент бытия. В связи с этим есть определенная историко-философская – хотя мы хотим указать, что и философская в целом, – проблема: является ли основание, и конкретно основывание, единым и неизменным для любой философии вообще? Иначе говоря, меняется ли из эпохи в эпоху процедура поиска о(бо)снования? Желая ответить на этот вопрос, мы предлагаем исследование одного сюжета из Нового Времени – эпохи, где, как считается, произошел поворот в мышлении: религиозные и мифологические объяснения ушли на задворки философской аргументации, имея характер скорее бездейственного фона. Этим сюжетом является «война всех против всех» Гоббса [1, с. 134].

Исходя из вышесказанного, мы хотим дать ответ на следующий вопрос:

1) Как Гоббс обосновывает свое основание политической мысли?

И выдвинуть следующую гипотезу:

2) Гоббсовское обосновывание является инвариантным для любого философского поиска основания вообще.

Таким образом, мы постараемся указать на проблематичность понимания/интерпретации философии Нового времени как философии, ищущей другое о(бо)снование всякой науки и мысли вообще.

Мы будем рассматривать онтологическое основание политической мысли Гоббса.

Но на самом деле у нас уже есть критерии обосновывания, по которым мы будем сверять корректность обосновывания Гоббса. Это критерии, данные Хайдеггером в его тексте «О существе основания» [2, с. 208]:

1. Набросок мира (учреждение) – это диапазон возможностей нашей жизни в мире (бытие-в-мире).
2. Умение-быть-в-мире (захваченность и воздержание) – выбор между возможностями, где одни исключаются, а другие реализуются.
3. Удостоверение (онтическая истина) – привлечение чего-либо в свидетельство для обоснования.

Как пишет сам Хайдеггер, первые два критерия «взаимопринадлежны» [2, с. 212], поэтому проблематичность одного укажет и на проблематичность другого.

Теперь рассмотрим по этим критериям гоббсовское естественное состояние: «войну всех против всех». В ней люди борются между собой за свою жизнь, так как из-за равенства способностей и пересечения возможных целей каждый из них может уничтожить другого. Вырисовывается некий кровожадный мир. В нем у нас есть разные способы проживания или, скорее, выживания. Мы можем кооперироваться или, наоборот, стараться захватывать власть над другими единолично. Кажется, что тут и проявляются первые два критерия: «война всех против всех» – это некий мир, а наброском мира будут способы выживания. Умение-быть-в-мире, в таком случае, – это выбор между этими способами. В чем же проблема? Статус этого состояния неясен. Было ли он исторически? Этому нет подтверждений, и Гоббс их не дает.

Здесь мы воспользуемся еще одним инструментарием – определением мифа по Элиаде. Для Элиаде миф – это то, что:

> *излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря деяниям сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления, будь то всеобъемлющая реальность – Космос – или только ее фрагмент: остров, растительный мир, человеческое поведение или государственное установление. Это всегда рассказ о некоем «творении», нам*

сообщается, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы стоим у истоков существования этого «чего-то». Миф говорит только о произошедшем реально, о том, что себя в полной мере проявило [3, с. 15–16].

Важной в этой цитате является именно ситуация «начала всех начал», которая произошла «реально». Тогда «война всех против всех», понятая как мир, является мифом, сакральной историей. Миром, которого в действительности не было, – он был мифологически. Он был в «те дни», в «начале всех начал» [3, с. 16].

Тогда, возвращаясь к пункту 1, хочется указать на проблематичность гоббсовского основания, так как «мира», в котором совершается «набросок», никогда не было. Иначе говоря, попросту негде было набрасывать. Но такое понимание «войны всех против всех» некорректно. Само естественное состояние «оказывается наброском статистического "диапазона возможностей"» [4, с. 192]. Это состояние проявляется в готовности к бою, возможной битве. Закрывая двери, ящики и обходя темные переулки, мы как раз совершаем предупредительные меры в отношении возможного насилия [1, с. 135]. В таком случае умение-быть-в-мире проявляется, условно говоря, в этих предупредительных мерах – они могут быть разные, хотя при выборе одних и исключаются другие, – вплоть до выбора политического режима.

До сих пор мы не затрагивали третий критерий обоснования – теперь перейдем к нему. Какие свидетельства в пользу такого взгляда на мир дает Гоббс? Все «из-за соперничества, недоверия, любви к славе» [1, с. 134], – такова природа человека для Гоббса. Но эта природа проявляется, становится явной лишь тогда, когда мы пребываем в состоянии войны всех против всех. И это пребывание должно быть действительным. Ведь в противном случае почему мы должны этому верить? Примеры, которые дает Гоббс, чтобы показать эту природу, уже предполагают ее реальность. Иначе говоря, эти примеры служат не столько доказательством, сколько демонстрацией проявления этой сущности. Таким образом, можно сказать, что мифологема этого состояния пришла «контрабандой», выражаясь хайдеггеровским языком, не из ее учреждения, а из ее удостоверения. Естественное состояние должно быть понято как «начало всех начал» для того, чтобы можно было его удостоверить. В гоббсовском основании заложена мифологема, необходимая для его удостоверения. Жиль Делез в лекциях «Об обосновании» вводит различие между мифологическим и философским основанием, опираясь также на Элиаде. Мифологическое находит основание в «тех днях», а философское в принципе «становится возможным только тогда, когда ставится вопрос об основах наших претензий на знание или же о критериях, на которые мы опираемся, когда беремся утверждать что-либо о мире» [5, с. 96]. Гоббс как бы находится на распутье между мифологическим и философским обоснованием, проходя два критерия и проваливаясь в одном.

Тем не менее, не является ли этот гоббсовский провал инвариантом всякого поиска философского основания? Не создает ли каждый философ некий мир, который должен был быть всегда, с «начала всех начал», а Гоббс лишь наиболее ярко это демонстрирует? Иначе говоря, разве Кант критикой позиций предшественников и созданием своей системы не подразумевает, что тот мир, который эта система порождает, был всегда, с «тех самых дней»? Быть может, всякая философская попытка удостоверения есть провал в мифологизацию.

Хайдеггер в тексте «О существе основания» использует в качестве одного из главных понятие трансценденции. Трансценденция проявляется во всех трех типах обоснованиях, являясь их источником. Когда мы совершаем набросок мира, мы делаем это благодаря трансценденции. Мы буквально выходим за пределы самих себя, создавая возможности для нашего проживания в мире, которое темпорально развернуто. Делая этот набросок, мы переопределяем себя на фоне возможностей: они показывают, кем мы могли быть, можем быть, или уже есть. А Dasein трансцендирует умение-быть-в-мире, когда мы выбираем определенную возможность или возможности. До выбора мы были одними, а после другими. Удостоверение же в качестве трансценденции проявляется как высказывание о мире, подразумевающее уже некий взгляд на этот мир, который это удостоверение и обосновывает. Трансценденция как единое трех обоснований есть онтологическая истина [2, с. 213], то есть

является определенным взглядом на мир, или, лучше сказать, онтологией или философией – здесь эти понятия мы используем как синонимы. Тогда всякая трансценденция, как онтологическая истина, подразумевает философию. И если по предположению, которое мы вынесли ранее, во всяком философском удостоверение есть мифологема, то во всякой философии есть вымысел о мире, или скорее даже вымысел как мир.

Ларюэль использует выражение «Философское Решение», в которое включает как раз процедуру трансценденции [6, с. 138]. Для него сам переход от не-философии к философии происходит из-за Философского Решения, определяющего онтологическую позицию в отношении к самому Миру. Только так Философское Решение и создает тот Мир, который может быть описан онтологической позицией. Позиция и Мир связаны изначально Философским Решением. Философское Решение как бы выбирает, какую позицию из «виртуальной бесконечности вариантов» занять, – правда, заключив при этом всю эту бесконечность в определенной философской позиции. Это и позволяет Философскому Решению повторяться, создавая позициональную игру. Здесь мы не можем не отметить, что Ларюэль называет эту «позициональную игру» войной: «Природа философского Решения заключается в войне, войне как его сущности. Любая философская позиция является также виртуальной борьбой с другой» [6, с. 141].

Таким образом, состояние «войны всех против всех», будучи мифологемой внутри философии Гоббса, становится реальностью самой философии. Иначе говоря, “Война всех против всех” – это базовое состояние философии в силу ее структуры: трансценденции, или Философского Решения.

Литература

1. Гоббс Т. Левиафан. М: РИПОЛ классик, 2017. С. 608 с.
2. Хайдеггер М. О существе основания // Что такое метафизика? М: Академический Проект, 2013. С. 172–230.
3. Элиаде М. Аспекты мифа // М.: Академический Проект, 2010. С. 251.
4. Михайлов А. Естественное состояние как «возможные истории» в «гражданской науке» Томаса Гоббса // СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2024. Т. 23. №3.
5. Керслейк К. Об основании Делёза // Логос. 2020. Т. 30, № 4(137). С. 89–108.
6. Ларюэль Ф. В защиту науки о Философском Решении // Еще один. 2024. № 1. С. 127-160.

Границы в науке: феноменологическая интерпретация

Ермаков А. А.

Политехнический университет Петра Великого, аспирант

E-mail: ermakov_aa@spbstu.ru

Аннотация: В данной статье представлен феноменологический взгляд на науку, её основания и границы. Продемонстрирована актуальность феноменологической интерпретации философии науки. Рассмотрены механизмы формирования научного знания с феноменологической точки зрения. Особое внимание уделяется региональным онтологиям как определённого рода эпистемологиям, определяющим предметную область и понятийный состав конкретных наук. Освещены ноэматические корреляты сознания, как определённые понятийные образования, функционирующие в качестве словесных значений в составе научного знания. Изложена программа преодоления кризиса наук за счёт прояснения их “примитивных” понятий, лежащих в основе обосновывающих их онтологий. Описана методика прояснения или приведения

к ясности понятий, функционирующих в рамках онтологически фундируемого региона природы.

Ключевые слова: философия науки, феноменология, ноэма, сущность, понятие

Boundaries in Science: A Phenomenological Interpretation

Ermakov A. A.
Peter the Great Polytechnic University

Abstract: This article presents a phenomenological view of science, its foundations and boundaries. The relevance of the phenomenological interpretation of the philosophy of science is demonstrated. The mechanisms of formation of scientific knowledge from a phenomenological point of view are considered. Special attention is paid to regional ontologies as a kind of epistemology that defines the subject area and conceptual composition of specific sciences. The noematic correlates of consciousness are highlighted as certain conceptual formations that function as verbal meanings in scientific knowledge. A program is outlined to overcome the crisis of the sciences by clarifying their "primitive" concepts underlying the ontologies that justify them. A technique for clarifying or clarifying concepts functioning within an ontologically based region of nature is described.

Keywords: philosophy of science, phenomenology, noema, essence, concept

Феноменологическая философия науки на протяжении всего XX в. стояла особняком среди течений, изучавших науку, и мало входила в сферу актуальных философских исследований. Как отмечает Н. В. Бряник в своей монографии «Неклассическая философия науки», оценка роли феноменологии в философском дискурсе философии науки сводится практически к нулю [1, с. 61]. Она фактически отсутствовала в философии науки до 90-х годов XX века [1, с. 61]. Доминирующими трактовками научного знания являлись и по сей день остаются позитивистские концепции науки.

Однако, феноменология изначально претендовала на роль философии науки, исследуя основания научного познания. В область ее интересов входили как естественные, так и социо-гуманитарные науки. Сами названия работ Гуссерля – основателя феноменологии – помещают науку в центр обсуждения [1, с. 62]. Среди них: «Философия арифметики» (1981), «Философия как строгая наука» (1911), «Феноменология и основания наук» (1912), «Формальная и трансцедентальная логика» (1929), «Кризис европейских наук и трансцедентальная феноменология» (1935) и др., в названии которых не фигурирует предметно наука, но сохраняется как объект изучения в самом содержании (например, «Картезианские размышления» или «Кризис европейского человечества и феноменология»). В тексте данной статьи автор предпринимает попытку реконструировать идеи связанные с проектом создания феноменологической философии науки, на основе недавно вышедшей на русском языке третьей книги «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии: феноменология и основы наук» [2].

Таким образом, наука становится центральным объектом изучения феноменологической философии начиная с Эдмунда Гуссерля. Мы не будем углубляться в последующие философские течения феноменологический мысли, однако, отметим, что внимание к науке, как особому виду бытия человека уделяется Мартином Хайдеггером в «Бытии и времени», § 69b [6, с. 356–364], Максом Шелером в работе «Феноменология и теория познания» в разделе «Феноменология и наука' [7, с. 244–258] и другими. Феноменология по праву «с момента её возникновения в лице её основателя является мощным направлением в философии науки» [1, с. 62].

Феноменологические исследования затрагивают различные сферы научной работы вплоть до самых ее оснований, подвергают анализу границы частных наук. Это делается с помощью региональных априори, входящих в состав онтологии науки. С позиции Гуссерля региональные априори представляют собой базовые понятия и аксиомы конкретных дисциплин и определяют содержательно ее предмет и границы. Наука по мнению философа может существовать и даже развиваться отдельно от философии, однако ей недостает проясненных оснований. Эти положения Гуссерль обосновывает в работах разных лет («Логические исследования» [5], «Картезианские размышления» [3], «Кризис европейских наук» [4] и т. д.). Раскрытие данных региональных аксиом и понятий входит в задачу феноменологии, реализующей проект прояснения оснований науки.

Позитивистская и феноменологическая философия науки шли разными путями в обосновании цели, задач и методов научного знания. Феноменологическую философию волнует лишь принципиальная сущность, идея науки, которая восходит к ее категориальному типу. Идея метода такой науки может быть обоснована только исходя из идеи ее предметности. С точки зрения Гуссерля, феноменология является пропедевтикой к любой науке в плане прояснений ее оснований.

Исследование результатов конкретных не может гарантировать прояснения ее оснований. Чтобы прояснить понятие «числа», фундаментального понятия арифметики, не поможет теория интегральных уравнений или дифференциальных уравнений. Прояснение сущности «психического» и психики в общем не зависит от конкретных психологических методик и их содержания, тем более от общей, социальной или любой другой дисциплины психологии. Биолог выходит за рамки своей частной науки, когда определяет сущность «живого». Определение базовой сущности конкретных наук лежит за их пределами в феноменологии. Гуссерль стоит на позиции, что следование за наукой в ее базовых методах и понятиях, ее результатах и достижениях, хотя содержит в себе долю истины, однако лишь вредит, если и не частным наукам, то точно феноменологии [2, с. 61].

Феноменология анализирует и определяет изначальные предметности, которыми выступают смыслы первоначального сознания. Границы этой предметности также устанавливает феноменология. Например, идея вещи имеет «категориальную (или, лучше сказать, региональную) рамку для каждого возможного смысла, относящегося к опыту такого основного вида восприятия, рамку, к которой как к необходимой форме априори привязаны все более точные определения предмета, неопределенного в каком-то опыте» [2, с. 82]. Как бы ни менялось представление о вещи в «вольной фантазии» при ее варьировании или при реализации её идеальных возможностей, она всё остается тем, чем она сущностно является, т. е. вещью, даже если она вообще исчезнет. Это указывает на идеальные возможности варьирования вещи как чистой сущности в фантазии и определяет возможные конститутивные рамки ее бытия. Таким образом, региональное априори каждой науки определяет возможный опыт предметов определенной категории, в рамках которого реализуются методы конкретной науки и познается в понятиях подвергнутая изучению действительность.

Понятия занимают совершенно особое место в науке. Помимо того, что они сублимируют в себе всё накопленное за предыдущий опыт знание, они «связывают науку с предметами ее области изучения» [2, с. 151]. В связи с этим Гуссерль предлагает программу прояснения базовых понятий наук, которые в совокупности будут входить в состав той или иной региональной онтологии, определяющей границы и предметность данной науки. Гуссерль утверждает, что «все науки требуют обоснования для своих установок и понятий» [2, с. 148]. Однако не все науки отвечают этому требованию. Зачастую вера в истинность теории не сопровождается способностью ее обоснования. Практический успех или прогресс в научной области может не сопровождаться и, зачастую, не сопровождается, прояснением ее оснований. «Успехи наук не подарили нам сокровищ ясности. Благодаря ей мир не стал понятнее, он только лишь стал полезнее» [2, с. 150] – так определяет проблему современных ему наук основатель феноменологии. Тем самым наука отклоняется от своих первоначальных истоков и идеи сделать мир понятнее. Наука – это не «мыслительная техника». Гуссерль

манифестирует программу редукции: «необходимо свести их – наук – понятия и положения к осознаваемым с помощью интуиции понятийным сущностям и предметным данностям, которые они должны описать должным образом, если последние действительно истинны» и определяет метод для выполнения данной программы.

Феноменологический метод прояснения понятий, касающийся ноэм значения и ноэм восприятия, за которыми стоят «оригинальные сущности», преследует своей целью в каком-то смысле пересоздание заново существующего уже понятия. При этом стоит разделять ноэму значения, мыслительного значения, ноэму восприятия (если мы анализируем вещь восприятия) и сущность. Стоит прояснить смысл значения слова «сущности». Сущности – это все действительные, реальные объекты (объекты определенных онтологий). В этой перспективе «круглый квадрат» не имеет сущности в данном нам мире, по сравнению с стоящим передо мной домом или числом «пи». Ноэма восприятия – или попросту воспринимаемое в установке феноменологической редукции – не то же самое, что сущность. Воспринимаемое, мыслимое, переживаемое в самой общей форме и значении есть лишь переживаемое, интенциональное содержание акта сознания. Поэтому оно не есть реальная «вещь» или сущность, а скорее предмет, как предмет по сущности данный и заключенный в скобки.

Прояснение понятий заключается в том, что мы выходим за границы чистого значения слова, мыслительный анализ значений не является «схоластикой», игрой воображения, а всё-таки предполагает некий синтез (в кантовском смысле слова, т. е. выход за пределы содержания понятия в процессе суждения о предмете). В этой феноменологической методике мы «сополагаем значение [слова – А.Е.] с ноэматическим восприятием, ноэматический предмет первого с ноэматическим предметом второго». Таким образом, понятие пополняется новыми деталями и полнее отражает предмет – осмысляемую в нём сущность. Гуссерль отмечает, что когда для «заданного понятия находится подходящее восприятие, соответствующая ноэма восприятия, то следует зафиксировать, что будет выступать в качестве прочно связанной с понятием сущности» [2, с. 157]. Таким образом, сущность – это нечто реальное, сополагаемое понятию в акте феноменологической рефлексии и необходимое для прояснения научных понятий, а потому весь процесс феноменологического прояснения достигает реальности и не остается в рамках пустого воображения.

Философ предъявляет важное требование: «прояснение должно в точности повторять все ступени построения соответствующего объекта наблюдения» [2, с. 157–158]. Смысл конституируется в развертке объекта. Чем полнее смысл объекта, схваченный в понятии в качестве его понятийной сущности, тем более полное исследование в отношении наполняющих его интенций мы провели. В наблюдающем прояснении мы должны следовать за всем многообразием форм являющегося нам в восприятии объекта и дополнять, всё полнее определять его понятийное значение. Задача прояснения, таким образом, состоит в выявлении на основании лежащих в восприятии ноэм понятийных сущностей и приписывании им словесных значений, которые будут фиксировать их в качестве терминов.

Таким образом, формирование региональных онтологий, включающих в себя все базовые проясненные понятия частных, т. е. позитивных наук становится основной задачей феноменологии. Онтологии задают границы частных наук и их предмета – познаваемой ими действительности – посредством определения частных понятий, в которых формулируются утверждения о существовании или несуществовании отдельных сущностей. Перед Гуссерлем и феноменологией в общем, как и вслед за ней и наукой, встает двоякая задача прояснения фундаментальных понятий частных наук, с одной стороны, и формирования системы онтологий, полностью описывающих понятийный состав частных наук, а именно «перечень примитивных понятий, с помощью которого мы до сих пор выполняли и в будущем будем выполнять научную работу», с другой стороны. Перед нами предстает целостный и сформулированный в своих основных тезисах проект феноменологической философии науки.

Литература

1. Бряник Н.В. Неклассическая философия науки: монография / Н.В. Бряник. – М.: Академический проект, 2020. – 300 с.
2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга третья. Феноменология и основы наук / Пер. с нем. И. И. Докучаева, Н.В. Пигиной, Е.А. Смолоногиной – Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2024. – 231 с.
3. Гуссерль Э. Картезианские размышления / пер. с нем. Д. В. Скляднева. – Санкт-Петербург: Наука, 2006. 315 с.
4. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию / пер. с нем. Д. В. Кузницына, науч. ред. и послесл. Я. А. Слинина 2-е изд., испр. СПб.: Владимир Даль, 2022. 399 с.
5. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I: Пролегомены к чистой логике/ Пер. с нем. Э. А. Бернштейн под ред. С. Л. Франка. Новая редакция Р. А. Громова. М.: Академический Проект, 2011. 253 с.
6. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков: «Фолио», 2003. 503 с.
7. Шелер М. Избранные произведения / Пер. с нем. А. В. Денежкина, А. Н. Малинкина, А. Ф. Филиппова; под ред. А. В. Денежкина. — М.: Издательство «Гнозис», 1994. 490 с.

Как возможна метафизика как наука (?): на пути к «экспериментальной» [трансцендентальной] метафизике

Катречко Сергей Леонидович
кандидат философских наук
Государственный академический университет гуманитарных наук
философский факультет, доцент
E-mail: skatrechko@gmail.com

Аннотация. В «Критике чистого разума» И. Кант ставит вопрос о возможности метафизики как науки. В отличие от уже существующих физики и математики метафизика как наука еще не существует (хотя Кант и постулирует наличие у человека природной метафизики) и ее предстоит еще создать. Для реализации «измененного метода мышления [в метафизике]» [BXVIII] и построение на его основе «научной» трансцендентальной метафизики (как решения семантической проблемы соответствия в качестве «главной тайны метафизики» из письма Канта к М. Герцу от 21.02.1770) Кант осуществляет свой «коперниканский переворот» в метафизике, в основе которого лежит трансцендентальное различие между вещами самими по себе и явлениями (предметами опыта). Именно это различение составляет суть того, что Кант называет «экспериментом чистого разума («мысленного эксперимента»)» [BXX прим.], позволяет Канту развить метафизику возможного опыта.

Ключевые слова: Кант, трансцендентальная метафизика, a priori, «эксперимент чистого разума» (мысленный эксперимент), метафизика возможного опыта.

How is metaphysics as a science possible (?):
toward an "experimental" [transcendental] metaphysics

Katrechko S.L.
State Academic University of the Humanities

Abstract. In his "Critique of Pure Reason" Kant raises the question of the possibility of metaphysics as a science. Unlike the already existing physics and mathematics, metaphysics as a science does not yet exist (although Kant postulates the presence of metaphysica naturalis in humans) and it has to be constituted. In order to implement the "altered method of thinking [in metaphysics]" [BXVIII] and construct on its basis a "scientific" transcendental metaphysics (as a solution to the semantic problem of correspondence as the "main secret of metaphysics" from Kant's letter to M. Herz dated February 21, 1770), Kant carries out his "Copernican revolution" in metaphysics, which is based on the transcendental distinction between things in themselves and appearances (objects of experience). It is precisely this distinction that constitutes the essence of what Kant calls "the experiment of pure reason (= thought experiment)" [BXX note], which allows Kant to develop the metaphysics of possible experience.

Keywords: Kant, transcendental metaphysics, a priori, "experiment of pure reason" (thought experiment), metaphysics of possible experience.

В своей работе «Метафизика нравов» (1797 г.) Кант говорит, что «*до появления критической философии* [т.е. до появления кантовской «Критики чистого разума» в 1781 г. – К.С.] *не существовало никакой философии [что звучит высокомерно, себялюбиво]… [и] таким образом, когда критическая философия провозглашает себя такой философией, до которой еще вообще не существовало никакой философии, то она поступает [правильно]»* [1, т.6, с.227–228] (обратим в этой связи внимание на книгу Э. Фёстера «25 лет философии» (2011) [2], в которой утверждается всего лишь 25-летний период существования настоящей – трансцендентальной – философии, который начинается с кантовской «Критики чистого разума» (1781 г.), а заканчивается в 1806 г. работами Гегеля). Соответственно, только развиваемая *трансцендентальная философия* Канта может претендовать на статус *научной метафизики* и, соответственно, поставленный в «Критике чистого разума» вопрос о возможности метафизики как науки применим только к его трансцендентальной метафизике, а вся прежняя метафизика должна быть подвергнута *критике* и «революционному» преобразованию.

Вопрос о революционном преобразовании метафизики в науку является лейтмотивом кантовского *Предисловия* к 2-му изд. «Критике чистого разума» (далее – *Критики*), где он говорит об «*измененном методе [самого] способа мысли* [мышления] (нем. *Umänderung der Denkart*)» [3, с. 19; [BXVIII] (далее указание на стр. *Критики* будут приводиться в международной пагинации A (1-е изд.) / B (2-е изд.).)], что «*обещает метафизике верный путь науки*» [там же] (заметим, что выражение «верный путь науки» (*sichere Gang einer Wissenschaft*) Кант использует во 2-м *Предисловии* несколько раз (см.: [BVII, VIII, IX, X(дважды), XI, XII, XIV (дважды), XV, XVIII, XIX, XXIII, XXX]), хотя большей частью применительно к физике и математике, которые уже вступили на «путь науки»). Как подчеркивает Кант, «*задача этой критики… состоит в попытке изменить прежний метод исследования в метафизике* [см. [BXVIII] выше]*, а именно совершить в ней полную революцию* [или «коперниканский переворот»; [BXVI, BXXI прим.]]*, следуя примеру геометров и естествоиспытателей*» [BXXII], что позволит превратить прежнюю догматическую метафизику в науку, каковой и выступает кантовская *трансцендентальная метафизика*. А в более поздних *Пролегоменах* [ко всякой будущей метафизики, которая может появиться как наука] (1783 г.), которые проясняют содержание *Критики*, Кант сравнивает построение его

трансцендентальной философии (= трансцендентальной метафизики) с переходом от *алхимии* к [научной] *химии*, или от *астрологии* к [научной] *астрономии* [4, т.4, с.132].

> [В *Пролегоменах* Кант дает следующее определение *научной метафизики*: «итак, чтобы м*етафизика могла как наука* претендовать… на действительное понимание, для этого критика самого разума должна представить исчерпывающую таблицу априорных понятий [категорий] [*единство, множественность, целокупность* (количество), *реальность, отрицание, ограничение* (качество), *присущность и самостоятельное существование, каузальность и зависимость* [причина и следствие], *общение* [взаимодействие] (отношение), *возможность, бытие, необходимость* (модальность) — [B106]], разделение их по различным источникам: чувственности, рассудку и разуму, со всем, что отсюда может быть выведено; затем главным образом возможность априорного синтетического познания посредством дедукции этих понятий, принципы их применения и, наконец, их границы, и все это в полной системе. Таким образом, эта критика, и только она одна, содержит все средства, необходимые для создания метафизики как науки; другими путями она невозможна» ([4, т.4, с.131–2]; выделено мной. — К.С). Ср. с определением метафизики из более ранней кантовской *Диссертации* (1770 г.): «*первая философия, содержащая принципы применения чистого рассудка, есть метафизика*» [5, т.2, с.289], в которой приводится перечень чистых рассудочных понятий, или *категорий*: «к таким понятиям принадлежат: понятия *возможности, бытия, необходимости, субстанции, причины* и прочие с противоположными им или соотнесенными с ними понятиями» [5, т.2, с.289]. Далее мы будем следовать кантовскому пониманию метафизики как *системы априорных категорий* (и образованных из них *основоположений*), что соответствует современной трактовке метафизики: см., например, переизданную несколько раз «классическую» книгу М. Лоу «Метафизика: современное введение» (1998/2017) [6]].

Тем самым Кант ставит о вопрос о границах метафизики как науки, которые задаются использованием в (трансцендентальной) метафизике *трансцендентального метода*, определяемого Кантом в качестве «измененного метода мышления [в метафизике]».

Для понимания сути кантовского преобразования метафизики «по пути науки» (resp. «измененного метода мышления [в метафизике]», или кантовского коперниканского переворота) обратимся к известному письму Канта к М. Герцу от 21.02.1772, где он впервые эксплицирует замысел своей *Критики* (называемой в этом письме «*Границы чувственности и разума*»). В письме Кант пишет о «ключе ко всей тайне метафизики», который формулируется им в виде семантической *проблемы соответствия* предметов и представлений:

«Продумывая теоретическую часть… я заметил, что мне не хватает еще кое-чего существенного, что… я упустил из виду [в своей *Диссертации* 1770 г. – К.С] и что в действительности составляет ключ ко всей тайне метафизики… Я поставил перед собой вопрос: *на чем основывается отношение того, что мы называем представлением в нас, к предмету?*» [7, с.487]

В письме к Герцу (а позже и в *Критике*: см. [A92-94/ B125-127], [BXVI – XVIII]) Кант выделяет два пути решения проблемы соответствия, которые можно было бы назвать *эмпирическим* и *априорным*. Понятно, что для *эмпирических представлений* их содержание задается аффицируемым нашу чувственность предметом. Но в случае априорных представлений (= априорных форм чувственности и рассудка), наличие которых постулируется Кантом, эмпирический путь не дает удовлетворительного ответа: априорные представления не могут иметь эмпирического происхождения. И поэтому необходимо выбрать другой — измененный [трансцендентальный] — путь, в рамках которого «*мы a priori познаем в вещах только то, что сами в них вложили*» [BXVIII]. Собственно, выбор этого (второго) «априорного (трансцендентального) пути» и составляет суть кантовского «коперниканского переворота» (resp. «измененного метода мышления»), который и позволяет превратить метафизику в науку (подробнее об этом см. [8, 9, 10], а также [11]).

Что лежит в основании выбора Кантом измененного пути решения проблемы соответствия? Кант пишет об этом в примечании к фр. [BXVIII], а также в поясняющих примечаниях [BXX прим.], [BXXI прим.]. Там он описывает некий «эксперимент чистого разума» [BXX прим.], выступающий аналогом экспериментального метода естественно-математических наук, который позволил им ранее встать на «верный путь науки». Как замечает Кант, у метафизики (в отличие от естествознания и математики) нет объектов, с которыми она могла бы экспериментировать, поэтому для научной метафизики остается лишь путь «мысленного эксперимента», и этот эксперимент, описанием которого является кантовская *Критики*, заключается в том, чтобы «одни и те же предметы могли бы рассматриваться [с двоякой точки зрения], *с одной стороны* как предметы чувств и рассудка для опыта [т.е. как *предметы опыта*, или *явления*. — К.С.], *с другой же стороны*, как предметы, которые мы только мыслим и которые существуют разве только для изолированного и стремящего за пределы опыта разума [т. е. как *вещи сами по себе*, или *ноумены*. — К.С.]; следовательно, они могут быть рассмотрены с двух различных сторон» [BXVIII прим.].

По сути, здесь Кант говорит о важнейшем для его трансцендентальной метафизики различении между *вещами сами по себе* и *явлениями* (*предметами опыта*), проведение которого позволит встать метафизике на «верный путь науки». Именно этим научная метафизика Канта отличается от предшествующей (наивной) метафизики, которая подобного [трансцендентального] различения не делала и считала воспринимаемые вещи (и их свойства) самими вещами, а не их явлениями. Вместе с тем при введении (обосновании) новой «гипотезы» (о различении вещей самих по себе и явлений) Кант опровергает предшествующую «наивную» метафизику в *Антиномиях*, поскольку принятие *Мира* в качестве вещи самой по себе (а не явления) ведет к «противоречию разума с сами собой» [BXVIII прим.]: *Мир* является конечным и бесконечным (1-я антиномия), — а истинная метафизика не может быть противоречивой. Таковой для Канта выступает *метафизика возможного опыта*, предоставляющая наукам некую «концептуальную сетку/схему» (=набор категорий), которая заполняется эмпирическим содержанием в ходе познания мира (подробнее см. [12]).

Литература

1. Кант И. Метафизика нравов // Кант И. Соб. соч. в 8-ми т., Т. 6, М.: Чоро, 1994, С.224–543.
2. Förster E. The Twenty-Five Years of Philosophy: A Systematic Reconstruction (trans. by B. Bowman), Harvard, 2012.
3. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. на русском и немецком языках. М.: Наука, 1994–2006. Т.2. Ч.1, Ч.2.
4. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Кант И. Соб. соч. в 8-ми т., Т. 4. М.: Чоро, 1994, С. 5–152.
5. Кант И. О форме и принципах чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира // Кант И. Соб. соч. в 8-ми т., Т. 2. М.: Чоро, 1994.
6. Loux M.J. Metaphysics: A Contemporary Introduction, 4th ed., London & New York: Routledge, 2017.
7. Кант И. Письмо к Герцу (избр. письма) // Кант И. Соб. соч. в 8-ми т, Т.8. М.: Чоро, 1994. С.463–590.
8. Катречко С. Л. Кантовская идея трансцендентальной философии // Трансцендентальный журнал. 2020. Т. 1. Вып. 1. URL: https://ras.jes.su/transcendental/s123456780008967-4-1.
9. Катречко С. Л. Кантовский коперниканский переворот: синтез эмпирического реализма и трансцендентального идеализма // Вопросы философии. 2022. № 6. С.131–141.
10. Катречко С. Л. Кантовский коперниканский переворот как измененный метод мышления [в метафизике]: его структура и статус в системе трансцендентальной философии// Трансцендентальный журнал, Т.3, выпуск 1–2, 2022 URL: https://ras.jes.su/transcendental/s271326680020991-0-1.

11. Катречко С. Л. Как возможна метафизика: на пути к научной [трансцендентальной] метафизике //Вопросы философии № 3, 2012. с. 3–15.
12. Катречко С. Л. Трансцендентализм Канта как метафизика возможного опыта и его реалистическая трактовка в аналитической философии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2023. Т. 27. №3. с. 659–676.

Социоправо и становление конвергентных технологий

Малюкова О. В.
Доктор философских наук
Московский государственный юридический университет
Имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры философии и социологии
E-mail: o.maliukova@list.ru

Аннотация: в связи с существенной трансформацией социума право, как гуманитарная технология, также нуждается в существенном пересмотре, выработке новой методологии, которая бы позволяла праву играть роль драйвера в достижении научно-технологического и социально-гуманитарного лидерства страны. Результатом подобного пересмотра должно стать право для лидерства, такие разделы которого как социоправо и правовой инжиниринг рассмотрены в статье.

Ключевые слова: конвергентные технологии, блокчейн, секвенирование генома, постфактумная логика права, антефактумная логика права, правовой инжиниринг.

Sociolaw and the Development of Convergent Technologies

Malyukova O. V.
Kutafin Moscow State Law University (MSAL),

Abstract: Due to the significant transformation of society, law, as a humanitarian technology, also requires a significant revision, along with the development of a new methodology that would enable law to act as a driver in achieving the country's scientific, technological, social, and humanitarian leadership. This revision should result in a law for leadership, the areas of which, such as sociolaw and legal engineering, are discussed in the article.

Keywords: convergent technologies, blockchain, genome sequencing, post-factum legal logic, ante-factum legal logic, legal engineering.

Современный этап развития научного знания характеризуется ростом удельного веса междисциплинарных исследований, которое выражается в т. н. НБИКС-конвергенции [2]. Такая конвергенция предполагает объединение достижений нано-, био-, инфо-, а также когнитивных и социогуманитарных наук и технологий путем их синергетического усиления. К настоящему времени создано множество проектов конвергенции, значительная часть которых уже реализована или находится в стадии реализации. К ним относятся: 3D-принтеры, технология блокчейн, беспилотные транспортные средства, в том числе БПЛА, интернет вещей, технология секвенирования генома, технологии виртуальной и дополненной реальности. Классическим примером конвергенции различных направлений техники и технологии являются современные цифровые информационно-коммуникационные технологии, которые стали результатом объединения вычислительной техники и техники средств связи, ранее функционировавшие как отдельные виды техники.

Роль гуманитарного знания в становлении конвергентных технологий должна быть достаточно значимой, поскольку именно гуманитарное знание имеет своим предметом изучение человека и общества, которым и призваны служить технологии. Эта роль не может быть сведена только к описанию событий технологического мира, его сущности и тенденций, гуманитарное знание должно участвовать в постановке целей и задач новых технологий. В этой оптике наиболее разработанными являются вопросы, относящиеся к участию в технологическом развитии такого значимого раздела гуманитарного знания, каким является этика [4]. В настоящее время можно говорить о конвергенции естественнонаучного, технического и гуманитарного знания или о конвергенции нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий. В рамках этого периода уже достигнуты впечатляющие результаты в виде резкого, до 80% увеличения безналичных расчетов и успешного функционирования бесконечной вселенной государственных услуг.

Задача гуманитарного знания на этом этапе – это сохранение за человеком статуса носителя творческого мышления, постановщика задач и купирования тех угроз, которые могут нести новые технологии. Создание в юридической среде кластерной технологии «социоправа» может быть рассмотрено как решение одной из задач гуманитарного знания. Необходимо отметить то обстоятельство, что в связи с существенной трансформацией социума право также нуждается в существенном пересмотре, выработке новой методологии, которая бы позволяла праву играть роль драйвера в достижении научно-технологического и социально-гуманитарного лидерства страны. Современная геополитическая ситуация и государственная политика России дают возможность для формирования правовой независимости и правового лидерства России в контексте выработки инновационных правовых моделей в тех областях общественных отношений, которые зарождаются или прогнозируются, что создает основы для глобального правового лидерства страны, которому противостоят угрозы и вызовы, стоящие перед юридической наукой. К ним относятся следующие оппозиции:

1. Постфактумная логика права против научно-технологического лидерства: один из главных вызовов для юридической науки. Традиционный подход к праву выражается в его конституировании в постфактумной логике: «меняется социум – меняется право». Научно-технологическое лидерство России невозможно без перехода к антефактумной (ante factum) логике, правовому прогнозированию и инновационной деятельности.

2. Аналоговый мир против цифрового. Ключевым вызовом является трансформация профессии юриста под влиянием технологии искусственного интеллекта. Ведь юриспруденция занимает 5 место среди разных профессиональных областей, максимально подверженных воздействию технологий ИИ. Необходимо готовить будущих юристов с учетом вызовов цифрового мира.

3. Отраслевые системы или инновационное знание. Генерация инновационного знания и управление инновациями требуют институциональной трансформации права по кластерному принципу, в соответствии с новой системно-структурной организацией (таксономией) права.

4. «Догоняющее право» или технологическое лидерство. Право не просто должно сопровождать технологическое развитие, но обеспечивать лидерство.

Результатом ответа на подобные вызовы должно стать *право для лидерства* [1] – новая генерация инновационных знаний в области права, представляющих собой ценностные, гуманистические и правовые механизмы, позволяющие обеспечивать технологическое и социально-гуманитарное лидерство России, моделировать и преображать посредством правового инжиниринга социальную, информационную, природную, биологическую, техно- и пространственную среды на национальном и глобальном уровнях.

Право для лидерства предполагает моделирование правовой надстройки, адекватной меняющемуся базису и способной обеспечивать опережающее научно-технологическое развитие и лидерство России, формируя новую модель права для научно-технологического развития в совокупности социоправа, экоправа, права устойчивого развития, биоправа, киберправа, техноправа, геоправа, бизнес-права. Сюда же относится обеспечение сквозной

межотраслевой технологии правового инжиниринга на уровнях нормотворчества и правоприменения, ведущей к формированию новой методологии организации правового регулирования для технологичных и инновационных отраслей экономики, трансфера технологий и технологического лидерства страны на международной арене.

Рассмотрим подробнее одну из упомянутых кластерных моделей, а именно, *Социоправо.* Кластерный подход к организации права осмыслен как новый этап развития права с учетом существенных социально-экономических и технологических сдвигов. Все кластерные проекты нацелены на поиск правовых решений и правовых механизмов обеспечения достижения национальных целей, установленных в Указе Президента РФ № 309 [6]. Кластерный проект «социоправо» выступает фундаментальной основой инновационной юриспруденции, конституирует правовые инновации. Нацелен на поиск правовых решений и правовых механизмов обеспечения достижения национальных целей «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей», «реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Указ Президента РФ № 529 [5] и в перспективе до 2036 года предлагает выработать комплекс правовых решений, которые в рамках «социоправа» должны служить для укрепления социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня образования, а также для создания правовой инфраструктуры создания и трансфера технологий системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности РФ в формирующемся миропорядке.

Создание комплекса правовых решений требует появления иных юридических профессий, среди которых наиболее значимыми станут новые профессии [3] лигалтех-менеджера, специалиста по автоматизации юридических процессов, специалистов по управлению данными, специалистов по правовому инжинирингу и пр. Лигал-инжиниринг объединяет два вида деятельности: юридическую и технологическую, что отвечает запросу государств, международных объединений и сообществ, стремительно меняющихся под влиянием технологий. В результате развитие экономики данных, технологии искусственного интеллекта и т. д. консолидирует в государственных органах, в крупных корпорациях, бизнесе запрос на юриста нового типа, который и будет положен в основу трансформации и сохранения профессии юриста.

Литература

1. Инновационная юриспруденция: учебник / отв. ред. В. В. Блажеев, М. В. Мажорина. Москва: Проспект, 2025. – 912 с.
2. Малюкова О. В., Матронина Л. Ф. Технология научного познания. Монография. – М., Проспект, 2021. 448 с.
3. Минбалеев А. А., Полякова Т. А., Добробаба М. Б. и др. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (Legal Tech). – М.: Проспект, 2023. 368 с.
4. Наука, технологии и ценности в неустойчивом мире: сборник научных статей / Научн. ред. И сост. И. Т. Касавин, Н. А. Ястреб, Л. В. Шиповалова [Электронный ресурс]. Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2024. 950 с.
5. Указ Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» от 18 июня 2024 года № 529.
6. Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 года № 309.

Экология: границы науки

Петрова Е. В.
Кандидат философских наук
Институт философии РАН, ведущий научный сотрудник
E-mail: philosophyx@rambler.ru

Аннотация: Каковы границы экологии и как они связаны с границами науки вообще? Охрана окружающей среды и экология – это одно и то же? Является ли экология исключительно естественнонаучной дисциплиной? Наметить контуры ответов на эти вопросы – цель данной статьи. Автор приходит к выводу о том, что экологическое познание имеет право на существование везде, где есть отношения взаимовлияния объекта и значимой окружающей среды (биологической, социальной, культурной, информационной, языковой). Это существенно расширяет границы экологии как науки, а также переводит ее из статуса биологической науки в междисциплинарный статус, объединяющий в себе методы и подходы как естественных, так и гуманитарных наук. Общенаучное отграничение от псевдонауки и обыденного знания справедливо и для экологии, но имеет специфические особенности.

Ключевые слова: экология, наука, границы науки, окружающая среда, гуманитарные экологии.

Ecology: the boundaries of science.

Petrova E.V.
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Abstract: What are the boundaries of ecology and how do they relate to the boundaries of science in general? Are environmental protection and ecology the same thing? Is ecology an exclusively natural science discipline? The purpose of this article is to outline the contours of the answers to these questions. The author comes to the conclusion that ecological cognition has the right to exist wherever there is a relationship between an object and a significant environment (biological, social, cultural, informational, linguistic). This significantly expands the boundaries of ecology as a science, and also transfers it from the status of a biological science to an interdisciplinary status that combines the methods and approaches of both natural and humanitarian sciences. The general scientific distinction between pseudoscience and everyday knowledge is also valid for ecology, but it has specific features.

Keywords: ecology, science, boundaries of science, environment, humanitarian ecology.

Научное познание как таковое традиционно отличается от других форм познания: обыденного знания, ненаучного знания, псевдонаучного знания. Справедливо это и для такой научной дисциплины, как экология. При этом за счет специфики своего предмета экология имеет определенные отличия от других наук в выстраивании своих границ. Н.Ф. Реймерс в свое время даже ставил вопрос: является ли современная экология наукой или мировоззрением? [1]. Такая постановка вопроса связана с тем, что экология, по крайней мере в ее обывательском понимании, проникает в жизнь каждого человека в большей степени, чем, возможно, любая другая из наук. Окружающая среда является нашим домом, а экология – наукой об этом доме. Мировоззренческий статус экология обретает именно из-за своей универсальности, «вездесущести». Если многие науки (химия, геометрия и т. д.) забываются даже в пределах школьного курса, то свой взгляд на экологические проблемы и пути их

решения имеет абсолютно каждый человек. Здесь-то и кроется проблема. Как разграничить строго научное и обыденное экологическое знание? Во всех ли ситуациях стоит это делать? Ответ на этот вопрос отчасти лежит в области нарратологии, то есть науки, изучающей нарратив (повествование). Специфика экологической деятельности такова, что на определенных ее этапах в ней может принять участие практически каждый человек, даже не обладающий специальными знаниями [см., напр. 2]. Экологические исследования зачастую требуют сбора большого массива наблюдательных данных (пробы воды и воздуха на содержание различных химических веществ, подсчет численности животных и растений на определенной территории). Такие данные за счет их массовости бывает затруднительно собрать ограниченными силами научных коллективов. На помощь здесь приходят технологии краудсорсинга, то есть использование ресурсов «толпы», широкого круга непрофессиональных наблюдателей, любителей природы, волонтеров. Краудсорсинг широко используются и в природоохранной деятельности, при ликвидации последствий техногенных катастроф (к примеру, очищение водоплавающих птиц после разлива мазута).

Поскольку такого рода деятельность, направленная на сохранение экологического равновесия, имеет смысложизненное значение для выживания человечества и всей биосферы Земли, важнейшее значение приобретает формирование экологического сознания у как можно большего количества людей. На этом пути хороши все средства. Как подчеркивает И. О. Щедрина, «экологический нарратив исследователя, ученого, зачастую как неформальное изложение, может оказать положительное влияние на формирование экологического сознания в культуре» [3, с. 134]. Под экологическим нарративом понимаются, например, дневниковые заметки эколога-исследователя, путешественника, в которых констатация фактов сочетается с субъективной оценкой и переживаниями, а сухой научный стиль изложения перемежается более свободным, художественно окрашенным. Такое личностное, художественное обращение к читателю способствует вовлечению в экологическую проблематику широкой аудитории.

Интересен вопрос о соотношении понятий «экология», «охрана природы» и «охрана окружающей человека среды». Неспециалист зачастую ставит между ними знак равенства, что неверно. Во-первых, экология – научная дисциплина со своим теоретическим ядром. Природоохранные же мероприятия подразумевают, в основном, практическую деятельность. В основе этой деятельности лежат законы экологии, ее теоретическое ядро, но одно несводимо к другому. Во-вторых, понятия «охрана природы» и «охрана окружающей человека среды» также не тождественны. Охрана природы исходит прежде всего из потребностей биосферы, а охрана окружающей среды – из потребностей человека.

Традиционно экологию, зародившуюся в недрах биологии, принято относить к естественным наукам. Но как быть в таком случае с такими, ставшими уже традиционными, дисциплинами, как социальная экология и экология человека? Не говоря уж о более новых, формирующихся – экологии культуры, информационной экологии, экологии языка. Здесь мы видим яркий, наглядный пример расширения границ науки, объекта и предмета ее исследований, объединения естественнонаучных и гуманитарных методов в целостном процессе познания. Говоря словами Н. Ф. Реймерса, «здесь окончательно смыкается цикл естественнонаучных и гуманитарных знаний, происходит выход в философию и развивается общенаучный подход к проблеме» [1, с. 12].

Основанием для того, чтобы считать все вышеперечисленные дисциплины экологическими, выступает понятие среды и отношения объекта с этой средой. Причем среда в данном случае понимается не просто как окружающе-нейтральная, а значимая для объекта, воздействующая на него и вызывающая в нем изменения. При этом сам объект тоже воздействует на среду, изменяя ее. В качестве такой среды может выступать культура (как материальная, так и нематериальная), если мы говорим об экологии культуры. Искусственно созданная информационная среда, если речь идет об экологии цифровой среды. Языковая среда в случае экологии языка.

В то же время, несмотря на существенное расширение границ экологической науки, большой ошибкой было бы полагать, что все есть экология и каждый может быть экологом. Н. Ф. Реймерс пишет о том, что из-за отсутствия в экологии четких теоретических основ, к ней «легко примкнуть, даже ничего в ней не смысля», происходит «взрыв профанации знания» [1, с. 13]. Псевдо- и лженаучные концепции так же неприемлемы в экологии, как и в любой другой научной дисциплине. При этом взаимосвязь с экономикой и практическая ориентированность экологических исследований служат богатейшим субстратом для расцветания псевдонаучных концепций. Как подчеркивает Б. И. Пружинин, «центральным становится теперь вопрос об эффективности (приемлемости) знания. Между тем псевдознание оказывается во многих случаях значительно более эффективным и почти всегда - более приемлемым» [4, с. 124]. Специфика экологии заключается в том, что в ней существует множество мифов. Это обусловлено самим характером данной науки, например тем, что в экологии очень сложно, а зачастую невозможно поставить эксперимент, дающий однозначный ответ, существует ли то или иное явление, чем оно обусловлено и к каким последствиям может привести. Наблюдательные данные также не всегда возможно собрать в полном объеме, что объясняется масштабностью и многофакторностью процессов, происходящих в окружающей среде. Объяснения и прогнозы зачастую неоднозначны, так как экологическая обстановка под влиянием человеческой деятельности постоянно изменяется. В таких экологических условиях, как сейчас, человечество не находилось никогда на всем протяжении своей истории. Поэтому для построения прогнозов и моделей зачастую просто недостаточно материала. Соответственно, возникает почва для зарождения множества экологических мифов. Причем на данном этапе мы далеко не всегда можем сказать однозначно, мифы это или вполне релевантные научные теории. Это касается трактовки таких экологических проблем, как глобальное потепление, исчезновение озонового слоя, вымирание видов растений и животных (в том смысле, вызвано ли оно естественными причинами или деятельностью человека). Поскольку экология и экономика тесно связаны, некоторые экологические теории (или мифы) поддерживаются или опровергаются, исходя из экономических интересов. Например, компания, производящая фреон, долгое время опровергала его роль в разрушении озонового слоя. Однако впоследствии, после разработки и начала продаж ею более безопасных хладагентов, поддержала фреоновую теорию. При этом, как допускает Г. Т. Фрумин, «не исключено, что изменение мощности озонового слоя является природным ритмично-колебательным процессом, происходящим сейчас, бывшим в прошлом, но который просто не фиксировался достаточно отчетливо наблюдателями и не имеет четкого отражения в природных феноменах» [5, с. 111].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологическое познание имеет право на существование везде, где есть отношения взаимовлияния объекта и окружающей среды (социальной, информационной, языковой). Это существенно расширяет границы экологии как науки, а также переводит ее из статуса биологической науки в междисциплинарный статус, объединяющий в себе методы и подходы как естественных, так и гуманитарных наук. Более того, понимаемая таким образом экология начинает претендовать на роль универсального междисциплинарного методологического подхода, что существенно обогащает научную методологию и расширяет границы исследований.

Однако у экологии, безусловно, остаются вполне определенные границы. Во-первых, они связаны с границами науки как таковой, с исключением из научного познания мифов и псевдонауки. Во-вторых, не следует смешивать экологическое познание с любительскими знаниями о природе. Непрофессионалы могут помочь экологам на некоторых этапах получения нового знания, например, при сборе данных. Но это не означает, что экологом может быть каждый. И, в-третьих, несмотря на явно идущий процесс гуманитаризации экологии, расширения ее исследовательского поля, не следует смешивать экологию языка и лингвистику, экологию культуры и культурологию и т. д. У каждой из этих дисциплин свой объект исследования и свое проблемное поле, хотя, безусловно, они могут обмениваться методами и подходами.

Литература

1. Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Журнал «Россия молодая», 1994. – 367 с.
2. Петрова Е. В. Междисциплинарность и краудсорсинг в экологии как ответы на вызовы техногенной цивилизации // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57. № 4. С. 117–122.
3. Щедрина И. О. Историческая память и нарратив: экологические контексты. М. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. – 174 с.
4. Пружинин Б.И. Псевдонаука сегодня // Вестник Российской академии наук. 2005. Т. 75. № 2. С. 117–125.
5. Фрумин Г. Т. Глобальные экологические проблемы: путь к катастрофе или миф? // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2009. № 3. С. 101–113.

Границы подсистемы научной коммуникации: социально-философский анализ

Погожина Н.Н.
МГУ имени М. В. Ломоносова, философский факультет
Младший научный сотрудник
E-mail: pogozhinann@gmail.com

Аннотация: Данная статья представляет собой социально-философский анализ научной коммуникации, рассматриваемой через призму системно-коммуникативной теории. Автор фокусируется на проблеме границ научной коммуникации, для этого определяет научную коммуникацию в терминах как системно-коммуникативной теории как самореферентную функциональную подсистему общества, обладающую операциональной замкнутостью. Центральное внимание уделяется внешней научной коммуникации, то есть взаимодействию науки с другими общественными подсистемами и акторами — политикой, экономикой и гражданской общественностью. В статье реконструируются ключевые понятия системно-коммуникативного подхода, такие как «различение», «наблюдение» и «аутопойесис», обосновывается логические основы теории, сконцентрированные в логике различений Дж. Спенсера-Брауна. Демонстрируется, что научная коммуникация является не просто инструментом передачи информации, но первичным механизмом конституирования самой науки, который осуществляет свою работу через различение бинарного «истина/ложь». Подчеркивается эвристический потенциал социального и, шире, философского подхода Н. Лумана, который позволяет описать универсальные принципы связи науки с обществом, не сводя их к конкретным дисциплинарным проблемам.

Ключевые слова: научная коммуникация, система науки, наблюдение, социальная теория науки.

Благодарности/Финансирование: Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 24-18-00440 «Анализ социальной каузальности и инвариантов общественного развития как метод преодоления фрагментации социально-философского познания».

The Boundaries of the Scientific Communication Subsystem: a Socio-Philosophical Analysis.

Pogozhina N. N.
Lomonosov Moscow State University

Abstract: This article presents a socio-philosophical analysis of scientific communication through the lens of Niklas Luhmann's social systems theory. The author focuses on the problem of the boundaries of scientific communication, defining it as a self-referential functional subsystem of society, characterized by its operational closure. The main focus is on external scientific communication, i.e., the interaction of science with other social subsystems—politics, economics, and civil society. The article reconstructs key concepts of this approach, such as "distinction," "observation," and "autopoiesis," and substantiates its logical foundations, rooted in the logic of distinctions by G. Spencer-Brown. It demonstrates that scientific communication is not simply a tool for transmitting information but a primary mechanism that constitutes science itself, a process operationalized through the binary code of "truth/falsehood". The article highlights the heuristic potential of Luhmann's framework, which allows for describing the universal principles of the connection between science and society without reducing them to specific disciplinary problems.

Keywords: scientific communication, scientific system, observation, social theory of science.

Acknowledgments/Financial Support: The article was prepared with the support of the Russian Science Foundation, project № 24-18-00440 "Analysis of social causality and invariants of social development as a method of overcoming the fragmentation of socio-philosophical cognition".

Исследовательский опыт XX века, полученный в связи с развитием отдельных дисциплин и междисциплинарных подходов, направленных на изучение науки и научного знания, демонстрирует актуальность проблематизации и предметного исследования социальных связей как внутри института науки, так и с обществом в целом, формирование которых возможно по средствам *научной коммуникации*. Согласно определению Э. М. Мирского, научная коммуникация представляет собой «совокупность видов профессионального общения в научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, способов осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов» [1, с. 380]. Из этого определения следует, что научная коммуникация понимается как *условие продуцирования нового знания*, если речь идет о профессиональной коммуникации исследователей.

Отметим, что значимым для понимания функционирования научной коммуникации в обществе выступает дихотомия внутренней и внешней научной коммуникации, которая фиксирует размежевание взаимодействия внутри научного сообщества и взаимодействия науки с социальной средой вне профессиональных институций. Для нас интерес представляет рассмотрение именно *внешней научной коммуникации*, то есть коммуникации науки и общества (в виде различных социальных институций и широкой общественности – гражданской экспертизы, средств массовой информации, экономических и политических акторов (бизнесов, властных структур)).

Теперь мы обратимся к концептуальной модели, которая описывает собственно коммуникативные процессы науки, рассматривая научную (и любую другую) коммуникацию самозамкнутой. Теоретические взгляды на системный характер общества и роль коммуникации в объяснении построения общественной системы, обоснованные в подходе Н. Лумана и его последователей, играют важную роль в определении специфики научной

коммуникации и связи науки как общественной подсистемы с другими подсистемами общества.

Прежде чем обратиться к существу научной коммуникации в СКТ, мы кратко реконструируем системно-коммуникативный подход и акцентируем внимание на некоторых сложных моментах в трактовке его положений. Явным достоинством системно-коммуникативной теории является ее претензия на *универсальность*, что означает, в первую очередь, высокую степень абстракции в конституировании концептуального аппарата. Выходит, что теория выступает не продуцируемым ответом на конкретный социальный запрос или проблему, а наоборот, любая социальная тематизация/проблема продуцируется СКТ, то есть может быть описана ее теоретическим языком. Это явное преимущество для исследования научной коммуникации как минимум по двум основаниям: а) поскольку позволяет в универсальных терминах теории рассуждать о связи различных социальных подсистем с наукой (о гражданской публике, экономике, политике в приложении к научной коммуникации); б) поскольку не ограничивает возможность самоописания общества только крупными коммуникативными подсистемами (будь то право, экономика, политика, наука, межличностные отношения), но предоставляет возможность конкретизировать социальные феномены в терминах функциональных подсистем (например, осмысливать с этой точки зрения протестную активность, технику и др.). Сам Н. Луман обозначает это свойство теории как самореференцию, другими словами, отсутствие иных предпосылок существования системы вне и помимо нее самой [2].

Важно отметить, что несмотря на универсальность теории и сложность некоторых ее положений, СКТ всегда исходит из минималистичных посылок. В частности, об этом свидетельствует использование логики различений Дж. Спенсера-Брауна, в которой мы находим изъяснение важнейших понятий для СКТ – «наблюдения» и «различения» [3]. Здесь необходимо кратко прояснить положения, вводимые Н. Луманом и их связь с логикой Дж. Спенсера-Брауна для того, чтобы очертить методологические возможности СКТ. Дж. Спенсер-Браун проводит пространственное различение (знак/mark), которое благодаря этому (благодаря самому различению) возможно наблюдать. Первичное же, введенное Н. Луманом, различение будет различать систему и окружающую среду, причем это различение, как и пространственный знак Дж. Спенсера-Брауна, не проистекает ни из чего – *вводится первым шагом*. Так конституируется «наблюдение». Важно отметить, что в логике Дж. Спенсера-Брауна различение пространственно (знак буквально «режет»/различает пространство), для Н. Лумана пространственного различения недостаточно, чтобы описать селекцию, осуществляемую при коммуникации, поэтому вводится время. Различения производятся во времени как выбор значения одного из концов бинарного кода, для научной коммуникации таким кодом выступает *истина/ложь*.

Вопрос места и роли наблюдателя является важнейшим для социальной теории. Это имеет отношение к любой из общественных подсистем, включая науку: как мы можем наблюдать политику/экономику/право/науку и т. д., если мы сами как наблюдатели внутри общества, а значит все наши действия уже нормированы и продуцированы наблюдениями, и мы не можем занимать выделенное место, направить на систему «взгляд со стороны»? Важнейшим тезисом, помогающим выйти из этого затруднения, является тезис об автологичности социальной теории. Это значит, что социальная теория описывает общество, но не внешним образом, а вводя результаты описания общества в общество, тем самым его изменяя (то есть любое наблюдение влияет на объект своего наблюдения). Необходимо обозначить, к каким следствиям ведет такое понимание реальности в системной теории (особенно для научной коммуникации, для которой вопрос связи с реальностью своего объекта особенно чувствителен – важен и проблемен одновременно, примером здесь может послужить осмысление аргументов против любых реалистических теорий познания, очевидная критика, но также сложность отказа от корреспондентной теории истины и др.). Н. Луман, безусловно, мыслит скорее конструктивистки, однако нельзя этот поворот описать как совершенный отказ от реальности, внешнего мира, действительности, в том числе и

в приложении к научной подсистеме. Здесь скорее идет речь об эмпирической реальности, заданности операций коммуникации как базиса существования системы: бинарного кода коммуникации, разбега значений, то есть всего того, что составляет операциональную сущность акта. И это само по себе фиксирует существование реальности в виде реальности коммуникации, более того, спорить с этим допущением – значит также использовать ресурсы коммуникации, тем самым, наоборот, подтверждая универсализм. Таким образом, любая система (в том числе научная) является закрытой (самореферентной).

Для системно-коммуникативной теории коммуникация является важнейшим и первичным процессом, поскольку именно этот процесс осуществляет выбор в пользу того или иного различения. Это можно сказать обо всех системах общества, в том числе и о научной коммуникации. И этим СКТ примечательно для нас: *научная коммуникация не есть* производный элемент от совершенного опыта, эмпирической практики, теоретической гипотезы, научного открытия и т. д. как необходимость распространить научную информацию внутри профессионального сообщества или рассказать о науке гражданской общественности, популяризировать ее; *научная коммуникация есть* первостепенная основа системы науки, самой научности, поскольку именно коммуникация осуществляет выбор в пользу различений того, кто наблюдает, и Другого. Н. Луман вводит для этого различение действия/переживания, так перекрестными сочетаниями наблюдателя/другого в связке действия и/или переживания, он описывает все крупные коммуникативные системы. Для функционирования науки используется различения переживание и для наблюдателя, и для другого, что означает общность ощущений истинности в научной коммуникации.

Еще раз важно отметить специфичность подхода СКТ к осмыслению научной (и любой другой системной) коммуникации в обществе, выраженную в *универсальности*, то есть в возможности «вписать» научную коммуникацию в как часть системы общественных коммуникативных отношений, исходя из общих теоретических принципов, а не существа исключительно научной проблематики (как это было продемонстрировано в примерах дискуссий о моделях развития науки и методологии социального знания, реконструированных в начале данной статьи); системной *замкнутости* научной коммуникации (следование принципу отграничения системы от того, что ей не является), что позволяет отграничить (различить) на структурном уровне специфику коммуникации науки (в виде бинарного кода) от других коммуникативных подсистем; *эволюционном характере* механизмов селекции научного знания.

Литература

1. Мирский Э. М. Наука как социальный институт // Философия науки. Учебное пособие. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007. С. 307–386.
2. Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1998. – 594 p.
3. Spencer-Brown G. Laws of Form. London: Allen and Unwin, 1969. – 172 p.

Открытость научного знания: в поиске или в границах определенности?

Ткачев А. Н.

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
E-mail: andrey-tkacheff2015@yandex.ru

Аннотация: В докладе рассматривается вопрос природы открытости границ в науке. Отмечается противоположная направленность и

несовместимость между научным поиском и границами науки. Описываются проблема для развития науки в связи с принципиальной разнонаправленностью научного мышления. Поясняется различие значений понятия «научной гипотезы» для внутреннего и внешнего употребления относительно науки. Предлагается обратить внимание на отчасти бессознательный характер формирования границ науки. Сравнивается склонность к установлению границ в науке и в религии. Проблему границ и открытости в науке предлагается понимать как относящуюся к разряду «вечных вопросов».

Ключевые слова: открытость в науке, границы в науке, определенность, скепсис, научная гипотеза.

Openness of scientific knowledge: in search or within the boundaries of certainty

Tkachev A. N.
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Abstract: This article explores the nature of open boundaries in science. The author notes the contradiction between scientific inquiry and the boundaries of science, discussing their incompatibility. The author describes the multidirectional nature of scientific thinking as a challenge to the development of science. The article explores the meaning of the concept of "scientific hypothesis" for internal and external use in science. The author suggests paying attention to the partially unconscious nature of the formation of scientific boundaries. The article compares the tendency to establish boundaries in science and religion and notes that the degree of openness of science and religion does not depend on a rational approach. The author proposes understanding the problem of boundaries and openness in science as belonging to the category of "eternal questions."

Keywords: openness in science, boundaries in science, certainty, skepticism, scientific hypothesis.

В попытках определения границ науки неизбежно возникает вопрос о том, что из себя должна представлять эта «граница». Проблема, казалось бы, простого понятия «граница» раскрывается в том, что наука, по смыслу своего существования, направлена на исследование, поиск, развитие, что представляется несовместимым с какими-либо ограничениями, то есть, с границами. Другими словами, можно предположить, что границы в науке выполняют функцию не ограничений, а своеобразного основания, точек опоры, опираясь на которые происходит дальнейшее развитие. Граница в науке, чтобы наука могла существовать, должна быть просто ступенькой в лестнице развития, а не каким-то замкнутым в себе пространством. Именно поэтому научная граница должна предполагать открытость этой границы, причем, чем больше открытость, тем лучше. А, с другой стороны, открытость не может не размывать основания. Соответственно, проблема определения научных границ – это проблема балансирования между разнонаправленными стремлениями: стремлением к ограничению и стремлением к открытости.

Здесь можно вспомнить про диалектику, и определить проблему как борьбу противоположностей: границы и открытости границ, научной догмы и научного скепсиса. Философы, закладывающие основы научного мышления, с древности делились между собой на догматиков и скептиков. Здесь показательна позиция Карла Поппера, который определял науку как процесс, состоящий из предположений и их опровержений. Исходя из этого, науку нужно понимать не как однонаправленное, а как разнонаправленное движение и развитие, потому что мышление, ищущее и выдвигающее предположения – принципиально иное мышление, чем мышление, ищущее опровержения предположений. Они требуют различных познавательных навыков, разного интереса и даже разного психологического состояния. Ученый и вообще любой человек, выдвигающий предположения, хочет остановить поиск,

остановить, хотя бы, на короткое время. Хочет создать пусть временную, но определенность (например, определенность понятий), желательно строго ограниченную, точную, не расплывчатую. Хочет защитить вырабатываемое понятие или теорию от всепроникающей скептической критики. И, разумеется, эта направленность в личности ученого со временем не может не приводить к неизбежным искажениям в его мировоззрении, благодаря которым формируется сознательная или бессознательная нетерпимость к критике. Причем особенно значительную роль играет именно бессознательная нетерпимость, в которой ученый не отдает себе отчета. Во многом это способствует тому, о чем писал Пол Фейерабенд: ученые в науке забывают об исключительно предполагаемом характере науки, и начинают защищать научные положения (которые являются предположениями) ссылками на «реальность», то есть явно преувеличивают познавательные возможности науки [1].

Нужно обратить внимание на то, что у научной гипотезы (предположения) есть два разных познавательных статуса, которые часто путают, а они различны по области применения и значению. Научная гипотеза в мировоззренческом (философском) познавательном статусе (речь тут идет именно о научной гипотезе, а не о философской) – в таком гипотетическом познавательном статусе пребывает вся наука, все научные гипотезы, как и все «доказанные» научные положения; и научная гипотеза во внутринаучном познании, которая требует доказательств, и где ей противоположно доказанное научное положение. Разумеется, только конвенционально «доказанное», то есть, это «доказательство» действует исключительно в рамках научных конвенций (договоренностей) внутри науки, а в мировоззренческой области, в философии оно не имеет никакой доказательной силы, и является просто обычным предположением, которое в своем познавательном статусе равно любым другим ненаучным предположениям.

Разнонаправленное движение в развитии науки оказывает влияние на понимание научной открытости и границ определенности. Если при скептическом стремлении границы в науке не должны быть помехой научной открытости, то есть их можно двигать, как угодно, в зависимости от задач открытого научного поиска, то при догматической устремленности в науке к определенности границ, научный поиск должен стремиться соблюдать установленные правила и ограничения. Если перефразировать известный афоризм «Нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть» в связи с границами и открытостью, получается следующее: либо открытость нужна для определения определенного, ограниченного, либо определения и границы нужны для открытого поиска. Другими словами, что считать главным в понимании науки: процесс или результат. Казалось бы, является очевидным, что нужно признать главным результат, поскольку наука работает, прежде всего, на результат, потому что наука без результатов просто не нужна. Однако, научный результат – это не наука, а плод науки, завершение определенного этапа научного исследования. Наука существует до тех пор, пока нет результата, наука – это процесс. Наука и научный результат – это разные вещи. Исходя из такого подхода, главное в науке – процесс, именно научный процесс рождает научные результаты, а не наоборот.

С другой стороны, для того, чтобы что-то открывать, нужно то, что открывать, нужны какие-то границы, и иначе открывать нечего. Процесс и поиск не могут состояться без определения их направленности и задач.

Если обратиться к древности, то можно отметить, что познание начинается с мифа, с интуитивной констатации антропоморфизма, с отождествления человеком себя и окружающего мира. Например, «Брахман есть Атман», человек сотворен по образу и подобию Бога, и так далее. Для того, чтобы познавать, человек должен осознавать себя существующим, как часть бытия, подобным бытию, а не как нечто сомнительное с сомнительным существованием, про что образно можно сказать, цитируя М. Горького: «А может, никакого мальчика-то и не было?» По-видимому, сомнение возникает от неудачности попыток человека утвердить свое существование, свое бытие. Тут интересны метаморфозы значений, которые происходят в культуре, с древности до современности. Если в изначальной древности открытость была более проблемой, нежели ценностью, то в современности открытость это

более ценность, нежели проблема. Хотя эта перемена значений открытости, не свойственна только древности и современности, но на протяжении всей истории, и в современном мире изменяются ценностные значения открытости.

Например, в современных религиях преобладает спор между фундаментализмом и религиозным либерализмом. С явным преобладанием фундаментализма. Интересно, что культура в таких разных областях, как наука и религия, во многом повторяет архетипические конфликты, причем с похожим соотношением сторон. В современной науке явно преобладает склонность к позитивизму (в широком смысле этого слова), точно так же, как и в религии преобладает фундаментализм (кстати, другое название религиозного фундаментализма – религиозный позитивизм). Это говорит о том, что степень открытости во многом может определяться бессознательным и не зависит от рациональности аргументации при определении границ науки. Тем не менее, наука по своей организации намного более открыта, чем религиозные сообщества. То есть, люди в науке и религии действуют сходным образом, если судить по склонности к открытости, и при этом возникает существенное отличие, природа которого не совсем понятна. Почему при похожем уровне открытости, в науке открытости больше, чем в религии? Можно предположить, что дело тут в большей отстраненности людей от человеческих склонностей. Возможно, что здесь проявляется результат стремления к объективности исследования, хотя объективность является недостижимым идеалом, однако уже только постоянство стремления к ней влияет на степень открытости.

Получается, что вопрос об открытости и границах науки относится к «вечным вопросам» так же, как и близкий к ним вопрос о том, что в науке имеет основное значение: теория или опыт (рационализм или эмпиризм). Хотя теория может иметь характер результата, а опыт иметь характер поиска, однако, все-таки, теория – это более осмысление (более склонно к процессу), а опыт – это более констатация (более склонно к результату).

Благодарность

Исследование выполнено в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Литература

1. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ, МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 413 с.

Системное мышление как «эпистемологический мост» между философией и наукой

Тищенко В. И.
Кандидат философских наук,
«Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН»,
зав. отделом «Информатика сообществ»,
E-mail: vtichenko@mail.ru

Кузнецов А. А.
Студент
направление истории искусств исторического ф-та МГУ
E-mail: tone.kuznetsov@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается генезис системной парадигмы на рубеже XIX–XX веков как пример преодоления традиционных границ между

философией и наукой. Анализируется интеллектуальный контекст эпохи, характеризующейся глубоким эпистемологическим кризисом, вызванным революционными открытиями в физике и осознанием ограниченности дисциплинарного знания. Показано, что ответом на этот кризис стало формирование единого метадисциплинарного пространства, в котором философские поиски целостности встретились с научными потребностями в новых моделях реальности. Делается вывод о том, что история системного мышления является наглядной демонстрацией условности дисциплинарных границ и продуктивности их стратегического преодоления.

Ключевые слова: системное мышление, философия науки, эпистемология, целостность, Л. Берталанфи, Венская школа искусствоведения.

Systems thinking as an epistemological bridge between philosophy and science

Tishchenko Victor I.,
Federal Research Center «Informatics and Control» of the RAS

Kuznetsov Anton A.,
Moscow State University,

Abstract: This article examines the genesis of the systems paradigm at the turn of the 20th century as an example of transcending the traditional boundary between philosophy and science. It analyzes the intellectual context of an era characterized by a profound epistemological crisis caused by revolutionary discoveries in physics and the recognition of the limitations of disciplinary knowledge. It demonstrates that the response to this crisis was the formation of a unified metadisciplinary space, in which the philosophical search for integrity met the scientific need for new models of reality. It concludes that the history of systems thinking clearly demonstrates the conventionality of disciplinary boundaries and the productivity of their strategic overcoming.

Keywords: systems thinking, philosophy of science, epistemology, integrity, Ludwig von Bertalanffy, Vienna School of Art.

Введение. Проблема границы в контексте системной парадигмы. В современном научном и философском дискурсе тема взаимодействия и разграничения философии и науки остается одной из дискуссионных. Известны периоды, когда подобные демаркации становились особенно зыбкими, что вело к рождению новых исследовательских программ. Одной из таких программ, возникшей на рубеже XIX–XX веков, стало системное мышление.

Сегодня термин «System Thinking» приобрел значительную популярность [1, с. 3]. Однако зачастую его использование сводится к прикладному инструментарию, что приводит к утрате его глубокого эпистемологического смысла [2, с. 4; 3, с. 30]. Между тем, генезис системной парадигмы был осознанным ответом на кризис дисциплинарности, и ее становление произошло именно в пространстве интенсивного диалога между философией и наукой, где традиционная граница между ними оказалась преодолена.

Интеллектуальные истоки. Сложившаяся историографическая традиция часто относит «возникновение» системного мышления к послевоенному периоду, связывая его с публикациями Л. фон Берталанфи 1950-х годов [4; 5]. Однако реконструкция интеллектуального контекста рубежа веков позволяет утверждать, что концептуальные основы системного подхода формировались значительно раньше и в прямой связи с философскими исканиями эпохи.

Уже в докторской диссертации 1926 года «Фехнер и проблема интеграции высшего порядка» Берталанфи формулирует основы «общей системной доктрины» (Allgemeine Systemlehre), трансформируя мистические интуиции Фехнера в стратифицированную

научную, систему, основанную на принципе изоморфизма. Данная теоретическая конструкция возникла как органическая часть широкого эпистемологического движения, характеризовавшегося интенсивными поисками универсальных принципов, намеренно игнорирующих традиционные дисциплинарные деления.

Философский ландшафт того времени был переопределен масштабными проектами, объединенными холистическим устремлением. Освальд Шпенглер рассматривал цивилизации как целостные органические системы. Николай Гартман строил многоуровневую онтологическую модель. Альфред Норт Уайтхед предлагал «философию организма», где реальность — это динамическая система процессов. Это был единый эпистемологический прорыв: философия предлагает масштабные онтологические модели, а наука ищет способы их верификации и применения.

Эпистемологический кризис. Социально-интеллектуальный контекст эпохи «fin de siècle» характеризовался острым ощущением «кризиса реальности», усугубленного революционными преобразованиями в фундаментальной науке. Теория относительности и квантовая механика «отвергли» классические ньютоновские категории абсолютного пространства, времени и линейной причинности, что потребовало пересмотра самих оснований научного познания. Старые дисциплинарные границы, четко разделявшие физику, химию, биологию и психологию, оказались тесны для описания новой, гораздо более сложной и взаимосвязанной картины мира.

Ответом на эти вызовы стало мощное движение за унификацию науки, наиболее последовательно представленное *Венским кружком*. Детальный анализ его Манифеста «Научное миропонимание» (1929) выявляет «конструктивную теорию» как сложную иерархию структурированных понятий, формирующую целостный системный образ реальности, преодолевающий дисциплинарные барьеры. Идеология *Ganzheit* (целостность) стала адекватным эпистемологическим ответом на нарастающую фрагментацию знания. Она находила последовательное отражение, как в естественнонаучных, так и в гуманитарных дискурсах, наглядно демонстрируя принципиальную условность их традиционного размежевания.

Венская школа искусствоведения: системный подход как общий метод. Синтез философской глубины и научной строгости в рамках системной парадигмы проявился в методологии Венской школы искусствоведения. Ее представители создали комплексный концептуальный аппарат, позволивший рассматривать искусство не как совокупность разрозненных шедевров, а как сложную семиотическую систему с внутренней логикой организации.

Методологический прорыв был осуществлен через серию взаимосвязанных открытий. Аби Варбург, разрабатывая концепцию «формул пафоса» (Pathosformel), выявил архетипические жесты как устойчивые носители культурной памяти [6]. Его *magnum opus*, «Атлас Мнемозины», представлял собой уникальную структурную матрицу, визуализирующую системную организацию художественного наследия. Этот структурный подход был осмыслен Генрихом Вёльфлиным, чья система бинарных категорий предложила формальный язык для описания стилевой эволюции [7]. Завершающее обоснование эта методология получила в иконологическом методе Эрвина Панофского, который предложил трехуровневую систему интерпретации, где каждый уровень соответствовал определенному пласту смысла [8]. Таким образом, искусство стало рассматриваться как сложная семиотическая система, где значение элемента рождается только в контексте структурного целого, что являлось прямым применением принципов системного мышления.

Философское обоснование этого синтеза было сформулировано Эрнстом Кассирером в его теории символических форм. Он последовательно доказывал, что различные сферы человеческой культуры – наука, искусство, мифология, религия – представляют собой не изолированные образования, но взаимосвязанные модусы символического конструирования реальности. Между этими формами нет непроходимой пропасти; они являются различными способами объективации человеческого духа, каждый из которых обладает собственной

внутренней структурой и логикой, но при этом участвует в формировании единого культурного космоса [9, с. 65].

Этот взгляд позволил преодолеть традиционную оппозицию между естественнонаучными и гуманитарными (идиографическими) методами познания, демонстрируя их принципиальную комплементарность. И наука, и искусство, и миф – все это системно организованные способы придания смысла опыту. Таким образом, Кассирер дал мощное философское обоснование для системного подхода, представив саму человеческую культуру как грандиозную, многоуровневую систему, тем самым сняв вековое противоречие между двумя культурами.

Заключение. Генезис системной парадигмы был непосредственным ответом на глубокий эпистемологический кризис, вызванный крахом классической научной картины мира и осознанием ограниченности узкодисциплинарных подходов. Ее становление произошло в пространстве активного преодоления границы между философией и наукой. Ключевым условием этого преодоления стала выработка общего метаязыка.

Понятия «система», «структура», «целостность», «изоморфизм» оказались применимы для описания явлений из самых разных областей – от биологии до истории искусства, что демонстрировало их универсальный эпистемологический статус. А разные сферы познания оказываются комплементарными способами системной организации опыта.

Таким образом, история системного мышления является наглядной демонстрацией того, что наиболее продуктивные исследовательские программы рождаются именно в зоне взаимодействия и взаимовлияния различных дисциплин. Условность границы между философией и наукой не означает их тождества, но указывает на необходимость их постоянного диалога для решения сложных проблем. Опыт преодоления этой границы вековой давности сохраняет свою актуальность, предлагая продуктивную модель для междисциплинарных исследований сегодня.

Литература

1. Bertalanffy L. von. General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller, 1968. – 295 p.
2. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974. – 280 с.
3. Сенге П. Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающейся организации. М.: Олимп-Бизнес. 2003. – 406 с.
4. Bertalanffy L. An outline of general system theory // British Journal for the Philosophy of Science. 1950. Vol. 1. P. 134–165.
5. Bertalanffy L. The Theory of Open Systems in Physics and Biology // Science. 1950. Vol. 111. P. 23–29.
6. Варбург А. Великое переселение образов: исследование по истории и психологии возрождения античности. – СПб.: Пальмира. 2008. – 376 с.
7. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.: АСТ. 2022. – 352 с.
8. Панофский Э. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Азбука-классика. 2009. – 432 с.
9. Кассирер Э. Философия символических форм. Том 1: Язык. СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 2011. – 271 с.

Ревизия проблемы актуальной бесконечности в свете кризиса оснований науки как псевдопроблемы

Филатова М. И.

кандидат философских наук

Московский педагогический государственный университет, доцент кафедры философии

E-mail: mi.filatova@mpgu.su

Аннотация: Математизацией физики на этапе генезиса науки подразумевалась возможность реализации актуальной бесконечности, которая оказалась неоправданной. Тем не менее новоевропейская наука состоялась. Современная физика в условиях кризиса своих оснований, демонстрируя невероятную эффективность в практических приложениях своего знания, стала способна компенсировать утрату его оснований эффективностью его следствий. Более того, она надеется нейтрализовать саму проблему актуальной бесконечности, спровоцировавшую кризис оснований науки. Как показывает Д. Дойч в книге «Начало бесконечности», физика релятивизирует сегодня непознаваемость бесконечности, допуская, что в принципе она может быть увидена из разных миров с разными законами физики, где проблема актуальной бесконечности является уже не такой безнадежной, как в нашем мире. Таким образом, все парадоксы, связанные с проблемой актуальной бесконечности, перестают быть фактором, способным дискредитировать математическую физику, но, наоборот, благодаря физике находят объяснение. То есть оказывается, что утратившая основания физика теперь сама обосновывает. Но этим она дезориентирует современную эпистемологию еще больше, уводя от проблем, на которые, наоборот, необходимо сейчас обратить внимание.

Ключевые слова: проблема бесконечности, генезис науки, классическая рациональность, кризис оснований науки, практическая эффективность научного знания, фундаментальная наука.

Revision of the problem of actual infinity in the light of the crisis of the foundations of science as a pseudo-problem

Philatova M. I.
Moscow State Pedagogical University

Abstract: The mathematization of physics at the stage of the genesis of science implied the possibility of realizing actual infinity, which turned out to be unjustified. Nevertheless, the New European science took place. modern physics, in a crisis of its foundations, demonstrating incredible effectiveness in practical applications of its knowledge, has become able to compensate for the loss of its foundations with the effectiveness of its consequences. Moreover, she hopes to neutralize the very problem of actual infinity, which provoked the crisis of the foundations of science. As David Deutsch shows in The Beginning of Infinity, physics relativizes the unknowability of infinity today, assuming that in principle it can be seen from different worlds with different laws of physics, where the problem of actual infinity is no longer as hopeless as in our world. Thus, all the paradoxes associated with the problem of actual infinity cease to be a factor capable of discrediting mathematical physics, but, on the contrary, they find an explanation thanks to physics. That is, it turns out that physics, which has lost its foundations, now justifies itself. But by doing so, it disorients modern epistemology even more, leading away from problems that, on the contrary, need to be addressed now.

Keywords: the problem of infinity, the genesis of science, classical rationality, the crisis of the foundations of science, the practical effectiveness of scientific knowledge, fundamental science.

Современный этап развития науки обостряет вопрос о ее методологической дееспособности. Прежде всего это обусловлено ростом числа прикладных исследований по сравнению с фундаментальными. Если фундаментальные исследования ориентированы на открытие истинных знаний о мире, то прикладные исследования имеют целью решение

конкретных технологических задач, их результаты носят локальный характер и как таковые не нацелены на пополнение фундаментального знания в данной отрасли. Последняя задача остается «вне мотивационной сферы прикладной науки» [1, с. 192]. Следствием этого, как поясняет Б. И. Пружиинин, становится «принципиальная локальность инструментального знания: его фрагментарность и содержательная несопоставимость его фрагментов» [1, с. 192]. Результаты прикладного знания могут иметь форму технологического рецепта или инструкции, релевантной лишь для данного случая. Зная о практической эффективности такого знания в *данном конкретном* случае, мы становимся не способны ответить на вопрос об основаниях такой эффективности. Этот вопрос относится к сфере компетенции фундаментальной науки, до взаимодействия с которой прикладные исследования редко дорастают [1, с. 191]. На фоне этого увеличение числа прикладных исследований дает о себе знать в виде «эпистемологических разрывов, релятивности, локальности, несоизмеримости знания» прикладной науки [1, с. 192], которые, однако, сама методология прикладных наук пытается преподнести «как познавательную норму» [1, 192]. Итогом такой тенденции является «неспособность современной методологии демаркировать науку и псевдонауку» [1, с. 146]. В чем проявляет себя методологическая недееспособность современной науки.

При этом данная особенность науки обусловлена не только таким, по сути, привходящим обстоятельством, как спровоцированный прагматическими интересами рост прикладных исследований. Она обусловлена внутренней сутью развития самой науки. По мнению Ю. В. Пущаева, возрастание числа и значения прикладных исследований – «это следствие потери уверенности в том, что фундаментальные науки действительно могут добраться до истины, до абсолютного или соотносимого с абсолютным относительного знания, до фундамента бытия» [2, с. 169], это свидетельство того, что «мир сопротивляется наступлению фундаментальных наук, ускользает от них» [2, с. 169]. В современной науке мир слишком огромный и сложный, поэтому в ней наблюдается прогрессирующая утрата целого, проявляющая себя в возрастающей специализации наук.

В этих условиях значение практической эффективности научного знания оказывается определяющим не только для прикладных исследований, оно становится фактором возвратного воздействия на саму фундаментальную науку, на проблему кризиса ее оснований и может способствовать признанию ее псевдопроблемой. Еще Л. Витгенштейн в ответ на кризис оснований математики возражал, что заниматься поиском этих оснований – «это все равно что стараться пририсовывать снизу скалу к нарисованному на бумаге замку, беспокоясь, что иначе замок рухнет» [цит. по 2, с. 173]. Комментируя этот пассаж Витгенштейна, Ю. В. Пущаев замечает, что «наука в своем развитии набрала уже такую инерцию уверенного движения, независимо от решения фундаментальных философских проблем, что у нее и так “все получается” (пока, конечно)» [2, с. 174]. В этих условиях тезис Фейерабенда «anything goes» становится наиболее уместным. В науке «и так все работает», поэтому любая теория и любой метод становится допустимы при условии, что они открывают новые технологические возможности и ведут к практическим результатам. Но в условиях, когда основания и следствия поменялись местами, о проблеме оснований можно мало того, что забыть, ее можно вполне законно закрыть как псевдопроблему, пересмотрев главную провоцирующую кризис оснований науки проблему – проблему актуальной бесконечности через призму достижений современной физики.

Как известно, современный кризис оснований математики был связан с проблемой актуальной бесконечности, обостренной Г. Кантором в его теории множеств. Кроме того, претензия на возможность решения этой проблемы имплицирована в основания новоевропейской математизированной физики. Она подразумевается в экстенсиональной, или внешней, точки зрения на мир, на которой основано субъект-объектное разделение, характерное для механистической картины мира. Новоевропейский субъект, как считалось, видит мир с точки зрения «ниоткуда» (выражение Т. Нагеля). На такого рода экстенсиональной установке основывается идеал классической рациональности. Согласно ему, физическим телом, по словам М. К. Мамардашвилли, «называется такое явление, которое

полностью пространственно выражено в своем содержании», «полностью развернуто для внешнего пространственного наблюдения» или же «разрешимо на каких-либо наблюдаемых частях внешнего пространства» [3, с. 13]. Как поясняет Мамардашвилли, «термины “объективное” и “пространственное” совпадают, могут употребляться через запятую, как и понятие “внешнее наблюдение”» [3, с. 13].

По сути, попытка выхода к такого рода внешней позиции подразумевалась еще Зеноном Элейским в его апории «Дихотомия». Загадка ее безуспешности не утратила актуальности по сегодняшний день. Можно утверждать, что неизбежность современного кризиса оснований науки, разрушение субъект-объектного отношения, которое Б. И. Пружинин называет «философской формулой» научного познания [4, с. 232], ядром классической эпистемологии Нового времени [4, с. 235], было предрешено доказанной еще Зеноном неразрешимостью проблемы актуальной бесконечности. В то время как утверждение оснований новоевропейской науки стало возможно благодаря неоправданному оптимизму Галилея, Декарта и других творцов науки по отношению к проблеме актуальной бесконечности [5]. Казалось бы, кризис оснований науки должен был так или иначе проблематизировать научное знание, утратившее основательность и ориентировать эпистемологов на прояснение сути современной неклассической эпистемологии. Так, например, Б. И. Пружинин призывает «понять современные течения не как “передовые” прозрения истины, а как проблематизации» [4, с. 244]. Однако в условиях уверенного инерциального движения самой науки («и так работает») становится возможен и совершенно другой сценарий. Когда, наоборот, открытия в области современной физики пытаются использовать для нейтрализации тех нерешенных проблем, которые были положены в основание самой физики на этапе ее генезиса. Такой проблемой является проблема актуальной бесконечности. Сегодня пересмотр этой проблемы был предложен британским физиком Дэвидом Дойчем в книге «Начало бесконечности».

Современное развитие физики позволяет Д. Дойчу пересмотреть зависимость физики от математики. Если на этапе генезиса науки тезис Галилея о том, что «природа написана на языке математики» требовал прямого доказательства возможности математизации природы как онтологического целого, то сегодня такие понятия современной физики, как мультивселенная, сингулярность [6, с. 311] и т.д. могут задавать представление об ограниченности сферы действия законов физики *нашего* мира и возможности физики других типов, в чем сказывается такая упомянутая выше характеристика современного научного знания, как прогрессирующая утрата целого. В этом случае и вопрос о соотношении математики и физики требует пересмотра.

Дойч предлагает «математический мысленный эксперимент» «отель “Бесконечность”» [6, с. 305] с бесконечным количеством номеров и воображаемыми законами физики, единственное ограничение для которых – это их непротиворечивость. Дойч показывает, что само различие между конечным и бесконечным и вопрос о реализуемости бесконечного зависят от законов физики, но не задаются априори. «Когда администраторы отеля «Бесконечность» делают публичное объявление [по перемещению постояльцев], для них это конечная операция, хотя в результате в отеле происходят преобразования, охватывающие бесконечное число событий» [6, с. 326]. Это же демонстрирует мыслительный эксперимент «путешествие по мультивселенной» [6, с. 322], в ходе которого за конечное время оказывается возможно посетить бесконечное число вселенных, благодаря тому, что мультивселенная – это не бесконечное множество, но «единая физическая сущность <…> с внутренними взаимодействиями, <…> связывающими различные ее части между собой» [6, с. 324]. Дойч разоблачает «вычислительную универсальность» [6, с. 340], ставящую математику *над* фактуальными науками. Дойч показывает, что она, наоборот, *под* ними. Иллюзия универсальности математических вычислений, их независимости от физики, по Дойчу, возникает благодаря тому, что это «универсальность *в рамках* той физики, которая управляет нашим миром» [6, с. 340]. Из предлагаемого Дойчем соотношения математики и физики следует, что «законы физики открывают нам только узкую щель, через которую мы можем заглянуть в мир абстракций» [6, с. 332]. Соответствующую главу в своей книге он называет

«Окно в бесконечность». Таким образом, именно физика нашего мира ставит нам ограничения на постижение бесконечности, то есть ее непознаваемость имеет относительный, а не абсолютный характер. «Мозг – это физический объект. Мысли – это вычисления таких типов, которые допускаются законами физики» [6, с. 335]. «Из разных физических законов будут вытекать разные бесконечные и разные вычислимые понятия, и разные истины, как математические, так и научные, окажутся при них познаваемыми» [6, с. 334].

Таким образом, физика релятивизирует сегодня непознаваемость бесконечности, допуская, что в принципе она может быть увидена «из разных окон». В таком случае неразрешимость всех математических высказываний, которые относятся к бесконечным множествам [6, с. 332], все парадоксы, связанные с проблемой актуальной бесконечности, перестают быть фактором, способным дискредитировать математическую физику, но, наоборот, благодаря физике находят объяснение. То есть оказывается, что утратившая основания физика теперь сама обосновывает. Но этим она дезориентирует современную эпистемологию еще больше, уводя от проблем, на которые, наоборот, необходимо сейчас обратить внимание.

Литература

1. Пружинин Б. И. Ratio serviens. Контуры культурно-исторической эпистемологии. - М.: РОССПЭН, 2009. 422 с.
2. Пущаев Ю. В. Конец методологии науки, или методолог как «лишний человек» // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. № 3–4. С. 157–178.
3. Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб.: Азбука, 2010. 288 с.
4. Пружинин Б. И. Неклассическая эпистемология: взгляд из классики / Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.: Міръ, 2009. С. 230–248.
5. Филатова М. И. Генезис науки XVII века: опыты по «приручению» бесконечности // Идеи и идеалы. 2024. Том 16. № 2, часть 1. С. 184–205.
6. Дойч Д. Начало бесконечности: Объяснения, которые меняют мир. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. 822 с.

Проект «Философия “в науке“» («PinS») в ракурсе формирования новых возможностей современной философии

Хмелевская С. А.

Доктор философских наук

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, философский факультет, профессор кафедры философии естественных факультетов

E-mail: xmelevsk@mail.ru

Аннотация: в Проекте «философия "в науке"» («PinS») выделяются среди задач философии, следующие: 1) обращение к научной проблеме, 2) использование философских методов для ее решения, 3) формулирование научного предложения. Предполагается, что такая философия должна непосредственно участвовать в научном познании и внести свой вклад в получение его конкретных результатов. При этом философия в Проекте рассматривается только в ракурсе применения ее методов, концептуальные же философские положения здесь не учитываются. Вместе с тем можно привести примеры, когда философия становится программой для проведения научных исследований, но не относится к «PinS». Однако в любом случае возникают проблемы принципиального характера, например, насколько философия сохраняет свой концептуальный статус, есть ли

логическая выводимость из философских утверждений знаний эмпирического уровня и пр. Даже приняв за основу метафизические положения для проведения экспериментов, важно подчеркнуть, что эти положения представляют лишь одну из интерпретаций эмпирических данных и не обосновываются этими данными.

Ключевые слова: философия, наука, проект «философия "в науке"», морфогенез, Майкл Левин, «Платоновское пространство», логическая выводимость.

The project «Philosophy "in science"» ("PinS") from the perspective of the formation of new possibilities of modern philosophy

Khmelevskaya S.A.
Lomonosov Moscow State University.

Abstract: In the Project «Philosophy "in Science"» ("PinS"), the following stand out among the tasks of philosophy: 1) addressing a scientific problem, 2) using philosophical methods to solve it, 3) formulating a scientific proposal. It is assumed that such a philosophy should directly participate in scientific knowledge and contribute to obtaining its specific results. At the same time, philosophy in the Project is considered only from the perspective of the application of its methods, while conceptual philosophical provisions are not taken into account here. At the same time, there are examples where philosophy becomes a program for conducting scientific research, but does not belong to "PinS". However, in any case, problems of a fundamental nature arise, for example, to what extent philosophy retains its conceptual status, whether there is a logical derivability of empirical knowledge from philosophical statements, etc. Even taking metaphysical propositions for conducting experiments as a basis, it is important to emphasize that these propositions represent only one interpretation of empirical data and are not justified by these data.

Keywords: philosophy, science, Project «Philosophy "in Science"», morphogenesis, Michael Levin, Platonic Space, logical deducibility.

Проект, получивший название «Философия "в науке"» («PinS»), стал складываться в конце 1990-х годов (И.Гинграс, Л.Лаплан, М.Лемуан, Т.Прадеу, К.Ровелли, Э.Соубер, М.Хелфауи, Х.Чанг и др.). Он основывается на использовании метафизических инструментов для решения частных научных проблем и выработки научно полезных предложений, формируя, тем самым, «гибридный профиль философа и ученого». Считается, что «PinS» может внести свой вклад в получение конкретных результатов научного познания. Исходя из предполагаемой (а в ряде случаев и реальной) эвристичности результатов такого Проекта предлагается сформировать «новую» метафизику науки. Некоторые авторы рассчитывают выстраивать ее на эмпирической основе, а метафизические проблемы решать в рамках частных наук. Отсюда, подлинно натурализованная метафизика должна выходить за рамки простой согласованности с современной наукой, а быть непосредственно мотивированной наукой и служить ей. Для того чтобы ту или иную философскую работу отнести к «PinS», в ней должны быть соблюдены следующие условия: 1) обращение к научной проблеме, 2) использование философских методов для ее решения, 3) формулирование научного предложения [1]. Разработчики «PinS» приводят многочисленные примеры, когда применение философских методов позволило глубже понять научную проблему, а ученым – предложить конкретные методы ее решения. Так, в качестве примера «PinS» можно привести работу Л.Лаплан, в которой автор углубляет понимание природы стволовых клеток применительно к раковой опухоли и выявляет зависимость проявления свойства стволовости в зависимости

от типа ткани, что послужило основой для разработки новых методов лечения этого заболевания [2].

Анализируя программу «PinS», следует сделать ряд методологических замечаний:

во-первых, ее разработчики меняют соотношение философии и конкретной науки. Если представлять структуру науки, как состоящую из эмпирического, теоретического и метатеоретического уровней, то философия занимает свою нишу в структуре метатеоретического уровня, включая в нее философские основания и философские проблемы науки [3]. Авторы «PinS», по сути, предлагают распространить философское знание и на теоретический, и на эмпирический уровни в структуре науки. Причем роль философии на этих уровнях относится не только к контексту обоснования, но и к контексту открытия;

во-вторых, непосредственно в «PinS» философия рассматривается только в ракурсе применения ее методов, при этом концептуальные положения здесь не играют никакой роли;

в-третьих, конкретное перечисление философских методов (как это представлено в статьях, которые оцениваются по обозначенным ранее критериям, как отвечающие «PinS») позволяет утверждать, что они относятся, скорее, к метанаучным, чем к сугубо метафизическим методам (на что справедливо обратил внимание Ф.Морис [4]);

в-четвертых, вызывает сомнение и тезис сторонников «PinS» в отношении того, что главной задачей философии является производство нового знания в науке, то есть там, где эта философия применяется. Однако можно ли вменить в задачи пусть и онаученной философии решение конкретных, в частности эмпирических проблем науки? Представляется, что нельзя, так как философия (например, через философские основания) дает свою интерпретацию этим проблемам, но прямой логической выводимости здесь нет. Разработчики же «PinS», включая производство научного знания в качестве критерия научной философии, уже изначально подразумевают, что философы должны генерировать такое знание;

в-пятых, то, что разработчики «PinS» рассматривают как новизну, уже давно в философии науки было отнесено к философским проблемам частных наук. Но такого рода проблемы традиционно рассматривались как двухкомпонентные, которые наряду с конкретно-научной, включали в себя и философскую компоненту. Под влиянием взаимодействия философии и частной науки при решении конкретной научной проблемы могли уточняться как естественно-научная, так и философская компонента проблемы (возможен вариант и обе сразу) [3];

в-шестых, решая философские проблемы частно-научного знания, философия опирается на определенную стратегию исследования, которая может выстраиваться как позитивистская, натурфилософская и пр. Разработчики программы «PinS» в данном случае оставляют вопрос открытым.

Кроме того, ряд работ, в которых также решаются научные проблемы на основе метафизики, не подходят по критериям к «PinS», так как в данных работах речь идет не просто об использовании философской методологии, а о применении содержательных положений метафизики. В связи с этим интерес представляют труды Майкла Левина, известного биолога, который попытался объяснить сложности, возникающие при изучении морфогенеза, применяя положения метафизики Платона [5]. Так, М.Левин задается вопросом, откуда берутся специфические образцы форм и поведения в живом мире? Все имеющиеся в биологии ответы на этот вопрос он считает неудовлетворительными, так как они не объясняют, почему «биологические организмы обладают способностью достигать заданных целей, несмотря на новые условия, вмешательства, изменения окружающей среды и их собственных частей и т.д.» [5]. Его вывод состоит в том, что морфогенез не может быть алгоритмически запрограммированным процессом, постольку возникающие новые формы и структуры в индивидуальном и эволюционном развитии организмов являются частью структурированного упорядоченного «Платоновского пространства» форм, оказывающих причинно-следственное влияние на результаты эволюции и инженерного проектирования в реальном мире [5]. «Платоновское пространство» М.Левин рассматривает как реальное, поскольку оно имеет значение для того, что происходит в реальном мире. Поэтому результаты

морфогенеза он связывает с наследственностью (аппаратное обеспечение), влиянием окружающей среды (граничные условия) и входных паттернов (форм-образцов). Таким образом, по Левину, платонические формы-образцы привносят информацию и оказывают влияние на физические события, такие как рост и форма биологических тел (причем в этом Пространстве есть и высокоинтеллектуальные паттерны, некоторые из них обозначаются автором, как «типы сознания»). Поскольку М.Левин занимается и созданием биоинженерных конструкций (биоботов), то есть продуктов синтетической морфологии, постольку он полагает, что может быть создано большое разнообразие возможных существ, «оживляемых пространством ментальных паттернов, разнообразие и пределы которых неизвестны, но, несомненно, огромны» [5].

Это пример использования метафизического знания с содержательной стороны в естественно-научных (в данном случае биологических) исследованиях [6]. Не найдя нужного варианта ответа в биологии при изучении морфогенеза, М.Левин апеллировал к метафизике, использовав метафизические (а точнее, онтологические) основания биологии. Исходя из того, что эти основания невозможно эмпирически подтвердить, а их можно только принять аксиоматически, применение метафизики Платона здесь следует рассматривать как одну из интерпретаций философских оснований биологического знания. Причем и М.Левин это понимает, когда отмечает, что вместо платонизма может быть для решения конкретных задач биологии использован аристотелизм, или гегельянство, или другие философские стратегии. Главное, чтобы эти стратегии продвигали научный поиск к новым открытиям. Но чтобы перейти от метафизических положений к эмпирическому уровню в науке между ними должны быть интерпретационные предложения, которые переводили бы положения философского языка на язык эмпирического уровня конкретной науки. Например, у М.Левина такими предложениями выступает типология форм и поведения в живом мире. Одновременно в предложенном подходе остаются нерешенными многие вопросы, например, о механизме выбора этих форм в «Платоновском пространстве», поскольку сам процесс выбора является скрытым и обнаруживает себя лишь на основе интерфейса с окружающей средой, которая активно участвует в процессах морфогенеза, формируя петли обратной связи и др. Вместе с тем представляется, что работы М. Левина могли бы быть зачислены в «PinS», но для этого требуется расширить критерии отнесения к этой Программе. При этом допускаем полезность данной Программы при условии четкого понимания ее ограничений.

Литература

1. Pradeu T., Lemoine M., Khelfaoui M., Gingras Yv. Philosophy in Science: Can philosophers of Science permeate through Science and produce Scientific Knowledge? // The British Journal for the Philosophy of Science. 2021. Vol. 75. No 2. P. 375–416.
2. Laplane L Cancer Stem Cells: Philosophy and Therapies. эHarvard University Press, 2016. 272 p.
3. Лебедев С. А. Философия науки. М.: Юрайт, 2013. 288 с.
4. Maurice F. When Philosophy is No Longer Philosophical // Metascience: Scientific General Discourse. 2022. No 2. P. 242–249.
5. Levin M. Ingressing Minds: Causal Patterns Beyond Genetics and Environment in Natural, Synthetic, and Hybrid Embodiments // PsyArXiv Preprints. February 07, 2025. P. 1–53; [Электронный ресурс]. URL: https://osf.io/preprints/psyarxiv/5g2xj_v3] (дата обращения 29.08.2025).
6. Хмелевская С. А., Баева А. В., Станишнева-Коновалова Т. Б., Ярошевич И. А. «TAME» как программа изучения познания и интеллекта в пространстве возможных агентов: философские и естественно-научные основания // Эпистемология и философия науки. 2025. Т.62. № 3. С. 159–179.

Связующий паттерн как метод преодоления границы науки и философии

Черноножкин С. А.
Магистрант
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Философии, студент
E-mail: junkyhouse@gmail.com

Аннотация: Статья предлагает рассматривать проблему демаркации не как поиск единственного критерия «научности», а как симптом редукционистского взгляда, дробящего целое на части. На материале дискуссий от логического позитивизма до STS показывается ограниченность верификационизма, фальсификационизма и программ Лакатоса. В качестве альтернативы предлагается эпистемология Грегори Бейтсона: «связующий паттерн» как форма, связывающая уровни описания, наблюдателя и наблюдаемое. Ключевые элементы подхода: системное мышление (круговые контуры и обратная связь), внимание к контексту, логические типы и абдукция Пирса как процедура генерации новых гипотез. Такой сдвиг переводит фокус с объектов на отношения и позволяет выстроить мост между наукой и философией: первая удерживает строгость методов, вторая дает язык целостности. Демаркация становится мембраной, а не стеной.

Ключевые слова: Бейтсон; связующий паттерн; демаркация науки; холизм; абдукция; уровни описания; системное мышление; философия науки

The Pattern Which Connects as a Method for Overcoming the Boundary Between Science and Philosophy

Chernozhkin S. A
Saint Petersburg State University, Institute of Philosophy

Abstract: This paper reframes the demarcation problem not as a hunt for a single criterion of "scientificity" but as a symptom of reductionism that fractures wholes into parts. Surveying debates from logical positivism to STS, it shows the limits of verificationism, Popperian falsification, and Lakatosian research programs. As an alternative, it advances Gregory Bateson's epistemology: the "pattern that connects" as a formal relation linking levels of description, observer and observed. Core elements include systems thinking (circular causality and feedback), contextual sensitivity, logical types, and Peircean abduction as a generator of novel hypotheses. This shift moves focus from objects to relations and enables a bridge between science and philosophy: the former preserves methodological rigor, the latter supplies a language of wholeness. Demarcation thus becomes a membrane rather than a wall.

Keywords: Bateson; pattern that connects; demarcation; holism; abduction; levels of description; systems thinking; philosophy of science

Разграничение науки и ненауки – одна из центральных проблем философии науки. Нет единого критерия; границы внутри самой науки исторически подвижны и условны. Узкая специализация делает каждую область «наукой в себе и для себя», а соседние – «лженаукой». Например, биолог может воспринимать социологию как «не вполне научную», социолог – историю, а историк – ботанику. И все они вместе – философию как кружки, где обсуждают древних мужей, не производя, строго говоря, научного знания. Претендуя на истину, научное познание парадоксальным образом удаляется от цели, хотя массив «знаний» растет.

В этом месте можно было бы начать рассуждение о временах палеолита или, возможно, временах картезианского дуализма, который в языке порождает теперь два объекта

исследования: научное и ненаучное знание. В самом этом делении уже заложена эпистемологическая предпосылка о частях, а не целом, ведущая к бесконечным спорам о том, где же проходит граница. Возможно, это и продуктивно в случае обсуждения органов, но никогда – организма.

На конце этой цепочки мы получаем узкоспециализированное мышление, порождающее споры не только в философии науки, но и в практике. Например, безобидная экологическая система в виде поля, растений, червей, полевых мышей и т. п. вдруг нарекается ученым «полем для посева культурных злаков», и всё живое требуется уничтожить под ярлыками «сорняк», «грызун», «вредитель». Под эффективность целей быстро подбираются средства, и группа ботаников селекционирует кормовую базу, дает ей имя «борщевик Сосновского», от которой теперь не отделаться не только сорнякам и грызунам, но вообще всем. Другая группа ученых лечит этот «недуг» грантами, памятками для домашних хозяйств и молитвами, забывая, что «таков наш принцип: лечить симптом, чтобы в нашем мире патология чувствовала себя в безопасности» [1, с. 417]

С другой стороны, мы получаем образование и такое исследование, что не каждый учитель и даже ученый сможет быстро и ответственно ответить на вопросы: «что такое энтропия, таинство, синтаксис, число, количество, паттерн, линейная зависимость, имя, класс, значимость, энергия, избыточность, сила, вероятность, части, целое, информация, тавтология, гомология, масса, месса, объяснение, описание, правило размерностей, логический тип, метафора, топология и т. д.? Что такое бабочка? Что такое морская звезда? Что такое красота и уродство?» На эти вопросы справедливо наталкивает Грегори Бейтсон (Gregory Bateson, 1904–1980) – британский антрополог и системный мыслитель, один из архитекторов кибернетики, теории шизофрении и теории коммуникации, в книге «Разум и природа. Необходимое единство» [2, с 22].

Традиционные попытки установить универсальный критерий «научности» разделились на несколько линий и ни одна не дала исчерпывающего ответа. Сначала – верификационизм логических позитивистов: утверждение значимо, если потенциально проверяемо опытом. Под давлением критики (включая тезис Дюгема-Куайна о роли вспомогательных гипотез) эта линия теряет силу: принцип верификации сам не верифицируем по своим стандартам. Карл Поппер предложил альтернативу – фальсифицируемость: теория научна, если принципиально опровержима опытом [3, с 43]. Это отделило науку от «псевдонауки», но и сам критерий не фальсифицируем, оставаясь мета-принципом. Имре Лакатос развил подход, введя «методологию исследовательских программ»: прогрессивность определяется способностью предсказывать новые факты, а регресс – ростом «защитного пояса» вспомогательных гипотез [4, с 62].

Дальше фокус сместился от формальных критериев к истории и социологии науки. Томас Кун показал, что развитие идет через смены парадигм; «дисциплинарная матрица» определяет допустимые вопросы и решения [5]. Исследования науки и технологий (STS) закрепили взгляд на науку как на совокупность практик, институтов, сетей, норм – а не на перечень «истинных предложений». Научность оказывается функцией согласованности внутри дисциплинарного языка и соответствия правилам сообщества, а не прямого «слепка» внешней реальности. Парадокс: алхимик и химик могут быть равны в страсти к познанию, но только последний признается наукой, потому что его язык и практики соответствуют установленному научному сообществу. Граница «наука/ненаука» оказывается условной, исторично меняющейся и устанавливаемой самим научным коллективом.

Ситуацию усугубляет позиция наблюдателя, который должен провести эту границу, но сам занимает неопределенную позицию. Находясь внутри конкретной дисциплины (например, биолог или антрополог), с точки зрения своей дисциплинарной матрицы, склонен объявлять все, «внешнее» ненаучным, и рискует быть дисциплинарно ограниченным. Или занять мета-позицию философа, не обладая глубокими знаниями в конкретных науках, оказаться абстрактным и потенциально неадекватным реальной практике. Это лишь подпитывает взаимное недоверие: экология может восприниматься как «лженаука» для

ботаника, биология – для химика, социология - для биолога, а история - для обоих. Эрнест Резерфорд говорил так: «вся наука либо физика, либо коллекционирование марок», подпитывая снобизм «твердых» наук. Для биологов и химиков в то время это звучало как приговор: описательная работа – «не совсем наука».

Спустя десятилетия споров демаркация первого порядка (наука/ненаука) не решена – потому что игнорирует дисциплинарную и эпистемологическую обусловленность самого познания. Поэтому предмет обсуждения мы можем сместить: не искать единственный критерий, а нащупывать целостность и обходить редукционизм в пользу связности – наблюдая то, что находится «между» частями.

Но переход от мышления о частях к мышлению о целом сам по себе проблематичен. И здесь уместно рассмотреть концепцию «связующего паттерна» Грегори Бейтсона: любой наблюдатель – часть «большего разума»; задача – научиться видеть связи между системами, а не блокировать их искусственными барьерами.

Связующий паттерн – это сдвиг от вещества к форме, от объекта к отношению. Изучая природу, мы изучаем жизнь, проявляющуюся в рекурсивных, циркулярных причинных контурах систем с обратной связью – от экосистем до процессов познания [2, с. 41]. Методологические принципы Бейтсона предлагают холистический подход: строгую эпистемологию внимания к уровням описания, отказ от линейного причинно-следственного мышления в пользу циклического, системного анализа. Понимание достигается не при разборке механизма на болтики, а при видении того, как болтики взаимодействуют в машине и как сама машина вписана в более широкую среду [7, с. 430].

И если холизм предоставляет онтологическую основу для видения мира, то логической (философской) процедурой для исследования служит *абдукция* Чарльза Сандерса Пирса: единственная, по его оценке, форма логического вывода, дающая *действительно новое знани*е и научные гипотезы [6, с 117]. Абдукция ставит рядом схожие крупные фрагменты феноменов: строение «морды» млекопитающего с «носом» между «глазами» формально соотносится со структурой предложения, где «подлежащее» соотнесено со «сказуемым» и «дополнением». Мы знаем, что вещь посередине морды слона – «нос», поскольку она расположена между двумя «глазами».

Великие научные открытия, от Ньютона до Эйнштейна, почти всегда содержали сильный абдуктивный момент: они были плодом воображения, интуиции и концептуальной смелости, а не механического следования данным. Бейтсон интегрирует абдукцию в свою систему как способ перехода от конкретного к общему через выявление паттернов. «Что связывает краба с омаром, первоцвет с орхидеей, всех их – со мной, а меня – с тобой?» спрашивает Бейстон. [2, с. 42]. Ответ на этот вопрос – не объект, а отношение, контекст.

Бейтсон разрабатывает иерархию логических типов, идущую от Бертрана Рассела. Связи первого порядка – сравнение частей внутри одного организма (например, зеркальная симметрия краба). Второго порядка – межвидовые сравнения (филогенетическая гомология, объясняющая сходство конечностей человека и лошади). Настоящий связующий паттерн проявляется на третьем уровне – сравнение самих сравнений. Когда мы сравниваем пару «краб-омар» с парой «человек-лошадь», мы замечаем не просто сходство, а сходство способов сходства, что и есть метапаттерн. Этот паттерн – это «танец взаимодействующих частей и компонентов», который существует на фоне физических и биологических ограничений, но сам является информационной формой. Он не статичен: рекурсивен, подвержен шуму и изменению. И «**шум, то есть то, что не является информацией или избыточностью, является источником новизны и необходим для обучения и эволюции».** Другими словами, для жизни. [7, 104].

Связующий паттерн – концепция для объединения научного и философского познания. Если цель науки – не контроль и эксплуатация природы, а понимание своего места в этой глубоко взаимосвязанной системе и истинное знание, устранение демаркации неизбежно [2, с 42].

Современная наука прошла уже делает шаги от окаменевшего в языке деления мира на части к ситуации, когда врач, занимающийся конкретной областью, вдруг спрашивает пациента «а Вы не чувствуете тревожность в последнее время?». Ещё 20 лет назад такой вопрос можно было бы ожидать от массажиста или психолога, но не от хирурга, кардиолога или эндокринолога. Каким-то образом клинической исследователь перекинул мост между симптомами тела, отсутствием симптомов по научным данным в анализах и тем, что не попадает в сферу медицины – чувства, ощущения, паттерн.

С точки зрения холизма доказательная медицина как научное познание сделала шаг вперед относительно других естественных наук, вернувшись к тому, о чем говорил ещё Гиппократ: мы лечим не тело, а душу. Конечно, с системной поправкой: мы лечим не только тело, но что-то еще, что мы называем «душой».

Научному познанию еще далеко до единства с «ненаучным». Сама постановка вопроса делит одно на два. Но благодаря концепции «связующего паттерна» мы можем говорить об этом уже предметно. Философам предстоит собрать для этого язык – основы которого заложил Грегори Бейтсон [7, 546].

В заключение – слова Бейтсона из лекции о «священном»: «ученому предписано относиться к собственному знанию со смирением. Мы не утверждаем, что владеем окончательными ответами. Это имеет любопытные последствия: большинство людей убеждено, что им уже многое известно, а то, что не поддается пониманию сейчас, они быстро записывают в область мистического, вымысла или преданий. Ученый не имеет права на такую роскошь. Мы действительно верим, что однажды сумеем понять, как устроен мир, и что это в принципе возможно. Именно это для нас и есть священное. Как Дон Кихот, идущий на битву с ветряными мельницами, мы считаем, что вопросы о природе красоты и природе священного стоят того, чтобы с ними сразиться. Мы гордимся тем, что завтра узнаем больше, но сохраняем смирение, потому что сегодня знаем слишком мало» [8, с. 409].

Литература

1. Bateson G. Symptoms, Syndromes, and Systems // The Esalen Catalog. 1978. № 16. (Перепечатано в: Bateson G. A Sacred Unity: Further Steps to an Ecology of Mind. New York: HarperCollins, 1991 415-423 p.)
2. Бейтсон Г. Разум и природа. Необходимое единство. М.: УРСС/КомКнига, 2005. С.2
3. Поппер К. Р. Логика научного исследования. М.: Республика, 2004.
4. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: Медиум, 1995.
5. Кун Т. С. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.
6. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000.
7. Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума. М.: Смысл, 2000.
8. Bateson G. Ecology of Mind: The Sacred // Loka: A Journal from the Naropa Institute / ed. R. Fields. Boulder: Nalanda Foundation & Naropa Institute, 1975. (Перепечатано в: Bateson G. A Sacred Unity: Further Steps to an Ecology of Mind. New York: HarperCollins, 1991, 402-409 p.)

Понятие *mētis* и проблема практического ума: от античности к номадической науке

Шкляр Е.Л.

Европейский Университет в Санкт-Петербурге, студент магистратуры

E-mail: shkliar.evgenii@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается феномен практического ума через античное понятие mētis — формы знания, объединяющей мысль и действие

в изменчивом контексте. Показано, что mētis отличается от technē и phronēsis своей ситуативностью, гибкостью и отсутствием нормативного измерения. На основе анализа текстов Гомера, Аристотеля и Платона выявляется маргинальный статус mētis в европейской традиции мышления. В философии Делёза и Гваттари этот тип знания получает новое осмысление в концепте номадической науки, ориентированной на процесс, вариацию и становление. Возможность сопоставления античного понятия mētis и номадической науки раскрывается через различие двух форм научности — компарс и диспарс, выделяемых авторами «Капитализма и шизофрении», а также через концепт стратегий и тактик Мишеля де Серто. Инструментальная схожесть тактик как форм оперирования и диспарса как формы научности позволяет легитимировать обоснование практического ума как фундамента альтернативной формы рациональности. Сопоставление античного и постструктуралистского подходов показывает, что mētis можно рассматривать как тип мышления, открывающий возможность иной, динамической, контекстуальной и телесной рациональности.

Ключевые слова: mētis, практический ум, Аристотель, Гомер, Платон, Делёз и Гваттари, номадическая наука, рациональность.

The concept of mētis and the problem of practical intellect: from antiquity to nomadic science

Shkliar E.L.
European University at St. Petersburg

Abstract: The article explores the phenomenon of practical intelligence through the ancient concept of mētis — a form of knowledge that unites thought and action within a changing context. It is shown that mētis differs from technē and phronēsis by its situational nature, flexibility, and lack of normative orientation. In the philosophy of Deleuze and Guattari, this type of knowledge acquires a new interpretation within the concept of nomadic science, which emphasizes process, variation, and becoming. The possibility of comparing the ancient concept of mētis with nomadic science is examined through the distinction between two forms of scientificity compars and dispars and Michel de Certeau's concept of strategies and tactics. The instrumental similarity between two concepts legitimizes the grounding of practical intelligence as the foundation of an alternative form of rationality. The comparison of ancient and poststructuralist approaches allows mētis to be understood as a form of thought that opens the possibility of a dynamic, contextual, and embodied rationality.

Keywords: mētis, practical intelligence, Aristotle, Homer, Plato, Deleuze and Guattari, nomadic science, rationality.

Основная цель данной работы заключается в рассмотрении феномена практического ума. Для этого в первой части будет обращение к Античности и раскрытие понятия mētis — хитрости, ловкости, способности действовать в изменчивых обстоятельствах. Во второй части будет показано, как понятие практического ума, и конкретно mētis, может быть вписано в концепт номадической (кочевой) науки Делёза и Гваттари — эпистемологическую позицию, которая способна стать основанием иной формы научности. В итоге данное исследование демонстрирует, как маргинализированная форма мышления может быть не только применена, но уже применяется и концептуализируется в рамках современной философии науки.

Традиция европейской мысли с Античности выстраивала иерархию форм знания. Именно в ней возникает проблема практического ума промежуточной формы мышления, соединяющей мысль и действие, но не поддающейся точному определению и не вписывающейся полностью ни в одну из категорий знания, описанных Аристотелем.

У Аристотеля выделяются три формы знания: epistēmē, phronēsis и technē.[1] Основания для их различия во многом связаны с видами деятельности, к которым они относятся. Теоретические науки физика и философия — опираются на epistēmē, ремесленники и художники на technē, а политики — на phronēsis.

В контексте анализа mētis именно phronēsis требует особого внимания. Аристотель подчеркивает, что практическое знание (phronēsis) всегда связано с действием и обстоятельством, однако его значение ограничено этической сферой.[1] Поэтому оно раскрывается преимущественно в политическом контексте. Phronēsis — это ум, позволяющий определить, как поступить правильно, какое действие будет морально и этически оправданным. Это способность различать добро и зло и выбирать добро. Mētis, напротив, не принадлежит сфере этического. Здесь проходит главная демаркационная линия между phronēsis и mētis. Наиболее наглядно это различие проявляется у Гомера. В XXIII книге *Илиады* описано соревнование на колесницах, где Нестор наставляет Антилоха, как можно победить даже тогда, когда исход кажется заранее не в его пользу. Он советует применить mētis — хитрость и изобретательность. Антилох следует совету: при помощи своих знаний и умений он обгоняет Менелая, но впоследствии подвергается упрёкам и признаёт: *Ум молодой опрометчив, короток рассудок незрелый.* [3, с. 464] Он осознаёт, что победил не совсем честным способом, и отказывается от награды. Mētis в данном случае выступает как знание и умение добиваться целей, как способность реализовывать желаемое — от охоты до состязания. Если phronēsis — это знание о том, как достичь цели «правильно», сохраняя благородство и честность, то mētis — знание о том, как достичь цели эффективно, даже из невыгодного положения.

Technē, несмотря на свою практическую направленность, также не тождественна mētis. Она предполагает наличие стабильного набора правил и техник, ведущих к предсказуемому результату. Для technē характерна возможность обучения и повторения: мастерство ремесленника основывается на передаваемых принципах и методах. [2] В этом смысле technē связана с порядком, с воспроизводимостью, с идеей формы, которая управляет процессом. Mētis, напротив, действует в условиях неопределенности и изменчивости, где ни правила, ни модели не гарантируют успеха. Ее нельзя свести к ремесленной технике, потому что она не опирается на устойчивую форму — это знание импровизационное, ситуативное, зависящее от обстоятельств и от мгновенного распознавания момента. Именно поэтому mētis оказывается промежуточной между technē и phronēsis, но не совпадает ни с одной из них: она не имеет нормативного измерения, как phronēsis, и не обладает системностью и повторяемостью technē.

Основной причиной маргинализации mētis является то, что такой тип практического ума не может служить основанием для научного знания в платоновском понимании. Это особенно ясно при сопоставлении описания mētis у Гомера и критики ремесленного знания у Платона в *Теэтете*. Нестор говорит: «Плотник тебя превосходит искусством своим, а не силой; кормчий тем же искусством по бурному чёрному понту лёгкий правит корабль, игралище буйного ветра; так и возница искусством одним побеждает возницу.» [3, с. 458]

Платон же, через уста Сократа, критикует подобное понимание знания. В начале диалога *Теэтет* Сократ замечает: «Стало быть, смешно в ответ на вопрос, что есть знание, называть имя какого-то искусства. Ведь вопрос состоял не в том, о чем бывает знание.» [4, с. 179] Платон тем самым отказывается рассматривать знание как ремесло, уводя его от практической составляющей. Его интересует знание как таковое — универсальное и неизменное. [5] Однако именно в этом и заключается особенность mētis: это знание, неотделимое от действия и ситуации, форма мышления, в которой слиты знание *того, что* и *как* делать. Mētis невозможно понять вне контекста и конкретного момента: она всегда обращена к становлению, к изменчивому миру, требующему гибкости и ориентации. Это способ мыслить и действовать в движении, проявлять сноровку в бесконечной игре изменений и извлекать из нее пользу.

Переходя к современному контексту, можно заметить, что именно способность работать со становлением и изменчивостью становится ключевой для номадической науки Делёза и Гваттари. Их рассуждения позволяют увидеть, как характеристики античной mētis находят продолжение в философии постструктурализма. Делёз и Гваттари описывают номадическую науку как турбулентную модель знания, действующую «в открытом пространстве, где распределяются вещи-потоки, а не расчерчивается закрытое пространство для линейных и твёрдых тел» [6, с. 518]. Такая наука не фиксирует формы, а работает с потоками и вариациями, с тем, что постоянно ускользает от стабилизации. Государство, по их мысли, стремится подчинить номадическую науку, извлекая из нее полезные результаты, но лишая ее свободы. Желание создать «королевскую науку» приводит к разделению труда на теоретический и практический, умственный и ручной, копируя тем самым различие между «правителями и управляемыми». Делёз и Гваттари пишут: «И вот быстрый ответ Государства: нужно управлять строительством, проникать в любые распределения труда вплоть до высшего разделения последнего на умственный и ручной, теоретический и практический труд — разделения, копируемого с различия между “правителями и управляемыми”.» [6, с. 529].

В противоположность этому философы обращаются к *Тимею* Платона и выделяют две модели научности — компарс и диспарс. [6] Если первая ориентирована на поиск констант и универсальных закономерностей, то вторая — на работу с материалом и силой, а не с материей и формой. В модели диспарс переменные помещаются в состояние вариации, и знание строится не как фиксация, а как движение и изобретение. Номадическая наука, таким образом, не создаёт устойчивых моделей, а работает с изменением, с качественными вариациями, «выталкивается материалом» к оптимальному решению. Она мыслит в движении, отказываясь от претензии на универсальность. В этом отношении она наследует античную mētis — способность мыслить через конкретное, изменчивое, через взаимодействие с ситуацией. Здесь же проявляется их критика платонизма и аристотелизма. Делёз и Гваттари стремятся показать, что машина войны, апроприированная государством, изначально ему противостояла. Она основана на различии, подвижности и бессистемности. Кочевая или номадическая наука оказывается формой сопротивления «государственной науке» — другой формой научности, всегда существующей, но систематически подавляемой, поскольку ее методы и формы рациональности не вписываются в древовидную, иерархизированную и контролируемую систему знания.

Другой важный мост между античным mētis и философией XX века строит Мишель де Серто. В книге *Изобретение повседневности* он различает стратегии и тактики. Стратегия — это форма действия, принадлежащая тем, кто обладает властью над пространством. Тактика же — способ выживания в чужом пространстве, которое нужно постоянно заново присваивать. И его работа описывает тактики и то, какие именно практики и действия способны возвращать контроль и управление над пространством. «Такие “способы делания” образуют бесчисленное количество практик, при помощи которых пользователи заново присваивают себе пространство, организованное техниками социокультурного производства» [7, с. 43]. Де Серто прямо связывает эти «способы делания» с mētis: «Способы осуществления подобных действий восходят к древнейшим видам знания. Греки называли их métis» [7, с. 51].

Подобный разбор пространства и оперирования в нём можно обнаружить у Делёза и Гваттари. «Вот в чём разница между гладким (векторным, проективным или топологическим) пространством и рифленым (метрическим) пространством – в первом случае мы “занимаем пространство, не исчисляя его”, в другом случае “мы его исчисляем, дабы занять”». [6, с. 518] Гладкое или векторное пространство в таком случае оказывается оказывается научной метрикой ставящей себе цель включиться в пространство внутри которого оно оперирует. Позволить посредством работы с пространством породить нечто. Вместо того чтобы его оформить и захватить под свои собственные нужды

Таким образом, mētis оказывается формой мышления, лежащей в основании хитрости и ловкости, позволяющей выживать и достигать целей в условиях, которые не подвластны

контролю субъекта. Это умение действовать в непредсказуемом и изменяющемся контексте, превращая ограниченность в ресурс. [8] Рассмотрение mētis как формы практического ума позволяет по-новому осмыслить границы научного мышления и рациональности. Если классическая эпистемология стремилась к универсальному и неподвижному знанию, то mētis показывает возможность иной рациональности — динамической, телесной и ситуативной. Эта форма мышления не подчиняет мир идее порядка, а учится ориентироваться в его изменчивости. В философии Делёза и Гваттари mētis получает современное продолжение: знание превращается в навигацию, а мышление — в процесс постоянного соразмеривания с движением материи. Номадическая наука становится формой мышления, где античная хитрость и современная эпистемология встречаются в одной точке — в понимании знания как практики становления.

Таким образом, mētis можно рассматривать как концепт, соединяющий античную философию и постструктуралистскую мысль, как фигуру, в которой сходятся опыт, действие и мышление, где знание рождается не из абстрактной рефлексии, а из живого взаимодействия с изменяющимся миром.

Литература

1. Аристотель. Сочинения в четырех томах. // Т. 1 Ред. В. Ф. Асмус. М.: Мысль, 1975. С. 285 — 310
2. Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. // Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 294 — 300
3. Гомер. Илиада // Пер. Н. И. Гнедича; подгот. изд. А. И. Зайцев. 2-е изд., стереотип. СПб.: Наука, 2008. С. 457 — 466
4. Платон. Собрание сочинений в 4 т. // Т. 2 Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; примеч. А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи; пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1993. 528 с. (Филос. наследие). С. 170 — 193
5. Бурдье П. Практический смысл // Пер. с фр. Ф. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; отв. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001. 562 с. (Серия «Gallicinium»). С. 53 — 55
6. Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. // Т. 2: Тысяча плато. Киев: 2021. С. 515 — 535
7. Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать // Пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с. (Серия «Прагматический поворот»; вып. 5). С. 42 — 53
8. Detienne M., Vernant J.-P. Cunning Intelligence in Greek Culture and Society // Translated from the French by Janet Lloyd. Chicago: University of Chicago Press, 1978. P. 9 — 12